This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

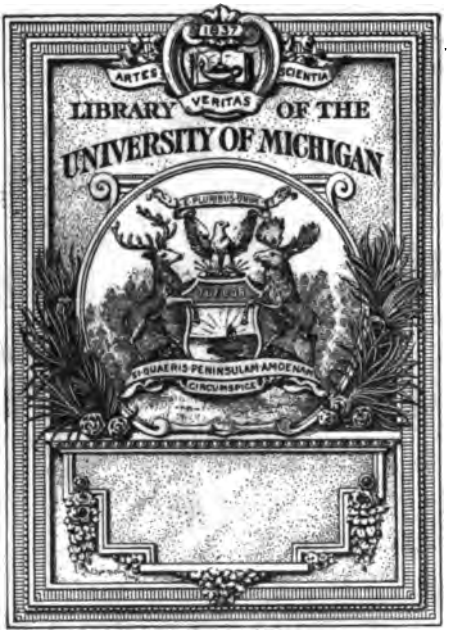
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,494,504


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

8 71.7
L 6
E 3
II

СОЧИНЕНІЯ

ЛЕРМОНТОВА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ ЕГО И ДВУМЯ СНИМКАМИ СЪ РУКОПИСИ.

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ,

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ П. А. ЕФРЕМОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА ГЛАЗУНОВА.
1882.

3215

Типографія Глазунова, Казанская ул. № 8.

ОГЛАВЛЕНІЕ 1-го ТОМА.

		стр.
	Біографическій очеркъ	IX
1831.	Ангелъ	1
1832.	Парусъ	2
	Измаилъ-Бей. Восточная повѣсть	—
1836.	Русалка	75
	Еврейская мелодія: «Душа моя мрачна». (Изъ Байрона).	76
	Въ альбомъ: «Какъ одинокая гробница». (Изъ Байрона).	—
	Умирающій гладіаторъ. (Изъ Байрона)	77
	Два великана	78
	Желаніе. «Отворите мнѣ темницу»	—
	«Гляжу на будущность съ боязнью»	79
	«Она поетъ—и звуки таютъ»	80
	«Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ»	—
1837.	На смерть Пушкина	81
	Вѣтка Палестины	83
	Бородино	85
	Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалаго купца Калашникова	88
	Узникъ. «Отворите мнѣ темницу»	104
	Молитва: «Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою	105
	«Разстались мы, но твой портретъ»	106
	«Когда волнуется желтѣющая нива»	—
	Сосѣдъ	107
1838.	Дума	108
	Демонъ. Восточная повѣсть	110
1839.	Молитва: «Въ минуту жизни трудную»	146
	Три пальмы. Восточное сказаніе	147
	Дары Терека	149

*

185970

		стр.
	Не вѣрь себѣ	151
	Памяти А. И. Одоевскаго	153
	Казотъ. «На буйномъ пиршествѣ»	155
	Поэтъ: «Отдѣлкой золотой блистаетъ мой кинжалъ»	156
	Мцыри	157
1840.	Первое января	181
	Казачья колыбельная пѣсня	182
	Журналистъ, читатель и писатель	184
	Воздушный корабль (изъ Зейдлица)	189
	И скучно и грустно	192
	Ребенку	—
	Отчего	194
	Благодарность	—
	Изъ Гете: «Горныя вершины»	—
	Тучи	195
	Сосна (изъ Гейне)	—
	«На свѣтскія цѣпи» (кн. М. А. Щербатовой)	196
	Любовь мертвеца	197
	Посвященіе къ поэмѣ «Демонъ»	198
	А. О. Смирновой	199
	Къ портрету гр. Воронцовой-Дашковой	200
	М. П. Соломирской	—
	Въ альбомъ автору «Курдюковой»	201
	Къ гр. Мусиной-Пушкиной	202
	Изъ альбома С. Н. Карамзиной	—
	Графинѣ Ростопчиной	203
	«Слышу ли голосъ твой»	—
1841.	«Есть рѣчи—значенье»	204
	Завѣщаніе	205
	Оправданіе	206
	Родина	207
	Послѣднее новоселье	208
	Кинжалъ	210
	Плѣнный рыцарь	211
	Сосѣдка	—
	Договоръ	213
	«Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою»	214
	«Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски»	—
	«Не плачь, не плачь, мое дитя!»	215
	«Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима»	—
	Казбеку: «Спѣша на сѣверъ издалека»	217

стр.
«Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ»..... 218
«Не смѣйся надъ моей пророческой тоской»..... 219
Видъ горъ изъ степей Козлова..... —
Бѣглецъ. Горская легенда..... 220
«Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенной» (А.Г. Хомутовой). 225
Валерикъ..... 226
Сказка для дѣтей..... 233
Споръ..... 243
Сонъ..... 246
Утесъ..... —
Они любили другъ друга. (Изъ Гейне)..... 247
Тамара..... —
Свиданіе..... 249
«Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой»..... 252
«Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю»..... 253
«Выхожу одинъ я на дорогу»..... —
Морская царевна..... 254
Пророкъ..... 255
1839—1840. Герой нашего времени:
Предисловіе ко 2-му изданію..... 257
I. Бэла..... 258
II. Максимъ Максимычъ..... 296
Предисловіе къ журналу Печорина..... 306
III. Тамань..... 308
IV. Княжна Мери..... 319
V. Фаталистъ..... 401
1840—1841. Ашикъ-Керибъ. Турецкая сказка..... 411
Отрывки изъ начатыхъ повѣстей:
I. «У графини В. былъ музыкальный вечеръ»..... 419
II. «Я хочу разсказать вамъ исторію женщины»..... 435

Маскарадъ, драма въ 5-ти дѣйствіяхъ..... 440
Письма: I—II къ теткѣ..... 505
» III—XIV къ г-жѣ N. N. и С. А..... 507
» XV два письма къ бабушкѣ..... 540
» XVI три письма къ генералу Плаутину..... 542
» XVII къ великому князю Михаилу Павловичу..... 544
Княгиня Лиговская (романъ)..... 546
Примѣчанія..... 600

стр.

ВЪ ПИСЬМАХЪ И ПРИМѢЧАНІЯХЪ СТИХОТВОРЕНІЯ:

Поэтъ 507
«Я жить хочу, хочу печали» 508
«Примите длинное посланье» 509
«По произволу дивной власти 510
«Для чего я не родился» 512
«Конецъ! какъ звучно это слово» 513, 623
«Онъ былъ рожденъ для счастья» 520
«Такъ нѣкогда въ степи безводной» 600
Эпиграмма на Кукольника 601
Ребенку (А. П. Петрову) 603
М. И. Цейдлеру ..... —
Наводненіе. «И день насталъ» 615
Великій мужъ, здѣсь нѣтъ награды 615
Эпиграмма на Сенковскаго 619
«Что толку жить» 623
«Ужъ ты чего ни говори» 625
Размышленія (изъ Боденштедта) ..... —
Случайныя пьесы (тоже) 626

Въ нынѣшнее изданіе сочиненій Лермонтова внесены всѣ появившіяся въ печати послѣ изданія 1880 года существенныя поправки и дополненія. Общій порядокъ распредѣленія произведеній поэта оставленъ прежній, и только въ частностяхъ сдѣланы незначительныя перестановки, необходимыя для приданія болѣе точнаго хронологическаго порядка на основаніи новыхъ рукописей и указаній. Помѣстивъ въ приложеніи къ 1 тому недавно явившійся въ печати отрывокъ изъ повѣсти Лермонтова, начатой въ 1836 году: «Княгиня Лиговская», и внеся во 2 томъ относящуюся къ 1833 или 1834 году вновь открытую поэму «Сашка», мы однако, въ избѣжаніе излишняго увеличенія размѣровъ и цѣны изданія, не рѣшились перепечатать произведенія болѣе ранней поры, именно: дѣтскіе стихи, появившіеся въ «Русской Мысли», и «юношескія драмы» поэта, вышедшія въ 1880 году отдѣльной книжкою. Подробное изложеніе ихъ содержанія, наиболѣе характерные отрывки и полный текстъ одной драмы, печатавшіеся въ прежнихъ изданіяхъ, повторены и въ нынѣшнемъ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Родъ Лермонтовыхъ происходитъ отъ старинной, извѣстной еще вначалѣ XI вѣка, шотландской фамиліи Лермонтъ. Русскій предокъ Лермонтовыхъ, Юрій Лермонтъ, выѣхалъ изъ Шотландіи вначалѣ XVII столѣтія въ Польшу, откуда вскорѣ былъ вызванъ царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ Москву, для формированія рейтарскихъ полковъ, и въ 1621 г. уже былъ пожалованъ деревнями въ нынѣшней Костромской губерніи. Потомки его были стольниками, воеводами, а позднѣйшіе изъ нихъ служили преимущественно въ военной службѣ. Въ ней же служилъ при 1-мъ кадетскомъ корпусѣ и отецъ поэта Юрій Петровичъ, но рано оставилъ ее: 24 лѣтъ отъ роду, въ декабрѣ 1811 г., онъ уже былъ уволенъ въ отставку, съ чиномъ капитана, по болѣзни. Больше объ немъ ничего неизвѣстно, кромѣ только слуховъ, которые указываютъ, что онъ былъ замѣчательный красавецъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ «пустой, странный и даже худой человѣкъ». Судя по этому отзыву Сперанскаго, говорившаго впрочемъ тоже по слухамъ, притомъ со стороны враждебной отцу поэта, можно однако предположить, что и поводъ къ отставкѣ «по болѣзни», ввиду несомнѣннаго начала войны съ Франціей, былъ только офиціальный, но что случилось какое нибудь особенное обстоятельство, на которое есть даже намекъ въ одномъ изъ стихотвореній Лермонтова-сына: «не мнѣ судить: виновенъ ты иль нѣтъ? ты свѣтомъ осужденъ».

Мать поэта, Марья Михайловна, урожденная Арсеньева, вышла за мужъ за Юрія Петровича по любви, противъ воли своей матери и къ неудовольствію своей знатной и богатой род-

ни. Вскорѣ послѣ рожденія сына она заболѣла изнурительной чахоткой и умерла, въ февралѣ 1817 г., на 22 году отъ роду.

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ былъ единственнымъ ребенкомъ отъ этого брака. Онъ родился въ Москвѣ 2 октября 1814 г., и по смерти матери остался на рукахъ у своей бабушки Елизаветы Алексѣевны Арсеньевой (урожденная Столыпина). Она никакъ не хотѣла отдать его отцу, жившему въ тульской деревнѣ, съ которымъ была въ недружелюбныхъ отношеніяхъ, такъ что отецъ только во время своихъ пріѣздовъ видѣлся съ сыномъ, котораго бралъ къ себѣ въ праздничные дни. Не смотря на эту рѣдкость свиданій, Лермонтовъ повидимому очень любилъ отца, и не безъ основанія полагаютъ, что семейный разладъ оставилъ свои неизгладимые слѣды на характерѣ поэта.

Нѣсколько времени Арсеньева прожила съ внукомъ въ своей пензенской деревнѣ, откуда возила его, 10-ти лѣтъ отъ роду, на Кавказъ, гдѣ лечилась водами въ Пятигорскѣ; а съ 1827 года окончательно поселилась въ Москвѣ, отдавъ Лермонтова въ университетскій благородный пансіонъ полупансіонеромъ, потому что не хотѣла съ нимъ разлучаться. До поступленія въ пансіонъ Лермонтовъ учился дома, подъ руководствомъ гувернеровъ, преимущественно иностранцевъ, изъ которыхъ особенно любилъ француза Жандро, капитана Наполеоновской гвардіи. По словамъ г. Зиновьева, гувернера Лермонтова, вообще онъ учился прекрасно и велъ себя благородно, очень скоро выучился по англійски, оказывалъ особенные успѣхи въ русской словесности, много читалъ, хорошо рисовалъ и былъ хорошимъ музыкантомъ. Въ пансіонѣ онъ получилъ первую награду на публичномъ экзаменѣ.

По словамъ того же лица, вопреки указаніямъ г-жи Хвостовой, оставившей свои воспоминанія о поэтѣ, въ самой наружности и манерахъ Лермонтова не было ничего неуклюжаго и каррикатурнаго: онъ былъ только немного сутуловатъ, смотрѣлъ въ землю, былъ неразговорчивъ и мало сообщителенъ.

Еще въ первый же годъ по поступленіи въ пансіонъ, гдѣ

пробылъ до апрѣля 1830 г., Лермонтовъ началъ писать стихи, не столько подражая, сколько, такъ сказать, переписывая и по своему передѣлывая Пушкина, и съ 1828 года у него уже начали скопляться цѣлыя тетради стихотвореній. Изъ этихъ первыхъ опытовъ видно, что въ немъ, еще мальчикѣ, проявлялась талантливая, сильная и порывистая натура, рано пробудились чувства и рано открылись поэтическіе инстинкты, обнаруживалось пониманіе жизни, вовсе не дѣтское, возникали вопросы, такъ сильно тревожившіе его впослѣдствіи. Онъ рано началъ сознавать силу своего таланта и мечтать о своей будущей дѣятельности, о своемъ назначеніи, о славѣ. Очень возможно и вѣроятно, по предположенію нѣкоторыхъ біографовъ, что въ первую пору у Лермонтова было направленіе вычитанное изъ Пушкина и изъ Байрона, но оно возможно было въ такой высокой степени только потому, что находило основаніе въ его личныхъ наклонностяхъ и впечатлѣніяхъ.

Съ переходомъ Лермонтова въ университетъ, въ августѣ 1830 г., еще болѣе увеличилась его поэтическая дѣятельность, и за два года пребыванія въ университетѣ онъ оставилъ въ своихъ тетрадяхъ цѣлую массу стихотвореній, изъ которыхъ многія, впослѣдствіи переработанныя, стали въ числѣ лучшихъ его произведеній. Къ сожалѣнію онъ не могъ окончить университетскаго курса, по словамъ однихъ, будучи исключенъ за участіе съ товарищами въ осмѣяніи одного плохаго профессора, а по словамъ другихъ—вышелъ самъ, желая перейти въ Петербургъ. Въ архивѣ московскаго университета сохранилась его просьба объ увольненіи, поданная въ іюнѣ 1832 г., а вслѣдъ за тѣмъ онъ отправился въ Петербургъ, но въ тамошній университетъ поступить не могъ, за нѣкоторыми формальностями, и въ августѣ уже писалъ въ Москву, что приготовляется къ экзамену для поступленія въ школу гвард. подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ. Неизвѣстна причина, побудившая Лермонтова выбрать военную карьеру. Онъ самъ пишетъ объ этомъ только: «быть можетъ, тутъ есть особенная воля провидѣнія; быть можетъ, это путь всѣхъ короче, и если не ведетъ меня въ

моей первой цѣли (поприще литературное), то, можетъ быть, по немъ я дойду до послѣдней цѣли всего существующаго: лучше же умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія старости». Замѣтимъ, что въ то время самой популярной и почетной профессіей была военная служба, привлекавшая почти всю аристократическую молодежь.

Въ юнкерской школѣ Лермонтовъ пробылъ два года, съ 10 ноября 1832 г. по 22 ноября 1834 г. Здѣсь Лермонтовъ очутился совсѣмъ въ новомъ кружкѣ. Каково было первое впечатлѣніе этого кружка видно изъ письма въ Москву, написаннаго тотчасъ по поступленіи въ школу: «васъ коробитъ отъ (моихъ) выраженій; но, увы! скажи мнѣ съ кѣмъ ты водишься— и я скажу кто ты таковъ». Скоро впрочемъ по наружности онъ освоился съ новою обстановкой, и скрывая свои задушевныя мысли и мечты, какъ будто ничѣмъ уже не разнился отъ своихъ товарищей. По крайней мѣрѣ въ воспоминаніяхъ объ этомъ времени, написанныхъ нѣкоторыми изъ нихъ, вовсе не видно настоящаго Лермонтова, а разсказываются разные анекдоты о юнкерскихъ подвигахъ, въ которыхъ онъ игралъ не послѣднюю роль, указывается, какъ онъ гнулъ шомпола и какіе «прекрасные» стихи помѣщалъ въ школьномъ журналѣ. Эти безобразныя подражанія Баркову бережно сохранены бывшими товарищами Лермонтова, которые и сами соперничали съ нимъ въ этомъ родѣ и даже превосходили его, какъ видно изъ одного сохранившагося нумера «Школьной Зари».

Справедливо замѣчаютъ, что пребываніе въ школѣ внесло новыя, крайне не симпатичныя черты въ характеръ поэта — фальшивое и непріятное удальство, страсть выдаваться впередъ, отталкивающую назойливость, и что только внутренній инстинктъ оберегалъ Лермонтова и не далъ ему вполнѣ подчиниться тѣмъ вліяніемъ, которыя способны были бы совершенно загубить его талантъ. Это подтверждается и разсказомъ одного изъ школьныхъ товарищей Лермонтова, который говоритъ, что «по вечерамъ, послѣ учебныхъ занятій, поэтъ часто уходилъ въ отдаленныя классныя комнаты, въ то время пустыя, и тамъ

одинъ просиживалъ долго и писалъ до поздней ночи, стараясь туда пробраться незамѣченнымъ товарищами».

Вскорѣ по поступленіи Лермонтова изъ школы корнетомъ л. гв. въ гусарскій полкъ у него начали завязываться разными литературныя отношенія и знакомства, а въ слѣдующемъ (1835) году въ первый разъ имя его явилось въ печати подъ поэмою «Хаджи-Абрекъ», которая была замѣчена, произвела впечатлѣніе и возбудила ожиданія.

Вотъ что разсказываетъ А. Н. Муравьевъ о своемъ знакомствѣ съ Лермонтовымъ: «Однажды его товарищъ по школѣ, гусаръ Цейдлеръ, приноситъ мнѣ тетрадь стиховъ неизвѣстнаго поэта, и не называя его по имени, проситъ только сказать мое мнѣніе о самыхъ стихахъ. Эта была первая поэма Лермонтова «Демонъ». Я былъ изумленъ живостью разсказа и звучностью стиховъ и просилъ передать это неизвѣстному поэту. Тогда лишь, съ его дозволенія, рѣшился онъ мнѣ назвать Лермонтова, и когда гусарскій юнкеръ надѣлъ эполеты, онъ не замедлилъ ко мнѣ явиться.... Лермонтовъ просиживалъ у меня по цѣлымъ вечерамъ; живая и остроумная его бесѣда была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкій и пронзительный его смѣхъ былъ непріятенъ для слуха, какъ бывало и у Хомякова, съ которымъ во многомъ имѣлъ онъ сходство.... Часто читалъ мнѣ молодой гусаръ свои стихи, въ которыхъ отзывались пылкія страсти юношескаго возраста, и я говорилъ ему: «отъ чего не изберетъ болѣе высокаго предмета для столь блистательнаго таланта?» Пришло ему на мысль написать комедію, въ родѣ «Горе отъ ума», рѣзкую критику на современные нравы, хотя и далеко не въ уровень съ безсмертнымъ твореніемъ Грибоѣдова. Лермонтову хотѣлось видѣть ее на сценѣ, но строгая цензура III отдѣленія не могла ее пропустить. Авторъ съ негодованіемъ прибѣжалъ ко мнѣ и просилъ убѣдить начальника сего отдѣленія, моего двоюроднаго брата Мордвинова, быть снисходительнымъ къ его творенію; но Мордвиновъ оставался неумолимъ; даже цензура получила неблагопріятное мнѣніе о заносчивомъ писателѣ, что ему вскорѣ отозвалось...»

Въ январѣ 1837 года, произошла дуэль и смерть Пушкина. Извѣстно, что эти событія произвели въ Петербургѣ чрезвычайное впечатлѣніе и показали всю мѣру глубокаго чувства, которое питало общество къ великому поэту. Молодая часть публики была взволнована и поражена, а на Лермонтова несчастное событіе подѣйствовало особенно сильно. Подъ первымъ же впечатлѣніемъ онъ высказалъ общественное раздраженіе въ извѣстномъ стихотвореніи на смерть Пушкина, которое отражало чувства всей лучшей части общества и быстро распространилось во множествѣ списковъ. Но среди высшаго петербургскаго общества было много людей, которые очень холодно относились къ Пушкину, винили его самого и оправдывали Дантеса. Лермонтова всѣ эти толки глубоко возмущали. Въ этомъ настроеніи онъ встрѣтился съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, который сталъ защищать Дантеса; они горячо поспорили, и взволнованный поэтъ тутъ же набросалъ 16 заключительныхъ строкъ своего стихотворенія которыя также быстро распространились въ публикѣ и дѣло приняло вскорѣ оборотъ, опасный для Лермонтова. Послѣдній обратился за содѣйствіемъ къ А. Н. Муравьеву: «Лермонтовъ просилъ меня поговорить въ его пользу Мордвинову, и на другой день я поѣхалъ къ моему родичу. Мордвиновъ былъ очень занятъ и не въ духѣ. «Ты всегда съ старыми вѣстями—сказалъ онъ—я давно читалъ эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли въ нихъ ничего предосудительнаго». Обрадовавшись такою вѣстью, я поспѣшилъ къ Лермонтову, чтобы его успокоить, и не заставъ дома, написалъ ему отъ слова до слова то, что сказалъ мнѣ Мордвиновъ. Когда же возвратился домой, нашелъ у себя его записку, въ которой онъ опять просилъ моего заступленія, потому что ему грозитъ опасность. Долго ожидая меня, написалъ онъ на томъ же листкѣ чудные свои стихи «Вѣтка Палестины», которые по внезапному вдохновенію у него исторглись въ моей образной, при видѣ палестинскихъ пальмъ, принесенныхъ мною съ Востока... Каково было мое изумленіе вечеромъ, когда флигель-адъютантъ Столыпинъ сообщилъ мнѣ, что Лермонтовъ

уже подъ арестомъ». По другимъ разсказамъ, такой поворотъ дѣла объясняется слѣдующимъ образомъ. Заключительные стихи озлобили противъ Лермонтова людей, которые узнавали себя въ этихъ стихахъ, и гр. Бенкендорфъ, когда въ обществѣ ему заговорила о нихъ одна озлобленная старуха-сплетница изъ высшаго круга, счелъ нужнымъ доложить о нихъ императору. Вслѣдствіе доклада, начальнику гвардейскаго штаба Веймарну велѣно было произвести обыскъ у Лермонтова въ Царскомъ Селѣ, гдѣ стоялъ лейбъ-гусарскій полкъ; но въ Царскомъ Селѣ Лермонтова не оказалось, потому что онъ жилъ обыкновенно въ Петербургѣ. Наконецъ, онъ былъ арестованъ и бумаги его задержаны; въ заключеніе же состоялся, приказъ, по которому Лермонтовъ переведенъ былъ прапорщикомъ въ нижегородскій драгунскій полкъ на Кавказѣ.

«Ссылка Лермонтова на Кавказъ, говоритъ А. Н. Муравьевъ, надѣлала много шума; на него смотрѣли какъ-на жертву и это быстро возвысило его поэтическую славу. Съ жадностію чатали его стихи съ Кавказа, который послужилъ для него источникомъ вдохновенія». Въ немъ начинали видѣть преемника Пушкину. Но съ другой стороны, за Лермонтовымъ стала утверждаться репутація «безпокойнаго человѣка»; власти повидимому съ этихъ поръ его не взлюбили, какъ человѣка, у котораго молодая пылкость не ограничивалась только взбалмошными подвигами, на которые тогдашнее начальство смотрѣло вообще сквозь пальцы, но была способна на смѣлую мысль и независимое общественное чувство.

Въ первое время послѣ ссылки на Кавказъ, имя Лермонтова стало опальнымъ, и одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній его, Пѣсня о Калашниковѣ, было напечатано только благодаря особому заступничеству Жуковскаго, который былъ въ восторгѣ отъ стихотворенія и далъ г. Краевскому письмо къ министру народнаго просвѣщенія. Уваровъ разрѣшилъ печатаніе на своей отвѣтственности, не позволивъ однако поставить имени Лермонтова, которое было замѣнено начальными буквами.

Ссылка была непродолжительна. 28 февраля 1837 года Лермонтовъ былъ переведенъ въ нижегородскій драгунскій полкъ прапорщикомъ, но уже вначалѣ 1838 года, вслѣдствіе хлопотъ своей бабушки, былъ возвращенъ въ гвардію, сначала въ гродненскій гусарскій полкъ, а съ 9 апрѣля—въ тотъ, гдѣ служилъ прежде. Вернувшись съ Кавказа, онъ имѣлъ, кажется, серьезное намѣреніе оставить службу, тѣмъ болѣе что высшее начальство не было расположено къ нему, но родные старались удержать его отъ этого. Оставшись на службѣ, поэтъ велъ жизнь чрезвычайно разсѣянную, слишкомъ свѣтскую, слишкомъ пустую.

О литературныхъ отношеніяхъ его за это время трудно сказать что нибудь опредѣленное; близкихъ отношеній этого рода у него было вѣроятно очень мало, потому ли что онъ, какъ и Пушкинъ, желалъ слыть за свѣтскаго человѣка, и не любилъ, когда на него смотрѣли какъ на литератора, или потому что предпочиталъ свою офицерскую компанію съ ея препровожденіями времени, или наконецъ потому что и въ своихъ литературныхъ отношеніяхъ не измѣнялъ своей обыкновенной манерѣ, т. е. не сближался съ литературнымъ кругомъ, отчасти изъ нѣсколько высокомѣрнаго чувства независимости, которое мѣшало ему высказываться, отчасти вѣроятно увлекаясь тономъ своего товарищества, довольно беззаботнаго на счетъ литературы.

Въ февралѣ 1840 года произошла дуэль Лермонтова съ Барантомъ, сыномъ извѣстнаго историка и французскаго посланника при русскомъ дворѣ. Столкновеніе, поведшее къ дуэли, случилось на балѣ у графини Лаваль, гдѣ Лермонтовъ былъ вызванъ Барантомъ за какія-то имъ будто бы сказанныя слова, въ которыхъ не хотѣлъ извиниться. Дуэль была сначала на шпагахъ, потомъ на пистолетахъ, и кончилась для Лермонтова небольшой царапиной; самъ онъ выстрѣлилъ на воздухъ.

Началось разслѣдованіе, во время котораго Лермонтовъ былъ арестованъ въ ордонансъ-гаузѣ, потомъ на арсенальной гауптвахтѣ (на Литейной). На слѣдствіи Лермонтовъ показалъ, и секундатъ его подтвердилъ, что на дуэли онъ сдѣлалъ свой

выстрѣлъ въ сторону — обстоятельство, которое могло имѣть вліяніе на мѣру взысканія, и было справедливо. Между тѣмъ Барантъ, услышавъ объ этомъ объясненіи, изъ котораго слѣдовало, что онъ не потерпѣлъ на дуэли только по великодушію противника, выразилъ свое неудовольствіе. Лермонтовъ услышавъ объ этомъ, пригласилъ Баранта, черезъ одного своего пріятеля, повидаться съ нимъ на гауптвахтѣ. Онъ успѣлъ тайкомъ устроить это свиданіе, подтвердилъ Баранту справедливость своего показанія и предложилъ ему другую дуэль по окончаніи своего ареста, за границею, куда хотѣлъ ѣхать съ наступленіемъ весны. Барантъ удовольствовался такимъ объясненіемъ, но Лермонтову это свиданіе было поставлено въ новую вину при разборѣ дѣла, которое прошло нѣсколько инстанцій различныхъ военныхъ начальствъ, опредѣлявшихъ болѣе или менѣе строгія наказанія. Наконецъ, по высочайшей резолюціи 13 апрѣля, онъ былъ переведенъ тѣмъ же чиномъ въ тенгинскій пѣхотный полкъ.

Прибывъ на Кавказъ къ мѣсту своего назначенія, Лермонтовъ отправился въ горы, въ экспедицію противъ чеченцевъ. Въ дѣлахъ противъ горцевъ онъ участвовалъ и прежде: въ 1837 году онъ находился въ экспедиціи за Кубанью, подъ начальствомъ генерала Вельяминова. Къ новой экспедиціи 1840 года, въ которой Лермонтовъ принималъ участіе, относится сраженіе подъ Валерикомъ, описанное въ поэмѣ этого названія.

Къ концѣ 1840 года ему разрѣшено было пріѣхать на нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ. Весною 1841 г., передъ послѣднимъ отъѣздомъ на Кавказъ, онъ пробылъ недолго и въ Москвѣ: къ этому времени относится знакомство съ нимъ Боденштедта, который сталъ впослѣдствіи переводчикомъ его стихотвореній на нѣмецкій языкъ и оставилъ о немъ любопытныя воспоминанія. Въ апрѣлѣ 1841 г. Лермонтовъ отправился въ послѣдній путь на Кавказъ, съ своимъ родственникомъ и давнишнимъ пріятелемъ Столыпинымъ.

По пріѣздѣ на Кавказъ, онъ взялъ отпускъ по болѣзни и по-

селился въ Пятигорскѣ. Здѣсь у него составился кружокъ близкихъ пріятелей, гдѣ кромѣ Столыпина, были М. П. Глѣбовъ, С. В. Трубецкой, кн. А. И. Васильчиковъ, который и прежде былъ нѣсколько знакомъ съ Лермонтовымъ.

Въ объясненіе характера поэта, какъ онъ образовался къ этому времени, кн. Васильчиковъ разсказываетъ слѣдующее: «Въ Лермонтовѣ было два человѣка: одинъ добродушный для небольшаго кружка ближайшихъ своихъ друзей и для тѣхъ немногихъ лицъ, къ которымъ онъ имѣлъ особенное уваженіе, другой—заносчивый и задорный для всѣхъ прочихъ его знакомыхъ. Къ этому первому разряду принадлежали въ послѣднее время его жизни прежде всѣхъ Столыпинъ (прозванный имъ же Монго), Глѣбовъ, бывшій его товарищъ по гусарскому полку, впослѣдствіи тоже убитый на дуэли, кн. Алекс. Ник. Долгорукій, декабристъ М. А. Назимовъ, и нѣсколько другихъ ближайшихъ его товарищей. Ко второму разряду принадлежалъ по его понятіямъ весь родъ человѣческій, и онъ считалъ лучшимъ своимъ удовольствіемъ подтрунивать надъ всякими мелкими и крупными странностями, преслѣдуя ихъ иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмѣшками». — Но кромѣ того, Лермонтовъ, по словамъ кн. Васильчикова, «былъ шалунъ въ полномъ ребяческомъ смыслѣ слова, и день его раздѣлялся на двѣ половины между серьезными занятіями и чтеніемъ, и такими шалостями, какія могутъ придти въ голову развѣ только 15-лѣтнему школьному мальчику»... И авторъ приводитъ нѣсколько подобныхъ анекдотовъ, гдѣ дѣйствительно была ребяческая, забавная, совершенно невинная шутка.

Какъ и многое въ біографіи Лермонтова, послѣдняя дуэль его не разъяснена вполнѣ. Изъ напечатанныхъ разсказовъ и данныхъ военно-суднаго дѣла извѣстно только въ общихъ чертахъ, что причиной дуэли была ссора Лермонтова съ отставнымъ майоромъ Мартыновымъ, однимъ изъ его знакомыхъ; но опредѣлительныхъ свѣдѣній о томъ, что̀ именно послужило предметомъ ссоры, кто изъ двухъ былъ не правъ, до сихъ поръ напе-

чатано еще не было. Когда въ недавнее время снова заговорили объ этой дуэли, то Мартыновъ, не смотря на двукратное приглашеніе печати, отказался высказаться; а кн. Васильчиковъ, на котораго онъ сослался, какъ на одного изъ ближайшихъ свидѣтелей дѣла, дѣйствительно напечаталъ защитительную статью въ пользу Мартынова, но и эта статья не дала удовлетворительнаго разъясненія.

Живя въ Пятигорскѣ, Лермонтовъ встрѣчался съ Мартыновымъ въ домѣ генеральши Верзилиной, которая жила тамъ, во время минеральнаго сезона, съ тремя дочерьми; въ ихъ домѣ собиралась военная молодежь изъ посѣтителей водъ. На одномъ изъ вечеровъ, Лермонтовъ, вообще не сдерживавшій своего остроумія, сказалъ какую-то шутку, болѣе или менѣе острую, на счетъ Мартынова, въ присутствіи дамъ. Это было уже не въ первый разъ, и Мартыновъ, какъ говорятъ, предупредилъ Лермонтова, что эти шутки ему не нравятся. По разсказу кн. А. . Васильчикова, другіе, въ томъ числѣ и онъ не разслышали, что сказалъ Лермонтовъ; но выходя изъ дома на улицу, Мартыновъ подошелъ къ Лермонтову и сказалъ ему очень тихимъ и ровнымъ голосомъ по французски: «вы знаете, Лермонтовъ, что я очень часто терпѣлъ ваши шутки, но не люблю, чтобы ихъ повторяли при дамахъ», на что Лермонтовъ такимъ же спокойнымъ тономъ отвѣчалъ: «а если не любите, то потребуйте у меня удовлетворенія», и затѣмъ между ними ничего больше не было ни въ этотъ вечеръ, ни въ послѣдующіе дни. Кн. Васильчиковъ увѣряетъ, что ближайшіе друзья Лермонтова считали эту ссору совершенно пустою и ничтожною, и до послѣдней минуты думали, что она кончится примиреніемъ.

По другому же разсказу, въ ссорѣ было замѣшано личное соперничество. Одна изъ дочерей г-жи Верзилиной, большая красавица, интересовала, говорятъ, обоихъ, кокетничала съ Лермонтовымъ, но отдавала предпочтеніе Мартынову. Онъ, какъ говорятъ, «выдѣлялся изъ круга молодежи тѣми физиче-

скими достоинствами, которыя такъ нравятся женщинамъ, а именно: высокимъ ростомъ, выразительными чертами лица и стройностью фигуры; носилъ бѣлый шелковый бешметъ и суконную черкесску, рукава которой любилъ засучивать; взглядъ его былъ смѣлъ; вся фигура, манеры и жесты полны были удали и молодечества. Нисколько не удивительно, если Лермонтовъ, при всемъ дружественномъ къ нему расположеніи, всей силой своего сарказма нещадно бичевалъ его невыносимую заносчивость... Мартыновъ, говорятъ, долго искалъ случая придраться къ Лермонтову—и случай выпалъ: сказанная послѣднимъ на роковомъ вечерѣ у Верзилиныхъ острота, по поводу пристрастія Мартынова къ засученнымъ рукавамъ, была признана имъ за casus belli».

Въ своемъ показаніи на судѣ, Мартыновъ говорилъ, что еще недѣли за три, онъ высказалъ Лермонтову, какъ непріятны ему шутки и насмѣшки, «при выходѣ изъ того дома, онъ удержалъ Лермонтова за руку и пошелъ съ нимъ рядомъ; тутъ онъ сказалъ Лермонтову, что уже просилъ его прекратить эти несносныя шутки и теперь предупреждаетъ, что если онъ еще разъ вздумаетъ выбрать его предметомъ своей остроты, то онъ, Мартыновъ, заставитъ его перестать. Лермонтовъ, не давъ ему кончить, сказалъ, что ему тонъ этой проповѣди не нравится, что Мартыновъ не можетъ запретить ему говорить про него то, что онъ хочетъ, и въ заключеніе, сказалъ: «вмѣсто пустыхъ угрозъ ты гораздо бы лучше сдѣлалъ, если бы дѣйствовалъ; ты знаешь, что я отъ дуэли никогда не отказываюсь, слѣдовательно ты никого этимъ не испугаешь». Въ это время оба они подошли къ дому Лермонтова, и Мартыновъ сказалъ ему, что въ такомъ случаѣ пришлетъ къ нему своего секунданта.

Всѣ усилія помирить противниковъ остались напрасны и дуэль произошла черезъ два дня, 15 іюля. Она была назначена въ $6^1/_2$ часовъ вечера. Барьеръ былъ отмѣренъ въ 15 шаговъ и отъ него въ обѣ стороны еще по 10 шаговъ. Мартыновъ и Лермонтовъ стали на крайнихъ точкахъ. По условію дуэли, каждый изъ нихъ имѣлъ право стрѣлять, когда ему вздумается,

стоя на мѣстѣ или подходя къ барьеру. Когда секунданты скомандовали сходиться, Лермонтовъ остался неподвижненъ, и взведя курокъ, поднялъ пистолетъ дуломъ вверхъ; Мартыновъ же быстрыми шагами подошелъ къ барьеру и, по словамъ князя Васильчикова, такъ долго цѣлился, что секунданты закричали ему: «стрѣляйте! или мы васъ разведемъ». Мартыновъ выстрѣлилъ—Лермонтовъ упалъ мертвымъ, какъ будто его скосило на мѣстѣ, пуля ударила въ правый бокъ на вылетъ.

Послѣ дуэли, разсказываютъ по мѣстнымъ преданіямъ, Глѣбовъ явился къ пятигорскому коменданту, чтобы увѣдомить его о происшествіи. Тотъ сначала совершенно растерялся, но наконецъ приказалъ арестовать Мартынова; а тѣло было отвезено на квартиру и тамъ было подвергнуто медицинскому свидѣтельству. По разсказу же кн. Васильчикова, Глѣбовъ оставался при убитомъ, а кн. Васильчиковъ поѣхалъ въ городъ за докторомъ и ни одного не могъ добыть—всѣ ссылались на дурную погоду; Мартыновъ самъ съ мѣста дуэли отправился къ коменданту, объявить о случившемся.

Пятигорское духовенство сначала затруднялось относительно погребенія Лермонтова по христіанскому обряду, какъ говорятъ, потому что нѣсколько вліятельныхъ личностей, находившихся тогда въ Пятигорскѣ и не любившихъ Лермонтова за его злой языкъ, внушали, что убитый на дуэли тотъ же самоубійца и что едва ли высшее начальство взглянетъ благопріятно на похороны такого человѣка.

Разсказываютъ также, что когда въ день дуэли позднимъ вечеромъ привезли тѣло Лермонтова на квартиру, домъ и дворъ переполнились народомъ; было слышно даже нѣсколько такихъ озлобленныхъ голосовъ противъ Мартынова, что не будь онъ арестованъ, ему грозила бы опасность. Это чувство раздѣлялъ и А. П. Ермоловъ, который, много лѣтъ спустя, говорилъ Погодину, что отправилъ бы Мартынова въ экспедицію и по часамъ разсчиталъ бы, сколько ему осталось жить.

Лермонтовъ былъ похороненъ на кладбищѣ въ Пятигорскѣ, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ гробъ его перевезенъ былъ въ

деревню Тарханы (Пензенской губ.), гдѣ и былъ воздвигнутъ ему памятникъ. Мѣсто его временнаго погребенія на пятигорскомъ кладбищѣ забыто; кажется, оно отошло подъ выстроенную впослѣдствіи церковь; камень, лежавшій на этой могилѣ, также исчезъ.

Имуществу, оставшемуся послѣ Лермонтова, сдѣлана была опись. Оно было взято другомъ и родственникомъ поэта А. А. Столыпинымъ и передано его бабушкѣ. Въ этой описи упомянуты слѣдующія бумаги Лермонтова: «собственныхъ сочиненій покойнаго на разныхъ лоскуткахъ бумаги, кусковъ—7; писемъ разныхъ лицъ и отъ родныхъ—17; книга на черновыя сочиненія, подаренная покойному княземъ Одоевскимъ въ кожаномъ переплетѣ—1, и карманная книжка маленькая—1».

Извѣстіе о смерти Лермонтова было тогда сообщено въ формѣ такого свѣдѣнія изъ Пятигорска: «15 іюля, около 5-ти часовъ вечера, разразилась ужасная буря съ молніею и громомъ: въ это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался лечившійся въ Пятигорскѣ М. Ю. Лермонтовъ.»

—

Въ заключеніе мы помѣщаемъ, въ сокращенномъ изложеніи М. Л. М—ва, лучшую до сихъ поръ характеристику Лермонтова, сдѣланную Боденштедтомъ и далеко оставляющую за собою всѣ недавнія характеристики лже-друзей Лермонтова, которые мѣрили поэта своей личной, ничтожной мѣркою:

Немногіе поэты съумѣли, подобно Лермонтову, остаться во всѣхъ обстоятельствахъ жизни вѣрными искусству и самимъ себѣ. Выросшій среди общества, гдѣ лицемѣріе и ложь считаются признаками хорошаго тона, Лермонтовъ, до послѣдняго вздоха, остался чуждъ всякой лжи и притворства.—Не смотря на то, что онъ много потерпѣлъ отъ ложныхъ друзей, и что тревожная кочевая жизнь не разъ вырывала его изъ объятій истинной дружбы, онъ оставался неизмѣнно вѣренъ своимъ друзьямъ, и въ счастіи, и въ несчастіи; но за то былъ непримиримъ въ ненависти. А онъ имѣлъ право ненавидѣть; имѣлъ его болѣе, нежели кто либо. — Что внутренно возвышало его, было ору-

діемъ противъ него извнѣ. Но онъ не переставалъ чтить Бога, жившаго въ его сердцѣ.... Оскорбленный въ томъ, что казалось ему святымъ; въ разладѣ со всѣмъ окружающимъ; преслѣдуемый, когда начиналъ говорить; подозрѣваемый, когда молчалъ; окруженный со всѣхъ сторонъ непріязнью, и неспособный подавлять надолго свои мысли и чувства, онъ могъ вполнѣ и беззавѣтно довѣряться только поэзіи. Она утѣшала и вознаграждала его за житейскія разочарованія и лишенія. — Онъ былъ счастливъ только, когда творилъ; а творить онъ могъ только въ минуты вдохновенія — что бы ни вдохновляло его: радость, горе, негодованіе, отчаяніе, или гордое сознаніе своей силы. Но безъ этого побужденія, безъ истиннаго душевнаго порыва, онъ никогда не бросался въ объятія музы, такъ что всѣ его произведенія могутъ назваться написанными на случай, Gelegenheits-Gedichte — въ томъ смыслѣ, какой придавалъ этому названію Гёте.—Неопредѣленные, заоблачные сны фантазіи были ему совершенно чужды; куда ни обращалъ онъ глаза, къ небу ли или къ аду, онъ всегда отыскивалъ прежде твердую точку опоры на землѣ. — Вотъ этимъ-то свойствомъ, да кромѣ того тѣмъ, что Лермонтовъ въ совершенствѣ владѣлъ языкомъ и былъ одаренъ тонкою наблюдательностью, объясняется необыкновенная вѣрность, точность и жизненная свѣжесть его изображеній въ эпическихъ стихотвореніяхъ. Тою же самою художественною правдою проникнуты и его лирическія изліянія, всегда служащія вѣрнымъ отраженіемъ настроенія его души. Вдохновеніе врывалось внезапно, какъ солнечный лучъ, въ его мрачную жизнь, соединяло въ одномъ фокусѣ и мысль его и чувство, и вспыхивали чудные стихи.—Это приближеніе вдохновенія, отраду этихъ минутъ, и облегченіе, слѣдующее за ними, онъ нерѣдко выражалъ въ своихъ стихахъ; такъ напримѣръ, въ началѣ «Измаилъ-Бея», онъ говоритъ:

Опять явилось вдохновенье
Душѣ безжизненной моей,
И превращаетъ въ пѣснопѣнье
Тоску, развалину страстей. . . .

И такъ, если подводить Лермонтова подъ литературную классификацію, то по всему сказанному, его слѣдуетъ причислить къ субъективнымъ поэтамъ, такъ какъ главнымъ содержаніемъ всѣхъ его поэтическихъ созданій — его собственная нравственная личность, и за немногими исключеніями даже тамъ, гдѣ онъ изображаетъ постороннія лица и обстоятельства, повсюду легко узнать его собственныя мысли и чувства. Впрочемъ, въ отношеніи Лермонтова, слово «субъективный» въ школьномъ значеніи, какое придаютъ ему наши эстетики, вовсе не можетъ служить окончательнымъ опредѣленіемъ. Хотя онъ и выдавалъ вполнѣ самого себя въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, со всѣми темными и свѣтлыми сторонами своего характера, хотя и изображалъ, въ своихъ повѣствовательныхъ произведеніяхъ, большею частью такихъ героевъ, которыхъ могъ надѣлить своими собственными мыслями и чувствами, какъ напримѣръ въ «Мцыри», въ «Измаилъ-Беѣ» и частію въ «Демонѣ»— но довольно уже одной его «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалаго купца Калашникова», чтобы убѣдиться, въ какой степени Лермонтовъ могъ быть и поэтомъ объективнымъ. — Къ сожалѣнію, въ бурной и короткой жизни его было ему для этого слишкомъ мало времени и покоя. — Онъ никогда впрочемъ не могъ противостоять своимъ художественнымъ порывамъ и стремленіямъ, точно также, какъ никогда не могъ подавлять своего справедливаго негодованія и скрывать свои воззрѣнія на жизнь и на людей, развитыя въ немъ его судьбою и не находившія сочувствія. Все это естественно привело его къ тому смѣшанному роду поэзіи, гдѣ эпическое и лирическое, шутка и серьезное, дѣйствіе и рефлексія, античное чувство изящнаго и разорванность и ѣдкая иронія современнаго человѣка — идутъ рука объ руку; тотъ родъ поэзіи, первымъ верховнымъ жрецомъ котораго былъ Байронъ...

Много было говорено о вліяніи Байрона на Лермонтова. Отрицать это вліяніе невозможно; оно отразилось не только на Лермонтовѣ, но уже и на великомъ предшественникѣ его, Пушкинѣ, какъ и вообще на всей новѣйшей славянской поэзіи.—

Одинъ русскій критикъ очень мѣтко говоритъ по этому поводу: «Близкое знакомство съ сильною симпатическою натурой не можетъ не произвести на насъ впечатлѣнія и не сдѣлать насъ зрѣлѣе. Одно уже подтвержденіе того, что̀ живетъ въ нашемъ сердцѣ, дорого̀ю для насъ личностью, сообщаетъ намъ болѣе силы, болѣе увѣренности. Но отъ этого вліянія, отъ этого естественнаго воздѣйствія одного великаго поэта на другаго до подражанія—цѣлая бездна».

Въ Лермонтовѣ демоническій элементъ поэзіи объясняется естественнѣе, нежели въ Байронѣ... Байрону предстояло бороться только съ тою ложью, съ тѣмъ лицемѣріемъ, надъ которыми плакались мудрецы и пророки всѣхъ странъ и временъ. Онъ могъ громко возвышать противъ нихъ свой голосъ; могъ бороться съ безуміемъ, срывать личину съ лицемѣрія, поражать ложь острымъ мечемъ истины.—Но Лермонтовъ, со своимъ врожденнымъ стремленіемъ къ прекрасному, которое безъ добра и истины не можетъ существовать, очутился совершенно одинъ въ чуждомъ его мірѣ... Окружавшіе его люди не понимали его или не смѣли понимать, и такимъ образомъ онъ находился въ постоянной опасности ошибиться въ самомъ себѣ или въ человѣчествѣ....

Случайности жизни Лермонтова не должны быть упускаемы изъ вида при точной оцѣнкѣ его произведеній. Ими многое объясняется и многое оправдывается. Поэтическій стонъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ производитъ на насъ совсѣмъ иное впечатлѣніе, нежели бьющая на эффектъ зѣвота скучающаго риѳмача, или чувствительныя, лебединыя пѣсни плаксивыхъ ханжей.

Не спорю, что въ сильныхъ строфахъ Лермонтова звучатъ по временамъ диссонансы; что не одно жосткое слово, не одинъ рѣзкій образъ могли бы быть выпущены изъ нихъ. Но гдѣ же такой садъ поэзіи, гдѣ не росло бы сорныхъ травъ?...

Справедливость требуетъ замѣтить, что случайные недостатки стиховъ Лермонтова рѣдко могутъ быть поставлены въ упрекъ самому поэту, потому что и въ свѣтлыя, и въ мрачныя минуты вдохновенія, онъ искалъ только словъ, чтобы излить его, вовсе не думая выходить съ нимъ на судъ публики.

У него изъ глубины души вылились стихи:

«...Кто съ гордою душою
Родился, тотъ не требуетъ вѣнца:
Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца;
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла,
Какъ небеса безъ тучъ и безъ свѣтила!»

Самъ Лермонтовъ издалъ, какъ извѣстно, относительно лишь самую малую часть своихъ произведеній, да и тѣ были, можно сказать, вырваны у него его друзьями, чтобы попасть въ печать. Всѣхъ причинъ этого упрямства никто не могъ бы объяснить...

Постоянныя неудачи въ жизни производятъ совершенно различное дѣйствіе на твердые и на слабые характеры:

...Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Характеръ Лермонтова былъ самаго крѣпкаго закала, и чѣмъ грознѣе падали на него удары судьбы, тѣмъ болѣе становился онъ твердымъ.—Онъ не могъ противостоять преслѣдовавшей его судьбѣ; но въ то же время не хотѣлъ ей покориться. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы одолѣть ее; но и слишкомъ гордъ, чтобы позволить одолѣть себя. — Вотъ причина того пылкаго негодованія, того бурнаго безпокойства во многихъ стихотвореніяхъ его, въ которыхъ отражаются — какъ въ кипящемъ подъ грозою морѣ, при свѣтѣ молній—и небо и земля. Вотъ причина также и его раздражительности и желчи, которыми онъ въ своей жизни часто отталкивалъ отъ себя лучшихъ друзей и давалъ поводъ къ дуэлямъ. Первая изъ этихъ дуэлей привела его къ долгому заточенію, а послѣдняя къ преждевременной смерти.

Не берусь рѣшить, что именно подало поводъ къ этой послѣдней дуэли; неосторожныя ли остроты и шутки Лермонтова, какъ говорятъ нѣкоторые, вызвали ее, или, какъ утверждаютъ другіе, то ли, что противникъ его принялъ на свой счетъ нѣкоторые намеки въ романѣ «Герой нашего времени», и оскорбился ими, какъ касавшимися притомъ и его семейства. Въ

этомъ послѣднемъ смыслѣ слышалъ я эту исторію отъ секунданта Лермонтова, Глѣбова, который и закрылъ глаза своему убитому другу.

Очень вѣроятно, что Лермонтовъ, обрисовавшій себя немножко яркими красками въ главномъ героѣ этого романа, списалъ съ натуры и другихъ дѣйствующихъ лицъ, такъ что прототипамъ ихъ не трудно было узнать себя.

Книга написана прекрасною прозою, полна глубокой мысли и представляетъ превосходный коментарій къ стихамъ «Думы»:

> Печально я гляжу на наше поколѣнье:
> Его грядущее или пусто, или темно.

Въ концѣ этого романа описывается дуэль, въ которой тотъ, кому первому предстоитъ подвергнуться выстрѣлу противника, долженъ стать на краю обрыва, чтобы въ случаѣ раны немедленно упасть туда на вѣрную смерть: по странному сближенію, почти точно такимъ же образомъ умеръ впослѣдствіи самъ Лермонтовъ.—Это поразительное сходство положеній объясняется тѣмъ, что Лермонтовъ былъ по убѣжденію отъявленнымъ врагомъ дуэли; но единожды доведенный до нея, не могъ уже сдѣлать изъ нея дѣтской шутки, или рисковать подвергнуться одному увѣчью. Поэтому онъ и принялъ такія мѣры, чтобы одинъ изъ двухъ неизбѣжно остался на мѣстѣ. — У него была твердость заклеймить дуэль, какъ отвратительнѣйшее порожденіе человѣческой глупости, но не достало твердости отказаться отъ этой глупости. Онъ ея не искалъ, но и не уклонился отъ нея, отъ этой «отваги дерзости слѣпой». Онъ предпочелъ впрочемъ сознательно выказать такую слѣпую дерзость, чѣмъ отстраниться отъ мнѣній и толковъ людей, которыхъ презиралъ отъ всей души. Въ его жизни было много подобныхъ странностей, но всѣ онѣ истекаютъ изъ одного источника—изъ его страданій, и большею частію могутъ быть оправданы ими.

Невозможно, чтобы человѣкъ при подобныхъ обстоятельствахъ не сбивался иногда съ дороги. Проницательный умъ указываетъ мудрецу людскія глупости, но не всегда предосте-

регаетъ его отъ нихъ, и не можетъ совершенно уберечь его отъ вліяній окружающей среды.

Произнося судъ надъ умомъ, выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ умовъ, слѣдуетъ брать мѣриломъ не то, что въ немъ есть общаго съ толпою, которая стоитъ ниже его, а то, что отличаетъ его отъ этой толпы и возвышаетъ надъ нею.

Недостатки Лермонтова были недостатками всего свѣтскаго молодаго поколѣнія въ Россіи; но достоинствъ его не было ни у кого. Вѣрнѣйшее изображеніе его личности все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ, гдѣ онъ выказывается вполнѣ такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться. Не надо понимать этого въ дурномъ смыслѣ: если Лермонтовъ и надѣвалъ маску, то надѣвалъ не съ злымъ намѣреніемъ. Онъ былъ несчастливъ, но слишкомъ гордъ, чтобы выказывать свое несчастіе — и потому пряталъ свои страданія подъ личиною веселости, и самыя ѣдкія остроты его отзываются солью слезъ:

«Klagt nicht ob meinen Leiden
In diesen Kerkermauern —
Ich lasse euch eure Freuden
Und schenke euch euer Bedauern!» *

Чтобы дать хотя слабое понятіе о томъ впечатлѣніи, какое производила личность Лермонтова, я хочу разсказать о моихъ первыхъ встрѣчахъ съ нимъ, на сколько онѣ сохранились у меня въ памяти. Къ сожалѣнію, мнѣ рѣдко удавалось вести правильный дневникъ во время моего пребыванія въ Россіи; не удавалось: во первыхъ, потому что я пишу кропотливо и тяжело, и мнѣ нужно не мало досуга для собранія во-едино своихъ впечатлѣній; во вторыхъ, потому что моя — можетъ быть излишняя — осторожность оставляла въ моей записной книжкѣ лишь самую слабую помощь моей памяти, только имена и числа.

Зимою 1840—41 года, въ Москвѣ, передъ послѣднимъ отъ-

* «Не жалѣйте о моихъ страданіяхъ въ этой тюрьмѣ! Я предоставляю вамъ ваши радости, и дарю вамъ ваше состраданіе».

ѣздомъ Лермонтова на Кавказъ, случилось мнѣ обѣдать, въ одинъ пасмурный, хотя и праздничный день, съ Павломъ О., очень умнымъ молодымъ русскимъ. Обѣдали мы въ одномъ французскомъ ресторанѣ, который посѣщала въ то время вся знатная московская молодежь. — Во время обѣда къ намъ присоединилось еще нѣсколько знакомыхъ и, между прочимъ, одинъ молодой князь, замѣчательно красивой наружности и довольно ограниченнаго ума, но большой добрякъ. Онъ позволялъ потѣшаться надъ собою и добродушно сносилъ всѣ остроты, которыя другіе отпускали на его счетъ.—Легкая шутливость, искрящееся остроуміе, быстрая смѣна противоположныхъ предметовъ въ разговорѣ — однимъ словомъ, весь такъ называемый esprit français, такъ же свойственъ большей части знатныхъ русскихъ, какъ и французскій языкъ. — Мы были уже за шампанскимъ. Снѣжная нѣна лилась черезъ край стакановъ, и черезъ край лились изъ устъ моихъ собесѣдниковъ то плохія, то мѣткія остроты. Въ то время мнѣ не было еще двадцати двухъ лѣтъ; я былъ свѣжимъ и толстощекимъ, довольно неловкимъ и сентиментальнымъ юношей; я больше слушалъ, чѣмъ говорилъ, и вѣроятно казался нѣсколько страннымъ среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

— А! Михаилъ Юрьичъ! вскричали двое-трое изъ моихъ собесѣдниковъ при видѣ только что вошедшаго молодаго офицера. Онъ привѣтствовалъ ихъ короткимъ: «здравствуйте», слегка потрепалъ О. по плечу и обратился къ князю со словами: — Ну, какъ поживаешь, умникъ?

У вошедшаго была гордая, непринужденная осанка, средній ростъ и замѣчательная гибкость движеній. Вынимая, при входѣ, носовой платокъ, чтобы обтереть мокрые усы, онъ выронилъ на полъ бумажникъ или сигарочницу и при этомъ нагнулся съ такою ловкостью, какъ будто былъ вовсе безъ костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки. — Гладкіе, бѣлокурые, слегка вьющіеся по обѣимъ сторонамъ волосы оставляли совершенно открытымъ необыкновенно высокій лобъ. Большіе, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали

въ насмѣшливой улыбкѣ, игравшей на красиво очерченныхъ губахъ молодаго человѣка. — Одѣтъ онъ былъ не въ парадную форму: на шеѣ небрежно повязанъ черный платокъ; военный сюртукъ не новъ и не до верху застегнутъ, и изъ-подъ него виднѣлось ослѣпительной свѣжести бѣлье. Эполетъ на немъ не было.—Мы говорили до тѣхъ поръ по французски, и О. представилъ меня на томъ же діалектѣ вошедшему. Обмѣнявшись со мною нѣсколькими бѣглыми фразами, офицеръ сѣлъ съ нами обѣдать. При выборѣ кушаньевъ и въ обращеніи къ прислугѣ, онъ употреблялъ выраженія, которыя въ большомъ ходу у многихъ, чтобъ не сказать у всѣхъ, русскихъ, но которыя въ устахъ новаго гостя непріятно поражали меня. Поражали, потому что гость этотъ былъ — Михаилъ Лермонтовъ. Эти выраженія иностранецъ прежде всего выучиваетъ въ Россіи, ибо слышитъ ихъ повсюду и безпрестанно; но ни одинъ порядочный человѣкъ — кромѣ развѣ грека или турка, у которыхъ у самихъ въ ходу точь въ точь такія выраженія—не рѣшится написать ихъ въ переводѣ на свой родной языкъ.

Во время обѣда я замѣтилъ, что Лермонтовъ не пряталъ подъ столъ своихъ нѣжныхъ, выхоленныхъ рукъ. Отвѣдавъ нѣсколькихъ кушаньевъ и осушивъ два стакана вина, онъ сдѣлался очень разговорчивъ и, надо полагать, много острилъ, такъ какъ слова его были нѣсколько разъ прерываемы громкимъ хохотомъ. Къ сожалѣнію, для меня его остроты оставались непонятными, такъ какъ онъ нарочно говорилъ по русски и къ тому же чрезвычайно скоро, а я въ то время недостаточно хорошо понималъ русскій языкъ, чтобы слѣдить за разговоромъ. Я замѣтилъ только, что остроты его часто переходили въ личности; но получивъ раза два мѣткій отпоръ отъ О., онъ разсчелъ за лучшее упражняться только надъ молодымъ княземъ.

Нѣкоторое время тотъ добродушно переносилъ шпильки Лермонтова; но наконецъ и ему уже стало не въ мочь, и онъ съ достоинствомъ умѣрилъ его пылъ, показавъ, что при всей

ограниченности ума, сердце у него тамъ же, гдѣ и у другихъ людей. — Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что онъ обидѣлъ князя, своего товарища, и онъ всѣми силами старался помириться съ нимъ, въ чемъ скоро и успѣлъ.

Я уже зналъ и любилъ тогда Лермонтова по собранію его стихотвореній, вышедшему въ 1840 г., но въ этотъ вечеръ онъ произвелъ на меня столь невыгодное впечатлѣніе, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись съ нимъ. Весь разговоръ, съ самаго его прихода, звенѣлъ у меня въ ушахъ, какъ будто кто нибудь скребъ по стеклу.—Я никогда не могъ, можетъ быть во вреду моему, сдѣлать первый шагъ къ сближенію съ задорнымъ человѣкомъ, какое бы онъ ни занималъ мѣсто въ обществѣ; никогда не могъ извинять шалостей знаменитыхъ и геніальныхъ людей, только во имя ихъ знаменитости и геніальности. Я часто убѣждался, что можно быть основательнымъ ученымъ, поэтомъ или писателемъ, и въ то же время невыносимымъ человѣкомъ въ обществѣ. У меня правило основывать мое мнѣніе о людяхъ на первомъ впечатлѣніи; но въ отношеніи Лермонтова мое первое, непріятное впечатлѣніе вскорѣ совершенно изгладилось пріятнымъ.

Не далѣе, какъ на слѣдующій же вечеръ, встрѣтивъ снова Лермонтова въ салонѣ г-жи Мятлевой, я увидѣлъ его въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ. Лермонтовъ вполнѣ умѣлъ быть милымъ.—Отдаваясь кому нибудь, онъ отдавался отъ всего сердца; только едва ли это съ нимъ часто случалось. Въ самыхъ близкихъ и прочныхъ дружественныхъ отношеніяхъ находился онъ съ умною графинею Ростопчиной, которой было бы, поэтому, легче нежели кому либо дать вѣрное понятіе о его характерѣ. — Людей же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обаятельныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ онъ могъ быть въ то же время кротокъ и нѣженъ какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задумчивое, часто грустное настроеніе. — Серьезная мысль была

главною чертою его благороднаго лица, какъ и всѣхъ значительнѣйшихъ его твореній, къ которымъ его легкія, шутливыя произведенія относятся, какъ его насмѣшливый, тонко-очерченный ротъ, къ его большимъ, полнымъ думы глазамъ. — Многіе изъ соотечественниковъ Лермонтова раздѣляли съ нимъ его прометеевскую участь, но ни у одного изъ нихъ страданія не вырвали такихъ драгоцѣнныхъ слезъ, которыя служили ему облегченіемъ при жизни и дали ему неувядаемый вѣнокъ по смерти.

Чтобы точнѣе опредѣлить значеніе Лермонтова въ русской и во всемірной литературѣ, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что онъ выше всего тамъ, гдѣ становится наиболѣе народнымъ, и что высшее проявленіе этой народности (какъ «Пѣсня о царѣ Иванѣ Васильевичѣ») не требуетъ ни малѣйшаго коментарія, чтобы быть понятною для всѣхъ. Это тѣмъ замѣчательнѣе, что описываемые въ ней нравы и частности столь же чужды для не русскихъ, какъ и выбранный поэтомъ стихотворный размѣръ стиха, сдѣлавшійся извѣстнымъ въ Германіи только по нѣкоторымъ моимъ переводнымъ опытамъ, а въ Россіи имѣющій почти то же значеніе, какъ у насъ строфа «Пѣсни о Нибелунгахъ». — Поэма Лермонтова, въ которой видна поистинѣ гомеровская вѣрность, сила и простота, произвела сильнѣйшее впечатлѣніе во многихъ германскихъ городахъ, гдѣ ее читали публично...

Изъ другихъ произведеній Лермонтова, русскіе критики отдаютъ преимущество «Мцыри», котораго и нашъ Робертъ Прутцъ справедливо считаетъ «драгоцѣннымъ перломъ» поэзіи. *

Лермонтовъ имѣетъ то общее съ великими писателями всѣхъ временъ, что творенія его вѣрно отражаютъ его время, со всѣми его дурными и хорошими особенностями, со всею его мудростью и глупостью, и что они имѣли въ виду бороться съ этими дурными особенностями и съ этою глупостью. — Но

---

* Самъ Боденштедтъ отдаетъ преимущество передъ Мцыри — «Измаилъ-Бею».

нашъ поэтъ отличается отъ своихъ предшественниковъ и современниковъ тѣмъ, что далъ болѣе широкій просторъ въ поэзіи картинамъ природы, и въ этомъ отношеніи онъ стоитъ нанедосягаемой высотѣ. —Онъ рѣшилъ своими изображеніями трудную задачу—удовлетворить въ одно и то же время и естество испытателя и эстетика. Рисуетъ ли онъ передъ нами исполинскія горы многовершиннаго Кавказа, гдѣ взоръ подымаясь кверху, теряется въ снѣжныхъ облакахъ и, опускаясь внизъ, тонетъ въ безднѣ; или горный потокъ, то клубящійся подъ утесомъ, на которомъ страшно стоять дикой козѣ, то свѣтло ниспадающій, «какъ согнутое стекло», въ пропасть, гдѣ сливается съ новыми ручьями и вновь выходитъ на свѣтъ; описываетъ ли онъ намъ горные аулы и лѣса Дагестана, или испещренныя цвѣтами долины Грузіи; указываетъ ли намъ на облака, бѣгущія «степью лазурною, цѣпью жемчужною», или на коня, несущагося по синей, безконечной степи; воспѣваетъ ли онъ священную тишину лѣсовъ, или буйный громъ битвы—онъ всегда и во всемъ остается вѣренъ природѣ до малѣйшихъ подробностей. Всѣ эти картины возстаютъ передъ нами въ жизненно-ясныхъ краскахъ, и въ то же время отъ нихъ вѣетъ какою-то таинственною поэтическою прелестью, какъ будто дѣйствительнымъ благоуханіемъ и свѣжестью этихъ горъ, цвѣтовъ, луговъ и лѣсовъ.

Борьба Мцыри съ тигромъ, кулачный бой на Москвѣ-рѣкѣ, сцены битвы въ «Измаилъ-Беѣ», картины, въ родѣ слѣдующей:

Шумитъ Аргуна мутною водой и проч. (т. I, стр. 27).

или Погасъ, блѣднѣя, день осенній и проч. (т. I, стр. 15).

или такія мѣста, какъ то, когда Хаджи-Абрекъ вскакиваетъ на коня съ окровавленною головою Леилы:

Послушный конь его, объятый
Внезапно страхомъ неземнымъ,
Храпитъ и пѣнится подъ нимъ;
Щетиной грива; ржетъ и пышетъ,
Грызетъ стальные удила,
Ни словъ, ни повода не слышитъ,
И мчится въ горы какъ стрѣла...

и безчисленное множество другихъ мѣстъ изъ его кавказскихъ стихотвореній — все это высочайшія красоты поэзіи.

Два замѣчательнѣйшихъ ученыхъ новѣйшаго времени — Александръ Гумбольдъ въ своемъ «Космосѣ» и Христіанъ Эрстедъ въ своемъ разсужденіи объ отношеніи естествознанія къ поэзіи — указываютъ, какъ на настоятельное требованіе нашего времени, на болѣе обширное приложеніе въ области изящнаго современныхъ открытій и изслѣдованій природы.—Гумбольдтъ говоритъ: если такъ называемая «описательная поэзія», какъ отдѣльная и самостоятельная форма искусства, заслуживаетъ справедливаго порицанія, то это еще не значитъ, чтобы такое же порицаніе вызывали серьезныя старанія обобщать, посредствомъ изобразительной силы поэтическаго слова, результаты новѣйшаго, богатаго глубокимъ интересомъ изученія природы. Неужто мы пренебрежемъ средствомъ, которое можетъ представить намъ живую картину отдаленныхъ, другими изслѣдованныхъ странъ, и даже доставить намъ часть того наслажденія, какое находимъ мы въ непосредственномъ созерцаніи природы? Метафора арабовъ, говорящихъ, что лучшее описаніе есть то, которое «превращаетъ слухъ нашъ въ зрѣніе», полна смысла. Наше время страждетъ несчастною склонностью къ реторической, лишенной содержанія прозѣ, къ пустотѣ такъ называемыхъ чувствительныхъ изліяній, склонностью, обуявшею разомъ, во многихъ странахъ, достойныхъ путешественниковъ и естествоописателей. Изображенія природы, повторяю, могутъ оставаться научно-точными и вполнѣ опредѣленными, не теряя оживляющей ихъ силы изображенія.

Стоитъ прочесть цѣликомъ упомянутыя сочиненія, чтобы убѣдиться, что Лермонтовъ выполнилъ въ своихъ стихотвореніяхъ большую часть того, что эти великіе ученые признаютъ потребностью нашего времени, и чего такъ живо желаютъ.— Пусть назовутъ мнѣ хоть одно изъ множества толстыхъ географическихъ, историческихъ и другихъ сочиненій о Кавказѣ, изъ котораго можно бы живѣе и вѣрнѣе познакомиться съ характеристическою природой этихъ горъ и ихъ населенія неже-

ли изъ которой нибудь поэмы Лермонтова, гдѣ мѣсто дѣйствія происходитъ на Кавказѣ....

Поэтическій геній Пушкина выразился въ его зрѣлѣйшихъ произведеніяхъ съ такою мощью и такъ самостоятельно-народно, что молодые поэты не могли не подчиниться его обаятельному вліянію, и оно было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ даровитѣе была натура поэта, какъ напримѣръ у Лермонтова.

Лермонтовъ явился достойнымъ послѣдователемъ своего великаго предшественника: онъ съумѣлъ извлечь пользу, для себя и для народа, изъ его богатаго наслѣдства, не впадая въ рабское подражаніе. Онъ выучился у Пушкина простотѣ выраженія и чувству мѣры; онъ подслушалъ у него тайну поэтической формы. Нѣкоторыя изъ его первыхъ лирическихъ стихотвореній, какъ напримѣръ «Вѣтка Палестины», — невольно напоминаютъ Пушкина; нѣкоторое внѣшнее сходство съ Пушкинымъ представляютъ и два-три другихъ стихотворенія, въ особенности «Казначейша». Но противоположности между характерами обоихъ поэтовъ гораздо ярче и опредѣленнѣе этого сходства. Сходство въ нихъ скорѣе случайное, внѣшнее, условное; тогда какъ то, въ чемъ они расходятся, составляетъ самую сущность ихъ личностей. Поэтическія средства у обоихъ были почти одинаковы, точно такѣ же, какъ и обстоятельства, при которыхъ они развивались; только самое развитіе было различно.

Обоимъ пришлось дорого заплатить за первые поэтическіе порывы свои. Пушкинъ вернулся изъ изгнанія; Лермонтовъ и умеръ вдали отъ родины.

Пушкинъ съумѣлъ впослѣдствіи примириться съ людьми и сжиться съ людьми и обстоятельствами, на которыхъ вначалѣ такъ горячо ополчился, которымъ клялся въ непримиримой враждѣ.—Лермонтовъ никогда не могъ и не хотѣлъ дойти до такого примиренія, потому что оно не могло бы быть полнымъ, а половинныхъ мѣръ онъ не терпѣлъ.

Пушкинъ, по словамъ одного русскаго критика, былъ прежде всего художникъ, и огородивъ себѣ мирный уголокъ, гдѣ бы

онъ могъ спокойно жить съ своимъ искусствомъ, онъ уже не такъ строго смотрѣлъ на все остальное.

У Лермонтова, напротивъ того искусство и жизнь были нераздѣльны: онъ никогда не могъ отдѣлить художника отъ человѣка. Вотъ въ чемъ великая между ними разница.

Лермонтова упрекали, будто онъ, въ гордомъ ослѣпленіи, чуждался своей отчизны и не любилъ ея. Онъ отвѣтилъ на это чуднымъ стихотвореніемъ, которое начинается такъ:

Люблю отчизну я, но странною любовью и т. д. (т. I, стр. 207).

Пушкинъ съумѣлъ вдохновляться и «славой, купленной кровью», и «полнымъ гордаго довѣрія покоемъ»; онъ воспѣвалъ ихъ въ своихъ стихахъ; и у Лермонтова также есть художественныя картины битвъ, но онъ вдохновлялся ими лишь на столько, на сколько нужно художнику, чтобы что-либо воспроизвести. Его точка зрѣнія выше Пушкинской. Онъ оканчиваетъ слѣдующимъ размышленіемъ неподражаемыя боевыя сцены въ «Валерикѣ»:

Я думалъ: «жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ;
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... зачѣмъ?...»

О томъ, какъ свято чтилъ Лермонтовъ искусство, мы можемъ судить по его стихахъ «На смерть Пушкина», по драматической сценѣ: «Журналистъ, читатель и писатель», по превосходнымъ стихотвореніямъ: «Пророкъ», «Поэтъ», и по множеству повсюду разбросанныхъ мыслей. О томъ же, какъ глубоко зналъ онъ сердце человѣка, какъ вѣрно постигалъ свое время и какъ нераздѣльно слиты были въ немъ поэзія и жизнь, лучше всего свидѣтельствуетъ его полная божественнаго огня «Дума».

1831

—

АНГЕЛЪ.

По небу полуночи ангелъ летѣлъ
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой
Внимали той пѣсни святой.

Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ
Подъ кущами райскихъ садовъ,
О Богѣ великомъ онъ пѣлъ—и хвала
Его непритворна была.

Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ
Для міра печали и слезъ,
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой
Остался безъ словъ, но живой.

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

1832

ПАРУСЪ.

Бѣлѣетъ парусъ одинокой
Въ туманѣ моря голубомъ...
Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?

Играютъ волны; вѣтеръ свищетъ,
И мачта гнется и скрипитъ...
Увы! онъ счастія не ищетъ,
И не отъ счастія бѣжитъ!

Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой;
А онъ, мятежный, проситъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!

ИЗМАИЛЪ-БЕЙ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Опять явилось вдохновенье
Душѣ безжизненной моей,
И обращаетъ въ пѣснопѣнье
Тоску, развалину страстей.
Такъ посреди чужихъ степей,
Подругъ внимательныхъ не зная,
Прекрасный путникъ, птичка рая,
Сидитъ на деревѣ сухомъ,

Блестя лазоревымъ крыломъ;
Пускай реветъ, бушуетъ вьюга
Она поетъ лишь объ одномъ—
Она поетъ о солнцѣ юга...
И ты, звѣзда любви моей,
Товарищъ бурь моихъ суровыхъ,
Послушай пѣсни прежнихъ дней:
Давно ужъ нѣтъ у сердца новыхъ...
Ни мрачныхъ думъ, ни думъ святыхъ
Не измѣнила власть разлуки:
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты въ другихъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Привѣтствую тебя, Кавказъ сѣдой!
Твоимъ горамъ я путникъ не чужой;
Онѣ меня въ младенчествѣ носили
И къ небесамъ пустыни пріучили.
И долго мнѣ мечталось съ этихъ поръ
Все небо юга да утесы горъ.
Прекрасенъ ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вѣчные природы,
Когда, какъ дымъ синѣя, облака
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалека,
Надъ вами вьются, шепчутся какъ тѣни,
Какъ надъ главой огромныхъ привидѣній
Колеблемыя перья—и луна
По синимъ сводамъ странствуетъ одна.

II.

Какъ я любилъ, Кавказъ мой величавый,
Твоихъ сыновъ воинственные нравы,

Твоихъ небесъ прозрачную лазурь,
И чудный вой мгновенныхъ, громкихъ бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Какъ стражи откликаются ночные;
И вдругъ проглянетъ солнце, и потокъ
Озолотится, и степной цвѣтокъ,
Душистую головку поднимая,
Блистаетъ какъ цвѣты небесъ и рая!...
Въ вечерній часъ, дождливыхъ облаковъ
Я наблюдалъ разодранный покровъ:
Лиловыя, съ багряными краями
Одни еще грозятъ, и надъ скалами
Волшебный замокъ, чудо древнихъ дней,
Растетъ въ минуту; но еще скорѣй
Его разсѣетъ вѣтра дуновенье.
Такъ прерываетъ рѣзкій звукъ цѣпей
Преступнаго страдальца сновидѣнье,
Когда онъ зритъ холмы своихъ полей...
Межъ тѣмъ бѣлѣй, чѣмъ горы снѣговыя,
Идутъ на западъ облака другія
И, проводивши день, тѣснятся въ рядъ,
Другъ черезъ друга свѣтлыя глядятъ
Такъ весело, такъ пышно и безпечно,
Какъ будто жить и нравиться имъ вѣчно!...

III.

И дики тѣхъ ущелій племена;
Имъ Богъ—свобода, ихъ законъ—война;
Они растутъ среди разбоевъ тайныхъ,
Жестокихъ дѣлъ и дѣлъ необычайныхъ.
Тамъ въ колыбели пѣсни матерей
Пугаютъ русскимъ именемъ дѣтей;
Тамъ поразить врага не преступленье;
Вѣрна тамъ дружба, но вѣрнѣе мщенье;

Тамъ за добро—добро, и кровь—за кровь,
И ненависть безмѣрна, какъ любовь.

IV.

Темны преданья ихъ. Старикъ чеченецъ,
Хребтовъ Казбека бѣдный уроженецъ,
Когда меня чрезъ горы провожалъ,
Про старину мнѣ повѣсть разсказалъ.
Хвалилъ людей минувшаго онъ вѣка,
Водилъ меня подъ камень Росламбэка,
Повисшій надъ извилистымъ путемъ,
Какъ будто бы удержанный Аллою
На воздухѣ въ паденіи своемъ.
Онъ весь обросъ зеленою травою;
И не боясь, что камень упадетъ,
Въ его тѣни, хранимъ отъ непогодъ,
Плѣнительнѣй, чѣмъ голубыя очи
У нѣжныхъ дѣвъ ледяной полуночи,
Склоняясь въ жаръ на длинный стебелекъ,
Растетъ воспоминанія цвѣтокъ.
И подъ столѣтней, мшистою скалою,
Сидѣлъ чеченъ однажды предо мною;
Какъ сѣрая скала, сѣдой старикъ,
Задумавшись, главой своей поникъ...
Быть можетъ, онъ о родинѣ молился;
И, странникъ чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скалъ:
Я ихъ въ тотъ часъ почти не различалъ.

V.

Его разсказъ, то буйный, то печальный,
Я вздумалъ перенесть на сѣверъ дальный:
Пусть будетъ страненъ въ нашемъ онъ краю,
Какъ слышалъ, такъ его передаю.

Я не хочу, незнаемый толпою,
Чтобы какъ тайна онъ погибъ со мною;
Пускай его не внемлютъ—до конца
Я доскажу. Кто съ гордою душою
Родился, тотъ не требуетъ вѣнца;
Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца;
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла,
Какъ небеса безъ тучъ и безъ свѣтила....

VI.

Давнымъ-давно, у чистыхъ водъ,
Гдѣ по кремнямъ Подкумокъ мчится,
Гдѣ за Машукомъ день встаетъ,
А за крутымъ Бешту садится, *
Близъ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвѣли;
Гордились дружбою взаимной;
Тамъ каждый путникъ находилъ
Ночлегъ и пиръ гостепріимный:
Черкесъ счастливъ и воленъ былъ.
Красою чудной за горами
Извѣстны были дѣвы ихъ,
И старцы съ бѣлыми власами
Судили распри молодыхъ.
Весельемъ пѣсни ихъ дышали;
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали.

VII.

Не все судьба голубитъ насъ:
Всему свой день, всему свой часъ.

* Машукъ и Бешту—двѣ главныя горы.

Однажды—солнце закатилось,
Туманъ бѣлѣлъ ужъ подъ горой,
Но въ эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада тѣснились и шумѣли,
Арбы тяжелыя скрипѣли;
Трепеща жены близъ мужей,
Держали плачущихъ дѣтей.
Отцы ихъ, бурками одѣты,
Садились молча на коней
И заряжали пистолеты,
И на кострѣ высокомъ жгли,
Что̀ взять съ собою не могли;
Когда же день новорожденный
Завѣтный озарилъ курганъ,
И мокрый утренній туманъ
Разсѣялъ вѣтеръ пробужденный,
Онъ обнажилъ подошвы горъ,
Пустой аулъ, пустое поле,
Едва дымящійся костеръ
И свѣжій слѣдъ колесъ—не болѣ.

VIII.

Но что могло заставить ихъ
Покинуть прахъ отцовъ своихъ,
И добровольное изгнанье
Искать среди пустынь чужихъ?
Гнѣвъ Мухаммеда? Прорицанье?
О, нѣтъ! примчалась какъ-то вѣсть,
Что къ нимъ подходитъ врагъ опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что все громамъ его подвластно,
Что силъ его нельзя и счесть.—
Черкесъ удалый въ битвѣ правой
Умѣетъ умереть со славой,

И у жены его младой
Спаситель есть — кинжалъ двойной;
И страхъ насильства и могилы
Не могъ бы изъ родныхъ степей
Ихъ удалить: позоръ цѣпей
Несли къ нимъ вражескія силы.
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милѣй отчизны и покоя.
«Въ насмѣшку русскимъ и въ укоръ
Оставимъ мы утесы горъ;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуютъ надѣть оковы!»
Такъ думалъ каждый, и Бешту
Теперь ихъ мысли понимаетъ,
На русскихъ робко онъ взираетъ
И облаками одѣваетъ
Вершинъ кудрявыхъ красоту.

IX.

Межъ тѣмъ летятъ за годомъ годы,
Готовятъ мщеніе народы,
И пятый годъ ужъ настаетъ,
А кровь джяуровъ не течетъ.
Въ необитаемой пустынѣ
Черкесъ бродящій отдохнулъ,
Построенъ новый былъ аулъ
(Его слѣдовъ не видно нынѣ),
Старикъ и воинъ молодой
Кипятъ отвагой и враждой.
Ужъ Росламбэкъ съ береговъ Кубани
Князей союзныхъ поджидалъ;
Лезгинецъ, слыша голосъ брани,
Готовитъ стрѣлы и кинжалъ;

Скопилась месть ихъ роковая
Въ тиши надъ дремлющимъ врагомъ;
Такъ лѣтомъ глыба снѣговая,
Цвѣтами радуги блистая,
Виситъ, прохладу обѣщая,
Надъ беззаботнымъ табуномъ.

X.

Въ тотъ самый годъ, осеннимъ днемъ,
Между Желѣзной и Змѣиной, *
Гдѣ чуть примѣтный путь лежалъ,
Цвѣтущей, узкою долиной
Тихонько всадникъ проѣзжалъ.
Кругомъ налѣво и направо,
Какъ бы остатки пирамидъ,
Подъемлясь къ небу величаво,
Гора изъ-за горы глядитъ;
И далѣ царь ихъ пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугаетъ чудной вышиной.

XI.

Еще небесное свѣтило
Росистый лугъ не осушило;
Со скалъ гранитныхъ надъ путемъ
Склонился дикій виноградникъ,
Его серебрянымъ дождемъ
Осыпанъ часто конь и всадникъ.
Но вотъ остановился онъ,
Какъ новой мыслью пораженъ,
Смущенный взглядъ кругомъ обводитъ—
Чего-то, мнится, не находитъ,

---

* Двѣ горы, находящіяся рядомъ съ Бешту.

То пуститъ онъ коня стремглавъ,
То остановитъ и, привставъ
На стремена, дрожитъ, пылаетъ—
Все пусто. Онъ съ коня слѣзаетъ,
Къ землѣ сырой главу склоняетъ,
И слышитъ только шелестъ травъ...
Все одичало, онѣмѣло.
Тоскою грудь его полна...
Скажу ль? За кровлю сакли бѣлой,
За близкій топотъ табуна
Тогда онъ міръ бы отдалъ цѣлый.

XII.

Кто жъ этотъ путникъ? Русскій? Нѣтъ.
На немъ чекмень, простой бешметъ,
Чело подъ шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолетъ
Блестятъ насѣчкой небогатой;
И перетянутъ онъ ремнемъ,
И шашка чуть звенитъ на немъ.
Ружье, мотаясь за плечами,
Бѣлѣетъ въ шерстяномъ чехлѣ.
И какъ же горца на сѣдлѣ
Не различить мнѣ съ казаками?
Я не ошибся—онъ черкесъ.
Но смуглый цвѣтъ почти исчезъ
Съ его ланитъ; снѣга и вьюга
И холодъ сѣверныхъ небесъ,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что онъ черкесъ.
Густыя брови, взглядъ орлиный,
Рѣсницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны.
Отвергнулъ онъ обрядъ чужбины,
Не сбрилъ бородки и усовъ,

И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,
Какъ брызги пѣны у береговъ.
Онъ, сколько могъ, привычекъ, правилъ
Своей отчизны не оставилъ....
Но горе, горе, если онъ,
Храня людей суровыхъ мнѣнья,
Развратомъ, ядомъ просвѣщенья
Въ Европѣ душной зараженъ!
Старикъ для чувствъ и наслажденья,
Безъ сѣдины между волосъ,
Зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо,
Такъ непокойно, такъ игриво,
Онъ сердце мертвое принесъ?

XIII.

Какъ наши юноши онъ молодъ,
Но хладенъ блескъ его очей;
Поверхность темную морей
Такъ покрываетъ ранній холодъ
Корой ледяною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
Въ очахъ навѣки догорѣвъ,
Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,
Глубоко въ сердцѣ, но ихъ власти
Оно никакъ не избѣжитъ.
Пусть будетъ это сердце камень —
Ихъ пробужденный адской пламень
И камень углемъ раскалитъ.

XIV.

И все прошедшее явилось
Какъ тѣнь умершаго ему.
Все съ этихъ поръ перемѣнилось,
Богъ вѣсть, и какъ и почему.
Онъ въ поле выѣзжалъ пустое—

Вдругъ слышитъ выстрѣлъ—что̀ такое?
Какъ будто насмѣхъ, звукъ одинъ,
Жилецъ ущелій и стремнинъ,
Трикраты отзывъ повторяетъ.
Кинжалъ свой путникъ вынимаетъ,
И вотъ съ винтовкой безъ штыка
Въ кустахъ онъ видитъ казака;
Предъ нимъ фазанъ окровавленный,
Росою съ листьевъ окропленный,
Блистая радужнымъ хвостомъ,
Лежалъ въ травѣ пробитъ свинцомъ.
И ближе путникъ подъѣзжаетъ
И чистымъ русскимъ языкомъ
«Казакъ, скажи мнѣ, вопрошаетъ,
Давно ли пусто здѣсь кругомъ?»
— Съ тѣхъ поръ, какъ русскихъ устрашился
Неустрашимый твой народъ;
Въ чужихъ горахъ отъ насъ онъ скрылся...
Тому сегодня пятый годъ.

XV.

Казакъ умолкъ. Но что съ тобою,
Черкесъ? Зачѣмъ твоя рука
Подъята съ шашкой роковою?
Прости улыбку казака!
Увы! свершилось наказанье:
Въ крови, безъ чувства, безъ дыханья,
Лежитъ насмѣшливый казакъ.
Черкесъ глядитъ на ликъ холодный,
Въ немъ пробудился духъ природный,
Онъ пощадить не могъ никакъ,
Онъ удержать не могъ удара.
Какъ въ тучахъ зарево пожара,
Какъ лава Этны по полямъ,
Больной румянецъ по щекамъ

Его разлился; и блистали
Какъ лезвіе кровавой стали
Глаза его, и въ этотъ мигъ
Душа и адъ—все было въ нихъ!
И наконецъ съ улыбкой злобной
Черкесъ на сѣверъ кинулъ взглядъ—
Ничто, ничто смертельный ядъ
Передъ улыбкою подобной.
Волною поднялася грудь;
Хотѣлъ онъ и не могъ вздохнуть;
Холодный потъ съ чела крутова
Катился, но изъ устъ—ни слова.

XVI.

И вдругъ очнулся онъ, вздрогнулъ,
Къ лукѣ припалъ, коня толкнулъ,
Одно мгновенье на курганѣ
Онъ черной птицею мелькнулъ,
И скоро скрылся весь въ туманѣ.
Чрезъ камни конь его несетъ,
Онъ не глядитъ и не боится.
Такъ быстро скачетъ только тотъ,
За кѣмъ раскаяніе мчится.

XVII.

Куда черкесъ направилъ путь?
Гдѣ отдохнетъ младая грудь
И усмирится думъ волненье?
Черкесъ не хочетъ отдохнуть:
Ужели отдыхаетъ мщенье?
Аулъ, гдѣ дѣтство онъ провелъ,
Мечети, кровы мирныхъ селъ—
Все уничтожилъ русскій воинъ.
Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ онъ спокоенъ,
Пока изъ бѣлыхъ ихъ костей,

Вѣкамъ грядущимъ въ поученье,
Онъ не воздвигнетъ мавзолей
И такъ отмститъ за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю васъ, онъ шепчетъ, знаю!
И вы узнаете меня;
Давно ужъ васъ я презираю;
Но вашу кровь пролить желаю
Я только съ нынѣшняго дня...»
Онъ бьетъ и дергаетъ коня,
И конь летитъ какъ вѣтеръ степи;
Надулись ноздри, блещетъ взоръ,
И ужъ въ виду зубчаты цѣпи
Кремнистыхъ безконечныхъ горъ,
И Шатъ подъемлется за ними
Съ двумя главами снѣговыми,
И путникъ мнитъ: «недалеко;
Въ часъ прискачу я къ нимъ легко.»

XVIII.

Предъ нимъ, съ оттѣнкой голубою,
Полувоздушною стѣною
Нагіе тянутся хребты;
Невѣрны, странны какъ мечты,
То разойдутся, то сольются...
Ужъ часъ прошелъ, и двухъ ужъ нѣтъ—
Они надъ путникомъ смѣются,
Они едва мѣняютъ цвѣтъ.
Блѣднѣетъ путникъ отъ досады;
Конь непривычный устаетъ;
Ужъ солнце къ западу идетъ
И больше въ воздухѣ прохлады,
А все пустынныя громады,
Хотя и выше и темнѣй,
Еще загадка для очей.

XIX.

Но вотъ его, подобно тучѣ,
Встрѣчаетъ крайняя гора:
Пестрѣй восточнаго ковра
Холмы кругомъ, все выше, круче.
Покрытый пѣной до ушей,
Здѣсь началъ конь дышать вольнѣй;
И дѣтскихъ лѣтъ воспоминанья
Передъ черкесомъ пронеслись,
Въ груди проснулися желанья,
Во взорахъ слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И думъ неотразимыхъ бремя
Отъ сердца, мнилось, отлегло;
Онъ поднялъ свѣтлое чело,
Смотрѣлъ и внутренно гордился,
Что онъ черкесъ, что здѣсь родился.
Межъ скалъ незыблемыхъ, одинъ,
Забылъ онъ жизни скоротечность,
Онъ, въ мысляхъ міра властелинъ,
Присвоить бы желалъ ихъ вѣчность.
Забылъ онъ все, что̀ испыталъ,
Друзей, враговъ, тоску изгнанья,
И какъ невѣсту въ часъ свиданья,
Душой природу обнималъ.

XX.

Краснѣютъ сизыя вершины,
Лучемъ зари освѣщены;
Давно разсѣлины темны;
Катясь черезъ узкія долины,
Туманы сонные легли,
И только топотъ лошадиный,
Звуча теряется вдали.

Погасъ, блѣднѣя, день осенній;
Свернувъ душистые листы,
Вкушаютъ сонъ безъ сновидѣній
Полузавядшіе цвѣты;
И въ часъ урочный молчаливо
Изъ-подъ камней ползетъ змѣя,
Играетъ, тѣшится лѣниво,
И серебрится чешуя
Надъ перегибистой спиною;
Такъ сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты послѣ бою
Они на полѣ роковомъ),
Въ кустахъ найденная луною,
Блистаетъ въ сумракѣ ночномъ.

XXI.

Ужъ поздно. Путникъ одинокой
Одѣлся буркою широкой;
За дубомъ низкимъ и густымъ
Дорога скрылась; вѣтеръ дуетъ;
Конь спотыкается подъ нимъ,
Храпитъ, какъ будто гибель чуетъ,
И сталъ. Дивится, слѣзъ сѣдокъ
И видитъ пропасть предъ собою,
А тамъ, на днѣ ея, потокъ
Во мракѣ бѣшеной волною
Шумитъ (слыхалъ я этотъ шумъ,
Въ пустынѣ вѣтромъ разнесенный,
И много пробуждалъ онъ думъ
Въ груди, тоской опустошенной).
Въ недоумѣньи надъ скалой
Остался странникъ утомленный;
Вдругъ видитъ онъ: въ дали пустой
Трепещетъ огонекъ—и снова
Садится на коня лихова;

И черезъ силу скачетъ конь
Туда, гдѣ свѣтится огонь.

XXII.

Не духъ коварства и обмана
Манилъ трепещущимъ огнемъ,
Не очи злобнаго шайтана
Свѣтилися въ ущельи томъ—
Двѣ сакли бѣлыя, простыя:
Таяся мирно за холмомъ,
Чернѣютъ крыши земляныя;
Съ краевъ ряды травы густой
Висятъ зеленой бахромой;
А вѣтеръ осени сырой
Поетъ имъ пѣсни неземныя;
Широкій окружаетъ дворъ
Изъ кольевъ и вѣтвей заборъ,
Уже нагнутый, обветшалый.
Все въ мертвый сонъ погружено—
Одно лишь свѣтится окно...
Заржалъ черкеса конь усталый,
Ударилъ о землю ногой;
И отвѣчалъ ему другой...
Изъ сакли кто-то выбѣгаетъ,
Идетъ. «Великій Мухаммедъ
Къ намъ гостя, вѣрно, посылаетъ.
Кто здѣсь?» Я странникъ! былъ отвѣтъ—
И больше спрашивать не хочетъ,
Обычай прадѣдовъ храня,
Хозяинъ скромный. Вкругъ коня
Онъ самъ заботится, хлопочетъ,
Онъ самъ снимаетъ весь приборъ
И самъ ведетъ его на дворъ.

XXIII.

Межъ тѣмъ привѣтно въ саклѣ дымной
Проѣзжій встрѣченъ старикомъ;
Сажая гостя предъ огнемъ,
Онъ руку жметъ гостепріимно.
Блистаетъ по стѣнамъ кругомъ
Богатство горца: ружья, стрѣлы,
Кинжалы съ набожнымъ стихомъ,
Въ углу башлыкъ убійцы бѣлый,
И плеть межъ буркой и сѣдломъ.
Они заводятъ рѣчь о волѣ,
О прежнихъ дняхъ, о бранномъ полѣ;
Кипитъ, кипитъ бесѣда ихъ
И носятся въ мечтахъ живыхъ
Они къ грядущему, былому;
Проходитъ непримѣтно часъ—
Они сидятъ, и въ первый разъ,
Внимая странника разсказъ,
Старикъ дивится молодому.

XXIV.

Онъ самъ лезгинецъ; ужъ давно
(Такъ было небомъ суждено)
Не зрѣлъ отечества. Три сына
И дочь младая съ нимъ живутъ
При нихъ молчитъ еще кручина.
И бѣдный милъ ему пріютъ.
Когда горятъ ночныя звѣзды,
Тогда пускаются въ разъѣзды
Его лихіе сыновья
Живетъ добычей вся семья.
Они повсюду страхъ приносятъ;
Украсть, отнять—имъ все равно;
Чихирь и медъ кинжаломъ просятъ,
И пулей платятъ за пшено.

Изъ табуна ли, изъ станицы
Любаго уведутъ коня;
Они боятся только дня;
И ихъ владѣньямъ нѣтъ границы.
Сегодня дома лишь одинъ
Его любимый, старшій сынъ.
Но словъ хозяина не слышитъ
Пришелецъ; онъ почти не дышетъ,
Остановился быстрый взоръ,
Какъ въ мигъ паденья метеоръ:
Предъ нимъ, подъ видомъ дѣвы горъ,
Созданіе земли и рая,
Стояла пери молодая.

XXV.

И кто бъ, ее увидѣвъ, молвилъ: нѣтъ!
Кто прелести небесъ, иль даже слѣдъ
Небеснаго, разсѣянный лучами
Въ улыбкѣ устъ, движеньи черныхъ глазъ—
Все, что̀ такъ дружно съ первыми мечтами,
Все, что̀ встрѣчаемъ въ жизни только разъ—
Не отличитъ отъ красоты ничтожной,
Отъ красоты земной, нерѣдко ложной?
И кто, кто скажетъ, совѣсть заглуша:
Прелестный ликъ, но хладная душа!
Когда онъ вдругъ увидитъ предъ собою
То, что̀ сперва почелъ бы онъ душою
Освобожденныхъ отъ земныхъ цѣпей,
Слетѣвшихъ въ міръ, чтобъ утѣшать людей.
Пусть, подойдя, лезгинку онъ узнаетъ:
Въ ея чертахъ земная жизнь играетъ,
Восточная видна въ ланитахъ кровь;
Но только удалится образъ милый—
Онъ станетъ сомнѣваться въ томъ, что было,
И заблужденью онъ повѣритъ вновь.

*

XXVI.

Нѣжна, какъ пери молодая,
Созданіе земли и рая;
Мила, какъ намъ въ краю чужомъ,
Межъ звуковъ языка чужова,
Знакомый звукъ, родныхъ два слова;
Такъ утѣшительна мила,
Какъ древле узнику была
На сумрачномъ окнѣ темницы
Простая пѣсня вольной птицы,
Стояла Зара у огня.
Чело немножко наклоня;
Она стояла гордо, ловко;
Въ ея нарядѣ простота,
Но также вкусъ. Ея головка
Платкомъ прилежно обвита;
Изъ-подъ него до груди нѣжной
Двѣ косы темныя небрежно
Бѣгутъ—ужъ вѣрно часъ она
Ихъ расплетала, заплетала;
Она понравиться желала—
Какъ въ этомъ женщина видна!

XXVII.

Рукой дрожащей, торопливой,
Она поставила стыдливо
Смиренный ужинъ предъ отцомъ,
И улыбнулась, и потомъ
Уйти хотѣла, и не знала
Идти ли? Грудь ея порой
Покровъ примѣтно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажетъ путникъ молодой.
Но онъ молчитъ, блуждаютъ взоры:

Ихъ привлекаетъ лезвіе
Кинжала, ратные уборы;
Но взглядъ послѣдній на нее
Былъ устремленъ... Смутилась дѣва,
Но, не боясь отцова гнѣва,
Она осталась, и опять
Рѣшилась путнику внимать.
И что-то умъ его тревожитъ:
Своихъ неконченныхъ рѣчей
Онъ оторвать отъ устъ не можетъ;
Смѣется, но большихъ очей
Давно не обращаетъ къ ней;
Смѣется, шутитъ онъ; но хладный,
Печальный смѣхъ нейдетъ къ нему.
Замолкнетъ онъ—ей вновь досадно,
Сама не знаетъ почему.
Черкесъ ловилъ сначала жадно
Движенье глазъ ея живыхъ;
И наконецъ остановились
Глаза, которые рѣзвились,
Отвѣта ждутъ, къ нему склонились,
А онъ забылъ, забылъ о нихъ!...
Довольно! этого удара
Вторично дѣва не снесетъ;
Ему мѣшаетъ, видно, Зара?
Она уйдетъ, она уйдетъ...

XXVIII.

Кто много странствовалъ по свѣту,
Кто наблюдать его привыкъ,
Кто затвердилъ страстей примѣту,
Кому извѣстенъ ихъ языкъ,
Кто рано брошенъ былъ судьбою
Межъ образованныхъ людей,
И какъ они, съ своей рукою

Не отдавалъ души своей—
Тотъ пылкой женщины пристрастье
Не почитаетъ ужъ за счастье,
Тотъ съ сердцемъ дикимъ и простымъ
И съ чувствомъ нѣкогда святымъ
Шутить боится. Онъ улыбкой
Слезу старается встрѣчать,
Улыбкѣ хладно отвѣчать,
Коль обласкаетъ—такъ ошибкой!
Притворствомъ вѣчнымъ утомленъ,
Ужъ и себѣ не вѣритъ онъ;
Душѣ высокой не довольно
Остатковъ юности своей,
Вообразить еще ей больно,
Что для огня нѣтъ пищи въ ней.
Такіе люди въ жизни свѣтской
Почти всегда причина зла:
Какой-то робостію дѣтской
Ихъ отзываются дѣла.
И обольстить они не смѣютъ,
И вовсе кинуть не умѣютъ;
И часто думаютъ они,
Что ихъ излечитъ край далекой,
Пустыня, видъ горы высокой,
Иль тѣнь долины одинокой,
Гдѣ юности промчались дни;
Но ожиданье ихъ напрасно:
Душѣ все внѣшнее подвластно!

XXIX.

Ужъ милой Зары въ саклѣ нѣтъ.
Черкесъ глядитъ ей долго вслѣдъ
И мыслитъ: «нѣжное созданье!
Едва изъ дѣтскихъ вышла лѣтъ,
А есть ужъ слезы и желанья!

Безсильный, свѣтлый лучъ зари
На темной тучѣ не гори:
На ней твой блескъ лишь помрачится,
Ей ждать нельзя, она умчится.

XXX.

«Еще не знаешь ты, кто я.
Утѣшься! нѣтъ, не мирной долѣ,
Но битвамъ, родинѣ и волѣ
Обречена судьба моя.
Я бъ могъ нѣжнѣйшею любовью
Тебя любить, но надъ тобой
Хранитель, вѣрно, неземной:
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?
Тебя ли грѣть моимъ объятьямъ?
Тебя ли станутъ цѣловать
Уста, привыкшія къ проклятьямъ?...»

. . . . . .

XXXI.

Пора! яснѣетъ ужъ востокъ;
Черкесъ проснулся, въ путь готовый.
На пепелищѣ огонекъ
Еще синѣлъ. Старикъ суровый
Его раздулъ, пшено сварилъ,
Сказалъ, гдѣ лучшая дорога,
И самъ до ветхаго порога
Радушно гостя проводилъ.
И странникъ медленно выходитъ
Печалью тайной угнетенъ:
О юной дѣвѣ мыслитъ онъ...
И кто жъ коня ему подводитъ?

XXXII.

Уныло Зара передъ нимъ
Коня походнаго держала

И тихимъ голосомъ своимъ,
Поднявъ глаза къ нему, сказала:
«Твой конь готовъ; моей рукой
Надѣта бранная уздечка,
И серебристой чешуей
Блеститъ кубанская насѣчка,
И бурку черную ремнемъ
Я привязала за сѣдломъ.
Мнѣ это дѣло вѣдь не ново.
Любезный странникъ, все готово.
Твой конь прекрасенъ; не страшна
Ему утесовъ крутизна;
Хоть выросъ онъ въ краю далекомъ,
Въ немъ дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Какъ камень сглаженный потокомъ;
Какъ уголь взоръ его блеститъ;
Лишь наклонись—онъ полетитъ;
Его я гладила, ласкала,
Чтобы тебя онъ, путникъ, спасъ
Отъ вражьей шашки и кинжала
Въ степи глухой, въ недобрый часъ.

XXXIII.

«Но погоди въ стальное стремя
Ступать поспѣшною ногой:
Послушай, странникъ молодой,
Какъ знать? быть можетъ, будетъ время
И ты на милой сторонѣ
Случайно вспомнишь обо мнѣ;
И если чаша пированья
Кипитъ, блеститъ въ рукѣ твоей,
То не ласкай воспоминанья,
Гони отъ сердца поскорѣй;
Но если эта мысль родится,

Но если образъ мой приснится
Тебѣ въ страдальческую ночь—
Услышь, услышь мое моленье:
Не презирай то сновидѣнье,
Не отгоняй тѣ мысли прочь.

XXXIV.

«Пріютъ нашъ малъ, за то спокоенъ;
Его не тронетъ русскій воинъ.
И что имъ взять?—пять-шесть коней,
Да наши грубыя одежды?...
Повѣрь ты скромности моей,
Откройся мнѣ, куда надежды
Тебя коварныя влекутъ?
Чего искать?—Останься тутъ,
Останься съ нами, добрый странникъ!
Я вижу ясно: ты изгнанникъ,
Ты отъ земли своей отвыкъ,
Ты позабылъ ея языкъ.
Зачѣмъ спѣшишь къ родному краю,
И что тамъ ждетъ тебя—не знаю.
Пусть мой отецъ твердитъ порой,
Что безъ малѣйшей укоризны
Должны мы жертвовать собой
Для непризнательной отчизны—
По-мнѣ отчизна только тамъ,
Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ.

XXXV.

«Еще туманъ бѣлѣетъ въ полѣ,
Опасенъ ранній хладъ вершинъ...
Хоть день одинъ, хоть часъ одинъ,
Послушай, часъ одинъ, не болѣ
Пробудь, жестокій, близъ меня;
Я покормлю еще коня,
Моя рука его отвяжетъ,

Онъ отдохнетъ, напьется, ляжетъ;
А ты у сакли здѣсь, въ тѣни,
Главу мнѣ на руку склони:
Твоихъ рѣчей услышать звуки
Еще желала бъ я хоть разъ;
Не удержу вѣдь счастья часъ,
Не прогоню вѣдь часъ разлуки?...»
И Зара съ трепетомъ въ отвѣтъ
Ждала напрасно два-три слова;
Скрывать печали силы нѣтъ,
Слеза съ рѣсницъ упасть готова...
Увы! молчаніе храня,
Садится путникъ на коня;
Ужъ ѣхать онъ приготовлялся,
Но обернулся испугался,
И, состраданьемъ увлеченъ,
Хотѣлъ ее утѣшить онъ.

XXXVI.

«Не обвиняй меня такъ строго;
Скажи, чего ты хочешь — слезъ?
Я ихъ имѣлъ когда-то много:
Ихъ міръ изъ зависти унесъ.
Но не рѣшусь судьбы мятежной
Я раздѣлять съ душою нѣжной;
Свободный, рабъ иль властелинъ,
Пускай погибну я одинъ.
Все, что̀ меня хоть мало̀ любитъ,
За мною вслѣдъ увлечено;
Мое дыханье радость губитъ;
Щадить—мнѣ власти не дано.
И не простаго человѣка
(Хотя въ одеждѣ я простой),
Утѣшься, Зара, предъ собой
Ты видишь брата Росламбэка.

Я въ жертву счастье долженъ принести...
О, не жалѣй о томъ... Прости. прости!..»

XXXVII.

Сказалъ, махнулъ рукой, и звукъ подковъ
Раздался, въ отдаленьи умирая.
Едва дыша, безъ слезъ, безъ думъ, безъ словъ
Она стоитъ, безчувственно внимая,
Какъ будто этотъ дальній звукъ подковъ
Всю будущность ея унесъ съ собою.
О Зара, Зара, краткою мечтою
Ты дорожила—гдѣ жъ твоя мечта?
Какъ очи полны! какъ душа пуста!
Одно мгновенье тяжелѣй другова;
Все, что прошло, ты оживляешь снова!...
По цѣлымъ днямъ она глядитъ туда,
Гдѣ скрылася любви ея звѣзда;
Вездѣ, вездѣ она его находитъ:
Въ вечернихъ тучахъ милый образъ бродитъ;
Услышавъ ночью топотъ, съ ложа сна
Вскочивъ, дрожитъ, и ждетъ его она —
И постепенно вѣтромъ разносимый
Все ближе, ближе топотъ—и все мимо...
Такъ метеоръ порой летитъ на насъ,
И ждешь—и близокъ онъ — и вдругъ погасъ...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Шумитъ Аргуна мутною волной;
Она коры не знаетъ ледяной,
Цѣпей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снѣговъ родится,
И тамъ, гдѣ даже серпа не промчится,

Дитя природы, съ дѣтской простотой,
Она, рѣзвясь, играетъ и катится.
Порою, какъ согнутое стекло,
Межъ длинныхъ травъ, прозрачно и свѣтло
По гладкимъ камнямъ въ бездну ниспадая,
Теряется во мракѣ, и надъ ней
Съ прощальнымъ воркованьемъ вьется стая
Пугливыхъ, сизыхъ, вольныхъ голубей...
Зеленымъ можжевельникомъ покрыты
Надъ мрачной бездной гробовыя плиты
Висятъ и ждутъ, когда замолкнетъ вой,
Чтобы упасть и все покрыть собой.
Напрасно ждутъ онѣ—волна не дремлетъ,
Пусть темнота кругомъ ее объемлетъ,
Прорветъ Аргуна землю гдѣ нибудь
И снова полетитъ въ далекій путь.

II.

На берегу ея кипучихъ водъ
Недавно изгнанный врагомъ народъ
Аулъ построилъ свой и ждалъ мгновенья,
Когда свершить придуманное мщенье;
Черкесъ готовилъ дерзостный набѣгъ,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбэкъ,
Склонялся передъ русскими смиренно;
А между тѣмъ съ отважною толпой
Станицы разорялъ во тьмѣ ночной;
И возвратясь въ аулъ, на пиръ кровавый
Онъ плѣнниковъ дрожащихъ приводилъ,
И увѣрялъ ихъ въ дружбѣ, и шутилъ,
И головы рубилъ имъ для забавы.

III.

Легко народомъ править, если онъ
Одною общей страстью увлеченъ;
Не должно только слишкомъ завлекаться,

Предъ нимъ гордиться, или съ нимъ равняться;
Не должно мыслей открывать своихъ,
Иль спрашивать у подданныхъ совѣта,
И забывать, что лучше горъ златыхъ
Иному ласка и слова привѣта.
Старайся первымъ быть вездѣ, всегда;
Не забывайся, будь въ пирахъ умѣренъ,
Не трогай суевѣрій никогда
И самъ съ толпой умѣй быть суевѣренъ;
Страшись сначала много успѣвать,
Страшись народъ къ побѣдамъ пріучать,
Чтобъ въ слабости своей онъ признавался,
Чтобъ каждый мигъ въ спасителѣ нуждался,
Чтобъ онъ тебя не сравнивалъ ни съ кѣмъ,
И почиталъ нуждою—принужденья;
Умѣй отважно пользоваться всѣмъ,
И не проси никакъ вознагражденья;
Народъ ребенокъ: онъ не хочетъ дать,
Не покушайся вырвать — но украдь.

IV.

У Росламбэка братъ когда-то былъ;
О немъ жалѣютъ шайки удалыя;
Отцомъ въ Россію посланъ Измаилъ,
И ихъ надежду отняла Россія.
Четырнадцати лѣтъ оставилъ онъ
Края, гдѣ былъ воспитанъ и рожденъ,
Чтобъ знать законы и права чужія.
Не подъ персидскимъ шелковымъ ковромъ
Родился Измаилъ, не пѣснью нѣжной
Онъ усыпленъ былъ въ сумракѣ ночномъ:
Его баюкалъ бури вой мятежной;
Когда онъ въ первый разъ открылъ глаза,
Его улыбку встрѣтила гроза.

Въ пещерѣ темной—гдѣ, гонимый братомъ,
Убійцею коварнымъ, Бей-Булатомъ,
Его отецъ таился много лѣтъ —
Изгнанникъ новый, онъ увидѣлъ свѣтъ.

V.

Какъ лишній межъ людьми, своимъ рожденьемъ
Онъ душу не обрадовалъ ни чью,
И, хоть невинный, началъ жизнь свою,
Какъ многіе кончаютъ — преступленьемъ.
Онъ материнской ласки не видалъ;
Не у груди — подъ буркою согрѣтый,
Одинъ провелъ младенческія лѣты;
И вѣтеръ колыбель его качалъ,
И мѣсяцъ полуночи съ нимъ игралъ;
Онъ выросъ межъ землей и небесами,
Не зная принужденья и заботъ;
Привыкъ онъ тучи видѣть подъ ногами,
А надъ собой одинъ лазурный сводъ,
И лишь орлы, да скалы величавы
Съ нимъ раздѣляли юныя забавы.
Онъ для великихъ созданъ былъ страстей,
Онъ обладалъ пылающей душою,
И бури юга отразились въ ней
Со всей своей ужасной красотою...
Но къ русскимъ посланъ онъ своимъ отцомъ,
И съ той поры извѣстья нѣтъ о немъ...

VI.

Горой отъ солнца заслоненный,
Пріютъ изгнанниковъ смиренный,
Между кизиловыхъ деревъ
Аулъ разсыпанъ надъ рѣкою;
Стоитъ отдѣльно каждый кровъ
Въ тѣни, подъ дымной пеленою.

Здѣсь въ лѣтній день, въ полдневный жаръ,
Когда съ камней восходитъ паръ,
Толпа дѣтей въ травѣ играетъ,
Черкесъ усталый отдыхаетъ,
Межъ тѣмъ сидитъ его жена
Съ работой въ саклѣ одиноко,
И пѣсню грустную она
Поетъ о родинѣ далекой,
И облака родныхъ небесъ
Въ мечтаньяхъ видитъ ужъ черкесъ:
Тамъ лугъ душистѣй, день свѣтлѣе,
Роса перловая свѣжѣе;
Тамъ разноцвѣтною дугой,
Развеселясь, нерѣдко дивы
На тучахъ строятъ мостъ красивый,
Чтобъ отъ одной скалы къ другой
Пройти воздушною тропой;
Тамъ въ первый разъ, еще несмѣлый,
На лукъ накладывалъ онъ стрѣлы...

VII.

Дни мчатся. Начался байранъ.
Вездѣ веселье, ликованья;
Мулла оставилъ алкоранъ,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругомъ освѣщена;
Всю ночь надъ хладными скалами
Огни краснѣютъ за огнями,
Какъ надъ земными облаками
Земныя звѣзды; но луна,
Когда на землю взоръ наводитъ,
Себѣ соперницъ не находитъ
И, одинокая, она
По небесамъ въ сіяньи бродитъ.

VIII.

Ужъ скачка кончена давно;
Стрѣльба затихнула; темно.
Вокругъ огня, пѣвцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики сѣдые въ рядъ
Съ нѣмымъ вниманіемъ стоятъ.
На сѣромъ камнѣ, безоруженъ,
Сидитъ невѣдомый пришлецъ.
Нарядъ войны ему не нуженъ,
Онъ гордъ и бѣденъ—онъ пѣвецъ.
Дитя степей, любимецъ неба,
Безъ злата онъ, но не безъ хлѣба.
Вотъ начинаетъ: три струны
Ужъ забренчали подъ рукою,
И живо, съ дикой простотою
Запѣлъ онъ пѣсню старины:

IX.

ЧЕРКЕССКАЯ ПѢСНЯ.

Много дѣвъ у пасъ въ горахъ;
Ночь и звѣзды въ ихъ очахъ;
Съ ними жить—завидна доля,
Но еще милѣе воля.
Не женися, молодецъ,
Слушайся меня:
На тѣ деньги, молодецъ,
Ты купи коня.
Кто жениться захотѣлъ,
Тотъ худой избралъ удѣлъ:
Съ русскимъ въ бой онъ не поскачетъ.
Отчего?—жена заплачетъ!
Не женися молодецъ,

Слушайся меня:
На тѣ деньги, молодецъ,
Ты купи коня.
Не измѣнитъ добрый конь:
Съ нимъ—и въ воду и въ огонь;
Онъ—какъ вихрь въ степи широкой;
Съ нимъ—все близко, что далеко.
Не женися, молодецъ,
Слушайся меня:
На тѣ деньги, молодецъ,
Ты купи коня.

X.

Откуда шумъ? Кто эти двое?
Толпа въ молчаньи раздалась.
Нахмуря бровь, подходитъ князь
И рядомъ съ нимъ лицо чужое.
Три узденя за ними вслѣдъ.
«Великъ Алла и Мухаммедъ!»
Воскликнулъ князь. «Сама могила
Покорна имъ! Въ странѣ чужой
Мой братъ хранимъ былъ ихъ рукой:
Вы узнаете ль Измаила?...
Между врагами онъ возросъ,
Но не призналъ онъ ихъ святыни,
И въ наши синія пустыни
Одну лишь ненависть принесъ.»

XI.

И по долинѣ восклицанья
Восторга дикаго гремятъ;
Благословляя часъ свиданья,
Вкругъ Измаила старъ и младъ
Тѣснятся, шепчутъ. Поднимая
На плечи маленькихъ ребятъ,

Ихъ жены смуглыя, зѣвая,
На князя новаго глядятъ.
Гдѣ жъ Росламбэкъ, кумиръ народа?
Гдѣ тотъ, кѣмъ славится свобода? —
Одинъ, забытъ, передъ огнемъ,
Поодаль, съ пасмурнымъ челомъ,
Стоялъ онъ, жертва злой досады.
Давно ли привлекалъ онъ самъ
Всѣ помышленія, всѣ взгляды?
Давно ли по его слѣдамъ
Вся эта чернь, шумя, бѣжала?
Давно ль, дивясь его дѣламъ,
Ихъ мать ребенку повторяла?
И что же вышло? — Измаилъ,
Враговъ отечества служитель,
Всю эту славу погубилъ
Своимъ пріѣздомъ—и, властитель,
Вчерашній гордый полубогъ,
Вниманья черни безтолковой
Къ себѣ привлечь уже не могъ.
Ей все плѣнительно, что̀ ново.
«Простынетъ!» мыслитъ Росламбэкъ.
Но если злобный человѣкъ
Узналъ ужъ зависть, то не можетъ
Совсѣмъ забыть ее никакъ:
Ея насмѣшливый призракъ
И днемъ и ночью духъ тревожитъ.

XII.

Война!... знакомый людямъ звукъ,
Съ тѣхъ поръ, какъ братъ отъ братнихъ рукъ
Предъ алтаремъ погибъ невинно...
Гремя, черезъ Кавказъ пустынный
Промчался кликъ: война! война!
И пробудились племена;

На смерть идутъ они охотно.
Умолкъ аулъ, гдѣ беззаботно
Недавно слушали пѣвца;
Оружья звонъ, движенье стана—
Вотъ нынѣ пѣсни молодца,
Вотъ удовольствія байрана!
«Смотри, какъ всякій биться радъ
За дѣло чести и свободы!...
Такъ точно было въ наши годы,
Когда насъ велъ Ахметъ-Булатъ!»
Съ улыбкой гордою шептали
Между собою старики,
Когда дорогой наблюдали
Отважныхъ юношей полки.
Пора! кипятъ они досадой,
Что русскихъ нѣтъ: имъ крови надо!

XIII.

Зима проходитъ; облака
Свѣтлѣй летятъ по дальнимъ сводамъ,
Въ рѣкѣ глядятся мимоходомъ;
Но съ гордымъ бѣшенствомъ рѣка
Крутясь какъ змѣй, не отвѣчаетъ
Улыбкѣ неба своего,
И бѣлыхъ путниковъ его
Межъ тѣмъ упорно обгоняетъ.
И ровны, прямы какъ стѣна,
По берегамъ темнѣютъ горы;
Ихъ крутизна, ихъ вышина
Плѣняютъ умъ, пугаютъ взоры;
Къ вершинамъ ихъ прицѣплена
Нагими красными корнями,
Кой-гдѣ кудрявая сосна
Стоитъ печальна и одна,
И часто мрачными мечтами

*

Тревожитъ сердце: такъ, порой,
Властитель, полубогъ земной,
На пышномъ тронѣ, окруженный,
Льстецовъ толпою униженной,
Груститъ о томъ, что одному
На свѣтѣ равныхъ нѣтъ ему.

XIV.

Завоевателю преграда
Положена въ долинѣ той:
Изъ камней и деревъ громада
Аргуну давитъ подъ собой.
Къ аулу нѣтъ пути инова;
И мыслятъ горцы: «врагъ лихой!
Тебѣ могила ужъ готова!»
Но прямо врагъ идетъ на нихъ
И блескъ орудій громовыхъ
Далеко сквозь туманъ играетъ.
— И Росламбэкъ совѣтъ сзываетъ;
Онъ говоритъ: «въ тиши ночной
Мы нападемъ на ихъ отряды;
Какъ упадаютъ водопады
Въ долину сонную весной...
Погибнутъ молча наши гости,
И ихъ разбросанныя кости,
Добыча врановъ и волковъ,
Сгніютъ, лишенныя гробовъ.
Межъ тѣмъ съ боязнію лукавой
Начнемъ о мирѣ договоръ,
И въ тайнѣ местію кровавой
Омоемъ долгій нашъ позоръ.»

XV.

Согласны всѣ на подвигъ ратный,
Но не согласенъ Измаилъ.

Взмахнулъ онъ шашкою булатной
И шумно съ мѣста онъ вскочилъ;
Окинулъ вмигъ летучимъ взглядомъ
Онъ узденей, сидѣвшихъ рядомъ,
И опустивши свой булатъ,
Такъ отвѣчаетъ брату братъ:
«Я не разбойникъ потаенный;
Я видѣть, видѣть кровь люблю;
Хочу, чтобъ мною пораженный
Зналъ руку грозную мою!
Какъ ты, я русскихъ ненавижу,
И даже болѣе чѣмъ ты;
Но подъ покровомъ темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной странѣ,
Иную славу надо мнѣ!...»
И поединка ожидали
Межъ братьевъ молча уздени;
Не смѣли тронуться они.
Онъ вышелъ—всѣ еще молчали...

XVI.

Ужасна ты, гора Шайтанъ,
Пустыни старый великанъ;
Тебя злой духъ, гласитъ преданье,
Построилъ дерзостной рукой,
Чтобъ хоть на мигъ свое изгнанье
Забыть межъ небомъ и землей.
Здѣсь три столѣтья очарованъ,
Онъ тяжкой цѣпью былъ прикованъ,
Когда надменный съ новыхъ скалъ
Стрѣлой пророку угрожалъ.
Какъ буркой, ельникомъ покрыта,
Сосѣднихъ горъ она чернѣй.
Тропинка желтая прорыта

Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохомъ, ни кустами
Не заростаетъ никогда;
Пестрѣя чудными слѣдами.
Она ведетъ Богъ-вѣсть куда.
Олень съ вѣтвистыми рогами,
Между высокими цвѣтами,
Одѣтый хмѣлемъ и плющомъ,
Лежитъ полуобъятый сномъ;
И вдругъ знакомый лай онъ слышитъ
И чуетъ близкаго врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свѣжестью подышетъ,
Росу съ могучихъ плечъ стряхнетъ,
И вдругъ однимъ прыжкомъ махнетъ
Черезъ утесъ—и вотъ онъ мчится,
Терновъ колючихъ не боится
И хмѣль коварный грудью рветъ—
Но, вольный путь пересѣкая,
Предъ нимъ тропинка роковая...
Никѣмъ незримая рука
Царя лѣсовъ остановляетъ,
И онъ, какъ гибель ни близка,
Свой прежній путь не продолжаетъ...

XVII.

Кто жъ подъ ужасною горой
Зажегъ огонь сторожевой?
Треща, краснѣя и сверкая,
Кусты вокругъ онъ озарилъ.
На камень голову склоняя,
Лежитъ поодаль Измаилъ.
Его приверженцы хотѣли
Идти за нимъ—но не посмѣли.

XVIII.

Вотъ что ему родной готовилъ край!
Сбылись мечты: увидѣлъ онъ свой рай,
Гдѣ міръ такъ юнъ, природа такъ богата;
Но люди, люди—что̀ природа имъ?
Едва успѣлъ обнять изгнанникъ брата,
Ужъ клевета и зависть—все надъ нимъ!
Друзей улыбка, нѣжное свиданье,
За что бъ другой Творца благодарилъ,
Все то ему дается въ наказанье...
Но для терпѣнья ль созданъ Измаилъ?
Бываютъ люди: чувства—имъ страданья,
Причуда злой судьбы—ихъ бытіе;
Чтобъ самовластье показать свое,
Она порой кидаетъ ихъ межъ нами.
Такъ, древле, въ море кинулъ царь алмазъ,
Но горный камень въ свой урочный часъ
Ему обратно отданъ былъ волнами...
И дѣтямъ рока мѣста въ мірѣ нѣтъ,
Они его пугаютъ жизнью новой,
Они блеснутъ — и сгладится ихъ слѣдъ,
Какъ въ темной тучѣ слѣдъ стрѣлы громовой.
Толпа дивится часто ихъ уму,
Но часто обвиняетъ, потому
Что въ морѣ бѣдъ какъ вихри ихъ ни носятъ,
Они пособій отъ рабовъ не просятъ.
Хотятъ ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ,
И власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ.

XIX.

«Безсмысленный! зачѣмъ отвергнулъ ты
Слова любви, моленья красоты?
Зачѣмъ, когда такъ долго съ ней сражался,
Своей судьбы ты дѣтски испугался?

Все прежнее, незнаемый молвой,
Ты бъ могъ забыть близъ Зары молодой,
Забыть людей близъ ангела въ пустынѣ,
Ты бъ могъ любить, но не хотѣлъ—и нынѣ
Картины счастья живо предъ тобой
Проходятъ укоряющей толпой.
Ты жмешь ей руку; грудь ея и плечи
Цѣлуешь въ упоеньи; ласки, рѣчи,
Исполненныя счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь; образъ милый,
Волшебный взоръ—все предъ тобой какъ было
Еще недавно; всѣ мечты твои
Такъ вѣроятны, что душа боится,
Не вѣря имъ, вторично ошибиться...
А чѣмъ ты это счастье замѣнилъ?»
Передъ огнемъ такъ думалъ Измаилъ.
Вдругъ выстрѣлъ, два, и много: онъ вскочилъ,
И слушаетъ... но все утихло снова.
И говоритъ онъ: «это сонъ больнова!»

XX.

Души волненьемъ утомленъ,
Опять на землю князь ложится;
Трещитъ огонь и дымъ клубится...
И что же? Призракъ видитъ онъ:
Передъ огнемъ стоитъ спокоенъ,
На саблю опершись рукой,
Въ фуражкѣ бѣлой русскій воинъ,
Печальный, блѣдный и худой.
Спросить хотѣлось Измаилу:
Зачѣмъ оставилъ онъ могилу?
И свѣтъ дрожащаго огня,
Упавъ на смуглыя ланиты,
Черкесу придалъ видъ сердитый.
—Чего ты хочешь отъ меня?

«Гостепріимства и защиты?»
Пришлецъ безстрашно отвѣчалъ:
«Свой путь въ горахъ я потерялъ,
Черкесы вслѣдъ за мной спѣшили
И казаковъ моихъ убили,
И вѣрный конь подъ мною палъ.
Спасти, убить врага ночнова
Равно ты можешь. Не боюсь
Я смерти: грудь моя готова.
Твоей я чести предаюсь!»
—Ты правъ: на честь мою надѣйся;
Вотъ мой огонь—садись и грѣйся.

XXI.

Тиха, прозрачна ночь была,
Свѣтила на небѣ блистали,
Луна за облакомъ спала,
Но люди ей не подражали.
Передъ огнемъ враги сидятъ
Хранятъ молчанье и не спятъ.
Черты пришельца возбуждали
У князя новыя мечты:
Онѣ ему напоминали
Давно знакомыя черты.
То не игра воображенья!
Онъ долженъ разрѣшить сомнѣнья...
И такъ пришельцу говорилъ
Нетерпѣливый Измаилъ:
—Ты молодъ, вижу я. За славой
Привыкнувъ гнаться, ты забылъ,
Что славы нѣтъ въ войнѣ кровавой
Съ необразованной толпой.
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бѣдны мы, и волю,

И степь свою не отдадимъ
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворимъ,
Что̀ презираете вы хладно!
Не бойся, говори смѣлѣй:
Зачѣмъ ты насъ возненавидѣлъ,
Какою грубостью своей
Простой народъ тебя обидѣлъ?

XXII.

«Ты ошибаешься, черкесъ!»
Съ улыбкой русскій отвѣчаетъ.
«Повѣрь: меня, какъ васъ, плѣняетъ
И водопадъ, и темный лѣсъ;
Съ восторгомъ ваши льды я вижу,
Встрѣчаю пышную зарю,
И ваше племя я люблю;
Но одного я ненавижу:
Черкесъ онъ родомъ, не душой,
Ни въ чемъ, ни въ чемъ не схожъ съ тобой —
Себѣ, иль князю Измаилу
Клялся я здѣсь найти могилу...
Къ чему опять ты мрачный взоръ
Мохнатой шапкой закрываешь?
Твое молчанье мнѣ укоръ;
Но выслушай, ты все узнаешь,
И самъ досадой запылаешь...

XXIII.

«Ты знаешь, вѣрно, что служилъ
Въ россійскомъ войскѣ Измаилъ,
Но, недовольный между нами,
Родными бредилъ онъ полями,
И все черкесъ въ немъ видѣнъ былъ.
Въ пирахъ и битвахъ отличался

Онъ передъ всѣми; томный взглядъ
Восточной нѣгой отзывался:
Для нашихъ женщинъ въ немъ былъ ядъ!
Воспламенивъ воображенье,
Повелѣвалъ онъ безъ труда,
И за проступокъ — наслажденье
Не почиталъ онъ никогда;
Не знаю, было то презрѣнье
Къ законамъ стороны чужой,
Или испорченный чувства...
Любовью женщинъ, ихъ тоской
Онъ веселился какъ игрой;
Но избѣжать его искусства
Не удалося ни одной.

XXIV.

«Черкесъ! видалъ я здѣсь прекрасныхъ
Свободы нѣжныхъ дочерей:
Но не сравню ихъ взоровъ страстныхъ
Съ привѣтомъ сѣверныхъ очей.
Ты не любилъ!... Ни словъ опасныхъ,
Ни устъ волшебныхъ не знавалъ:
Кудрями дѣвы золотыми
Ты въ упоеньи не игралъ;
Ты клятвамъ страсти не внималъ
И не былъ ты обмануть ими...
Но я любилъ! судьба меня
Блестящей радугой, манила
Невольно къ безднѣ подводила...
И ждалъ я счастливаго дня!
Своей невѣстой дорогою
Я смѣлъ ужъ ангела назвать,
Невиннымъ ласкамъ отвѣчать
И съ райской дѣвой забывать,
Что рая нѣтъ ужъ подъ луною.

И вдругъ ударилъ страшный часъ —
Причина долголѣтней муки:
Призывъ войны, отчизны гласъ,
Раздался вѣстникомъ разлуки.
Какъ дымъ разсѣялись мечты...
Тотъ день я буду помнить вѣчно...
Черкесъ, черкесъ! ни съ кѣмъ, конечно,
Ни съ кѣмъ не разставался ты?...

XXV.

«Въ то время Измаилъ случайно
Невѣсту увидалъ мою,
И страстью запылалъ онъ тайно.
Межъ тѣмъ, какъ въ дальнемъ я краю
Искалъ въ бояхъ конца иль славы —
Сластолюбивый и лукавый,
Онъ сердце дѣвы молодой
Опуталъ сѣтью роковой.
Какъ онъ умѣлъ слезой притворной
Къ себѣ довѣренность вселять,
Насмѣшкой скромность побѣждать,
И, побѣждая, видъ покорный
Хранить — иль весь огонь страстей
Мгновенно открывать предъ ней!...
Онъ очертилъ волшебнымъ кругомъ
Ея желанья; вѣдалъ онъ,
Что быть не могъ ея супругомъ,
Что раздѣлялъ ихъ нашъ законъ —
И обольщенная упала
На грудь убійцы своего!
Кромѣ любви, она не знала,
Она не знала ничего...

XXVI.

«Но скоро скуку пресыщенья
Постигъ виновный Измаилъ.

Таиться не было теріѣнья,
Когда погасъ минутный пылъ;
Оставилъ жертву обольститель
И удалился въ край родной,
Забывъ, что есть на небѣ мститель,
А на землѣ еще другой!
Моя рука его отыщетъ
Въ толпѣ, въ лѣсахъ, въ степи пустой,
И казни грозный мечъ просвищетъ
Надъ непреклонной головой.
Пусть ликъ одежда измѣняетъ;
Не взоръ—душа врага узнаетъ!...

XXVII.

«Черкесъ! ты понялъ, вижу я,
Какъ справедлива месть моя.
Ужъ на устахъ твоихъ проклятья!
Ты, внемля, вздрагивалъ не разъ!...
О, если бъ могъ пересказать я,
Изобразить ужасный часъ,
Когда прелестное созданье
Я въ униженьи увидалъ
И безотчетное страданье
Въ глазахъ увядшихъ прочиталъ!...
Она разсудокъ потеряла:
Рядилась, пѣла и плясала,
Иль сидя молча у окна,
По цѣлымъ днямъ, какъ бы не зная,
Что измѣнилъ онъ ей, вздыхая,
Ждала измѣнника она.
Вся жизнь погибшей дѣвы милой
Остановилась на быломъ;
Ея безумье даже было
Любовь къ нему и мысль о немъ...
Какой душѣ не зналъ онъ цѣну!...»

И долго русскій говорилъ
Про месть, про счастье, про измѣну.
Его не слушалъ Измаилъ.
Лишь знаетъ онъ, да Богъ единый,
Что̀ подъ спокойною личиной
Тогда происходило въ немъ.
Стѣснивъ дыханье, вверхъ лицомъ
(Хоть сердце гордое и взгляды
Не ждали отъ небесъ отрады),
Лежалъ онъ на землѣ сырой,
Какъ ты, земля, и мрачный и нѣмой.

XXVIII.

Видали ль вы, какъ хищные и злые
Къ оставленному трупу, въ тихій долъ,
Слетаются наслѣдники земные,
Могильный воронъ, коршунъ и орелъ?
Такъ есть мгновенья, краткія мгновенья,
Когда, столпясь, всѣ адскія мученья
Слетаются на сердце и грызутъ!
Вѣка̀ печали стоютъ тѣхъ минутъ....
Лишь дунетъ вихрь — и сломится лилея;
Таковъ съ душой кто слабою рожденъ:
Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ;
Но мощный умъ, крѣпясь и каменѣя,
Ихъ обращаетъ въ пытку Прометея.
Не сгладитъ время ихъ глубокій слѣдъ:
Все въ мірѣ есть — забвенья только нѣтъ....

XXIX.

Свѣтаетъ. Горы снѣговыя
На небосклонѣ голубомъ
Зубцы подъемлютъ золотые;
Слилися съ утреннимъ лучомъ
Края волнистаго тумана,

И на верху горы Шайтана
Огонь, стыдясь передъ зарей,
Блѣднѣетъ. Тихо приподнялся,
Какъ передъ смертію больной,
Угрюмый князь съ земли сырой.
Казалось, вспомнить онъ старался
Разсказъ ужасный, и желалъ
Себя увѣрить онъ, что спалъ;
Желалъ бы счесть онъ все мечтою,
И по челу провелъ рукою;
Но грусть — жестокій властелинъ!
Съ чела не сгладилъ онъ морщинъ.

XXX.

Онъ всталъ, онъ хочетъ непремѣнно
Пришельцу быть проводникомъ;
Не зная думать что о немъ,
Согласенъ юноша смущенный.
Идутъ они глухимъ путемъ;
Но ихъ тревожитъ все: то птица
Изъ-подъ ноги у нихъ вспорхнетъ,
То краснобокая лисица
Въ кусты цвѣтущіе нырнетъ.
Они все ниже, ниже сходятъ
И рукъ отъ сабель не отводятъ.
Черезъ опасный переходъ
Спѣшатъ, нагнувшись, безъ оглядки;
И вновь на холмъ крутой взошли —
И цѣпью русскія палатки,
Какъ на ночлегѣ журавли,
Бѣлѣютъ смутно ужъ вдали.
Тогда черкесъ остановился,
За руку русскаго схватилъ —
И кто бы, кто не удивился?
По-русски съ нимъ заговорилъ.

XXXI.

«Прощай! ты можешь безопасно
Теперь идти въ шатры свои.
Но, если вѣришь мнѣ, напрасно
Ты хочешь потопить въ крови
Свою печаль! Страшись; быть можетъ,
Раскаянье прибавишь къ ней.
Болѣзни этой не поможетъ
Ни кровь врага, ни рѣчь друзей!
Напрасно здѣсь, въ краю далекомъ,
Ты губишь прелесть юныхъ дней.
Нѣтъ! не достать враждѣ твоей
Главы, постигнутой ужъ рокомъ!
Онъ палачамъ судей земныхъ
Не уступаетъ жертвъ своихъ!
Твоя бъ рука не устрашила
Того, кто борется съ судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри жъ: онъ здѣсь передъ тобой!»
И съ видомъ гордаго презрѣнья
Отвѣта князь не ожидалъ;
Онъ скрылся межъ уступовъ скалъ....
И долго русскій, безъ движенья,
Одинъ, какъ вкопанный стоялъ.

XXXII.

Межъ тѣмъ, передъ горой Шайтаномъ,
Расположась военнымъ станомъ,
Толпа черкесовъ удалыхъ
Сидѣла вкругъ огней своихъ.
Они любили Измаила:
Съ нимъ вмѣстѣ слава, иль могила,
Имъ все равно, лишь только бъ съ нимъ!
Но не могла бъ судьба однимъ

И нѣжнымъ чувствомъ межъ собою
Сковать людей съ умомъ простымъ
И съ безпокойною душою:
Ихъ всѣхъ обидѣлъ Росламбэкъ!
(Таковъ повсюду человѣкъ).

XXXIII.

Сидятъ наѣздники безпечно.
Курятъ турецкій свой табакъ;
И князя ждутъ они. «Конечно,
Когда исчезнетъ ночи мракъ,
Онъ къ намъ сойдетъ, и взоръ орлиный
Смиритъ враждебныя дружины,
И вздрогнутъ передъ нимъ они,
Какъ Росламбэкъ и уздени!»
Такъ, пѣсню воли напѣвая,
Шептала шайка удалая.

XXXIV.

Безмолвно, грустно, всторонѣ,
Поднявъ глаза свои къ лунѣ,
Подругѣ думъ любви мятежной,
Прекрасный юноша стоялъ —
Цвѣтокъ для смерти слишкомъ нѣжный!
Онъ также Измаила ждалъ,
Но не безпечно. Трепетъ тайный
Порывамъ сердца измѣнялъ,
И вздохъ тяжелый, не случайный,
Не разъ изъ груди вылеталъ;
И онъ явился къ Измаилу,
Чтобъ раздѣлить съ нимъ—хоть могилу;
Увы! такая ли рука
Въ куски изрубитъ казака?
Такой ли взоръ, стыдливый, скромный,
Глядитъ на міръ, чтобъ видѣть кровь?

Зачѣмъ онъ здѣсь, и ночью темной
Лицомъ прелестный, какъ любовь,
Одинъ въ кругу черкесовъ праздныхъ,
Жестокихъ, буйныхъ, безобразныхъ?
Хотя страшился онъ сказать,
Не трудно бъ было отгадать,
Когда бъ.... Но сердце, чѣмъ моложе,
Тѣмъ боязливѣе, тѣмъ строже,
Хранитъ причину отъ людей
Своихъ надеждъ, своихъ страстей.
И тайна юнаго Селима,
Чуждаясь устъ, ланитъ, очей,
Отъ любопытныхъ, какъ отъ змѣй,
Въ груди сокрылась невредима.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Какія степи, горы и моря
Оружію славянъ сопротивлялись?
И гдѣ велѣнью русскаго царя
Измѣна и вражда не покорялись?
Смирись, черкесъ! и западъ и востокъ,
Быть можетъ, скоро твой раздѣлятъ рокъ.
Настанетъ часъ, и скажешь самъ надменно:
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!»
Настанетъ часъ—и новый, грозный Римъ
Украситъ сѣверъ Августомъ другимъ.

II.

Горятъ аулы: нѣтъ у нихъ защиты,
Врагомъ сыны отечества разбиты.
И зарево, какъ вѣчный метеоръ,
Играя въ облакахъ, пугаетъ взоръ.

Какъ хищный звѣрь, въ смиренную обитель
Врывается штыками побѣдитель;
Онъ убиваетъ старцевъ и дѣтей;
Невинныхъ дѣвъ и юныхъ матерей
Ласкаетъ онъ кровавою рукою;
Но жены горъ не съ женскою душою:
За поцѣлуемъ вслѣдъ звучитъ кинжалъ—
Отпрянулъ русскій, захрипѣлъ и палъ.
«Отмсти, товарищъ!» и въ одно мгновенье
(Достойное за смерть убійцы мщенье)
Простая сакля, веселя ихъ взоръ,
Горитъ—черкесской вольности костеръ.

III.

Въ аулѣ дальнемъ Росламбэкъ угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасомъ объятъ,
Но у него коварныя есть думы—
Имъ помѣшать теперь не можетъ братъ.
Гдѣ жъ Измаилъ?—Безвѣстными горами
Блуждаетъ онъ, дерется съ казаками,
И заманивъ толпы ихъ за собой,
Пустыню усыпаетъ ихъ костями,
И манитъ новыхъ по дорогѣ той.
За нимъ устали русскіе гоняться,
На крѣпости природныя взбираться;
Но отдохнуть черкесы не даютъ:
То скроются, то снова нападутъ;
Они—какъ тѣнь, какъ дымное видѣнье,
И далеко и близко въ то жъ мгновенье.

IV.

Но въ буряхъ битвъ не думалъ Измаилъ
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,
И не плѣнялся именемъ героя;

Онъ вѣдалъ цѣну почестей и словъ,
Изобрѣтенныхъ только для глупцовъ.
Недолгій жаръ погасъ; душой усталый,
Его бы не желалъ онъ воскресить:
И не родной аулъ—родныя скалы
Рѣшился онъ отъ русскихъ защитить.

V.

Садится день, одѣтый мглою,
Какъ за прозрачной пеленою....
Ни вѣтра на землѣ, ни тучъ
На блѣдномъ сводѣ. Чуть примѣтно
Орла на вышинѣ безцвѣтной;
Межъ скалъ блуждая, желтый лучъ
Въ пещеру дикую прокрался,
И гладкій черепъ озарилъ,
И самъ на жителѣ могилъ
Передъ кончиной разыгрался,
И по разбросаннымъ костямъ,
Травой поросшимъ, здѣсь и тамъ
Скользнулъ огнистой полосою,
Дивясь ихъ вѣчному покою.
Но прежде встрѣтилъ онъ двоихъ
Недвижныхъ также—но живыхъ...
И какъ нѣмыя жертвы гроба,
Они безпечны были оба.

VI.

Одинъ.... такъ точно—Измаилъ.
Безвѣстной думой угнетаемъ,
Онъ солнце тусклое слѣдилъ,
Какъ мы нерѣдко провожаемъ
Гостей докучливыхъ; на немъ
Черкесскій панцырь и шеломъ;
И пятна крови омрачали

Мѣстами блескъ военной стали.
Младую голову Селимъ
Вождю склоняетъ на колѣни;
Онъ всюду слѣдуетъ за нимъ,
Хранительной подобно тѣни:
Никто ни ропота, ни пени
Не слышалъ на его устахъ....
Боится онъ, или устанетъ,
На Измаила только взглянетъ—
И веселъ трудъ ему и страхъ.

VII.

Онъ спитъ, и длинныя рѣсницы
Закрыли очи подъ собой;
Въ ланитахъ кровь, какъ у дѣвицы,
Играетъ розовой струей;
И на кольчугѣ боевой
Ему не жостко. Съ сожалѣньемъ
На эти нѣжныя черты
Взираетъ витязь, и мечты
Его исполнены мученьемъ.
Такъ свѣтлой каплею роса,
Оставя край свой, небеса,
На листъ увядшій упадаетъ;
Блистая райскимъ жемчугомъ,
Она покоится на немъ
И, беззаботная, не знаетъ,
Что скоро листъ увядшій тотъ
Пожнетъ коса, иль конь сомнетъ.

VIII.

Съ полуоткрытыми устами,
Прохладой вечера дыша,
Онъ спитъ; но мирная душа
Взволнована; полусловами

Онъ съ кѣмъ-то говоритъ во снѣ.
Услышалъ князь и удивился;
Къ устамъ Селима въ тишинѣ
Прилежнымъ ухомъ наклонился.
Быть можетъ, черезъ этотъ сонъ
Его судьбу узнаетъ онъ.
«Ты могъ забыть?—Любви ненужно
Одной лишь нѣжности наружной....
Оставь же!» сонный говорилъ.
—Кого оставить?—князь спросилъ.
Селимъ умолкъ, но на мгновенье;
Онъ продолжалъ: «къ чему сомнѣнье?
На всемъ лежитъ его презрѣнье....
Увы! что значитъ передъ нимъ
Простая дѣва, иль Селимъ?
Такъ будетъ вѣчно между нами...
Зачѣмъ безцѣнными устами
Онъ это имя освятилъ?»
—Не я ль? подумалъ Измаилъ;
И, погодя, онъ слышитъ снова:
«Ужасно, Боже! для дѣтей
Проклятіе отца роднаго,
Когда на склонѣ позднихъ дней
Оставленъ ими.... но страшнѣй
Его слеза!...» Еще два слова
Селимъ сказалъ, и слабый стонъ
Вдругъ поднялъ грудь, какъ стонъ прощанья,
И улетѣлъ.—Изъ состраданья,
Князь прерываетъ тяжкій сонъ.

IX.

И вздрогнувъ, юноша проснулся,
Взглянулъ вокругъ, и улыбнулся,
Когда онъ ясно увидалъ,
Что на колѣняхъ друга спалъ.

Но покраснѣвши, сновидѣнье
Пересказать стыдился онъ,
Какъ будто бы лукавый сонъ
Имѣлъ съ судьбой его сношенье.
Не отвѣчая на вопросъ
(Примѣта явная печали),
Щипалъ онъ листья дикихъ розъ
И наконецъ двѣ капли слезъ
Въ очахъ склоненныхъ заблистали;
И съ быстротой отворотясь,
Онъ слезы осушилъ рукою....
Все примѣчалъ, все видѣлъ князь;
Но не смутился онъ душою
И приписалъ онъ простотѣ,
Затѣямъ дѣтскимъ слезы тѣ.
Конечно, самъ давно не зналъ онъ
Печалей сладостныхъ любви,
И самъ давно не предавалъ онъ
Слезамъ страданія свои.

X.

Не знаю.... но въ другихъ онъ чувства
Судить отвыкъ ужъ по своимъ.
Не разъ, личиною искусства,
Слезой и сердцемъ ледянымъ,
Когда обмановъ самъ чуждался,
Обманутъ былъ онъ—и боялся
Онъ вѣрить только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему...
И презиралъ онъ этотъ міръ. ничтожный,
Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣчный рядъ,
Гдѣ радость и печаль—все призракъ ложный,
Гдѣ память о добрѣ и злѣ—все ядъ;
Гдѣ льститъ намъ зло, но болѣе тревожитъ;
Гдѣ сердце утѣшать добро не можетъ,

И гдѣ они, покорствуя страстямъ,
Раскаянье одно приносятъ намъ....

XI.

Селимъ встаетъ, на гору всходитъ....
Сребристый стелется ковыль
Вокругъ пещеры; сумракъ бродитъ
Вдали.... Вотъ топотъ; вотъ и пыль,
Желтѣя, поднялась въ лощинѣ,
И крикъ черкесовъ по зарѣ
Гудитъ, теряяся въ пустынѣ....
Селимъ все слышалъ на горѣ;
Стремглавъ въ пещеру онъ вбѣгаетъ:
«Они! они!» онъ восклицаетъ,
И князя нѣжною рукой
Влечетъ онъ быстро за собой.
Вотъ первый всадникъ показался;
Онъ, мнилось, изъ земли рождался,
Когда въѣзжалъ на холмъ крутой;
За нимъ другой, еще другой—
И вереницею тянулись
Они по узкому пути:
Тамъ, если бъ два коня столкнулись,
Назадъ бы оба не вернулись,
И не могли бъ впередъ идти.

XII.

Толпа джигитовъ * удалая,
Передъ горой остановясь,
Съ коней измученныхъ слѣзая,
Шумитъ. Но къ нимъ подходитъ князь—
И все утихло; уваженье
Въ ихъ выразительныхъ чертахъ;

* Наѣздники.

Но уваженіе—не страхъ,
Не власть его основа—мнѣнье;
«Какія вѣсти?»—Русскій станъ
Пришелъ къ Оссаевскому Полю,
Имъ льститъ и бѣдность нашихъ странъ!
Ихъ много! «Кто не любитъ волю?»
Молчатъ. «Такъ дайте жъ отдохнуть
Своимъ конямъ. Съ зарею въ путь.
Въ бою мы рады лечь костями;
Чего же лучшаго намъ ждать?
Но въ цвѣтѣ жизни умирать,
Селимъ, ты не поѣдешь съ нами!...»

XIII.

Блѣднѣетъ юноша, и взоръ
Понятно выразилъ укоръ.
«Нѣтъ! говоритъ онъ: я повсюду
Въ изгнаньи, въ битвѣ—спутникъ твой;
Нѣтъ! клятвы я не позабуду—
Угаснуть или жить съ тобой.
Не робокъ я подъ свистомъ пули—
Ты видѣлъ это, Измаилъ!
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною былъ.
И съ твоего чела не я ли
Смывалъ такъ часто пыль и кровь?
Когда друзья твои бѣжали,
Чьи рѣчи, ласки прогоняли
Суровый мракъ твоей печали?
Мои слова, моя любовь!
Возьми, возьми меня съ собою!
Ты знаешь, я владѣть стрѣлою
Могу....И что мнѣ смерть? О, нѣтъ!
Красой и счастьемъ юныхъ лѣтъ
Моя душа не дорожила;

Все, все оставлю, жизнь и свѣтъ—
Но не оставлю Измаила!»

XIV.

Взглянулъ на небо молча князь,
И наконецъ, отворотясь,
Онъ протянулъ Селиму руку;
И крѣпко тотъ ее пожалъ
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знакъ сей обѣщалъ.
И долго витязь такъ стоялъ;
И подъ нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я могъ бы этотъ блескъ назвать,
Когда бъ не скрылся онъ опять.

XV.

По косогору ходятъ кони;
Колчаны, ружья, сѣдлы, брони
Въ пещеру на ночь снесены;
Огни у входа зажжены.
На князѣ яркая кольчуга
Блеститъ краснѣя; погруженъ
Въ мечтанье горестное онъ;
И отъ страстей, какъ отъ недуга,
Бѣжитъ спокойствіе и сонъ.
И говоритъ Селимъ: «навѣрно,
Тебя терзаетъ духъ пещерной!
Дай, пѣсню я тебѣ спою;
Нерѣдко дѣва молодая
Ее поетъ въ моемъ краю,
На битву друга отпуская.
Она печальна; но другой
Я не слыхалъ въ странѣ родной;
Ее пѣвала мать родная

Надъ колыбелію моей.
Ты, слушая, забудешь муки,
И на глаза навѣютъ звуки
Всѣ сновидѣнья дѣтскихъ дней.»
Селимъ запѣлъ и ночь кругомъ внимаетъ,
И пѣснь ей пустыня повторяетъ:

ПѢСНЯ СЕЛИМА.

Мѣсяцъ плыветъ
И тихъ и спокоенъ;
А юноша-воинъ
На битву идетъ.
Ружье заряжаетъ джигитъ
И дѣва ему говоритъ:

«Мой милый! смѣлѣе
Ввѣряйся ты року,
Молися Востоку,
Будь вѣренъ Пророку,
Любви будь вѣрнѣе!

«Всегда награжденъ,
Кто любитъ до гроба;
Ни зависть, ни злоба
Ему не законъ;
Пускай его смертъ и погубитъ:
Одинъ не погибнетъ, кто любитъ!

«Любви измѣнившій—
Измѣной кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнетъ безъ славы;
Дожди его ранъ не обмоютъ
И звѣри костей не зарокотъ!»

Мѣсяцъ плыветъ
И тихъ и спокоенъ;

А юноша-воинъ
На битву идетъ...

«Прочь эту пѣсню!» какъ безумный
Воскликнулъ князь: «зачѣмъ упрекъ?...
Тебя ль послушаетъ Пророкъ?...
Тамъ, облитъ кровью, въ битвѣ шумной,
Твои слова я заглушу,
И разорву ея оковы,
И память въ сердцѣ удушу....
Вставайте!... Какъ? Вы не готовы?...
Прочь пѣсни! крови мнѣ! пора!...
Друзья, коней!... Вы не слыхали
Удары, топотъ, визгъ ядра,
И крикъ, и трескъ разбитой стали?
Я слышалъ.... О, не пой, не пой!
Тронь сердце, какъ дрожитъ! И что же?
Ты недовольна? Боже, Боже!...
Зачѣмъ казнить ея рукой?....»
Такъ рѣчь его оторвалася
Отъ блѣдныхъ устъ и пронеслася
Невнятно, какъ далекій громъ.
Неровнымъ, трепетнымъ огнемъ
До половины освѣщенный,
Ужасенъ, съ шашкой обнаженной,
Стоялъ недвижимъ Измаилъ,
Какъ призракъ злой, отъ сна могилъ
Волшебнымъ словомъ пробужденный.
Онъ взоръ всей силой устремилъ
Въ пустую степь, грозилъ рукою,
Чему-то страшному грозилъ;
Иначе, какъ бы Измаилъ
Смутиться твердой могъ душою?—
И понялъ наконецъ Селимъ,

Что витязь говорилъ не съ нимъ....
Неосторожный! онъ коснулся
Душевныхъ струнъ—и звукъ проснулся,
Расторгнувъ хладную тюрьму....
И самъ искусству своему
Селимъ невольно ужаснулся....

XVI.

Толпа садится на коней.
При свѣтѣ гаснущихъ огней
Мелькаютъ сумрачныя лица.
Такъ опоздавшая станица
Пустынныхъ бѣлыхъ журавлей
Вдругъ поднимается съ полей....
Смѣхъ, крики, ропотъ, стукъ и ржанье—
Все дышетъ буйствомъ и войной;
Во всемъ приличія незнанье,
Отвага дерзости слѣпой.

XVII.

Свѣтлѣетъ небо полосами;
Заря межъ синими рядами
Ревнивыхъ тучъ ужъ занялась.
Вдоль по лощинѣ ѣдетъ князь,
За нимъ черкесы цѣпью длинной.
Признаться, конь по сѣдоку:
Бѣжитъ—и будто вѣтръ пустынный,
Скользящій шумно по песку,
Крутится, вьется на скалу;
Онъ бѣлъ какъ снѣгъ: во мракѣ ночи
Его замѣтить могутъ очи.—
Съ колчаномъ звонкимъ за спиной,
Отягощенъ своимъ нарядомъ,
Селимъ проворный ѣдетъ рядомъ,
На кобылицѣ вороной.
Такъ бѣлый облакъ въ полдень знойной

Плыветъ отважно и спокойно—
И вдругъ по тверди голубой
Отрывокъ тучи громовой,
Грозы дыханіемъ гонимый,
Какъ черный лоскутъ мчится мимо;
Но какъ ни бейся, въ вышинѣ
Онъ съ тѣмъ не станетъ наравнѣ.

XVIII.

Ужъ близко роковое поле.
Кому-то пасть рѣшитъ судьба?...
Вдругъ имъ послышалась стрѣльба,
И каждый мигъ все болѣ, болѣ;
И пушекъ голосъ громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнулъ князь, махнулъ рукою:
«Впередъ!» воскликнулъ онъ; «за мною!»
Сказалъ—и бросилъ повода.
Нѣтъ, такъ прекрасенъ никогда
Онъ не казался! Повелитель,
Герой по взорамъ и рѣчамъ,
Летѣлъ къ опаснымъ онъ врагамъ,
Летѣлъ, какъ ангелъ-истребитель:
И въ этотъ мигъ, скажи, Селимъ,
Кто бъ не послѣдовалъ за нимъ?

XIX.

Межъ тѣмъ, съ безпечною отвагой,
Отрядъ могучихъ казаковъ
Гнался за малою ватагой
Неустрашимыхъ удальцовъ.
Всю эту ночь они блуждали
Вкругъ непріязненныхъ шатровъ,
Ихъ часовые увидали—
И пушка грянула по нимъ.

И витязи спѣшатъ на встрѣчу.
Едва съ отчаяньемъ нѣмымъ
Они поддерживали сѣчу,
Стыдяся въ бѣгствѣ показать,
Что смерть ихъ можетъ испугать.
Ихъ кругъ тѣснѣй ужъ становился:
Одинъ подъ саблею свалился,
Другой, пробитый въ грудь свинцомъ,
Былъ въ поле унесенъ конемъ
И, мертвый, на сѣдлѣ все бился....
Оружье брось—надежды нѣтъ;
Черкесъ, читай свои молитвы!
Въ крови твой шелковый бешметъ,
Тебѣ другой не видѣть битвы....
Вдругъ пыль и крикъ—онъ имъ знакомъ:
То крикъ родной, не безполезный!
Глядятъ—и видятъ надъ холмомъ
Стоитъ ихъ князь въ бронѣ желѣзной.

XX.

Недолго Измаилъ стоялъ:
Вздохнуть коню онъ только далъ,
Взглянулъ и ринулся, и смялъ
Враговъ, и путь за нимъ кровавый
Межъ ихъ рядами видѣнъ сталъ.
Вездѣ, налѣво и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадаютъ:
Не видятъ блескъ ея враги,
И беззащитно умираютъ.
Какъ юный левъ, разгорячась,
Въ средину ихъ врубился князь;
Кругомъ свистятъ и рѣютъ пули;
Но что жъ? Его хранитъ Пророкъ!
Шеломъ удары не согнули,

И худо мѣтится стрѣлокъ.
За нимъ, погибель разсыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрезъ минуту шумный бой
Разсыпался въ долинѣ той....

XXI.

Далеко отъ сраженья, межъ кустовъ,
Питомецъ смѣлый трамскихъ табуновъ,
Разсѣдланный, хладѣя постепенно,
Лежалъ издохшій конь, и передъ нимъ,
Участіемъ исполненный живымъ,
Стоялъ черкесъ. Соратника лишенный,
Крестомъ сжавъ руки, и кидая взглядъ
Завистливый туда, на полѣ боя,
Онъ проклинать судьбу свою былъ радъ.
Его печаль—была печаль героя.
И весь въ поту, усталостью томимъ,
Къ нему въ испугѣ подбѣжалъ Селимъ
(Онъ лукъ не напрягалъ еще, и стрѣлы
Всѣ до одной въ колчанѣ были цѣлы).

XXII.

—Бѣда! сказалъ онъ: князя не видать!
Куда онъ скрылся? «Если хочешь знать,
Взгляни туда, гдѣ бранный дымъ краснѣе,
Гдѣ гуще пыль и смерти крикъ сильнѣе,
Гдѣ кровью облитъ мертвый и живой,
Гдѣ въ бѣгствѣ нѣтъ надежды никакой.
Онъ тамъ.... Смотри: летитъ какъ съ неба пламя.
Его шишакъ и конь—вотъ наше знамя!
Онъ тамъ; какъ духъ, разитъ и невредимъ,
И все бѣжитъ, иль падаетъ предъ нимъ!»
Такъ отвѣчалъ Селиму сынъ природы,
А лесть была чужда степей свободы.

XXIII.

Кто этотъ русскій съ саблею въ рукѣ,
Въ фуражкѣ бѣлой? Страха онъ не знаетъ;
Онъ между всѣхъ отличенъ вдалекѣ,
И казаковъ примѣромъ ободряетъ;
Онъ ищетъ Измаила—и нашелъ,
И вынулъ пистолетъ свой, и навелъ,
И выстрѣлилъ.... Напрасно! Обманулся
Его свинецъ!—но выстрѣлъ роковой
Услышавъ князь, и мигомъ обернулся,
И задрожалъ: «ты вновь передо мной!...
Свидѣтель Богъ: не я тому виной!...»
Воскликнулъ онъ и шашка зазвенѣла,
И отдѣлясь отъ трепетнаго тѣла,
Какъ зрѣлый плодъ отъ вѣтки молодой,
Скатилась голова, и конь ретивый
Всталъ на дыбы, заржалъ мотая гривой;
И скоро обезглавленный сѣдокъ
Свалился на растоптанный песокъ.
Недолго это сердце увядало,
И миръ ему! въ единый мигъ оно
Любить и ненавидѣть перестало:
Не всѣмъ такое счастье суждено.

XXIV.

Все жарче бой, главы валятся
Подъ взмахомъ княжеской руки.
Спасая дни свои, тѣснятся,
Бѣгутъ въ разстройствѣ казаки.
Какъ злые духи, горцы мчатся
Съ побѣднымъ воемъ имъ во слѣдъ,
И никому пощады нѣтъ.
Но что жъ? Побѣда измѣнила.
Раздался вдругъ нежданный громъ,
Все въ дымѣ скрылося густомъ,

И предъ глазами Измаила
На землю съ бѣшеныхъ коней
Кровавой грудою костей
Свалился рядъ его друзей...
Какъ градъ посыпалась картеча.
Пальбу услышавъ издалеча,
Направя синіе штыки,
Спѣшатъ ширванскіе полки...
На встрѣчу гибельному строю,
Одинъ, съ отчаянной душою,
Хотѣлъ пуститься Измаилъ;
Но за̀ поводъ коня схватилъ
Черкесъ, и въ горы за собою —
Какъ ни противился сѣдокъ —
Коня могучаго увлекъ.
И ни малѣйшаго движенья
Среди всеобщаго смятенья
Не упустилъ младой Селимъ:
Онъ бѣгство князя примѣчаетъ,
Ударъ судьбы благословляетъ,
И быстро слѣдуетъ за нимъ.
Не стыдъ, но горькая досада
Героя медленно грызетъ.
Жизнь—побѣжденнымъ не награда...
Онъ на друзей не кинулъ взгляда
И, мнится, ихъ не узнаетъ.

XXV.

Чѣмъ рѣже насъ балуетъ счастье,
Тѣмъ слаще предаваться намъ
Предположеньямъ и мечтамъ.
Родится ль тайное пристрастье
Къ другому міру, хоть и тамъ
Судьбы примѣтно самовластье,
Мы всѣ свободнѣе даримъ

Ему надежды и желанья,
И украшаемъ, какъ хотимъ,
Свои воздушныя созданья.
Когда забота и печаль
Покой душевный возмущаютъ,
Мы забываемъ свѣтъ, и въ даль
Душа и мысли улетаютъ,
И ловятъ сны, въ которыхъ нѣтъ
Слѣдовъ и тѣни прежнихъ лѣтъ.
Но умъ, сомнѣньемъ охлажденный,
И спорить съ рокомъ пріученный,
Не усладить, не позабыть
Свои страданія желаетъ,
И если иногда мечтаетъ,
То онъ мечтаетъ—побѣдить.
И зная собственную силу,
Пока не сброситъ прахъ въ могилу,
Онъ не оставитъ гордыхъ думъ...
Такой непобѣдимый умъ
Природой данъ былъ Измаилу.

XXVI.

Онъ раненъ; кровь его течетъ;
А онъ не чувствуетъ, не слышитъ;
Въ опасный путь его несетъ
Ретивый конь, храпитъ и пышетъ;
Одинъ Селимъ не отстаетъ:
За гриву ухватясь руками,
Едва сидитъ онъ на сѣдлѣ;
Боязни блѣдность на челѣ;
Онъ очи, полныя слезами,
Порой кидаетъ на того,
Кто все на свѣтѣ для него,
Кому надежду жизни милой
Готовъ онъ въ жертву принести,

*

И чье послѣднее «прости»
Его бы съ жизнью разлучило.
Будь передъ міромъ онъ злодѣй—
Что̀ для любви слова людей?
Что̀ ей небесъ опредѣленье?
Нѣтъ, охладить любовь—гоненье
Еще ни разу не могло:
Она сама свое добро и зло.

XXVII.

Умолкъ докучный крикъ погони;
Дымясь и въ пѣнѣ скачутъ кони,
Между проваломъ и горой,
Кремнистой, тѣсною тропой;
Они дорогу знаютъ сами
И презираютъ сѣдока,
И безполезная рука
Ужъ не владѣетъ поводами.
Направо темные кусты
Висятъ, за шапки задѣвая;
И съ неприступной высоты,
На новыхъ путниковъ взирая,
Чернѣетъ серна молодая...
Налѣво—пропасть; по краямъ
Рядъ красныхъ камней, здѣсь и тамъ
Всегда обрушиться готовый.
Никѣмъ невидимый потокъ,
Внизу свирѣпъ и одинокъ,
Какъ тигръ Америки суровый,
Бѣжитъ гремучею волной:
То блещетъ бахромой перловой,
То изумрудною каймой;
Какъ двѣ семьи враждебный геній—
Два гребня раздѣляетъ онъ.
Вдали на синій небосклонъ

Нагихъ, безплодныхъ горъ ступени
Ведутъ желаніе и взглядъ
Сквозь облака, которыхъ тѣни
По нимъ мелькаютъ и спѣшатъ:
Смѣняя въ зависти другъ друга,
Они бѣгутъ впередъ, назадъ,
И мнится, что подъ солнцемъ юга
Въ нихъ страсти южныя кипятъ.

XXVIII.

Ужъ полдень. Измаилъ слабѣетъ...
Пылаетъ солнце высоко;
Но есть надежда: дымъ синѣетъ,
Родной аулъ недалеко...
Тамъ, гдѣ кустарникомъ прикрыты,
Встаютъ красивые граниты
Какимъ-то пасмурнымъ вѣнцомъ,
Есть поворотъ и путь, прорытый
Арбы скрипучимъ колесомъ.
Оттуда кровы земляные,
Мечеть, бѣлѣющій заборъ,
Аргуны воды голубыя,
Какъ подъ ногами, встрѣтитъ взоръ...
Достигнутъ поворотъ желанный;
Вотъ и вѣнецъ горы туманной,
Вотъ слышенъ рѣчки ревъ глухой;
И бѣлый конь сильнѣй рванулся...
Но вдругъ переднею ногой
Онъ оступился; спотыкнулся,
И на скаку, между камней,
Упалъ всей тяжестью своей.

XXIX.

И всадникъ, кровью истекая,
Лежалъ безъ чувства на землѣ;

Въ устахъ недвижность гробовая
И блѣдность муки на челѣ;
Казалось, часъ его кончины
Ждалъ знакъ условный въ небесахъ,
Чтобы слетѣть, и въ мигъ единый
Изъ человѣка сдѣлать прахъ.
Ужель степная лишь могила
Ничтожный въ мірѣ будетъ слѣдъ
Того, чье сердце столько лѣтъ
Мысль о ничтожествѣ томила?
Нѣтъ! нѣтъ! вѣдь здѣсь еще Селимъ...
Склонясь въ отчаяньи надъ нимъ,
Какъ въ бурю ива молодая
Надъ падшимъ гнется алтаремъ—
Снималъ онъ панцырь и шеломъ;
Но сердце къ сердцу прижимая,
Не слышитъ жизни ни въ одномъ,
И если бъ страшное мгновенье
Всѣ силы не убило въ немъ,
Судиться сталъ бы онъ съ Творцомъ
И проклиналъ бы провидѣнье...

XXX.

Встаетъ, глядитъ кругомъ Селимъ:
Все неподвижно передъ нимъ.
Зоветъ—и тучка дождевая
Летитъ на зовъ его одна,
По вѣтру крылья простирая,
Какъ смерть темна и холодна.
Вотъ наконецъ сырымъ покровомъ
Одѣла путниковъ она—
И юноша въ испугѣ новомъ!
Прижавшись къ другу съ быстротой:
«О, пощади его... постой!»
Воскликнулъ онъ: «я вижу ясно,

Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю такъ страстно,
Кого слабѣй нельзя любить;
Ступай, ищи другихъ по свѣту;
Всѣ жертвы Бога твоего!...
Ужель меня несчастнѣй нѣту,
И нѣтъ виновнѣе его?»

XXXI.

Межь тѣмъ, подобно дымной тѣни,
Хотя не понялъ онъ моленій,
Угрюмый облакъ пролетѣлъ.
Когда жъ Селимъ взглянуть посмѣлъ—
Онъ былъ далеко. Освѣженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся блѣдный Измаилъ,
Взглянулъ, потомъ глаза открылъ.
Онъ слабъ: другую ищетъ руку
Еще дрожащая рука;
И каждому внимая звуку,
Онъ пьетъ дыханье вѣтерка,
И все, что̀ близко, отдаленно,
Предъ нимъ яснѣетъ постепенно...
Гдѣ жъ другъ послѣдній, гдѣ Селимъ?
Глядитъ...и что же передъ нимъ?
Глядитъ... уста оледенѣли,
И мысли зрѣньемъ овладѣли...
Не могъ бы описать подобный мигъ
На ангельскій, ни демонскій языкъ.

XXXII.

Селимъ... и кто теперь не отгадаетъ?
На немъ мохнатой шапки больше нѣтъ,
Раскрылась грудь, на шелковый бешметъ
Волна кудрей, чернѣя, ниспадаетъ—

Въ печали женщинъ лучшій ихъ уборъ.
Молитва стихла на устахъ... а взоръ...
О, небо, небо! есть ли въ кущахъ рая
Глаза, гдѣ слезы, робость и печаль
Оставить—страшно, уничтожить—жаль?
Скажи мнѣ: есть ли Зара молодая
Межъ дѣвъ твоихъ, и плачетъ ли она,
И любитъ ли? Но понялъ я молчанье!
Не встрѣтить мнѣ подобное созданье:
На небѣ неумѣстно подражанье,
А Зара на землѣ была одна.

XXXIII.

Узналъ, узналъ онъ образъ позабытый
Среди душевныхъ бурь и бурь войны;
Поцѣловалъ онъ нѣжныя ланиты—
И краски жизни имъ возвращены.
Она чело на грудь ему склонила;
Смущаютъ Зару ласки Измаила;
Но сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Ихъ рѣчи—пламень; вѣчная пустыня
Восторгомъ и блаженствомъ ихъ полна.
Любовь для неба и земли святыня
И только для людей порокъ она;
Во всей природѣ дышетъ сладострастье,
И только люди покупаютъ счастье.

Прошло два года, все кипитъ война;
Безплоднаго Кавказа племена
Питаются разбоемъ и обманомъ;
И въ знойный день, и подъ ночнымъ туманомъ
Отважность ихъ для русскаго страшна.
Казалося, двухъ братьевъ помирила

Слѣпая месть и къ родинѣ любовь.
Вездѣ, гдѣ врагъ бѣжитъ и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селимъ,
Теперь уже не слѣдуютъ за нимъ?
Куда лезгинка нѣжная сокрылась?
Какой ударъ ту грудь оледенилъ,
Гдѣ для любви такое сердце билось,
Какимъ владѣть онъ недостоинъ былъ?
Измѣна ли причина ихъ разлуки?
Жива ль она, иль спитъ послѣднимъ сномъ?
Родныя ль въ гробъ ее сложили руки?
Послѣднее «прости» съ слезами муки
Сказали ль ей на языкѣ родномъ?
И если смерть щадитъ ее понынѣ—
Между какихъ людей, въ какой пустынѣ?
Кто бъ Измаила смѣлъ спросить о томъ.

Однажды, въ часъ, когда лучи заката
По облакамъ кидали искры злата,
Задумчивъ на курганѣ Измаилъ
Сидѣлъ. Еще ребенкомъ онъ любилъ
Природы дикой пышныя картины,
Разливъ зари и льдистыя вершины,
Блестящія на небѣ голубомъ;
Не измѣнилось только это въ немъ.
Четыре горца близъ него стояли
И мысли по лицу узнать желали;
Но кто проникнетъ въ глубину морей
И въ сердце, гдѣ тоска, но нѣтъ страстей?
О чемъ бы онъ ни думалъ—Западъ дальной
Не привлекалъ мечты его печальной;
Другія вспоминанья и другой,
Другой предметъ владѣлъ его душой...
Но что за выстрѣлъ?... Дымъ взвился бѣлѣя,

Вѣрна рука, и вѣренъ глазъ злодѣя!
Съ свинцомъ въ груди, простертый на землѣ
Съ печатью смерти на крутомъ челѣ,
Друзьями окруженъ, любимецъ брани
Лежалъ, навѣки нѣмъ для ихъ призваній.
Послѣдній лучъ зари еще игралъ
На пасмурныхъ чертахъ и придавалъ
Его лицу румянецъ, и казалось,
Что въ немъ отъ жизни что-то оставалось;
Что мысль, которой угнетенъ былъ умъ,
Послѣдняя его тяжелыхъ думъ,
Когда душа отторгнулась отъ тѣла
Его лица оставить не успѣла.
Небесный судъ да будетъ надъ тобой,
Жестокій братъ, завистникъ вѣроломный;
Ты самъ намѣтилъ выстрѣлъ роковой;
Ты не нашелъ въ горахъ руки наемной...
Гремучій ключъ катился невдали,
Къ его струямъ черкесы принесли
Кровавый трупъ. Разстегнутъ ихъ рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою,
И грудь омыть они уже хотятъ...
Но почему ихъ омрачился взглядъ?
Чего они такъ явно ужаснулись?
Зачѣмъ, вскочивъ, такъ хладно отвернулись?
Зачѣмъ? Какой-то локонъ золотой
(Конечно талисманъ земли чужой),
Подъ грубою одеждою измятый,
И бѣлый крестъ на лентѣ полосатой
Блистали на груди у мертвеца...
—«И кто бы отгадалъ!—джяуръ проклятый!
Нѣтъ, ты не стоишь лучшаго конца;
Нѣтъ, мусульманинъ вѣрный—Измаилу,
Отступнику, не выроетъ могилу!...
Того, кто презиралъ людей и рокъ,

Кто смертію игралъ такъ своенравно,
Лишь ты низвергнуть смѣлъ, святой Пророкъ!
Пусть, не оплаканъ, онъ сгніетъ безславно;
Пусть кончитъ жизнь, какъ началъ, одинокъ!...»

1836

РУСАЛКА.

Русалка плыла по рѣкѣ голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пѣну волны.

И шумя и крутясь, колебала рѣка
Отраженныя въ ней облака;
И пѣла русалка—и звукъ ея словъ
Долеталъ до крутыхъ береговъ.

И пѣла русалка: «на днѣ у меня
Играетъ мерцаніе дня;
Тамъ рыбокъ златыя гуляютъ стада,
Тамъ хрустальные есть города.

«И тамъ на подушкѣ изъ яркихъ песковъ,
Подъ тѣнью густыхъ тростниковъ,
Спитъ витязь, добыча ревнивой волны,
Спитъ витязь чужой стороны.

«Разчесывать кольца шелковыхъ кудрей
Мы любимъ во мракѣ ночей,
И въ чело и въ уста мы въ полуденный часъ
Цѣловали красавца не разъ.

«Но къ страстнымъ лобзаньямъ, не знаю зачѣмъ,
Остается онъ хладенъ и нѣмъ;

Онъ спитъ—и склонившись на перси ко мнѣ,
Онъ не дышетъ, не шепчетъ во снѣ!...»

Такъ пѣла русалка надъ синей рѣкой,
Полна непонятной тоской;
И шумно катясь, колебала рѣка
Отраженныя въ ней облака.

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДІЯ.

(ИЗЪ БАЙРОНА).

Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ, скорѣй!
Вотъ арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудятъ въ струнахъ звуки рая.
И если не навѣкъ надежды рокъ унесъ—
Онѣ въ груди моей проснутся,
И если есть въ очахъ застывшихъ капля слезъ—
Онѣ растаютъ и прольются.

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ,
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она;
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ—теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти, яда полный.

ВЪ АЛЬБОМЪ.

(ИЗЪ БАЙРОНА).

Какъ одинокая гробница
Вниманье путника зоветъ,

Такъ эта блѣдная страница
Пусть милый взоръ твой привлечетъ.

И если послѣ многихъ лѣтъ
Прочтешь ты, какъ мечталъ поэтъ,
И вспомнишь, какъ тебя любилъ онъ,
То думай, что его ужъ нѣтъ,
Что сердце здѣсь похоронилъ онъ.

УМИРАЮЩІЙ ГЛАДІАТОРЪ.

J see before me the gladiator lie... Byron.

Ликуетъ буйный Римъ... Торжественно гремитъ
Рукоплесканьями широкая арена—
А онъ, пронзенный въ грудь, безмолвно онъ лежитъ,
Во прахѣ и крови скользятъ его колѣна...
И молитъ жалости напрасно мутный взоръ:
Надменный временщикъ и льстецъ его, сенаторъ,
Вѣнчаютъ похвалой побѣду и позоръ...
Что̀ яростной толпѣ сраженный гладіаторъ?
Онъ презрѣнъ и забытъ... освистанный актеръ!
И кровь его течетъ—послѣднія мгновенья
Мелькаютъ—близокъ часъ... Вотъ лучъ воображенья
Сверкнулъ въ его душѣ... предъ нимъ шумитъ Дунай...
И родина цвѣтетъ—свободной жизни край;
Онъ видитъ кругъ семьи, оставленной для брани,
Отца, простершаго нѣмѣющія длани,
Зовущаго къ себѣ опору дряхлыхъ дней...
Дѣтей играющихъ—возлюбленныхъ дѣтей!
Всѣ ждутъ его назадъ съ добычею и славой...
Напрасно! жалкій рабъ, онъ палъ, какъ звѣрь лѣсной,
Безчувственной толпы минутною забавой...
«Прости, развратный Римъ!—Прости, о край родной!»

ДВА ВЕЛИКАНА.

Въ шапкѣ золота литаго
Старый русскій великанъ
Поджидалъ къ себѣ другаго
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ.

За горами, за долами
Ужъ гремѣлъ о немъ разсказъ,
И помѣряться главами
Захотѣлось имъ хоть разъ.

И пришелъ съ грозой военной
Трехнедѣльный удалецъ,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражескій вѣнецъ.

Но улыбкой роковою
Русскій витязь отвѣчалъ—
Посмотрѣлъ, тряхнулъ главою:
Ахнулъ дерзкій—и упалъ...

Но упалъ онъ въ дальнемъ морѣ
На невѣдомый гранитъ,
Тамъ, гдѣ буря на просторѣ
Надъ пучиною шумитъ.

ЖЕЛАНІЕ.

Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня!

Дайте разъ по синю полю
Проскакать на томъ конѣ;
Дайте разъ на жизнь и волю,
Какъ на чуждую мнѣ долю,
Посмотрѣть поближе мнѣ.

Дайте мнѣ челнокъ досчатый
Съ полусгнившею скамьей,
Парусъ сѣрый и косматый,
Ознакомленный съ грозой.
Я тогда пущуся въ море
Беззаботенъ и одинъ;
Разгуляюсь на просторѣ
И потѣшусь въ буйномъ спорѣ
Съ дикой прихотью пучинъ.

Дайте мнѣ дворецъ высокой
И кругомъ зеленый садъ,
Чтобъ въ тѣни его широкой
Зрѣлъ янтарный виноградъ,
Чтобъ фонтанъ, не умолкая,
Въ залѣ мраморномъ журчалъ,
И меня, въ мечтаньяхъ рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплялъ и пробуждалъ...

---

* * *

Гляжу на будущность съ боязнью,
Гляжу на прошлое съ тоской,
И какъ преступникъ передъ казнью,
Ищу кругомъ души родной!...
Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,

Цѣль упованій и страстей,
Повѣдать, что̀ мнѣ Богъ готовилъ,
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную
Любви, надеждъ, добра и зла.
Начать готовъ я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
Я въ мірѣ не оставлю брата;
И тьмой и холодомъ объята
Душа усталая моя!
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія.

---

* * *

Она поетъ—и звуки таютъ,
Какъ поцѣлуи на устахъ;
Глядитъ—и небеса играютъ
Въ ея божественныхъ глазахъ;
Идетъ ли—всѣ ея движенья,
Иль молвитъ слово—всѣ черты
Такъ полны чувства, выраженья,
Такъ полны дивной простоты!

---

* * *

Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ
Эмалью голубой;
Какъ поцѣлуй, звучитъ и таетъ
Твой голосъ молодой.

За звукъ одинъ волшебной рѣчи,
За твой единый взглядъ,
Я радъ отдать красавца сѣчи—
Грузинскій мой булатъ...

И онъ порою сладко блещетъ,
Заманчиво звучитъ;
При звукѣ томъ душа трепещетъ
И въ сердцѣ кровь кипитъ.

Но жизнью бранной и мятежной
Не тѣшусь я съ тѣхъ поръ,
Какъ услыхалъ твой голосъ нѣжный
И встрѣтилъ милый взоръ!

1837

—

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА.

Погибъ поэтъ, невольникъ чести,
Палъ оклеветанный молвой,
Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести,
Поникнувъ гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочныхъ обидъ;
Возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта
Одинъ, какъ прежде—и убитъ!
Убитъ!... Къ чему теперь рыданья,
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ,
И жалкій лепетъ оправданья—
Судьбы свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ долго гнали
Его свободный, чудный даръ,

И для потѣхи возбуждали
Чуть затаившійся пожаръ...
Что жъ? Веселитесь!... Онъ мученій
Послѣднихъ перенесть не могъ.
Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,
Увялъ торжественный вѣнокъ!...
Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ—спасенья нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолетъ.
И что за диво?... Издалека,
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,
На ловлю счастья и чиновъ
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока,
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ
Земли чужой языкъ и нравы:
Не могъ щадить онъ нашей славы,
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
На что онъ руку подымалъ!

*

И онъ погибъ и взятъ могилой,
Какъ тотъ пѣвецъ невѣдомый, но милый,
Добыча ревности нѣмой,
Воспѣтый имъ съ такою чудной силой,
Сраженный, какъ и онъ, безжалостной рукой.
Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы простодушной
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ завистливый и душный
Для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей?
Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ безбожнымъ,
Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ласкамъ ложнымъ —
Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей!
И прежній снявъ вѣнокъ, они вѣнецъ терновый,
Увитый лаврами, надѣли на него;
Но иглы тайныя сурово
Язвили славное чело...

Отравлены его послѣднія мгновенья
Коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ невѣждъ,
И умеръ онъ съ глубокой жаждой мщенья,
Съ досадой тайною обманутыхъ надеждъ...

Замолкли звуки дивныхъ пѣсенъ,
Не раздаваться имъ опять,
Пріютъ пѣвца угрюмъ и тѣсенъ
И на устахъ его печать!

*

А вы, надменные потомки
Извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ,
Пятою рабскою поправшіе обломки
Игрою счастія обиженныхъ родовъ!
Вы, жадною толпой стоящіе у трона,
Свободы, генія и славы палачи!
Таитесь вы подъ сѣнію закона,
Предъ вами судъ и правда—все молчи!
Но есть и Божій судъ, наперсники разврата,
Есть грозный судія, онъ ждетъ,
Онъ недоступенъ звону злата,
И мысли и дѣла онъ знаетъ напередъ.
Тогда напрасно вы прибѣгнете къ злословью:
Оно вамъ не поможетъ вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

ВѢТКА ПАЛЕСТИНЫ.

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины,
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?

*

У водъ ли чистыхъ Іордана
Востока лучъ тебя ласкалъ,
Ночной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыхалъ?

Молитву ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бѣдные сыны?

И пальма та жива ль понынѣ?
Все также ль манитъ въ лѣтній зной
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?

Или въ разлукѣ безотрадной
Она увяла, какъ и ты,
И дольній прахъ ложится жадно
На пожелтѣвшіе листы?...

Повѣдай: набожной рукою
Кто въ этотъ край тебя занесъ?
Грустилъ онъ часто надъ тобою?
Хранишь ты слѣдъ горючихъ слезъ?

Иль Божьей рати лучшій воинъ,
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ,
Какъ ты, всегда небесъ достоинъ
Передъ людьми и божествомъ?...

Заботой тайною хранима,
Передъ иконой золотой
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,
Святыни вѣрный часовой!

Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой.

БОРОДИНО.

«Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнитъ вся Россія
Про день Бородина!»

— Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Мы долго, молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что жъ мы? На зимнія квартиры?
Не смѣютъ что ли командиры
Чужіе изорвать мундиры
О русскіе штыки?»

И вотъ нашли большое поле:
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!
Построили редутъ.

У нашихъ ушки на макушкѣ!
Чуть утро освѣтило пушки
И лѣса синія верхушки—
Французы тутъ-какъ-тутъ.

Забилъ зарядъ я въ пушку туго,
И думалъ: угощу я друга!
Постой-ка, братъ мусью!
Что тутъ хитрить, пожалуй къ бою;
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,
Ужъ постоимъ мы головою
За родину свою!

Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.
Что толку въ этакой бездѣлкѣ?
Мы ждали третій день.
Повсюду стали слышны рѣчи:
«Пора добраться до картечи!»
И вотъ на поле грозной сѣчи
Ночная пала тѣнь.

Прилегъ вздремнуть я у лафета,
И слышно было до разсвѣта
Какъ ликовалъ французъ.
Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:
Кто киверъ чистилъ весь избитый,
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,
Кусая длинный усъ.

И только небо засвѣтилось—
Все шумно вдругъ зашевелилось,
Сверкнулъ за строемъ строй.
Полковникъ нашъ рожденъ былъ хватомъ,
Слуга царю, отецъ солдатамъ...
Да, жаль его: сраженъ булатомъ,
Онъ спитъ въ землѣ сырой.

И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!»
— И умереть мы обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.

Ну-жъ былъ денёкъ! Сквозь дымъ летучій
Французы двинулись, какъ тучи,
И все на нашъ редутъ.
Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами—
Всѣ промелькнули передъ нами,
Всѣ побывали тутъ.

Вамъ не видать такихъ сраженій!...
Носились знамена какъ тѣни,
Въ дыму огонь блестѣлъ,
Звучалъ булатъ, картечь визжала,
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.

Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,
Что значитъ русскій бой удалой,
Нашъ рукопашный бой!...
Земля тряслась—какъ наши груди;
Смѣшались въ кучу кони, люди;
И залпы тысячи орудій
Слились въ протяжный вой...

Вотъ смерклось. Были всѣ готовы
Заутра бой затѣять новый
И до конца стоять...

Вотъ затрещали барабаны—
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать...

Да, были люди въ наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри—не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Когда бъ на то не Божья воля,
Не отдали бъ Москвы!

ПѢСНЯ

ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДАГО ОПРИЧНИКА И УДАЛАГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА.

Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Про тебя нашу пѣсню сложили мы,
Про твово любимаго опричника,
Да про смѣлаго купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный ладъ,
Мы пѣвали ее подъ гуслярный звонъ,
И причитывали, да присказывали.
Православный народъ ею тѣшился;
А бояринъ Матвѣй Ромодановскій
Намъ чарку поднесъ меду пѣннаго;
А боярыня его бѣлолицая
Поднесла намъ на блюдѣ серебряномъ
Полотенце новое, шолкомъ шитое.
Угощали насъ три дня, три ночи,
И все слушали—не наслушались.

I.

Не сіяетъ на небѣ солнце красное,
Не любуются имъ тучки синія:
То за трàпезой сидитъ во златомъ вѣнцѣ,
Сидитъ грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Позади его стоятъ стольники,
Супротивъ его все бояре да князья,
По бокамъ его все опричники;
И пируетъ царь во славу Божію,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Улыбаясь, царь повелѣлъ тогда
Вина сладкаго заморскаго
Нацѣдить въ свой золоченый ковшъ
И поднесть его опричникамъ.
— И всѣ пили, царя славили.

Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опричниковъ,
Удалой боецъ, буйный мòлодецъ,
Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ;
Опустилъ онъ въ землю очи темныя,
Опустилъ головушку на широку грудь—
А въ груди его была дума крѣпкая.

Вотъ нахмурилъ царь брови черныя
И навелъ на него очи зоркія,
Словно ястребъ взглянулъ съ высоты небесъ
На младаго голубя сизокрылаго—
Да не поднялъ глазъ молодой боецъ.
— Вотъ объ землю царь стукнулъ палкою,
И дубовый полъ на полчетверти
Онъ желѣзнымъ пробилъ оконечникомъ—
Да не вздрогнулъ и тутъ молодой боецъ.
— Вотъ промолвилъ царь слово грозное—
И очнулся тогда добрый молодецъ.

«Гей ты, вѣрный нашъ слуга, Кирибѣевичъ,
Аль ты думу затаплъ нечестивую?
Али славѣ нашей завидуешь?
Али служба тебѣ честная прискучила?
Когда всходитъ мѣсяцъ—звѣзды радуются,
Что свѣтлѣй имъ гулять по поднебесью;
А которая въ тучку прячется—
Та стремглавъ на землю падаетъ...
Неприлично же тебѣ, Кирибѣевичъ,
Царской радостью гнушатися;
А изъ роду ты вѣдь Скуратовыхъ
И семьею ты вскормлёнъ Малютиной!...»

Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,
Царю грозному въ поясъ кланяясь:

— Государь ты нашъ, Иванъ Васильевичъ!
Не кори ты раба недостойнаго:
Сердца жаркаго не залить виномъ,
Думу черную—не запотчивать!
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская!
Прикажи казнить, рубить голову:
Тяготитъ она плечи богатырскія
И сама къ сырой землѣ она клонится.

И сказалъ ему царь Иванъ Васильевичъ:
«Да объ чемъ тебѣ, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтанъ?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закалёная?
Или конь захромалъ худо-кованый?
Или съ ногъ тебя сбилъ на кулачномъ бою,
На Москвѣ-рѣкѣ, сынъ купеческій?»

Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,
Покачавъ головою кудрявою:

— Не родилась та рука заколдованная
Ни въ боярскомъ роду, ни въ купеческомъ!
Аргамакъ мой степной ходитъ весело;
Какъ стекло горитъ сабля вострая;
А на праздничный день, твоей милостью,
Мы не хуже другаго нарядимся.

— Какъ я сяду-поѣду на лихомъ конѣ
За Москву-рѣку покататися,
Кушачкомъ подтянуся шолковымъ,
Заломлю на бочокъ шапку бархатную,
Чернымъ соболемъ оторочeнную—
У воротъ стоятъ у тесовыихъ
Красны дѣвушки да молодушки,
И любуются, глядя, перешоптываясь;
Лишь одна не глядитъ, не любуется,
Полосатой фатой закрывается...

— На святой Руси, нашей матушкѣ,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходитъ плавно—будто лебёдушка,
Смотритъ сладко—какъ голубушка,
Молвитъ слово—соловей поетъ.
Горятъ щеки ея румяныя,
Какъ заря на небѣ Божіемъ;
Косы русыя, золотистыя,
Въ ленты яркія заплетенныя,
По плечамъ бѣгутъ, извиваются,
Съ грудью бѣлою цалуются.
Во семьѣ родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитревной.

— Какъ увижу ее, я и самъ не свой:
Опускаются руки сильныя,
Помрачаются очи бойкія;
Скучно, грустно мнѣ, православный царь,
Одному по свѣту маяться.
Опостыли мнѣ кони легкіе,
Опостыли наряды парчёвые,
И не надо мнѣ золотой казны:
Съ кѣмъ казною своей подѣлюсь теперь?
Передъ кѣмъ покажу удальство свое?
Передъ кѣмъ я нарядомъ похвастаюсь?...
Отпусти меня въ степи приволжскія,
На житье на вольное, на казацкое.
Ужъ сложу я тамъ буйную головушку
И сложу на копье басурманское;
И раздѣлятъ по себѣ злы татаровья
Коня добраго, саблю острую
И сѣдельце бранное черкасское.
Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,
Мои кости сирыя дождикъ вымоетъ,
И безъ пòхоронъ горемычный прахъ
На четыре стороны развѣется...

И сказалъ, смѣясь, Иванъ Васильевичъ:
«Ну, мой вѣрный слуга! я твоей бѣдѣ,
Твоему горю пособить постараюся.
Вотъ возьми перстенёкъ ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахѣ смышлёной покланяйся,
И пошли дары драгоцѣнные
Ты своей Алёнѣ Дмитревнѣ:
Какъ полюбишься—празднуй свадебку,
Не полюбишься—не прогнѣвайся.»

— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Обманулъ тебя твой лукавый рабъ,

Не сказалъ тебѣ правды истинной,
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица
Въ церкви Божіей перевѣнчана,
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ
По закону нашему, христіанскому...

*

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
Ужъ потѣшьте вы добраго боярина
И боярыню его бѣлолицую!

II.

За прилавкою сидитъ молодой купецъ,
Статный мо̀лодецъ Степанъ Парамоновичъ,
По прозванію Калашниковъ;
Шелковы́е товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,
Злато, серебро пересчитываетъ.
Да не добрый день задался ему:
Ходятъ мимо баре богатые,
Въ его лавочку не заглядываютъ.

Отзвонили вечерню во святыхъ церквахъ;
За Кремлемъ горитъ заря туманная,
Набѣгаютъ тучки на небо—
Гонитъ ихъ метелица распѣваючи;
Опустѣлъ широкій гостиный дворъ.
Запираетъ Степанъ Парамоновичъ
Свою лавочку дверью дубовою
Да замкомъ нѣмецкимъ со пружиною;
Злаго пса-ворчуна зубастаго
На желѣзную цѣпь привязываетъ.
И пошелъ онъ домой, призадумавшись,
Къ молодой хозяйкѣ, за Москву-рѣку.

И приходитъ онъ въ свой высокій домъ,
И дивится Степанъ Парамоновичъ:
Не встрѣчаетъ его молода жена,
Не накрытъ дубовый столъ бѣлой скатертью,
А свѣча передъ образомъ еле-теплится.
И кличетъ онъ старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремѣевна,
А куда дѣвалась, затаилася
Въ такой поздній часъ Алёна Дмитревна?
А что̀ дѣтки мои любезныя—
Чай забѣгались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»
— Господинъ ты мой, Степанъ Парамоновичъ!
Я скажу тебѣ диво дивное:
Что къ вечернѣ пошла Алёна Дмитревна;
Вотъ ужъ попъ прошелъ съ молодой попадьей,
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать—
А по-сю-пору твоя хозяюшка
Изъ приходской церкви не вернулася.
А что дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ, все не унимаются.

И смутился тогда думой крѣпкою
Молодой купецъ Калашниковъ.
И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу—
А на улицѣ ночь темнёхонька;
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,
Заметаетъ слѣдъ человѣческій.

Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью хлопнули,
Потомъ слышитъ шаги торопливые;
Обернулся, глядитъ—сила крестная!
Передъ нимъ стоитъ молода жена,
Сама блѣдная, простоволосая,

Косы русыя, расплетенныя,
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны,
Смотрятъ очи мутныя, какъ безумныя;
Уста шепчутъ рѣчи непонятныя.

«Ужъ ты гдѣ, жена, жена, шаталася?
На какомъ на дворѣ, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа вся твоя изорвана?
Ужъ гуляла ты, пировала ты,
Чай, съ сынками все боярскими?...
Не на то предъ святыми иконами
Мы съ тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами мѣнялися!...
Какъ запру я тебя за желѣзный замокъ,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свѣту Божьяго ты не видѣла,
Мое имя честное не порочила...»

И услышавъ то, Алёна Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, какъ листочекъ осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
Въ ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно-солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои рѣчи—будто острый ножъ;
Отъ нихъ сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

«Отъ вечерни я домой шла нонече
Вдоль по улицѣ одинёшенька.

И послышалось мнѣ, будто снѣгъ хруститъ;
Оглянулася—человѣкъ бѣжитъ.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И онъ сильно схватилъ меня за руки
И сказалъ мнѣ такъ тихимъ шопотомъ:
— Что пужаешься, красная красавица?
Я не воръ какой, душегубъ лѣсной,
Я слуга царя, царя грознаго,
Прозываюся Кирибѣевичемъ,
А изъ славной семьи изъ Малютиной....

«Испугалась я пуще прежняго;
Закружилась моя бѣдная головушка.
И онъ сталъ меня цаловать-ласкать,
И цалуя, все приговариваль:
— Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,
Моя милая, драгоцѣнная!
Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?
Какъ царицу, я наряжу тебя,
Станутъ всѣ тебѣ завидовать.
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый разъ на прощаніе!

«И ласкалъ онъ меня, цаловалъ меня:
На щекахъ моихъ и теперь горятъ,
Живымъ пламенемъ разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки;
Смѣючись, на насъ пальцемъ показывали...

«Какъ изъ рукъ его я рванулася
И домой стремглавъ бѣжать бросилась,

И остались въ рукахъ у разбойника
Мой узорный платокъ—твой подарочекъ,
И фата моя бухарская.
Опозорилъ онъ, осрамилъ меня,
Меня честную, непорочную —
И что скажутъ злыя сосѣдушки?
И кому на глаза покажусь теперь?

«Ты не дай меня, свою вѣрную жену,
Злымъ охульникамъ въ поруганіе!
На кого, кромѣ тебя, мнѣ надѣяться?
У кого просить стану помощи?
На бѣломъ свѣтѣ я сиротинушка:
Родной батюшка ужъ въ сырой землѣ,
Рядомъ съ нимъ лежитъ моя матушка,
А мой старшій братъ, самъ ты вѣдаешь,
На чужой сторонушкѣ пропалъ безвѣсти,
А меньшой мой братъ—дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила такъ Алёна Дмитревна;
Горючьми слезами залпвалася.

Посылаетъ Степанъ Парамоновичъ
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты повѣдай намъ, старшой нашъ братъ
Что съ тобой случилось, приключилося,
Что послалъ ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь, морозную?»

— Я скажу вамъ, братцы любезные,
Что лиха бѣда со мною приключилася:
Опозорилъ семью нашу честную
Злой опричникъ царскій, Кирибѣевичъ;

А такой обиды не стерпѣть душѣ,
Да не вынести сердцу молодецкому.
Ужъ какъ завтра будетъ кулачный бой
На Москвѣ-рѣкѣ при самомъ царѣ,
И я выйду тогда на опричника,
Буду на-смерть биться, до послѣднихъ силъ;
А побьетъ онъ меня—выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробѣйте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свѣжѣй силою,
На васъ меньше грѣховъ накопилося,
Такъ авось Господь васъ помилуетъ!

И въ отвѣтъ ему братья молвили:
«Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушныя,
Когда сизой орелъ зоветъ голосомъ
На кровавую долину побоища,
Зоветъ пиръ пировать, мертвецовъ убирать,
Къ нему малые орлята слетаются:
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,
А ужъ мы тебя роднаго не выдадимъ!»

*

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дѣло разумѣйте!
Ужъ потѣшьте вы добраго боярина
И боярыню его бѣлолицую!

III

Надъ Москвой великой, златоглавою,
Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной,
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,
По тесовымъ кровелькамъ играючи,

Тучки сѣрыя разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистыя,
Умывается снѣгами разсыпчатыми;
Какъ красавица, глядя въ зеркальце,
Въ небо чистое смотритъ, улыбается.
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Какъ сходилися, собиралися
Удалые бойцы московскіе
На Москву-рѣку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потѣшиться.
И пріѣхалъ царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велѣлъ растянуть цѣпь серебряную,
Чистымъ золотомъ въ кольцахъ спаянную.
Оцѣпили мѣсто въ двадцать пять саженъ
Для охотницкаго бою, одиночнаго.
И велѣлъ тогда царь Иванъ Васильевичъ
Кличъ кликать звонкимъ голосомъ:
«Ой, ужъ гдѣ вы, добрые молодцы?
Вы потѣшьте царя, нашего батюшку!
Выходите-ка во широкій кругъ:
Кто побьетъ кого, того царь наградитъ,
А кто будетъ побитъ, тому Богъ проститъ!»

И выходитъ удалой Кирибѣевичъ,
Царю въ поясъ молча кланяется,
Скидаетъ съ могучихъ плечъ шубу бархатную.
Подпершися въ бокъ рукою правою,
Поправляетъ другой шапку алую,
Ожидаетъ онъ себѣ противника...
Трижды громкій кличъ прокликали—
Ни одинъ боецъ и не тронулся,
Лишь стоятъ, да другъ друга поталкиваютъ.

На просторѣ опричникъ похаживаетъ,
Надъ плохими бойцами подсмѣиваетъ:
«Присмирѣли, не бойсь, призадумались!
Такъ и быть, обѣщаюсь, для праздника,
Отпущу живаго съ покаяніемъ,
Лишь потѣшу царя нашего батюшку.»

Вдругъ толпа раздалась на обѣ стороны—
И выходитъ Степанъ Парамоновичъ,
Молодой купецъ, удалой боецъ,
По прозванію Калашниковъ.
Поклонился прежде царю грозному,
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,
А потомъ всему народу русскому.
Горятъ очи его соколиныя
На опричника смотрятъ пристально.
Супротивъ него онъ становится,
Боевыя рукавицы натягиваетъ,
Могутныя плечи распрямливаетъ,
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

И сказалъ ему Кирибѣевичъ:
«А повѣдай мнѣ, добрый молодецъ,
Ты какого роду, племени,
Какимъ именемъ прозываешься?
Чтобы знать, по комъ панихиду служить,
Чтобы было чѣмъ и похвастаться.»

Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:
«А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,
А родился я отъ честнова отца,
И жилъ я по закону Господнему:
Не позорилъ я чужой жены,
Не разбойничалъ ночью темною,
Не таился отъ свѣта небеснаго...

И промолвилъ ты правду истинную:
По одномъ изъ насъ будутъ панихиду пѣть,
И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;
И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
Съ удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смѣшить
Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурманскій сынъ,
Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!»

И услышавъ то, Кирибѣевичъ
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній снѣгъ;
Бойки очи его затуманились,
Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,
На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ молча оба расходятся,
Богатырскій бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибѣевичъ
И ударилъ въ-первой купца Калашникова,
И ударилъ его посерѣдь груди—
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степанъ Парамоновичъ;
На груди его широкой висѣлъ мѣдный крестъ
Со святыми мощами изъ Кіева,
И погнулся крестъ, и вдавился въ грудь;
Какъ роса изъ-подъ него кровь закапала.
И подумалъ Степанъ Парамоновичъ:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до-послѣднева!»
Изловчился онъ приготовился,
Собрался со всею силою
И ударилъ своего ненавистника,
Прямо въ лѣвый високъ со всего плеча.

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Закачался, упалъ замертво;
Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыромъ бору
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.
И, увидѣвъ то, царь Иванъ Васильевичъ
Прогнѣвался гнѣвомъ, топнулъ о землю
И нахмурилъ брови черныя;
Повелѣлъ онъ схватить удалаго купца
И привесть его предъ лицо свое.

Какъ возговорилъ православный царь:
«Отвѣчай мнѣ по правдѣ, по совѣсти,
Вольной волею, или нѣхотя,
Ты убилъ на смерть мово вѣрнаго слугу,
Мово лучшаго бойца, Кирибѣевича?»

—Я скажу тебѣ, православный царь:
Я убилъ его вольной волею,
А за что, про что—не скажу тебѣ;
Скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить—и на плаху несть
Мнѣ головушку повинную;
Не оставь лишь малыхъ дѣтушекъ,
Не оставь молодую вдову,
Да двухъ братьевъ моихъ своей милостью...

«Хорошо тебѣ, дѣтинушка,
Удалой боецъ, сынъ купеческій,
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.
Молодую жену и сиротъ твоихъ
Изъ казны моей я пожалую,
Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня
По всему царству русскому широкому

Торговать безданно, безпошлинно.
А ты самъ ступай, дѣтинушка,
На высокое мѣсто лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топоръ велю наточить-навострить,
Палача велю одѣть-нарядить,
Въ большой колоколъ прикажу звонить,
Чтобы знали всѣ люди московскіе,
Что и ты не оставленъ моей милостью...»

Какъ на площади народъ собирается;
Заунывный гудитъ-воетъ колоколъ,
Разглашаетъ всюду вѣсть недобрую.
По высокому мѣсту лобному,
Во рубахѣ красной съ яркой запанкой,
Съ большимъ топоромъ, навострёнымъ,
Руки голыя потираючи,
Палачъ весело похаживаетъ,
Удалова бойца дожидается;
А лихой боецъ, молодой купецъ,
Со родными братьями прощается:

«Ужъ вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь, да обнимемтесь
На послѣднее разставаніе.
Поклонитесь отъ меня Алёнѣ Дмитревнѣ,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моимъ дѣтушкамъ не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всѣмъ нашимъ товарищамъ,
Помолитесь сами въ церкви Божіей
Вы за душу мою, душу грѣшную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;

И головушка безталанная
Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рѣкой,
На чистòмъ полѣ промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ тульской, рязанской, владимірской,
И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,
И кленовый крестъ тутъ поставили.
И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйные
Надъ его безыменной могилкою.
И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ человѣкъ—перекрестится,
Пройдетъ мòлодецъ—пріосанится,
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,
А пройдутъ гусляры—споютъ пѣсенку.

*

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.

Тороватому боярину слава!
И красавицѣ-боярынѣ слава!
И всему народу христіанскому слава!

УЗНИКЪ.

Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцѣлую,
На коня потомъ вскочу,
Въ степь какъ вѣтеръ улечу.

Но окно тюрьмы высоко;
Дверь тяжелая съ замкомъ;
Черноокая далеко
Въ пышномъ теремѣ своемъ;
Добрый конь въ зеленомъ полѣ
Безъ узды, одинъ, по волѣ
Скачетъ веселъ и игривъ,
Хвостъ по вѣтру распустивъ.

Одинокъ я—нѣтъ отрады:
Стѣны голыя кругомъ;
Тускло свѣтитъ лучъ лампады
Умирающимъ огнемъ;
Только слышно: за дверями,
Звучномѣрными шагами,
Ходитъ въ тишинѣ ночной
Безотвѣтный часовой.

МОЛИТВА.

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою
Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ,
Не о спасеніи, не передъ битвою,
Не съ благодарностью, иль покаяніемъ;

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника въ свѣтѣ безроднаго;
Но я вручить хочу дѣву невинную
Теплой заступницѣ міра холоднаго.

Окружи счастіемъ счастья достойную,
Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія,
Молодость свѣтлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощальному
Въ утро ли шумное, въ ночь ли безгласную,
Ты воспріять пошли къ ложу печальному
Лучшаго ангела душу прекрасную.

---

* * *

Разстались мы; но твой портретъ
Я на груди моей храню:
Какъ блѣдный призракъ лучшихъ лѣтъ,
Онъ душу радуетъ мою.

И новымъ преданный страстямъ,
Я разлюбить его не могъ:
Такъ храмъ оставленный—все храмъ,
Кумиръ поверженный—все Богъ!

---

* * *

Когда волнуется желтѣющая нива
И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣтерка,
И прячется въ саду малиновая слива
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румянымъ вечеромъ, иль утра въ часъ златой,
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ серебристый
Привѣтливо киваетъ головой;

Когда студёный ключъ играетъ по оврагу
И, погружая мысль въ какой-то смутный сонъ,
Лепечетъ мнѣ таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится онъ—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челѣ,
И счастье я могу постигнуть на землѣ,
И въ небесахъ я вижу Бога...

СОСѢДЪ.

Кто бъ ни былъ ты, печальный мой сосѣдъ,
Люблю тебя, какъ друга юныхъ лѣтъ,
Тебя, товарищъ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навѣки мы разлучены съ тобой
Стѣной теперь—а послѣ тайной.

Когда зари румяный полусвѣтъ
Въ окно тюрьмы прощальный свой привѣтъ
Мнѣ, умирая, посылаетъ,
И опершись на звучное ружье,
Нашъ часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпаетъ,

Тогда чело склонивъ къ сырой стѣнѣ,
Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ
Твои напѣвы раздаются.
О чемъ они—не знаю, но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Какъ слезы, тихо льются, льются...

И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—
Въ груди моей все оживаетъ вновь,
И мысли далеко несутся,
И полонъ умъ желаній и страстей,
И кровь кипитъ—и слезы изъ очей,
Какъ звуки, другъ за другомъ льются.

1838

—

ДУМА.

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы,
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, боясь просыщенья,
Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.

Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства—
Зарытый скупостью и безполезный кладъ.

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

(1829—1838).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья,
Леталъ надъ грѣшною землей,
И лучшихъ дней воспоминанья
Предъ нимъ тѣснилися толпой—
Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта
Блисталъ онъ, чистый херувимъ,
Когда бѣгущая комета
Улыбкой ласковой привѣта
Любила помѣняться съ нимъ;
Когда сквозь вѣчные туманы,
Познанья жадный, онъ слѣдилъ
Кочующіе караваны
Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ;
Когда онъ вѣрилъ и любилъ,
Счастливый первенецъ творенья,
Не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья,
И не грозилъ уму его
Вѣковъ безплодныхъ рядъ унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имѣлъ онъ силы.

II.

Давно, отверженный, блуждалъ
Въ пустынѣ міра безъ пріюта.

Во слѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,
Какъ за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья;
Нигдѣ искусству своему
Онъ не встрѣчалъ сопротивленья—
И зло наскучило ему.

III.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сіялъ,
И глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ,
И Терекъ, прыгая какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ; и горный звѣрь, и птица,
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали,
И золотыя облака
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны!
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ
Весь Божій міръ, но гордый духъ

Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего.

IV.

И передъ нимъ иной картины
Красы живыя разцвѣли:
Роскошной Грузіи долины
Ковромъ раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразныя руины,
Звонко-бѣгущіе ручьи
По дну изъ камней разноцвѣтныхъ,
И кущи розъ, гдѣ соловьи
Поютъ красавицъ, безотвѣтныхъ
На сладкій голосъ ихъ любви;
Чинаръ развѣсистыя сѣни,
Густымъ вѣнчанныя плющемъ,
Пещеры, гдѣ палящимъ днемъ
Таятся робкіе олени,
И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
Стозвучный говоръ голосовъ,
Дыханье тысячи растеній,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженныя ночи,
И звѣзды яркія, какъ очи,
Какъ взоръ грузинки молодой.
Но кромѣ зависти холодной
Природы блескъ не возбудилъ
Въ груди изгнанника безплотной
Ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ силъ—
И все, что предъ собой онъ видѣлъ,
Онъ презиралъ, иль ненавидѣлъ.

V.

Высокій домъ, широкій дворъ
Сѣдой Гудалъ себѣ построилъ...
Трудовъ и слезъ онъ много стоилъ
Рабамъ, послушнымъ съ давнихъ поръ.
Съ утра на скатъ сосѣднихъ горъ
Отъ стѣнъ его ложатся тѣни;
Въ скалѣ нарублены ступени;
Онѣ отъ башни угловой
Ведутъ къ рѣкѣ; по нимъ мелькая,
Покрыта бѣлою чадрой,
Княжна Тамара молодая
Къ Арагвѣ ходитъ за водой.

VI.

Всегда безмолвно на долины
Глядѣлъ съ утеса мрачный домъ;
Но пиръ большой сегодня въ немъ,
Звучитъ зурна и льются вины:
Гудалъ сосваталъ дочь свою;
На пиръ онъ созвалъ всю семью.
На кровлѣ, устланной коврами,
Сидитъ невѣста межъ подругъ;
Средь игръ и пѣсенъ ихъ досугъ
Проходитъ. Дальними горами
Ужъ спрятанъ солнца полукругъ.
Въ ладони мѣрно ударяя,
Онѣ поютъ, и бубенъ свой
Беретъ невѣста молодая—
И вотъ она, одной рукой
Кружа его надъ головой,
То вдругъ помчится легче птицы,
То остановится—глядитъ,
И влажный взоръ ея блеститъ
Изъ-подъ завистливой рѣсницы;

То черной бровью поведетъ,
То вдругъ наклонится немножко,
И по ковру скользитъ, плыветъ
Ея божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья дѣтскаго полна.
И лучъ луны, по влагѣ зыбкой
Слегка играющій порой,
Едва ль сравнится съ той улыбкой,
Какъ жизнь, какъ молодость, живой.

VII.

Клянусь полночною звѣздой,
Лучемъ заката и востока,
Властитель Персіи златой
И ни единый царь земной
Не цѣловалъ такого ока;
Гарема брызжущій фонтанъ
Ни разу, жаркою порою,
Своей жемчужною росою
Не брызгалъ на подобный станъ;
Еще ни чья рука земная,
По милому челу блуждая,
Такихъ волосъ не расплела.
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

VIII.

Въ послѣдній разъ она плясала...
Увы! заутра ожидала
Ее, наслѣдницу Гудала,
Свободы рѣзвое дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна чуждая понынѣ

И незнакомая семья.
И часто тайное сомнѣнье
Темнило свѣтлыя черты;
Но были всѣ ея движенья
Такъ стройны, полны выраженья,
Такъ полны милой простоты,
Что если бъ Демонъ, пролетая,
Въ то время на нее взглянулъ,
То, прежнихъ братьевъ вспоминая,
Онъ отвернулся бъ—и вздохнулъ...

IX.

И Демонъ видѣлъ... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.
Нѣмой души его пустыню
Наполнилъ благодатный звукъ,
И вновь постигнулъ онъ святыню
Любви, добра и красоты...
И долго сладостной картиной
Онъ любовался—и мечты
О прежнемъ счастьѣ цѣпью длинной,
Какъ будто за звѣздой звѣзда,
Предъ нимъ катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,
Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ.
То былъ ли признакъ возрожденья?
Онъ словъ коварныхъ искушенья
Найти въ умѣ своемъ не могъ.
Забыть?—Забвенья не далъ Богъ,
Да онъ и не взялъ бы забвенья.
. . . . . .

X.

Измучивъ добраго коня,
На брачный пиръ, къ закату дня,
Спѣшитъ женихъ нетерпѣливой,
Арагвы свѣтлой онъ счастливо
Достигъ зеленыхъ береговъ.
Подъ тяжкой ношею даровъ
Едва-едва переступая,
За нимъ верблюдовъ длинный рядъ
Дорогой тянется; мелькая,
Ихъ колокольчики звенятъ...
Онъ самъ, властитель Синодала,
Ведетъ богатый караванъ.
Ремнемъ затянутъ ловкій станъ;
Оправа сабли и кинжала
Блеститъ на солнцѣ; за спиной
Ружье съ насѣчкой вырѣзной;
Играетъ вѣтеръ рукавами
Его чухи;* кругомъ она
Вся галуномъ обложена.
Цвѣтными вышито шелками
Его сѣдло; узда съ кистями;
Подъ нимъ весь въ мылѣ конь лихой,
Безцѣнной масти золотой.
Питомецъ рѣзвый Карабаха,
Прядетъ ушьми и, полный страха,
Храпя, косится съ крутизны
На пѣну скачущей волны.
Опасенъ, узокъ путь прибрежной:
Утесы съ лѣвой стороны,
Направо глубь рѣки мятежной.
Ужъ поздно. На вершинѣ снѣжной

* Верхняя одежда съ откидными рукавами.

Румянецъ гаснетъ; всталъ туманъ...
Прибавилъ шагу караванъ.

XI.

И вотъ часовня на дорогѣ...
Тутъ съ давнихъ лѣтъ почіетъ въ Богѣ
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
Съ тѣхъ поръ, на праздникъ иль на битву,
Куда бы путникъ ни спѣшилъ,
Всегда усердную молитву
Онъ у часовни приносилъ;
И та молитва сберегала
Отъ мусульманскаго кинжала.
Но прѣзрѣлъ молодой женихъ
Обычай прадѣдовъ своихъ—
Его коварною мечтою
Лукавый Демонъ возмущалъ:
Онъ въ мысляхъ подъ ночною тьмою
Уста невѣсты цѣловалъ...
Вдругъ впереди мелькнули двое,
И больше... Выстрѣлъ... Что такое?...
Привставъ на звонкихъ стременахъ,
Надвинувъ на брови папахъ,*
Отважный князь не молвилъ слова;
Въ рукѣ сверкнулъ турецкій стволъ;
Нагайка щёлкъ—и какъ орелъ
Онъ кинулся.... и выстрѣлъ снова;
И дикій крикъ, и стонъ глухой
Промчались въ глубинѣ долины...
Недолго продолжался бой:
Бѣжали робкіе грузины.

* Шапка вродѣ эриванки.

XII.

И стихло все.... Тѣснясь толпой,
Верблюды съ ужасомъ глядѣли
На трупы всадниковъ. Порой
Ихъ колокольчики звенѣли.
Разграбленъ пышный караванъ
И надъ тѣлами христіанъ
Чертитъ круги ночная птица.
Не ждетъ ихъ мирная гробница
Подъ слоемъ монастырскихъ плитъ,
Гдѣ прахъ отцовъ ихъ былъ зарытъ;
Не придутъ сестры съ матерями,
Покрыты длинными чадрами,
Съ тоской, рыданьемъ и мольбами
На гробъ ихъ изъ далекихъ мѣстъ.
За-то усердною рукою,
Здѣсь у дороги, подъ скалою,
На память водрузится крестъ;
И плющъ, разросшійся весною,
Его, ласкаясь, обовьетъ
Своею сѣткой изумрудной;
И своротивъ съ дороги трудной,
Не разъ усталый пѣшеходъ
Подъ Божьей тѣнью отдохнетъ....

XIII.

Несется конь быстрѣе лани,
Храпитъ и рвется будто къ брани;
То вдругъ осадитъ на скаку,
Прислушается къ вѣтерку,
Широко ноздри раздувая;
То разомъ въ землю ударяя
Шипами звонкими копытъ,
Взмахнувъ растрепанною гривой,
Впередъ безъ памяти летитъ.

На немъ есть всадникъ молчаливой;
Онъ бьется на сѣдлѣ порой,
Припавъ на гриву головой.
Ужъ онъ не правитъ поводами,
Задвинулъ ноги въ стремена,
И кровь широкими струями
На чепракѣ его видна....
Скакунъ лихой, ты господина
Изъ боя вынесъ какъ стрѣла,
Но злая пуля осетина
Его во мракѣ догнала.

XIV.

Въ семьѣ Гудала плачъ и стоны;
Толпится на дворѣ народъ:
Чей конь примчался запаленный,
И палъ на камни у воротъ?
Кто этотъ всадникъ бездыханный?
Хранили слѣдъ тревоги бранной
Морщины смуглаго чела.
Въ крови оружіе и платье;
Въ послѣднемъ бѣшеномъ пожатьѣ
Рука на гривѣ замерла.
Недолго жениха младова,
Невѣста, взоръ твой ожидалъ —
Сдержалъ онъ княжеское слово:
На брачный пиръ онъ прискакалъ....
Увы! но никогда ужъ снова
Не сядетъ на коня лихова...

XV.

На беззаботную семью
Какъ громъ слетѣла Божья кара.
Упала на постель свою,
Рыдаетъ бѣдная Тамара;

Слеза катится за слезой,
Грудь высокó и трудно дышетъ....
И вотъ она какъ будто слышитъ
Волшебный голосъ надъ собой:
«Не плачь, дитя, не плачь напрасно!
Твоя слеза на трупъ безгласный
Живой росой не упадетъ;
Она лишь взоръ туманить ясный,
Ланиты дѣвственныя жжетъ.
Онъ далекó, онъ не узнаетъ,
Не оцѣнитъ тоски твоей;
Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ
Безплотный взоръ его очей;
Онъ слышитъ райскіе напѣвы....
Что̀ жизни мѣлочные сны,
И стонъ, и слезы бѣдной дѣвы
Для гостя райской стороны?
Нѣтъ, жребій смертнаго творенья,
Повѣрь мнѣ, ангелъ мой земной,
Не стоитъ одного мгновенья
Твоей печали дорогой.
«На воздушномъ океанѣ,
Безъ руля и безъ вѣтрилъ,
Тихо плаваютъ въ туманѣ
Хоры стройные свѣтилъ.
Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неуловимыхъ
Волокнистыя стада.
Часъ разлуки, часъ свиданья—
Имъ не радость, не печаль;
Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
Имъ прошедшаго не жаль.
Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомяни,

Будь къ земному безъ участья
И безпечна, какъ они.
«Лишь только ночь своимъ покровомъ
Верхи Кавказа осѣнитъ,
Лишь только міръ, волшебнымъ словомъ
Завороженный, замолчитъ;
Лишь только вѣтеръ надъ скалою
Увядшей шевельнетъ травою,
И птичка, спрятанная въ ней,
Порхнетъ во мракѣ веселѣй;
И подъ лозою виноградной,
Росу небесъ глотая жадно,
Цвѣтокъ распустится ночной;
Лишь только мѣсяцъ золотой
Изъ-за горы тихонько встанетъ
И на тебя украдкой взглянетъ —
Къ тебѣ я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковыя рѣсницы
Сны золотые навѣвать....»

XVI.

Слова умолкли.... Въ отдаленьи
Во слѣдъ за звукомъ умеръ звукъ....
Она, вскочивъ, глядитъ вокругъ....
Невыразимое смятенье
Въ ея груди; печаль, испугъ,
Восторга пылъ—ничто въ сравненьи;
Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,
И этотъ голосъ чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучалъ.
И передъ утромъ сонъ желанный
Глаза усталые смежилъ;

Но мысль ея онъ возмутилъ
Мечтой пророческой и странной:
Пришлецъ туманный и нѣмой,
Красой блистая неземной,
Къ ея склонился изголовью;
И взоръ его съ такой любовью,
Такъ грустно на нее смотрѣлъ,
Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ.
То не былъ ангелъ-небожитель,
Ея божественный хранитель:
Вѣнецъ изъ радужныхъ лучей
Не украшалъ его кудрей;
То не былъ ада духъ ужасный,
Порочный мученикъ — о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

«Отецъ! отецъ! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани.
Я плачу. Видишь эти слезы?...
Уже не первыя они....
Напрасно женихи толпою
Спѣшатъ сюда изъ дальнихъ мѣстъ....
Не мало въ Грузіи невѣстъ;
А мнѣ не быть ни чьей женою...
О, не брани, отецъ, меня!
Ты самъ замѣтилъ: день отъ дня
Я вяну — жертва злой отравы!
Меня терзаетъ духъ лукавый
Неотразимою мечтой;

Я гибну — сжалься надо мной!
Отдай въ священную обитель
Дочь безразсудную свою:
Тамъ защититъ меня Спаситель,
Предъ нимъ тоску мою пролью.
На свѣтѣ нѣтъ ужъ мнѣ веселья....
Святыни миромъ осѣня,
Пусть приметъ сумрачная келья,
Какъ гробъ, заранѣе меня.»

II.

И въ монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и въ монашеской одеждѣ,
Какъ подъ узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
Въ ней сердце билося, какъ прежде.
Предъ алтаремъ, при блескѣ свѣчъ,
Въ часы торжественнаго пѣнья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася рѣчь.
Подъ сводомъ сумрачнаго храма
Знакомый образъ иногда
Скользилъ безъ звука и слѣда;
Въ туманѣ легкомъ ѳиміама
Сіялъ онъ тихо, какъ звѣзда,
Манилъ и звалъ онъ.... но куда?...

III.

Въ прохладѣ межъ двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинаръ и тополей рядами
Онъ окруженъ былъ — и порой,

Когда ложилась ночь въ ущельи,
Сквозь нихъ мелькала въ окнахъ кельи
Лампада схимницы младой.
Кругомъ въ тѣни деревъ миндальныхъ,
Гдѣ рядъ стоитъ крестовъ печальныхъ,
Безмолвныхъ сторожей гробницъ,
Спѣвались хоры легкихъ птицъ;
По камнямъ прыгали, шумѣли
Ключи студёною волной,
И подъ нависшею скалой,
Сливаясь дружески въ ущельи,
Катились дальше межъ кустовъ,
Покрытыхъ инеемъ цвѣтовъ.

IV.

На сѣверъ видны были горы.
При блескѣ утренней авроры,
Когда синѣющій дымокъ
Крутится въ глубинѣ долины,
И обращаясь на востокъ,
Зовутъ къ молитвѣ муэззины;
И звучный колокола гласъ
Дрожитъ, обитель пробуждая,
Въ торжественный и мирный часъ,
Когда грузинка молодая
Съ кувшиномъ длиннымъ за водой
Съ горы спускается крутой —
Вершины цѣпи снѣговой,
Свѣтло-лиловою стѣной,
На чистомъ небѣ рисовались;
А въ часъ заката одѣвались
Онѣ румяной пеленой.
И между нихъ, прорѣзавъ тучи,
Стоялъ всѣхъ выше головой
Казбекъ, Кавказа царь могучій,
Въ чалмѣ и ризѣ парчевой.

V.

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгамъ чистымъ. Передъ ней
Весь міръ одѣтъ угрюмой тѣнью;
И все ей въ немъ предлогъ къ мученью —
И утра лучъ, и мракъ ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обойметъ,
Передъ божественной иконой
Она въ безумьи упадетъ,
И плачетъ; и въ ночномъ молчаньи
Ея тяжелое рыданье
Тревожитъ путника вниманье,
И мыслитъ онъ: «то горный духъ
Прикованный въ пещерѣ стонетъ!»
И чуткій напрягая слухъ,
Коня измученнаго гонитъ....

VI.

Тоской и трепетомъ полна,
Тамара часто у окна
Сидитъ въ раздумьи одинокомъ
И смотритъ въ даль прилежнымъ окомъ,
И цѣлый день, вздыхая, ждетъ....
Ей кто-то шепчетъ: «онъ придетъ!»
Не даромъ сны ее ласкали,
Не даромъ онъ являлся ей
Съ глазами полными печали
И чудной нѣжностью рѣчей.
Ужъ много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святымъ захочетъ ли молиться,
А сердце молится ему;
Утомлена борьбой всегдашней

Склонится ли на ложе сна —
Подушка жжетъ, ей душно, страшно,
И вся, вскочивъ, дрожитъ она;
Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи,
Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ,
Объятья жадно ищутъ встрѣчи,
Лобзанья таютъ на устахъ....
. . . . . .
. . . . . .

VII.

Вечерней мглы покровъ воздушный
Ужъ холмы Грузіи одѣлъ.
Привычѣ сладостной послушный,
Въ обитель Демонъ прилетѣлъ.
Но долго, долго онъ не смѣлъ
Святыню мирнаго пріюта
Нарушить — и была минута,
Когда, казалось, онъ готовъ
Оставить умыселъ жестокій.
Задумчивъ, у стѣны высокой
Онъ бродитъ; отъ его шаговъ
Безъ вѣтра листъ въ тѣни трепещетъ.
Онъ поднялъ взоръ: ея окно,
Озарено лампадой, блещетъ;
Кого-то ждетъ она давно.
И вотъ средь общаго молчанья
Чингара * стройное бряцанье
И звуки пѣсни раздались;
И звуки тѣ лились, лились,
Какъ слезы, мѣрно, другъ за другомъ;
И эта пѣснь была нѣжна,

* Чингаръ, чингара — родъ гитары.

Какъ будто для земли она
Была на небѣ сложена.
Не ангелъ ли съ забытымъ другомъ
Вновь повидаться захотѣлъ,
Сюда украдкою слетѣлъ,
И о быломъ ему пропѣлъ,
Чтобъ усладить его мученье?...
Тоску любви, ея волненье
Постигнулъ демонъ въ первый разъ...
Онъ хочетъ въ страхѣ удалиться —
Его крыло не шевелится!
И чудо! изъ померкшихъ глазъ
Слеза тяжелая катится....
Понынѣ возлѣ кельи той
Насквозь прожженный видѣнъ камень
Слезою жаркою какъ пламень,
Не человѣческой слезой...

VIII.

И входитъ онъ, любить готовый,
Съ душой открытой для добра;
И мыслитъ онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепетъ ожиданья,
Страхъ неизвѣстности нѣмой,
Какъ будто въ первое свиданье,
Спознались съ гордою душой;
То было злое предвѣщанье...
Онъ входитъ, смотритъ, передъ нимъ
Посланникъ рая — херувимъ,
Хранитель грѣшницы прекрасной,
Стоитъ съ блистающимъ челомъ,
И отъ врага съ улыбкой ясной
Пріосѣнилъ ее крыломъ....
И лучъ божественнаго свѣта

Вдругъ ослѣпилъ нечистый взоръ,
И вмѣсто сладкаго привѣта
Раздался тягостный укоръ:

IX.

«Духъ безпокойный, духъ порочный,
Кто звалъ тебя во тьмѣ полночной?
Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣтъ,
Зло не дышало здѣсь понынѣ!
Къ моей любви, къ моей святынѣ
Не пролагай преступный слѣдъ!
Кто звалъ тебя?»

Ему въ отвѣтъ
Злой духъ коварно усмѣхнулся;
Зардѣлся ревностію взглядъ,
И вновь въ душѣ его проснулся
Старинной ненависти ядъ.
«Она моя! сказалъ онъ грозно —
Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитникъ, поздно,
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни;
Здѣсь я владѣю и люблю!»

И ангелъ грустными очами
На жертву бѣдную взглянулъ
И, медленно взмахнувъ крылами,
Въ эѳирѣ неба потонулъ....
. . . . . .

X.

ТАМАРА.

О, кто ты? Рѣчь твоя ужасна!
Тебя послалъ мнѣ адъ иль рай?
Чего ты хочешь?

ДЕМОНЪ.

Ты прекрасна!

ТАМАРА.

Но кто ты, кто ты?... Отвѣчай!...

ДЕМОНЪ.

Я тотъ, которому внимала
Ты въ полуночной тишинѣ,
Чья мысль душѣ твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образъ видѣла во снѣ;
Я тотъ, чей взоръ надежду губитъ,
Едва надежда разцвѣтетъ;
Я тотъ, кого никто не любитъ,
Но все живущее клянетъ.
Ничто пространство мнѣ и годы;
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы,
Я врагъ небесъ, я зло природы,
И видишь—я у ногъ твоихъ!
Тебѣ принесъ я въ умиленьи
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первыя мои.
О, выслушай изъ сожалѣнья!
Меня добру и небесамъ
Ты возвратить могла бы словомъ;
Твоей любви святымъ покровомъ

Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,
Какъ новый ангелъ въ блескѣ новомъ.
О! только выслушай, молю;
Я рабъ твой, я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидѣлъ—
И тайно вдругъ возненавидѣлъ
Безсмертіе и власть мою.
Я позавидовалъ невольно
Неполной радости земной;
Не жить какъ ты—мнѣ стало больно,
И страшно—розно жить съ тобой.
Въ безкровномъ сердцѣ лучъ нежданый
Опять затеплился живѣй,
И грусть на днѣ старинной раны
Зашевелилася какъ змѣй.
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?
Моихъ владѣній безконечность?
Пустыя, звучныя слова,
Обширный храмъ безъ божества!

ТАМАРА.

Оставь меня, о духъ лукавый!
Молчи, не вѣрю я врагу!
Творецъ!... увы, я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой умъ слабѣющій объятъ.
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова—огонь и ядъ...
Скажи, зачѣмъ меня ты любишь?

ДЕМОНЪ.

Зачѣмъ, красавица? Увы,
Не знаю! полонъ жизни новой,
Съ моей преступной головы
Я гордо снялъ вѣнецъ терновый,

Я все былое бросилъ въ прахъ;
Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ!
Люблю тебя не здѣшней страстью,
Какъ полюбить не можешь ты:
Всѣмъ упоеніемъ, всей властью
Безсмертной мысли и мечты.
Въ душѣ моей съ начала міра
Твой образъ былъ напечатлѣнъ,
Передо мной носился онъ
Въ пустыняхъ вѣчнаго эѳира.
Давно, тревожа мысль мою,
Мнѣ имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мнѣ въ раю
Одной тебя недоставало.
О! если бъ ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь—вѣка безъ раздѣленья—
И наслаждаться и страдать,
За зло похвалъ не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой,
И этой вѣчною борьбой
Безъ торжества, безъ примиренья;
Всегда жалѣть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
И все на свѣтѣ презирать!...

Лишь только Божіе проклятье
Исполнилось, съ того же дня
Природы жаркія объятья
На вѣкъ остыли для меня...
Синѣло предо мной пространство,
Я видѣлъ брачное убранство
Свѣтилъ, знакомыхъ мнѣ давно...

*

Они текли въ вѣнцахъ изъ злата;
Но что же?—прежняго собрата
Не узнавало ни одно!
Изгнанниковъ, себѣ подобныхъ,
Я звать въ отчаяніи сталъ,
Но словъ, и лицъ, и взоровъ злобныхъ,
Увы! я самъ не узналъ.
И въ страхѣ я, взмахнувъ крылами,
Помчался... но куда? зачѣмъ?—
Не знаю. Прежними друзьями
Я былъ отвергнутъ; какъ эдемъ
Міръ для меня сталъ глухъ и нѣмъ.
По вольной прихоти теченья,
Такъ поврежденная ладья
Безъ парусовъ и безъ руля
Плыветъ, не зная назначенья;
Такъ ранней утренней порой
Отрывокъ тучи громовой,
Въ лазурной вышинѣ чернѣя,
Одинъ, ни гдѣ пристать не смѣя,
Летитъ безъ цѣли и слѣда,
Богъ вѣсть, откуда и куда!

И я людьми недолго правилъ,
Грѣху недолго ихъ училъ;
Все благородное безславилъ
И все прекрасное хулилъ
Недолго... Пламень чистой вѣры
Легко на вѣкъ я залилъ въ нихъ...
И стоили ль трудовъ моихъ
Одни глупцы, да лицемѣры?
И скрылся я въ ущельяхъ горъ;
И сталъ бродить, какъ метеоръ,
Во мракѣ полночи глубокой...
И мчался путникъ одинокой,

Обманутъ близкимъ огонькомъ,
И въ бездну падая съ конемъ,
Напрасно звалъ—и слѣдъ кровавый
За нимъ вился по крутизнѣ....
Но злобы мрачныя забавы
Недолго нравилися мнѣ.
Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,
Какъ часто, подымая прахъ,
Одѣтый молньей и туманомъ,
Я шумно мчался въ облакахъ,
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
Сердечный ропотъ заглушить,
Спастись отъ думы неизбѣжной
И незабвенное забыть!
Что повѣсть тягостныхъ лишеній,
Трудовъ и бѣдъ толпы людской,
Грядущихъ, прошлыхъ поколѣній,
Передъ минутою одной
Моихъ непризнанныхъ мученій?
Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!
Надежда есть: ждетъ правый судъ;
Простить онъ можетъ, хоть осудитъ!
Моя жъ печаль безсмѣнно тутъ
И ей конца, какъ мнѣ, не будетъ,
И не вздремнуть въ могилѣ ей!
Она—то ластится какъ змѣй,
То жметъ и блещетъ будто пламень,
То давитъ мысль мою какъ камень—
Надеждъ погибшихъ и страстей
Несокрушимый мавзолей!

ТАМАРА.

Зачѣмъ мнѣ знать твои печали,

Зачѣмъ ты жалуешься мнѣ?
Ты согрѣшилъ....

ДЕМОНЪ.

Противъ тебя ли?

ТАМАРА.

Насъ могутъ слышать....

ДЕМОНЪ.

Мы одни.

ТАМАРА.

А Богъ?

ДЕМОНЪ.

На насъ не кинетъ взгляда:
Онъ занятъ небомъ, не землей!

ТАМАРА.

А наказанье? Муки ада?

ДЕМОНЪ.

Такъ что жъ? Ты будешь тамъ со мной!

ТАМАРА.

Кто бъ ни былъ ты, мой другъ случайный,
Покой на вѣки погубя,
Невольно я съ отрадой тайной,
Страдалецъ, слушаю тебя.
Но если рѣчь твоя лукава,
Но если ты, обманъ тая...
О! пощади!... Какая слава!...
На что тебѣ душа моя?
Ужели небу я дороже
Всѣхъ не замѣченныхъ тобой?
Онѣ, увы! прекрасны тоже;
Какъ здѣсь, ихъ дѣвственное ложе
Не смято смертнаго рукой!...

Нѣтъ! дай мнѣ клятву роковую...
Скажи, ты видишь, я тоскую,
Ты видишь женскія мечты!
Невольно страхъ въ душѣ ласкаешь...
Но ты все понялъ, ты все знаешь
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мнѣ... отъ злыхъ стяжаній
Отречься нынѣ дай обѣтъ!
Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній
Ненарушимыхъ больше нѣтъ?...

ДЕМОНЪ.

Клянусь я первымъ днемъ творенья,
Клянусь его послѣднимъ днемъ;
Клянусь позоромъ преступленья
И вѣчной правды торжествомъ;
Клянусь паденья горькой мукой,
Побѣды краткою мечтой;
Клянусь свиданіемъ съ тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянуся сонмищемъ духовъ,
Судьбою братій мнѣ подвластныхъ,
Мечами ангеловъ безстрастныхъ,
Моихъ недремлющихъ враговъ;
Клянуся небомъ я и адомъ,
Земной святыней и тобой;
Клянусь твоимъ послѣднимъ взглядомъ,
Твоею первою слезой,
Незлобныхъ устъ твоихъ дыханьемъ,
Волною шелковыхъ кудрей;
Клянусь блаженствомъ и страданьемъ,
Клянусь любовію моей—
Отрекся я отъ старой мести,
Отрекся я отъ гордыхъ думъ;
Отнынѣ ядъ коварной лести

Ни чей ужъ не встревожитъ умъ;
Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челѣ, тебя достойномъ,
Слѣды небеснаго огня;
И міръ въ невѣдѣньи спокойномъ
Пусть доцвѣтаетъ безъ меня!
О! вѣрь мнѣ: я одинъ понынѣ
Тебя постигъ и оцѣнилъ.
Избравъ тебя моей святыней,
Я власть у ногъ твоихъ сложилъ.
Твоей любви я жду какъ дара,
И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ;
Въ любви, какъ въ злобѣ, вѣрь, Тамара,
Я неизмѣненъ и великъ.
Тебя я, вольный сынъ эѳира,
Возьму въ надзвѣздные края,
И будешь ты царицей міра,
Подруга первая моя;
Безъ сожалѣнья, безъ участья,
Смотрѣть на землю станешь ты,
Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья,
Ни долговѣчной красоты,
Гдѣ преступленья лишь да казни,
Гдѣ страсти мелкой только жить,
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
Ни ненавидѣть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое—
Но дни бѣгутъ и стынетъ кровь.
Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,

Противъ усталости и скуки,
И своенравія мечты?
Нѣтъ! не тебѣ, моей подругѣ,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча въ тѣсномъ кругѣ
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушныхъ и холодныхъ
Друзей притворныхъ и враговъ,
Боязней и надеждъ безплодныхъ,
Пустыхъ и тягостныхъ трудовъ!
Печально за стѣной высокой
Ты не угаснешь безъ страстей,
Среди молитвъ, равно далеко
Отъ божества и отъ людей.
О, нѣтъ! прекрасное созданье,
Къ иному ты присуждена:
Тебя иное ждетъ страданье,
Иныхъ восторговъ глубина!
Оставь же прежнія желанья
И жалкій свѣтъ его судьбѣ:
Пучину гордаго познанья
Въ замѣнъ открою я тебѣ.
Толпу духовъ моихъ служебныхъ
Я приведу къ твоимъ стопамъ;
Прислужницъ легкихъ и волшебныхъ
Тебѣ, красавица, я дамъ;
И для тебя съ звѣзды восточной
Сорву вѣнецъ я золотой,
Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучемъ румянаго заката
Твой станъ, какъ лентой, обовью;
Дыханьемъ чистымъ аромата
Окрестный воздухъ напою!
Всечасно дивною игрою

Твой слухъ лелѣять буду я;
Чертоги пышные построю
Изъ бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дамъ тебѣ все, все земное—
Люби меня!...

XI.

—И онъ слегка
Коснулся жаркими устами
Къ ея трепещущимъ губамъ;
Соблазна полными рѣчами
Онъ отвѣчалъ ея мольбамъ.
Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи.
Онъ жогъ ее. Во мракѣ ночи,
Предъ нею прямо онъ сверкалъ
Неотразимый, какъ кинжалъ.
Увы! злой духъ торжествовалъ!
Смертельный ядъ его лобзанья
Мгновенно въ грудь ея проникъ...
Мучительный, ужасный крикъ
Ночное возмутилъ молчанье...
Въ немъ было все: любовь, страданье,
Упрекъ съ послѣднею мольбой,
И безнадежное прощанье—
Прощанье съ жизнью молодой...
. . . . . .

XII.

Въ то время сторожъ полуночный,
Одинъ вокругъ стѣны крутой,
Свершая тихо путь урочный,
Бродилъ съ чугунною доской,
И возлѣ кельи дѣвы юной

Онъ шагъ свой мѣрный укратилъ,
И руку надъ доской чугунной,
Смутясь душой, остановилъ;
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышалъ онъ
Двухъ устъ согласное лобзанье,
Минутный крикъ, и слабый стонъ....
И нечестивое сомнѣнье
Проникло въ сердце старика....
Но пронеслось еще мгновенье —
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье вѣтерка
Роптанье листьевъ приносило,
Да съ темнымъ берегомъ уныло
Шепталась горная рѣка.
Канонъ угодника святаго
Спѣшитъ онъ въ страхѣ прочитать,
Чтобъ навожденье духа злаго
Отъ грѣшной мысли отогнать;
Креститъ дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь,
И, молча, скорыми шагами
Обычный продолжаетъ путь...
. . . . . .

XIII.

Какъ пери спящая мила,
Она въ гробу своемъ лежала;
Бѣлѣй и чище покрывала
Былъ томный цвѣтъ ея чела.
На вѣкъ опущены рѣсницы...
Но кто бъ, о небо! не сказалъ,
Что взоръ подъ ними лишь дремалъ,
И, чудный, только ожидалъ
Иль поцѣлуя, иль денницы?

Но безполезно лучъ дневной
Скользилъ по нимъ струей златой;
Напрасно ихъ въ нѣмой печали
Уста родныя цѣловали...
Нѣтъ, смерти вѣчную печать
Ничто ни въ силахъ ужъ сорвать!

XIV.

Ни разу не былъ въ дни веселья,
Такъ разноцвѣтенъ и богатъ
Тамары праздничный нарядъ:
Цвѣты родимаго ущелья
(Такъ древній требуетъ обрядъ)
Надъ нею льютъ свой ароматъ,
И, сжаты мертвою рукою,
Какъ бы прощаются съ землею.
И ничего въ ея лицѣ
Не намекало о концѣ
Въ пылу страстей и упоенья;
И были всѣ ея черты
Исполнены той красоты,
Какъ мраморъ, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, какъ смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ея устамъ,
О многомъ грустномъ говорила
Она внимательнымъ глазамъ.
Въ ней было хладное презрѣнье
Души, готовой отцвѣсти,
Послѣдней мысли выраженье,
Землѣ беззвучное: прости!
Напрасный отблескъ жизни прежней,
Она была еще мертвѣй,
Еще для сердца безнадежнѣй

На вѣкъ угаснувшихъ очей.
Такъ въ часъ торжественный заката,
Когда, растаявъ въ морѣ злата,
Ужъ скрылась колесница дня,
Снѣга Кавказа на мгновенье,
Отливъ пурпурный сохраня,
Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ;
Но этотъ лучъ полуживой
Въ пустынѣ отблеска не встрѣтитъ
И путь ни чей онъ не освѣтитъ
Съ своей вершины ледяной...

XV.

Толпой сосѣди и родные
Ужъ собрались въ печальный путь.
Терзая локоны сѣдые,
Безмолвно поражая грудь,
Въ послѣдній разъ Гудалъ садится
На бѣлогриваго коня,
И поѣздъ тронулся.—Три дня,
Три ночи путь ихъ будетъ длиться.
Межъ старыхъ дѣдовскихъ костей
Пріютъ покойный вырытъ ей.
Одинъ изъ праотцевъ Гудала,
Грабитель странниковъ и селъ,
Когда болѣзнь его сковала
И часъ раскаянья пришелъ,
Грѣховъ минувшихъ въ искупленье,
Построить церковь обѣщалъ
На высотѣ гранитныхъ скалъ,
Гдѣ только вьюги слышно пѣнье,
Куда лишь коршунъ залеталъ.
И скоро межъ снѣговъ Казбека
Поднялся одинокій храмъ,
И кости злаго человѣка

Вновь успокоилися тамъ;
И превратилася въ кладбище
Скала родная облакамъ:
Какъ будто ближе къ небесамъ
Теплѣй посмертное жилище,
Какъ будто дальше отъ людей
Послѣдній сонъ не возмутится?...
Напрасно! мертвымъ не приснится
Ни грусть, ни радость прежнихъ дней.

XVI.

Въ пространствѣ синяго эѳира
Одинъ изъ ангеловъ святыхъ
Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ,
И душу грѣшную отъ міра
Онъ несъ въ объятіяхъ своихъ;
И сладкой рѣчью упованья
Ея сомнѣнья разгонялъ,
И слѣдъ проступка и страданья
Съ нея слезами онъ смывалъ.
Издалека ужъ звуки рая
Къ нимъ доносилися—какъ вдругъ,
Свободный путь пересѣкая,
Взвился изъ бездны адскій духъ....
Онъ былъ могучъ, какъ вихорь шумный,
Блисталъ, какъ молніи струя,
И гордо, въ дерзости безумной,
Онъ говорилъ: «она моя!»

Къ груди хранителя прижалась,
Молитвой ужасъ заглуша,
Тамары грѣшная душа.
Судьба грядущаго рѣшалась:
Предъ нею снова онъ стоялъ...
Но, Боже! кто бъ его узналъ?

Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ взглядомъ,
Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ
Вражды, не знающей конца,
И вѣяло могильнымъ хладомъ
Отъ неподвижнаго лица.

«Исчезни, мрачный духъ сомнѣнья!»
Посланникъ неба отвѣчалъ:
«Довольно ты торжествовалъ,
Но часъ суда теперь насталъ,
И благо Божіе рѣшенье!
Дни испытанія прошли;
Съ одеждой бренною земли
Оковы зла съ нея ниспали.
Узнай, давно ее мы ждали!
Ея душа была изъ тѣхъ,
Которыхъ жизнь—одно мгновенье
Невыносимаго мученья,
Недосягаемыхъ утѣхъ;
Творецъ изъ лучшаго эѳира
Соткалъ живыя струны ихъ,
Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ!
Цѣной жестокой искупила
Она сомнѣнія свои...
Она страдала и любила—
И рай открылся для любви!»

И ангелъ строгими очами
На искусителя взглянулъ,
И радостно взмахнувъ крылами,
Въ сіяньи неба потонулъ.
И проклялъ Демонъ побѣжденный
Мечты безумныя свои,
И вновь остался онъ надменный

Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!...

На склонѣ каменной горы,
Надъ Кайшаурскою долиной,
Еще стоятъ до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Разсказовъ страшныхъ для дѣтей
О нихъ еще преданья полны...
Какъ призракъ, памятникъ безмолвный,
Свидѣтель тѣхъ волшебныхъ дней,
Между деревьями чернѣетъ.
Внизу разсыпался аулъ;
Земля цвѣтетъ и зеленѣетъ;
И голосовъ нестройный гулъ
Теряется, и караваны
Идутъ, звеня, издалека;
И низвергаясь сквозь туманы,
Блеститъ и пѣнится рѣка;
И жизнью вѣчно-молодою,
Прохладой, солнцемъ и весною
Природа тѣшится шутя,
Какъ беззаботное дитя.

Но грустенъ замокъ, отслужившій
Когда-то очередь свою,
Какъ бѣдный старецъ, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждутъ луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда имъ праздникъ и свобода:
Жужжатъ, бѣгутъ во всѣ концы.
Сѣдой паукъ, отшельникъ новый,

Прядетъ сѣтей своихъ основы;
Зеленыхъ ящерицъ семья
На кровлѣ весело играетъ,
И осторожная змѣя
Изъ темной щели выползаетъ
На плиту стараго крыльца:
То вдругъ совьется въ три кольца,
То ляжетъ длинной полосою,
И блещетъ, какъ булатный мечъ,
Забытый въ полѣ давнихъ сѣчъ,
Ненужный падшему герою....
—Все дико. Нѣтъ ни гдѣ слѣдовъ
Минувшихъ лѣтъ: рука вѣковъ
Прилежно, долго ихъ сметала,
И не напомнитъ ничего
О славномъ имени Гудала,
О милой дочери его...
Но церковь на крутой вершинѣ,
Гдѣ взяты кости ихъ землей,
Хранима властію святой,
Видна межъ тучъ еще понынѣ;
И у воротъ ея стоятъ
На стражѣ черные граниты,
Пластами снѣжными покрыты,
И на груди ихъ, вмѣсто латъ,
Льды вѣковѣчные горятъ.
Обваловъ сонныя громады
Съ уступовъ, будто водопады
Морозомъ схваченные вдругъ,
Висятъ, нахмурившись, вокругъ.
И тамъ метель дозоромъ ходитъ,
Сдувая пыль со стѣнъ сѣдыхъ,
То пѣсню долгую заводитъ,
То окликаетъ часовыхъ.
Услыша вѣсти въ отдаленьѣ

О чудномъ храмѣ въ той странѣ,
Съ востока облака однѣ
Спѣшатъ толпой на поклоненье;
И надъ семьей могильныхъ плитъ
Давно никто ужъ не груститъ.
Скала угрюмаго Казбека
Добычу жадно сторожитъ,
И вѣчный ропотъ человѣка
Ихъ вѣчный миръ не возмутитъ.

1839

МОЛИТВА.

Въ минуту жизни трудную,
Тѣснится ль въ сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышетъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко—
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко...

ТРИ ПАЛЬМЫ.

(ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНІЕ).

Въ песчаныхъ степяхъ аравійской земли
Три гордыя пальмы высоко росли.
Родникъ между ними изъ почвы безплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый подъ сѣнью зеленыхъ листовъ
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ песковъ.

И многіе годы неслышно прошли;
Но странникъ усталый, изъ чуждой земли,
Пылающей грудью ко влагѣ студёной
Еще не склонялся подъ кущей зеленой,
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на Бога роптать:
«На то ль мы родились, чтобъ здѣсь увядать?
Безъ пользы въ пустынѣ росли и цвѣли мы,
Колеблемы вихремъ и зноемъ палимы,
Ни чей благосклонный не радуя взоръ?...
Не правъ твой, о небо, святой приговоръ!...»

И только замолкли—въ дали голубой
Столбомъ ужъ крутился песокъ золотой,
Звонковъ раздавались нестройные звуки,
Пестрѣли коврами покрытые вьюки,
И шелъ, колыхаясь какъ въ морѣ челнокъ,
Верблюдъ за верблюдомъ, взрывая песокъ.

Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ горбовъ
Узорныя полы походныхъ шатровъ;
Ихъ смуглыя ручки порой подымали,
И черныя очи оттуда сверкали...

И станъ худощавый къ лукѣ наклоня,
Арабъ горячилъ воронаго коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгалъ, какъ барсъ пораженный стрѣлой;
И бѣлой одежды красивыя складки
По плéчамъ фариса вились въ безпорядкѣ;
И съ крикомъ и свистомъ несясь по песку,
Бросалъ и ловилъ онъ копье на скаку.

Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шумя, караванъ;
Въ тѣни ихъ веселый раскинулся станъ.
Кувшины, звуча, налилися водою,
И гордо кивая махровой главою,
Привѣтствуютъ пальмы нежданыхъ гостей,
И щедро поитъ ихъ студёный ручей.

Но только-что сумракъ на землю упалъ,
По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ—
И пали безъ жизни питомцы столѣтій!
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти,
Изрублены были тѣла ихъ потомъ,
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.

Когда же на западъ умчался туманъ,
Урочный свой путь совершалъ караванъ;
И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ безплодной
Виднѣлся лишь пепелъ сѣдой и холодной;
И солнце остатки сухіе дожгло,
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ разнесло.

И нынѣ все дико и пусто кругомъ—
Не шепчутся листья съ гремучимъ ключемъ:
Напрасно пророка о тѣни онъ проситъ—
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,

Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

ДАРЫ ТЕРЕКА.

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ,
Межъ утесистыхъ громадъ,
Бурѣ плачъ его подобенъ,
Слезы брызгами летятъ.
Но, по степи разбѣгаясь,
Онъ лукавый принялъ видъ,
И привѣтливо ласкаясь,
Морю Каспію журчитъ:

«Разступись, о старецъ-море,
Дай пріютъ моей волнѣ!
Погулялъ я, на просторѣ
Отдохнуть пора бы мнѣ.
Я родился у Казбека,
Вскормленъ грудью облаковъ,
Съ чуждой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ.
Я сынамъ твоимъ въ забаву,
Раззорилъ родной Дарьялъ,
И валуновъ имъ, на славу,
Стадо цѣлое пригналъ.»

Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій стихнулъ, будто спитъ,
И опять, ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчитъ:

«Я привезъ тебѣ гостинецъ!
То гостинецъ не простой:

Съ поля битвы кабардинецъ,
Кабардинецъ удалой.

«Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,
Въ налокотникахъ стальныхъ:
Изъ Корана стихъ священный
Писанъ золотомъ на нихъ.
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,
И усовъ его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взоръ открытый, безотвѣтный,
Полонъ старою враждой;
По затылку чубъ завѣтный
Вьется черною косой.»

Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій дремлетъ и молчитъ;
И волнуясь, буйный Терекъ
Старцу снова говоритъ:

«Слушай, дядя: даръ безцѣнный!
Что̀ другіе всѣ дары?
Но его отъ всей вселенной
Я таилъ до сей поры.
Я примчу къ тебѣ съ волнами
Трупъ казачки молодой,
Съ темно-блѣдными плечами,
Съ свѣтло-русою косой.
Грустенъ ликъ ея туманный,
Взоръ такъ тихо, сладко спитъ,
А на грудь изъ малой раны
Струйка алая бѣжитъ.
По красоткѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой

Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.

«Осѣдлалъ онъ воронаго,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злаго
Сложитъ голову свою.»

Замолчалъ потокъ сердитый,
И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старикъ во блескѣ власти
Всталъ, могучій какъ гроза,
И одѣлись влагой страсти
Темно-синіе глаза.

Онъ взыгралъ, веселья полный,
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви.

НЕ ВѢРЬ СЕБѢ.

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,
Et tout les baladins qui dansent sur la phrase?
A. Barbier.

Не вѣрь, не вѣрь себѣ, мечтатель молодой,
Какъ язвы бойся вдохновенья...
Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,
Иль плѣнной мысли раздраженье.

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!
Скорѣе жизнь свою въ заботахъ истощи,
Разлей отравленный напитокъ!

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ
Открыть въ душѣ давно-безмолвной
Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,
Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный—
Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,
Набрось на нихъ покровъ забвенья:
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ
Не передашь ты ихъ значенья.

Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,
Зайдетъ ли страсть съ грозой и вьюгой—
Не выходи тогда на шумный пиръ людей
Съ своею бѣшеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гнѣвомъ, то тоской послушной,
И гной душевныхъ ранъ надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?
На-что намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?
Взгляни: передъ тобой играючи идетъ
Толпа дорогою привычной;
На лицахъ праздничныхъ чуть видѣнъ слѣдъ заботъ,
Слезы не встрѣтишь неприличной.

А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
Безъ преступленья иль утраты...

Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ
Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,
Какъ разрумяненный трагическій актеръ,
Махающій мечемъ картоннымъ.

ПАМЯТИ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОДОЕВСКАГО.

Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ
Въ горахъ Востока, и тоску изгнанья
Дѣлили дружно; но къ полямъ роднымъ
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А онъ не дождался минуты сладкой:
Подъ бѣдною походною палаткой
Болѣзнь его сразила, и съ собой
Въ могилу онъ унесъ летучій рой
Еще незрѣлыхъ, темныхъ вдохновеній,
Обманутыхъ надеждъ и горькихъ сожалѣній!

Онъ былъ рожденъ для нихъ, для тѣхъ надеждъ,
Поэзіи и счастья... Но, безумный —
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ
И сердце бросилъ въ море жизни шумной.
И свѣтъ не пощадилъ, и Богъ не спасъ!
Но до конца, среди волненій трудныхъ,
Въ толпѣ людской и средь пустынь безлюдныхъ
Въ немъ тихій пламень чувства не угасъ:
Онъ сохранилъ и блескъ лазурныхъ глазъ,
И звонкій дѣтскій смѣхъ, и рѣчь живую,
И вѣру гордую въ людей и жизнь иную.

Но онъ погибъ далёко отъ друзей...
Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужихъ полей,
Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба наша
Въ нѣмомъ кладбищѣ памяти моей!
Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума,
Но съ твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челѣ твоемъ,
Когда глаза закрылись вѣчнымъ сномъ;
И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый...

И было ль то — привѣтъ странѣ родной,
Названье ли оставленнаго друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль, просто, крикъ послѣдняго недуга,
Кто скажетъ намъ?... Твоихъ послѣднихъ словъ
Глубокое и горькое значенье
Потеряно. Дѣла твои, и мнѣнья,
И думы — все исчезло безъ слѣдовъ,
Какъ легкій паръ вечернихъ облаковъ:
Едва блеснутъ, ихъ вѣтеръ вновь уноситъ —
Куда они? зачѣмъ? откуда? — кто ихъ спроситъ...

И послѣ ихъ на небѣ нѣтъ слѣда,
Какъ отъ любви ребенка безнадежной,
Какъ отъ мечты, которой никогда
Онъ не ввѣрялъ заботамъ дружбы нѣжной...
Что̀ за нужда? Пускай забудетъ свѣтъ
Столь чуждое ему существованье:
Зачѣмъ тебѣ вѣнцы его вниманья
И тернія пустыхъ его клеветъ?
Ты не служилъ ему. Ты съ юныхъ лѣтъ
Кровавыя его отвергнулъ цѣпи:
Любилъ ты моря шумъ, молчанье синей степи —

И мрачныхъ горъ зубчатые хребты...
И вкругъ твоей могилы неизвѣстной
Все, чѣмъ при жизни радовался ты,
Судьба соединила такъ чудесно:
Нѣмая степень синѣетъ, и вѣнцомъ
Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ;
Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо дремлетъ,
Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ,
Разсказамъ волнъ кочующихъ внимая,
А Море Черное шумитъ не умолкая.

КАЗОТЪ.

На буйномъ пиршествѣ задумчивъ онъ сидѣлъ,
Одинъ, покинутый безумными друзьями,
И въ даль грядущаго, закрытую предъ нами,
Духовный взоръ его смотрѣлъ.

И помню я, исполнены печали,
Средь звона чашъ, и криковъ, и рѣчей,
И пѣсенъ праздничныхъ, и хохота гостей,
Его слова пророчески звучали.

Онъ говорилъ: «ликуйте, о друзья!
Что̀ вамъ судьбы дряхлѣющаго міра?
Надъ вашей головой колеблется сѣкира,
Но что жъ?... изъ васъ одинъ ее увижу я...
. . . . . .

ПОЭТЪ.

Отдѣлкой золотой блистаетъ мой кинжалъ:
Клинокъ надежный, безъ порока;
Булатъ его хранитъ таинственный закалъ —
Наслѣдье браннаго Востока.
Наѣзднику въ горахъ служилъ онъ много лѣтъ,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провелъ онъ страшный слѣдъ
И не одну прорвалъ кольчугу.
Забавы онъ дѣлилъ послушнѣе раба,
Звенѣлъ въ отвѣтъ рѣчамъ обиднымъ;
Въ тѣ дни была въ ему богатая рѣзьба
Нарядомъ чуждымъ и постыднымъ.
Онъ взятъ за Терекомъ отважнымъ казакомъ
На хладномъ трупѣ господина,
И долго онъ лежалъ, заброшенный потомъ,
Въ походной лавкѣ армянина.
Теперь родныхъ ноженъ, избитыхъ на войнѣ,
Лишенъ героя спутникъ бѣдный;
Игрушкой золотой онъ блещетъ на стѣнѣ —
Увы! безславный и безвредный!
Никто привычною, заботливой рукой
Его не чиститъ, не ласкаетъ,
И надписи его, молясь передъ зарей,
Никто съ усердьемъ не читаетъ...

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,
Свое утратилъ назначенье,
На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
Внималъ въ нѣмомъ благоговѣньи?
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;

Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой,
И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой,
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
Насъ тѣшатъ блёстки и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...
Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ,
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

МЦЫРИ. *

Вкушая вкусихъ мало меда, и се азъ умираю.
I Книга Царствъ.

I.

Не много лѣтъ тому назадъ,
Тамъ, гдѣ сливаяся шумятъ,
Обнявшись будто двѣ сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Былъ монастырь. Изъ-за горы
И нынѣче видитъ пѣшеходъ
Столбы обрушенныхъ воротъ,

---

* Мцыри—на грузинскомъ языкѣ значитъ «неслужащій монахъ», нѣчто въ родѣ «пòслушника».

И башни, и церковный сводъ;
Но не курится ужъ подъ нимъ
Кадильницъ благовонный дымъ,
Не слышно пѣнья въ поздній часъ
Молящихъ иноковъ за насъ.
Теперь одинъ старикъ сѣдой,
Развалинъ стражъ полуживой,
Людьми и смертію забытъ,
Сметаетъ пыль съ могильныхъ плитъ,
Которыхъ надпись говоритъ
О славѣ прошлой — и о томъ,
Какъ, удрученъ своимъ вѣнцомъ,
Такой-то царь, въ такой-то годъ,
Вручилъ Россіи свой народъ.

*

И Божья благодать сошла
На Грузію! — Она цвѣла
Съ тѣхъ поръ въ тѣни своихъ садовъ,
Не опасаяся враговъ,
За гранью дружескихъ штыковъ.

II.

Однажды русскій генералъ
Изъ горъ къ Тифлису проѣзжалъ,
Ребенка плѣннаго онъ везъ.
Тотъ занемогъ, не перенесъ
Трудовъ далекаго пути.
Онъ былъ, казалось, лѣтъ шести;
Какъ серна горъ, пугливъ и дикъ,
И слабъ и гибокъ, какъ тростникъ;
Но въ немъ мучительный недугъ
Развилъ тогда могучій духъ
Его отцовъ. Безъ жалобъ онъ
Томился, даже слабый стонъ

Изъ дѣтскихъ губъ не вылеталъ,
Онъ знàкомъ пищу отвергалъ,
И тихо, гордо умиралъ.
Изъ жалости одинъ монахъ
Больнаго призрѣлъ, и въ стѣнахъ
Хранительныхъ остался онъ
Искусствомъ дружескимъ спасенъ.
Но чуждъ ребяческихъ утѣхъ,
Сначала бѣгалъ онъ отъ всѣхъ,
Бродилъ безмолвенъ, одинокъ,
Смотрѣлъ вздыхая на востокъ,
Томимъ неясною тоской
По сторонѣ своей родной.
Но послѣ къ плѣну онъ привыкъ,
Сталъ понимать чужой языкъ,
Былъ окрещенъ святымъ отцомъ,
И съ шумнымъ свѣтомъ незнакомъ,
Уже хотѣлъ во цвѣтѣ лѣтъ
Изречь монашескій обѣтъ,
Какъ вдругъ однажды онъ исчезъ
Осенней ночью. Темный лѣсъ
Тянулся по горамъ кругомъ.
Три дня всѣ поиски по немъ
Напрасны были; но потомъ
Его въ степи безъ чувствъ нашли
И вновь въ обитель принесли.
Онъ страшно блѣденъ былъ и худъ
И слабъ, какъ будто долгій трудъ,
Болѣзнь, иль голодъ испыталъ.
Онъ на допросъ не отвѣчалъ
И съ каждымъ днемъ примѣтно вялъ.
И близокъ сталъ его конецъ.
Тогда пришелъ къ нему чернецъ
Съ увѣщеваньемъ и мольбой;
И гордо выслушавъ, больной

Привсталъ, собравъ остатокъ силъ,
И долго такъ онъ говорилъ:

III.

«Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришелъ, благодарю.
Все лучше передъ кѣмъ нибудь
Словами облегчить мнѣ грудь.
Но людямъ я не дѣлалъ зла,
И потому мои дѣла
Не много пользы вамъ узнать —
А душу можно ль разсказать?
Я мало жилъ, и жилъ въ плѣну.
Такихъ двѣ жизни за одну,
Но только полную тревогъ,
Я промѣнялъ бы, если бъ могъ.
Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она какъ червь во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Отъ келій душныхъ и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,
Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,
Гдѣ люди вольны, какъ орлы.
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

IV.

«Старикъ! я слышалъ много разъ,
Что ты меня отъ смерти спасъ —

Зачѣмъ?... Угрюмъ и одинокъ,
Грозой оторванный листокъ,
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ.
Я никому не могъ сказать
Священныхъ словъ «отецъ» и «мать».
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
Чтобъ я въ обители отвыкъ
Отъ этихъ сладостныхъ именъ —
Напрасно: звукъ ихъ былъ рожденъ
Со мной. Я видѣлъ у другихъ
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
А у себя не находилъ
Не только милыхъ душъ—могилъ!
Тогда, пустыхъ не тратя слезъ,
Въ душѣ я клятву произнесъ:
Хотя на мигъ когда нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать съ тоской къ груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья тѣ
Погибли въ полной красотѣ,
И я, какъ жилъ, въ землѣ чужой
Умру рабомъ и сиротой.

V.

«Меня могила не страшитъ:
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
Въ холодной вѣчной тишинѣ.
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ.
Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не зналъ, или забылъ,
Какъ ненавидѣлъ и любилъ;
Какъ сердце билося живѣй

При видѣ солнца и полей
Съ высокой башни угловой,
Гдѣ воздухъ свѣжъ, и гдѣ порой
Въ глубокой скважинѣ стѣны,
Дитя невѣдомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидитъ, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свѣтъ
Тебѣ постылъ: ты слабъ, ты сѣдъ,
И отъ желаній ты отвыкъ.
Что за нужда? Ты жилъ, старикъ!
Тебѣ есть въ мірѣ что̀ забыть,
Ты жилъ—я также могъ бы жить!

VI.

«Ты хочешь знать, что̀ видѣлъ я
На волѣ?—Пышныя поля,
Холмы, покрытые вѣнцомъ
Деревъ, разросшихся кругомъ,
Шумящихъ свѣжею толпой,
Какъ братья въ пляскѣ круговой.
Я видѣлъ груды темныхъ скалъ,
Когда потокъ ихъ раздѣлялъ,
И думы ихъ я угадалъ:
Мнѣ было свыше то дано!
Простерты въ воздухѣ давно
Объятья каменныя ихъ
И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ;
Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года—
Имъ не сойтиться никогда!
Я видѣлъ горные хребты,
Причудливые какъ мечты,
Когда въ часъ утренней зари
Курилися какъ алтари
Ихъ выси въ небѣ голубомъ,

И облачко за облачкомъ,
Покинувъ тайный свой ночлегъ,
Къ востоку направляло бѣгъ—
Какъ будто бѣлый караванъ
Залетныхъ птицъ изъ дальнихъ странъ!
Вдали я видѣлъ сквозь туманъ,
Въ снѣгахъ, горящихъ какъ алмазъ,
Сѣдой, незыблемый Кавказъ—
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мнѣ тайный голосъ говорилъ,
Что нѣкогда и я тамъ жилъ,
И стало въ памяти моей
Прошедшее яснѣй, яснѣй...

VII.

«И вспомнилъ я отцовскій домъ,
Ущелье наше, и кругомъ
Въ тѣни разсыпанный аулъ;
Мнѣ слышался вечерній гулъ
Домой бѣгущихъ табуновъ
И дальній лай знакомыхъ псовъ.
Я помнилъ смуглыхъ стариковъ,
При свѣтѣ лунныхъ вечеровъ
Противъ отцовскаго крыльца
Сидѣвшихъ съ важностью лица;
И блескъ оправленныхъ ножонъ
Кинжаловъ длинныхъ... и какъ сонъ
Все это смутной чередой
Вдругъ пробѣгало предо мной.
А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и помнилъ я
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,
И гордый, непреклонный взоръ;

*

И молодыхъ моихъ сестеръ...
Лучи ихъ сладостныхъ очей,
И звукъ ихъ пѣсенъ и рѣчей
Надъ колыбелію моей...
Въ ущельи томъ бѣжалъ потокъ,
Онъ шуменъ былъ, но не глубокъ;
Къ нему, на золотой песокъ,
Играть я въ полдень уходилъ
И взоромъ ласточекъ слѣдилъ,
Когда онѣ передъ дождемъ
Волны касалися крыломъ.
И вспомнилъ я нашъ мирный домъ
И предъ вечернимъ очагомъ
Разсказы долгіе о томъ,
Какъ жили люди прежнихъ дней,
Когда былъ міръ еще пышнѣй.

VIII.

«Ты хочешь знать, что̀ дѣлалъ я
На волѣ? Жилъ—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бъ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я какъ братъ
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,

Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что̀ средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ въ замѣнъ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

IX.

«Бѣжалъ я долго—гдѣ? куда?
Не знаю! Ни одна звѣзда
Не озаряла трудный путь.
Мнѣ было весело вдохнуть
Въ мою измученную грудь
Ночную свѣжесть тѣхъ лѣсовъ—
И только. Много я часовъ
Бѣжалъ, и наконецъ, уставъ,
Прилегъ между высокихъ травъ;
Прислушался: погони нѣтъ.
Гроза утихла. Блѣдный свѣтъ
Тянулся длинной полосой
Межъ темнымъ небомъ и землей,
И различалъ я, какъ узоръ,
На ней зубцы далекихъ горъ.
Недвижимъ, молча, я лежалъ.
Порой въ ущеліи шакалъ
Кричалъ и плакалъ, какъ дитя,
И гладкой чешуей блестя,
Змѣя скользила межъ камней;
Но страхъ не сжалъ души моей;
Я самъ, какъ звѣрь, былъ чуждъ людей,
И ползъ и прятался, какъ змѣй.

X.

«Внизу глубоко подо мной
Потокъ, усиленный грозой,
Шумѣлъ, и шумъ его глухой

Сердитыхъ сотнѣ голосовъ .
Подобился. Хотя безъ словъ,
Мнѣ внятенъ былъ тотъ разговоръ,
Немолчный ропотъ, вѣчный споръ
Съ упрямой грудою камней.
То вдругъ стихалъ онъ, то сильнѣй
Онъ раздавался въ тишинѣ;
И вотъ, въ туманной вышинѣ
Запѣли птички, и востокъ
Озолотился; вѣтерокъ
Сырые шевельнулъ листы;
Дохнули сонные цвѣты,
И какъ они, на встрѣчу дню
Я поднялъ голову мою...
Я осмотрѣлся; не таю:
Мнѣ стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежалъ,
Гдѣ вылъ, крутясь, сердитый валъ;
Туда вели ступени скалъ:
Но лишь злой духъ по нимъ шагалъ,
Когда, низверженный съ небесъ,
Въ подземной пропасти исчезъ.

XI.

«Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ;
Растеній радужный нарядъ
Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ,
И кудри виноградныхъ лозъ
Вились, красуясь межъ деревъ
Прозрачной зеленью листовъ;
И грозды полные на нихъ,
Серегъ подобье дорогихъ,
Висѣли пышно, и порой
Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой.
И снова я къ землѣ припалъ,

И снова вслушиваться сталъ
Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;
Они шептались по кустамъ,
Какъ будто рѣчь свою вели
О тайнахъ неба и земли;
И всѣ природы голоса
Сливались тутъ; не раздался
Въ торжественный хваленья часъ
Лишь человѣка гордый гласъ.
Все, что̀ я чувствовалъ тогда,
Тѣ думы—имъ ужъ нѣтъ слѣда—
Но я бъ желалъ ихъ разсказать,
Чтобъ жить, хоть мысленно, опять.
Въ то утро былъ небесный сводъ
Такъ чистъ, что ангела полетъ
Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;
Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,
Такъ полонъ ровной синевой!
Я въ немъ глазами и душой
Тонулъ, пока полдневный зной
Мои мечты не разогналъ,
И жаждой я томиться сталъ.

XII.

«Тогда къ потоку съ высоты,
Держась за гибкіе кусты,
Съ плиты на плиту я, какъ могъ,
Спускаться началъ. Изъ-подъ ногъ
Сорвавшись, камень иногда
Катился внизъ—за нимъ бразда
Дымилась, прахъ вился столбомъ;
Гудя и прыгая, потомъ
Онъ поглощаемъ былъ волной;
И я висѣлъ надъ глубиной—
Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!
Лишь только я съ крутыхъ высотъ
Спустился, свѣжесть горныхъ водъ
Повѣяла на встрѣчу мнѣ,
И жадно я припалъ къ волнѣ.
Вдругъ голосъ—легкій шумъ шаговъ...
Мгновенно скрывшись межъ кустовъ,
Невольнымъ трепетомъ объятъ,
Я поднялъ боязливый взглядъ
И жадно вслушиваться сталъ:
И ближе, ближе все звучалъ
Грузинки голосъ молодой,
Такъ безыскусственно живой,
Такъ сладко вольный, будто онъ
Лишь звуки дружескихъ именъ
Произносить былъ пріученъ.
Простая пѣсня то была,
Но въ мысль она мнѣ залегла,
И мнѣ, лишь сумракъ настаетъ,
Незримый духъ ее поетъ.

XIII.

«Держа кувшинъ надъ головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила къ берегу. Порой
Она скользила межъ камней,
Смѣясь неловкости своей.
И бѣденъ былъ ея нарядъ;
И шла она легко, назадъ
Изгибы длинные чадры
Откинувъ. Лѣтніе жары
Покрыли тѣнью золотой
Лицо и грудь ея; и зной
Дышалъ отъ устъ ея и щекъ,
И мракъ очей былъ такъ глубокъ,

Такъ полонъ тайнами любви,
Что думы пылкія мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звонъ — когда струя
Вливалась медленно въ него —
И шорохъ... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила отъ сердца кровь,
Она была ужъ далеко;
И шла хоть тише — но легко,
Стройна подъ ношею своей,
Какъ тополь, царь ея полей...
Недалеко, въ прохладной мглѣ,
Казалось, приросли къ скалѣ
Двѣ сакли дружною четой;
Надъ плоской кровлею одной
Дымокъ струился голубой;
Я вижу, будто бы теперь,
Какъ отперлась тихонько дверь
И затворилася опять...
— Тебѣ, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если бъ могъ — мнѣ было бъ жаль:
Воспоминанья тѣхъ минутъ
Во мнѣ, со мной пускай умрутъ.

XIV.

«Трудами ночи изнуренъ,
Я легъ въ тѣни. Отрадный сонъ
Сомкнулъ глаза невольно мнѣ...
И снова видѣлъ я во снѣ
Грузинки образъ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —

И пробудился. Ужъ луна
Вверху сіяла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Какъ за добычею своей,
Объятья жадныя раскрывъ.
Міръ теменъ былъ и молчаливъ;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цѣпи снѣговой
Вдали сверкали предо мной,
Да въ берега плескалъ потокъ.
Въ знакомой саклѣ огонекъ
То трепеталъ, то снова гасъ:
На небесахъ въ полночный часъ
Такъ гаснетъ яркая звѣзда!
Хотѣлось мнѣ... но я туда
Взойти не смѣлъ. Я цѣль одну,
Пройти въ родимую страну,
Имѣлъ въ душѣ — и превозмогъ
Страданье голода, какъ могъ.
И вотъ дорогою прямой
Пустился, робкій и нѣмой.
Но скоро въ глубинѣ лѣсной
Изъ виду горы потерялъ
И тутъ съ пути сбиваться сталъ.

XV.

«Напрасно, въ бѣшенствѣ, порой,
Я рвалъ отчаянной рукой
Терновникъ, спутанный плющемъ:
Все лѣсъ былъ, вѣчный лѣсъ кругомъ,
Страшнѣй и гуще каждый часъ;
И милліономъ черныхъ глазъ
Смотрѣла ночи темнота
Сквозь вѣтви каждаго куста...
Моя кружилась голова.

Я сталъ влѣзать на дерева;
Но даже на краю небесъ
Все тотъ же былъ зубчатый лѣсъ.
Тогда на землю я упалъ
И въ изступленіи рыдалъ,
И грызъ сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
Въ нее горючею росой...
Но, вѣрь мнѣ, помощи людской
Я не желалъ... Я былъ чужой
Для нихъ на вѣкъ, какъ звѣрь степной;
И если бъ хоть минутный крикъ
Мнѣ измѣнилъ — клянусь, старикъ,
Я бъ вырвалъ слабый мой языкъ.

XVI.

«Ты помнишь, въ дѣтскіе года
Слезы не зналъ я никогда;
Но тутъ я плакалъ безъ стыда.
Кто видѣть могъ? Лишь темный лѣсъ,
Да мѣсяцъ, плывшій, средь небесъ!
Озарена его лучемъ,
Покрыта мохомъ и пескомъ,
Непроницаемой стѣной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдругъ по ней
Мелькнула тѣнь, и двухъ огней
Промчались искры.... и потомъ
Какой-то звѣрь однимъ прыжкомъ
Изъ чащи выскочилъ и легъ,
Играя, навзничь на песокъ.
То былъ пустыни вѣчный гость —
Могучій барсъ. Сырую кость
Онъ грызъ и весело визжалъ;
То взоръ кровавый устремлялъ,

Мотая ласково хвостомъ,
На полный мѣсяцъ — и на немъ
Шерсть отливалась серебромъ.
Я ждалъ, схвативъ рогатый сукъ,
Минуту битвы; сердце вдругъ
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела инымъ путемъ...
Но нынче я увѣренъ въ томъ,
Что быть бы могъ въ краю отцовъ
Не изъ послѣднихъ удальцовъ.

XVII.

«Я ждалъ. И вотъ въ тѣни ночной
Врага почуялъ онъ, и вой
Протяжный жалобный, какъ стонъ,
Раздался вдругъ... и началъ онъ
Сердито лапой рыть песокъ,
Всталъ на дыбы, потомъ прилегъ,
И первый бѣшеный скачокъ
Мнѣ страшной смертію грозилъ...
Но я его предупредилъ.
Ударъ мой вѣренъ былъ и скоръ.
Надежный сукъ мой, какъ топоръ,
Широкій лобъ его разсѣкъ...
Онъ застоналъ, какъ человѣкъ,
И опрокинулся. Но вновь —
Хотя лила изъ раны кровь
Густой; широкою волной —
Бой закипѣлъ, смертельный бой!

XVIII.

«Ко мнѣ онъ кинулся на грудь;
Но въ горло я успѣлъ воткнуть
И тамъ два раза повернуть

Мое оружье... Онъ завылъ,
Рванулся изъ послѣднихъ силъ,
И мы, сплетясь, какъ пара змѣй,
Обнявшись крѣпче двухъ друзей,
Упали разомъ, и во мглѣ
Бой продолжался на землѣ.
И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ;
Какъ барсъ пустынный, золъ и дикъ,
Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ:
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ,
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.
Казалось, что слова людей
Забылъ я — и въ груди моей
Родился тотъ ужасный крикъ,
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
Къ иному звуку не привыкъ...
Но врагъ мой сталъ изнемогать,
Метаться, медленнѣй дышать,
Сдавилъ меня въ послѣдній разъ...
Зрачки его недвижныхъ глазъ
Блеснули грозно — и потомъ
Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;
Но съ торжествующимъ врагомъ
Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,
Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!...

XIX.

«Ты видишь на груди моей
Слѣды глубокіе когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покровъ ихъ освѣжитъ,
И смерть на вѣки заживитъ.
О нихъ тогда я позабылъ,

И, вновь собравъ остатокъ силъ,
Побрелъ я въ глубинѣ лѣсной...
Но тщетно спорилъ я съ судьбой:
Она смѣялась надо мной!

XX.

«Я вышелъ изъ лѣсу. И вотъ
Проснулся день, и хороводъ
Свѣтилъ напутственныхъ исчезъ
Въ его лучахъ. Туманный лѣсъ
Заговорилъ. Вдали аулъ
Куриться началъ. Смутный гулъ
Въ долинѣ съ вѣтромъ пробѣжалъ...
Я сѣлъ и вслушиваться сталъ;
Но смолкъ онъ вмѣстѣ съ вѣтеркомъ.
И кинулъ взоры я кругомъ:
Тотъ край, казалось, мнѣ знакомъ.
И страшно было мнѣ — понять
Не могъ я долго, что опять
Вернулся я къ тюрьмѣ моей;
Что безполезно столько дней
Я тайный замыселъ ласкалъ,
Терпѣлъ, томился и страдалъ,
И все зачѣмъ? — Чтобъ въ цвѣтѣ лѣтъ,
Едва взглянувъ на Божій свѣтъ,
При звучномъ ропотѣ дубравъ
Блаженство вольности познавъ,
Унесть въ могилу за собой
Тоску по родинѣ святой,
Надеждъ обманутыхъ укоръ
И вашей жалости позоръ!...
Еще въ сомнѣнье погруженъ,
Я думалъ — это страшный сонъ...
Вдругъ дальній колокола звонъ
Раздался снова въ тишинѣ —

И тутъ все ясно стало мнѣ...
О, я узналъ его тотчасъ!
Онъ съ дѣтскихъ глазъ уже не разъ
Сгонялъ видѣнья сновъ живыхъ
Про милыхъ ближнихъ и родныхъ,
Про волю дикую степей,
Про легкихъ бѣшеныхъ коней,
Про битвы чудныя межъ скалъ,
Гдѣ всѣхъ одинъ я побѣждалъ!...
И слушалъ я безъ слезъ, безъ силъ.
Казалось, звонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца — будто кто нибудь
Желѣзомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И смутно понялъ я тогда,
Что мнѣ на родину слѣда
Не проложить ужъ никогда.

XXI.

«Да, заслужилъ я жребій мой!
Могучій конь, въ степи чужой
Плохаго сбросивъ сѣдока,
На родину издалека
Найдетъ прямой и краткій путь...
Что я предъ нимъ? — Напрасно грудь
Полна желаньемъ и тоской;
То жаръ безсильный и пустой,
Игра мечты, болѣзнь ума.
На мнѣ печать свою тюрьма
Оставила... Таковъ цвѣтокъ
Темничный: выросъ одинокъ
И блѣденъ онъ межъ плитъ сырыхъ;
И долго листьевъ молодыхъ
Не распускалъ, все ждалъ лучей
Живительныхъ. И много дней
Прошло, и добрая рука

Печалью тронулась цвѣтка,
И былъ онъ въ садъ перенесенъ,
Въ сосѣдство розъ. Со всѣхъ сторонъ
Дышала сладость бытія...
Но что жъ? Едва взошла заря,
Палящій лучъ ея обжогъ
Въ тюрьмѣ воспитанный цвѣтокъ...

XXII.

«И какъ его, палилъ меня
Огонь безжалостнаго дня.
Напрасно пряталъ я въ траву
Мою усталую главу:
Изсохшій листъ ея вѣнцомъ
Терновымъ надъ моимъ челомъ
Свивался — и въ лицо огнемъ
Сама земля дышала мнѣ.
Сверкая быстро въ вышинѣ,
Кружились искры; съ бѣлыхъ скалъ
Струился паръ. Міръ Божій спалъ,
Въ оцѣпенѣніи глухомъ,
Отчаянья тяжелымъ сномъ.
Хотя бы крикнулъ коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячій лепетъ... Лишь змѣя,
Сухимъ бурьяномъ шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Какъ будто надписью златой
Покрытый до-низу клинокъ,
Бразда разсыпчатый песокъ,
Скользила бережно; потомъ,
Играя, нѣжася на немъ,
Тройнымъ свивалася кольцомъ;
То будто вдругъ обожжена,

Металась, прыгала она
И въ дальнихъ пряталась кустахъ...

XXIII.

«И было все на небесахъ
Свѣтло и тихо. Сквозь пары
Въ дали чернѣли двѣ горы.
Нашъ монастырь изъ-за одной
Сверкалъ зубчатою стѣной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвивъ каймой изъ серебра
Подошвы свѣжихъ острововъ,
По корнямъ шепчущихъ кустовъ
Бѣжали дружно и легко...
До нихъ мнѣ было далеко!
Хотѣлъ я встать — передо мной
Все закружилось съ быстротой;
Хотѣлъ кричать — языкъ сухой
Беззвученъ и недвижимъ былъ...
Я умиралъ. Меня томилъ
Предсмертный бредъ.
Казалось мнѣ,
Что я лежу на влажномъ днѣ
Глубокой рѣчки — и была
Кругомъ таинственная мгла.
И жажду вѣчную поя,
Какъ ледъ холодная струя,
Журча, вливалася мнѣ въ грудь...
И я боялся лишь заснуть —
Такъ было сладко, любо мнѣ...
А надо мною въ вышинѣ
Волна тѣснилася къ волнѣ
И солнце сквозь хрусталь волны
Сіяло сладостнѣй луны...
И рыбокъ пестрыя стада

Въ лучахъ играли иногда.
И помню я одну изъ нихъ:
Она привѣтливѣй другихъ
Ко мнѣ ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ея спина. Она вилась
Надъ головой моей не разъ,
И взоръ ея зеленыхъ глазъ
Былъ грустно-нѣженъ и глубокъ...
И надивиться я не могъ:
Ея сребристый голосокъ
Мнѣ рѣчи странныя шепталъ,
И пѣлъ, и снова замолкалъ.
Онъ говорилъ:

«Дитя мое,
Останься здѣсь со мной:
Въ водѣ привольное житье —
И холодъ и покой.

*

«Я созову моихъ сестеръ:
Мы пляской круговой
Развеселимъ туманный взоръ
И духъ усталый твой.

*

«Усни! постель твоя мягка,
Прозраченъ твой покровъ.
Пройдутъ года, пройдутъ вѣка
Подъ говоръ чудныхъ сновъ.

*

«О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, какъ вольную струю,
Люблю, какъ жизнь мою...»

«И долго, долго слушалъ я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихій ропотъ свой
Съ словами рыбки золотой.
Тутъ я забылся. Божій свѣтъ
Въ глазахъ угасъ. Безумный бредъ
Безсилью тѣла уступилъ...

XXIV.

«Такъ я найдёнъ и поднятъ былъ...
Ты остальное знаешь самъ.
Я кончилъ. Вѣрь моимъ словамъ
Или не вѣрь, мнѣ все равно.
Меня печалитъ лишь одно:
Мой трупъ холодный и нѣмой
Не будетъ тлѣть въ землѣ родной,
И повѣсть горькихъ мукъ моихъ
Не призоветъ межъ стѣнъ глухихъ
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

XXV.

«Прощай, отецъ... дай руку мнѣ:
Ты чувствуешь, моя въ огнѣ....
Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней
Таяся, жилъ въ груди моей;
Но нынѣ пищи нѣтъ ему,
И онъ прожогъ свою тюрьму,
И возвратится вновь къ Тому,
Кто всѣмъ законной чередой
Даетъ страданье и покой...
Но что мнѣ въ томъ? Пускай въ раю,
Въ святомъ, заоблачномъ краю,
Мой духъ найдетъ себѣ пріютъ...
Увы! за нѣсколько минутъ

*

Между крутыхъ и темныхъ скалъ,
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,
Я бъ рай и вѣчность промѣнялъ!...

XXVI.

«Когда я стану умирать,
И вѣрь, тебѣ не долго ждать —
Ты перенесть меня вели
Въ нашъ садъ, въ то мѣсто, гдѣ цвѣли
Акацій бѣлыхъ два куста...
Трава межъ ними такъ густа,
И свѣжій воздухъ такъ душистъ,
И такъ прозрачно золотистъ
Играющій на солнцѣ листъ!
Тамъ положить вели меня.
Сіяньемъ голубаго дня
Упьюся я въ послѣдній разъ.
Оттуда видѣнъ и Кавказъ!
Быть можетъ, онъ съ своихъ высотъ
Привѣтъ прощальный мнѣ пришлетъ,
Пришлетъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ...
И близъ меня передъ концомъ
Родной опять раздастся звукъ!
И стану думать я, что другъ
Иль братъ, склонившись надо мной,
Отеръ внимательной рукой
Съ лица кончины хладный потъ,
И что въ-полголоса поетъ
Онъ мнѣ про милую страну...
И съ этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!...»

[1839 года, августа 5].

1840

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ.

Какъ часто пестрою толпою окруженъ,
Когда передо мной, какъ будто бы сквозь сонъ,
При шумѣ музыки и пляски,
При дикомъ шопотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы бездушные людей —
Приличьемъ стянутыя маски;

Когда касаются холодныхъ рукъ моихъ,
Съ небрежной смѣлостью, красавицъ городскихъ
Давно-безтрепетныя руки —
Наружно погружась въ ихъ блескъ и суету,
Ласкаю я въ душѣ старинную мечту,
Погибшихъ лѣтъ святые звуки.

И если какъ нибудь на мигъ удастся мнѣ
Забыться — памятью къ недавней старинѣ
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;

Зеленой сѣтью травъ подернутъ спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится — и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами.

И странная тоска тѣснитъ ужъ грудь мою:
Я думаю объ ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье

Съ глазами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодаго дня
За рощей первое сіянье.

Такъ царства дивнаго всесильный господинъ —
Я долгіе часы просиживалъ одинъ,
И память ихъ жива понынѣ,
Подъ бурей тягостныхъ сомнѣній и страстей,
Какъ свѣжій островокъ безвредно средь морей
Цвѣтетъ на влажной ихъ пустынѣ.

Когда жъ, опомнившись, обманъ я узнаю,
И шумъ толпы людской спугнетъ мечту мою —
На праздникъ нѣзванную гостью,
О какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ.
Облитый горечью и злостью!...

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотритъ мѣсяцъ ясный
Въ колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Пѣсенку спою;
Ты жъ дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валъ;
Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой кинжалъ;

Но отецъ твой — старый воинъ,
Закаленъ въ бою;
Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшки-баю.

Самъ узнаешь — будетъ время —
Бранное житье;
Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя
И возьмешь ружье.
Я сѣдельце боевое
Шолкомъ разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь съ виду
И казакъ душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горькихъ слезъ украдкой
Я въ ту ночь пролью!...
Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутѣшно ждать;
Стану цѣлый день молиться,
По ночамъ гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты въ чужомъ краю...
Спи жъ, пока заботъ не знаешь,
Баюшки-баю.

Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой;

Да, готовясь въ бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.

ЖУРНАЛИСТЪ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ.

Les poëtes ressemblent aux ours, qui se nourrissent en suçant leur patte.
Inédi

Комната писателя; опущенныя шторы. Онъ сидитъ въ большихъ креслахъ передъ каминомъ. Читатель, съ сигарой, стоитъ спиной къ камину. Журналистъ входитъ.

ЖУРНАЛИСТЪ.

Я очень радъ, что вы больны:
Въ заботахъ жизни, въ шумѣ свѣта
Теряетъ скоро умъ поэта
Свои божественные сны.
Среди различныхъ впечатлѣній,
На мелочь душу размѣнявъ,
Онъ гибнетъ жертвой общихъ мнѣній.
Когда ему въ пылу забавъ
Обдумать зрѣлое творенье?...
За то какая благодать,
Коль небо вздумаетъ послать
Ему изгнанье, заточенье,
Иль даже долгую болѣзнь:
Тотчасъ въ его уединеньи
Раздастся сладостная пѣснь!
Порой влюбляется онъ страстно
Въ свою нарядную печаль...
Ну, что вы пишете? Нельзя ль
Узнать?

ПИСАТЕЛЬ.

Да ничего...

ЖУРНАЛИСТЪ.

Напрасно!

ПИСАТЕЛЬ.

О чемъ писать? Востокъ и югъ
Давно описаны, воспѣты;
Толпу ругали всѣ поэты,
Хвалили всѣ семейный кругъ;
Всѣ въ небеса неслись душою,
Взывали съ тайною мольбою
Къ N. N., невѣдомой красѣ, —
И страшно надоѣли всѣ.

ЧИТАТЕЛЬ.

И я скажу — нужна отвага
Чтобы открыть... хоть вашъ журналъ
(Онъ мнѣ ужъ руки обломалъ):
Во-первыхъ, сѣрая бумага;
Она, быть можетъ, и чиста,
Да какъ-то страшно безъ перчатокъ...
Читаешь—сотни опечатокъ!
Стихи—такая пустота;
Слова безъ смысла, чувства нѣту,
Натянутъ каждый оборотъ;
Притомъ—сказать ли по секрету?
И въ риѳмахъ часто недочетъ.
Возьмешь ли прозу?—переводъ.
А если вамъ и попадутся
Разсказы на родимый ладъ,
То вѣрно надъ Москвой смѣются,
Или чиновниковъ бранятъ.
Съ кого они портреты пишутъ?
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случалось имъ,
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ...

Когда же на Руси безплодной,
Разставшись съ ложной мишурой,
Мысль обрѣтетъ языкъ простой
И страсти голосъ благородный?

ЖУРНАЛИСТЪ.

Я точно то же говорю;
Какъ вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

ЧИТАТЕЛЬ.

Читалъ я. Мелкія нападки
На шрифтъ, виньетки, опечатки,
Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто.
Хотя бъ забавно было свѣту!...
Въ чернилахъ вашихъ, господа,
И желчи ѣдкой даже нѣту —
А просто грязная вода.

ЖУРНАЛИСТЪ.

И съ этимъ надо согласиться.
Но вѣрьте мнѣ, душевно радъ
Я былъ бы вовсе не браниться—
Да какъ же быть?... меня бранятъ!
Войдите въ наше положенье!
Читаетъ насъ и низшій кругъ:
Нагая рѣзкость выраженья
Не всякій оскорбляетъ слухъ;
Приличье, вкусъ—все такъ условно;
А деньги всѣ вѣдь платятъ ровно!
Повѣрьте мнѣ: судьбою несть
Даны намъ тяжкія вериги.
Скажите, каково прочесть

Весь этотъ вздоръ, всѣ эти книги—
И все за чѣмъ? Чтобъ вамъ сказать,
Что ихъ ненадобно читать!...

ЧИТАТЕЛЬ.

За то какое наслажденье,
Какъ отдыхаетъ умъ и грудь,
Коль попадется какъ нибудь
Живое, свѣтлое творенье!
Вотъ, напримѣръ, пріятель мой:
Владѣетъ онъ изрядным слогомъ;
И чувствъ и мыслей полнотой
Онъ одаренъ всевышнимъ Богомъ.

ЖУРНАЛИСТЪ.

Все это такъ, да вотъ бѣда.
Не пишутъ эти господа.

ПИСАТЕЛЬ.

О чемъ писать?... Бываетъ время,
Когда заботъ спадаетъ бремя,
Дни вдохновеннаго труда,
Когда и умъ и сердце полны,
И риѳмы дружныя, какъ волны,
Журча, одна во слѣдъ другой
Несутся вольной чередой.
Восходитъ чудное свѣтило
Въ душѣ проснувшейся едва:
На мысли, дышащія силой,
Какъ жемчугъ нижутся слова...
Тогда съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ,
И міръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.
Но эти странныя творенья
Читаетъ дома онъ одинъ,

И ими послѣ, безъ зазрѣнья,
Онъ затопляетъ свой каминъ.
Уже ль ребяческія чувства,
Воздушный, безотчетный бредъ
Достойны строгаго исскуства?
Ихъ осмѣетъ, забудетъ свѣтъ...

Бываютъ тягостныя ночи:
Безъ сна, горятъ и плачутъ очи,
На сердцѣ — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлетъ;
Невольный страхъ власы подъемлетъ;
Болѣзненный, безумный крикъ
Изъ груди рвется—и языкъ
Лепечетъ громко, безъ сознанья,
Давно забытыя названья;
Давно забытыя черты
Въ сіяньи прежней красоты
Рисуетъ память своевольно:
Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—
И вѣришь снова имъ невольно,
И какъ-то весело и больно
Тревожить язвы старыхъ ранъ...
Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,
Перомъ сердитый водитъ умъ:
То соблазнительная повѣсть
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ;
Картины хладныя разврата,
Преданья глупыхъ юныхъ дней,
Давно безъ пользы и возврата
Погибшихъ въ омутѣ страстей,
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,
Среди обманщицъ и невѣждъ,
Среди сомнѣній ложно-черныхъ

И ложно-радужныхъ надеждъ.
Судья безвѣстный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьемъ скрашенный порокъ
Я смѣло предаю позору;
Неумолимъ я и жестокъ...
Но право, этихъ горькихъ строкъ
Неприготовленному взору
Я не рѣшуся показать...
Скажите жъ мнѣ, о чемъ писать?
Къ чему толпы неблагодарной
Мнѣ злость и ненависть навлечь,
Чтобъ бранью назвали коварной
Мою пророческую рѣчь?
Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка сонъ покойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ?
О нѣтъ! преступною мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

21 марта 1840.
Подъ арестомъ на арсенальной гауптвахтѣ.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ.

(изъ ЗЕЙДЛИЦА).

По синимъ волнамъ океана,
Лишь звѣзды блеснутъ въ небесахъ,
Карабль одинокій несется,
Несется на всѣхъ парусахъ.

Не гнутся высокія мачты,
На нихъ флюгера не шумятъ,

И молча, въ открытые люки
Чугунныя пушки глядятъ.

Не слышно на немъ капитана,
Не видно матросовъ на немъ;
Но скалы и тайныя мели,
И бури ему ни почемъ.

Есть островъ на томъ океанѣ—
Пустынный и мрачный гранитъ;
На островѣ томъ есть могила,
А въ ней императоръ зарытъ.

Зарытъ онъ безъ почестей бранныхъ
Врагами въ сыпучій песокъ;
Лежитъ на немъ камень тяжелый,
Чтобъ встать онъ изъ гроба не могъ.

И въ часъ его грустной кончины,
Въ полночь, какъ свершается годъ,
Къ высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаетъ.

Изъ гроба тогда императоръ,
Очнувшись, является вдругъ;
На немъ треугольная шляпа
И сѣрый походный сюртукъ.

Скрестивши могучія руки,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и къ рулю онъ садится
И быстро пускается въ путь.

Несется онъ къ Франціи милой,
Гдѣ славу оставилъ и тронъ,
Оставилъ наслѣдника-сына,
И старую гвардію онъ.

И только-что землю родную
Завидитъ во мракѣ ночномъ,
Опять его сердце трепещетъ
И очи пылаютъ огнемъ.

На берегъ большими шагами
Онъ смѣло и прямо идетъ,
Соратниковъ громко онъ кличетъ
И маршаловъ грозно зоветъ.

Но спятъ усачи-гренадеры—
Въ равнинѣ, гдѣ Эльба шумитъ,
Подъ снѣгомъ холодной Россіи,
Подъ знойнымъ пескомъ пирамидъ.

И маршалы зова не слышатъ:
Иные погибли въ бою,
Другіе ему измѣнили
И продали шпагу свою.

И топнувъ о землю ногою,
Сердито онъ взадъ и впередъ
По тихому берегу ходитъ,
И снова онъ громко зоветъ;

Зоветъ онъ любезнаго сына—
Опору въ превратной судьбѣ;
Ему обѣщаетъ полміра,
А Францію только — себѣ.

Но въ цвѣтѣ надежды и силы
Угасъ его царственный сынъ,
И долго, его поджидая,
Стоитъ императоръ одинъ.

Стоитъ онъ и тяжко вздыхаетъ,
Пока озарится востокъ,
И капаютъ горькія слезы
Изъ глазъ на холодный песокъ.

Потомъ на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и, махнувши рукою,
Въ обратный пускается путь.

И СКУЧНО И ГРУСТНО.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!... что пользы напрасно и вѣчно желать?...
А годы проходятъ — все лучшіе годы!

Любить... но кого же?... на время—не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и муки, и все такъ ничтожно...

Что страсти?—вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка;
И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка...

РЕБЕНКУ.

О грёзахъ юности томимъ воспоминаньемъ,
Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если бъ знало ты, какъ я тебя люблю!

Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя,
И быстрые глаза, и кудри золотыя,
И звонкій голосокъ!—Не правда ль, говорятъ,
Ты на нее похожъ?—Увы! года летятъ;
Страданія ее до срока измѣнили,
Но вѣрныя мечты тотъ образъ сохранили
Въ груди моей; тотъ взоръ, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебѣ непрошеныя ласки?
Не слишкомъ часто ль я твои цѣлую глазки?
Слеза моя ланитъ твоихъ не обожгла ль?
Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть можетъ,
Ребяческій разсказъ разсердитъ иль встревожитъ...

Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,
Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь,
Молитву дѣтскую она тебѣ шептала
И въ знаменье креста персты твои сжимала,
И всѣ знакомыя, родныя имена
Ты повторялъ за ней—скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Блѣднѣя, можетъ быть, она произносила
Названіе, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя?—звукъ пустой!
Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.
Но если, какъ нибудь, когда нибудь, случайно
Узнаешь ты его—ребяческіе дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

ОТЧЕГО.

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цвѣтущую твою
Не пощадитъ молвы коварное гоненье.
За каждый свѣтлый день, иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

БЛАГОДАРНОСТЬ.

За все, за все Тебя благодарю я;
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За месть враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растраченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ.

ИЗЪ ГЁТЕ.

Горныя вершины
Спятъ во тьмѣ ночной;
Тихія долины
Полны свѣжей мглой;
Не пылитъ дорога,
Не дрожатъ листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

ТУЧИ.

Тучки небесныя, вѣчные странники!
Степью лазурною, цѣпью жемчужною
Мчитесь вы, будто, какъ я же, изгнанники
Съ милаго сѣвера въ сторону южную.

Кто же васъ гонитъ: судьбы ли рѣшеніе?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на васъ тяготитъ преступленіе?
Или друзей клевета ядовитая?

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя...
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно-холодныя, вѣчно-свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

Апрѣлъ 1840.

СОСНА.

(ИЗЪ ГЕЙНЕ).

На сѣверѣ дальномъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
Одѣта, какъ ризой, она.

И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горючемъ
Прекрасная пальма растетъ.

---

* * *

(КН. МАРЬѢ АЛЕКСѢЕВНѢ ЩЕРБАТОВОЙ).

На свѣтскія цѣпи,
На блескъ упоительный бала
Цвѣтущія степи
Украйны она промѣняла.

Но юга роднаго
На ней сохранилась примѣта
Среди ледянаго,
Среди безпощаднаго свѣта.

Какъ ночи Украйны
Въ мерцаніи звѣздъ незакатныхъ—
Исполнены тайны
Слова ея устъ ароматныхъ.

Прозрачны и сини,
Какъ небо тѣхъ странъ, ея глазки;
Какъ вѣтеръ пустыни,
И нѣжатъ и жгутъ ея ласки.

И зрѣющей сливы
Румянецъ на щечкахъ пушистыхъ,
И солнца отливы
Играютъ въ кудряхъ золотистыхъ.

И слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,
Въ надежду на Бога
Хранитъ она дѣтскую вѣру.

Какъ племя родное
У чуждыхъ опоры не проситъ,
И въ гордомъ покоѣ
Насмѣшку и зло переноситъ.

Отъ дерзкаго взора
Въ ней страсти не вспыхнутъ пожаромъ,
Полюбитъ не скоро,
За то не разлюбитъ ужъ даромъ.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА.

Пускай холодною землею
Засыпанъ я,
О, другъ! всегда, вездѣ съ тобою
Душа моя.
Любви безумнаго томленья,
Жилецъ могилъ,
Въ странѣ покоя и забвенья,
Я не забылъ.

Безъ страха, въ часъ послѣдней муки,
Покинувъ свѣтъ,
Отрады ждалъ я отъ разлуки—
Разлуки нѣтъ!
Я видѣлъ прелесть безтѣлесныхъ,
И тосковалъ,
Что образъ твой въ чертахъ небесныхъ
Не узналъ.

Что мнѣ сіянье Божьей власти
И рай святой!
Я перенесъ земныя страсти
Туда съ собой:

Ласкаю я мечту родную
Вездѣ одну;
Желаю, плачу и ревную,
Какъ встарину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоихъ ланитъ,
Душа моя въ нѣмомъ страданьѣ
Вся задрожитъ.
Случится ль—шепчешь, засыпая,
Ты о другомъ;
Твои слова текутъ, пылая,
По мнѣ огнемъ.

Ты не должна любить другова,
Нѣтъ, не должна!
Ты мертвецу святыней слова
Обручена.
Увы! твой страхъ, твои моленья,
Къ чему онѣ?
Покоя мира и забвенья
Не надо мнѣ!

ПОСВЯЩЕНІЕ КЪ ПОЭМѢ ДЕМОНЪ.

Тебѣ, Кавказъ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стихъ небрежный:
Какъ сына ты его благослови
И осѣни вершиной бѣлоснѣжной.
Отъ юныхъ лѣтъ къ тебѣ мечты мои
Прикованы судьбою неизбѣжной;
На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой,
Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой.

Еще ребенкомъ, робкими шагами
Взбирался я на гордыя скалы,
Увитыя туманными чалмами,
Какъ головы поклонниковъ Аллы.
Тамъ вѣтеръ машетъ вольными крылами,
Тамъ ночевать слетаются орлы;
Я въ гости къ нимъ леталъ мечтой послушной
И сердцемъ былъ товарищъ ихъ воздушный.

Съ тѣхъ поръ прошло тяжелыхъ много лѣтъ,
И вновь меня межъ скалъ своихъ ты встрѣтилъ;
Какъ нѣкогда ребенку, твой привѣтъ
Изгнаннику былъ радостенъ и свѣтелъ;
Онъ пролилъ въ грудь мою забвенье бѣдъ
И дружески на дружній зовъ отвѣтилъ.
И нынѣ здѣсь, въ полуночномъ краю,
Все о тебѣ мечтаю и пою.

АЛЕКСАНДРѢ ОСИПОВНѢ СМИРНОВОЙ.

Безъ васъ хочу сказать вамъ много,
При васъ я слушать васъ хочу;
Но, молча, вы глядите строго—
И я въ смущеніи молчу.
Что жъ дѣлать?... Рѣчью неискусной
Занять вашъ умъ мнѣ не дано...
Все это было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно...

КЪ ПОРТРЕТУ

ГРАФИНИ А. К. ВОРОНЦОВОЙ-ДАШКОВОЙ.

Какъ мальчикъ кудрявый, рѣзва;
Нарядна, какъ бабочка лѣтомъ;
Значенья пустаго слова
Въ устахъ ея полны привѣтомъ.

Ей нравиться долго нельзя,
Какъ цѣпь, ей несносна привычка;
Она ускользнетъ, какъ змѣя,
Порхнетъ и умчится, какъ птичка.

Таитъ молодое чело
По волѣ—и радость и горе.
Въ глазахъ, какъ на небѣ, свѣтло;
Въ душѣ ея темно, какъ въ морѣ.

То истиной дышетъ въ ней все,
То все въ ней притворно и ложно;
Понять невозможно ее,
За то не любить невозможно.

МАРЬѢ ПАВЛОВНѢ СОЛОМИРСКОЙ.

Надъ бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читаетъ на воротахъ рая
Узоры надписи святой;

И часто тайную отраду
Находитъ мукѣ неземной,

За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.

Такъ, разбирая въ заточеньи
Досель мнѣ чуждыя черты,
Я былъ свободенъ на мгновенье
Могучей волею мечты.

Залогомъ вольности желанной,
Лучемъ надежды въ морѣ бѣдъ
Мнѣ сталъ тогда вашъ безъимянный,
Но вѣчно-памятный привѣтъ.

ВЪ АЛЬБОМЪ АВТОРУ «КУРДЮКОВОЙ».

(ив. петр. мятлеву).

На нашихъ дамъ морозныхъ
Съ досадой я смотрю,
Угрюмыхъ и серьезныхъ
Фигуръ ихъ не терплю.
Вотъ дама Курдюкова!
Ея разсказъ такъ милъ,
Я отъ слова до слова
Его бы затвердилъ.
Мой умъ скакалъ за нею,
И часто былъ готовъ
Я броситься на шею
Къ madame de-Курдюковъ.

КЪ ГР. Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ.

Графиня Эмилія
Бѣлѣе, чѣмъ лилія;
Стройнѣй ея таліи
На свѣтѣ не встрѣтится,
И небо Италіи
Въ глазахъ ея свѣтится;
Но сердце Эмиліи
Подобно Бастиліи.

ИЗЪ АЛЬБОМА

СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАРАМЗИНОЙ.

Любилъ и я въ былые годы,
Въ невинности души моей,
И бури шумныя природы,
И бури тайныя страстей.

Но красоты ихъ безобразной
Я скоро таинство постигъ,
И мнѣ наскучилъ ихъ несвязной
И оглушающій языкъ.

Люблю я больше, годъ отъ году,
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,
Поутру ясную погоду,
Подъ вечеръ—тихій разговоръ...

. . . . . .

ГРАФИНѢ РОСТОПЧИНОЙ.

Я вѣрю: подъ одной звѣздою
Мы съ вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Насъ обманули тѣ же сны.
Но что жъ?—Отъ цѣли благородной
Оторванъ бурею страстей,
Я позабылъ въ борьбѣ безплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вѣчную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать,
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную ввѣрять...

Такъ двѣ волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
Въ пустынѣ моря голубой:
Ихъ гонитъ вмѣстѣ вѣтеръ южной;
Но ихъ разгонитъ гдѣ нибудь
Утеса каменная грудь...
И полны холодомъ привычнымъ,
Онѣ несутъ брегамъ различнымъ
Безъ сожалѣнья и любви
Свой ропотъ сладостный и томный,
Свой бурный шумъ, свой блескъ заемный
И ласки вѣчныя свои.

---

* *
*

Слышу ли голосъ твой
Звонкій и ласковый—
Какъ птичка въ клѣткѣ
Сердце запрыгаетъ.

Встрѣчу ль глаза твои
Лазурью глубокіе—
Душа на встрѣчу имъ
Изъ груди просится.

И какъ-то весело!
И плакать хочется...
И такъ на шею бы
Тебѣ я кинулся...

1841

—

* * *

Есть рѣчи—значенье
Темно иль ничтожно,
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Безумствомъ желанья!
Въ нихъ слезы разлуки,
Въ нихъ трепетъ свиданья.

Не встрѣтитъ отвѣта
Средь шума мірскова
Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово;

Но въ храмѣ, средь боя,
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ, его я
Узнаю повсюду;

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу,
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.

ЗАВѢЩАНІЕ.

Наединѣ съ тобою, братъ,
Хотѣлъ бы я побыть:
На свѣтѣ мало, говорятъ,
Мнѣ остается жить!
Поѣдешь скоро ты домой:
Смотри къ... Да что! моей судьбой,
Сказать по правдѣ, очень
Никто не озабоченъ.

А если спроситъ кто нибудь...
Ну кто бы ни спросилъ—
Скажи имъ, что на вылетъ въ грудь
Я пулей раненъ былъ;
Что умеръ честно за царя,
Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклонъ я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты въ живыхъ...
Признаться, право, было бъ жаль
Мнѣ опечалить ихъ;
Но если кто изъ нихъ и живъ,
Скажи, что я писать лѣнивъ,
Что полкъ въ походъ послали,
И чтобъ меня не ждали.

Сосѣдка есть у нихъ одна...
Какъ вспомнишь, какъ давно
Разстались... Обо мнѣ она
Не спроситъ... Все равно,

Ты разскажи всю правду ей,
Пустаго сердца не жалѣй—
Пускай она поплачетъ...
Ей ничего не значитъ!

ОПРАВДАНІЕ.

Когда одни воспоминанья
О заблужденіяхъ страстей,
На мѣсто славнаго названья,
Твой другъ оставитъ межъ людей—

И будетъ спать въ землѣ безгласно
То сердце, гдѣ кипѣла кровь,
Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно
Съ враждой боролася любовь;

Когда предъ общимъ приговоромъ
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будетъ для тебя позоромъ
Любовь безгрѣшная твоя—

Того, кто страстью и порокомъ
Затмилъ твои младые дни,
Молю, язвительнымъ упрекомъ
Ты въ оный часъ не помяни.

Но предъ судомъ толпы лукавой
Скажи, что судитъ насъ Иной,
И что прощать святое право
Страданьемъ куплено тобой.

РОДИНА.

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой!...
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

Но я люблю—за что, не знаю самъ—
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телегѣ
И взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

ПОСЛѢДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ.

Межъ тѣмъ, какъ Франція, среди рукоплесканій
И кликовъ радостныхъ, встрѣчаетъ хладный прахъ
Погибшаго давно среди нѣмыхъ страданій
Въ изгнаньи мрачномъ и въ цѣпяхъ;
Межъ тѣмъ, какъ міръ услужливой хвалою
Вѣнчаетъ поздняго раскаянья порывъ,
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забывъ—
Негодованію и чувству давъ свободу,
Понявъ тщеславіе сихъ праздничныхъ заботъ,
Мнѣ хочется сказать великому народу:
Ты жалкій и пустой народъ!
Ты жалокъ, потому что вѣра, слава, геній,
Все, все великое, священное земли,
Съ насмѣшкой глупою ребяческихъ сомнѣній
Тобой растоптано въ пыли.
Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лицемѣрья,
Изъ вольности—орудье палача,
И всѣ завѣтныя отцовскія повѣрья
Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча—
Ты погибалъ... и онъ явился съ строгимъ взоромъ,
Отмѣченный божественнымъ перстомъ,
И признанъ за вождя всеобщимъ приговоромъ,
И ваша жизнь слилася въ немъ—
И вы окрѣпли вновь въ тѣни его державы,
И міръ трепещущій въ безмолвіи взиралъ
На ризу чудную могущества и славы,
Которой васъ онъ одѣвалъ.
Одинъ—онъ былъ вездѣ, холодный, неизмѣнный,
Отецъ сѣдыхъ дружинъ, любимый сынъ молвы,
Въ степяхъ египетскихъ, у стѣнъ покорной Вѣны,
Въ снѣгахъ пылающей Москвы.

А вы что дѣлали, скажите, въ это время,
Когда въ поляхъ чужихъ онъ гордо погибалъ?
Вы потрясали власть, избранную какъ бремя,
Точили въ темнотѣ кинжалъ!
Среди послѣднихъ битвъ, отчаянныхъ усилій,
Въ испугѣ не понявъ позора своего,
Какъ женщина, ему вы измѣнили,
И какъ рабы, вы предали его!
Лишенный правъ и мѣста гражданина,
Разбитый свой вѣнецъ онъ снялъ и бросилъ самъ,
И вамъ оставилъ онъ въ залогъ роднаго сына—
Вы сына выдали врагамъ!
Тогда, отяготивъ позорными цѣпями,
Героя увезли отъ плачущихъ дружинъ—
И на чужой скалѣ, за синими морями,
Забытый, онъ угасъ одинъ—
Одинъ, замученъ мщеніемъ безплоднымъ,
Безмолвною и гордою тоской,
И какъ простой солдатъ, въ плащѣ своемъ походномъ
Зарытъ наемною рукой...

*

Но годы протекли, и вѣтреное племя
Кричитъ: «подайте намъ священный этотъ прахъ!
Онъ нашъ; его теперь, великой жатвы сѣмя,
Зароемъ мы въ спасенныхъ имъ стѣнахъ!»
И возвратился онъ на родину. Безумно,
Какъ прежде, вкругъ него тѣснятся и бѣгутъ
И въ пышный гробъ, среди столицы шумной,
Остатки тлѣнные кладутъ.
Желанье позднее увѣнчано успѣхомъ!
И краткій свой восторгъ смѣнивъ уже другимъ,
Гуляя, топчетъ ихъ съ самодовольнымъ смѣхомъ
Толпа, дрожавшая предъ нимъ!

*

И грустно мнѣ, когда подумаю, что нынѣ
Нарушена святая тишина
Вокругъ того, кто ждалъ въ своей пустынѣ
Такъ жадно, столько лѣтъ—спокойствія и сна!
И если духъ вождя примчится на свиданье
Съ гробницей новою, гдѣ прахъ его лежитъ,
Какое въ немъ негодованье
При этомъ видѣ закипитъ!
Какъ будетъ онъ жалѣть, печалію томимый,
О знойномъ островѣ подъ небомъ дальнихъ странъ,
Гдѣ сторожилъ его, какъ онъ непобѣдимый,
Какъ онъ великій, океанъ!

КИНЖАЛЪ.

Люблю тебя, булатный мой кинжалъ,
Товарищъ свѣтлый и холодный.
Задумчивый грузинъ на месть тебя ковалъ,
На грозный бой точилъ черкесъ свободный.

Лилейная рука тебя мнѣ поднесла
Въ знакъ памяти, въ минуту разставанья,
И въ первый разъ не кровь вдоль по тебѣ текла,
Но свѣтлая слеза—жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мнѣ,
Исполнены таинственной печали,
Какъ сталь твоя при трепетномъ огнѣ,
То вдругъ тускнѣли, то сверкали.

Ты данъ мнѣ въ спутники, любви залогъ нѣмой,
И страннику въ тебѣ примѣръ не безполезный:
Да, я не измѣнюсь и буду твердъ душой
Какъ ты, какъ ты, мой другъ желѣзный.

ПЛѢННЫЙ РЫЦАРЬ.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы.
Синее небо отсюда мнѣ видно:
Въ небѣ играютъ всѣ вольныя птицы;
Глядя на нихъ, мнѣ и больно и стыдно.

Нѣтъ на устахъ моихъ грѣшной молитвы,
Нѣту ни пѣсни во славу любезной;
Помню я только старинныя битвы,
Мечъ мой тяжелый, да панцырь желѣзный.

Въ каменный панцырь я нынѣ закованъ,
Каменный шлемъ мою голову давитъ,
Щитъ мой отъ стрѣлъ и меча заколдованъ,
Конь мой бѣжитъ, и никто имъ не правитъ.

Быстрое время—мой конь неизмѣнный,
Шлема забрало—рѣшотка бойницы,
Каменный панцырь—высокія стѣны,
Щитъ мой—чугунныя двери темницы.

Мчись же быстрѣе, летучее время!
Душно подъ новой бронею мнѣ стало!
Смерть, какъ пріѣдемъ, подержитъ мнѣ стремя;
Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

СОСѢДКА.

Не дождаться мнѣ видно свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко̀ надъ землей,
А у двери стоитъ часовой.

Умереть бы ужъ мнѣ въ этой клѣткѣ,
Кабы не было милой сосѣдки...
Мы проснулись сегодня съ зарей;
Я кивнулъ ей слегка головой.

Разлучивъ насъ, сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно,
Да съ двойною рѣшоткой окно.

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дамъ ненасытному взгляду—
Вотъ напротивъ окошечко стукъ!
Занавѣска подымется вдругъ.

На меня посмотрѣла плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А съ плеча, будто сдулъ вѣтерокъ,
Полосатый скатился платокъ.

Но блѣдна ея грудь молодая;
И сидитъ она долго, вздыхая:
Видно, буйную думу тая,
Все тоскуетъ по волѣ, какъ я.

Не грусти, дорогая сосѣдка!
Захоти лишь—отворится клѣтка,
И какъ Божіи птички, вдвоемъ
Мы въ широкое поле порхнемъ.

У отца ты ключи мнѣ украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь;
А ужъ съ тѣмъ, что поставленъ къ дверямъ,
Постараюсь я справиться самъ.

Избери только ночь потемнѣе,
Да отцу дай вина похмѣльнѣе,
Да повѣсь, чтобы вѣдать я могъ,
На окно полосатый платокъ.

ДОГОВОРЪ.

Пускай толпа клеймитъ презрѣньемъ
Нашъ неразгаданный союзъ,
Пускай людскимъ предубѣжденьемъ
Ты лишена семейныхъ узъ—

Но передъ идолами свѣта
Не гну колѣни я мои;
Какъ ты, не знаю въ немъ предмета
Ни сильной злобы, ни любви;

Какъ ты, кружусь въ весельи шумномъ,
Не отличая никого:
Дѣлюся съ умнымъ и безумнымъ,
Живу для сердца своего.

Земнаго счастья мы не цѣнимъ;
Людей привыкли мы цѣнить;
Себѣ мы оба не измѣнимъ,
А намъ не могутъ измѣнить.

Въ толпѣ другъ друга мы узнали;
Сошлись и разойдемся вновь.
Была безъ радостей любовь,
Разлука будетъ безъ печали.

---

* *
*

Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою
Прощались позднею порою?
Вечерній выстрѣлъ загремѣлъ,
И мы съ волненіемъ внимали...
Тогда лучи ужъ догорали
И на̀ морѣ туманъ густѣлъ;
Ударъ съ усиліемъ промчался
И вдругъ за бездною скончался.

Окончивъ трудъ дневныхъ работъ,
Я часто о тебѣ мечтаю;
Бродя вблизи пустынныхъ водъ,
Вечернимъ выстрѣламъ внимаю.
И между тѣмъ какъ чередой
Глушитъ волнами ихъ сѣдыми,
Я плачу, я томимъ тоской,
Я умереть желаю съ ними...

---

* *
*

Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски
Звучалъ мнѣ голосъ твой, отрадный какъ мечта,
Свѣтили мнѣ твои плѣнительные глазки
И улыбалися лукавыя уста.

Сквозь дымку легкую замѣтилъ я невольно
И дѣвственныхъ ланитъ и шеи бѣлизну.
Счастливецъ! видѣлъ я и локонъ своевольный,
Родныхъ кудрей покинувшій волну...

И создалъ я тогда въ моемъ воображеньи
По легкимъ признакамъ красавицу мою,

И съ той поры безплотное видѣнье
Ношу въ душѣ моей, ласкаю и люблю.

И все мнѣ кажется: живыя эти рѣчи
Въ года минувшіе слыхалъ когда-то я;
И кто-то шепчетъ мнѣ, что послѣ этой встрѣчи
Мы вновь увидимся, какъ старые друзья.

---

* * *

Не плачь, не плачь, мое дитя!
Не стóитъ онъ безумной муки.
Вѣрь, онъ ласкалъ тебя шутя,
Вѣрь, онъ любилъ тебя отъ скуки!
И мало ль въ Грузіи у насъ
Прекрасныхъ юношей найдется?
Быстрѣй огонь ихъ черныхъ глазъ,
И черный усъ ихъ лучше вьется!

Изъ дальней, чуждой стороны
Онъ къ намъ заброшенъ былъ судьбою;
Онъ ищетъ славы и войны—
И что́ жъ онъ могъ найти съ тобою?
Тебя онъ золотомъ дарилъ,
Клялся, что вѣчно не измѣнитъ;
Онъ ласки дорого цѣнилъ,
Но слезъ твоихъ онъ не оцѣнитъ!

---

* * *

Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима.
Царствовалъ грозный Тиверій и гналъ христіанъ безпощадно;
Но ежедневно, на мѣстѣ отрубленныхъ вѣтвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленѣли побѣги.

Въ тайной пещерѣ, надъ Тибромъ ревущимъ, скрывался въ то время
Праведный старецъ, въ постѣ и молитвѣ свой вѣкъ доживая;
Богъ его въ людяхъ своей благодатью прославилъ.
Чудный онъ даръ получилъ: изцѣлять отъ недуговъ тѣлесныхъ
И отъ страданій душевныхъ. Рано утромъ однажды,
Горько рыдая, приходитъ къ нему старуха простаго
Званія; съ нею и мужъ ея, грусти безмолвной исполненъ.
Проситъ она воскресить ея дочь, внезапно во цвѣтѣ
Дѣвственной жизни умершую... «Вотъ ужъ два дня и двѣ ночи»—
Такъ она говорила—«мы нашихъ боговъ неотступно
Молимъ во храмахъ и жжемъ ароматы на мраморѣ хладномъ,
Золото сыплемъ жрецамъ ихъ и плачемъ... но все безполезно!
Если бъ зналъ ты Виргинію нашу, то жалость стѣснила бъ
Сердце твое, равнодушное къ прелестямъ міра: какъ часто
Дряхлые старцы, любуясь на бѣлыя плечи, волнистыя кудри,
На темныя очи ея—молодѣли; юноши страстнымъ
Взоромъ ее провожали, когда, напѣвая простую
Пѣсню, амфору держа надъ главой, осторожно тропинкой
Къ Тибру спускалась она за водою, иль въ пляскѣ,
Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ побѣждала искусствомъ,
Звонкимъ ребяческимъ смѣхомъ родительскій слухъ утѣшая.
Только въ послѣднее время примѣтно она измѣнилась:
Игры наскучили ей и взоръ отуманился думой,
Изъ дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечеромъ темнымъ, и ночи безъ сна проводила. При свѣтѣ
Поздней лампады я видѣла разъ, какъ она, на колѣняхъ,
Тихо, усердно и долго молилась... кому?... неизвѣстно...
Созвали мы стариковъ и родныхъ для совѣта; рѣшили...
. . . . . .

КАЗБЕКУ.

Спѣша на сѣверъ издалека,
Изъ теплыхъ и чужихъ сторонъ,
Тебѣ, Казбекъ, о стражъ Востока,
Привезъ я—странникъ—свой поклонъ.

Чалмою бѣлою отъ вѣка
Твой лобъ наморщенный увитъ,
И гордый ропотъ человѣка
Твой гордый миръ не возмутитъ.

Но сердца тихаго моленье
Да отнесутъ твои скалы
Въ надзвѣздный край, въ твое владѣнье—
Къ престолу вѣчному Аллы.

Молю, да снидетъ день прохладный
На знойный долъ и пыльный путь,
Чтобъ мнѣ въ пустынѣ безотрадной
На камнѣ въ полдень отдохнуть;

Молю, чтобъ буря не застала,
Гремя въ нарядѣ боевомъ,
Въ ущельи мрачнаго Дарьяла
Меня съ измученнымъ конемъ.

Но есть еще одно желанье...
Боюсь сказать... душа дрожитъ...
Что̀... если я со дня изгнанья
Совсѣмъ на родинѣ забытъ!

Найду ль тамъ прежнія объятья?
Старинный встрѣчу ли привѣтъ?
Узнаютъ ли друзья и братья
Страдальца послѣ многихъ лѣтъ?

Или, среди могилъ холодныхъ,
Я наступлю на прахъ родной
Тѣхъ добрыхъ, пылкихъ, благородныхъ,
Дѣлившихъ молодость со мной?

О! если такъ!... своей метелью,
Казбекъ, засыпь меня скорѣй,
И прахъ бездомный по ущелью
Безъ сожалѣнія развѣй!

[Мая].

* * *

Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ
Мою таинственную повѣсть,
Какъ я любилъ, за что страдалъ:
Тому судья лишь Богъ да совѣсть.

Имъ сердце въ чувствахъ дастъ отчетъ,
У нихъ попроситъ сожалѣнья —
И пусть меня накажетъ Тотъ,
Кто изобрѣлъ мои мученья,

Укоръ невѣждъ, укоръ людей
Души высокой не печалитъ;
Пускай шумитъ волна морей—
Утесъ гранитный не повалитъ:

Его чело межъ облаковъ;
Онъ двухъ стихій жилецъ угрюмый,
И кромѣ бури да громовъ
Онъ никому не ввѣритъ думы.

* * *

Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою.
Я зналъ—ударъ судьбы меня не обойдетъ;
Я зналъ, что голова, любимая тобою,
Съ твоей груди на плаху перейдетъ.
Я говорилъ тебѣ: ни счастія, ни славы
Мнѣ въ мірѣ не найти. Настанетъ часъ кровавый,
И я паду—и хитрая вражда
Съ улыбкой очернитъ мой недоцвѣтшій геній,
И я погибну безъ слѣда
Моихъ надеждъ, моихъ мученій...
Но я безъ страха жду довременный конецъ;
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.
Пускай толпа растопчетъ мой вѣнецъ,
Вѣнецъ пѣвца, вѣнецъ терновый—
Пускай! я имъ не дорожилъ!...
. . . . . .

ВИДЪ ГОРЪ ИЗЪ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА.

(ИЗЪ «КРЫМСКИХЪ СОНЕТОВЪ» МИЦКЕВИЧА).

ПИЛИГРИМЪ.

Аллахъ ли тамъ, среди пустыни
Застывшихъ волнъ, воздвигъ твердыни,
Притоны ангеламъ своимъ;
Иль Дивы, словомъ роковымъ,
Стѣной умѣли такъ высоко
Громады скалъ нагромоздить,
Чтобъ путь на сѣверъ заградить
Звѣздамъ, кочующимъ съ востока?
Вотъ свѣтъ все небо озарилъ:
То не пожаръ ли Цареграда?
Иль Богъ ко сводамъ пригвоздилъ

Тебя, полночная лампада,
Маякъ спасительный, отрада
Плывущихъ по морю свѣтилъ?

МИРЗА.

Тамъ былъ я: тамъ со дня созданья
Бушуетъ вѣчная метель;
Потоковъ видѣлъ колыбель,
Дохнулъ—и мерзнулъ паръ дыханья.
Я проложилъ свой смѣлый слѣдъ,
Гдѣ для орловъ дороги нѣтъ,
И дремлетъ громъ надъ глубиною,
И тамъ, гдѣ надъ моей чалмою
Одна сверкала лишь звѣзда—
То Чатырдагъ былъ...

ПИЛИГРИМЪ.

А!...

БѢГЛЕЦЪ.

ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА.

Гарунъ бѣжалъ быстрѣе лани,
Быстрѣй чѣмъ заяцъ отъ орла:
Бѣжалъ онъ въ страхѣ съ поля брани,
Гдѣ кровь черкесская текла.
Отецъ и два родные брата
За честь и вольность тамъ легли—
И подъ пятой у супостата
Лежатъ ихъ головы въ пыли.
Ихъ кровь течетъ и проснтъ мщенья.
Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ,
Онъ растерялъ въ пылу сраженья
Винтовку, шашку—и бѣжитъ.

И скрылся день; клубясь, туманы
Одѣли темныя поляны
Широкой бѣлой пеленой.
Пахнуло холодомъ съ востока
И надъ пустынею Пророка
Всталъ тихо мѣсяцъ золотой.
Усталый, жаждою томимый,
Съ лица стирая кровь и потъ,
Гарунъ межъ скалъ аулъ родимый
При лунномъ свѣтѣ узнаетъ.
Подкрался онъ, никѣмъ незримый;
Кругомъ молчанье и покой.
Съ кровавой битвы невредимый
Лишь онъ одинъ пришелъ домой,
И къ саклѣ онъ спѣшитъ знакомой;
Тамъ блещетъ свѣтъ: хозяинъ—дома.
Скрѣпясь душой, какъ только могъ,
Гарунъ ступилъ черезъ порогъ.
Селима звалъ онъ прежде другомъ;
Старикъ пришельца не узналъ.
На ложѣ мучимый недугомъ,
Одинъ, онъ молча умиралъ.
«Великъ Аллахъ: отъ злой отравы
Онъ свѣтлымъ ангеламъ своимъ
Велѣлъ беречь тебя для славы...
Что новаго?...» спросилъ Селимъ,
Поднявъ слабѣющія вѣжды.
И взоръ блеснулъ огнемъ надежды,
И онъ привсталъ, и кровь бойца
Вновь разыгралась въ часъ конца.
—Два дня мы бились въ тѣснинѣ:
Отецъ мой палъ и братья съ нимъ,
И скрылся я одинъ въ пустынѣ.
Какъ звѣрь преслѣдуемъ, гонимъ,
Съ окровавленными ногами

Отъ острыхъ камней и кустовъ,
Я шелъ безвѣстными тропами
По слѣду вепрей и волковъ.
Черкесы гибнутъ. Врагъ повсюду.
Прими меня, мой старый другъ,
И вотъ пророкъ!—твоихъ заслугъ,
Я до могилы не забуду. —
А умирающій въ отвѣтъ:
«Ступай! достоинъ ты презрѣнья!
Ни крова, ни благословенья
Здѣсь у меня для труса нѣтъ!»
Стыда и тайной муки полный,
Безъ гнѣва вытерпѣвъ упрекъ,
Ступилъ опять Гарунъ безмолвный
За непривѣтливый порогъ.
И саклю новую минуя,
На мигъ остановился онъ,
И прежнихъ дней летучій сонъ
Вдругъ обдалъ жаромъ поцѣлуя
Его холодное чело.
И стало сладко и свѣтло
Его душѣ; во мракѣ ночи,
Казалось, пламенныя очи
Блеснули ласково предъ нимъ,
И онъ подумалъ: «я любимъ...
Она лишь мной живетъ и дышетъ...»
И хочетъ онъ войти—и слышитъ...
И слышитъ пѣсню старины.
И сталъ Гарунъ блѣднѣй луны.

«Мѣсяцъ плыветъ,
И тихъ, и спокоенъ,
А юноша-воинъ
На битву идетъ.
Ружье заряжаетъ джигитъ,
И дѣва ему говоритъ:

«Мой милый, смѣлѣе
Ввѣряйся ты року.
Молися Востоку,
Будь вѣренъ Пророку,
Будь славѣ вѣрнѣй.
Своимъ измѣнившій—
Измѣной кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнетъ безъ славы;
Дожди его ранъ не обмоютъ,
И звѣри костей не зароютъ.»
Въ горахъ никого нѣтъ,
Кто бъ вынесъ позоръ,
И труса прогонитъ
Красавица горъ!»
Главой поникнувъ, съ быстротою
Гарунъ свой продолжаетъ путь,
И крупная слеза, порою,
Съ рѣсницы падаетъ на грудь.
Но вотъ, отъ бури наклоненный,
Предъ нимъ родной бѣлѣетъ домъ;
Надеждой снова ободренный,
Гарунъ стучится подъ окномъ;
Тамъ, вѣрно теплыя молитвы
Восходятъ къ небу за него;
Старуха-мать ждетъ сына съ битвы,
Но ждетъ его—не одного.
«Мать, отвори! Я странникъ бѣдный,
Я твой Гарунъ, твой младшій сынъ,
Сквозь пули русскія безвредно
Пришелъ къ тебѣ...»
—Одинъ?
«Одинъ.»
—А гдѣ отецъ и братья?
«Пали.

Пророкъ ихъ смерть благословилъ,
И ангелы ихъ души взяли.»
—Ты отомстилъ?
«Не отомстилъ...
Но я стрѣлой пустился въ горы,
Оставивъ мечъ въ чужомъ краю,
Чтобы твои утѣшить взоры
И утереть слезу твою.»
—Молчи, молчи! гяуръ лукавый,
Ты умереть не могъ со славой!
Такъ удались, живи одинъ.
Твоимъ стыдомъ, бѣглецъ свободы,
Не омрачу я стары годы.
Ты рабъ и трусъ... а мнѣ не сынъ!—
Умолкло слово отверженья,
И все кругомъ объято сномъ.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго подъ окномъ,
И наконецъ ударъ кинжала
Пресѣкъ несчастнаго позоръ,
И мать по утру увидала,
И хладно отвернула взоръ.
И трупъ, отъ праведныхъ изгнанный,
Никто къ кладбищу не отнесъ,
И кровь его съ глубокой раны
Лизалъ, рыча, домашній песъ.
Ребята малые ругались
Надъ хладнымъ тѣломъ мертвеца;
Въ преданьяхъ вольности остались
Позоръ и гибель бѣглеца.
Душа его отъ глазъ Пророка
Со страхомъ удалилась прочь,
И тѣнь его въ горахъ Востока
Понынѣ бродитъ въ темну ночь;
И подъ окномъ, по утру рано,

Онъ въ саклю просится, стуча;
Но внемля громкій стихъ Корана,
Бѣжитъ опять подъ сѣнь тумана,
Какъ прежде бѣгалъ отъ меча.

АННѢ ГРИГОРЬЕВНѢ

ХОМУТОВОЙ.

Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенный,
Вамъ строки чудныя писалъ, *
И прежнихъ лѣтъ восторгъ священный,
Воспоминаньемъ оживленный,
Онъ передъ вами изливалъ.
Онъ васъ не зрѣлъ, но ваши рѣчи,
Какъ отголосокъ юныхъ дней,
При первомъ звукѣ новой встрѣчи
Его встревожили сильнѣй.
Тогда признательную руку
Въ отвѣтъ на вашъ привѣтный взоръ,
На встрѣчу радостному звуку
Онъ въ упоеніи простеръ.

И я, повѣренный случайный
Надеждъ и думъ его живыхъ,
Я буду дорожить, какъ тайной,
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.
Я вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли—
Все, что вы прежде возбудили
Въ его возвышенной груди.
Но да сойдетъ благословенье

---

* Поэтъ-слѣпецъ Ив. Ив. Козловъ.

На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умѣли снять вѣнецъ мученья
Съ его преклонной головы!

ВАЛЕРИКЪ.

Я къ вамъ пишу случайно; право,
Не знаю какъ и для чего.
Я потерялъ ужъ это право.
И что скажу вамъ? — Ничего!...
Что помню васъ?... Но, Боже правый!
Вы это знаете давно,
И вамъ конечно все равно.
И знать вамъ также нѣту нужды —
Гдѣ я, что̀ я, въ какой глуши?
Душою мы другъ другу чужды...
Да врядъ ли есть родство души!
Страницы прошлаго читая,
Ихъ по порядку разбирая
Теперь остынувшимъ умомъ,
Разувѣряюсь я во всемъ;
Смѣшно же сердцемъ лицемѣрить
Передъ собою столько лѣтъ;
Добро бъ, еще морочить свѣтъ...
Да и притомъ, что̀ пользы вѣрить
Тому, чего ужъ больше нѣтъ,
Безумно ждать любви заочной?...
Въ нашъ вѣкъ всѣ чувства лишь на срокъ.
Но я васъ помню — да и точно
Я васъ никакъ забыть не могъ!
Во-первыхъ, потому что много
И долго, долго васъ любилъ,
Потомъ страданьемъ и тревогой

За дни блаженства заплатилъ,
Потомъ въ раскаяньи безплодномъ
Влачилъ я цѣпь тяжелыхъ лѣтъ,
И размышленіемъ холоднымъ
Убилъ послѣдній жизни цвѣтъ...
Съ людьми сближаясь осторожно,
Забылъ я шумъ младыхъ проказъ,
Любовь, поэзію... но васъ
Забыть мнѣ было невозможно!
И къ мысли этой я привыкъ;
Мой крестъ несу я безъ роптанья:
То иль другое наказанье —
Не все ль одно! Я жизнь постигъ.
Судьбѣ, какъ турокъ иль татаринъ,
За все равно я благодаренъ;
У неба счастья не прошу
И молча зло переношу...
Быть можетъ, небеса Востока
Меня съ ученьемъ ихъ Пророка
Невольно сблизили. Притомъ
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы, ночь и днемъ,
Все, размышленію мѣшая,
Приводитъ въ первобытный видъ
Больную душу; сердце спитъ,
Простора нѣтъ воображенью
И нѣтъ работы головѣ...
За то лежишь въ густой травѣ
И дремлешь подъ широкой тѣнью
Чинаръ иль виноградныхъ лозъ.
Кругомъ бѣлѣются палатки;
Казачьи тощія лошадки
Стоятъ рядкомъ, повѣся носъ;
У мѣдныхъ пушекъ спитъ прислуга;
Едва дымятся фитили;

*

Попарно цѣпь стоитъ вдали,
Штыки горятъ подъ солнцемъ юга.
Вотъ — разговоръ о старинѣ
Въ палаткѣ ближней слышенъ мнѣ:
Какъ при Ермоловѣ ходили
Въ Чечню, въ Аварію, къ горамъ,
И какъ дрались, какъ мы ихъ били,
Какъ доставалося и намъ...
И вижу я, неподалеку,
У рѣчки, слѣдуя пророку,
Мирной татаринъ свой намазъ
Творитъ, не подымая глазъ.
И вотъ кружкомъ сидятъ другіе:
Люблю я цвѣтъ ихъ желтыхъ лицъ,
Подобный цвѣту наговицъ,
Ихъ шапки, рукава худые,
Ихъ томный и лукавый взоръ
И ихъ гортанный разговоръ.

Чу! — дальній выстрѣлъ... прожужжала
Шальная пуля... славный звукъ!...
Вотъ крикъ — и снова все вокругъ
Затихло... Но жара ужъ спала,
Ведутъ коней на водопой,
Зашевелилася пѣхота;
Вотъ проскакалъ одинъ, другой...
Шумъ, говоръ... «Гдѣ вторая рота?»
«Что? Вьючить?» — «Что же капитанъ?»
«Повозки выдвигайте живо!»
«Савельичъ!...» — Ой ли? — «Дай огниво!»
Подъемъ ударилъ барабанъ;
Гудитъ музыка полковая;
Между колоннами въѣзжая,
Звенятъ орудья; генералъ
Впередъ со свитой поскакалъ;

Разсыпались въ широкомъ полѣ,
Какъ пчелы, съ гикомъ казаки;
Ужъ показалися значки
Тамъ, на опушкѣ — два и болѣ;
А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридъ
Въ черкескѣ красной ѣдетъ важно,
Конь свѣтло-сѣрый весь кипитъ;
Онъ машетъ, кличетъ... Гдѣ отважный?
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный бой?...
Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ черной
Казакъ пустился гребенской,
Винтовку выхватилъ проворно,
Ужъ близко... выстрѣлъ... легкій дымъ...
«Эй вы, станичники, за нимъ!...»
«Что? раненъ?» — Ничего, бездѣлка! —
И завязалась перестрѣлка.

Но въ этихъ сшибкахъ удалыхъ
Забавы много, толку мало;
Прохладнымъ вечеромъ, бывало,
Мы любовалися на нихъ
Безъ кровожаднаго волненья,
Какъ на трагическій балетъ;
За то видалъ я представленья,
Какихъ у васъ на сценѣ нѣтъ...

Разъ — это было подъ Гехами —
Мы проходили темный лѣсъ;
Огнемъ дыша, пылалъ надъ нами
Лазурно-яркій сводъ небесъ.
Намъ былъ обѣщанъ бой жестокой.
Изъ горъ Ичкеріи далекой
Уже въ Чечню на страшный зовъ
Толпы стекались удальцовъ.
Надъ допотопными лѣсами

Мелькали маяки кругомъ
И дымъ ихъ то вился столбомъ,
То разстилался облаками;
И оживились лѣса,
Скликались дико голоса
Подъ ихъ зелеными шатрами...
Едва лишь выбрался обозъ
Въ поляну — дѣло началось.
Чу! въ арьергардъ орудье просятъ;
Вотъ ружья изъ кустовъ выносятъ,
Вотъ тащутъ за ноги людей
И кличутъ громко лекарей...
И вотъ изъ лѣса, изъ опушки,
Вдругъ съ гикомъ кинулись на пушки...
И градомъ пуль съ вершинъ деревъ
Отрядъ осыпанъ... Впереди же
Все тихо... Тамъ, между кустовъ
Бѣжалъ потокъ; подходимъ ближе;
Пустили нѣсколько гранатъ;
Еще подвинулись... молчатъ!
Но вотъ, подъ бревнами завала
Ружье какъ будто заблистало,
Потомъ мелькнуло шапки двѣ —
И вновь все спряталось въ травѣ.
То было грозное молчанье;
Недолго длилося оно,
Но въ этомъ страшномъ ожиданьѣ
Забилось сердце не одно...
Вдругъ залпъ... глядимъ: лежатъ рядами.
Что нужды? Здѣшніе полки
Народъ испытанный... Въ штыки!...
Дружнѣе! — раздалось за нами.
Кровь загорѣлася въ груди!
Всѣ офицеры впереди;
Верхомъ помчался на завалы,

Кто не успѣлъ спрыгнуть съ коня.
Ура! — и смолкло... Вонъ кинжалы...
Въ приклады!... и пошла рѣзня...
И два часа въ струяхъ потока
Бой длился; рѣзались жестоко.
Какъ звѣри, мо̀лча, съ грудью грудь...
Ручей тѣлами запрудили.
Хотѣлъ воды я зачерпнуть —
И зной и битва утомили
Меня — но мутная волна
Была тепла, была красна...

На берегу, подъ тѣнью дуба,
Пройдя заваловъ длинный рядъ,
Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ
Былъ на колѣнахъ; мрачно, грубо
Казалось выраженье лицъ,
Но слезы капали съ рѣсницъ.
Покрытый пылью, на шинели,
Спиною къ дереву, лежалъ
Ихъ капитанъ... Онъ умиралъ:
Въ груди его едва чернѣли
Двѣ раны; кровь изъ нихъ чуть-чуть
Сочилась; но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно; онъ шепталъ:
«Спасите, братцы!... Тащутъ въ горы!...
Постойте!... Гдѣ же генералъ?...
Не слышу...» Долго онъ стоналъ,
Но все слабѣй, и понемногу
Затихъ — и душу отдалъ Богу.
На ружья опершись, кругомъ,
Стояли усачи сѣдые
И тихо плакали... потомъ
Его останки боевые

Покрыли бережно плащемъ
И понесли... Тоской томимый
Имъ вслѣдъ смотрѣлъ я недвижимый.

Уже затихло все; тѣла
Стащили въ кучу... Кровь текла
Струею дымной по каменьямъ:
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенья принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ;
А тамъ вдали — грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы — и Казбекъ
Сверкалъ главой остроконечной.
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно;
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... За чѣмъ?...
Галубъ* прервалъ мое мечтанье,
Ударивъ по плечу — онъ былъ
Кунакъ мой — я его спросилъ,
Какъ мѣсту этому названье?
Онъ отвѣчалъ мнѣ: «Валерикъ —
А перевесть на вашъ языкъ,
Такъ будетъ — рѣчка смерти; вѣрно,
Дано старинными людьми!»
— А сколько ихъ дралось, примѣрно,
Сегодня? — «Тысячъ до семи.»

* Собственное имя.

— А много горцы потеряли?
«Какъ знать! за чѣмъ вы не считали?»
— Да, будетъ, кто-то тутъ сказалъ,
Имъ въ память этотъ день кровавый!
Чеченецъ посмотрѣлъ лукаво
И головою покачалъ...

Но я боюся вамъ наскучить.
Въ забавахъ свѣта вамъ смѣшны
Тревоги дикія войны;
Свой умъ вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о концѣ;
На вашемъ молодомъ лицѣ
Слѣдовъ заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда нибудь видали,
Какъ умираютъ... Дай вамъ Богъ
И не видать!... Иныхъ тревогъ
Довольно есть; въ самозабвеньи
Не лучше ль кончить жизни путь,
И безпробуднымъ сномъ заснуть
Съ мечтой о близкомъ пробужденьи?

Теперь прощайте! — Если васъ
Мой безъискусственный разсказъ
Развеселитъ, займетъ хоть малость —
Я буду счастливъ; а не такъ...
Простите мнѣ его, какъ шалость,
И тихо молвите: чудакъ!

СКАЗКА ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Умчался вѣкъ эпическихъ поэмъ
И повѣсти въ стихахъ пришли въ упадокъ;
Поэты въ томъ виновны не совсѣмъ

(Хотя у многихъ стихъ не вовсе гладокъ).
И публика не права, между тѣмъ.
Кто виноватъ, кто правъ, ужъ я не знаю,
А самъ стиховъ давно я не читаю,
Не потому, чтобъ не любилъ стиховъ,
А такъ — смѣшно жъ терять для звучныхъ строфъ
Златое время... Въ нашемъ вѣкѣ зрѣломъ,
Извѣстно вамъ, всѣ заняты мы дѣломъ.

Стиховъ я не читаю, но люблю
Марать, шутя, бумаги листъ летучій;
Свой стихъ за хвостъ отважно я ловлю;
Я безъ ума отъ тройственныхъ созвучій
И влажныхъ риѳмъ, какъ напримѣръ, на ю.
Вотъ почему пишу я эту сказку.
Ея волшебно-темную завязку
Не стану я подробно объяснять,
Чтобъ кой-какихъ допросовъ избѣжать;
За то конецъ не будетъ безъ морали,
Чтобы ее хоть дѣти прочитали.

Герой извѣстенъ и не новъ предметъ.
Тѣмъ лучше: устарѣло все, что ново!
Кипя огнемъ и силой юныхъ лѣтъ,
Я прежде пѣлъ про демона инова:
То былъ безумный, страстный, дѣтскій бредъ.
Богъ знаетъ, гдѣ завѣтная тетрадка?
Касается ль душистая перчатка
Ея листовъ и слышно: c'est joli!...
Иль мышь надъ ней старается въ пыли.
Но этотъ чортъ совсѣмъ инаго сорта —
Аристократъ и не похожъ на чорта.

Перенестись теперь прошу сейчасъ
За мною въ спальню: розовыя шторы

Опущены; съ трудомъ лишь можетъ глазъ
Слѣдить ковра восточные узоры;
Пріятный трепетъ вдругъ объемлетъ васъ,
И дѣвственнымъ дыханьемъ напоенный,
Огнемъ въ лицо вамъ пышетъ воздухъ сонный.
Вотъ ручка, вотъ плечо, и возлѣ нихъ,
На кисеѣ подушекъ кружевныхъ,
Рисуется младой, но строгій профиль...
И на него взираетъ Мефистофель.

То былъ ли самъ великій сатана,
Иль мелкій бѣсъ изъ самыхъ нечиновныхъ,
Которыхъ дружба людямъ такъ нужна
Для тайныхъ дѣлъ, семейныхъ и любовныхъ —
Не знаю. Если бъ имъ была дана
Земная форма, по рогамъ и платью
Я могъ бы сволочь различить со знатью.
Но духъ — извѣстно, что такое духъ:
Жизнь, сила, чувство, зрѣнье, голосъ, слухъ,
И мысль безъ тѣла — часто въ видахъ разныхъ
(Бѣсовъ вобще рисуютъ безобразныхъ).

Но я не такъ всегда воображалъ
Врага святыхъ и чистыхъ побужденій.
Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася — и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ.
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался — стихами!

Оружіе отличное: врагамъ
Кидаете въ лицо вы эпиграммой...

Вамъ насолить захочется ль друзьямъ?
Пустите въ нихъ поэмой или драмой...
Но полно, къ дѣлу. Я сказалъ ужъ вамъ,
Что въ спальнѣ той таился хитрый демонъ;
Невиннымъ сномъ былъ тронутъ несовсѣмъ онъ —
Не мудрено: кипѣла въ немъ не кровь,
И понималъ иначе онъ любовь;
И рѣчь его коварныхъ искушеній
Была полна — вѣдь онъ не даромъ геній!

«Не знаешь ты, кто я, но ужъ давно
Читаю я въ душѣ твоей; незримо,
Неслышно говорю съ тобою; но
Слова мои, какъ тѣнь, проходятъ мимо
Ребяческаго сердца, и оно
Дивится имъ спокойно и въ молчаньѣ.
Пускай! За чѣмъ тебѣ мое названье?
Ты съ ужасомъ отвергнула бъ мою
Безумную любовь. Но я люблю
По-своему: терпѣть и ждать могу я;
Не надо мнѣ ни ласкъ, ни поцѣлуя.

«Когда ты спишь, о ангелъ мой земной!
И шибко бьется дѣвственною кровью
Младая грудь подъ грёзою ночной,
Знай, это я, склонившись къ изголовью,
Любуюся и говорю съ тобой;
И въ тишинѣ, наставникъ твой случайный,
Чудесныя разсказываю тайны...
А много было взору моему
Доступно и понятно, потому
Что узами земными я не связанъ
И вѣчностью и знаніемъ наказанъ...

«Тому назадъ еще не много лѣтъ,
Я пролеталъ надъ сонною столицей;

Кидала ночь свой странный полусвѣтъ;
Румяный западъ съ новою денницей
На сѣверѣ сливались — какъ привѣтъ
Свиданія съ моленіемъ разлуки;
Надъ городомъ таинственные звуки,
Какъ грѣшныхъ сновъ нескромныя слова,
Неясно раздавались — и Нева,
Межъ кораблей сверкая на просторѣ,
Журча, съ волной ихъ уносила въ море.

«Задумчиво столбы дворцовъ нѣмыхъ
По берегамъ тѣснилися, какъ тѣни,
И въ пѣнѣ водъ — гранитныхъ крылецъ ихъ
Купалися широкія ступени;
Минувшихъ лѣтъ событій роковыхъ
Волна слѣды смывала роковые...
И улыбались звѣзды голубыя,
Глядя съ высотъ на гордый прахъ земли,
Какъ будто міръ достоинъ ихъ любви,
Какъ будто имъ земля небесъ дороже...
И я тогда... я улыбнулся тоже.

«И я кругомъ глубокій кинулъ взглядъ;
И увидалъ съ невольною отрадой
Преступный сонъ подъ сѣнію палатъ,
Корыстный трудъ предъ тощею лампадой,
И страшныхъ тайнъ вездѣ печальный рядъ.
Я сталъ ловить блуждающіе звуки,
Веселый смѣхъ и крикъ послѣдней муки:
То ликовалъ иль мучился порокъ!
Въ молитвѣ я подслушивалъ упрекъ,
Въ бреду любви — безстыдное желанье!
Вездѣ обманъ, безумство, иль страданье!

«Но близъ Невы одинъ старинный домъ
Казался полнъ священной тишиною.

Все важностью наслѣдственною въ немъ
И роскошью дышало вѣковою:
Украшенъ былъ онъ княжескимъ гербомъ;
Изъ мрамора волнистаго колонны
Кругомъ тѣснились чинно, и балконы
Чугунные, воздушною семьей,
Межъ нихъ гордились дивною рѣзьбой;
И оконъ рядъ, всегда прозрачно темныхъ,
Манилъ, пугая, взоръ очей нескромныхъ.

«Пора была, боярская пора!
Тѣснилась знать въ роскошные покои —
Былая знать минувшаго двора,
Забытыхъ дѣлъ померкшіе герои!
Музыкой тутъ гремѣли вечера,
Въ Невѣ дробился блескъ высокихъ оконъ,
Напудренный мелькалъ и вился локонъ,
И часто ножка съ краснымъ каблучкомъ
Давала знакъ условный подъ столомъ;
И старики, въ звѣздахъ и брилліянтахъ,
Судили рѣзко о тогдашнихъ франтахъ.

«Тотъ вѣкъ прошелъ, и люди тѣ прошли;
Смѣнили ихъ другіе; родъ старинный
Перевелся; въ готической пыли
Портреты гордыхъ баръ, краса гостинной,
Забытые, тускнѣли; поросли
Дворы травой, и блескъ смѣнивъ бывалой,
Сырая мгла и сумракъ длинной залой
Спокойно завладѣли... Тихій домъ
Казался пустъ; но жилъ хозяинъ въ немъ —
Старикъ худой и съ виду величавый,
Озлобленный на новый вѣкъ и нравы.

«Онъ ростомъ былъ двѣнадцати вершковъ;
Съ домашними былъ строгъ неумолимо;

Всегда молчалъ; ходилъ до двухъ часовъ,
Обѣдалъ, спалъ... да иногда, томимый
Безсонницей, собранье острыхъ словъ
Перебиралъ или читалъ Вольтера.
Какъ быть! — сильна къ преданьямъ въ людяхъ вѣра...
Имѣлъ онъ дочь четырнадцати лѣтъ;
Но съ ней видался рѣдко; за обѣдъ
Она являлась въ фартучкѣ, съ мадамой,
Сидѣла чинно и держалась прямо.

«Всегда одна, запугана отцомъ
И англичанки строгостью небрежной,
Она росла, какъ ландышъ за стекломъ,
Или, скорѣй, какъ бѣлый цвѣтъ подснѣжный.
Она была стройна, но съ каждымъ днемъ
Съ ея лица сбѣгали жизни краски,
Задумчивѣй большіе стали глазки;
Покинувъ книжку скучную, она
Охотнѣе садилась у окна —
И вдалекѣ мечты ея летали,
Пока ее играть не посылали.

«Тогда она сходила въ длинный залъ,
Но бѣгать въ немъ ей какъ-то страшно было,
И какъ-то странно дѣтскій шагъ звучалъ
Между колоннъ. Разрытою могилой
Надъ юной жизнью воздухъ тамъ дышалъ,
И въ зеркалахъ являлися предметы
Длиннѣе и безцвѣтнѣе, одѣты
Какой-то мертвой дымкою; и вдругъ
Неясный шорохъ слышался вокругъ:
То загремитъ, то снова тише, тише...
(То были тѣни предковъ или мыши).

«И чтожъ? — Она привыкла толковать
По-своему развалинъ говоръ странный,

И стала мысль горячая летать
Надъ блѣдною головкой, и туманный,
Воздушный рой видѣній навѣвать.
Я съ ней не разлучался. Дѣтскій лепетъ
Подслушивать, невинной груди трепетъ
Слѣдить, ея дыханіемъ съ нѣмой,
Мучительной и жадною тоской,
Какъ жизнью, упиваться... это было
Смѣшно — но мнѣ такъ ново и такъ мило!

«Влюбился я... И точно хороша
Была не въ шутку маленькая Нина.
Нѣтъ, никогда свинецъ карандаша
Рафаэля, иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенемъ дыша,
Подобный профиль. Всѣ ея движенья
Особаго, казалось, выраженья
Исполнены. Но съ самыхъ дѣтскихъ дней
Ея глаза не измѣняли ей,
Тая равно надежду, радость, горе —
И было тѣмно въ нихъ, какъ въ синемъ морѣ.

«Я понялъ, что душа ея была
Изъ тѣхъ, которымъ рано все понятно.
Для мукъ и счастья, для добра и зла
Въ нихъ пищи много; только невозвратно
Онѣ идутъ, куда ихъ повела
Случайность, безъ раскаянья, упрековъ
И жалобы. Имъ въ жизни нѣтъ уроковъ;
Ихъ чувствамъ повторяться не дано...
Такія души я любилъ давно
Отыскивать по свѣту на свободѣ:
Я самъ вѣдь былъ немножко въ этомъ родѣ!

«Ее смущали странныя мечты.
Порой, она среди пустаго зала

Сіянье, роскошь, музыку, цвѣты,
Толпу гостей и шумъ воображала;
Кипѣла кровь отъ душной тѣсноты.
На платьицѣ чудесные узоры
Видѣлись ей—и вотъ гремѣли шпоры:
Къ ней кавалеръ незримый подходилъ
И въ мнимый вальсъ съ собою уносилъ;
И вотъ она кружилась въ вихрѣ бала,
И утомясь, на кресла упадала...

«И тутъ она, склонивъ лукавый взоръ
И выставивъ едва примѣтно ножку,
Двусмысленный и темный разговоръ
Съ нимъ завести старалась понемножку.
Сначала онъ былъ веселъ и остеръ,
А иногда и черезчуръ небреженъ;
Но подъ конецъ за то какъ милъ и нѣженъ!...
Что дѣлать ей? Притворно-строгій взглядъ
Его, какъ громъ, отталкивалъ назадъ,
И сердце билось въ ней такъ шибко, шибко...
И по устамъ змѣилася улыбка.

«Предъ зеркаломъ, бывало, цѣлый часъ
То волосы пригладитъ, то красивый
Цвѣтокъ пришпилитъ къ нимъ; движенью глазъ,
Головкѣ наклоненной видъ лѣнивый
Придавъ, стоитъ... и учится. Не разъ
Хотѣлось мнѣ совѣтъ ей дать лукавый;
Но умъ ея, и смѣтливый и здравый,
Отгадывалъ все мигомъ самъ собой...
Такъ годы шли безмолвной чередой,
И вотъ насталъ тотъ возрастъ, о которомъ
Такъ полны ваши книги всякимъ вздоромъ.

«То былъ великій день: семнадцать лѣтъ!
Все, что досель таилось за рѣшоткой,

Теперь надменно явится на свѣтъ!...
Старикъ-отецъ послалъ за старой теткой,
И съѣхались родные на совѣтъ:
Ихъ затруднялъ удачный выборъ бала.
Что̀? будетъ дворъ, иль нѣтъ? Иныхъ пугала
Застѣнчивость дикарки молодой;
Но очень тонко замѣчалъ другой,
Что это видъ ей дастъ оригинальный.
Потомъ нарядъ осматривали бальный.

«Но вотъ насталъ и вечеръ роковой.
Она съ утра была какъ въ лихорадкѣ;
Поплакала немножко; золотой
Браслетъ сломала; въ суетахъ, перчатки
Разорвала... Со страхомъ и тоской
Она въ карету сѣла, и доро̀гой
Была полна мучительной тревогой,
И выходя, споткнулась на крыльцѣ,
И съ блѣдностью печальной на лицѣ
Вступила въ залу... Странный шопотъ встрѣтилъ
Ея явленье—свѣтъ ее замѣтилъ.

«Кипѣлъ, сіялъ ужъ въ полномъ блескѣ балъ.
Тутъ было все, что называютъ свѣтомъ...
Не я ему названье это далъ,
Хоть смыслъ глубокій есть въ названьи этомъ.
Своихъ друзей я тутъ бы не узналъ:
Улыбки, лица лгали такъ искусно,
Что даже мнѣ чуть-чуть не стало грустно.
Прислушаться хотѣлъ я; но едва
Ловилъ мой слухъ летучія слова,
Отрывки безъименныхъ чувствъ и мнѣній—
Эпиграфы невѣдомыхъ твореній!...
. . . . . .

СПОРЪ.

Какъ-то разъ, передъ толпою
Соплеменныхъ горъ
У Казбека съ Шатъ-горою *
Былъ великій споръ.
«Берегись!» сказалъ Казбеку
Сѣдовласый Шатъ:
«Покорился человѣку
Ты не даромъ, братъ!
Онъ настроитъ дымныхъ келій
По уступамъ горъ;
Въ глубинѣ твоихъ ущелій
Загремитъ топоръ;
И желѣзная лопата
Въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато,
Врѣжетъ страшный путь.
Ужъ проходятъ караваны
Черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы,
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труденъ
Первый былъ скачекъ—
Берегися! многолюденъ
И могучъ Востокъ!»

—Не боюся я Востока!
Отвѣчалъ Казбекъ:
Родъ людской тамъ спитъ глубоко
Ужъ девятый вѣкъ.
Посмотри: въ тѣни чинары,
Пѣну сладкихъ винъ

* Эльбрусъ.

На узорные шальвары
Сонный льетъ грузинъ;
И склонясь въ дыму кальяна
На цвѣтной диванъ,
У жемчужнаго фонтана
Дремлетъ Тегеранъ.
Вотъ у ногъ Ерусалима,
Богомъ сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
Дальше, вѣчно чуждый тѣни,
Моетъ желтый Нилъ
Раскаленныя ступени
Царственныхъ могилъ.
Бедуинъ забылъ наѣзды
Для цвѣтныхъ шатровъ,
И поетъ, считая звѣзды,
Про дѣла отцовъ.
Все, что здѣсь доступно оку,
Спитъ, покой цѣня.
Нѣтъ! не дряхлому Востоку
Покорить меня!—

«Не хвались еще заранѣ!»
Молвилъ старый Шатъ:
«Вотъ на сѣверѣ въ туманѣ
Что-то видно, братъ!»

Тайно былъ Казбекъ огромный
Вѣстью той смущенъ;
И смутясь, на сѣверъ темный
Взоры кинулъ онъ;
И туда въ недоумѣньѣ
Смотритъ, полный думъ:
Видитъ странное движенье,
Слышитъ звонъ и шумъ.

Отъ Урала до Дуная,
До большой рѣки,
Колыхаясь и сверкая
Движутся полки;
Вѣютъ бѣлые султаны,
Какъ степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальйоны
Тѣсно въ рядъ идутъ,
Впереди несутъ знамёны,
Въ барабаны бьютъ;
Батареи мѣднымъ строемъ
Скачутъ и гремятъ,
И дымясь, какъ передъ боемъ,
Фитили горятъ.
И испытанный трудами
Бури боевой,
Ихъ ведетъ, грозя очами,
Генералъ сѣдой.
Идутъ всѣ полки, могучи,
Шумны какъ потокъ,
Страшно-медленны какъ тучи,
Прямо на Востокъ.

И томимъ зловѣщей думой,
Полный черныхъ сновъ,
Сталъ считать Казбекъ угрюмый,
И не счелъ враговъ.
Грустнымъ взоромъ онъ окинулъ
Племя горъ своихъ,
Шапку на брови надвинулъ—
И навѣкъ затихъ.

СОНЪ.

Въ полдневный жаръ, въ долинѣ Дагестана,
Съ свинцомъ въ груди лежалъ недвижимъ я;
Глубокая еще дымилась рана,
По каплѣ кровь точилася моя.

Лежалъ одинъ я на пескѣ долины;
Уступы скалъ тѣснилися кругомъ,
И солнце жгло ихъ желтыя вершины
И жгло меня—но спалъ я мертвымъ сномъ.

И снился мнѣ сіяющій очами
Вечерній міръ въ родимой сторонѣ;
Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣтами,
Шелъ разговоръ веселый обо мнѣ.

Но въ разговоръ веселый не вступая,
Сидѣла тамъ задумчиво одна,
И въ грустный сонъ душа ея младая
Богъ знаетъ чѣмъ была погружена.

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый трупъ лежалъ въ долинѣ той,
Въ его груди, дымясь, чернѣла рана
И кровь лилась хладѣющей струей...

УТЕСЪ.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.
Утромъ въ путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный слѣдъ въ морщинѣ
Стараго утеса. Одиноко
Онъ стоитъ; задумался глубоко
И тихонько плачетъ онъ въ пустынѣ...

(ИЗЪ ГЕЙНЕ).

Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно
Съ тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной;
Но какъ враги, избѣгали признанья и встрѣчи,
И были пусты и хладны ихъ краткія рѣчи.
Они разстались въ безмолвномъ и гордомъ страданьѣ
И милый образъ во снѣ лишь порою видали;
И смерть пришла; наступило за гробомъ свиданье—
Но въ мірѣ новомъ другъ друга они не узнали.

ТАМАРА.

Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяла,
Гдѣ роется Терекъ во мглѣ,
Старинная башня стояла,
Чернѣя, на черной скалѣ.

Въ той башнѣ высокой и тѣсной
Царица Тамара жила,
Прекрасна, какъ ангелъ небесный,
Какъ демонъ—коварна и зла.

И тамъ, сквозь туманъ полуночи,
Блисталъ огонекъ золотой,
Кидался онъ путнику въ очи,
Манилъ онъ на отдыхъ ночной.

И слышался голосъ Тамары—
Онъ весь былъ желанье и страсть,
Въ немъ были всесильныя чары,
Была непонятная власть.

На голосъ невидимой пери
Шелъ воинъ, купецъ и пастухъ;
Предъ нимъ отворялися двери,
Встрѣчалъ его мрачный евнухъ.

На мягкой пухòвой постели,
Въ парчу и жемчугъ убрана,
Ждала она гостя. Шипѣли
Предъ нею два кубка вина.

Сплетались горячія руки,
Уста прилипали къ устамъ,
И страстные, дикіе звуки
Всю ночь раздавалися тамъ—

Какъ будто въ ту башню пустую
Сто юношей пылкихъ и женъ
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну большихъ похоронъ.

Но только-что утра сіянье
Кидало свой лучъ по горамъ,
Мгновенно и мракъ и молчанье
Опять воцарялися тамъ.

Лишь Терекъ въ тѣснинѣ Дарьяла,
Гремя, нарушалъ тишину;
Волна на волну набѣгала,
Волна погоняла волну.

И съ плачемъ безгласное тѣло
Спѣшили онѣ унести...
Въ окнѣ тогда что-то бѣлѣло,
Звучало оттуда «прости!»

И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ будто восторги свиданья
И ласки любви обѣщалъ...

СВИДАНІЕ.

Ужъ за горой дремучею
Погасъ вечерній лучъ,
Едва струей гремучею
Сверкаетъ жаркій ключъ;
Сады благоуханіемъ
Наполнились живымъ;
Тифлисъ объятъ молчаніемъ;
Въ ущельи мгла и дымъ;
Летаютъ сны мучители
Надъ грѣшными людьми,
И ангелы хранители
Бесѣдуютъ съ дѣтьми.

Тамъ, за твердыней старою,
На сумрачной горѣ
Подъ свѣжею чинарою
Лежу я на коврѣ —
Лежу одинъ и думаю:
Ужели не во снѣ
Свиданье въ ночь угрюмую
Назначила ты мнѣ?

И въ этотъ часъ таинственный,
Но сладкій для любви,
Тебя, мой другъ единственный,
Зовутъ мечты мои.

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горятъ,
И колокольни черныя
Какъ сторожи стоятъ;
И поступью несмѣлою
Изъ бань со всѣхъ сторонъ
Выходятъ цѣпью бѣлою
Четы грузинскихъ женъ;
Вотъ улицей пустынною
Бредутъ, едва скользя...
Но подъ чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!

Твой домикъ съ крышей гладкою
Мнѣ видѣнъ вдалекѣ,
Крыльцо съ ступенью шаткою
Купается въ рѣкѣ.
Среди прохлады, вѣющей
Надъ синею Курой,
Онъ сѣтью зеленѣющей
Окутанъ плющевой.
За тополью высокою
Я вижу тамъ окно...
Но свѣчкой одинокою
Не свѣтится оно!

Я жду. Въ недоумѣніи
Напрасно бродитъ взоръ;
Кинжаломъ въ нетерпѣніи
Изрѣзалъ я коверъ.

Я жду съ тоской безплодною;
Мнѣ грустно, тяжело...
Вотъ сыростью холодною
Съ востока понесло;
Краснѣютъ за туманами
Сѣдыхъ вершинъ зубцы;
Выходятъ съ караванами,
Изъ города купцы...

Прочь, прочь, слеза позорная!
Кипи, душа моя!
Твоя измѣна черная
Понятна мнѣ, змѣя!
Я знаю, чѣмъ утѣшенный
По звонкой мостовой
Вчера скакалъ, какъ бѣшеный,
Татаринъ молодой.
Недаромъ онъ красуется
Передъ твоимъ окномъ,
И твой отецъ любуется
Персидскимъ жеребцомъ!

Возьму винтовку длинную,
Пойду я изъ воротъ:
Тамъ, подъ скалой пустынною
Есть узкій поворотъ.
До полдня за могильною
Часовней подожду,
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я легъ между камней...
Чу! близкій топотъ слышится.
А! это ты, злодѣй!

* * *

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой
И въ степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя,
И вотъ, наконецъ, докатился до Чернаго Моря.

У Чернаго Моря чинара стоитъ молодая,
Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленыя вѣтви лаская;
На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы,
Поютъ онѣ пѣсни про славу морской царь-дѣвицы.

И странникъ прижался у корня чинары высокой,
Пріюта на время онъ молитъ съ тоскою глубокой.
И такъ говоритъ онъ: «я бѣдный листочекъ дубовый,
До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ суровой.

«Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся давно я,
Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ сна и покоя.
Прими же пришельца межъ листьевъ своихъ изумрудныхъ —
Немало я знаю разсказовъ мудреныхъ и чудныхъ.»

— На что мнѣ тебя! отвѣчаетъ младая чинара:
Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ свѣжимъ не пара.
Ты много видалъ, да къ чему мнѣ твои небылицы?
Мнѣ слухъ утомили давно ужъ и райскія птицы...

Иди себѣ дальше, о странникъ! тебя я не знаю.
Я солнцемъ любима, цвѣту для него и блистаю;
По небу я вѣтви раскинула здѣсь на просторѣ,
И корни мои умываетъ холодное море.

* * *

Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье —
Люблю въ тебѣ я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда, порой, я на тебя смотрю,
Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ,
Таинственнымъ я занятъ разговоромъ,
Но не съ тобой я сердцемъ говорю —

Я говорю съ подругой юныхъ дней,
Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія,
Въ устахъ живыхъ — уста давно нѣмыя,
Въ глазахъ — огонь угаснувшихъ очей.

---

* * *

Выхожу одинъ я на дорогу:
Сквозь туманъ кремнистый путь блеститъ;
Ночь тиха; пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ сіяньѣ голубомъ...
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно:
Жду ль чего? Жалѣю ли о чемъ?

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть;
Я ищу свободы и покоя:
Я бъ хотѣлъ забыться и заснуть...

Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы —
Я бъ желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дремали дрожали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА.

Въ морѣ царевичъ купаетъ коня,
Слышитъ: «царевичъ, взгляни на меня!»

Фыркаетъ конь и ушами прядетъ,
Брызжетъ и плещетъ, и далѣ плыветъ.

Слышитъ царевичъ: «я царская дочь;
Хочешь провесть ты съ царевною ночь?»

Вотъ показалась рука изъ воды,
Ловитъ за кисти шелковой узды.

Вышла младая потомъ голова;
Въ косу вплелася морская трава.

Синія очи любовью горятъ,
Брызги на шеѣ какъ жемчугъ дрожатъ.

Мыслитъ царевичъ: «добро же, постой!»
За косу ловко схватилъ онъ рукой.

Держитъ. Рука боевая сильна...
Плачетъ, и молитъ, и бьется она.

Къ берегу витязь отважно плыветъ;
Выплылъ, товарищей громко зоветъ.

«Эй вы! сходитесь, лихіе друзья!
Гляньте, какъ бьется добыча моя...

«Что жъ вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вотъ оглянулся царевичъ назадъ,
Ахнулъ! — померкъ торжествующій взглядъ.

Видитъ: лежитъ на пескѣ золотомъ
Чудо морское съ зеленымъ хвостомъ.

Хвостъ чешуею змѣиной покрытъ,
Весь замирая, свиваясь, дрожитъ.

Пѣна струями сбѣгаетъ съ чела,
Очи одѣла смертельная мгла.

Блѣдныя руки хватаютъ песокъ,
Шепчутъ уста непонятный упрекъ...

Ѣдетъ царевичъ задумчиво прочь...
Будетъ онъ помнить про царскую дочь!

ПРОРОКЪ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Вѣчный Судія
Мнѣ далъ всевѣдѣнье пророка,
Въ очахъ людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я сталъ любви
И правды чистыя ученья;
Въ меня всѣ ближніе мои
Бросали бѣшено каменья.

Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
И вотъ, въ пустынѣ я живу,
Какъ птицы — даромъ Божьей пищи.

Завѣтъ Предвѣчнаго храня,
Мнѣ тварь покорна тамъ земная,
И звѣзды слушаютъ меня,
Лучами радостно играя.

Когда же черезъ шумный градъ
Я пробираюсь торопливо,
То старцы дѣтямъ говорятъ
Съ улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ — хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами!

«Смотрите жъ, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!
Какъ презираютъ всѣ его!»

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

(1839—1840).

ПРЕДИСЛОВІЕ

КО 2-МУ ИЗДАНІЮ.

Во всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь. Оно или служитъ объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ дѣла нѣтъ до нравственной цѣли и до журнальныхъ нападковъ, и потому они не читаютъ предисловій. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находитъ нравоученія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ іроніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность изобрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое, и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждою лести, наноситъ неотразимый и вѣрный ударъ. Наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книга испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись, и не шутя, что имъ ставятъ въ примѣръ такого безнравственнаго человѣка,

какъ «Герой Нашего Времени»; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь ужъ такъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ глупостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности.

«Герой Нашего Времени», милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка; это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели вы того желали?

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выигрываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужны горькія лекарства, ѣдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобъ авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!—(1841).

I.

БЭЛА.

Я ѣхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла изъ одного небольшаго чемодана, который до половины былъ набитъ путевыми записками о Грузіи. Бо́льшая

часть изъ нихъ, къ счастію для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастію для меня, остался цѣлъ.

Ужъ солнце начинало прятаться за снѣговой хребетъ, когда я въѣхалъ въ Койшаурскую Долину. Осетинъ-извощикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ успѣть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распѣвалъ пѣсни. Славное мѣсто эта долина! Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшенныя зеленымъ плющемъ и увѣнчанныя купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ, а внизу Арагва, обнявшись съ другой безъименной рѣкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полнаго мглою ущелья, тянется серебристою нитью и сверкаетъ, какъ змѣя своею чешуею.

Подъѣхавъ къ подошвѣ Койшаурской горы, мы остановились возлѣ духана. Тутъ толпились шумно десятка два грузинъ и горцевъ: по близости караванъ верблюдовъ остановился для ночлега. Я долженъ былъ нанять быковъ, чтобъ втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица—а эта гора имѣетъ около двухъ верстъ длины.

Нечего дѣлать, я нанялъ шесть быковъ и нѣсколькихъ осетинъ. Одинъ изъ нихъ взвалилъ себѣ на плечи мой чемоданъ, другіе стали помогать быкамъ почти однимъ крикомъ.

За моею тележкою четверка быковъ тащила другую, какъ ни въ чемъ не бывало, не смотря на то, что она была до верху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шелъ ея хозяинъ, покуривая изъ маленькой кабардинской трубочки, обдѣланной въ серебро. На немъ былъ офицерскій сюртукъ безъ эполетъ и черкеская мохнатая шапка. Онъ казался лѣтъ пятидесяти; смуглый цвѣтъ лица его показывалъ, что оно давно знакомо съ закавказскимъ солнцемъ, и преждевременно посѣдѣвшіе усы не соотвѣтствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Я подошелъ къ нему и поклонился; онъ молча отвѣчалъ мнѣ на поклонъ и пустилъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

*

— Вы, вѣрно, ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащатъ шутя, а мою, пустую, шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.

— Вы, вѣрно, недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ, отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ; ужасныя бестіи эти азіяты! Вы думаете они помогаютъ, что кричатъ? А чортъ ихъ разберетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнутъ по-своему, быки все ни съ мѣста... Ужасные плуты! А что съ нихъ возьмешь? Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю; меня не проведутъ!

— А вы давно здѣсь служите?

— Да я ужъ здѣсь служилъ при Алексѣѣ Петровичѣ,* отвѣчалъ онъ, пріосанившись. Когда онъ пріѣхалъ на Линію, я былъ подпоручикомъ — прибавилъ онъ — и при немъ получилъ два чина за дѣла противъ горцевъ.

— А теперь вы?

— Теперь считаюсь въ третьемъ линейномъ батальонѣ. А вы, смѣю спросить?

Я сказалъ ему.

Разговоръ этимъ кончился, и мы продолжали молча идти другъ подлѣ друга. На вершинѣ горы нашли мы снѣгъ. Солнце закатилось, и ночь послѣдовала за днемъ безъ промежутка, какъ это обыкновенно бываетъ на югѣ; но благодаря отливу снѣговъ, мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла въ гору, хотя уже не такъ круто. Я велѣлъ положить чемоданъ въ тележку, замѣнить быковъ лошадьми, и въ послѣдній разъ огля-

* Ермоловѣ.

нулся внизъ на долину; но густой туманъ, нахлынувшій волнами изъ ущелій, покрывалъ ее совершенно, и ни единый звукъ не долеталъ уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабсъ-капитанъ такъ грозно на нихъ прикрикнулъ, что они въ мигъ разбѣжались. — Вѣдь этакой народъ! сказалъ онъ: и хлѣба порусски назвать не умѣетъ, а выучилъ: «офицеръ, дай на водку?» Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьющіе...

До станціи оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо, что по жужжанію комара можно было слѣдить за его полетомъ. Налѣво чернѣло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насъ темносинія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыя слоями снѣга, рисовались на блѣдномъ небосклонѣ, еще сохранившемъ послѣдній отблескъ зари. На темномъ небѣ начинали мелькать звѣзды и, странно, мнѣ показалось, что онѣ гораздо выше, чѣмъ у насъ, на сѣверѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камни, кой-гдѣ изъ-подъ снѣга выглядывали кустарники; но ни одинъ сухой листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертваго сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

Завтра будетъ славная погода! сказалъ я. Штабсъ-капитанъ не отвѣчалъ ни слова и указалъ мнѣ пальцемъ на высокую гору, поднимавшуюся прямо противъ насъ.

— Что жъ это? спросилъ я.

— Гутъ-Гора.

— Ну, такъ что жъ?

— Посмотрите, какъ курится.

И въ самомъ дѣлѣ, Гутъ-Гора курилась; по бокамъ ея ползали легкія струйки облаковъ, а на вершинѣ лежала черная туча, такая черная, что на темномъ небѣ она казалась пятномъ.

Ужъ мы различали почтовую станцію, кровли окружающихъ ее саклей, и передъ нами мелькали привѣтные огоньки, когда пахнулъ сырой, холодный вѣтеръ, ущелье загудѣло и пошелъ мелкій дождь. Едва успѣлъ я накинуть бурку, какъ повалилъ

снѣгъ. Я съ благоговѣніемъ посмотрѣлъ на штабсъ-капитана...

— Намъ придется здѣсь ночевать, сказалъ онъ съ досадою: въ такую метель черезъ горы не переѣдешь. Что? Были ль обвалы на Крестовой? спросилъ онъ извощика.

— Не было, господинъ, отвѣчалъ осетинъ-извощикъ: — а виситъ много, много.

За неимѣніемъ комнаты для проѣзжающихъ на станціи, намъ отвели ночлегъ въ дымной саклѣ. Я пригласилъ своего спутника выпить вмѣстѣ стаканъ чаю, ибо со мною былъ чугунный чайникъ—единственная отрада моя въ путешествіяхъ по Кавказу.

Сакля была прилѣплена однимъ бокомъ къ скалѣ; три скользкія мокрыя ступени вели къ ея двери. Ощупью вошелъ я и наткнулся на корову (хлѣвъ у этихъ людей замѣняетъ лакейскую). Я не зналъ куда дѣваться: тутъ блѣятъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастію, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и помогъ мнѣ найти другое отверстіе на подобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. По серединѣ трещалъ огонекъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстилался вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худощавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Нечего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашипѣлъ привѣтливо.

— Жалкіе люди! сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остолбенѣніи.

— Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ. Повѣрите ли? Ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго кинжала ни на одномъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да я лѣтъ десять стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода—знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы. Нынче, слава Богу, смирнѣе; а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валъ, ужъ гдѣ нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. А молодцы!...

— А, чай, много съ вами бывало приключеній? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался. Мнѣ страхъ хотѣлось вытянуть изъ него какую нибудь исторійку—желаніе, свойственное всѣмъ путешествующимъ и записывающимъ людямъ. Между тѣмъ чай поспѣлъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бывало!» Это восклицаніе подало мнѣ большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, поразсказать; имъ такъ рѣдко это удается: другой лѣтъ пять стоитъ гдѣ нибудь въ захолустьѣ съ ротой, и цѣлыя пять лѣтъ ему никто не скажетъ: здравствуйте (потому что фельдфебель говоритъ здравія желаю). А поболтать было бы о чемъ: кругомъ народъ дикій, любопытный; каждый день опасность; случаи бываютъ чудные, и тутъ поневолѣ пожалѣешь о томъ, что у насъ такъ мало записываютъ.

— Не хотите ли подбавить рому? сказалъ я моему собесѣднику: у меня есть бѣлый, изъ Тифлиса; теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не нью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятье. Когда я былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтъ навеселѣ, да ужъ и досталось намъ, какъ Алексѣй Петровичъ узналъ: не

дай Господи, какъ онъ разсердился! чуть-чуть не отдалъ подъ судъ, оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть черкесы, продолжалъ онъ: какъ напьются бузы на свадьбѣ, или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ноги унесъ, а еще у мирнòва князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... (онъ набилъ трубку, затянулся и началъ разсказывать) вотъ изволите видѣть, я тогда стоялъ въ крѣпости за Терекомъ съ ротой—этому скоро пять лѣтъ. Разъ, осенью, пришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортѣ былъ офицеръ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти. Онъ явился ко мнѣ въ полной формѣ и объявилъ, что ему велѣно остаться у меня въ крѣпости. Онъ былъ такой тоненькій, бѣленькій; на немъ мундиръ былъ такой новенькій, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказѣ у насъ недавно. «Вы, вѣрно», спросилъ я его, «переведены сюда изъ Россіи?»—Точно такъ, господинъ штабсъ-капитанъ, отвѣчалъ онъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: «Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... ну, да мы съ вами будемъ жить попріятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ, и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мнѣ всегда въ фуражкѣ.» Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ крѣпости.

— А какъ его звали? спросилъ я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печорины мъ. Славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ—а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнѣтъ, увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, за то ужъ иногда какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со смѣху... Да-съ, съ большими странностями, и должно быть богатый человѣкъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещицъ....

— А долго онъ съ вами жилъ? спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ за то памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ мнѣ хлопотъ, не тѣмъ будь помянутъ!... Вѣдь есть, право, этакіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи!

— Необыкновенныя? воскликнулъ я съ видомъ любопытства, подливая ему чаю.

— А вотъ я вамъ разскажу. Верстъ шесть отъ крѣпости жилъ одинъ мирнòй князь. Сынишко его, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился къ намъ ѣздить всякій день, бывало, то за тѣмъ, то за другимъ. И ужъ точно избаловали мы его съ Григорьемъ Александровичемъ. А ужъ какой былъ головорѣзъ, проворный на что хочешь; шапку ли поднять на всемъ скаку, изъ ружья ли стрѣлять. Одно было въ немъ нехорошо: ужасно падокъ былъ на деньги. Разъ, для смѣха, Григорій Александровичъ обѣщался ему дать червонецъ, коли онъ ему украдетъ лучшаго козла изъ отцовскаго стада; и что жъ вы думаете: на другую же ночь притащилъ его за рога. А, бывало, мы его вздумаемъ дразнить, такъ глаза кровью и нальются, и сейчасъ за кинжалъ. «Эй, Азаматъ, не сносить тебѣ головы», говорилъ я ему: «яманъ будетъ твоя башка!»

— Разъ, пріѣзжаетъ самъ старый князь звать насъ на свадьбу: онъ отдавалъ старшую дочь замужъ, а мы были съ ними кунаки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, хоть онъ и татаринъ. Отправились. Въ аулѣ множество собакъ встрѣтило насъ громкимъ лаемъ. Женщины, увидя насъ, пряталась; тѣ, которыхъ мы могли разсмотрѣть въ лицо, были далеко не красавицы. «Я имѣлъ гораздо лучшее мнѣніе о черкешенкахъ», сказалъ мнѣ Григорій Александровичъ.—Погодите, отвѣчалъ я, усмѣхаясь. У меня было свое на умѣ.

— У князя въ саклѣ собралось уже множество народа. У азіятовъ, знаете, обычай всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ приглашать на свадьбу. Насъ приняли со всѣми почестями и повели въ кунацкую. Я однако же не позабылъ подмѣтить, гдѣ поставили нашихъ лошадей, знаете, для непредвидимаго случая.

— Какъ же у нихъ празднуютъ свадьбу? спросилъ я штабсъ-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитаетъ имъ что-то изъ корана; потомъ дарятъ молодыхъ и всѣхъ ихъ родственниковъ; ѣдятъ, пьютъ бузу, потомъ начинается джигитовка и всегда одинъ какой нибудь оборвышъ, засаленный, на скверной хромой лошаденкѣ, ломается, паясничаетъ, смѣшитъ честную компанію; потомъ, когда смеркнется, въ кунацкой начинается, по нашему сказать, балъ. Бѣдный старичишка бренчитъ на трехструнной... забылъ какъ по ихнему... ну, да въ родѣ нашей балалайки. Дѣвки и молодые ребята становятся въ двѣ шеренги, одна противъ другой, хлопаютъ въ ладоши и поютъ. Вотъ выходитъ одна дѣвка и одинъ мужчина на середину, и начинаютъ говорить другъ другу стихи нараспѣвъ, что попало, а остальные подхватываютъ хоромъ. Мы съ Печориномъ сидѣли на почетномъ мѣстѣ и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему...какъ бы сказать?... въ родѣ комплимента.

— А что жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: «стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними, только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду». Печоринъ всталъ, поклонился ей, приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвѣчать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевелъ его отвѣтъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнулъ Григорью Александровичу: ну что, какова? — Прелесть! отвѣчалъ онъ; а какъ ее зовутъ?—Ее зовутъ Бэлою, отвѣчалъ я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько изподлобья на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенькой княжной: изъ угла комнаты на нее смотрѣли другіе два глаза, неподвижные, огненные. Я

сталъ вглядываться, и узналъ моего стараго знакомаго Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирнóй, не то, чтобъ немирнóй. Подозрѣній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замѣченъ. Бывало, онъ приводилъ къ намъ въ крѣпость барановъ и продавалъ дешево, только никогда не торговался: что запроситъ, давай,—хоть зарѣжь, не уступитъ. Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой Кабардѣ—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣздники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги—струнки, и глаза не хуже чѣмъ у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!...

— Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣе, чѣмъ когда нибудь, и я замѣтилъ, что у него подъ бешметомъ надѣта кольчуга.—«Не даромъ на немъ эта кольчуга», подумалъ я: «ужъ онъ вѣрно что нибудь замышляетъ.»

— Душно стало въ саклѣ, и я вышелъ на воздухъ освѣжиться. Ночь ужъ ложилась на горы, и туманъ начиналъ бродить по ущельямъ.

— Мнѣ вздумалось завернуть подъ навѣсъ, гдѣ стояли наши лошади, посмотрѣть, есть ли у нихъ кормъ, и притомъ осторожность никогда не мѣшаетъ; у меня же была лошадь славная, и ужъ не одинъ кабардинецъ на нее умильно поглядывалъ, приговаривая: якши тхе, чекъ яшки!

— Пробираюсь вдоль забора, и вдругъ слышу голоса; одинъ голосъ я тотчасъ узналъ: это былъ повѣса Азаматъ, сынъ нашего хозяина; другой говорилъ рѣже и тише. «О чемъ они тутъ толкуютъ?» подумалъ я: «ужъ не о моей ли лошадкѣ?» Вотъ

присѣлъ я у забора и сталъ прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шумъ пѣсенъ и говоръ голосовъ, вылетая изъ сакли, заглушали любопытный для меня разговоръ.

— «Славная у тебя лошадь! говорилъ Азаматъ; если бъ я былъ хозяинъ въ домѣ и имѣлъ табунъ въ триста кобылъ, то отдалъ бы половину за твоего скакуна, Казбичъ!»

— А! Казбичъ!—подумалъ я, и вспомнилъ кольчугу.

— «Да», отвѣчалъ Казбичъ послѣ нѣкотораго молчанія: «въ цѣлой Кабардѣ не найдешь такой. Разъ—это было за Терекомъ—я ѣздилъ съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось, и мы разсыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; ужъ я слышалъ за собою крики гяуровъ и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилегъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица нырнулъ онъ между вѣтвями; острыя колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ пни, разрывалъ кусты грудью. Лучше было бы мнѣ его бросить у опушки и скрыться въ лѣсу пѣшкомъ, да жаль было съ нимъ разстаться — и пророкъ вознаградилъ меня. Нѣсколько пуль провизжало надъ моей головою; я ужъ слышалъ, какъ спѣшившіеся казаки бѣжали по слѣдамъ... Вдругъ передо мною рытвина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ. Я бросилъ поводья и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видѣли, только ни одинъ не пустился меня искать: они вѣрно думали, что я убился до смерти, и я слышалъ, какъ они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травѣ вдоль по оврагу— смотрю: лѣсъ кончился, нѣсколько казаковъ выѣзжаютъ изъ него на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагёзъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею арканъ; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ мо-

литься. Черезъ нѣсколько мгновеній поднимаю ихъ—и вижу, мой Карагёзъ летитъ, развѣвая хвостъ, вольный какъ вѣтеръ, а гяуры далеко одинъ за другимъ тянутся по степи на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидѣлъ въ своемъ оврагѣ. Вдругъ, что жъ ты думаешь, Азаматъ? во мракѣ слышу, бѣгаетъ по берегу оврага конь, фыркаетъ, ржетъ и бьетъ копытами о землю; я узналъ голосъ моего Карагёза, это былъ онъ, мой товарищъ!... Съ тѣхъ поръ мы не разлучались.»

— И слышно было, какъ онъ трепалъ рукою по гладкой шеѣ своего скакуна, давая ему разныя нѣжныя названья.

— «Если бъ у меня былъ табунъ въ тысячу кобылицъ, сказалъ Азаматъ: то отдалъ бы тебѣ его весь за твоего Карагёза.»

— «Йокъ, не хочу», отвѣчалъ равнодушно Казбичъ.

— «Послушай, Казбичъ, говорилъ, ласкаясь къ нему, Азаматъ:—ты добрый человѣкъ, ты храбрый джигитъ, а мой отецъ боится русскихъ и не пускаетъ меня въ горы; отдай мнѣ свою лошадь, и я сдѣлаю все, что ты хочешь; украду для тебя у отца лучшую его винтовку, или шашку, что только пожелаешь — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеемъ къ рукѣ, сама въ тѣло вопьется; а кольчуга такая, какъ твоя, ни почемъ.»

— Казбичъ молчалъ.

— «Въ первый разъ, какъ я увидѣлъ твоего коня, продолжалъ Азаматъ: когда онъ подъ тобой крутился и прыгалъ раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, въ моей душѣ сдѣлалось что-то непонятное, и съ тѣхъ поръ все мнѣ опостылило: на лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ, стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной; и тоскуя, просиживалъ я на утесѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ являлся вороной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ, какъ стрѣла, хребтомъ; онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!» сказалъ Азаматъ дрожащимъ голосомъ.

— Мнѣ послышалось, что онъ заплакалъ; а надо вамъ сказать, что Азаматъ былъ преупрямый мальчишка, и ничѣмъ, бывало, у него слезъ не выбьешь, даже когда онъ былъ и помоложе.

— Въ отвѣтъ на его слезы послышалось что-то въ родѣ смѣха.

— «Послушай, сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ: видишь, я на все рѣшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она пляшетъ! какъ поетъ! а вышиваетъ золотомъ—чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Хочешь? Дождись меня завтра ночью, тамъ въ ущельѣ, гдѣ бѣжитъ потокъ: я пойду съ нею мимо въ сосѣдній аулъ—и она твоя. Неужели не стоитъ Бэла твоего скакуна?»

— Долго, долго молчалъ Казбичъ; наконецъ, вмѣсто отвѣта, онъ затянулъ старинную пѣсню вполголоса: *

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ,
Сладко любить ихъ—завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купитъ четыре жены,
Конь же лихой не имѣетъ цѣны:
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ.

— Напрасно упрашивалъ его Азаматъ согласиться, и плакалъ, и льстилъ ему, и клялся; наконецъ Казбичъ нетерпѣливо прервалъ его:

— «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ? На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ объ камни.»

— «Меня!» крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло объ кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь и онъ ударился объ плетень такъ, что плетень

* Прошу прощенія у читателей въ томъ, что переложилъ въ стихи пѣсню Казбича, переданную мнѣ разумѣется прозой, но привычка—вторая натура.

зашатался. «Будетъ потѣха!» подумалъ я, кинулся въ конюшню, взнуздалъ лошадей нашихъ и вывелъ ихъ на задній дворъ. Черезъ двѣ минуты ужъ въ саклѣ былъ ужасный гвалтъ. Вотъ что случилось: Азаматъ вбѣжалъ туда въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать. Всѣ выскочили, схватились за ружья—и пошла потѣха! Крикъ, шумъ, выстрѣлы; только Казбичъ ужъ былъ верхомъ и вертѣлся среди толпы по улицѣ, какъ бѣсъ, отмахиваясь шашкой. «Плохое дѣло—въ чужомъ пиру похмѣлье», сказалъ я Григорью Александровичу, поймавъ его за руку: «не лучше ли намъ поскорѣй убраться?»

— Да погодите, чѣмъ кончится.

— Да ужъ, вѣрно, кончится худо; у этихъ азіятовъ все такъ: натянулись бузы—и пошла рѣзня! — Мы сѣли верхомъ и ускакали домой.

— А что Казбичъ? спросилъ я нетерпѣливо у штабсъ-капитана.

— Да что этому народу дѣлается! отвѣчалъ онъ, допивая стаканъ чая—вѣдь ускользнулъ!

— И не раненъ? спросилъ я.

— А Богъ его знаетъ! Живущи разбойники! Видалъ я-съ иныхъ въ дѣлѣ, напримѣръ: вѣдь весь исколотъ, какъ рѣшето, штыками, а все махаетъ шашкой. — Штабсъ-капитанъ послѣ нѣкотораго молчанія продолжалъ, топнувъ ногою о землю.

— Никогда себѣ не прощу одного: чортъ меня дернулъ, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся — такой хитрый!—а самъ задумалъ кое-что.

— А что такое? Разскажите, пожалуйста.

— Ну, ужъ нечего дѣлать! началъ разсказывать, такъ надо продолжать.

— Дня черезъ четыре пріѣзжаетъ Азаматъ въ крѣпость. По обыкновенію, онъ зашелъ къ Григорью Александровичу, который его всегда кормилъ лакомствами. Я былъ тутъ. Зашелъ разговоръ о лошадяхъ, и Печоринъ началъ расхваливать лошадь Казбича: ужъ такая-то она рѣзвая, красивая, словно сер-

на — ну, просто, по его словамъ, этакой и въ цѣломъ мірѣ нѣтъ.

— Засверкали глазёнки у татарченка, а Печоринъ будто не замѣчаетъ; я заговорю о другомъ, а онъ, смотришь, тотчасъ собьетъ разговоръ на лошадь Казбича. Эта исторія продолжалась всякій разъ, какъ пріѣзжалъ Азаматъ. Недѣли три спустя, сталъ я замѣчать, что Азаматъ блѣднѣетъ и сохнетъ, какъ бываетъ отъ любви въ романахъ-съ. Что за диво?...

— Вотъ видите, я ужъ послѣ узналъ всю эту штуку: Григорій Александровичъ до того его раздразнилъ, что хоть въ воду. Разъ, онъ ему и скажи: «Вижу, Азаматъ, что тебѣ больно понравилась эта лошадь, а не видать тебѣ ея, какъ своего затылка! Ну, скажи, что бы ты далъ тому, кто тебѣ ее подарилъ бы?»

— Все, что онъ захочетъ, отвѣчалъ Азаматъ.

— Въ такомъ случаѣ я тебѣ ее достану, только съ условіемъ... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владѣть конемъ; только за него ты долженъ отдать мнѣ сестру Бэлу: Карагёзъ будетъ ея калымомъ. Надѣюсь, что торгъ для тебя выгоденъ.

— Азаматъ молчалъ.

— Не хочешь? Ну, какъ хочешь! Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребенокъ: рано тебѣ ѣздить верхомъ...

— Азаматъ вспыхнулъ.

— А мой отецъ? сказалъ онъ.

— Развѣ онъ никогда не уѣзжаетъ?

— Правда...

— Согласенъ?...

— Согласенъ, прошепталъ Азаматъ, блѣдный какъ смерть.— Когда же?

— Въ первый разъ, какъ Казбичъ пріѣдетъ сюда; онъ обѣщался пригнать десятокъ барановъ; остальное—мое дѣло. Смотри же, Азаматъ!

— Вотъ они и сладили это дѣло... по правдѣ сказать, нехорошее дѣло! Я послѣ и говорилъ это Печорину, да только онъ

мнѣ отвѣчалъ, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имѣя такого милаго мужа, какъ онъ, потому что, по ихнему, онъ все-таки ея мужъ, а что Казбичъ—разбойникъ, котораго надобно было наказать. Сами посудите, что жъ я могъ отвѣчать противъ этого?... Но въ то время я ничего не зналъ объ ихъ заговорѣ. Вотъ, разъ пріѣхалъ Казбичъ и спрашиваетъ, не нужно ли барановъ и меду; я велѣлъ ему привести на другой день. «Азаматъ!» сказалъ Григорій Александровичъ: «завтра Карагёзъ въ моихъ рукахъ; если нынче ночью Бэла не будетъ здѣсь, то не видать тебѣ коня...»

— Хорошо! сказалъ Азаматъ и поскакалъ въ аулъ. Вечеромъ Григорій Александровичъ вооружился и выѣхалъ изъ крѣпости: какъ они сладили это дѣло—не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видѣлъ, что поперегъ сѣдла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? спросилъ я у штабсъ-капитана.

— Сейчасъ, сейчасъ. На другой день утромъ рано пріѣхалъ Казбичъ и пригналъ десятокъ барановъ на продажу. Привязавъ лошадь у забора, онъ вошелъ ко мнѣ; я поподчивалъ его чаемъ, потому что хотя разбойникъ онъ, а все-таки былъ моимъ кунакомъ. *

— Стали мы болтать о томъ о семъ... Вдругъ, смотрю, Казбичъ вздрогнулъ, перемѣнился въ лицѣ — и къ окну; но окно, къ несчастію, выходило на задворье. — «Что съ тобой?» спросилъ я.

— Моя лошадь!... лошадь! сказалъ онъ, весь дрожа.

Точно, я услышалъ топотъ копытъ:—это, вѣрно, какой нибудь казакъ пріѣхалъ...

— Нѣтъ! Урусъ-яманъ, яманъ! заревѣлъ онъ и опрометью бросился вонъ, какъ дикій барсъ. Въ два прыжка онъ былъ ужъ на дворѣ; у воротъ крѣпости часовой загородилъ ему путь ружьемъ; онъ перескочилъ черезъ ружье и кинулся бѣжать по до-

* Кунакъ значитъ пріятель.

рогѣ... Вдали вилась пыль — Азаматъ скакалъ на лихомъ Карагёзѣ; на-бѣгу Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье и выстрѣлилъ. Съ минуту онъ остался неподвиженъ, пока не убѣдился, что далъ промахъ; потомъ завизжалъ, ударилъ ружье о камень, разбилъ его въ дребезги, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ... Вотъ кругомъ него собрался народъ изъ крѣпости— онъ никого не замѣчалъ: постояли, потолковали, и пошли назадъ; я велѣлъ возлѣ него положить деньги за барановъ — онъ ихъ не тронулъ, лежалъ себѣ ничкомъ, какъ мертвый. Повѣрите ли, онъ такъ пролежалъ до поздней ночи и цѣлую ночь?... Только на другое утро пришелъ онъ въ крѣпость и сталъ просить, чтобъ ему назвали похитителя. Часовой, который видѣлъ какъ Азаматъ отвязалъ коня и ускакалъ на немъ, не почелъ за нужное скрывать. При этомъ имени глаза Казбича засверкали, и онъ отправился въ аулъ, гдѣ жилъ отецъ Азамата.

— Что же отецъ?

— Да въ томъ-то и штука, что его Казбичъ не нашелъ: онъ куда-то уѣзжалъ дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

— А когда отецъ возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрецъ: вѣдь смекнулъ, что не сносить ему головы, если бъ онъ попался. Такъ съ тѣхъ поръ и пропалъ: вѣрно, пристalъ къ какой нибудь шайкѣ абрековъ, да сложилъ буйную голову за Терекомъ, или за Кубанью; туда и дорога!...

— Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Какъ я только провѣдалъ, что черкешенка у Григорья Александровича, то надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнатѣ на постели, подложивъ одну руку подъ затылокъ, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замокъ, и ключа въ замкѣ не было. Я все это тотчасъ замѣтилъ... Я началъ кашлять и постукивать каблуками о порогъ—только онъ притворялся, будто не слышитъ.

— Господинъ прапорщикъ! сказалъ я какъ можно строже:— развѣ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

— Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвѣчалъ онъ, не поднимаясь.

— Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучитъ меня забота!

— Я все знаю, отвѣчалъ я, подошедъ къ кровати.

— Тѣмъ лучше: я не въ духѣ разсказывать.

— Господинъ прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— Что за шутки! Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!...

— Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ: послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо.

— Что̀ не хорошо?

— Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматъ!... Ну, признайся, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?

— Ну, что прикажете отвѣчать на это?... Я сталъ въ-тупикъ. Однако жъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ ее требовать, то надо будетъ отдать.

— Вовсе не надо!

— Да онъ узнаетъ.

— А какъ онъ узнаетъ?

— Я опять сталъ въ-тупикъ.—«Послушайте, Максимъ Максимычъ!» сказалъ Печоринъ, приподнявшись: «вѣдь вы добрый человѣкъ — а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее зарѣжетъ, или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить, оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мнѣ ее, сказалъ я.

— Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть: сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говоритъ и не смотритъ; пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ

нашу духанщицу: она знаетъ потатарски, будетъ ходить за нею и пріучитъ ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будетъ принадлежать кромѣ меня—прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дѣлать? Есть люди, съ которыми непремѣнно должно соглашаться.

— А что? спросилъ я у Максима Максимыча: въ самомъ ли дѣлѣ онъ пріучилъ ее къ себѣ, или она зачахла въ неволѣ, съ тоски по родинѣ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинѣ? Изъ крѣпости видны были тѣ же горы, что изъ аула — а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да притомъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что нибудь; первые дни она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицѣ и возбуждали ея краснорѣчіе. Ахъ, подарки! чего не сдѣлаетъ женщина за цвѣтную тряпичку... Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичъ, между тѣмъ учился потатарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало по малу, она пріучилась на него смотрѣть, сначала изподлобья, искоса; и все грустила, напѣвала свои пѣсни въ полголоса, такъ что, бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шелъ я мимо и заглянулъ въ окно; Бэла сидѣла на лежанкѣ, повѣсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стоялъ передъ нею. «Послушай, моя пери,» говорилъ онъ: «вѣдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Развѣ ты любишь какого нибудь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпущу домой?»—Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой.—«Или», продолжалъ онъ, «я тебѣ совершенно ненавистенъ?»—Она вздохнула.—«Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?»—Она поблѣднѣла и молчала.—«Повѣрь мнѣ, Аллахъ для всѣхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если онъ мнѣ позволяетъ любить тебя, отчего же запретитъ тебѣ платить мнѣ взаимностью?»—Она посмотрѣла ему пристально въ лицо, какъ будто пораженная этой

новой мыслію; въ глазахъ ея выразились недовѣрчивость и желаніе убѣдиться. Что за глаза! они такъ и сверкали, будто два угля.

— Послушай, милая, добрая Бэла! продолжалъ Печоринъ: ты видишь, какъ я тебя люблю; я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобъ ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?—Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ; потомъ улыбнулась ласково и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобъ она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: «поджалуста, не нада, не нада». Онъ сталъ настаивать; она задрожала, заплакала.—«Я твоя плѣнница», говорила она: «твоя раба, конечно, ты можешь меня принудить»—и опять слезы.

— Григорій Александровичъ ударилъ себя въ лобъ кулакомъ и выскочилъ въ другую комнату. Я зашелъ къ нему; онъ сложа руки прохаживался угрюмый взадъ и впередъ. «Что, батюшка?» сказалъ я ему.—«Дьяволъ, а не женщина!» отвѣчалъ онъ: «только я вамъ даю мое честное слово, что она будетъ моя...» Я покачалъ головою. «Хотите пари?» сказалъ онъ: «черезъ недѣлю!»—Извольте!—мы ударили по рукамъ и разошлись.

— На другой день онъ тотчасъ отправилъ нарочнаго въ Кизляръ за разными покупками; привезено было множество разныхъ персидскихъ матерій, всѣхъ не перечесть.

— Какъ вы думаете, Максимъ Максимычъ, сказалъ онъ мнѣ, показывая подарки:—устоитъ ли азіатская красавица противъ такой батареи? — Вы черкешенокъ не знаете, отвѣчалъ я; это совсѣмъ не то, что грузинки или закавказскія татарки—совсѣмъ не то. У нихъ свои правила; онѣ иначе воспитаны.—Григорій Александровичъ улыбнулся и сталъ насвистывать маршъ.

— А вѣдь вышло, что я былъ правъ: подарки подѣйствовали только въ половину: она стала ласковѣе, довѣрчивѣе—да и только; такъ что онъ рѣшился на послѣднее средство. Разъ утромъ онъ велѣлъ осѣдлать лошадь, одѣлся почеркесски, во-

оружился и вошелъ къ ней. «Бэла!» сказалъ онъ: «ты знаешь, какъ я тебя люблю. Я рѣшился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся — прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имѣю; если хочешь, вернись къ отцу—ты свободна. Я виноватъ передъ тобой и долженъ наказать себя. Прощай, я ѣду—куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударомъ шашки; тогда вспомни обо мнѣ и прости меня.»—Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руку, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль —такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери; онъ дрожалъ—и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только едва онъ коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею.—Повѣрите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то есть, знаете, не то чтобъ заплакалъ, а такъ—глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы: мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

— И продолжительно было ихъ счастіе? спросилъ я.

— Да, она намъ призналась, что съ того дня, какъ увидѣла Печорина, онъ часто ей грезился во снѣ, и что ни одинъ мужчина никогда не производилъ на нее такого впечатлѣнія.—Да, они были счастливы!

— Какъ это скучно! воскликнулъ я невольно. Въ самомъ дѣлѣ, я ожидалъ трагической развязки, и вдругъ такъ неожиданно обмануть мои надежды!... «Да неужели,» продолжалъ я: «отецъ не догадался, что она у васъ въ крѣпости?»

— То есть, кажется, онъ подозрѣвалъ. Спустя нѣсколько дней, узнали мы, что старикъ убитъ. Вотъ какъ это случилось..

Вниманіе мое пробудилось снова.

— Надо вамъ сказать, что Казбичъ вообразилъ, будто Аза-

матъ съ согласія отца укралъ у него лошадь, по крайней мѣрѣ я такъ полагаю. Вотъ онъ разъ и дожидался у дороги, версты три за ауломъ; старикъ возвращался изъ напрасныхъ поисковъ за дочерью; уздени его отстали—это было въ сумерки — онъ ѣхалъ задумчиво шагомъ, какъ вдругъ Казбичъ, будто кошка, нырнулъ изъ-за куста, прыгъ сзади его на лошадь, ударомъ кинжала свалилъ его на земь, схватилъ поводья—и былъ таковъ; нѣкоторые уздени все это видѣли съ пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Онъ вознаградилъ себя за потерю коня и отмстилъ, сказалъ я, чтобъ вызвать мнѣніе моего собесѣдника.

— Конечно, по-ихнему, сказалъ штабсъ-капитанъ, — онъ былъ совершенно правъ.

Меня невольно поразила способность русскаго человѣка примѣняться къ обычаямъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. Не знаю, достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только онъ доказываетъ неимовѣрную его гибкость и присутствіе этого яснаго, здраваго смысла, который прощаетъ зло вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость, или невозможность его уничтоженія.

Между тѣмъ чай былъ выпитъ; давно запряженные кони продрогли на снѣгу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на западѣ и готовъ ужъ былъ погрузиться въ черныя свои тучи, висѣвшія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки разодраннаго занавѣса. Мы вышли изъ сакли. Вопреки предсказанію моего спутника, погода прояснилась и обѣщала намъ тихое утро; хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли по мѣрѣ того, какъ блѣдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутыя отлогости горъ, покрытыя дѣвственными снѣгами. Направо и налѣво чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ сосѣднихъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дня.

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгалъ про-

хладный вѣтеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клячъ тащили наши повозки по извилистой дорогѣ на Гудъ-гору. Мы шли пѣшкомъ сзади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядѣть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакѣ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинѣ Гудъ-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать: кровь поминутно приливала въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ—чувство дѣтское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какой была нѣкогда и вѣрно будетъ когда нибудь опять. Тотъ, кому случалось, какъ мнѣ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, разсказать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ, наконецъ, мы взобрались на Гудъ-гору, остановились и оглянулись: на ней висѣло сѣрое облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурею; но на востокѣ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнѣе, живѣе во сто кратъ, чѣмъ въ насъ, восторженныхъ разскащикахъ на словахъ и на бумагѣ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолѣпнымъ картинамъ? сказалъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное біеніе сердца.

— Я слышалъ, напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумѣется, если хотите, оно пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, прибавилъ онъ, указывая на востокъ: что за край!

И точно такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ видѣть: подъ нами лежала Кайшаурская долина, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными нитями; голубоватый туманъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣснины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налѣво гребни горъ, одинъ выше другаго, пересѣкались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ же горы, но хоть бы двѣ скалы похожія одна на другую—и всѣ эти снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что кажется, тутъ бы и остался жить на вѣки; солнце чуть показалось изъ-за темносиней горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. «Я говорилъ вамъ», воскликнулъ онъ, «что нынѣче будетъ погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь!» закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цѣпи подъ колеса вмѣсто тормазовъ, чтобъ они не раскатывались; взяли лошадей подъ-уздцы и начали спускаться; направо былъ утесъ, налѣво пропасть такая, что цѣлая деревушка осетинъ, живущихъ на днѣ ея, казалась гнѣздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здѣсь, въ глухую ночь, по этой дорогѣ гдѣ двѣ повозки не могутъ разъѣхаться, какой нибудь курьеръ разъ десять въ годъ проѣзжаетъ, не вылѣзая изъ своего тряскаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извощиковъ былъ русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ-уздцы со всѣми возможными предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ—а нашъ безпечный русакъ даже не слѣзъ съ облучка! Когда я ему замѣтилъ, что онъ могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ я вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: «И, баринъ! Богъ дастъ не хуже ихъ доѣдемъ; вѣдь намъ не впервые!»—и онъ былъ правъ: мы точно могли

бы не доѣхать, однако жъ все-таки доѣхали. И если бъ всѣ люди побольше разсуждали, то убѣдились бы, что жизнь не стоитъ того, чтобъ объ ней такъ много заботиться...

Но, можетъ быть, вы хотите знать окончаніе исторіи Бэлы? —Во-первыхъ, я пишу не повѣсть, а путевыя записки: слѣдовательно, не могу заставить штабсъ-капитана разсказывать прежде, нежели онъ началъ разсказывать въ самомъ дѣлѣ. Итакъ, погодите, или, если хотите переверните нѣсколько страницъ, только я вамъ этого не совѣтую, потому что переѣздъ черезъ Крестовую гору (или, какъ называетъ ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоинъ вашего любопытства. И такъ, мы спускались съ Гудъ-горы въ Чертовую долину... Вотъ романтическое названіе! Вы уже видите гнѣздо злаго духа между неприступными утесами—не тутъ-то было: названіе Чертовой долины происходитъ отъ слова «черта», а не «чортъ»—ибо здѣсь когда-то была граница Грузіи. Эта долина была завалена снѣговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратовъ, Тамбовъ и прочія милыя мѣста нашего отечества.

«Вотъ и Крестовая!» сказалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, когда мы съѣхали въ Чертовую долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою снѣга; на его вершинѣ чернѣлся каменный крестъ, и мимо его вела едва-едва замѣтная дорога, по которой проѣзжаютъ только тогда, когда боковая завалена снѣгомъ: наши извощики объявили, что обваловъ еще не было, и сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотѣ встрѣтили мы человѣкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцѣпясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу тележку. И точно, дорога опасная: направо висѣли надъ нашими головами груды снѣга, готовыя, кажется, при первомъ порывѣ вѣтра оборваться въ ущелье; узкая дорога частію была покрыта снѣгомъ, который въ иныхъ мѣстахъ проваливался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ мы сами пробирались; лошади падали;—налѣво зіяла глубокая разсѣлина, гдѣ катился потокъ, то скрываясь подъ ледяной корою, то

съ пѣною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору—двѣ версты въ два часа! Между тѣмъ тучи спустились, повалилъ градъ, снѣгъ; вѣтеръ, врываясь въ ущелья, ревѣлъ, свисталъ, какъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманѣ, котораго волны, одна другой гуще и тѣснѣе, набѣгали съ востока... Кстати, объ этомъ крестѣ существуетъ странное, но всеобщее преданіе, будто его поставилъ императоръ Петръ I, проѣзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ Дагестанѣ, и во-вторыхъ, на крестѣ было написано крупными буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, не смотря на надпись, такъ укоренилось, что, право, не знаешь чему вѣрить, тѣмъ болѣе, что мы не привыкли вѣрить надписямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенѣвшимъ скаламъ и топкому снѣгу, чтобъ достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудѣла сильнѣе и сильнѣе, точно наша родимая, сѣверная; только ея дикіе напѣвы были печальнѣе, заунывнѣе. «И ты, изгнанница,» думалъ я, «плачешь о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдѣ развернуть холодныя крылья, а здѣсь тебѣ душно и тѣсно какъ орлу, который съ крикомъ бьется о рѣшетку желѣзной своей клѣтки.»

— Плохо! говорилъ штабсъ-капитанъ: посмотрите, кругомъ ничего не видно, только туманъ да снѣгъ; того и гляди, что свалимся въ пропасть или засядемъ въ трущобу; а тамъ пониже, чай, Байдара такъ разыгралась, что и не переѣдешь. Ужъ эта мнѣ Азія! что люди, что рѣчки—никакъ нельзя положиться.

Извощики съ крикомъ и бранью колотили лошадей, которыя фыркали, упирались, не хотѣли ни за что въ свѣтѣ тронуться съ мѣста, не смотря на красноречіе кнутовъ. «Ваше благородіе,» сказалъ наконецъ одинъ: «вѣдь мы нынче до Коби не доѣдемъ; не прикажете ли, покамѣстъ можно, своротить налѣво? Вонъ тамъ что-то на косогорѣ чернѣется—вѣрно, сакли: тамъ всегда-съ проѣзжающіе останавливаются въ погоду; они говорятъ,

что проведутъ, если дадите на водку,» прибавилъ онъ, указывая на осетина.

— Знаю, братецъ, знаю безъ тебя! сказалъ штабсъ-капитанъ. Ужъ эти бестіи! рады придраться, чтобъ сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, сказалъ я, что безъ нихъ намъ было бы хуже.

— Все такъ, пробормоталъ онъ:—ужъ эти мнѣ проводники! чутьемъ слышатъ, гдѣ можно попользоваться, будто безъ нихъ и нельзя найти дороги.

Вотъ мы свернули налѣво и кое-какъ, послѣ многихъ хлопотъ, добрались до скуднаго пріюта, состоящаго изъ двухъ саклей, сложенныхъ изъ плитъ и булыжника и обведенныхъ такою же стѣною. Оборванные хозяева насъ приняли радушно. Я послѣ узналъ, что правительство имъ платитъ и кормитъ ихъ съ условіемъ, чтобъ они принимали путешественниковъ, застигнутыхъ бурею.—Все къ лучшему, сказалъ я, присѣвъ у огня:—теперь вы мнѣ доскажете вашу исторію про Бэлу; я увѣренъ, что этимъ не кончилось.

— А почему жъ вы такъ увѣрены? отвѣчалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, примигивая съ хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не въ порядкѣ вещей: что началось необыкновеннымъ образомъ, то должно такъ же и кончиться.

— Вѣдь вы угадали...

— Очень радъ.

— Хорошо вамъ радоваться, а мнѣ такъ право грустно, какъ вспомню. Славная была дѣвочка, эта Бэла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нѣтъ семейства: объ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстія, а запастись женой не догадался раньше — такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу; я и радъ былъ, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пѣсни, иль пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-съ и въ Москвѣ въ благородномъ собраніи, лѣтъ двадцать тому назадъ,

—только куда имъ! совсѣмъ не то!... Григорій Александровичъ наряжалъ ее какъ куколку, холилъ, лелѣялъ, и она у него такъ похорошѣла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!...

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго отъ нея это скрывали, пока она не привыкла къ своему положенію; а когда сказали, такъ она дня два поплакала, а потомъ забыла.

— Мѣсяца четыре все шло какъ нельзя лучше. Григорій Александровичъ, я ужъ кажется говорилъ, страстно любилъ охоту: бывало, такъ его въ лѣсъ и подмываетъ за кабанами, или козами—а тутъ хоть бы вышелъ за крѣпостной валъ. Вотъ, однако жъ, смотрю, онъ сталъ снова задумываться; ходитъ по комнатѣ, загнувъ руки назадъ; потомъ разъ, не сказавъ никому, отправился стрѣлять—цѣлое утро пропадалъ; разъ и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо,» подумалъ я: «вѣрно между ними черная кошка проскочила.»

— Одно утро захожу къ нимъ—какъ теперь передъ глазами: Бэла сидѣла на кровати въ черномъ шелковомъ бешметѣ, блѣденькая, такая печальная, что я испугался.

— А гдѣ Печоринъ? спросилъ я.

— На охотѣ.

— Сегодня ушелъ?—Она молчала, какъ будто ей трудно было выговорить.

— Нѣтъ, еще вчера, наконецъ сказала она тяжело вздохнувъ.

— Ужъ не случилось ли съ нимъ чего?

— Я вчера цѣлый день думала, думала, отвѣчала она сквозь слезы; придумывала разныя несчастія: то казалось мнѣ, что его ранилъ дикій кабанъ, то чеченецъ утащилъ въ горы... А нынѣче мнѣ ужъ кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать!

— Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его—я княжеская дочь!...

— Я сталъ ее уговаривать. Послушай, Бэла, вѣдь нельзя же ему вѣкъ сидѣть здѣсь, какъ пришитому къ твоей юбкѣ: онъ человѣкъ молодой, любитъ погоняться за дичью—походитъ да и придетъ; а если ты будешь грустить, то скорѣй ему наскучишь.

— Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела.—И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было съ нею мнѣ дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ!

Наконецъ я ей сказалъ: «хочешь, пойдемъ прогуляться на валъ, погода славная!»—Это было въ сентябрѣ. И точно, день былъ чудесный, свѣтлый и не жаркій; всѣ горы видны были какъ на блюдечкѣ. Мы пошли, походили по крѣпостному валу взадъ и впередъ, молча; наконецъ она сѣла на дернъ, и я сѣлъ возлѣ нея. Ну, право, вспомнить смѣшно: я бѣгалъ за нею, точно какая нибудь нянька.

— Крѣпость наша стояла на высокомъ мѣстѣ, и видъ былъ съ вала прекрасный: съ одной стороны широкая поляна, изрытая нѣсколькими балками,* оканчивалась лѣсомъ, который тянулся до самаго хребта горъ; кое-гдѣ на ней дымились аулы, ходили табуны; съ другой бѣжала мелкая рѣчка, и къ ней примыкалъ частый кустарникъ, покрывавшій кремнистыя возвышенности, которыя соединялись съ главной цѣпью Кавказа. Мы сидѣли на углу бастіона, такъ что въ обѣ стороны могли видѣть все. Вотъ, смотрю: изъ лѣса выѣзжаетъ кто-то на сѣрой лошади, все ближе и ближе, и наконецъ остановился по ту сторону рѣчки саженяхъ во сто отъ насъ, и началъ кружить лошадь свою

* Овраги.

какъ бѣшеный. Что за притча!... «Посмотри-ка, Бэла, сказалъ я: у тебя глаза молодые, что это за джигитъ: кого это онъ пріѣхалъ тѣшить?...»

— Она взглянула, и вскрикнула: «это Казбичъ!»

— Ахъ онъ разбойникъ! смѣяться что ли пріѣхалъ надъ нами?—Всматриваюсь, точно Казбичъ: его смуглая рожа, оборванный, грязный какъ всегда. — «Это лошадь отца моего,» сказала Бэла, схвативъ меня за руку; она дрожала какъ листъ, и глаза ея сверкали.—Ага! подумалъ я: и въ тебѣ, душенька, не молчитъ разбойничья кровь!

— Подойди-ка сюда, сказалъ я часовому: осмотри ружье, да ссади мнѣ этого молодца—получишь рубль серебромъ.—«Слушаю, ваше высокоблагородіе; только онъ не стоитъ на мѣстѣ...» —Прикажи! сказалъ я, смѣясь. — «Эй! любезный!» закричалъ часовой, махая ему рукой: «подожди маленько, что ты крутишься, какъ волчекъ?»—Казбичъ остановился въ самомъ дѣлѣ и сталъ вслушиваться: вѣрно думалъ, что съ нимъ заводятъ переговоры—какъ не такъ!... Мой гренадеръ приложился... бацъ!... мимо;—только-что порохъ на полкѣ вспыхнулъ, Казбичъ толкнулъ лошадь, и она дала скачекъ въ сторону. Онъ привсталъ на стременахъ, крикнулъ что-то по своему, погрозилъ нагайкой—и былъ таковъ.

— Какъ тебѣ не стыдно! сказалъ я часовому.

— Ваше высокоблагородіе! умирать отправился, отвѣчалъ онъ: такой проклятый народъ, съ разу не убьешь.

— Четверть часа спустя, Печоринъ вернулся съ охоты. Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствіе... Даже я ужъ на него разсердился.—Помилуйте, говорилъ я: вѣдь вотъ сейчасъ тутъ былъ за рѣчкою Казбичъ, и мы по немъ стрѣляли; ну, долго ли вамъ на него наткнуться? Эти горцы народъ мстительный; вы думаете, что онъ не догадывается, что вы частію помогли Азамату? А я бьюсь объ закладъ, что нынѣче онъ узналъ Бэлу. Я знаю, что годъ тому назадъ она ему больно нравилась — онъ мнѣ самъ говорилъ—и если бъ надѣялся собрать порядочный калымъ, то

вѣрно бы посватался...—Тутъ Печоринъ задумался.—Да, отвѣчалъ онъ: надо быть осторожнѣе... Бэла! съ нынѣшняго дня ты не должна болѣе ходить на крѣпостной валъ.

— Вечеромъ я имѣлъ съ нимъ длинное объясненіе: мнѣ было досадно, что онъ перемѣнился къ этой бѣдной дѣвочкѣ; кромѣ того, что онъ половину дня проводилъ на охотѣ, его обращеніе стало холодно, ласкалъ онъ ее рѣдко, и она замѣтно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большіе глаза потускнѣли. Бывало спросишь: о чемъ ты вздохнула, Бэла? ты печальна?—«Нѣтъ.» Тебѣ чего нибудь хочется? «Нѣтъ». Ты тоскуешь по роднымъ? «У меня нѣтъ родныхъ.» Случалось по цѣлымъ днямъ, кромѣ «да» да «нѣтъ», отъ нея ничего больше не добьешься.

— Вотъ объ этомъ-то я и сталъ ему говорить. «Послушайте, Максимъ Максимычъ,» отвѣчалъ онъ: «у меня несчастный характеръ: воспитаніе ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ—не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ. Разумѣется, это имъ плохое утѣшеніе—только дѣло въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги, и разумѣется, удовольствія эти мнѣ опротивѣли. Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто... Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава, ни счастье отъ нихъ не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача, и чтобъ добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скука не живетъ подъ чеченскими пулями—напрасно: черезъ мѣсяцъ я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что право обращалъ больше вниманія на комаровъ, и мнѣ стало скучнѣе прежняго, потому

что я потерялъ почти послѣднюю надежду. Когда я увидѣлъ Бэлу въ своемъ домѣ, когда въ первый разъ, держа ее на колѣнахъ, цѣловалъ ея черные локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангелъ, посланный мнѣ сострадательной судьбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ лучше любви зиатной барыни; невѣжество и простосердечіе одной также надоѣдаютъ, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, я за нее отдамъ жизнь—только мнѣ съ нею скучно... Глупецъ я, или злодѣй—не знаю; но то вѣрно, что я также очень достоинъ сожалѣнія, можетъ быть больше, нежели она: во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало; къ печали я также легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день отъ дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будетъ можно, отправлюсь—только не въ Европу, избави Боже!—поѣду въ Америку, въ Аравію, въ Индію—авось гдѣ нибудь умру на дорогѣ! По крайней мѣрѣ, я увѣренъ, что это послѣднее утѣшеніе не скоро истощится, съ помощію бурь и дурныхъ дорогъ.»— Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врѣзались у меня въ памяти, потому что въ первый разъ я слышалъ такія вещи отъ двадцатипяти-лѣтняго человѣка, и Богъ дастъ въ послѣдній... Что за диво! Скажите-ка, пожалуста, продолжалъ штабсъ-капитанъ, обращаясь ко мнѣ: вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно—неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвѣчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что впрочемъ разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастіе, какъ порокъ.— Штабсъ-капитанъ не понялъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!... отвѣчалъ онъ: да вѣдь они всегда были отъявленные пьяницы!...

Я невольно вспомнилъ объ одной московской барынѣ, которая утверждала, что Байронъ былъ больше ничего, какъ пьяница. Впрочемъ, замѣчаніе штабсъ-капитана было извинительнѣе: чтобъ воздержаться отъ вина, онъ конечно старался увѣрять себя, что всѣ въ мірѣ несчастія происходятъ отъ пьянства.

Между тѣмъ онъ продолжалъ свой разсказъ такимъ образомъ:

— Казбичъ не являлся снова. Только, не знаю почему, я не могъ выбить изъ головы мысль, что онъ не даромъ пріѣзжалъ и затѣваетъ что-нибудь худое.

— Вотъ, разъ уговариваетъ меня Печоринъ ѣхать съ нимъ на кабана; я долго отнѣкивался: ну, что мнѣ былъ за диковинка кабанъ! Однако жъ утащилъ-таки онъ меня съ собою.—Мы взяли человѣкъ пять солдатъ и уѣхали рано утромъ. До десяти часовъ шныряли по камышамъ и по лѣсу—нѣтъ звѣря. «Эй, не воротиться ли?» говорилъ я. «Къ чему упрямиться? Ужъ, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорій Александровичъ, не смотря на зной и усталость, не хотѣлъ воротиться безъ добычи... Таковъ ужъ былъ человѣкъ: что задумаетъ—подавай; видно, въ дѣтствѣ былъ маменькой избалованъ...—Наконецъ въ полдень отыскали проклятаго кабана—пафъ! пафъ! не тутъ-то было: ушелъ въ камыши... такой ужъ былъ несчастный день!... Вотъ мы, отдохнувъ маленько, отправились домой.

— Мы ѣхали рядомъ, молча, распустивъ поводья, и были ужъ почти у самой крѣпости; только кустарникъ закрывалъ ее отъ насъ. Вдругъ выстрѣлъ... Мы взглянули другъ на друга: насъ поразило одинаковое подозрѣніе... Опрометью поскакали мы на выстрѣлъ—смотримъ: на валу солдаты собрались въ кучу и указываютъ въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Григорій Александровичъ взвизгнулъ не хуже любаго чеченца; ружье изъ чехла—и туда; я за нимъ.

— Къ счастью, по причинѣ неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались изъ-подъ сѣдла и съ каждымъ

мгновеніемъ мы были все ближе и ближе... И наконецъ я узналъ Казбича, только не могъ разобрать, что такое онъ держалъ передъ собою. Я тогда поравнялся съ Печоринымъ и кричу ему: Это Казбичъ!... Онъ посмотрѣлъ на меня, кивнулъ головою, и ударилъ коня плетью.

— Вотъ наконецъ мы были ужъ отъ него на ружейный выстрѣлъ; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже нашихъ, только, не смотря на всѣ его старанія, она не больно подвигалась впередъ. Я думаю, въ эту минуту онъ вспомнилъ своего Карагёза...

— Смотрю: Печоринъ на скаку приложился изъ ружья... «Не стрѣляйте!» крикнулъ я ему: «берегите зарядъ; мы и такъ его догонимъ.»—Ужъ эта молодежь! вѣчно некстати горячится... Но выстрѣлъ раздался и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сдѣлала еще прыжковъ десятокъ, споткнулась и упала на колѣни. Казбичъ соскочилъ, и тогда мы увидѣли, что онъ держалъ на рукахъ своихъ женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бѣдная Бэла!—Онъ что-то намъ закричалъ по-своему и занесъ надъ нею кинжалъ... Медлить было нечего: я выстрѣлилъ въ свою очередь, на удачу; вѣрно пуля попала ему въ плечо, потому что вдругъ онъ опустилъ руку. Когда дымъ разсѣялся, на землѣ лежала раненая лошадь и возлѣ нея Бэла; а Казбичъ, бросивъ ружье, по кустарникамъ, точно кошка, карабкался на утесъ. Хотѣлось мнѣ его снять оттуда—да не было заряда готоваго! Мы соскочили съ лошадей и кинулись къ Бэлѣ. Бѣдняжка, она лежала неподвижно и кровь лилась изъ раны ручьями... Такой злодѣй! хоть бы въ сердце ударилъ — ну, такъ ужъ и быть, однимъ разомъ все бы кончилъ, а то въ спину... самый разбойничій ударъ! Она была безъ памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану какъ можно туже. Напрасно Печоринъ цѣловалъ ея холодныя губы—ничто не могло привести ее въ себя.

— Печоринъ сѣлъ верхомъ; я поднялъ ее съ земли и кое-какъ посадилъ къ нему на сѣдло; онъ обхватилъ ее рукой, и мы поѣхали назадъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, Григо-

рій Александровичъ сказалъ мнѣ: «послушайте, Максимъ Максимычъ, мы этакъ ее не довеземъ живую.»—«Правда!» сказалъ я, и мы пустили лошадей во весь духъ.—Насъ у воротъ крѣпости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую къ Печорину и послали за лекаремъ. Онъ былъ хотя пьянъ, но пришелъ, осмотрѣлъ рану и объявилъ, что она больше дня жить не можетъ; только онъ ошибся...

— Выздоровѣла? спросилъ я у штабсъ-капитана, схвативъ его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ:—а ошибся лекарь тѣмъ, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мнѣ, какимъ образомъ ее похитилъ Казбичъ?

— А вотъ какъ: не смотря на запрещеніе Печорина, она вышла изъ крѣпости къ рѣчкѣ. Было, знаете, очень жарко; она сѣла на камень и опустила ноги въ воду. Вотъ Казбичъ подкрался—цапъ-царапъ ее, зажалъ ротъ и потащилъ въ кусты, а тамъ вскочилъ на коня, да и тягу. Она, между тѣмъ, успѣла закричать; часовые всполошились, выстрѣлили, да мимо, а мы тутъ и подоспѣли.

— Да зачѣмъ Казбичъ ее хотѣлъ увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы извѣстный воровской народъ: что плохо лежитъ, не могутъ не стянуть; другое и не нужно, а все украдетъ... ужъ въ этомъ прошу ихъ извинить! Да притомъ она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина.—«Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка» (то есть, понашему, душенька), отвѣчалъ онъ, взялъ ее за руку.—Я умру! сказала она.

— Мы начали ее утѣшать: говорили, что лекарь обѣщалъ ее вылечить непремѣнно. Она покачала головой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла; по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ, давала ему разныя нѣжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою—не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видалъ.

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижная, блѣдная, и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышетъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?... Этакая мысль придетъ вѣдь только умирающему!... Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свѣтѣ душа ея никогда не встрѣтится съ душою Григорья Александровича, и что иная женщина будетъ въ раю его подругой. Мнѣ пришло на мысль окрестить ее передъ смертью: я ей это предложилъ; она посмотрѣла на меня въ нерѣшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвѣчала, что она умретъ въ той вѣрѣ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цѣлый день. Какъ она перемѣнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большіе, большіе; губы горѣли; она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, цѣловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъ утромъ стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобъ онъ ее поцѣловалъ. Онъ сталъ на колѣни возлѣ кровати, приподнялъ ея голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ея холодѣющимъ

губамъ: она крѣпко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцѣлуѣ хотѣла передать ему свою душу... Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, что̀ бы съ ней сталось, если бъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно...

— Половину слѣдующаго дня она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лекарь припарками и микстурой.—Помилуйте! говорилъ я ему: вѣдь вы сами сказали, что она умретъ непремѣнно, такъ зачѣмъ тутъ всѣ ваши препараты?—Все-таки лучше, Максимъ Максимычъ, отвѣчалъ онъ: чтобъ совѣсть была покойна.—Хороша совѣсть!

— Послѣ полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворѣ было жарче, чѣмъ въ комнатѣ; поставили льду около кровати—ничего не помогало. Я зналъ, что эта невыносимая жажда—признакъ приближенія конца, и сказалъ это Печорину.

— Воды, воды!... говорила она хриплымъ голосомъ, приподнявшись съ постели.

— Онъ сдѣлался блѣденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву — не помню какую... Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія, только это все не то, совсѣмъ не то!.. Еще, признаться, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ; а кажется я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее проститъ!... И вправду молвить: что же я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ смертью?...

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ —гладко!...

Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно: я бы, на его мѣстѣ, умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землю, въ тѣни, и на-

чалъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся.... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха... Я пошелъ заказывать гробъ.

— Признаться, я частію для развлеченія занялся этимъ. У меня былъ кусокъ термаламы, я обилъ ею гробъ и украсилъ его черкесскими серебряными галунами, которыхъ Григорій Александровичъ накупилъ для нея же.

— На другой день рано утромъ мы ее похоронили за крѣпостью, у рѣчки, возлѣ того мѣста, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла: кругомъ ея могилки теперь разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ было поставить крестъ, да, знаете, неловко: все-таки она была не христіанка...

— А что Печоринъ? спросилъ я.

— Печоринъ былъ долго нездоровъ, исхудалъ, бѣдняжка; только никогда съ этихъ поръ мы не говорили о Бэлѣ; я видѣлъ, что это ему будетъ непріятно, такъ зачѣмъ же!—Мѣсяца три спустя, его назначили въ е—й полкъ, и онъ уѣхалъ въ Грузію. Мы съ тѣхъ поръ не встрѣчались... Да, помнится, кто-то недавно мнѣ говорилъ, что онъ возвратился въ Россію, но въ приказахъ по корпусу не было.—Впрочемъ до нашего брата вѣсти поздно доходятъ.

Тутъ онъ пустился въ длинную диссертацію о томъ, какъ непріятно узнавать новости годомъ позже—вѣроятно для того, чтобъ заглушить печальныя воспоминанія.

Я не перебивалъ его и не слушалъ.

Черезъ часъ явилась возможность ѣхать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завелъ разговоръ о Бэлѣ и Печоринѣ.

— А не слыхали ли вы, что сдѣлалось съ Казбичемъ? спросилъ я.

— Съ Казбичемъ? А, право, не знаю... Слышалъ я, что на правомъ флангѣ у шапсуговъ есть какой-то Казбичъ, удалецъ, который въ красномъ бешметѣ разъѣзжаетъ шажкомъ подъ нашими выстрѣлами и превѣжливо раскланивается, когда пуля прожужжитъ близко; да врядъ ли это тотъ самый!...

Въ Коби мы разстались съ Максимомъ Максимычемъ; я поѣхалъ на почтовыхъ, а онъ по причинѣ тяжелой поклажи не могъ за мной слѣдовать. Мы не надѣялись никогда болѣе встрѣтиться, однако встрѣтились, и если хотите, я разскажу: это цѣлая исторія... Сознайтесь, однако жъ, что Максимъ Максимычъ человѣкъ достойный уваженія?... Если вы сознаетесь въ этомъ, то я вполнѣ буду вознагражденъ за свой, можетъ быть, слишкомъ длинный разсказъ.

II.

МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

Разставшись съ Максимомъ Максимычемъ, я живо проскакалъ Терекское и Дарьяльское ущелія, завтракалъ въ Казбекѣ, чай пилъ въ Ларсѣ, а къ ужину поспѣшилъ въ Владикавказъ. Избавляю васъ отъ описанія горъ, отъ возгласовъ, которые ничего не изображаютъ, особенно для тѣхъ, которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замѣчаній, которыхъ рѣшительно никто читать не станетъ.

Я остановился въ гостинницѣ, гдѣ останавливаются всѣ проѣзжіе, и гдѣ между тѣмъ некому велѣть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которымъ она поручена, такъ глупы, или такъ пьяны, что отъ нихъ никакого толка нельзя добиться.

Мнѣ объявили, что я долженъ прожить тутъ еще три дня, ибо «оказія» изъ Екатеринограда еще не пришла и слѣдовательно отправиться обратно не можетъ. Что за оказія!... Но дурной каламбуръ не утѣшеніе для русскаго человѣка, и я для развлеченія вздумалъ записывать разсказъ Максима Максимыча о Бэлѣ, не воображая, что онъ будетъ первымъ звѣномъ длинной цѣпи повѣстей; видите, какъ иногда маловажный случай имѣетъ жестокія послѣдствія!... А вы можетъ быть не знаете что такое «оказія»? Это—прикрытіе, состоящее изъ пол-

роты пѣхоты и пушки, съ которымъ ходятъ обозы чрезъ Кабарду изъ Владикавказа въ Екатериноградъ.

Первый день я провелъ очень скучно; на другой, рано утромъ въѣзжаетъ на дворъ повозка... А! Максимъ Максимычъ!... Мы встрѣтились какъ старые пріятели. Я предложилъ ему свою комнату; онъ не церемонился, даже ударилъ меня по плечу и скривилъ ротъ на манеръ улыбки. Такой чудакъ!...

Максимъ Максимычъ имѣлъ глубокія свѣдѣнія въ поваренномъ искусствѣ: онъ удивительно хорошо зажарилъ фазана, удачно полилъ его огуречнымъ разсоломъ, и я долженъ признаться, что безъ него пришлось бы остаться на сухояденіи. Бутылка кахетинскаго помогла намъ забыть о скромномъ числѣ блюдъ, которыхъ было всего одно, и закуривъ трубки, мы усѣлись—я у окна, онъ у затопленной печи, потому что день былъ сырой и холодный. Мы молчали. О чемъ было намъ говорить?... Онъ ужъ разсказалъ мнѣ о себѣ все, что было занимательнаго, а мнѣ было нечего разсказывать. Я смотрѣлъ въ окно. Множество низенькихъ домиковъ, разбросанныхъ по берегу Терека, который разбѣгается шире и шире, мелькали изъ-за деревъ, а дальше синѣлись зубчатою стѣною горы и изъ-за нихъ выглядывалъ Казбекъ въ своей бѣлой архирейской шапкѣ. Я съ ними мысленно прощался: мнѣ стало ихъ жалко...

Такъ сидѣли мы долго. Солнце пряталось за холодныя вершины, и бѣловатый туманъ начиналъ расходиться въ долинахъ, когда на улицѣ раздался звонъ дорожнаго колокольчика и крикъ извощиковъ. Нѣсколько повозокъ съ грязными армянами въѣхало на дворъ гостинницы и за ними пустая дорожная коляска; ея легкій ходъ, удобное устройство и щегольской видъ имѣли какой-то заграничный отпечатокъ. За нею шелъ человѣкъ съ большими усами, въ венгеркѣ, довольно хорошо одѣтый для лакея; въ его званіи нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивалъ золу изъ трубки и покрикивалъ на ямщика. Онъ явно былъ балованный слуга лѣниваго барина—нѣчто вродѣ русскаго Фигаро.—«Скажи, любезный, закричалъ ему въ окно, что это—оказія пришла, что ли!»—

Онъ посмотрѣлъ довольно дерзко, поправилъ галстухъ и отвернулся; шедшій возлѣ него армянинъ, улыбаясь, отвѣчалъ за него, что точно пришла оказія и завтра утромъ отправится обратно.—«Слава Богу!» сказалъ Максимъ Максимычъ, подошедшій къ окну въ это время. «Экая чудная коляска!» прибавилъ онъ: «вѣрно какой нибудь чиновникъ ѣдетъ на слѣдствіе въ Тифлисъ. Видно не знаетъ нашихъ горокъ? Нѣтъ, шутишь, любезный: онѣ не свой братъ, растрясутъ хоть англійскую!» — А кто бы это такое былъ—подойдемте-ка узнать...» Мы вышли въ корридоръ. Въ концѣ корридора была отворена дверь въ боковую комнату. Лакей съ извощикомъ перетаскивали въ нее чемоданы.

— Послушай, братецъ, спросилъ у него штабсъ-капитанъ: чья эта чудесная коляска?... а?... Прекрасная коляска!... Лакей, не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая чемоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронулъ неучтивца по плечу и сказалъ: я тебѣ говорю, любезный...

— Чья коляска?... Моего господина...

— А кто твой господинъ?

— Печоринъ...

— Что ты? что ты? Печоринъ?... Ахъ, Боже мой!... да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?... воскликнулъ Максимъ Максимычъ, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служилъ, кажется—да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!... такъ!... Григорій Александровичъ?... Такъ вѣдь его зовутъ?... Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели, прибавилъ онъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мнѣ мѣшаете, сказалъ тотъ, нахмурившись.

— Экой ты, братецъ!... да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ?... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?...

Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда? сказалъ Максимъ Максимычъ: или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за чѣмъ нибудь?... Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ—такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я тебѣ дамъ восьмигривенный на водку...

Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что онъ исполнитъ его порученіе.

— Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!... Сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ: пойду за ворота его дожидаться... Эхъ! жалко, что я не знакомъ съ Н...

Максимъ Максимычъ сѣлъ за воротами на скамейку, а я ушелъ въ свою комнату. Признаюсь, я также съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ ждалъ появленія этого Печорина; хотя, по разсказу штабсъ-капитана, я составилъ себѣ о немъ не очень выгодное понятіе, однако нѣкоторыя черты въ его характерѣ показались мнѣ замѣчательными. Черезъ часъ инвалидъ принесъ кипящій самоваръ и чайникъ. «Максимъ Максимычъ, не хотите ли чаю?» закричалъ я ему въ окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй выпейте! Смотрите, вѣдь ужъ поздно, холодно.

— Ничего благодарствуйте...

— Ну, какъ угодно! Я сталъ пить чай одинъ; минутъ черезъ десять входитъ мой старикъ.

— А вѣдь вы правы: все лучше выпить чайку — да я все ждалъ. Ужъ человѣкъ его давно къ нему пошелъ, да видно что нибудь задержало.

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, отказался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то безпокойствѣ: явно было, что старика огорчало небреженіе Печорина, и тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ недавно говорилъ о своей съ нимъ дружбѣ, и еще часъ тому назадъ былъ увѣренъ, что онъ прибѣжитъ, какъ только услышитъ его имя.

Ужъ было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ

что-то пробормоталъ сквозь зубы; я повторилъ приглашеніе — онъ ничего не отвѣчалъ.

Я легъ на диванъ, завернувшись въ шинель и оставивъ свѣчу на лежанкѣ, скоро задремалъ и проспалъ бы спокойно, если бъ уже очень поздно Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатѣ, шевырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусаютъ? спросилъ я.

— Да клопы... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидящаго на скамейкѣ: «Мнѣ надо сходить къ коменданту», сказалъ онъ: «такъ пожалуста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...»

Я обѣщался. Онъ побѣжалъ, какъ будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; передъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базаръ кипѣлъ народомъ, потому что было воскресенье: босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ, вертѣлись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: мнѣ было не до нихъ—я начиналъ раздѣлять безпокойство добраго штабсъ-капитана.

Не прошло десяти минутъ, какъ на концѣ площади показался тотъ, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н..., который, доведя его до гостинницы, простился съ нимъ и поворотилъ въ крѣпость. Я тотчасъ же послалъ инвалида за Максимомъ Максимычемъ.

На встрѣчу Печорина вышелъ его лакей и доложилъ, что сейчасъ станутъ закладывать, подалъ ему ящикъ съ сигарами, и получивъ нѣсколько приказаній, отправился хлопотать. Его господинъ, закуривъ сигару, зѣвнулъ раза два и сѣлъ на скамью по другую сторону воротъ. Теперь я долженъ нарисовать вамъ его портретъ.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности кочевой жизни и перемѣны климатовъ, непобѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучекъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изобличавшее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ худобой его блѣдныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный призракъ нѣкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственныя замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо. Когда онъ опустился на скамью, то прямой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинѣ не было ни одной косточки; положеніе всего его тѣла изобразило какую-то нервическую слабость; онъ сидѣлъ, какъ сидитъ Бальзакова тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послѣ утомительнаго бала. Съ перваго взгляда на лицо его, я бы не далъ ему болѣе двадцатитрехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность; бѣлокурые волосы, вьющіеся отъ природы, такъ живописно обрисовывали его блѣдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгомъ наблюденіи можно было замѣтить слѣды морщинъ, пересѣкавшихъ одна другую и, вѣроятно, обозначавшихся гораздо явственнѣе въ минуты гнѣва, или душевнаго безпокойства. Не смотря на свѣтлый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черные—признакъ породы въ человѣкѣ, такъ какъ черная грива и черный хвостъ у бѣлой лошади. Чтобъ докончить портретъ, я скажу, что у него былъ немного вздернутый носъ, зубы ослѣпительной бѣлизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще нѣсколько словъ.

Во-первыхъ, они не смѣялись, когда онъ смѣялся.—Вамъ не

случалось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей?... Это признакъ или злаго нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго, или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ бы казаться дерзкимъ, если бъ не былъ столь равнодушно-спокоенъ. Всѣ эти замѣчанія пришли мнѣ на умъ, можетъ быть, только потому, что я зналъ нѣкоторыя подробности его жизни, и, можетъ быть, на другаго видъ его произвелъ бы совершенно различное впечатлѣніе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кромѣ меня, то по неволѣ должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ былъ вообще очень недуренъ и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригинальныхъ физіономій, которыя особенно нравятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ по временамъ звенѣлъ надъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастію, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и кажется вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему. «Если вы захотите еще немного подождать», сказалъ я, «то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріятелемъ...»

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мнѣ вчера говорили; но гдѣ же онъ?—Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ привѣтливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолбенѣлъ, но по-

томъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.

— А... ты?... а вы?... пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?...

— Ѣду въ Персію—и дальше...

— Неужто сейчасъ?... Да подождите, дражайшій!... Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?... Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкѣ?... какъ?... что подѣлывали?...

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для охоты!... Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бэла?...

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказалъ онъ, почти тотчасъ принужденно зѣвнувъ.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два. «Мы славно пообѣдаемъ», говорилъ онъ: «у меня есть два фазана; а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы мнѣ разскажете про свое житье въ Петербургѣ... А?...»

— Право, мнѣ нечего разсказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. «Забыть!» проворчалъ онъ: «я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески: неужели я не тотъ же?... Что дѣлать?... всякому своя до-

рога... Удастся ли еще встрѣтиться — Богъ знаетъ!... Говоря это онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ и ямщикъ ужъ началъ подбирать возжи.

— Постой, постой! закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски:—совсѣмъ было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... Что мнѣ съ ними дѣлать?...

— Что хотите! отвѣчалъ Печоринъ.—Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?... а когда вернетесь?... кричалъ въ слѣдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сдѣлалъ знакъ рукой, который можно было перевести слѣдующимъ образомъ: врядъ ли! да и не зачѣмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости.

«Да», сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его рѣсницахъ: «конечно, мы были пріятели — ну, да что пріятели въ нынѣшнемъ вѣкѣ!... Что ему во мнѣ? Я не богатъ, не чиновенъ, да и по лѣтамъ совсѣмъ ему не пара... Вишь какимъ онъ франтомъ сдѣлался, какъ побывалъ опять въ Петербургѣ... Что за коляска!... сколько поклажи!... и лакей такой гордый!...» Эти слова были произнесены съ иронической улыбкой. «Скажите, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: ну, что вы объ этомъ думаете?...ну, какой бѣсъ несетъ его теперь въ Персію?... Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!... Да я всегда зналъ, что онъ вѣтреный человѣкъ, на котораго нельзя надѣяться... А право жаль, что онъ дурно кончитъ... да и нельзя иначе!... Ужъ я всегда говорилъ, что нѣтъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!...» Тутъ онъ отвернулся, чтобъ скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максимъ Максимычъ, сказалъ я, подошедши къ нему, а что это за бумаги вамъ оставилъ Печоринъ?

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки...

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? Я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко...

— Вотъ онѣ всѣ, сказалъ онъ; поздравляю васъ съ находкою...

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?... Что я, развѣ другъ его какой, или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?...

Я схватилъ бумаги и поскорѣе унесъ ихъ, боясь, чтобъ штабсъ-капитанъ не раскаялся. Скоро пришли намъ объявить, что черезъ часъ тронется оказія; я велѣлъ закладывать. Штабсъ-капитанъ вошелъ въ комнату въ то время, когда я уже надѣвалъ шапку; онъ, казалось, не готовился къ отъѣзду; у него былъ какой-то принужденный, холодный видъ.

— А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кой-какія казенныя вещи...

— Да вѣдь вы же были у него?

— Былъ, конечно, сказалъ онъ, заминаясь; да его дома не было... а я не дождался.

Я понялъ его: бѣдный старикъ въ первый разъ отъ роду, можетъ быть, бросилъ дѣла службы для собственной надобности, говоря языкомъ бумажнымъ,—и какъ же онъ былъ награжденъ!

— Очень жаль, сказалъ я ему, очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гонятъся!... Вы молодежь свѣтская, гордая; еще покамѣстъ подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастія и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максимъ Максимычъ сдѣлался упрямымъ, сварливымъ штабсъ-капитаномъ! И отчего? Оттого, что Печоринъ, въ разсѣянности, или отъ другой причины, протянулъ ему руку, когда тотъ хотѣлъ кинуться ему на шею. Грустно видѣть, когда юноша теряетъ лучшія свои надежды и мечты, когда предъ нимъ отдергивается розовый флеръ, сквозь который онъ смотрѣлъ на дѣла и чувства человѣческія, хотя есть надежда, что онъ замѣнитъ старыя заблужденія новыми, не менѣе преходящими, но за то не менѣе сладкими... Но чѣмъ ихъ замѣнить въ лѣта Максима Максимыча? По неволѣ сердце очерствѣетъ и душа закроется...

Я уѣхалъ одинъ.

ЖУРНАЛЪ ПЕЧОРИНА.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Недавно я узналъ, что Печоринъ, возвращаясь изъ Персіи, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя надъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобъ читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я ви-

дѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ, слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставлялъ наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно когда она—слѣдствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою, и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣетъ уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они найдутъ оправданіе поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человѣка, уже не имѣющаго отнынѣ ничего общаго съ здѣшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что понимаемъ.

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда нибудь и она явится на судъ свѣта; но теперь я не смѣю взять на себя эту отвѣтственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги. «Да это злая иронія!» скажутъ они.—Не знаю.

---

*

I.

ТАМАНЬ.

Тамань — самый скверный городишка изъ всѣхъ приморскихъ городовъ Россіи. Я тамъ чуть-чуть не умеръ съ голода, да еще въ добавокъ меня хотѣли утопить. Я пріѣхалъ на перекладной тележкѣ поздно ночью. Ямщикъ остановилъ усталую тройку у воротъ единственнаго каменнаго дома, что при въѣздѣ. Часовой, черноморскій казакъ, услышавъ звонъ колокольчика, закричалъ съ просонья дикимъ голосомъ: «кто идетъ?» Вышелъ урядникъ и десятникъ. Я имъ объяснилъ, что я офицеръ, ѣду въ дѣйствующій отрядъ по казенной надобности, и сталъ требовать казенную квартиру. Десятникъ насъ повелъ по городу. Къ которой избѣ ни подъѣдемъ—занята. Было холодно; я три ночи не спалъ, измучился и началъ сердиться. — Веди меня куда-нибудь, разбойникъ! хоть къ чорту, только къ мѣсту! закричалъ я.—«Есть еще одна фатера», отвѣчалъ десятникъ, почесывая затылокъ: «только вашему благородію не понравится: тамъ нечисто!» Не понявъ точнаго значенія послѣдняго слова, я велѣлъ ему идти впередъ, и послѣ долгаго странствованія по грязнымъ переулкамъ, гдѣ по сторонамъ я видѣлъ одни только ветхіе заборы, мы подъѣхали къ небольшой хатѣ на самомъ берегу моря.

Полный мѣсяцъ свѣтилъ на камышевую крышку и бѣлыя стѣны моего новаго жилища; на дворѣ, обведенномъ оградой изъ булыжника, стояла, избочась, другая лачужка, менѣе и древнѣе первой. Берегъ обрывомъ спускался къ морю почти у самыхъ стѣнъ ея, и внизу съ безпрерывнымъ ропотомъ плескались темносинія волны. Луна тихо смотрѣла на безпокойную, но покорную ей стихію, и я могъ различить при свѣтѣ ея, далеко отъ берега, два корабля, которыхъ черныя снасти, подобно паутинѣ, неподвижно рисовались на блѣдной чертѣ небосклона. «Суда въ пристани есть, подумалъ я: завтра отправлюсь въ Геленджикъ».

При мнѣ исправлялъ должность деньщика линейскій казакъ. Велѣвъ ему выложить чемоданъ и отпустить извощика, я сталъ звать хозяина—молчатъ; стучу—молчатъ... что это? Наконецъ изъ сѣней выползъ мальчикъ лѣтъ четырнадцати.

— «Гдѣ хозяинъ?»—Не-мà.—«Какъ совсѣмъ нѣту?»—Совсимъ.—«А хозяйка?» — Побигла въ слободку. — «Кто же мнѣ отопретъ дверь?» сказалъ я, ударивъ въ нее ногою. Дверь сама отворилась; изъ хаты повѣяло сыростью. Я засвѣтилъ сѣрную спичку и поднесъ ее къ носу мальчика: она озарила два бѣлые глаза. Онъ былъ слѣпой, совершенно слѣпой отъ природы. Онъ стоялъ передо мною неподвижно и я началъ разсматривать черты его лица.

Признаюсь, я имѣю сильное предубѣжденіе противъ всѣхъ слѣпыхъ, кривыхъ, глухихъ, нѣмыхъ, безногихъ, безрукихъ, горбатыхъ и проч. Я замѣчалъ, что всегда есть какое-то странное отношеніе между наружностью человѣка и его душою; какъ будто съ потерею члена душа теряетъ какое-нибудь чувство.

Итакъ, я началъ разсматривать лицо слѣпаго; но что̀ прикажете прочитать на лицѣ, у котораго нѣтъ глазъ?... Долго я глядѣлъ на него съ невольнымъ сожалѣніемъ, какъ вдругъ едва примѣтная улыбка пробѣжала по тонкимъ губамъ его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое непріятное впечатлѣніе. Въ головѣ моей родилось подозрѣніе, что это слѣпой не такъ слѣпъ, какъ оно кажется; напрасно я старался увѣрить себя, что бѣльмы поддѣлать невозможно, да и съ какой цѣлью? Но что дѣлать?—я часто склоненъ къ предубѣжденіямъ...

— «Ты хозяйскій сынъ?» спросилъ я его наконецъ.—Ни.—«Кто же ты?» — Сирота, убогій.—«А у хозяйки есть дѣти?» —Ни; была дочь, да утикла за море съ татариномъ.—«Съ какимъ татариномъ?» — А бисъ его знаетъ! крымскій татаринъ, лодочникъ изъ Керчи.

Я вошелъ въ хату: двѣ лавки и столъ, да огромный сундукъ возлѣ печи составляли всю ея мебель. На стѣнѣ ни одного образа — дурной знакъ! Въ разбитое стекло врывался морской вѣтеръ. Я вытащилъ изъ чемодана восковой огарокъ, и засвѣ-

тивъ его, сталъ раскладывать вещи, поставилъ въ уголъ шашку и ружье, пистолеты положилъ на столъ, разостлалъ бурку на лавкѣ, казакъ свою на другой; черезъ десять минутъ онъ захрапѣлъ, но я не могъ заснуть: передо мной во мракѣ все вертѣлся мальчикъ съ бѣлыми глазами.

Такъ прошло около часа. Мѣсяцъ свѣтилъ въ окно и лучъ его игралъ по земляному полу хаты. Вдругъ на яркой полосѣ, пересѣкающей полъ, промелькнула тѣнь. Я привсталъ и взглянулъ въ окно: кто-то вторично пробѣжалъ мимо его и скрылся Богъ знаетъ куда. Я не могъ полагать, чтобъ это существо сбѣжало по отвѣсу берега; однако иначе ему некуда было дѣваться. Я всталъ, накинулъ бешметъ, опоясалъ кинжалъ и тихотихо вышелъ изъ хаты; на встрѣчу мнѣ слѣпой мальчикъ. Я притаился у забора, и онъ вѣрной, но осторожной поступью прошелъ мимо меня. Подъ мышкой онъ несъ какой-то узелъ, и повернувъ къ пристани, сталъ спускаться по узкой и крутой тропинкѣ. «Въ тотъ день нѣмые возопіютъ и слѣпые прозрятъ», подумалъ я, слѣдуя за нимъ въ такомъ разстояніи, чтобъ не терять его изъ вида.

Между тѣмъ луна начинала одѣваться тучами и на морѣ поднялся туманъ; едва сквозь него свѣтился фонарь на кормѣ ближняго корабля; у берега сверкала пѣна валуновъ, ежеминутно грозящихъ его потопить. Я, съ трудомъ спускаясь, пробирался по крутизнѣ, и вотъ вижу: слѣпой пріостановился, потомъ повернулъ низомъ направо; онъ шелъ такъ близко отъ воды, что, казалось, сейчасъ волна его схватитъ и унесетъ; но, видно, это была не первая его прогулка, судя по увѣренности, съ которой онъ ступалъ съ камня на камень и избѣгалъ рытвинъ. Наконецъ онъ остановился, будто прислушиваясь къ чему-то, присѣлъ на землю и положилъ возлѣ себя узелъ. Я наблюдалъ за его движеніями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя нѣсколько минутъ, съ противоположной стороны показалась бѣлая фигура; она подошла къ слѣпому и сѣла возлѣ него. Вѣтеръ по временамъ приносилъ мнѣ ихъ разговоръ.

— Что, слѣпой? сказалъ женскій голосъ:—буря сильна;

Янко не будетъ. — Янко не боится бури, отвѣчалъ тотъ.—Туманъ густѣетъ, возразилъ опять женскій голосъ, съ выраженіемъ печали.

— Въ туманѣ лучше пробраться мимо сторожевыхъ судовъ, былъ отвѣтъ.—А если онъ утонетъ? — Ну, что жъ? въ воскресенье ты пойдешь въ церковь безъ новой ленты.

Послѣдовало молчаніе; меня, однако, поразило одно: слѣпой говорилъ со мною малороссійскимъ нарѣчіемъ, а теперь изъяснялся чисто по русски.

— Видишь, я правъ, сказалъ опять слѣпой, ударивъ въ ладоши: — Янко не боится ни моря, ни вѣтровъ, ни тумана, ни береговыхъ сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещетъ, меня не обманешь—это его длинныя весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться въ даль съ видомъ безпокойства.

— Ты бредишь, слѣпой! сказала она: я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалекѣ что-нибудь на подобіе лодки, но безуспѣшно. Такъ прошло минутъ десять; и вотъ показалась между горами волнъ черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волнъ, быстро спускаясь съ нихъ, приближалась къ берегу лодка. «Отваженъ былъ пловецъ, рѣшившійся въ такую ночь пуститься чрезъ проливъ на разстояніе двадцати верстъ, и важная должна быть причина, его къ тому побудившая.» Думая такъ, я съ невольнымъ біеніемъ сердца глядѣлъ на бѣдную лодку; но она, какъ утка, ныряла, и потомъ, быстро взмахнувъ веслами, будто крыльями, выскакивала изъ пропасти среди брызговъ пѣны; и вотъ, я думалъ, она ударится съ размаха объ берегъ и разлетится въ дребезги; но она ловко повернулась бокомъ и вскочила въ маленькую бухту невредима. Изъ нея вышелъ человѣкъ средняго роста, въ татарской бараньей шапкѣ; онъ махнулъ рукою—и всѣ трое принялись вытаскивать что-то изъ лодки; грузъ былъ такъ великъ, что я до сихъ поръ не понимаю, какъ она не потонула. Взявъ на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерялъ ихъ

изъ вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, всѣ эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казакъ мой былъ очень удивленъ, когда, проснувшись, увидалъ меня совсѣмъ одѣтаго; я ему, однако жъ, не сказалъ причины. Полюбовавшись нѣсколько времени изъ окна на голубое небо, усѣянное разорванными облачками, на дальній берегъ Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесомъ, на вершинѣ коего бѣлѣется маячная башня, я отправился въ крѣпость Фанагорію, чтобъ узнать отъ коменданта о часѣ моего отъѣзда въ Геленджикъ.

Но — увы! комендантъ ничего не могъ сказать мнѣ рѣшительнаго. Суда, стоявшія въ пристани, были всѣ или сторожевыя, или купеческія, которыя еще даже не начинали нагружаться.—«Можетъ быть, дня черезъ три, четыре придетъ почтовое судно, сказалъ комендантъ:—и тогда мы увидимъ». Я вернулся домой угрюмъ и сердитъ. Меня въ дверяхъ встрѣтилъ казакъ мой съ испуганнымъ лицомъ.

— Плохо, ваше благородіе! сказалъ онъ мнѣ.

— Да, братъ, Богъ знаетъ, когда мы отсюда уѣдемъ!

Тутъ онъ еще больше встревожился и, наклонясь ко мнѣ, сказалъ шопотомъ:—здѣсь нечисто! я встрѣтилъ сегодня черноморскаго урядника; онъ мнѣ знакомъ—былъ прошлаго года въ отрядѣ; какъ я ему сказалъ, гдѣ мы остановились, а онъ мнѣ: здѣсь, братъ, нечисто, люди недобрые!... Да и въ самомъ дѣлѣ, что это за слѣпой!... ходитъ вездѣ одинъ, и на базаръ, за хлѣбомъ, и за водой... ужъ, видно, здѣсь къ этому привыкли.

— Да что жъ? по крайней мѣрѣ, показалась ли хозяйка?...

— Сегодня безъ васъ пришла старуха и съ ней дочь.

— Какая дочь? у нея нѣтъ дочери.—А Богъ ее знаетъ, кто она, коли не дочь; да вонъ старуха сидитъ теперь въ своей хатѣ.

Я вошелъ въ лачужку. Печь была жарко натоплена, и въ ней варился обѣдъ довольно роскошный для бѣдняковъ. Старуха на всѣ мои вопросы отвѣчала, что она глуха, не слышитъ. Что было съ ней дѣлать? Я обратился къ слѣпому, который сидѣлъ передъ печью и подкладывалъ въ огонь хворостъ. «Ну-ка, слѣ-

пой чертёнокъ, сказалъ я, взявъ его за ухо:—говори, куда ты ночью таскался съ узломъ—а?» Вдругъ мой слѣпой заплакалъ, закричалъ, заохалъ: куды я ходивъ?... никуды не ходивъ... съ узломъ?... якимъ узломъ?—Старуха на этотъ разъ услышала и стала ворчать: «Вотъ выдумываютъ, да еще на убогаго! За что вы его? что онъ вамъ сдѣлалъ?» Мнѣ это надоѣло и я вышелъ, твердо рѣшившись достать ключъ этой загадки.

Я завернулся въ бурку и сѣлъ у забора на камень, поглядывая въ даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шумъ его, подобный ропоту засыпающаго города, напомнилъ мнѣ старые годы, перенесъ мои мысли на сѣверъ, въ нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаніями, я забылся... Такъ прошло около часа; можетъ быть и болѣе... Вдругъ что-то похожее на пѣсню поразило мой слухъ. Точно это была пѣсня, и женскій свѣжій голосокъ—но откуда?... Прислушиваюсь: напѣвъ стройный—то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь—никого нѣтъ кругомъ; прислушиваюсь снова—звуки какъ будто падаютъ съ неба. Я поднялъ глаза: на крышѣ хаты моей стояла дѣвушка въ полосатомъ платьѣ, съ распущенными косами, настоящая русалка. Защитивъ глаза ладонью отъ лучей солнца, она пристально всматривалась въ даль, то смѣялась и разсуждала сама съ собой, то запѣвала снова пѣсню.

Я запомнилъ эту пѣсню отъ слова до слова:

Какъ по вольной волюшкѣ —
По зелену морю,
Ходятъ все кораблики
Бѣлопарусники.

Промежъ тѣхъ корабликовъ
Моя лодочка,
Лодка не снащеная
Двухвесельная.

Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымутъ крылышки,
По морю размечутся.

Стану морю кланяться
Я низеконько:
«Ужъ не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:

Везетъ моя лодочка
Вещи драгоцѣнныя,
Правитъ ею въ темну ночь
Буйная головушка.»

Мнѣ невольно пришло на мысль, что ночью я слышалъ тотъ же голосъ; я на минуту задумался, и когда снова посмотрѣлъ на крышу, дѣвушки тамъ не было. Вдругъ она пробѣжала мило меня, напѣвая что-то другое, и прищелкивая пальцами, вбѣжала къ старухѣ, и тутъ начался между ними споръ. Старуха сердилась; она громко хохотала. И вотъ вижу, бѣжитъ опять въ припрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, остановилась и пристально посмотрѣла мнѣ въ глаза, какъ будто удивленная моимъ присутствіемъ; потомъ небрежно обернулась и тихо пошла къ пристани. Этимъ не кончилось: цѣлый день она вертѣлась около моей квартиры; пѣньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лицѣ ея не было никакихъ признаковъ безумія; напротивъ, глаза ея съ бойкою проницательностью останавливались на мнѣ, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнитическою властью, и всякій разъ они какъ будто бы ждали вопроса. Но только я начиналъ говорить, она убѣгала, коварно улыбаясь.

Рѣшительно, я никогда подобной женщины не видывалъ. Она была далеко не красавица, но я имѣю свои убѣжденія также и насчетъ красоты. Въ ней было много породы... порода въ женщинахъ, какъ и въ лошадяхъ, великое дѣло: это открытіе принадлежитъ юной Франціи. Она, т. е. порода, а не юная Франція, большею частью изобличается въ поступи, въ рукахъ и ногахъ; особенно носъ очень много значитъ. Правильный носъ въ Россіи рѣже маленькой ножки. Моей пѣвуньѣ казалось не болѣе 18 лѣтъ. Необыкновенная гибкость ея стана, особенное, ей только свойственное, наклоненіе головы, длинные русые волосы,

какой-то золотистый отливъ ея слегка загорѣлой кожи на шеѣ и плечахъ, и особенно правильный носъ—все это было для меня обворожительно. Хотя въ ея косвенныхъ взглядахъ я читалъ что-то дикое и подозрительное, хотя въ ея улыбкѣ было что-то неопредѣленное, но такова сила предубѣжденій: правильный носъ свелъ меня съ ума; я вообразилъ, что пашелъ Гётеву Миньйону—это причудливое созданіе его нѣмецкаго воображенія; и точно, между ними было много сходства: тѣ же быстрые переходы отъ величайшаго безпокойства къ полной неподвижности, тѣ же загадочныя рѣчи, тѣ же прыжки, странныя пѣсни...

Подъ вечеръ, остановивъ ее въ дверяхъ, я завелъ съ нею слѣдующій разговоръ:

— Скажи-ка мнѣ, красавица, спросилъ я: — что ты дѣлала сегодня на кровлѣ?—А смотрѣла, откуда вѣтеръ дуетъ. — Зачѣмъ тебѣ?—Откуда вѣтеръ, оттуда и счастье.—Что же? развѣ ты пѣснею зазывала счастье?—Гдѣ поется, тамъ и счастливится.—А какъ неравно напоешь себѣ горе?—Ну что жъ? гдѣ не будетъ лучше, тамъ будетъ хуже, а отъ худа до добра опять недалеко.—Кто жъ тебя выучилъ эту пѣснѣ?—Никто не выучилъ; вздумается—запою; кому услыхать, тотъ услышитъ; а кому не должно слышать, тотъ не пойметъ.—А какъ тебя зовутъ, моя пѣвунья?—Кто крестилъ, тотъ знаетъ.—А кто крестилъ?—Почему я знаю.—Экая скрытная! А вотъ я кое-что про тебя узналъ (она не измѣнилась въ лицѣ, не пошевельнула губами, какъ будто не объ ней дѣло). Я узналъ, что ты вчера ночью ходила на берегъ.—И тутъ я очень важно пересказалъ ей все, что́ видѣлъ, думая смутить ее; нимало! Она захохотала во все горло. —Много видѣли, да мало знаете; а что знаете, такъ держите подъ замочкомъ.—А если бъ я, напримѣръ, вздумалъ донести коменданту?—и тутъ я сдѣлалъ очень серьезную, даже строгую мину. Она вдругъ прыгнула, запѣла и скрылась, какъ птичка, выпугнутая изъ кустарника. Послѣднія слова мои были вовсе не умѣста; я тогда не подозрѣвалъ ихъ важности, но впослѣдствіи имѣлъ случай въ нихъ раскаяться.

Только что смерклось, я велѣлъ казаку нагрѣть чайникъ по

походному, засвѣтилъ свѣчку и сѣлъ у стола, покуривая изъ дорожной трубки. Ужъ я доканчивалъ второй стаканъ чая, какъ вдругъ дверь скрипнула, легкій шорохъ платья и шаговъ послышался за мной; я вздрогнулъ и обернулся — то была она, моя ундина. Она сѣла противъ меня тихо и безмолвно, и устремила на меня глаза свои; и не знаю почему, но этотъ взоръ показался мнѣ чудно нѣженъ; онъ мнѣ напомнилъ одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые въ старые годы такъ самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчалъ, полный неизъяснимаго смущенія. Лицо ея было покрыто тусклой блѣдностью, изобличавшей волненіе душевное; рука ея безъ цѣли бродила по столу, и я замѣтилъ въ ней легкій трепетъ; грудь ея то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыханіе. Эта комедія начинала мнѣ надоѣдать, и я готовъ былъ прервать молчаніе самымъ прозаическимъ образомъ, то есть предложить ей стаканъ чая, какъ вдругъ она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцѣлуй прозвучалъ на губахъ моихъ. Въ глазахъ у меня потемнѣло, голова закружилась, я сжалъ ее въ моихъ объятіяхъ со всею силою юношеской страсти, но она, какъ змѣя, скользнула между моими руками, шепнувъ мнѣ на ухо: «нынѣче ночью, какъ всѣ уснутъ, выходи на берегъ», и стрѣлою выскочила изъ комнаты. Въ сѣняхъ она опрокинула чайникъ и свѣчу, стоявшую на полу. «Экой бѣсъдѣвка!» закричалъ казакъ, расположившійся на соломѣ и мечтавшій согрѣться остатками чая. Только тутъ я опомнился.

Часа черезъ два, когда все на пристани умолкло, я разбудилъ своего казака. «Если я выстрѣлю изъ пистолета, сказалъ я ему, то бѣги на берегъ». Онъ выпучилъ глаза и машинально отвѣчалъ: «слушаю ваше благородіе». Я заткнулъ за поясъ пистолетъ и вышелъ. Она дожидалась меня на краю спуска; ея одежда была болѣе нежели легкая, небольшой платокъ опоясывалъ ея гибкій станъ.

— Идите за мной! сказала она, взявъ меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, какъ я не сломилъ себѣ шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дорогѣ, гдѣ

наканунѣ я слѣдовалъ за слѣпымъ. Мѣсяцъ еще не вставалъ и только двѣ звѣздочки, какъ два спасительные маяка, сверкали на темносинемъ сводѣ. Тяжелыя волны мѣрно и ровно катились одна за другою, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную къ берегу. «Войдемъ въ лодку», сказала моя спутница. Я колебался—я не охотникъ до сантиментальныхъ прогулокъ по морю; но отступать было не время. Она прыгнула въ лодку, я за ней, и не успѣлъ еще опомниться, какъ замѣтилъ, что мы плывемъ. «Что это значитъ?» сказалъ я сердито.—«Это значитъ, отвѣчала она, сажая меня на скамью и обвивъ мой станъ руками:—это значитъ, что я тебя люблю...» И щека ея прижалась къ моей, и я почувствовалъ на лицѣ моемъ ея пламенное дыханіе. Вдругъ что-то шумно упало въ воду; я хвать за поясъ—пистолета нѣтъ. О! тутъ ужасное подозрѣніе закралось мнѣ въ душу, кровь хлынула мнѣ въ голову! Оглядываюсь—мы отъ берега около пятидесяти саженъ, а я не умѣю плавать! Хочу оттолкнуть ее отъ себя — она, какъ кошка, вцѣпилась въ мою одежду, и вдругъ сильный толчокъ едва не сбросилъ меня въ море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бѣшенство придавало мнѣ силы, но я скоро замѣтилъ, что уступаю моему противнику въ ловкости... «Что ты хочешь!» закричалъ я, крѣпко сжавъ ея маленькія руки; пальцы ея хрустѣли, но она не вскрикнула: ея змѣиная натура выдержала эту пытку.

— Ты видѣлъ, отвѣчала она: ты донесешь! и сверхъестественнымъ усиліемъ повалила меня на бортъ; мы оба по поясъ свѣсились изъ лодки; ея волосы касались воды; минута была рѣшительная. Я уперся колѣнкою въ дно, схватилъ ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросилъ ее въ волны.

Было уже довольно темно; голова ея мелькнула раза два среди морской пѣны, и больше я ничего не видалъ...

На днѣ лодки я нашелъ половину стараго весла, и кое-какъ, послѣ долгихъ усилій, причалилъ къ пристани. Пробираясь берегомъ къ своей хатѣ, я невольно всматривался въ ту сторону,

гдѣ наканунѣ слѣпой дожидался ночнаго пловца. Луна уже катилась по небу и мнѣ показалось, что кто-то въ бѣломъ сидѣлъ на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытствомъ, и прилегъ въ травѣ надъ обрывомъ берега; высунувъ немного голову, я могъ хорошо видѣть съ утеса все, что внизу дѣлалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнавъ мою русалку. Она выжимала морскую пѣну изъ длинныхъ волосъ своихъ; мокрая рубашка обрисовывала гибкій станъ ея и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка: быстро приблизилась она; изъ нея, какъ наканунѣ, вышелъ человѣкъ въ татарской шапкѣ, но остриженъ онъ былъ по казацки, и за ременнымъ поясомъ его торчалъ большой ножъ. «Янко, сказала она: все пропало!» Потомъ разговоръ ихъ продолжался, но такъ тихо, что я ничего не могъ разслушать.—А гдѣ же слѣпой? сказалъ наконецъ Янко, возвыся голосъ. «Я его послала», былъ отвѣтъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился слѣпой, таща на спинѣ мѣшокъ, который положили въ лодку.

— Послушай, слѣпой! сказалъ Янко:—ты береги то мѣсто... знаешь? тамъ богатые товары... скажи (имени я не разслушалъ), что я ему больше не слуга; дѣла пошли худо, онъ меня больше не увидитъ; теперь опасно; поѣду искать работы въ другомъ мѣстѣ, а ему ужъ такого удальца не найти. Да скажи, кабы онъ получше платилъ за труды, такъ и Янко бы его не покинулъ; а мнѣ вездѣ дорога, гдѣ только вѣтеръ дуетъ и море шумитъ! —Послѣ нѣкотораго молчанія Янко продолжалъ; она поѣдетъ со мною; ей нельзя здѣсь оставаться; а старухѣ скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Насъ же больше не увидитъ.

— А я! сказалъ слѣпой жалобнымъ голосомъ.

— На что мнѣ тебя? былъ отвѣтъ.

Между тѣмъ моя ундина вскочила въ лодку и махнула товарищу рукой; онъ что-то положилъ слѣпому въ руку, примолвивъ: «На, купи себѣ пряниковъ.»—Только? сказалъ слѣпой. «Ну, вотъ тебѣ еще»—и упавшая монета зазвенѣла, ударясь о камень. Слѣпой ее не поднялъ. Янко сѣлъ въ лодку; вѣтеръ

дулъ отъ берега; они подняли маленькій парусъ и быстро понеслись. Долго при свѣтѣ мѣсяца мелькалъ бѣлый парусъ между темныхъ волнъ; слѣпой все сидѣлъ на берегу, и вотъ мнѣ послышалось что-то похожее на рыданіе: слѣпой мальчикъ точно плакалъ, и долго, долго... Мнѣ стало грустно. И зачѣмъ было судьбѣ кинуть меня въ мирный кругъ честныхъ контрабандистовъ? Какъ камень, брошенный въ гладкій источникъ, я встревожилъ ихъ спокойствіе, и какъ камень едва самъ не пошелъ ко дну!

Я возвратился домой. Въ сѣняхъ трещала догорѣвшая свѣча въ деревянной тарелкѣ, и казакъ мой, вопреки приказанію, спалъ крѣпкимъ сномъ, держа ружье обѣими руками. Я его оставилъ въ покоѣ, взялъ свѣчу и вошелъ въ хату. Увы! моя шкатулка, шашка съ серебряной оправой, дагестанскій кинжалъ—подарокъ пріятеля, все исчезло. Тутъ-то я догадался, какія вещи тащилъ проклятый слѣпой. Разбудивъ казака довольно невѣжливымъ толчкомъ, я побранилъ его, посердился, а дѣлать было нечего! И не смѣшно ли было бы жаловаться начальству, что слѣпой мальчикъ меня обокралъ, а восьмнадцатилѣтняя дѣвушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ѣхать, и я оставилъ Тамань. Что сталось съ старухой и съ бѣднымъ слѣпымъ—не знаю. Да и какое дѣло мнѣ до радостей и бѣдствій человѣческихъ, мнѣ, странствующему офицеру, да еще съ подорожной по казенной надобности!...

II.

КНЯЖНА МЕРИ.

11-го мая.

Вчера я пріѣхалъ въ Пятигорскъ, нанялъ квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мѣстѣ, у подошвы Машука: во время грозы облака будутъ спускаться до моей кровли. Нынѣче въ пять часовъ утра, когда я открылъ окно, моя комната наполнилась запахомъ цвѣтовъ, растущихъ въ скромномъ поли-

садникѣ. Вѣтви цвѣтущихъ черешень смотрятъ мнѣ въ окно и вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный столъ ихъ бѣлыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Бэшту синѣетъ, какъ «послѣдняя туча разсѣянной бури»; на сѣверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотрѣть веселѣе: внизу передо мною пестрѣетъ чистенькій, новенькій городокъ, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная толпа,—а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синѣе и туманнѣе, а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь снѣговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльборусомъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое-то отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ поцѣлуй ребенка; солнце ярко, небо синё—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сожалѣнія?... Однако пора. Пойду къ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все водяное общество.

. . . . . .

Спустясь въ середину города, я пошелъ бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ нѣсколько печальныхъ группъ, медленно подымающихся въ гору: то были большею частію семейства степныхъ помѣщиковъ; объ этомъ можно было тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся водяная молодежь была уже на перечетѣ, потому что они на меня посмотрѣли съ нѣжнымъ любопытствомъ; петербургскій покрой сюртука ввелъ ихъ въ заблужденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эполеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены мѣстныхъ властей, такъ сказать хозяйки водъ, были благосклоннѣе; у нихъ есть лорнеты; онѣ менѣе обращаютъ вниманія на мундиръ; онѣ привыкли на Кавказѣ встрѣчать подъ нумерной пуговицей пылкое сердце, и подъ бѣлой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смѣняются новыми, и въ этомъ-то,

можетъ быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкѣ къ Елизаветинскому источнику, я обогналъ толпу мужчинъ статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послѣ, составляютъ особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьютъ—однако не воду, гуляютъ мало, волочатся только мимоходомъ: они играютъ и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодезь кислосѣрной воды, они принимаютъ академическія позы; статскіе носятъ свѣтло-голубые галстухи, военные выпускаютъ изъ-за воротника брыжи. Они исповѣдываютъ глубокое презрѣніе къ провинціальнымъ дамамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ гостиныхъ, куда ихъ не пускаютъ.

Наконецъ вотъ и колодезь... На площадкѣ, близъ него, построенъ домикъ съ красной кровлею надъ ванной, а подальше галерея, гдѣ гуляютъ во время дождя. Нѣсколько раненыхъ офицеровъ сидѣло на ларкѣ, подобравъ костыли — блѣдные, грустные. Нѣсколько дамъ скорыми шагами ходили взадъ и впередъ по площадкѣ, ожидая дѣйствія водъ. Между ними были два-три хорошенькія личика. Подъ виноградными аллеями, покрывающими скатъ Машука, мелькала порою пестрая шляпка любительницы уединенія вдвоемъ, потому что всегда возлѣ такой шляпки я замѣчалъ или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скалѣ, гдѣ построенъ павильонъ, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видовъ и наводили телескопъ на Эльборусъ; между ними были два гувернера съ своими воспитанниками, пріѣхавшими лечиться отъ золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь къ углу домика, сталъ разсматривать живописную окрестность, какъ вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Печоринъ! давно ли здѣсь?

Оборачиваюсь: Грушницкій! Мы обнялись. Я познакомился съ нимъ въ дѣйствующемъ отрядѣ. Онъ былъ раненъ пулей въ ногу и поѣхалъ на воды, съ недѣлю прежде меня.

Грушницкій—юнкеръ. Онъ только годъ въ службѣ; носитъ, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель.

У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ, смуглъ и черноволосъ; ему на видъ можно дать 25 лѣтъ, хотя ему едва ли 21 годъ. Онъ закидываетъ голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно крутитъ усы лѣвой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говоритъ онъ скоро и вычурно; онъ изъ тѣхъ людей, которые на всѣ случаи жизни имѣютъ готовыя пышныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ, и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. Производить эфектъ — ихъ наслажденіе; они нравятся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами; иногда тѣмъ и другимъ. Въ ихъ душѣ часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи. Грушницкаго страсть была декламировать: онъ закидывалъ васъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвѣчаетъ на ваши возраженія, онъ васъ не слушаетъ. Только-что вы остановитесь, онъ начинаетъ длинную тираду, повидимому имѣющую какую-то связь съ тѣмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дѣлѣ есть только продолженіе его собственной рѣчи.

Онъ довольно остёръ; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ мѣтки и злы: онъ никого не убьетъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цѣлую жизнь однимъ собою. Его цѣль — сдѣлаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увѣрить другихъ въ томъ, что онъ существо не созданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіямъ, что онъ самъ почти въ этомъ увѣрился. Оттого онъ такъ гордо носитъ свою толстую солдатскую шинель. Я его понялъ, и онъ за это меня не любитъ, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; я его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается впередъ, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!...

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда нибудь съ нимъ столкнемся на узкой дорогѣ—и одному изъ насъ не сдоровать.

Пріѣздъ на Кавказъ—также слѣдствіе его романтическаго фанатизма. Я увѣренъ, что наканунѣ отъѣзда изъ отцовской деревни онъ говорилъ съ мрачнымъ видомъ какой нибудь хорошенькой сосѣдкѣ, что онъ ѣдетъ не такъ, просто, служить, но что ищетъ смерти, потому что... тутъ онъ, вѣрно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: «нѣтъ, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?...» и такъ далѣе.

Онъ мнѣ самъ говорилъ, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между нимъ и небесами.

Впрочемъ, въ тѣ минуты, когда сбрасываетъ трагическую мантію, Грушницкій довольно милъ и забавенъ. Мнѣ любопытно видѣть его съ женщинами: тутъ-то, я думаю, старается!

Мы встрѣтились старыми пріятелями. Я началъ его разспрашивать объ образѣ жизни на водахъ и о примѣчательныхъ лицахъ.

— Мы ведемъ жизнь довольно прозаическую, сказалъ онъ, вздохнувъ: пьющіе утромъ воду — вялы, какъ всѣ больные, а пьющіе вино повечеру—несносны, какъ всѣ здоровые. Женскія общества есть; только отъ нихъ небольшое утѣшеніе: онѣ играютъ въ вистъ, одѣваются дурно, и ужасно говорятъ по-французски! Нынѣшній годъ изъ Москвы одна только княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними не знакомъ. Моя солдатская шинель—какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело какъ милостыня.

Въ эту минуту прошли къ колодцу мимо насъ двѣ дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ихъ лицъ за шляпками я не разглядѣлъ, но онѣ одѣты были по строгимъ правиламъ лучшаго вкуса: ничего лишняго. На второй было закрытое платье gris de perles; легкая шелковая косынка вилась вокругъ ея гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколки ея сухощавую ножку такъ мило, что даже непосвященный въ таинства красоты непремѣнно бы ахнулъ, хотя отъ удивленія. Ея легкая, но благородная походка имѣла въ себѣ что-то

дѣвственное, ускользающее отъ опредѣленія, но понятное взору. Когда она прошла мимо насъ, отъ нея повѣяло тѣмъ неизъяснимымъ ароматомъ, которымъ дышетъ иногда записка милой женщины.

— Вотъ княгиня Лиговская, сказалъ Грушницкій, и съ нею дочь ея Мери, такъ какъ она ее называетъ на англійскій манеръ. Онѣ здѣсь только три дня.

— Однако ты ужъ знаешь ея имя?

— Да, я случайно слышалъ, отвѣчалъ онъ покраснѣвъ.— Признаюсь, я не желаю съ ними познакомиться. Эта гордая знать смотритъ на насъ, армейцевъ, какъ на дикихъ. И какое имъ дѣло, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце подъ толстой шинелью?

— Бѣдная шинель! сказалъ я, усмѣхаясь. А кто этотъ господинъ, который къ нимъ подходитъ и такъ услужливо подаетъ имъ стаканъ?

— О! это московскій франтъ Раевичъ. Онъ игрокъ: это видно тотчасъ по золотой огромной цѣпи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость—точно у Робинзона Крузоэ; да и борода кстати, и прическа à la moujik.

— Ты озлобленъ противъ всего рода человѣческаго?

— И есть за что...

— О! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ нами. Грушницкій успѣлъ принять драматическую позу съ помощью костыля и громко отвѣчалъ мнѣ по-французски:

— Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ, любопытнымъ взоромъ. Выраженіе этого взора было очень неопредѣленно, но не насмѣшливо, съ чѣмъ я внутренно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, сказалъ я ему. — У нея такіе бархатные глаза—именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря объ ея глазахъ; нижнія и верх-

нія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... А что, у нея зубы бѣлы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ.

— Mon cher, отвѣчалъ я ему, стараясь поддѣлаться подъ его тонъ: je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Я повернулся и пошелъ отъ него прочь. Съ полчаса гулялъ я по виноградникъ аллеямъ, по известчатымъ скаламъ и висящимъ между нихъ кустарникамъ. Становилось жарко, и я поспѣшилъ домой. Проходя мимо кислосѣрнаго источника, я остановился у крытой галереи, чтобъ вздохнуть подъ ея тѣнью, и это доставило мнѣ случай быть свидѣтелемъ довольно любопытной сцены. Дѣйствующія лица находились вотъ въ какомъ положеніи: княгиня съ московскимъ франтомъ сидѣла на лавкѣ въ крытой галереѣ, и оба были заняты, кажется, серьёзнымъ разговоромъ. Княжна, вѣроятно, допивъ ужъ послѣдній стаканъ, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкій стоялъ у самаго колодца; больше на площадкѣ никого не было.

Я подошелъ ближе и спрятался за угломъ галереи. Въ эту минуту Грушницкій уронилъ свой стаканъ на песокъ и усиливался нагнуться, чтобъ его поднять; больная нога ему мѣшала. Бѣдняжка! какъ онъ ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его въ самомъ дѣлѣ изображало страданіе.

Княжна Мери видѣла все это лучше меня.

Легче птички она къ нему подскочила, нагнулась, подняла стаканъ и подала ему съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести: потомъ ужасно покраснѣла, оглянулась на галерею и, убѣдившись, что ея маменька ничего не видала, кажется, тотчасъ же успокоилась. Когда Грушницкій открылъ ротъ, чтобы поблагодарить ее, она уже была далеко. Черезъ

минуту она вышла изъ галереи съ матерью и франтомъ, но проходя мимо Грушницкаго, приняла видъ такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не замѣтила его страстнаго взгляда, которымъ онъ долго ее провожалъ, пока спустившись съ горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вотъ ея шляпка мелькнула черезъ улицу: она вбѣжала въ ворота одного изъ лучшихъ домовъ Пятигорска; за нею прошла княгиня и у воротъ раскланялась съ Раевичемъ.

Только тогда бѣдный, страстный юнкеръ замѣтилъ мое присутствіе.

— Ты видѣлъ? сказалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку:— это просто ангелъ!

— Отчего? спросилъ я съ видомъ чистѣйшаго простодушія.

— Развѣ ты не видалъ?

— Нѣтъ, видѣлъ: она подняла твой стаканъ. Если бъ былъ тутъ сторожъ, то онъ сдѣлалъ бы то же самое, и еще поспѣшнѣе, надѣясь получить на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— И ты не былъ нисколько тронутъ, глядя на нее въ эту минуту, когда душа сіяла на лицѣ ея?

— Нѣтъ.

Я лгалъ; но мнѣ хотѣлось его побѣсить. У меня врожденная страсть противорѣчить; цѣлая моя жизнь была только цѣпь грустныхъ противорѣчій сердцу или разсудку. Присутствіе энтузіаста обдаетъ меня крещенскимъ холодомъ и, я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробѣжало слегка въ это мгновеніе по моему сердцу; это чувство было—зависть; я говорю смѣло «зависть», потому что привыкъ себѣ во всемъ признаваться; и врядъ ли найдется молодой человѣкъ, который, встрѣтивъ хорошенькую женщину, приковавшую его праздное вниманіе и вдругъ явно предъ нимъ отличившую другаго, ей равно незнакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человѣкъ (разумѣется, жившій въ боль-

шомъ свѣтѣ и привыкшій баловать свое самолюбіе), который бы не былъ этимъ пораженъ непріятно.

Молча съ Грушницкимъ спустились мы съ горы и прошли по бульвару мимо оконъ дома, гдѣ скрылась наша красавица. Она сидѣла у окна. Грушницкій, дернувъ меня за руку, бросилъ на нее одинъ изъ тѣхъ мутно-нѣжныхъ взглядовъ, которые такъ мало дѣйствуютъ на женщинъ. Я навелъ на нее лорнетъ и замѣтилъ, что она отъ его взгляда улыбнулась, и что мой дерзкій лорнетъ разсердилъ ее не на шутку. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, смѣетъ кавказскій армеецъ наводить стеклышко на московскую княжну?...

13-го мая.

Нынѣче по утру зашелъ ко мнѣ докторъ; его имя Вернеръ, но онъ русскій. Что тутъ удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, который былъ нѣмецъ.

Вернеръ человѣкъ значительный по многимъ причинамъ. Онъ скептикъ и матеріалистъ, какъ всѣ почти медики, а вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ не на шутку—поэтъ на дѣлѣ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всѣ живыя струны сердца человѣческаго, какъ изучаютъ жилы трупа, но никогда не умѣлъ онъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умѣетъ вылечить отъ лихорадки. Обыкновенно Вернеръ исподтишка насмѣхался надъ своими больными; но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ былъ бѣденъ, мечталъ о мильонахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага. Онъ мнѣ разъ говорилъ, что скорѣе сдѣлаетъ одолженіе врагу, чѣмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только усилится соразмѣрно великодушію противника. У него былъ злой языкъ: подъ вывѣскою его эпиграммы не одинъ добрякъ прослылъ пошлымъ дуракомъ; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисуетъ каррикатуры на своихъ

больныхъ—больные взбѣленились: почти всѣ ему отказали. Его пріятели, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившіе на Кавказѣ, напрасно старались возстановить его упадшій кредитъ.

Его наружность была изъ тѣхъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ непріятно, но которыя нравятся впослѣдствіи, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ эндиміоновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онѣ имѣютъ инстинктъ красоты душевной, оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ.

Вернеръ былъ малъ ростомъ, и худъ и слабъ какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ туловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженныя такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькіе черные глаза, всегда безпокойные, старалнсь проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждѣ замѣтны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькія руки красовались въ свѣтло-желтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстухъ и жилетъ были постоянно чернаго цвѣта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъ дѣлѣ оно льстило его самолюбію. Мы другъ друга скоро поняли и сдѣлались пріятелями, потому что я къ дружбѣ неспособенъ; изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другаго, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелѣвать въ этомъ случаѣ—трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать; да притомъ, у меня есть лакеи и деньги! Вотъ какъ мы сдѣлались пріятелями: я встрѣтилъ Вернера въ С... среди многочисленнаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подъ конецъ вечера философско-метафизическое направленіе; толковали объ убѣжденіяхъ: каждый былъ убѣжденъ въ разныхъ разностяхъ.

Что до меня касается, то я убѣжденъ только въ одномъ... сказалъ докторъ.

— Въ чемъ это? спросилъ я, желая узнать мнѣніе человѣка, который до сихъ поръ молчалъ.

— Въ томъ, отвѣчалъ онъ: что рано или поздно, въ одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче васъ, сказалъ я: у меня, кромѣ этого, есть еще убѣжденіе, именно то, что я въ одинъ прегадкій вечеръ имѣлъ несчастіе родиться.

Всѣ нашли, что мы говоримъ вздоръ, а право изъ нихъ никто ничего умнѣе этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толпѣ другъ друга. Мы часто сходились вмѣстѣ и толковали вдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьёзно, пока замѣчали оба, что мы взаимно другъ друга морочимъ. Тогда, посмотрѣвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дѣлали римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать, и нахохотавшись, расходились довольные своимъ вечеромъ.

Я лежалъ на диванѣ, устремивъ глаза въ потолокъ и заложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сѣлъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зѣвнулъ и объявилъ, что на дворѣ становится жарко. Я отвѣчалъ, что меня безпокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замѣтьте, любезный докторъ, сказалъ я, что безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно... Посмотрите, вотъ насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранѣе, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово — для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя. Итакъ, размѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, что хотимъ знать; и знать больше не хотимъ; остается одно средство: разсказывать новости. Скажите же какую нибудь новость.

Утомленный долгою рѣчью, я закрылъ глаза и зѣвнулъ...

Онъ отвѣчалъ подумавши: въ вашей галиматьѣ однако жъ есть идея.

— Двѣ, отвѣчалъ я.

— Скажите мнѣ одну, я вамъ скажу другую.

— Хорошо, начинайте! сказалъ я, продолжая разсматривать потолокъ и внутренно улыбаясь.

— Вамъ хочется знать какія нибудь подробности на-счетъ кого нибудь изъ пріѣзжихъ на воды, и я ужъ догадываюсь о комъ вы это заботитесь, потому что объ васъ тамъ уже спрашивали.

— Докторъ! рѣшительно намъ нельзя разговаривать: мы читаемъ въ душѣ другъ друга.

— Теперь другая?

— Другая идея вотъ: мнѣ хотѣлось васъ заставить разсказать что нибудь; во-первыхъ, потому что слушать менѣе утомительно; во-вторыхъ, нельзя проговориться; въ-третьихъ, можно узнать чужую тайну; въ-четвертыхъ, потому что такіе умные люди, какъ вы, лучше любятъ слушателей, чѣмъ разскащиковъ. Теперь къ дѣлу; что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?

— Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна?

— Совершенно убѣжденъ.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ.

— У васъ большой даръ соображенія. Княжна сказала, что она увѣрена, что этотъ молодой человѣкъ въ солдатской шинели разжалованъ въ солдаты за дуэль...

— Надѣюсь, вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи...

— Разумѣется...

— Завязка есть! закричалъ я въ восхищеніи; объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобъ мнѣ не было скучно.

— Я предчувствую, сказалъ докторъ, что бѣдный Грушницкій будетъ вашей жертвой...

— Дальше, докторъ.

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей замѣтилъ, что вѣрно она васъ встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣ нибудь въ свѣтѣ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извѣстно. Кажется, ваша исторія тамъ надѣлала много шуму... Княгиня стала разсказывать о вашихъ похожденіяхъ, прибавляя, вѣроятно, къ свѣтскимъ сплетнямъ свои замѣчанія... Дочка слушала съ любопытствомъ. Въ ея воображеніи вы сдѣлались героемъ романа въ новомъ вкусѣ... Я не противорѣчилъ княгинѣ, хотя зналъ, что она говоритъ вздоръ.

— Достойный другъ! сказалъ я, протянувъ ему руку. Докторъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! сказалъ я, всплеснувъ руками; развѣ героевъ представляютъ? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную...

— И вы въ самомъ дѣлѣ хотите волочиться за княжной?...

— Напротивъ, совсѣмъ напротивъ!... Докторъ, наконецъ я торжествую: вы меня не понимаете!... Это меня, впрочемъ, огорчаетъ, докторъ, продолжалъ я послѣ минуты молчанія; я никогда самъ не открываю моихъ тайнъ, а ужасно люблю, чтобъ ихъ отгадывали, потому что такимъ образомъ я всегда могу, при случаѣ, отъ нихъ отпереться. Однако жъ, вы мнѣ должны описать маменьку съ дочкой. Что они за люди?

— Во-первыхъ, княгиня—женщина сорока-пяти лѣтъ, отвѣчалъ Вернеръ; у ней прекрасный желудокъ, но кровь испорчена; на щекахъ красныя пятна. Послѣднюю половину своей жизни она провела въ Москвѣ и тутъ, на покоѣ, растолстѣла. Она любитъ соблазнительные анекдоты и сама говоритъ иногда неприличныя вещи, когда дочери нѣтъ въ комнатѣ. Она мнѣ объявила, что дочь ея невинна какъ голубь. Какое мнѣ дѣло?... Я хотѣлъ ей отвѣчать, чтобъ она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится отъ ревматизма, а дочь Богъ знаетъ отъ чего. Я велѣлъ обѣимъ пить по два стакана въ день кислосѣрной воды и купаться два раза въ недѣлю въ разводной ваннѣ. Княгиня, кажется, не привыкла повелѣвать; она пугаетъ

уваженіе къ уму и знаніямъ дочки, которая читала Байрона по-англійски и знаетъ алгебру: въ Москвѣ, видно, барышни пустились въ ученость, и хорошо дѣлаютъ, право! Наши мужчины такъ не любезны вообще, что съ ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любитъ молодыхъ людей; княжна смотритъ на нихъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ —московская привычка! Онѣ въ Москвѣ только и питаются, что сорокалѣтними остряками.

— А вы были въ Москвѣ, докторъ?

— Да, я имѣлъ тамъ нѣкоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказалъ... Да! вотъ еще: княжна, кажется, любитъ разсуждать о чувствахъ, страстяхъ и проч. Она была одну зиму въ Петербургѣ, и онъ ей не понравился, особенно общество: ее, вѣрно, холодно приняли.

— Вы никого у нихъ не видали сегодня?

— Напротивъ, былъ одинъ адъютантъ, одинъ натянутый гвардеецъ и какая-то дама изъ новопріѣзжихъ, родственница княгини по мужѣ, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встрѣтили ль вы ее у колодца?—она средняго роста, блондинка, съ правильными чертами, цвѣтъ лица чахоточный, а на правой щекѣ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! пробормоталъ я сквозь зубы.—Неужели?

Докторъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мнѣ руку на сердце: «она вамъ знакома!...» Мое сердце, точно, билось сильнѣе обыкновеннаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! сказалъ я; только я на васъ надѣюсь: вы мнѣ не измѣните. Я ее не видалъ еще, но, увѣренъ, узнаю въ вашемъ портретѣ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мнѣ ни слова; если она спроситъ, отнеситесь обо мнѣ дурно.

— Пожалуй! сказалъ Вернеръ, пожавъ плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стѣснила мое сердце. Судьба ли насъ свела опять на Кавказѣ, или она нарочно сюда

пріѣхала, зная, что меня встрѣтитъ?... и какъ мы встрѣтимся?... и потомъ, она ли это?... Мои предчувствія меня никогда не обманывали. Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали, или радости, болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю—ничего!

Послѣ обѣда часовъ въ шесть я пошелъ на бульваръ; тамъ была толпа: княгиня съ княжною сидѣли на скамьѣ, окруженныя молодежью, которая любезничала наперерывъ. Я помѣстился въ нѣкоторомъ разстояніи на другой лавкѣ, остановилъ двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ, и началъ имъ что-то разсказывать; видно, было смѣшно, потому что они начали хохотать какъ сумасшедшіе. Любопытство привлекло ко мнѣ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну; мало по малу и всѣ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкалъ: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмѣшки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжалъ увеселять публику до захожденія солнца. Нѣсколько разъ княжна подъ ручку съ матерью проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нѣсколько разъ ея взглядъ, упадая на меня, выражалъ досаду, стараясь выразить равнодушіе...

— Что онъ вамъ разсказывалъ? спросила она у одного изъ молодыхъ людей возвратившихся къ ней изъ вѣжливости; вѣрно очень занимательную исторію—свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятно, съ намѣреніемъ кольнуть меня. «Ага!» подумалъ я: «вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будетъ!»

Грушницкій слѣдилъ за нею какъ хищный звѣрь, и не спускалъ ее съ глазъ: бьюсь объ закладъ, что завтра онъ будетъ просить, чтобъ его кто нибудь представилъ княгинѣ. Она будетъ рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолженіе двухъ дней мои дѣла ужасно подвинулись. Княжна меня рѣшительно ненавидитъ; мнѣ уже пересказывали двѣ-три эпиграммы на ея счетъ, довольно колкія, но вмѣстѣ очень лестныя. Ей ужастно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъ съ ея петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встрѣчаемся каждый день у колодца, на бульварѣ; я употребляю всѣ свои силы на то, чтобъ отвлекать ея обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блѣдныхъ москвичей и другихъ —и мнѣ почти всегда удается. Я всегда ненавидѣлъ гостей у себя; теперь у меня каждый день полонъ домъ, обѣдаютъ, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шампанское торжествуетъ надъ силою магнитическихъ ея глазокъ!

Вчера я ее встрѣтилъ въ магазинѣ Челахова; она торговала чудесный персидскій коверъ. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этотъ коверъ такъ украсилъ бы ея кабинетъ!... Я далъ сорокъ рублей лишнихъ и перекупилъ его; за это я былъ вознагражденъ взглядомъ, гдѣ блистало самое восхитительное бѣшенство. Около обѣда я велѣлъ нарочно провести мимо ея оконъ мою черкесскую лошадь, покрытую этимъ ковромъ. Вернеръ былъ у нихъ въ это время и говорилъ мнѣ, что эффектъ этой сцены былъ самый драматическій. Княжна хочетъ проповѣдывать противъ меня ополченіе; я даже замѣтилъ, что ужъ два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякій день у меня обѣдаютъ.

Грушницкій принялъ таинственный видъ: ходитъ закинувъ руки за спину и никого не узнаетъ; нога его вдругъ выздоровѣла; онъ едва хромаетъ. Онъ нашелъ случай вступить въ разговоръ съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ княжнѣ; она, видно, не очень разборчива, ибо съ тѣхъ поръ отвѣчаетъ на его поклонъ самой милой улыбкой.

— Ты рѣшительно не хочешь познакомиться съ Лиговскими? сказалъ онъ мнѣ вчера.

— Рѣшительно.

— Помилуй! самый пріятный домъ на водахъ. Все здѣшнее лучшее общество...

— Мой другъ, мнѣ и нездѣшнее ужасно надоѣло. А ты у нихъ бываешь?

— Нѣтъ еще; я говорилъ раза два съ княжной, не болѣе. Знаешь, какъ-то напрашиваться въ домъ неловко, хотя здѣсь это и водится... Другое дѣло, если бы я носилъ эполеты...

— Помилуй! да этакъ ты гораздо интереснѣе! Ты, просто, не умѣешь пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да, солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дѣлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улыбнулся.

— Какой вздоръ! сказалъ онъ.

— Я увѣренъ, продолжалъ я, что княжна въ тебя ужъ влюблена.

Онъ покраснѣлъ до ушей и надулся.

О самолюбіе! ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ!...

— У тебя все шутки! сказалъ онъ, показывая, будто сердится; во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ.

— Да я вовсе не имѣю претензіи ей нравиться я просто хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ; и было бы очень смѣшно, если бъ я имѣлъ какія нибудь надежды... Вотъ вы, напримѣръ, другое дѣло: вы, побѣдители петербургскіе, только посмотрите—такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебѣ говорила?...

— Какъ? Она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?...

— Не радуйся, однако. Я какъ-то вступилъ съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ея было: «кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный, тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда...» Она покраснѣла и не хотѣла назвать дня, вспомнивъ свою милую выходку. «Вамъ не нужно сказывать дня, отвѣчалъ я ей, онъ вѣчно мнѣ будетъ памятенъ...»

Мой другъ, Печоринъ! я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А право жаль, потому что Мери очень мила!...

Надобно замѣтить, что Грушницкій изъ тѣхъ людей, которые, говоря о женщинѣ, съ которой они едва знакомы, называютъ ее моя Мери, моя Sophie, если она имѣла счастіе имъ понравиться.

Я принялъ серьёзный видъ и отвѣчалъ ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкій! Русскія барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примѣшивая къ ней мысли о замужствѣ; а платоническая любовь самая безпокойная. Княжна, кажется, изъ тѣхъ женщинъ, которыя хотятъ, чтобъ ихъ забавляли; если двѣ минуты сряду ей будетъ возлѣ тебя скучно—ты погибъ невозвратно: твое молчаніе должно возбуждать ея любопытство, твой разговоръ—никогда не удовлетворять его вполнѣ; ты долженъ ее тревожить ежеминутно; она десять разъ публично для тебя пренебрежетъ мнѣніемъ и назоветъ это жертвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станетъ тебя мучить, а потомъ просто скажетъ, что она тебя терпѣть не можетъ. Если ты надъ нею не пріобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не дастъ тебѣ права на второй; она съ тобою накокетничается вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за урода, изъ покорности къ маменькѣ, и станетъ себя увѣрять, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то есть тебя, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хоть подъ этой толстой, сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкій ударилъ по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Я внутренно хохоталъ и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастію, этого не замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что сталъ довѣрчивѣе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшней работы: оно мнѣ показалось подозрительнымъ. Я сталъ его разсматривать, и что же?...

мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ—число того дня, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утаилъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренные—и тутъ-то я буду наслаждаться!...

. . . . . .

Сегодня я всталъ поздно; прихожу къ колодцу—никого ужъ нѣтъ. Становилось жарко; бѣлыя мохнатыя тучки быстро бѣжали отъ снѣговыхъ горъ, обѣщая грозу; голова Машука дымилась, какъ загашенный факелъ; кругомъ его вились и ползали, какъ змѣи, сѣрые клочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремленіи и будто зацѣпившіеся за колючій его кустарникъ. Воздухъ былъ напоенъ электричествомъ. Я углубился въ виноградную аллею, ведущую въ гротъ; мнѣ было грустно. Я думалъ о той молодой женщинѣ съ родинкой на щекѣ, про которую говорилъ мнѣ докторъ... За чѣмъ она здѣсь? И она ли? И почему я думалъ, что это она? И почему я даже такъ въ этомъ увѣренъ! Мало ли женщинъ съ родинками на щекахъ! — Размышляя такимъ образомъ, я подошелъ къ самому гроту. Смотрю: въ прохладной тѣни его свода, на каменной скамьѣ сидитъ женщина, въ соломенной шляпкѣ, окутанная черной шалью, опустивъ голову на грудь; шляпка закрывала ея лицо. Я хотѣлъ уже вернуться, чтобъ не нарушить ея мечтаній, когда она на меня взглянула.

— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣднѣла.

— Я знала, что вы здѣсь, сказала она.

Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами; въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ!

— Стало быть, ужъ ты меня не любишь?...

— Я замужемъ!... сказала она.

— Опять? Однако, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, эта причина также существовала, но между тѣмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, щеки ея запылали.

— Можетъ быть, ты любишь своего втораго мужа?...

Она не отвѣчала и отвернулась.

— Или онъ очень ревнивъ?

Молчаніе.

— Что жъ? Онъ молодъ, хорошъ, особенно вѣрно богатъ? и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе; на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ, наконецъ прошептала она, тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ, кромѣ страданій... Ея голосъ задрожалъ; она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

«Можетъ быть», подумалъ я, «ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крѣпко обнялъ, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій, упоительный поцѣлуй; ея руки были холодны какъ ледъ, голова горѣла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые на бумагѣ не имѣютъ смысла, которыхъ повторить нельзя, и нельзя даже запомнить: значеніе звуковъ замѣняетъ и дополняетъ значеніе словъ, какъ въ итальянской оперѣ.

Она рѣшительно не хочетъ, чтобъ я познакомился съ ея мужемъ, тѣмъ хромымъ старичкомъ, котораго я видѣлъ мѣлькомъ на бульварѣ; она вышла за него для сына: онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себѣ надъ нимъ ни одной насмѣшки: она его уважаетъ какъ отца — и будетъ обманывать какъ мужа... Странная вещь сердце человѣческое вообще, и женское въ особенности!

Мужъ Вѣры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Вѣра часто бываетъ у княгини; я ей далъ слово познакомиться съ Ли-

говскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вниманіе. Такимъ образомъ мои планы ни мало не разстроились, и мнѣ будетъ весело...

Весело!... Да, я ужъ прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда ищутъ только счастія, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого нибудь; теперь я только хочу быть любимымъ, и то очень немногими; даже мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!...

Одно мнѣ всегда было странно: я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это?—оттого ли, что я никогда ничѣмъ очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это—магнитическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ, просто, не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!...

Правда, теперь вспомнилъ: одинъ разъ, одинъ только разъ я любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не могъ побѣдить... Мы разстались врагами — и то, можетъ быть, если бъ я ее встрѣтилъ пятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Вѣра больна, очень больна, хотя въ этомъ и не признается; я боюсь, чтобы не было у нея чахотки, или той болѣзни, которую называютъ fièvre lente—болѣзнь не русская вовсе, и ей на нашемъ языкѣ нѣтъ названія.

Гроза застала насъ въ гротѣ и удержала лишніе полчаса. Она не заставила меня клясться въ вѣрности, не спрашивала, любилъ ли я другихъ съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались... Она ввѣрилась мнѣ снова съ прежнею безпечностью—и я ее не обману: она единственная женщина въ мірѣ, которую я не въ силахъ былъ бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и, быть можетъ, на вѣки: оба пойдемъ разными путями до гроба;

но воспоминаніе о ней останется неприкосновеннымъ въ душѣ моей; я ей это повторялъ всегда, и она мнѣ вѣритъ, хотя говоритъ противное.

Наконецъ мы разстались; я долго слѣдилъ за нею взоромъ, пока ея шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болѣзненно сжалось, какъ послѣ перваго разставанія. О, какъ я обрадовался этому чувству! Ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочетъ вернуться ко мнѣ опять, или это только ея прощальный взглядъ, послѣдній подарокъ — на память?... А смѣшно подумать, что на видъ я еще мальчикъ: лицо хотя блѣдно, но еще свѣжо; члены гибки и стройны; густыя кудри вьются, глаза горятъ, кровь кипитъ...

Возвратясь домой, я сѣлъ верхомъ и поскакалъ въ степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горесть ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство ни томило мысль — все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко; усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ; при видѣ голубаго неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Я думаю, казаки, зѣвающіе на своихъ вышкахъ, видя меня скачущаго безъ нужды и цѣли, долго мучились этою загадкой, ибо вѣрно по одеждѣ приняли меня за черкеса. Мнѣ въ самомъ дѣлѣ говорили, что въ черкесскомъ костюмѣ верхомъ я больше похожъ на кабардинца, чѣмъ многіе кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишняго, оружіе цѣнное въ простой отдѣлкѣ, мѣхъ на шапкѣ не слишкомъ длинный, не слишкомъ короткій; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешметъ бѣлый, черкеска темнобурая. Я долго изучалъ горскую посадку: ничѣмъ нельзя такъ польстить моему самолюбію, какъ признавая мое искусство въ верховой ѣздѣ на кав-

казскій ладъ. Я держу четырехъ лошадей: одну для себя, трехъ для пріятелей, чтобъ не скучно было одному таскаться по полямъ; они берутъ моихъ лошадей съ удовольствіемъ и никогда со мной не ѣздятъ вмѣстѣ. Было уже шесть часовъ пополудни, когда вспомнилъ я, что пора обѣдать. Лошадь моя была измучена; я выѣхалъ на дорогу, ведущую изъ Пятигорска въ нѣмецкую колонію, куда часто водяное общество ѣздитъ en piquenique. Дорога идетъ извиваясь между кустарниками, опускаясь въ небольшіе овраги, гдѣ протекаютъ шумные ручьи подъ сѣнью высокихъ травъ; кругомъ амфитеатромъ возвышаются синія громады Бешту, Змѣиной, Желѣзной и Лысой горы. Спустясь въ одинъ изъ такихъ овраговъ, называемыхъ на здѣшнемъ нарѣчіи балками, я остановился, чтобъ напоить лошадь; въ это время показалась на дорогѣ шумная и блестящая кавалькада; дамы въ черныхъ и голубыхъ амазонкахъ, кавалеры въ костюмахъ, составляющихъ смѣсь черкесскаго съ нижегородскимъ: впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжною Мери.

Дамы на водахъ еще вѣрятъ нападеніямъ черкесовъ среди бѣлаго дня; вѣроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской шинели повѣсилъ шашку и пару пистолетовъ; онъ былъ довольно смѣшонъ въ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрывалъ меня отъ нихъ; но сквозь листья его я могъ видѣть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сантиментальный. Наконецъ они приблизились къ спуску; Грушницкій взялъ за поводъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ конецъ ихъ разговора:

— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ? говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ея кавалеръ, страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ.

Лицо Грушницкаго изобразило удовольствіе. Онъ продолжалъ:

— Здѣсь моя жизнь протечетъ шумно, незамѣтно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богъ мнѣ каждый годъ посылалъ одинъ свѣтлый женскій взглядъ, одинъ, подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!... вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобъ ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвѣтъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ послѣднее мое предположеніе было справедливо. Грушницкій бросилъ на меня недовольный взглядъ.

Поздно вечеромъ, т. е. часовъ въ одиннадцать, я пошелъ гулять по липовой аллеѣ бульвара. Городъ спалъ; только въ нѣкоторыхъ окнахъ мелькали огни. Съ трехъ сторонъ чернѣли гребни утесовъ, отрасли Машука, на вершинѣ котораго лежало зловѣщее облачко; мѣсяцъ подымался на востокѣ; вдали серебряной бахромой сверкали снѣговыя горы. Оклики часовыхъ перемежались съ шумомъ горячихъ ключей, спущенныхъ на ночь. Порою звучный топотъ коня раздавался по уливѣ, сопровождаемый скрипомъ нагайской арбы и заунывнымъ татарскимъ припѣвомъ. Я сѣлъ на скамью и задумался... Я чувствовалъ необходимость излить свои мысли въ дружескомъ разговорѣ... но съ кѣмъ?... «Что дѣлаетъ теперь Вѣра?» думалъ я... Я бы дорого далъ, чтобъ въ эту минуту пожать ея руку.

Вдругъ слышу быстрые и неровные шаги... Вѣрно Грушницкій... Такъ и есть!

— Откуда?

— Отъ княгини Лиговской, сказалъ онъ очень важно.— Какъ Мери поетъ!...

— Знаешь ли что? сказалъ я ему, я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный...

— Можетъ быть. Какое мнѣ дѣло!... сказалъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, я только такъ это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно разсердилъ? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увѣрить, что ты такъ хорошо воспитанъ и такъ хорошо знаешь свѣтъ, что не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить. Она говоритъ, что у тебя наглый взглядъ, что ты вѣрно о себѣ самаго высокаго мнѣнія.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

«Ого!» подумалъ я: «у него, видно, есть уже надежды».

— Впрочемъ, для тебя же хуже, продолжалъ Грушницкій: тебѣ теперь трудно познакомиться съ ними—а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый пріятный домъ для меня теперь мой, сказалъ я, зѣвая, и всталъ, чтобъ идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?...

— Какой вздоръ! Если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

— Посмотримъ...

— Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочетъ говорить съ тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговоръ ей наскучитъ... Прощай.

— А я пойду шататься; я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдемъ лучше въ ресторацію, тамъ игра... мнѣ нужны нынче сильныя ощущенія...

— Желаю тебѣ проиграться...

Я пошелъ домой.

21-го мая.

Прошла почти недѣля, а я еще не познакомился съ Лиговскими. Жду удобнаго случая. Грушницкій какъ тѣнь слѣдуетъ за княжной вездѣ; ихъ разговоры безконечны; когда же онъ ей наскучитъ?... Мать не обращаетъ на это вниманія, потому что онъ не женихъ. Вотъ логика матерей! Я подмѣтилъ два, три нѣжные взгляда—надо этому положить конецъ.

Вчера у колодца въ первый разъ явилась Вѣра... Она съ тѣхъ поръ, какъ мы встрѣтились въ гротѣ, не выходила изъ дома. Мы въ одно время опустили стаканы и, наклонясь, она мнѣ сказала шопотомъ:

— Ты не хочешь познакомиться съ Лиговскими?... Мы только тамъ можемъ видѣться...

Упрекъ!... скучно! Но я его заслужилъ...

Кстати: завтра балъ по подпискѣ въ залѣ ресторація, и я буду танцовать съ княжной мазурку.

29-го мая.

Зала ресторація превратилась въ залу благороднаго собранія. Въ девять часовъ всѣ съѣхались. Княгиня съ дочерью явилась изъ послѣднихъ; многія дамы посмотрѣли на нее съ завистью и недоброжелательствомъ, потому что княжна Мери одѣвается со вкусомъ. Тѣ, которыя почитаютъ себя здѣшними аристократками, утаивъ зависть, примкнулись къ ней. Какъ быть? Гдѣ есть общество женщинъ, тамъ сейчасъ явится высшій и низшій кругъ. Подъ окномъ, въ толпѣ народа, стоялъ Грушницкій, прижавъ лицо къ стеклу и не спуская глазъ съ своей богини; она проходя мимо, едва примѣтно кивнула ему головой. Онъ просіялъ какъ солнце... Танцы начались польскимъ; потомъ заиграли вальсъ. Шпоры зазвенѣли, фалды поднялись и закружились.

Я стоялъ сзади одной толстой дамы, осѣненной розовыми перьями; пышность ея платья напоминала времена фижмъ, а

пестрота ея негладкой кожи — счастливую эпоху мушекъ изъ черной тафты. Самая большая бородавка на ея шеѣ прикрыта была фермуаромъ. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная дѣвчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрѣла на меня въ лорнетъ... C'est impayable... И чѣмъ она гордится? Ужъ ее надо бы проучить...

— За этимъ дѣло не станетъ! отвѣчалъ услужливый капитанъ и отправился въ другую комнату.

Я тотчасъ подошелъ къ княжнѣ, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здѣшнихъ обычаевъ, позволяющихъ танцовать съ незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгій видъ. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бокъ— и мы пустились. Я не знаю таліи болѣе сладострастной и гибкой! Ея свѣжее дыханіе касалось моего лица; иногда локонъ, отдѣлившійся въ вихрѣ вальса отъ своихъ товарищей, скользилъ по горящей щекѣ моей... Я сдѣлалъ три тура (она вальсируетъ удивительно хорошо). Она запыхалась, глаза ея помутились, полураскрытыя губки едва могли прошептать необходимое: mercі, monsieur.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, я сказалъ ей, принявъ самый покорный видъ:

— Я слышалъ, княжна, что будучи вамъ вовсе незнакомъ, я имѣлъ уже несчастіе заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзкимъ... Неужели это правда?

— И вамъ бы хотѣлось теперь меня утвердить въ этомъ мнѣніи? отвѣчала она съ ироническою гримаскою, которая впрочемъ очень идетъ къ ея подвижной физіономіи.

— Если я имѣлъ дерзость васъ чѣмъ нибудь оскорбить, то позвольте мнѣ имѣть еще бо́льшую дерзость: просить у васъ прощенія... И право я бы очень желалъ доказать вамъ, что вы насчетъ меня ошибались...

— Вамъ это будетъ довольно трудно...

— Отчего же?...

— Оттого, что вы у насъ не бываете, а эти балы вѣроятно не часто будутъ повторяться.

«Это значитъ», подумалъ я: «что ихъ двери для меня навѣки закрыты».

— Знаете, княжна, сказалъ я съ нѣкоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающагося преступника: съ отчаянія онъ можетъ сдѣлаться еще вдвое преступнѣе... и тогда...

Хохотъ и шушуканье насъ окружающихъ заставили меня обернуться и прервать мою фразу. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня стояла группа мужчинъ, и въ ихъ числѣ драгунскій капитанъ, изъявившій враждебныя намѣренія противъ милой княжны; онъ особенно былъ чѣмъ-то очень доволенъ; потиралъ руки, хохоталъ и перемигивался съ товарищами. Вдругъ изъ среды ихъ отдѣлился господинъ во фракѣ съ длинными усами и красной рожей, и направилъ невѣрные шаги свои прямо къ княжнѣ: онъ былъ пьянъ. Остановясь противъ смутившейся княжны и заложивъ руки за спину, онъ уставилъ на нее мутно-сѣрые глаза и произнесъ хриплымъ дискантомъ:

— Пермете... ну, да что тутъ!... просто: ангажирую васъ на мазурку...

— Что вамъ угодно? произнесла она дрожащимъ голосомъ, бросая кругомъ умоляющій взглядъ. Увы! ея мать была далеко, и возлѣ никого изъ знакомыхъ ей кавалеровъ не было; одинъ адъютантъ, кажется, все это видѣлъ, да спрятался за толпой, чтобъ не быть замѣшану въ исторію.

— Что же? сказалъ пьяный господинъ, мигнувъ драгунскому капитану, который ободрялъ его знаками: — развѣ вамъ не угодно?... Я-таки опять имѣю честь васъ ангажировать pour mazourque... Вы, можетъ, думаете, что я пьянъ? Это ничего!... Гораздо свободнѣе, могу васъ увѣрить...

Я видѣлъ, что она готова упасть въ обморокъ отъ страха и негодованія.

Я подошелъ къ пьяному господину, взялъ его довольно

крѣпко за руку и, посмотрѣвъ ему пристально въ глаза, попросилъ удалиться—потому, прибавилъ я, что княжна давно ужъ обѣщалась танцовать мазурку со мною.

— Ну, нечего дѣлать!... въ другой разъ! сказалъ онъ, засмѣявшись, и удалился къ своимъ пристыженнымъ товарищамъ, которые тотчасъ увели его въ другую комнату.

Я былъ вознагражденъ глубокимъ, чудеснымъ взглядомъ.

Княжна подошла къ своей матери и разсказала ей все; та отыскала меня въ толпѣ и благодарила. Она объявила мнѣ, что знала мою мать и была дружна съ полдюжиной моихъ тетушекъ.

Я не знаю, какъ случилось, что мы до сихъ поръ съ вами незнакомы, прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною; вы дичитесь всѣхъ, такъ что ни на что не похоже. Я надѣюсь, что воздухъ моей гостиной разгонитъ вашъ сплинъ... Не правда ли?

— Я сказалъ одну изъ тѣхъ фразъ, которыя у всякаго должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконецъ съ хоръ загремѣла музыка; мы съ княжной усѣлись.

Я не намекалъ ни разу ни о пьяномъ господинѣ, ни о прежнемъ моемъ поведеніи, ни о Грушницкомъ. Впечатлѣніе, произведенное на нее непріятною сценою, мало по малу разсѣялось; личико ея разцвѣло; она шутила очень мило; ея разговоръ былъ остеръ, безъ притязанія на остроту, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки... Я далъ ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мнѣ давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснѣла.

— Вы странный человѣкъ! сказала она потомъ, поднявъ на меня свои бархатные глаза и принужденно засмѣявшись.

— Я не хотѣлъ съ вами знакомиться, продолжалъ я: — потому что васъ окружаетъ слишкомъ густая толпа поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись: они всѣ прескучные...

— Всѣ! неужели всѣ?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потомъ опять слегка покраснѣла и наконецъ произнесла рѣшительно: всѣ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

— А онъ вашъ другъ? сказала она, показывая нѣкоторое сомнѣніе.

— Да.

— Онъ, конечно, не входитъ въ разрядъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ, сказалъ я, смѣясь.

— Конечно! А вамъ смѣшно? Я бъ желала, чтобъ вы были на его мѣстѣ...

— Что жъ? я былъ самъ нѣкогда юнкеромъ, и право это самое лучшее время моей жизни!

— А развѣ онъ юнкеръ?... сказала она быстро, и потомъ прибавила: а я думала...

— Что вы думали?...

— Ничего!... Кто эта дама?

Тутъ разговоръ перемѣнилъ направленіе и къ этому ужъ болѣе не возвращался.

Вотъ мазурка кончилась, и мы разстались — до свиданія. Дамы разъѣхались. Я пошелъ ужинать и встрѣтилъ Вернера.

— А-га! сказалъ онъ: такъ-то вы! А еще хотѣли не иначе знакомиться съ княжной, какъ спасши ее отъ вѣрной смерти.

— Я сдѣлалъ лучше, отвѣчалъ я ему: спасъ ее отъ обморока на балѣ...

— Какъ это?—Разскажите.

— Нѣтъ отгадайте—о вы, отгадывающій все на свѣтѣ!

30-го мая.

Около семи часовъ вечера я гулялъ на бульварѣ. Грушницкій, увидѣвъ меня издали, подошелъ ко мнѣ; какой-то смѣшной восторгъ блисталъ въ его глазахъ. Онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

— Благодарю тебя, Печоринъ... Ты понимаешь меня?...

— Нѣтъ; но во всякомъ случаѣ не стоитъ благодарности, отвѣчалъ я, не имѣя точно на совѣсти никакого благодѣянія.

— Какъ? а вчера? ты развѣ забылъ?... Мери мнѣ все разсказала...

— А что? развѣ у васъ ужъ нынѣче все общее? и благодарность?

— Послушай, сказалъ Грушницкій очень важно:—пожалуста, не подшучивай надъ моей любовью, если хочешь остаться моимъ пріятелемъ... Видишь: я ее люблю до безумія... и я думаю, я надѣюсь, она также меня любитъ... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынѣче у нихъ вечеромъ; обѣщай мнѣ замѣчать все: я знаю, ты опытенъ въ этихъ вещахъ, ты лучше меня знаешь женщинъ... Женщины! женщины! кто ихъ пойметъ? Ихъ улыбки противорѣчатъ ихъ взорамъ, ихъ слова обѣщаютъ и манятъ, а звукъ ихъ голоса отталкиваетъ... То онѣ въ минуту постигаютъ и угадываютъ самую потаенную нашу мысль, то не понимаютъ самыхъ ясныхъ намековъ... Вотъ хоть княжна: вчера ея глаза пылали страстью, останавливаясь на мнѣ, нынѣче они тусклы и холодны...

— Это, можетъ быть, слѣдствіе дѣйствія водъ, отвѣчалъ я.

— Ты во всемъ видишь худую сторону... матеріалистъ! прибавилъ онъ презрительно.—Впрочемъ, перемѣнимъ матерію— и довольный плохимъ каламбуромъ, онъ развеселился.

Въ девятомъ часу мы вмѣстѣ пошли къ княгинѣ.

Проходя мимо оконъ Вѣры, я видѣлъ ее у окна. Мы кинули другъ другу бѣглый взглядъ. Она вскорѣ послѣ насъ вошла въ гостиную Лиговскихъ. Княгиня меня ей представила, какъ своей родственницѣ. Пили чай; гостей было много; разговоръ былъ общій. Я старался понравиться княгинѣ, шутилъ, заставлялъ ее нѣсколько разъ смѣяться отъ души; княжнѣ также не разъ хотѣлось похохотать, но она удерживалась, чтобъ не выйти изъ принятой роли: она находитъ, что томность къ ней идетъ и, можетъ быть, не ошибается. Грушницкій кажется очень радъ, что моя веселость ее не заражаетъ.

Послѣ чая всѣ пошли въ залу.

— Довольна ль ты моимъ послушаніемъ, Вѣра? сказалъ я, проходя мимо ея.

Она мнѣ кинула взглядъ, исполненный любви и благодарности. Я привыкъ къ этимъ взглядамъ; но нѣкогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; всѣ просили ее спѣть что-нибудь—я молчалъ и пользуясь суматохой, отошелъ къ окну съ Вѣрой, которая мнѣ хотѣла сказать что-то очень важное для насъ обоихъ... Вышло—вздоръ...

Между тѣмъ княжнѣ мое равнодушіе было досадно, какъ я могъ догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этотъ разговоръ, нѣмой, но выразительный, краткій, но сильный!...

Она запѣла; ея голосъ не дуренъ, но поетъ она плохо... впрочемъ, я не слушалъ. За то Грушницкій, облокотясь на рояль противъ нея, пожиралъ ее глазами и поминутно говорилъ вполголоса: charmant! délicieux!

— Послушай, говорила мнѣ Вѣра: — я не хочу, чтобъ ты знакомился съ моимъ мужемъ, но ты долженъ непремѣнно понравиться княгинѣ; тебѣ это легко: ты можешь все, что хочешь. Мы здѣсь только будемъ видѣться...

— Только?...

Она покраснѣла и продолжала: — ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за то наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мѣрѣ, я хочу сберечь свою репутацію... не для себя—ты это знаешь очень хорошо!... О, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣньями и притворной холодностью; я, можетъ быть, скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и не смотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебѣ, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркіе поцѣлуи не могутъ замѣнить его.

Между тѣмъ княжна Мери перестала пѣть. Ропотъ похвалъ раздался вокругъ нея; я подошелъ къ ней послѣ всѣхъ и сказалъ ей что-то на счетъ ея голоса довольно небрежно.

Она сдѣлала гримаску, выдвинувъ нижнюю губу, и присѣла очень насмѣшливо.

— Мнѣ это тѣмъ болѣе лестно, сказала она, что вы меня вовсе не слушали; но вы, можетъ быть, не любите музыки?...

— Напротивъ... послѣ обѣда особенно.

— Грушницкій правъ, говоря, что у васъ самые прозаическіе вкусы... и я вижу, что вы любите музыку въ гастрономическомъ отношеніи.

— Вы ошибаетесь опять; я вовсе не гастрономъ: у меня прескверный желудокъ. Но музыка послѣ обѣда усыпляетъ, а спать послѣ обѣда здорово; слѣдовательно, я люблю музыку въ медицинскомъ отношеніи. Вечеромъ же она, напротивъ, слишкомъ раздражаетъ мои нервы: мнѣ дѣлается слишкомъ грустно или слишкомъ весело. То и другое утомительно, когда нѣтъ положительной причины грустить или радоваться, и притомъ грусть въ обществѣ смѣшна, а слишкомъ большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, сѣла возлѣ Грушницкаго, и между ними начался какой-то сантиментальный разговоръ; кажется, княжна отвѣчала на его мудрыя фразы довольно разсѣянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушаетъ его со вниманіемъ, потому что онъ иногда смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, стараясь угадать причину внутренняго волненія, изображавшагося иногда въ ея безпокойномъ взглядѣ...

Но я васъ отгадалъ, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мнѣ отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбіе— вамъ не удастся! и если вы мнѣ объявите войну, то я буду безпощаденъ.

Въ продолженіе вечера я нѣсколько разъ нарочно старался вмѣшаться въ ихъ разговоръ, но она довольно сухо встрѣчала мои замѣчанія и я съ притворною досадой наконецъ удалился. Княжна торжествовала; Грушницкій тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вамъ недолго торжествовать!... Какъ быть! у меня есть предчувствіе... Знакомясь съ женщиной, я всегда безошибочно отгадывалъ, будетъ она меня любить или нѣтъ...

Остальную часть вечера я провелъ возлѣ Вѣры и дòсыта наговорился о старинѣ... За что она меня такъ любитъ—право не знаю; тѣмъ болѣе, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всѣми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло такъ привлекательно?...

Мы вышли вмѣстѣ съ Грушницкимъ; на улицѣ онъ взялъ меня подъ руку и послѣ долгаго молчанія сказалъ:

— Ну, что?

«Ты глупъ», хотѣлъ я ему отвѣтить, но удержался и только пожалъ плечами.

6-го іюня.

Всѣ эти дни я ни разу не отступилъ отъ своей системы. Княжнѣ начинаетъ нравиться мой разговоръ; я разсказалъ ей нѣкоторые изъ странныхъ случаевъ моей жизни, и она начинаетъ видѣть во мнѣ человѣка необыкновеннаго. Я смѣюсь надъ всѣмъ на свѣтѣ, особенно надъ чувствами: это начинаетъ ее пугать. Она при мнѣ не смѣетъ пускаться съ Грушницкимъ въ сантиментальныя пренія, и уже нѣсколько разъ отвѣчала на его выходки насмѣшливой улыбкой; но я всякій разъ, какъ Грушницкій подходитъ къ ней, принимаю смиренный видъ и оставляю ихъ вдвоемъ; въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй разсердилась на меня; въ третій—на Грушницкаго.

— У васъ очень мало самолюбія! сказала она мнѣ вчера.— Отчего вы думаете, что мнѣ веселѣе съ Грушницкимъ?

Я отвѣчалъ, что жертвую счастію пріятеля своимъ удовольствіемъ...

— И моимъ, прибавила она.

Я пристально посмотрѣлъ на нее и принялъ серьезный видъ. Потомъ цѣлый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче по утру у колодца еще задумчивѣе. Когда я подошелъ къ ней, она разсѣянно слушала Грушницкаго, который кажется восхищался природой, но только что

завидѣла меня, она стала хохотать (очень не кстати), показывая, будто меня не примѣчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталъ наблюдать за ней; она отвернулась отъ своего собесѣдника и зѣвнула два раза. Рѣшительно, Грушницкій ей надоѣлъ.—Еще два дня не буду съ ней говорить.

11-го іюня.

Я часто себя спрашиваю, за чѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Вѣра меня любитъ больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда нибудь; если бъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью предпріятія...

Но ни чуть не бывало! Слѣдовательно, это не та безпокойная потребность любви, которая насъ мучитъ въ первые годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая насъ терпѣть не можетъ: тутъ начинается наше постоянство—истинная, безконечная страсть, которую математически можно выразить линіей, падающей изъ точки въ пространство; секретъ этой безконечности—только въ невозможности достигнуть цѣли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?—Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужденія ближняго, чтобъ имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить:

— Мой другъ, со мною было то же само; и ты видишь, однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надѣюсь, съумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до сыта, бросить

на дорогѣ: авось кто нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на нищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастіе? Насыщенная гордость. Если бъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; если бъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другаго. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобъ онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идеи—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть, или сойти съ ума, точно также, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи; онѣ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цѣлую жизнь ими волноваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ; душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ

томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ; она проникается своей собственной жизнью—лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.

Перечитывая эту страницу, я замѣчаю, что далеко отвлекся отъ своего предмета... Но что за нужда?... Вѣдь этотъ журналъ пишу я для себя и, слѣдственно, все, что я въ него ни брошу, будетъ современемъ для меня драгоцѣннымъ воспоминаніемъ.

. . . . . .

Пришелъ Грушницкій и бросился мнѣ на шею: онъ произведенъ въ офицеры. Мы выпили шампанскаго. Докторъ Вернеръ зашелъ вслѣдъ за нимъ.

— Я васъ не поздравляю, сказалъ онъ Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель къ вамъ очень идетъ, и признайтесь, что армейскій пѣхотный мундиръ, сшитый здѣсь на водахъ, не придастъ вамъ ничего интереснаго... Видите ли, вы до сихъ поръ были исключеніемъ, а теперь подойдете подъ общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, докторъ! вы мнѣ не помѣшаете радоваться. Онъ не знаетъ, прибавилъ Грушницкій мнѣ на ухо: сколько надеждъ придали мнѣ эти эполеты... О... эполеты, эполеты! ваши звѣздочки—путеводительныя звѣздочки... Нѣтъ! я теперь совершенно счастливъ.

— Ты идешь съ нами гулять къ провалу? спросилъ я его.

— Я? Ни за что не покажусь княжнѣ, пока не будетъ готовъ мундиръ.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?

— Нѣтъ, пожалуста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать—и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться къ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любитъ ли она тебя?...

*

— Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія!... какъ можно такъ скоро?... Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ...

— Хорошо! И, вѣроятно, по твоему, порядочный человѣкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?...

— Эхъ, братецъ! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ...

— Она?... отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбнувшись: мнѣ жаль тебя, Печоринъ!...

Онъ ушелъ.

Вечеромъ многочисленное общество отправилось пѣшкомъ къ провалу.

По мнѣнію здѣшнихъ ученыхъ, этотъ провалъ не что иное, какъ угасшій кратеръ; онъ находится на отлогости Машука, въ верстѣ отъ города. Къ нему ведетъ узкая тропинка между кустарниковъ и скалъ; взбираясь на гору, я подалъ руку княжнѣ, и она ее не покидала въ продолженіе цѣлой прогулки.

Разговоръ нашъ начался злословіемъ: я сталъ перебирать присутствующихъ и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; сначала выказывалъ смѣшныя, а послѣ дурныя ихъ стороны. Желчь моя взволновалась. Я началъ шутя и окончилъ искреннею злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человѣкъ! сказала она мнѣ: я бы лучше желала попасться въ лѣсу подъ ножъ убійцы, чѣмъ вамъ на язычокъ... Я васъ прошу не шутя: когда вамъ вздумается обо мнѣ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развѣ я похожъ на убійцу?...

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубокотронутый видъ:

— Да, такова была моя участь съ самаго дѣтства! всѣ чи-

тали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скроменъ—меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло — никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ — меня ставили ниже ихъ: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ — меня никто не понялъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искуства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ—тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины; но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ—нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что̀ подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна — пожалуста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ ни мало.

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе — чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала — а это великій признакъ.

Мы пришли къ провалу; дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здѣшнихъ денди ее не смѣшили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печальнаго разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсѣянно.

— Любили ли вы? спросилъ я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, покачала головой и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хотѣлось что-то сказать, но она не знала съ чего начать; ея грудь волновалась... Какъ быть! кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробѣжала изъ моей руки въ ея руку; всѣ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая, что насъ женщина любитъ за наши физическія или нравственныя достоинства; конечно, они приготовляютъ, располагаютъ ея сердце къ принятію священнаго огня; а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? сказала мнѣ княжна съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняетъ въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизустъ—вотъ что скучно.

12-го іюня.

Нынче я видѣлъ Вѣру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей повѣрять свои сердечныя тайны: надо признаться, удачный выборъ!

— Я отгадываю, къ чему все это клонится, говорила мнѣ Вѣра: лучше скажи мнѣ просто теперь, что ты ее любишь

— Но если я ее не люблю?

— То за чѣмъ же ее преслѣдовать, тревожить, волновать ея воображеніе!... О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтобъ я тебѣ вѣрила, то пріѣзжай черезъ недѣлю въ Кисловодскъ; послѣ завтра мы переѣзжаемъ туда. Княгиня остается здѣсь дольше. Найми квартиру рядомъ: мы будемъ жить въ большомъ домѣ близъ источника, въ мезонинѣ; внизу княгиня Лиговская, а рядомъ есть домъ того же хозяина, который еще не занятъ... Пріѣдешь?...

Я обѣщалъ, и въ тотъ же день послалъ занять эту квартиру.

Грушницкій пришелъ ко мнѣ въ шесть часовъ и объявилъ, что завтра будетъ готовъ его мундиръ, какъ разъ къ балу.

— Наконецъ я буду съ нею танцовать цѣлый вечеръ... Вотъ наговорюсь! прибавилъ онъ.

— Когда же балъ?

— Да завтра! Развѣ не знаешь? Большой праздникъ, и здѣшнее начальство взялось его устроить...

— Пойдемъ на бульваръ...

— Ни за что, въ этой гадкой шинели...

— Какъ, ты ее разлюбилъ?...

Я ушелъ одинъ и, встрѣтивъ княжну Мери, позвалъ ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, какъ прошлый разъ, сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замѣчаетъ отсутствія Грушницкаго.

— Вы будете завтра пріятно удивлены, сказалъ я ей.

— Чѣмъ?...

— Это секретъ... на балѣ вы сами догадаетесь.

Я окончилъ вечеръ у княгини; гостей не было, кромѣ Вѣры и одного презабавнаго старичка. Я былъ въ духѣ, импровизировалъ разныя необыкновенныя исторіи; княжна сидѣла противъ меня и слушала мой вздоръ съ такимъ глубокимъ, напряженнымъ, даже нѣжнымъ вниманіемъ, что мнѣ стало совѣстно. Куда дѣвалась ея живость, ея кокетство, ея капризы, ея дерзкая мина, презрительная улыбка, разсѣянный взглядъ?

Вѣра все это замѣтила; на ея болѣзненномъ лицѣ изобра-

жалась глубокая грусть; она сидѣла въ тѣни у окна, погрузясь въ широкія кресла... Мнѣ стало жаль ее.

Тогда я разсказалъ всю драматическую исторію нашего знакомства съ нею, нашей любви—разумѣется, прикрывъ все это вымышленными именами.

Я такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мои безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставил ъ ея поступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжной.

Она встала, подсѣла къ намъ, оживилась... и мы только въ два часа ночи вспомнили, что доктора велятъ ложиться спать въ одиннадцать.

13-го іюня.

За полчаса до бала явился ко мнѣ Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго пѣхотнаго мундира. Къ третьей пуговицѣ пристегнута была бронзовая цѣпочка, на которой висѣлъ двойной лорнетъ; эполеты, неимовѣрной величины, были загнуты кверху, въ видѣ крылышекъ Амура; сапоги его скрипѣли; въ лѣвой рукѣ держалъ онъ коричневыя лайковыя перчатки и фуражку, а правою взбивалъ ежеминутно въ мелкія кудри завитой хохолъ. Самодовольствіе и вмѣстѣ нѣкоторая неувѣренность изображались на его лицѣ; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бъ это было согласно съ моими намѣреніями.

Онъ бросилъ фуражку съ перчатками на столъ и началъ обтягивать фалды и поправляться передъ зеркаломъ; черный огромный платокъ, навернутый на высочайшій подгалстучникъ, котораго щетина поддерживала его подбородокъ, высовывался на полвершка изъ-за воротника; ему показалось мало: онъ вытащилъ его кверху, до ушей; отъ этой трудной работы—ибо воротникъ мундира былъ очень узокъ и безпокоенъ—лицо его налилось кровью.

— Ты, говорятъ, эти дни ужасно волочился за моей княжной? сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на меня.

— Гдѣ намъ дуракамъ чай пить! отвѣчалъ я ему, повторяя любимую поговорку одного изъ самыхъ ловкихъ повѣсъ прошлаго времени, воспѣтаго нѣкогда Пушкинымъ.

— Скажи-ка, хорошо на мнѣ сидитъ мундиръ?... Охъ, проклятый жидъ!... какъ подъ мышками рѣжетъ!... Нѣтъ ли у тебя духовъ?

— Помилуй, чего тебѣ еще? отъ тебя и такъ ужъ несетъ розовой помадой.

— Ничего, дай-ка сюда...

Онъ налилъ себѣ полстклянки за галстухъ, въ носовой платокъ, на рукава.

— Ты будешь танцовать? спросилъ онъ.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мнѣ съ княжной придется начинать мазурку — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звалъ ее на мазурку?

— Нѣтъ еще...

— Смотри, чтобъ тебя не предупредили...

— Въ самомъ дѣлѣ! сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу. Прощай... Пойду дожидаться ее у подъѣзда. Онъ схватилъ фуражку и побѣжалъ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицѣ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тѣснился народъ; окна его свѣтились; звуки полковой музыки доносилъ ко мнѣ вечерній вѣтеръ. Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ — разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача, или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ — или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ, для «Библіотеки для Чтенія»?... Почему знать?... Мало

ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее какъ Александръ Великій, или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?...

Войдя въ залу, я спрятался въ толпѣ мужчинъ и началъ дѣлать свои наблюденія. Грушницкій стоялъ возлѣ княжны и что-то говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсѣянно слушала, смотрѣла по сторонамъ, прижавъ вѣеръ къ губамъ; на лицѣ ея изображалось нетерпѣніе, глаза ея искали кругомъ кого-то; я тихонько подошелъ сзади, чтобъ подслушать ихъ разговоръ.

— Вы меня мучите, княжна! говорилъ Грушницкій: вы ужасно перемѣнились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также перемѣнились, отвѣчала она, бросивъ на него быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умѣлъ разобрать тайной насмѣшки.

— Я? Я перемѣнился?... О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видѣлъ васъ однажды, тотъ навѣки унесетъ съ собою вашъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?...

— Потому что я не люблю повтореній, отвѣчала она, смѣясь.

— О, я горько ошибся!... Я думалъ, безумный, что по крайней мѣрѣ эти эполеты дадутъ мнѣ право надѣяться... Нѣтъ, лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу...

Въ это время я подошелъ и поклонился княжнѣ; она немножко покраснѣла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсьё Печоринъ, что сѣрая шинель гораздо больше идетъ къ мсьё Грушницкому?...

— Я съ вами не согласенъ, отвѣчалъ я: въ мундирѣ онъ еще моложавѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всѣ мальчики, онъ

имѣетъ претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицѣ глубокіе слѣды страстей замѣняютъ отпечатокъ лѣтъ. Онъ на меня бросилъ бѣшеный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказалъ я княжнѣ: что хотя онъ всегда былъ очень смѣшонъ, но еще недавно онъ вамъ казался интересенъ... въ сѣрой шинели?...

Она потупила глаза и не отвѣчала.

Грушницкій цѣлый вечеръ преслѣдовалъ княжну, танцовалъ или съ нею, или vis-à-vis; онъ пожиралъ ее глазами, вздыхалъ и надоѣдалъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она его ужъ ненавидѣла.

— Я этого не ожидалъ отъ тебя, сказалъ онъ, подойдя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— Ты съ нею танцуешь мазурку? спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ.—Она мнѣ призналась...

— Ну такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

— Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвчонки, отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

— Пѣняй на свою шинель, или на свои эполеты, а за чѣмъ же обвинять ее?... Чѣмъ она виновата, что ты ей больше не нравишься.

— За чѣмъ же подавать надежды?

— За чѣмъ же ты надѣялся? Желать и добиваться чего нибудь—понимаю; а кто жъ надѣется?

— Ты выигралъ пари, только не совсѣмъ, сказалъ онъ, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкій выбиралъ одну только княжну, другіе кавалеры поминутно ее выбирали: это явно былъ заговоръ противъ меня — тѣмъ лучше: ей хочется говорить со мною, ей мѣшаютъ—ей захочется вдвое болѣе.

Я раза два пожалъ ей руку; во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, сказала она мнѣ, когда мазурка кончилась.

— Этому виноватъ Грушницкій.

— О, нѣтъ! — И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себѣ слово въ этотъ вечеръ непремѣнно поцѣловать ея руку.

Стали разъѣзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видѣть.

Я возвратился въ залу очень доволенъ собою.

— За большимъ столомъ ужинала молодежь и между ними Грушницкій. Когда я вошелъ, всѣ замолчали: видно, говорили обо мнѣ. Многіе съ прошедшаго бала на меня дуются, особенно драгунскій капитанъ; а теперь, кажется, рѣшительно составляется противъ меня враждебная шайка подъ командой Грушницкаго. У него такой гордый и храбрый видъ...

Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ—вотъ что я называю жизнью.

Въ продолженіе ужина Грушницкій шептался и перемигивался съ драгунскимъ капитаномъ.

14-го іюня.

Нынче поутру Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрѣтилъ ихъ карету, когда шелъ къ княгинѣ Лиговской. Она мнѣ кивнула головой: во взглядѣ ея былъ упрекъ.

Кто жъ виноватъ? За чѣмъ она не хочетъ дать мнѣ случай видѣться съ нею наединѣ? Любовь, какъ огонь — безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы.

Я сидѣлъ у княгини битый часъ. Мери не вышла: больна. Вечеромъ на бульварѣ ея не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла въ самомъ дѣлѣ грозный

видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдѣлали бы ей какую нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и отчаянный видъ: онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, особенно самолюбіе его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!...

Возвратясь домой, я замѣтилъ, что мнѣ чего-то недостаетъ. Я не видалъ ея! Она больна! Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?... Какой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одиннадцать часовъ утра — часъ, въ который княгиня Лиговская обыкновенно потѣетъ въ Ермоловской ваннѣ — я шелъ мимо ея дома. Княжна сидѣла задумчиво у окна; увидѣвъ меня, вскочила.

Я вошелъ въ переднюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здѣшнихъ нравовъ, пробрался въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку креселъ; эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошелъ къ ней и сказалъ:

— Вы на меня сердитесь?...

Она подняла на меня томный, глубокій взоръ и покачала головой; ея губы хотѣли проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась въ кресла и закрыла лицо руками.

— Что съ вами? сказалъ я, взявъ ея руку.

— Вы меня не уважаете!... О, оставьте меня!...

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступилъ какъ безумецъ... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мѣры... За чѣмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душѣ моей? Вы этого никогда не узнаете и тѣмъ лучше для васъ. Прощайте.

Уходя, мнѣ кажется, я слышалъ, что она плакала.

Я до вечера бродилъ пѣшкомъ по окрестностямъ Машука, утомился ужасно, и пришедши домой, бросился на постель въ совершенномъ изнеможеніи.

Ко мнѣ зашелъ Вернеръ.

— Правда ли, спросилъ онъ, что вы женитесь на княжнѣ Лиговской?

— А что?

— Весь городъ говоритъ; всѣ мои больные заняты этой важной новостью; а ужъ эти больные такой народъ: все знаютъ!

«Это штуки Грушницкаго», подумалъ я.

— Чтобъ вамъ доказать, докторъ, ложность этихъ словъ, объявляю вамъ по секрету, что завтра я переѣзжаю въ Кисловодскъ...

— И княжна также?...

— Нѣтъ; она остается еще на недѣлю здѣсь...

— Такъ вы не женитесь?...

— Докторъ, докторъ! посмотрите на меня: неужели я похожъ на жениха, или на что нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... прибавилъ онъ, хитро улыбаясь, въ которыхъ благородный человѣкъ обязанъ жениться, и есть маменьки, которыя по крайней мѣрѣ не предупреждаютъ этихъ случаевъ... Итакъ, я вамъ совѣтую, какъ пріятель, былъ осторожнѣе. Здѣсь, на водахъ, преопасный воздухъ: сколько я видѣлъ прекрасныхъ молодыхъ людей, достойныхъ лучшей участи, и уѣзжавшихъ отсюда прямо подъ вѣнецъ... Даже, повѣрите ли, меня хотѣли женить! Именно, одна уѣздная маменька, у которой дочь была очень блѣдна. Я имѣлъ несчастіе сказать ей, что цвѣтъ лица возвратится послѣ свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мнѣ руку своей дочери и все свое состояніе—пятьдесятъ душъ, кажется. Но я отвѣчалъ, что я къ этому неспособенъ.

Вернеръ ушелъ въ полной увѣренности, что онъ меня предостерегъ.

Изъ словъ его я замѣтилъ, что про меня и княжну ужъ распущены въ городѣ разные дурные слухи: это Грушницкому даромъ не пройдетъ!

18-го іюня.

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Кисловодскѣ. Каждый день вижу Вѣру у колодца и на гуляньѣ. Утромъ, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнетъ на ея балконъ; она давно ужъ одѣта и ждетъ условленнаго знака; мы встрѣчаемся, будто нечаянно, въ саду, который отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратилъ ей цвѣтъ лица и силы. Не даромъ Нарзанъ называется богатырскимъ ключомъ. Здѣшніе жители утверждаютъ, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь бываютъ развязки всѣхъ романовъ, которые когда либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь все дышетъ уединеніемъ; здѣсь все таинственно—и густыя тѣни липовыхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пѣною, падая съ плиты на плиту, прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами — и ущелья, полныя мглою и молчаніемъ, которыхъ вѣтви разбѣгаются отсюда во всѣ стороны—и свѣжесть ароматическаго воздуха, отягощеннаго испареніями высокихъ южныхъ травъ и бѣлой акаціи — и постоянный сладостно-усыпительный шумъ студеныхъ ручьевъ, которые, встрѣтясь въ концѣ долины, бѣгутъ дружно въ запуски и наконецъ кидаются въ Подкумокъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ я на нее взгляну, мнѣ все кажется, что ѣдетъ карета, а изъ окна кареты выглядываетъ розовое личико. Ужъ много каретъ проѣхало по этой дорогѣ — а той все нѣтъ. Слободка, которая за крѣпостью, населилась; въ ресторацiи, построенной на холмѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ огни сквозь двойной рядъ тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдѣ такъ много не пьютъ кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смѣшивать два эти ремесла
Есть тьма охотниковъ—я не изъ ихъ числа.

Грушницкій съ своей шайкой бушуетъ каждый день въ трактирѣ, и со мной почти не кланяется.

Онъ только вчера пріѣхалъ, а успѣлъ уже поссориться съ тремя стариками, которые хотѣли прежде его сѣсть въ ванну, рѣшительно — несчастія развиваютъ въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онѣ пріѣхали. Я сидѣлъ у окна, когда услышалъ стукъ ихъ кареты, у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюбленъ?... Я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать.

Я у нихъ обѣдалъ. Княгиня на меня смотрѣла очень нѣжно, и не отходитъ отъ дочери... плохо! За то Вѣра ревнуетъ меня къ княжнѣ — добился же я этого благополучія! Чего женщина не сдѣлаетъ, чтобъ огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любилъ другую. Нѣтъ ничего парадоксальнѣе женскаго ума; женщинъ трудно убѣдить въ чемъ нибудь; надо ихъ довести до того, чтобъ онѣ убѣдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онѣ уничтожаютъ свои предубѣжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ діалектикѣ, надо опрокинуть въ умѣ своемъ всѣ школьныя правила логики. Напримѣръ, способъ обыкновенный:

Этотъ человѣкъ любитъ меня; но я замужемъ: слѣдовательно, не должна его любить.

Способъ женскій:

Я не должна его любить, ибо я замужемъ; но онъ меня любитъ—слѣдовательно...

Тутъ нѣсколько точекъ, ибо разсудокъ ужъ ничего не говоритъ, а говорятъ большею частью: языкъ, глаза и вслѣдъ за ними сердце, если оное имѣется.

Что если когда нибудь эти записки попадутся на глаза женщинѣ?—«Клевета!» закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ поэты пишутъ и женщины ихъ читаютъ (за что имъ глубочайшая благодарность), ихъ столько разъ на-

зывали ангелами, что онѣ въ самомъ дѣлѣ, въ простотѣ душевной, повѣрили этому комплименту, забывая, что тѣ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ...

Не кстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любитъ, мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнію... Но вѣдь я не въ припадкѣ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нѣтъ! все, что я говорю о нихъ, есть только слѣдствіе—

Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Женщины должны бы желать, чтобъ всѣ мужчины ихъ такъ же хорошо знали, какъ я, потому что я люблю ихъ во сто разъ больше съ тѣхъ поръ, какъ ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намедни сравнилъ женщинъ съ заколдованнымъ лѣсомъ, о которомъ разсказываетъ Тассъ въ своемъ «Освобожденномъ Іерусалимѣ». «Только приступи», говорилъ онъ, «на тебя полетятъ со всѣхъ сторонъ такіе страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мнѣніе, насмѣшка, презрѣніе... Надо только не смотрѣть, а идти прямо; мало по малу чудовища исчезаютъ и открывается предъ тобой тихая и свѣтлая поляна, среди которой цвѣтетъ зеленый миртъ. За то бѣда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнетъ и обернешься назадъ!»

24-го іюня.

Сегодняшній вечеръ былъ обиленъ происшествіями. Верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска, въ ущельи, гдѣ протекаетъ Подкумокъ, есть скала называемая Кольцомъ; это — ворота, образованныя природой; они подымаются на высокомъ холмѣ и заходящее солнце сквозь нихъ бросаетъ на міръ свой послѣдній, пламенный взглядъ. Многочисленная кавалькада отправилась

туда посмотрѣть на закатъ солнца сквозь каменное окошко. Никто изъ нихъ, по правдѣ сказать, не думалъ о солнцѣ. Я ѣхалъ возлѣ княжны; возвращаясь домой, надо было переѣзжать Подкумокъ въ бродъ. Горныя рѣчки самыя мелкія опасны особенно тѣмъ, что дно ихъ совершенный калейдоскопъ: каждый день отъ напора волнъ оно измѣняется: гдѣ былъ вчера камень, тамъ нынѣче яма. Я взялъ подъ устцы лошадь княжны и свелъ ее въ воду, которая не была выше колѣнъ; мы тихонько стали подвигаться наискось противъ теченія. Извѣстно, что, проѣзжая быстрыя рѣчки, не должно смотрѣть на воду, ибо тотчасъ голова закружится. Я забылъ объ этомъ предварить княжну Мери.

Мы были уже на срединѣ, въ самой быстротѣ, когда она вдругъ на сѣдлѣ покачнулась. «Мнѣ дурно!» проговорила она слабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ ней, обвилъ рукою ея гибкую талію.

— Смотрите на верхъ! шепнулъ я ей: это ничего, только не бойтесь; я съ вами.

Ей стало лучше; она хотѣла освободиться отъ моей руки, но я еще крѣпче обвилъ ея нѣжный, мягкій станъ; моя щека почти касалась ея щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ.

— Что вы со мною дѣлаете?... Боже мой!...

Я не обращалъ вниманія на ея трепетъ и смущеніе, и губы мои коснулись ея нѣжной щеки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ѣхали сзади: никто не видалъ. Когда мы выбрались на берегъ, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ нея; видно было, что ее безпокоило мое молчаніе, но я поклялся не говорить ни слова — изъ любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изъ этого затруднительнаго положенія.

— Или вы меня презираете, или очень любите! сказала она наконецъ голосомъ, въ которомъ были слезы. — Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ! не правда ли, прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности: не правда ли, во мнѣ нѣтъ ни-

чего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голосъ!...

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся; къ несчастію, начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? продолжала она: вы, можетъ быть, хотите, чтобъ я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— За чѣмъ? отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда ужъ она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смѣялась поминутно. Въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ: она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать. Эта мысль мнѣ доставляетъ необъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!

Слѣзши съ лошадей, дамы вошли къ княгинѣ; я былъ взволнованъ и поскакалъ въ горы развѣять мысли, толпившіяся въ головѣ моей. Росистый вечеръ дышалъ упоительной прохладой. Луна подымалась изъ-за темныхъ вершинъ. Каждый шагъ моей некованной лошади глухо раздавался въ молчаніи ущелій; у водопада я напоилъ коня, жадно вдохнулъ въ себя раза два свѣжій воздухъ южной ночи и пустился въ обратный путь. Я ѣхалъ черезъ слободку. Огни начинали угасать въ окнахъ; часовые на валу крѣпости и казаки на окрестныхъ пикетахъ протяжно перекликались...

*

Въ одномъ изъ домовъ слободки, построенномъ на краю оврага, замѣтилъ я чрезвычайное освѣщеніе; по временамъ раздавался нестройный говоръ и крики, изобличавшіе военную пирушку. Я слѣзъ и подкрался къ окну; неплотно притворенный ставень позволилъ мнѣ видѣть пирующихъ и разслушать ихъ слова. Говорили обо мнѣ.

Драгунскій капитанъ, разгоряченный виномъ, ударилъ по столу кулакомъ, требуя вниманія.

— Господа! сказалъ онъ, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургскія слѣтки всегда зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу! Онъ думаетъ, что онъ только одинъ и жилъ въ свѣтѣ, оттого что носитъ всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я увѣренъ, между тѣмъ, что онъ трусъ,—да, трусъ!

— Я думаю то же, сказалъ Грушницкій.—Онъ любитъ отшучиваться. Я разъ ему такихъ вещей наговорилъ, что другой бы меня изрубилъ на мѣстѣ, а Печоринъ все обратилъ въ смѣшную сторону. Я разумѣется его не вызвалъ, потому что это было его дѣло; да не хотѣлъ и связываться...

— Грушницкій на него золъ за то, что онъ отбилъ у него княжну, сказалъ кто-то.

— Вотъ еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчасъ отсталъ, потому что не хочу жениться, а компрометировать дѣвушку не въ моихъ правилахъ.

— Да, я васъ увѣряю, что онъ первѣйшій трусъ, то есть Печоринъ, а не Грушницкій,—а Грушницкій молодецъ, и притомъ онъ мой истинный другъ! сказалъ опять драгунскій капитанъ.

— Господа! никто здѣсь его не защищаетъ? Никто? Тѣмъ лучше! хотите испытать его храбрость? Это васъ позабавитъ...

— Хотимъ; только какъ?

— А вотъ слушайте: Грушницкій на него особенно сердитъ—ему первая роль! Онъ придерется къ какой нибудь глупости и вызоветъ Печорина на дуэль... Погодите; вотъ въ этомъ-

то и штука... Вызоветъ на дуэль: хорошо! Все это—вызовъ, приготовленія, условія, будетъ какъ можно торжественнѣе и ужаснѣе — я за это берусь; я буду твоимъ секундантомъ, мой бѣдный другъ! Хорошо! Только вотъ гдѣ закорючка: въ пистолеты мы не положимъ пуль. Ужъ я вамъ отвѣчаю, что Печоринъ струситъ—на шести шагахъ ихъ поставлю, чортъ возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано!... Согласны!... Почему же нѣтъ?... раздалось со всѣхъ сторонъ.

— А ты, Грушницкій?

Я съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго; холодная злость овладѣла мною при мысли, что если бъ не случай, то я могъ бы сдѣлаться посмѣшищемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послѣ нѣкотораго молчанія, онъ всталъ съ своего мѣста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно: «хорошо, я согласенъ!»

Трудно описать восторгъ всей честной компаніи.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они всѣ меня ненавидятъ?» думалъ я.—«За что? Обидѣлъ ли я кого нибудь? Нѣтъ. Неужели я принадлежу къ числу тѣхъ людей, которыхъ одинъ видъ уже порождаетъ недоброжелательство?» И я чувствовалъ, что ядовитая злость мало по малу наполняла мою душу. «Берегитесь, господинъ Грушницкій!» говорилъ я, прохаживаясь взадъ и впередъ по комнатѣ: «со мной этакъ не шутятъ. Вы дорого можете заплатить за одобреніе вашихъ глупыхъ товарищей. Я вамъ не игрушка!...»

Я не спалъ всю ночь. Къ утру я былъ желтъ, какъ померанецъ.

Поутру я встрѣтилъ княжну у колодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть, напрасно? —Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?...

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всѣмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣй—сжальтесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры и ничего не видала; но насъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, отвѣчалъ я княжнѣ: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка поблѣднѣли.

— Оставьте меня, сказала она едва внятно.

Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

25-го іюня.

Я иногда себя презираю... Не оттого ли я презираю и другихъ?... Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ. Другой бы, на моемъ мѣстѣ, предложилъ княжнѣ son coeur et sa fortune; но надо мною слово жениться — имѣетъ какую-то волшебную власть: какъ бы страстно я ни любилъ женщину, если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться—прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и ничто его не разогрѣетъ снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?... Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое

предчувствіе... Вѣдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мнѣ смерть отъ злой жены; это меня тогда глубоко поразило: въ душѣ моей родилось непреодолимое отвращеніе къ женитьбѣ... Между тѣмъ что-то мнѣ говоритъ, что ея предсказаніе сбудется; по крайней мѣрѣ буду стараться, чтобъ оно сбылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Вчера пріѣхалъ сюда фокусникъ Апфельбаумъ. На дверяхъ ресторація явилась длинная афишка, извѣщающая почтеннѣйшую публику о томъ, что вышеименованный удивительный фокусникъ, акробатъ, химикъ и оптикъ, будетъ имѣть честь дать великолѣпное представленіе сегодняшняго числа въ восемь часовъ вечера, въ залѣ благороднаго собранія (иначе—въ ресторація); билеты по два рубля съ полтиной.

Всѣ собираются идти смотрѣть удивительнаго фокусника; даже княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея больна, взяла для себя билетъ.

Нынѣче послѣ обѣда я шелъ мимо оконъ Вѣры; она сидѣла на балконѣ одна; къ ногамъ моимъ упала записка:

«Сегодня въ десятомъ часу вечера приходи ко мнѣ по боль«шой лѣстницѣ; мужъ мой уѣхалъ въ Пятигорскъ, и завтра «утромъ только вернется. Моихъ людей и горничныхъ не бу«детъ въ домѣ; я имъ всѣмъ раздала билеты, также и людямъ «княгини.—Я жду тебя; приходи непремѣнно.»

«Ага!» подумалъ я, «наконецъ таки вышло по моему.»

Въ восемь часовъ пошелъ я смотрѣть фокусника. Публика собралась въ исходѣ девятаго; представленіе началось. Въ заднихъ рядахъ стульевъ узналъ я лакеевъ и горничныхъ Вѣры и княгини. Всѣ были тутъ наперечетъ. Грушницкій сидѣлъ въ первомъ ряду съ лорнетомъ. Фокусникъ обращался къ нему всякій разъ, какъ ему нуженъ былъ носовой платокъ, часы, кольцо и проч.

Грушницкій мнѣ не кланяется ужъ нѣсколько времени, а нынѣче раза два посмотрѣлъ на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда намъ придется расплачиваться.

Въ исходѣ десятаго я всталъ и вышелъ.

На дворѣ было темно, хоть глазъ выколи. Тяжелыя, холодныя тучи лежали на вершинахъ окрестныхъ горъ; лишь изрѣдка умирающій вѣтеръ шумѣлъ вершинами тополей, окружающихъ ресторацію; у оконъ ея толпился народъ. Я спустился съ горы, и повернувъ въ ворота, прибавилъ шагу. Вдругъ мнѣ показалось, что кто-то идетъ за мною. Я остановился и осмотрѣлся. Въ темнотѣ ничего нельзя было разглядѣть; однако я изъ осторожности обошелъ, будто гуляя, вокругъ дома. Проходя мимо оконъ княжны, я услышалъ снова шаги за собою; человѣкъ, завернутый въ шинель, пробѣжалъ мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался къ крыльцу и поспѣшно взбѣжалъ на темную лѣстницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видалъ? сказала шопотомъ Вѣра, прижавшись ко мнѣ.

— Никто.

— Теперь ты вѣришь ли, что я тебя люблю? О! я долго колебалась, долго мучилась... но ты изъ меня дѣлаешь все, что хочешь.

Ея сердце сильно билось, руки были холодны, какъ ледъ. Начались упреки ревности, жалобы; она требовала отъ меня, чтобъ я ей во всемъ признался, говоря, что она съ покорностью перенесетъ мою измѣну, потому что хочетъ единственно моего счастія. Я этому не совсѣмъ вѣрилъ, но успокоилъ ее клятвами, обѣщаніями и проч.

— Такъ ты не женишься на Мери? не любишь ее?... А она думаетъ... знаешь ли, она влюблена въ тебя до безумія, бѣдняжка!...

. . . . . .

. . . . . .

Около двухъ часовъ пополуночи я отворилъ окно, и связавъ

двѣ шали, спустился съ верхняго балкона на нижній, придерживаясь за колонну. У княжны еще горѣлъ огонь. Что-то меня толкнуло къ этому окну. Занавѣсъ былъ не совсѣмъ задернутъ, и я могъ бросить любопытный взглядъ во внутренность комнаты. Мери сидѣла на своей постели, скрестивъ на колѣняхъ руки; ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ, обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бѣлыя плечики и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидѣла неподвижно, опустивъ голову на грудь; предъ нею на столикѣ была раскрыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробѣгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ. Я спрыгнулъ съ балкона на дернъ. Невидимая рука схватила меня за плечо:

— Ага! сказалъ грубый голосъ:—попался!... будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!

— Держи его крѣпче! закричалъ другой, выскочившій изъза угла.

Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я ударилъ послѣдняго по головѣ кулакомъ, сшибъ его съ ногъ и бросился въ кусты. Всѣ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были мнѣ извѣстны.

— Воры!... караулъ!... кричали они; раздался ружейный выстрѣлъ; дымящійся пыжъ упалъ почти къ моимъ ногамъ.

Черезъ минуту я былъ уже въ своей комнатѣ, раздѣлся и легъ. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнѣ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?... закричалъ капитанъ.

— Сплю, отвѣчалъ я сердито.

— Вставайте!—воры... черкесы...

— У меня насморкъ, отвѣчалъ я; боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бъ еще съ часъ проискали меня въ саду. Тревога, между тѣмъ, сдѣлалась ужасная. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось;

стали искать черкесовъ во всѣхъ кустахъ — и разумѣется ничего не нашли. Но многіе, вѣроятно, остались въ твердомъ убѣжденіи, что если бъ гарнизонъ показалъ болѣе храбрости и поспѣшности, то по крайней мѣрѣ десятка два хищниковъ остались бы на мѣстѣ.

27-го іюня.

Нынче поутру у колодца только и было толковъ, что о ночномъ нападеніи черкесовъ. Выпивши положенное число стакановъ нарзана, пройдясь разъ десять по длинной липовой аллеѣ, я встрѣтилъ мужа Вѣры, который только что пріѣхалъ изъ Пятигорска. Онъ взялъ меня подъ руку, и мы пошли въ ресторацію завтракать; онъ ужасно безпокоился о женѣ. «Какъ она перепугалась нынче ночью!» говорилъ онъ: «вѣдь надобно жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи». Мы усѣлись завтракать возлѣ двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Судьба вторично доставила мнѣ случай подслушать разговоръ, который долженъ былъ рѣшить его участь. Онъ меня не видалъ и слѣдственно я не могъ подозрѣвать его умысла; но это только увеличивало его вину въ моихъ глазахъ.

— Да неужели въ самомъ дѣлѣ это были черкесы? сказалъ кто-то.—Видѣлъ ли ихъ кто нибудь?

— Я вамъ разскажу всю истину, отвѣчалъ Грушницкій; только пожалуйста не выдавайте меня. Вотъ какъ это было: вчера одинъ человѣкъ, котораго я вамъ не назову, приходитъ ко мнѣ и разсказываетъ, что видѣлъ въ десятомъ часу вечера, какъ кто-то прокрался въ домъ къ Лиговскимъ. Надо вамъ замѣтить, что княгиня была здѣсь, а княжна дома. Вотъ мы съ нимъ и отправились подъ окна, чтобъ подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собесѣдникъ очень былъ занятъ своимъ завтракомъ: онъ могъ услышать вещи для себя довольно непріятныя, если бъ неравно Грушницкій отгадалъ истину; но, ослѣпленный ревностью, онъ и не подозрѣвалъ ея.

— Вотъ видите ли, продолжалъ Грушницкій: мы и отправились, взявши съ собой ружье, заряженное холостымъ патрономъ, только такъ, чтобъ попугать. До двухъ часовъ ждали въ саду. Наконецъ — ужъ Богъ знаетъ откуда онъ явился, только не изъ окна, потому что оно не отворялось, а должно быть онъ вышелъ въ стеклянную дверь, что за колонной,—наконецъ, говорю я, видимъ мы, сходитъ кто-то съ балкона... Какова княжна? — а? Ну, ужъ признаюсь, московскія барышни! Послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить, только онъ вырвался и какъ заяцъ бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ.

Вокругъ Грушницкаго раздался ропотъ недовѣрчивости.

— Вы не вѣрите? продолжалъ онъ: даю вамъ честное, благородное слово, что все это сущая правда, и въ доказательство я вамъ, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто жъ онъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Печоринъ, отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза—я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ ужасно покраснѣлъ. Я подошелъ къ нему и сказалъ медленно и внятно:

— Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы ужъ дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе избавило бы васъ отъ лишней подлости.

Грушницкій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ разгорячиться.

— Прошу васъ, продолжалъ я тѣмъ же тономъ: прошу васъ сейчасъ же отказаться отъ вашихъ словъ; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобъ равнодушіе женщины къ вашимъ блестящимъ достоинствамъ заслуживало такое ужасное мщеніе. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнѣніе, вы теряете право на имя благороднаго человѣка и рискуете жизнью.

Грушницкій стоялъ передо мною, опустивъ глаза, въ сильномъ волненіи. Но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна. Драгунскій капитанъ, сидѣвшій возлѣ него, толк-

нулъ его локтемъ; онъ вздрогнулъ и быстро отвѣчалъ мнѣ, не подымая глазъ:

— Милостивый государь, когда я что̀ говорю, такъ я это думаю, и готовъ повторить... Я не боюсь вашихъ угрозъ и готовъ на все.

— Послѣднее вы ужъ доказали, отвѣчалъ я ему холодно, и взявъ подъ руку драгунскаго капитана, вышелъ изъ комнаты.

— Что вамъ угодно? спросилъ капитанъ.

— Вы пріятель Грушницкаго и, вѣроятно, будете его секундантомъ?

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, отвѣчалъ онъ: я даже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мнѣ: я былъ съ нимъ вчера ночью, прибавилъ онъ, выпрямляя свой сутуловатый станъ.

— А! такъ это васъ ударилъ я такъ неловко по головѣ?...

Онъ пожелтѣлъ, посинѣлъ; скрытая злоба изобразилась на лицѣ его.

—.Я буду имѣть честь прислать къ вамъ нынче моего секунданта, прибавилъ я, раскланявшись очень вѣжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бѣшенство.

На крыльцѣ ресторація я встрѣтилъ мужа Вѣры. Кажется, онъ меня дожидался.

Онъ схватилъ мою руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ.

— Благородный молодой человѣкъ, сказалъ онъ, съ слезами на глазахъ. Я все слышалъ. Какой мерзавецъ! неблагодарный!... Принимай ихъ послѣ этого въ порядочный домъ! Слава Богу, у меня нѣтъ дочерей! Но васъ наградитъ та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте увѣрены въ моей скромности до поры до времени, продолжалъ онъ.—Я самъ былъ молодъ и служилъ въ военной службѣ: знаю, что въ эти дѣла не должно вмѣшиваться. Прощайте.

Бѣдняжка! радуется, что у него нѣтъ дочерей...

Я пошелъ прямо къ Вернеру, засталъ его дома и разсказалъ

ему все—отношенія мои къ Вѣрѣ и княжнѣ, и разговоръ, подслушанный мною, изъ котораго я узналъ намѣреніе этихъ господъ—подурачить меня, заставивъ стрѣляться холостыми зарядами. Но теперь дѣло выходило изъ границъ шутки: они, вѣроятно, не ожидали такой развязки.

Докторъ согласился быть моимъ секундантомъ; я далъ ему нѣсколько наставленій насчетъ условій поединка; онъ долженъ былъ настоять на томъ, чтобы дѣло обошлось какъ можно секретнѣе, потому что хотя я когда угодно готовъ подвергать себя смерти, но ни мало не расположенъ испортить навсегда свою будущность въ здѣшнемъ мірѣ.

Послѣ этого я пошелъ домой. Черезъ часъ докторъ вернулся изъ своей экспедиціи.

— Противъ васъ, точно, есть заговоръ, сказалъ онъ.—Я нашелъ у Грушницкаго драгунскаго капитана и еще одного господина, котораго фамиліи не помню. Я на минуту остановился въ передней, чтобъ снять калоши. У нихъ былъ ужасный шумъ и споръ... «Ни за что не соглашусь!» говорилъ Грушницкій: «онъ меня оскорбилъ публично; тогда было совсѣмъ другое...» — «Какое тебѣ дѣло?» отвѣчалъ капитанъ: «я все беру на себя. Я былъ секундантомъ на пяти дуэляхъ, и ужъ знаю, какъ это устроить. Я все придумалъ. Пожалуйста, только мнѣ не мѣшай. Постращать не худо. А за чѣмъ подвергать себя опасности, если можно избавиться?...» Въ эту минуту я вошелъ. Они вдругъ замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконецъ мы рѣшили дѣло вотъ какъ: верстахъ въ пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поѣдутъ завтра въ четыре часа утра, а мы выѣдемъ полчаса послѣ нихъ; стрѣляться будете на шести шагахъ — этого требовалъ самъ Грушницкій. Убитаго — на счетъ черкесовъ. Теперь вотъ какія у меня подозрѣнія: они, то есть секунданты, должно быть, нѣсколько перемѣнили свой прежній планъ и хотятъ зарядить пулею одинъ пистолетъ Грушницкаго. Это немножко похоже на убійство, но въ военное время, и особенно въ азіятской войнѣ, хитрости позволяются; только Грушницкій, кажется, поблагороднѣе своихъ товарищей.

Какъ вы думаете: должны ли мы показать имъ, что догадались?

— Ни за что на свѣтѣ докторъ! Будьте спокойны; я имъ не поддамся.

— Что же вы хотите дѣлать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... вѣдь на шести шагахъ!

— Докторъ, я васъ жду завтра въ четыре часа; лошади будутъ готовы... Прощайте.

Я до вечера просидѣлъ дома, запершись въ своей комнатѣ. Приходилъ лакей, звать меня къ княгинѣ — я велѣлъ сказать, что боленъ.

. . . . . .

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удастся... мы помѣняемся ролями: теперь мнѣ придется отыскивать на вашемъ блѣдномъ лицѣ признаки тайнаго страха. За чѣмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я безъ спора подставлю свой лобъ... но мы бросимъ жребій... и тогда... тогда... что, если его счастье перетянетъ? если моя звѣзда наконецъ мнѣ измѣнитъ?... И немудрено: она такъ долго служила вѣрно моимъ прихотямъ.

Что жъ? умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я—какъ человѣкъ, зѣвающій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... прощайте!...

Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: за чѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?... А вѣрно она существовала, и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей, пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій—лучшій цвѣтъ жизни. И съ той поры сколько

разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упадалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданья—и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ, въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезаетъ... остается удвоенный голодъ и отчаяніе!

И можетъ быть я завтра умру!... и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитаютъ меня хуже, другіе лучше, чѣмъ я въ самомъ дѣлѣ... Одни скажутъ: онъ былъ добрый малый, другіе—мерзавецъ. И то и другое будетъ ложно. Послѣ этого стоитъ ли труда жить? а все живешь—изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшно и досадно!

Вотъ уже полтора мѣсяца, какъ я въ крѣпости N. Максимъ Максимычъ ушелъ на охоту... я одинъ; сижу у окна; сѣрыя тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туманъ кажется желтымъ пятномъ. Холодно; вѣтеръ свищетъ и колеблетъ ставни... Скучно!... Стану продолжать свой журналъ, прерванный столькими странными событіями.

Перечитываю послѣднюю страницу: смѣшно! — Я думалъ умереть; это было невозможно: я еще не осушилъ чаши страданій, и теперь чувствую, что мнѣ еще долго жить.

Какъ все прошедшее ясно и рѣзко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттѣнка не стерло время!

Я помню, что въ продолженіе ночи, предшествовавшей поединку, я не спалъ ни минуты. Писать я не могъ долго; тайное

безпокойство мною овладѣло. Съ часъ я ходилъ по комнатѣ, потомъ сѣлъ и открылъ романъ Вальтера Скотта, лежавшій у меня на столѣ: то были «Шотландскіе Пуритане»; я читалъ сначала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ.

Наконецъ разсвѣло. Нервы мои успокоились. Я посмотрѣлся въ зеркало; тусклая блѣдность покрывала лицо моё, хранившее слѣды мучительной безсонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тѣнью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволенъ собою.

Велѣвъ сѣдлать лошадей, я одѣлся и сбѣжалъ къ купальнѣ. Погружаясь въ холодный кипятокъ Нарзана, я чувствовалъ, какъ тѣлесныя и душевныя силы мои возвращались. Я вышелъ изъ ванны свѣжъ и бодръ, какъ будто собирался на балъ. Послѣ этого говорите, что душа не зависитъ отъ тѣла!...

Возвратясь, я нашелъ у себя доктора. На немъ были сѣрые рейтузы, архалукъ и черкесская шапка. Я расхохотался, увидѣвъ эту маленькую фигурку подъ огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а въ этотъ разъ оно было еще длиннѣе обыкновеннаго.

— Отчего вы такъ печальны, докторъ? сказалъ я ему. — Развѣ вы сто разъ не провожали людей на тотъ свѣтъ съ величайшимъ равнодушіемъ? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздоровѣть, могу и умереть; то и другое въ порядкѣ вещей; старайтесь смотрѣть на меня, какъ на паціента, одержимаго болѣзнью, вамъ еще неизвѣстной — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сдѣлать теперь нѣсколько важныхъ физіологическихъ наблюденій... Ожиданіе насильственной смерти не есть ли уже настоящая болѣзнь?

Эта мысль поразила доктора, и онъ развеселился.

Мы сѣли верхомъ. Вернеръ уцѣпился за поводья обѣими руками, и мы пустились—мигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и въѣхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересѣкаемая шум-

нымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаянію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водѣ останавливалась.

Я не помню утра болѣе голубаго и свѣжаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодаго дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ дыханіи вѣтра, осыпали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню—въ этотъ разъ, больше чѣмъ когда нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широмомъ листкѣ виноградномъ и отражавшую мильоны радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы синѣе и страшнѣе, и наконемъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной. Мы ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?...

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать свое послѣднее прости?...

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ на свѣтѣ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что нибудь на память?...

— Хотите ли, докторъ, отвѣчалъ я ему, чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли, я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умираютъ, произнося имя своей любезной и завѣщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлаютъ и этого. — Друзья, которые завтра меня забудутъ, или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы;

женщины, которыя, обнимая другаго, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усошшему — Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей—и ни одного чувства. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его; первый, быть можетъ, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?... Посмотрите, докторъ: видите ли вы на скалѣ, направо, чернѣются три фигуры? Это, кажется, наши противники?...

Мы пустились.

У подошвы скалы, въ кустахъ, были привязаны три лошади; мы своихъ привязали тутъ же, а сами по узкой тропинкѣ взобрались на площадку, гдѣ ожидалъ насъ Грушницкій съ драгунскимъ капитаномъ и другимъ своимъ секундантомъ, котораго звали Иваномъ Игнатьевичемъ; фамиліи его я никогда не слыхалъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, сказалъ драгунскій капитанъ съ иронической улыбкой.

Я вынулъ часы и показалъ ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы уходятъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось затруднительное молчаніе; наконецъ докторъ прервалъ его, обратясь къ Грушницкому.

— Мнѣ кажется, сказалъ онъ: что показавъ оба готовность драться и заплативъ этимъ долгъ условіямъ чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дѣло полюбовно.

— Я готовъ, сказалъ я.

Капитанъ мигнулъ Грушницкому, и этотъ, думая, что я трушу, принялъ гордый видъ, хотя до сей минуты тусклая блѣдность покрывала его щеки. Съ тѣхъ поръ, какъ мы пріѣхали, онъ въ первый разъ поднялъ на меня глаза; но во взглядѣ его было какое-то безпокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, сказалъ онъ; и все, что я могу для васъ сдѣлать, то будьте увѣрены...

— Вотъ мои условія: вы нынѣче же публично откажетесь отъ своей клеветы и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь, какъ вы смѣете мнѣ предлагать такія вещи?...

— Что жъ я вамъ могъ предложить, кромѣ этого?...

— Мы будемъ стрѣляться.

Я пожалъ плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непремѣнно будетъ убитъ.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увѣренъ въ противномъ...

Онъ смутился, покраснѣлъ, потомъ принужденно захохоталъ.

Капитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ въ сторону; они долго шептались. Я пріѣхалъ въ довольно миролюбивомъ расположеніи духа, но все это начинало меня бѣсить.

Ко мнѣ подошелъ докторъ.

— Послушайте, сказалъ онъ съ явнымъ безпокойствомъ: вы вѣрно забыли про ихъ заговоръ?... Я не умѣю зарядить пистолета, но въ этомъ случаѣ... Вы странный человѣкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намѣреніе—и они не посмѣютъ... Что за охота? подстрѣлятъ васъ какъ птицу...

— Пожалуйста, не безпокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонѣ не будетъ никакой выгоды. Дайте имъ пошептаться...

— Господа! это становится скучно, сказалъ я имъ громко: драться, такъ драться; вы имѣли время вчера наговориться.

— Мы готовы, отвѣчалъ капитанъ. Становитесь, господа! Докторъ, извольте отмѣрить шесть шаговъ...

— Становитесь! повторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! сказалъ я: еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдѣлать все возможное, чтобъ это осталось тайною и чтобъ секунданты наши не были въ отвѣтственности. Согласны ли вы?...

*

— Совершенно согласны.

— Итакъ, вотъ что я придумалъ. Видите ли на вершинѣ этой отвѣсной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будетъ саженъ тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый изъ насъ станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непремѣнно внизъ и разобьется въ дребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! сказалъ капитанъ, посмотрѣвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнулъ головой, въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно мѣнялось. Я его поставилъ въ затруднительное положеніе. Стрѣляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цѣлить мнѣ въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совѣсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцей, или наконецъ оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не желалъ бы быть на его мѣстѣ. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ большимъ жаромъ; я видѣлъ, какъ посинѣвшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной улыбкой. — Ты дуракъ! сказалъ онъ Грушницкому довольно громко: ничего не понимаешь!... Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустарниками на крутизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной лѣстницы; цѣпляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шелъ впереди, за нимъ его секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, сказалъ докторъ, пожавъ мнѣ крѣпко руку. — Дайте пощупать пульсъ!... Ого! лихорадочный!... но

на лицѣ ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновеннаго.

Вдругъ мелкіе камни съ шумомъ покатились намъ подъ ноги. Что это? Грушницкій споткнулся; вѣтка, за которую онъ уцѣпился, изломалась, и онъ скатился бы внизъ на спинѣ, если бъ его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! закричалъ я ему: не падайте заранѣе; это дурная примѣта. Вспомните Юлія Цезаря!

Вотъ мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно для поединка. Кругомъ, теряясь въ золотомъ туманѣ утра, тѣснились вершины горъ, какъ безчисленное стадо, и Эльборусъ на югѣ вставалъ бѣлою громадой, замыкая цѣпь льдистыхъ вершинъ, между которыхъ ужъ бродили волокнистыя облака, набѣжавшія съ востока. Я подошелъ къ краю площадки и посмотрѣлъ внизъ: голова чуть-чуть у меня не закружилась; тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробѣ; мшистые зубцы скалъ, сброшенныхъ грозою и временемъ, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавшагося угла отмѣрили шесть шаговъ, и рѣшили, что тотъ, кому придется первому встрѣтить непріятельскій огонь, станетъ на самомъ углу спиною къ пропасти; если онъ не будетъ убитъ, то противники мѣняются мѣстами.

Я рѣшился предоставить всѣ выгоды Грушницкому; я хотѣлъ испытать его; въ душѣ его могла проснуться искра великодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать!... Я хотѣлъ дать себѣ полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совѣстью?

— Бросьте жребій, докторъ! сказалъ капитанъ.

Докторъ вынулъ изъ кармана серебряную монету и поднялъ ее кверху.

— Рѣшетка! закричалъ Грушницкій поспѣшно, какъ человѣкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчокъ.

— Орелъ! сказалъ я.

Монета взвилась и упала, звеня; всѣ бросились къ ней.

— Вы счастливы, сказалъ я Грушницкому: вамъ стрѣлять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь—даю вамъ честное слово.

Онъ покраснѣлъ; ему было стыдно убить человѣка безоружнаго; я глядѣлъ на него пристально; съ минуту мнѣ казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умоляя о прощеніи; но какъ признаться въ такомъ подломъ умыслѣ?... Ему оставалось одно средство—выстрѣлить на воздухъ. Я былъ увѣренъ, что онъ выстрѣлитъ на воздухъ! Одно могло этому помѣшать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

— Пора! шепнулъ мнѣ докторъ, дергая за рукавъ: если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намѣренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ... если вы ничего не скажете, то я самъ...

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ! отвѣчалъ я, удерживая его за руку: вы все испортите; вы мнѣ дали слово не мѣшать... Какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— О, это другое!... только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...

Капитанъ между тѣмъ зарядилъ свои пистолеты, подалъ одинъ Грушницкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой мнѣ.

Я сталъ на углу площадки, крѣпко упершись лѣвой ногою въ камень и наклонясь немного впередъ, чтобы въ случаѣ легкой раны не опрокинуться назадъ.

Грушницкій сталъ противъ меня и, по данному знаку, началъ поднимать пистолетъ. Колѣни его дрожали. Онъ цѣлилъ мнѣ прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустилъ дуло пистолета и, поблѣднѣвъ какъ полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, сказалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Трусъ! отвѣчалъ капитанъ.

Выстрѣлъ раздался. Пуля оцарапала мнѣ колѣно. Я невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобъ поскорѣй удалиться отъ края.

— Ну, братъ Грушницкій, жаль, что промахнулся! сказалъ капитанъ. Теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы ужъ не увидимся! Они обнялись; капитанъ едва могъ удержаться отъ смѣха. — Не бойся, прибавилъ онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго: все вздоръ на свѣтѣ... Натура — дура, судьба — индѣйка, а жизнь — копѣйка!

Послѣ этой трагической фразы, сказанной съ приличною важностью, онъ отошелъ на свое мѣсто. Иванъ Игнатьевичъ со слезами обнялъ также Грушницкаго, и вотъ онъ остался одинъ противъ меня. Я до сихъ поръ стараюсь объяснить себѣ, какого рода чувство кипѣло тогда въ груди моей: то было и досада оскорбленнаго самолюбія, и презрѣніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человѣкъ, теперь съ такою увѣренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двѣ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой опасности, хотѣлъ меня убить какъ собаку, ибо раненый въ ногу немного сильнѣе, я бы непремѣнно свалился съ утеса.

Я нѣсколько минутъ смотрѣлъ ему пристально въ лицо, стараясь замѣтить хоть легкій слѣдъ раскаянія. Но мнѣ показалось, что онъ удерживалъ улыбку.

— Я вамъ совѣтую передъ смертью помолиться Богу, сказалъ я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душѣ больше, чѣмъ о своей собственной. Объ одномъ васъ прошу: стрѣляйте скорѣе.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у меня прощенія?... Подумайте хорошенько: не говоритъ ли вамъ чего нибудь совѣсть!

— Господинъ Печоринъ! закричалъ драгунскій капитанъ: вы здѣсь не для того, чтобъ исповѣдывать, позвольте вамъ замѣтить... Кончимте скорѣе: неравно кто нибудь проѣдетъ по ущелью—и насъ увидятъ.

— Хорошо. Докторъ, подойдите ко мнѣ.

Докторъ подошелъ. Бѣдный докторъ! онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ Грушницкій, десять минутъ тому назадъ.

Слѣдующія слова я произнесъ нарочно съ разстановкой, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ:

— Эти господа, вѣроятно въ торопяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова—и хорошенько!

— Не можетъ быть! кричалъ капитанъ: не можетъ быть, я зарядилъ оба пистолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... Это не моя вина!—А вы не имѣете права переряжать... никакого права... Это совершенно противъ правилъ; я не позволяю.

— Хорошо! сказалъ я капитану: если такъ, то мы будемъ съ вами стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ...

Онъ замялся.

Грушницкій стоялъ, опустивъ голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! сказалъ онъ наконецъ капитану, который хотѣлъ вырвать пистолетъ мой изъ рукъ доктора.—Вѣдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дѣлалъ ему разные знаки—Грушницкій не хотѣлъ и смотрѣть.

Между тѣмъ докторъ зарядилъ пистолетъ и подалъ мнѣ.

Увидѣвъ это, капитанъ плюнулъ и топнулъ ногой.

— Дуракъ же ты, братецъ! сказалъ онъ: пошлый дуракъ!... Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... — По дѣломъ же тебѣ! околѣвай себѣ какъ муха... Онъ отвернулся, и отходя, пробормоталъ: « а все таки это совершенно противъ правилъ».

— Грушницкій! сказалъ я, еще есть время: откажись отъ своей клеветы и я тебѣ прощу все. Тебѣ не удалось меня подурачить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стрѣляйте! отвѣчалъ онъ: я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...

Я выстрѣлилъ...

Когда дымъ разсѣялся, Грушницкаго на площадкѣ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще вился на краю оврага.

Всѣ въ одинъ голосъ вскрикнули.

— Finita la comedia! сказалъ я доктору.

Онъ не отвѣчалъ и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожалъ плечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно закрылъ глаза.

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой; у меня на сердцѣ былъ камень. Солнце казалось мнѣ тускло; лучи его меня не грѣли.

Не доѣзжая слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видъ человѣка былъ бы мнѣ тягостенъ; я хотѣлъ быть одинъ. Бросивъ поводья, опустивъ голову на грудь, я ѣхалъ долго, наконецъ очутился въ мѣстѣ, мнѣ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталъ отыскивать дорогу; ужъ солнце садилось, когда я подъѣхалъ къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказалъ мнѣ, что заходилъ Вернеръ, и подалъ мнѣ двѣ записки: одну отъ него, другую... отъ Вѣры.

Я распечаталъ первую; она была слѣдующаго содержанія:

«Все устроено какъ можно лучше: тѣло привезено обезображенное; пуля изъ груди вынута. Всѣ увѣрены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендантъ, которому вѣроятно извѣстна ваша ссора, покачалъ головой, но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нѣтъ никакихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте.»

Я долго не рѣшался открыть вторую записку... Что могла она мнѣ писать?... Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти:

«Я пишу къ тебѣ въ полной увѣренности, что мы никогда болѣе не увидимся. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это—не правда ли? Это письмо будетъ вмѣстѣ прощаньемъ и исповѣдью: я обязана сказать тебѣ все, что накопилось въ моемъ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ оно тебя любитъ. Я не стану обвинять тебя—ты поступилъ со мною, какъ поступилъ бы всякій другой мужчина: ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ радостей, тревогъ и печалей, смѣнявшихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты былъ несчастливъ, и я пожертвовала собою, надѣясь, что когда нибудь ты оцѣнишь мою жертву, что когда нибудь ты поймешь мою глубокую нѣжность, независящую ни отъ какихъ условій. Прошло съ тѣхъ поръ много времени: я проникла во всѣ тайны души твоей... и убѣдилась, что то была надежда напрасная. Горько мнѣ было! Но моя любовь срослась съ душой моей: она потемнѣла, но не угасла.

«Мы разстаемся на вѣки; однако ты можешь быть увѣренъ, что никогда не буду любить другаго: моя душа истощила на тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобъ ты былъ лучше ихъ, о, нѣтъ! но въ въ твоей природѣ есть что-то особенное — тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ни чей взоръ не обѣщаетъ столько блаженства, никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ.

«Теперь я должна тебѣ объяснить причину моего поспѣшнаго отъѣзда; она тебѣ покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

«Нынѣче поутру мой мужъ вошелъ ко мнѣ и разсказалъ про твою ссору съ Грушницкимъ. Видно, я очень перемѣнилась въ лицѣ, пото му что онъ долго и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза; я едва не упала безъ памяти при мысли, что ты нынѣче долженъ драться и что я этому причиной; мнѣ казалось, что я сойду съ ума... Но теперь, когда я могу разсуждать, я увѣрена, что ты останешься живъ: невозможно, чтобъ ты умеръ безъ меня, невозможно! Мой мужъ долго ходилъ по комнатѣ; я не знаю, что онъ мнѣ говорилъ; не помню, что я ему отвѣчала... вѣрно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что подъ конецъ нашего разговора онъ оскорбилъ меня ужаснымъ словомъ и вышелъ. Я слышала, какъ онъ велѣлъ закладывать карету... Вотъ ужъ три часа, какъ я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты живъ, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла—но что за нужда? Если бъ я могла быть увѣрена, что ты всегда меня будешь помнить — не говорю ужъ любить—нѣтъ, только помнить... Прощай; идутъ... я должна спрятать письмо...

«—Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? — Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ...»

Я, какъ безумный, выскочилъ на крыльцо, прыгнулъ на своего Черкеса, котораго водили по двору, и пустился во весь духъ по дорогѣ въ Пятигорскъ. Я безпощадно погонялъ измученнаго коня, который, храпя и весь въ пѣнѣ, мчалъ меня по каменистой дорогѣ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сыро. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнья. Мысль не застать ее въ Пятигорскѣ молоткомъ ударяла мнѣ въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видѣть ее, проститься, пожать ея руку... Я мо-

лился, проклиналъ, плакалъ, смѣялся... нѣтъ, ничто не выразитъ моего безпокойства, отчаянія!... При возможности потерять ее навѣки, Вѣра стала для меня дороже всего на свѣтѣ, дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ, какіе странные, какіе бѣшеные замыслы роились въ головѣ моей... И между тѣмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно.—И вотъ я сталъ замѣчать, что конь мой тяжелѣе дышитъ: онъ раза два ужъ споткнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Есентуковъ—казачьей станицы, гдѣ я могъ пересѣсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, еслибъ у моего коня достало силъ еще на десять минутъ! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшаго оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся о землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, дергаю за поводъ—напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ послѣднюю надежду; попробовалъ идти пѣшкомъ—ноги мои подкосились: изнуренный тревогами дня и безсонницей, я упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ.

И долго я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ; душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обыкновенный порядокъ, то я понялъ, что гнаться за погибшимъ счастіемъ безполезно и безразсудно. Чего мнѣ еще надобно?—ее видѣть?—за чѣмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поцѣлуй не обогатитъ моихъ воспоминаній, а послѣ него намъ только труднѣе будетъ разставаться.

Мнѣ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные нервы, ночь проведенная безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета и пустой желудокъ.

Все къ лучшему! Это новое страданіе, говоря военнымъ слогомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Плакать здорово, и потомъ, вѣроятно, если бъ я не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и въ эту ночь сонъ не сомкнулъ бы глазъ моихъ.

Я возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бросился на постель и заснулъ сномъ Наполеона послѣ Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворѣ ужъ было темно. Я сѣлъ у отвореннаго окна, разстегнулъ архалукъ—и горный вѣтеръ освѣжилъ грудь мою, еще неуспокоенную тяжелымъ сномъ усталости. Вдали за рѣкою, сквозь верхи густыхъ липъ ее осѣняющихъ, мелькали огни въ строеніяхъ крѣпости и слободки. На дворѣ у насъ все было тихо, въ домѣ княгини было темно.

Вошелъ докторъ; лобъ у него былъ нахмуренъ; онъ противъ обыкновенія не протянулъ мнѣ руки.

— Откуда вы, докторъ?

— Отъ княгини Лиговской; дочь ея больна — разслабленіе нервовъ... Да не въ этомъ дѣло, а вотъ что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вамъ совѣтую быть осторожнѣе. Княгиня мнѣ говорила нынче, что она знаетъ, что вы стрѣлялись за ея дочь. Ей все этотъ старичекъ разсказалъ... какъ бишь его? Онъ былъ свидѣтелемъ вашей стычки съ Грушницкимъ въ ресторацiи. Я пришелъ васъ предупредить. — Прощайте. Можетъ быть, мы больше не увидимся: васъ ушлютъ куда нибудь.

Онъ на порогѣ остановился: ему хотѣлось пожать мнѣ руку... и если бъ я показалъ ему малѣйшее на это желаніе, то онъ бросился бы мнѣ на шею; но я остался холоденъ какъ камень —и онъ вышелъ.

Вотъ люди! всѣ они таковы: знаютъ заранѣе всѣ дурныя стороны поступка, помогаютъ, совѣтуютъ, даже одобряютъ его, видя невозможность другаго средства — а потомъ умываютъ руки и отворачиваются съ негодованіемъ отъ того, кто имѣлъ смѣлость взять на себя всю тяжесть отвѣтственности. Всѣ они таковы, даже самые добрые, самые умные.

На другой день утромъ, получивъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N., я зашелъ къ княгинѣ проститься.

Она была удивлена, когда на вопросъ ея: имѣю ли я ей сказать что нибудь особенно важное, я отвѣчалъ, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мнѣ нужно съ вами поговорить очень серьезно.

Я сѣлъ молча.

Явно было, что она не знала съ чего начать; лицо ея побагровѣло, пухлые ея пальцы стучали по столу; наконецъ она начала такъ, прерывистымъ голосомъ:

— Послушайте, мсьё Печоринъ, я думаю, что вы благородный человѣкъ.

Я поклонился.

— Я даже въ этомъ увѣрена, продолжала она: хотя ваше поведеніе нѣсколько сомнительно, но у васъ могутъ быть причины, которыхъ я не знаю, и ихъ-то вы должны теперь мнѣ повѣрить. Вы защитили дочь мою отъ клеветы, стрѣлялись за нее —слѣдственно рисковали жизнью... Не отвѣчайте, я знаю, что вы въ этомъ не признаетесь, потому что Грушницкій убитъ (она перекрестилась). Богъ ему проститъ — и надѣюсь, вамъ также!... Это до меня не касается... я не смѣю осуждать васъ, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мнѣ все сказала... я думаю, все; вы изъяснились ей въ любви... она вамъ призналась въ своей (тутъ княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я увѣрена, что это не простая болѣзнь! Печаль тайная ее убиваетъ; она не признается, но я увѣрена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, можетъ быть, думаете, что я ищу чиновъ, огромнаго богатства—разувѣрьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положеніе незавидно, но оно можетъ поправиться: вы имѣете состояніе; васъ любитъ дочь моя; она воспитана такъ, что составитъ счастіе мужа. Я богата, она у меня одна... Говорите, что васъ удерживаетъ?... Видите, я не должна была бы вамъ всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, сказалъ я: мнѣ невозможно отвѣчать вамъ; позвольте мнѣ поговорить съ вашей дочерью наединѣ...

— Никогда! воскликнула она, вставъ со стула въ сильномъ волненіи.

— Какъ хотите, отвѣчалъ я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сдѣлала мнѣ знакъ рукою, чтобъ я подождалъ, и вышла.

Прошло минутъ пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, по старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась и вошла она. Боже! какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ее—а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подалъ ей руку и довелъ ее до креселъ.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ что нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нѣжныя руки, сложенныя на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ее.

— Княжна, сказалъ я: вы знаете, что я надъ вами смѣялся?... Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ: слѣдственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута—и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— И такъ, вы сами видите, сказалъ я, сколько могъ, твердымъ голосомъ и съ принужденной усмѣшкою: вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровен-

но и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь—вотъ все, что я могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?...

Она обернулась ко мнѣ, блѣдная какъ мраморъ, только глаза ея чудесно сверкали.

— Я васъ ненавижу... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За нѣсколько верстъ отъ Есентуковъ, я узналъ близъ дороги трупъ моего лихаго коня; сѣдло было снято, вѣроятно проѣзжимъ казакомъ, и вмѣсто сѣдла на спинѣ его сидѣли два ворона. Я вздохнулъ и отвернулся...

И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслію прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурями и битвами, и выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

III.

ФАТАЛИСТЪ.

Мнѣ какъ-то разъ случилось прожить двѣ недѣли въ казачьей станицѣ на лѣвомъ флангѣ; тутъ же стоялъ батальйонъ пѣхоты; офицеры собирались другъ у друга поочередно, по вечерамъ играли въ карты.

Однажды, наскучивъ бостономъ и бросивъ карты подъ столъ, мы засидѣлись у майора С*** очень долго; разговоръ, противъ обыкновенія, былъ занимателенъ. Разсуждали о томъ, что мусульманское повѣрье, будто судьба человѣка написана на небесахъ, находитъ и между нами многихъ поклонниковъ; каждый разсказывалъ разные необыкновенные случаи pro или contra.

— Все это, господа, ничего не доказываетъ, сказалъ старый майоръ,—вѣдь никто изъ васъ не былъ свидѣтелемъ тѣхъ странныхъ случаевъ, которыми вы подтверждаете свои мнѣнія?

— Конечно, никто, сказали многіе: — но мы слышали отъ вѣрныхъ людей...

— Все это вздоръ! сказалъ кто-то:—гдѣ эти вѣрные люди, видѣвшіе списокъ, на которомъ назначенъ часъ нашей смерти?... И если точно есть предопредѣленіе, то зачѣмъ же намъ дана воля, разсудокъ? Почему мы должны давать отчетъ въ нашихъ поступкахъ?

Въ это время одинъ офицеръ, сидѣвшій въ углу комнаты, всталъ, и медленно подойдя къ столу, окинулъ всѣхъ спокойнымъ и торжественнымъ взглядомъ. Онъ былъ родомъ сербъ, какъ видно было изъ его именн.

Наружность поручика Вулича отвѣчала вполнѣ его характеру. Высокій ростъ и смуглый цвѣтъ лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный носъ — принадлежность его націи, печальная и холодная улыбка, вѣчно блуждавшая на губахъ его — все это какъ будто согласовалось для того, чтобы придать ему видъ существа особеннаго, неспо-

собнаго дѣлиться мыслями и страстями съ тѣми, которыхъ судьба дала ему въ товарищи.

Онъ былъ храбръ, спорилъ мало, но рѣзко; никому не повѣрялъ своихъ душевныхъ и семейныхъ тайнъ; вина почти вовсе не пилъ; за молодыми казачками—которыхъ прелесть трудно постигнуть, не видавъ ихъ—онъ никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна къ его выразительнымъ глазамъ; но онъ не шутя сердился, когда объ этомъ намекали.

Была только одна страсть, которой онъ не таилъ—страсть къ игрѣ. За зеленымъ столомъ онъ забывалъ все, и обыкновенно проигрывалъ; но постоянныя неудачи только раздражали его упрямство. Разсказывали, что разъ, во время экспедиціи, ночью, онъ на подушкѣ металъ банкъ; ему ужасно везло. Вдругъ раздались выстрѣлы, ударили тревогу, всѣ вскочили и бросились къ оружію. «Поставь ва-банкъ!» кричалъ Вуличъ, не подымаясь, одному изъ самыхъ горячихъ понтёровъ.—Идетъ семерка, отвѣчалъ тотъ, убѣгая. Не смотря на всеобщую суматоху, Вуличъ докинулъ талью; карта была дана.

Когда онъ явился въ цѣпь, тамъ была ужъ сильная перестрѣлка. Вуличъ не заботился ни о пуляхъ, ни о шашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивалъ своего счастливаго понтёра.

— Семерка дана! закричалъ онъ, увидѣвъ его наконецъ въ цѣпи застрѣльщиковъ, которые начинали вытѣснять изъ лѣса непріятеля, и подойдя ближе, онъ вынулъ свой кошелекъ и бумажникъ, и отдалъ ихъ счастливцу, не смотря на возраженіе о неумѣстности платежа. Исполнивъ этотъ непріятный долгъ, онъ бросился впередъ, увлекъ за собою солдатъ и до самаго конца дѣла прехладнокровно перестрѣливался съ чеченцами.

Когда поручикъ Вуличъ подошелъ къ столу, то всѣ замолчали, ожидая отъ него какой нибудь оригинальной выходки.

— Господа! сказалъ онъ (голосъ его былъ спокоенъ, хотя тономъ ниже обыкновеннаго):—господа, къ чему пустые споры? Вы хотите доказательствъ? Я вамъ предлагаю испробовать на себѣ; можетъ ли человѣкъ своевольно располагать своею жизнью,

или каждому изъ насъ заранѣе назначена роковая минута.... Кому угодно?

— Не мнѣ, не мнѣ! раздалось со всѣхъ сторонъ.—Вотъ чудакъ! придетъ же въ голову!...

— Предлагаю пари, сказалъ я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нѣтъ предопредѣленія, сказалъ я, высыпая на столъ десятка два червонцевъ—все, что было у меня въ карманѣ.

— Держу, отвѣчалъ Вуличъ глухимъ голосомъ. — Майоръ, вы будете. судьею: вотъ пятнадцать червонцевъ; остальные пять вы мнѣ должны и сдѣлаете мнѣ дружбу, прибавите ихъ къ этимъ.

— Хорошо, сказалъ майоръ; только не понимаю, право, въ чемъ дѣло, и какъ вы рѣшите споръ?...

Вуличъ молча вышелъ въ спальню майора; мы за нимъ послѣдовали. Онъ подошелъ къ стѣнѣ, на которой висѣло оружіе, и на удачу снялъ съ гвоздя одинъ изъ разнокалиберныхъ пистолетовъ. Мы еще его не понимали; но когда онъ взвелъ курокъ и насыпалъ на полку пороху, то многіе невольно вскрикнувъ, схватили его за руки.

— Что ты хочешь дѣлать? Послушай, это сумасшествіе! закричали ему.

— Господа! сказалъ онъ медленно, освобождая свою руку:— кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?

Всѣ замолчали и отошли.

Вуличъ вышелъ въ другую комнату и сѣлъ у стола; всѣ послѣдовали за нимъ. Онъ знакомъ пригласилъ насъ сѣсть кругомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ пріобрѣлъ надъ нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, но онъ спокойнымъ и неподвижнымъ взоромъ встрѣтилъ мой испытующій взглядъ, и блѣдныя губы его улыбнулись; но не смотря на его хладнокровіе, мнѣ казалось, я читалъ печать смерти на блѣдномъ лицѣ его. Я замѣчалъ—и многіе старые воины подтверждали мое замѣчаніе —

*

что часто на лицѣ человѣка, который долженъ умереть черезъ нѣсколко часовъ, есть какой-то странный отпечатокъ неизбѣжной судьбы, такъ что привычнымъ глазомъ трудно ошибиться.

— Вы нынѣче умрете! сказалъ я ему. Онъ быстро ко мнѣ обернулся, но отвѣчалъ медленно и спокойно:

— Можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ... Потомъ обратясь къ майору, спросилъ: заряженъ ли пистолетъ? Майоръ въ замѣшательствѣ не помнилъ хорошенько.

— Да полно, Вуличъ! закричалъ кто-то: — ужъ вѣрно заряженъ, коли въ головахъ висѣлъ; что за охота шутить!...

— Глупая шутка! подхватилъ другой.

— Держу пятьдесять рублей противъ пяти, что пистолетъ не заряженъ! закричалъ третій.

Составилось новое пари.

Мнѣ надоѣла эта длинная церемонія. — Послушайте, сказалъ я, — или застрѣлитесь, или повѣсьте пистолетъ на прежнее мѣсто, и пойдемте спать.

— Разумѣется, воскликнули многіе: пойдемте спать.

— Господа, я васъ прошу не трогаться съ мѣста! сказалъ Вуличъ, приставивъ дуло пистолета ко лбу.

Всѣ будто окаменѣли. — Господинъ Печоринъ, прибавилъ онъ:—возьмите карту и бросьте вверхъ.

Я взялъ со стола, какъ теперь помню, червоннаго туза и бросилъ кверху: дыханіе у всѣхъ остановилось; всѣ глаза, выражая страхъ и какое-то неопредѣленное любопытство, бѣгали отъ пистолета къ роковому тузу, который, трепеща на воздухѣ, опускался медленно; въ ту минуту, какъ онъ коснулся стола, Вуличъ спустилъ курокъ... осѣчка!

— Слава Богу! вскричали многіе:—не заряженъ...

— Посмотримъ, однако жъ, сказалъ Вуличъ. Онъ взвелъ опять курокъ, прицѣлился въ фуражку, висѣвшую надъ окномъ; выстрѣлъ раздался—дымъ наполнилъ комнату; когда онъ разсѣялся, сняли фуражку: она была пробита въ самой серединѣ и пуля глубоко засѣла въ стѣнѣ.

Минуты три никто не могъ слова вымолвить. Вуличъ преспокойно пересыпалъ въ свой кошелекъ мои червонцы.

Пошли толки о томъ, отчего пистолетъ въ первый разъ не выстрѣлилъ; иные утверждали, что вѣроятно полка была засорена; другіе говорили шопотомъ, что прежде порохъ былъ сырой и что послѣ Вуличъ присыпалъ свѣжаго; но я утверждалъ, что послѣднее предположеніе несправедливо, потому что я во все время не спускалъ глазъ съ пистолета.

— Вы счастливы въ игрѣ! сказалъ я Вуличу...

— Въ первый разъ отъ роду, отвѣчалъ онъ, самодовольно улыбаясь:—это лучше банка и штосса.

— За то немножко опаснѣе.

— А что? Вы начали вѣрить предопредѣленію?

— Вѣрю; только не понимаю теперь, отчего мнѣ казалось будто вы непремѣнно должны нынче умереть...

Этотъ же человѣкъ, который такъ недавно мѣтилъ себѣ преспокойно въ лобъ, теперь вдругъ вспыхнулъ и смутился.

— Однако жъ довольно! сказалъ онъ, вставая: — пари наше кончилось и теперь ваши замѣчанія, мнѣ кажется, неумѣстны...

Онъ взялъ шашку и ушелъ. Это мнѣ показалось страннымъ— и не даромъ.

Скоро всѣ разошлись по домамъ, различно толкуя о причудахъ Вулича и, вѣроятно, въ одинъ голосъ называя меня эгоистомъ, потому что я держалъ пари противъ человѣка, который хотѣлъ застрѣлиться; какъ будто онъ безъ меня не могъ найти удобнаго случая...

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; мѣсяцъ полный и красный, какъ зарево пожара, началъ показываться изъ-за зубчатаго горизонта домовъ; звѣзды спокойно сіяли на темноголубомъ сводѣ, и мнѣ стало смѣшно, когда я вспомнилъ, что были нѣкогда люди премудрые, думавшіе, что свѣтила небесныя принимаютъ участіе въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочекъ земли или за какія нибудь вымышленныя права. И что жъ? Эти лампады, зажженныя по ихъ мнѣнію только для

того, чтобъ освѣщать ихъ битвы и торжества, горятъ съ прежнимъ блескомъ, а ихъ страсти и надежды давно угасли вмѣстѣ съ ними, какъ огонекъ, зажженный на краю лѣса безпечнымъ странникомъ! Но за то какую силу воли придавала имъ увѣренность, что цѣлое небо, съ своими безчисленными жителями, на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нѣмымъ, но неизмѣннымъ!... А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденій и гордости, безъ наслажденія и страха, кромѣ той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбѣжномъ концѣ, мы неспособны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастія, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, какъ наши предки бросались отъ одного заблужденія къ другому, не имѣя, какъ они, ни надежды, ни даже того неопредѣленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встрѣчаетъ душа во всякой борьбѣ съ людьми или съ судьбою...

И много другихъ подобныхъ думъ проходило въ умѣ моемъ; я ихъ не удерживалъ, потому что не люблю останавливаться на какой нибудь отвлеченной мысли; и къ чему это ведетъ?... Въ первой молодости моей я былъ мечтателемъ; я любилъ ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мнѣ безпокойное и жадное воображеніе. Но что отъ этого мнѣ осталось?—одна усталость, какъ послѣ ночной битвы съ привидѣніемъ, и смутное воспоминаніе, исполненное сожалѣній. Въ этой напрасной борьбѣ я истощилъ и жаръ души и постоянство воли, необходимые для дѣйствительной жизни; я вступилъ въ эту жизнь, переживъ ее уже мысленно, и мнѣ стало скучно и гадко, какъ тому, кто читаетъ дурное подражаніе давно ему извѣстной книгѣ.

Происшествіе этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатлѣніе и раздражило мои нервы. Не знаю навѣрное, вѣрю ли я теперь предопредѣленію или нѣтъ, но въ этотъ вечеръ я ему твердо вѣрилъ; доказательство было разительно, и я, не смотря на то, что посмѣялся надъ нашими предками и ихъ

услужливой астрологіей, попалъ невольно въ ихъ колею; но я остановилъ себя во-время на этомъ опасномъ пути, и имѣя правило ничего не отвергать рѣшительно и ничему не вѣряться слѣпо, отбросилъ метафизику въ сторону и сталъ смотрѣть подъ ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упалъ, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но понидимому неживое. Наклоняюсь—мѣсяцъ ужъ свѣтилъ прямо на дорогу—и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополамъ шашкой... Едва я успѣлъ ее разсмотрѣть, какъ услышалъ шумъ шаговъ: два казака бѣжали изъ переулка. Одинъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ: не видалъ ли я пьянаго казака, который гнался за свиньей. Я объявилъ имъ, что не встрѣчалъ казака, и указалъ на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойникъ! сказалъ второй казакъ:—какъ напьется чихиря, такъ и пошелъ крошить все, что ни попало. Пойдемъ за нимъ, Еремеичъ; надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжалъ свой путь съ бо́льшей осторожностью и наконецъ счастливо добрался до своей квартиры.

Я жилъ у одного стараго урядника, котораго любилъ за добрый его нравъ, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она, по обыкновенію, дожидалась меня у калитки, завернувшись въ шубку; луна освѣщала ея милыя губки, посинѣвшія отъ ночнаго холода. Узнавъ меня, она улыбнулась, но мнѣ было не до нея. «Прощай, Настя!» сказалъ я, проходя мимо. Она хотѣла что-то отвѣчать, но только вздохнула.

Я затворилъ за собою дверь моей комнаты, засвѣтилъ свѣчу и бросился на постель; только сонъ на этотъ разъ заставилъ себя ждать болѣе обыкновеннаго. Ужъ востокъ начиналъ блѣднѣть, когда я заснулъ, но, видно, было написано на небесахъ, что въ эту ночь я не высплюсь. Въ четыре часа утра два кулака застучали ко мнѣ въ окно. Я вскочилъ: что такое?... «Вставай, одѣвайся!» кричало мнѣ нѣсколько голосовъ. Я наскоро одѣлся и вышелъ. «Знаешь, что случилось?» сказали мнѣ

въ одинъ голось три офицера, пришедшіе за мною; они были блѣдны, какъ смерть.

— Что?

— Вуличъ убитъ.

Я остолбенѣлъ.

— Да, убитъ! продолжали они.—Пойдемъ скорѣе.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Пошли, Они разсказали мнѣ все, что случилось, съ примѣсью разныхъ замѣчаній насчетъ страннаго предопредѣленія, которое спасло его отъ неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вуличъ шелъ одинъ по темной улицѣ; на него наскочилъ пьяный казакъ, изрубившій свинью и, можетъ быть, прошелъ бы мимо, не замѣтивъ его, если бъ Вуличъ, вдругъ остановясь, не сказалъ: «кого ты, братецъ, ищешь?—Тебя! отвѣчалъ казакъ, ударивъ его шашкой, и разрубилъ его отъ плеча почти до сердца... Два казака, встрѣтившіе меня и слѣдившіе за убійцей, подоспѣли, подняли раненаго, но онъ былъ уже при послѣднемъ издыханіи, и сказалъ только два слова: «онъ правъ!» —Я одинъ понималъ темное значеніе этихъ словъ: они относились ко мнѣ; я предсказалъ невольно бѣдному его судьбу; мой инстинктъ не обманулъ меня: я точно прочелъ на его измѣнившемся лицѣ печать близкой кончины.

Убійца заперся въ пустой хатѣ, на концѣ станицы: мы шли туда. Множество женщинъ бѣжало съ плачемъ въ ту же сторону; по временамъ опоздавшій казакъ выскакивалъ на улицу, второпяхъ пристегивая кинжалъ, и бѣгомъ опережалъ насъ. Суматоха была страшная.

Вотъ, наконецъ, мы пришли; смотримъ: вокругъ хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоитъ толпа. Офицеры и казаки толкуютъ горячо между собою; женщины воютъ, приговаривая и причитывая. Среди ихъ бросилось мнѣ въ глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяніе. Она сидѣла на толстомъ бревнѣ, облокотясь на свои колѣна и поддерживая голову руками: то была мать убійцы. Ея губы по-

временамъ шевелились... молитву онѣ шептали или проклятіе?

Между тѣмъ, надо было на что нибудь рѣшиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошелъ къ окну и посмотрѣлъ въ щель ставня: блѣдный, онъ лежалъ на полу, держа въ правой рукѣ пистолетъ; окровавленная шашка лежала возлѣ него. Выразительные глаза его страшно вращались кругомъ; порою онъ вздрагивалъ и хваталъ себя за голову, какъ будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочелъ большой рѣшимости въ этомъ безпокойномъ взглядѣ и сказалъ майору, что напрасно онъ не велитъ выломать дверь и броситься туда казакамъ, потому что лучше это сдѣлать теперь, нежели послѣ, когда онъ совсѣмъ опомнится.

Въ это время старый есаулъ подошелъ къ двери и назвалъ его по имени; тотъ откликнулся.

— Согрѣшилъ, братъ Ефимычъ, сказалъ есаулъ: — такъ ужъ нечего дѣлать, покорись!

— Не покорюсь! отвѣчалъ казакъ.

— Побойся Бога! вѣдь ты не чеченецъ окаянный, а честный христіанинъ. Ну, ужъ коли грѣхъ твой тебя попуталъ, нечего дѣлать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! закричалъ казакъ грозно, и слышно было какъ щелкнулъ взведенный курокъ.

— Эй, тетка! сказалъ есаулъ старухѣ: — поговори сыну; авось тебя послушаетъ... Вѣдь это только Бога гнѣвить. Да посмотри, вотъ и господа ужъ два часа дожидаются.

Старуха посмотрѣла на него пристально и покачала головой.

— Василій Петровичъ, сказалъ есаулъ, подойдя къ майору: — онъ не сдастся — я его знаю; а если дверь разломать, то много нашихъ перебьетъ; не прикажете ли лучше его пристрѣлить? въ ставнѣ щель широкая.

Въ эту минуту у меня въ головѣ промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумалъ испытать судьбу.

— Погодите, сказалъ я майору:—я его возьму живаго.

Велѣвъ есаулу завести съ нимъ разговоръ и поставивъ у дверей трехъ казаковъ, готовыхъ ее выбить и броситься мнѣ на помощь при данномъ знакѣ, я обошелъ хату и приблизился къ роковому окну; сердце мое сильно билось.

— Ахъ, ты окаянный! кричалъ есаулъ:—что ты надъ нами смѣешься что ли? али думаешь, что мы съ тобой не совладаемъ?—Онъ сталъ стучать въ дверь изо всей силы; я, приложивъ глазъ къ щели, слѣдилъ за движеніями казака, не ожидавшаго съ этой стороны нападенія — и вдругъ оторвалъ ставень и бросился въ окно головой внизъ. Выстрѣлъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполетъ; но дымъ, наполнившій комнату, помѣшалъ моему противнику найти шашку, лежавшую возлѣ него. Я схватилъ его за руки; казаки ворвались, и не прошло трехъ минутъ, какъ преступникъ былъ уже связанъ и отведенъ подъ конвоемъ. Народъ разошелся; офицеры меня поздравляли—и точно, было съ чѣмъ.

Послѣ всего этого, какъ бы, кажется, не сдѣлаться фаталистомъ? Но кто знаетъ навѣрное, убѣжденъ ли онъ въ чемъ, или нѣтъ?... И какъ часто мы принимаемъ за убѣжденіе обманъ чувствъ, или промахъ разсудка!... Я люблю сомнѣваться во всемъ: это расположеніе не мѣшаетъ рѣшительности характера; напротивъ, что до меня касается, то я всегда смѣлѣе иду впередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ. Вѣдь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь.

Возвратясь въ крѣпость, я разсказалъ Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему былъ я свидѣтель, и пожелалъ узнать его мнѣніе насчетъ предопредѣленія. Онъ сначала не понималъ этого слова, но я объяснилъ его, какъ могъ, и тогда онъ сказалъ, значительно покачавъ головою:

— Да-съ, конечно-съ! Это штука довольно мудреная!... Впрочемъ, эти азіятскіе курки часто осѣкаются, если дурно смазаны, или недовольно крѣпко прижмешь пальцемъ. Признаюсь, не люблю я также винтовокъ черкесскихъ: онѣ какъ-то нашему брату неприличны: прикладъ маленькій — того и гляди, носъ

обожжетъ.... За то ужъ шашки у нихъ—просто, мое почтеніе!

Потомъ онъ примолвилъ, нѣсколько подумавъ:

— Да, жаль бѣднягу... Чортъ же его дернулъ ночью съ пьянымъ разговаривать!... Впрочемъ, видно ужъ такъ у него на роду было написано!...

Больше я отъ него ничего не могъ добиться: онъ вообще не любитъ метафизическихъ преній.

АШИКЪ-КЕРИБЪ.

ТУРЕЦКАЯ СКАЗКА.

Давно тому назадъ, въ городѣ Тифлисѣ жилъ одинъ богатый турокъ. Много Аллахъ далъ ему золота; но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль-Мегери. Хороши звѣзды на небеси, но за звѣздами живутъ ангелы, и они еще лучше; такъ и Магуль-Мегери была лучше всѣхъ дѣвушекъ Тифлиса. Былъ также въ Тифлисѣ бѣдный Ашикъ-Керибъ. Пророкъ не далъ ему ничего, кромѣ высокаго сердца и дара пѣсенъ. Играя на саазѣ (балалайкѣ) и прославляя древнихъ витязей Туркестана, ходилъ онъ по свадьбамъ увеселять богатыхъ и счастливыхъ. На одной свадьбѣ онъ увидѣлъ Магуль-Мегери, и они полюбили другъ друга. Мало было надежды у бѣднаго Ашикъ-Кериба получить ея руку, и онъ сталъ грустенъ, какъ зимнее небо.

Вотъ, разъ онъ лежалъ въ саду подъ виноградникомъ и наконецъ заснулъ. Въ это время шла мимо Магуль-Мегери съ своими подругами, и одна изъ нихъ, увидѣвъ спавшаго Ашика (балалаечника), отстала и подошла къ нему. «Что ты спишь подъ виноградникомъ», запѣла она, «вставай, безумный, твоя газель идетъ мимо». Онъ проснулся: дѣвушка порхнула прочь, какъ птичка. Магуль-Мегери слышала ея пѣсню и стала ее бра-

нить. «Если бъ ты знала», отвѣчала та, «кому я пѣла пѣсню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашикъ-Керибъ.» — «Веди меня къ нему!» сказала Магуль-Мегери и онѣ пошли. Увидѣвъ его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утѣшать.—«Какъ мнѣ не грустить», отвѣчалъ Ашикъ-Керибъ, «я тебя люблю и ты никогда не будешь моею!» — «Проси мою руку у отца моего», говорила она: «и отецъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги и наградитъ меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ». — «Хорошо», отвѣчалъ онъ, «положимъ, Аякъ-Ага ничего не пожалѣетъ для своей дочери; но кто знаетъ, что послѣ ты не будешь меня упрекать въ томъ, что я ничего не имѣлъ и тебѣ всѣмъ обязанъ? Нѣтъ, милая Магуль-Мегери, я положилъ зарокъ на свою душу: обѣщаюсь семь лѣтъ странствовать по свѣту и нажить себѣ богатство, либо погибнуть въ дальнихъ пустыняхъ. Если ты согласна на это, то по истеченіи срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если въ назначенный день онъ не вернется, то она сдѣлается женою Куршудъ-бека, который ужъ давно за нее сватается.

Пришелъ Ашикъ-Керибъ къ своей матери, взялъ на дорогу ея благословеніе, поцѣловалъ маленькую сестру, повѣсилъ черезъ плечо сумку, оперся на посохъ странничій и вышелъ изъ города Тифлиса. И вотъ догоняетъ его всадникъ; онъ смотритъ: это Куршудъ-бекъ. «Добрый путь!» кричалъ ему бекъ, «куда бы ты ни шелъ, странникъ, я твой товарищъ». Не радъ былъ Ашикъ своему товарищу, но нечего дѣлать. Долго они шли вмѣстѣ, наконецъ завидѣли передъ собою рѣку. Ни моста, ни брода. «Плыви впередъ», сказалъ Куршудъ-бекъ, «я за тобою послѣдую». Ашикъ сбросилъ верхнее платье и поплылъ. Переправившись, глядь назадъ — о горе! о всемогущій Аллахъ!— Куршудъ-бекъ, взявъ его одежду, уѣхалъ обратно въ Тифлисъ; только пыль вилась за нимъ змѣею по гладкому полю. Прискакавъ въ Тифлисъ, несетъ бекъ платье Ашикъ-Кериба къ его старой матери. «Твой сынъ утонулъ въ глубокой рѣкѣ», говоритъ онъ, «вотъ его одежда». Въ невыразимой тоскѣ упала мать на одежды любимаго сына и стала обливать ихъ жаркими

слезами; потомъ взяла ихъ и понесла къ нареченной невѣсткѣ своей, Магуль-Мегери. «Мой сынъ утонулъ», сказала она ей: «Куршудъ-бекъ привезъ его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвѣчала: «Не вѣрь: это все выдумки Куршудъ-бека. Прежде истеченія семи лѣтъ никто не будетъ моимъ мужемъ». Она взяла со стѣны свою саазъ и спокойно начала пѣть любимую пѣсню бѣднаго Ашикъ-Кериба.

Между тѣмъ странникъ пришелъ босъ и нагъ въ одну деревню. Добрые люди одѣли его и накормили; онъ за это пѣлъ имъ чудесныя пѣсни. Такимъ образомъ переходилъ онъ изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, и слава его разнеслась повсюду. Прибылъ онъ наконецъ въ Халафъ. По обыкновенію, вошелъ въ кофейный домъ, спросилъ саазъ и сталъ пѣть. Въ это время жилъ въ Халафѣ паша, большой охотникъ до пѣсенниковъ. Многихъ къ нему приводили—ни одинъ ему не понравился. Его чауши измучились, бѣгая по городу. Вдругъ, проходя мимо кофейнаго дома, слышатъ удивительный голосъ. Они туда. «Иди съ нами къ великому пашѣ», закричали они, «или ты отвѣчаешь намъ головою». — «Я человѣкъ вольный, странникъ изъ города Тифлиса», говоритъ Ашикъ-Керибъ: «хочу — пойду, хочу—нѣтъ; пою, когда придется, и вашъ паша мнѣ не начальникъ». Однако, не смотря на то, его схватили и привели къ пашѣ. «Пой!» сказалъ паша, и онъ запѣлъ. И въ этой пѣснѣ онъ славилъ свою дорогую Магуль-Мегери, и эта пѣсня такъ понравилась гордому пашѣ, что онъ оставилъ у себя бѣднаго Ашикъ-Кериба. Посыпалось къ нему серебро и золото, заблистали на немъ богатыя одежды. Счастливо и весело сталъ жить Ашикъ-Керибъ и сдѣлался очень богатъ. Забылъ онъ свою Магуль-Мегери или нѣтъ — не знаю, только срокъ истекалъ. Послѣдній годъ скоро долженъ былъ кончиться, а онъ не готовился къ отъѣзду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. Въ это время отправлялся одинъ купецъ съ караваномъ изъ Тифлиса съ сорока верблюдами и 80 невольниками. Призываетъ она купца къ себѣ и даетъ ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», говорила она, «и въ какой бы ты городъ ни пріѣхалъ,

выставь это блюдо въ своей лавкѣ и объяви вездѣ, что тотъ, кто признается моему блюду хозяиномъ и докажетъ это, получитъ его и, въ добавокъ, вѣсъ его золотомъ». Отправился купецъ; вездѣ исполнялъ порученіе Магуль-Мегери, но никто не признался хозяиномъ золотому блюду. Ужъ онъ продалъ почти всѣ свои товары и пріѣхалъ съ остальными въ Халафъ. Объявилъ онъ вездѣ порученіе Магуль-Мегери. Услыхавъ это, Ашикъ-Керибъ прибѣгаетъ въ караванъ-сарай и видитъ золотое блюдо въ лавкѣ тифлисскаго купца. «Это мое!» сказалъ онъ, схвативъ его рукою. — «Точно твое», сказалъ купецъ: «я узналъ тебя, Ашикъ-Керибъ. Ступай же скорѣе въ Тифлисъ: твоя Магуль-Мегери велѣла тебѣ сказать, что срокъ истекаетъ, и если ты не будешь въ назначенный день, то она выйдетъ за другаго». Въ отчаяніи, Ашикъ-Керибъ схватилъ себя за голову: оставалось только три дня до роковаго часа. Однако онъ сѣлъ на коня, взялъ съ собою суму съ золотыми монетами и поскакалъ, не жалѣя коня. Наконецъ, измученный бѣгунъ упалъ бездыханный на Арзиньянъ-горѣ, что между Арзиньяномъ и Арзерумомъ. Что̀ ему было дѣлать? Отъ Арзиньяна до Тифлиса два мѣсяца ѣзды, а оставалось только два дня. «Аллахъ всемогущій!» воскликнулъ онъ, «если ты ужъ мнѣ не поможешь, то мнѣ нечего на землѣ дѣлать!» И хочетъ онъ броситься съ высокаго утеса. Вдругъ видитъ внизу человѣка на бѣломъ конѣ, и слышитъ громкій голосъ: «Огланъ (юноша), что̀ ты хочешь дѣлать?»— «Хочу умереть», отвѣчалъ Ашикъ. — «Слѣзай же сюда, если такъ, я тебя убью». Ашикъ спустился кое-какъ съ утеса. «Ступай за мною», сказалъ грозно всадникъ. — «Какъ я могу за тобою слѣдовать», отвѣчалъ Ашикъ: «твой конь летитъ, какъ вѣтеръ, а я отягощенъ сумою». — «Правда. Повѣсь же суму свою на сѣдло мое и слѣдуй». Отсталъ Ашикъ-Керибъ, какъ ни старался бѣжать. «Что жъ ты отстаешь?» спросилъ всадникъ.— «Какъ же я могу слѣдовать за тобою: твой конь быстрѣе мысли, а я ужъ измученъ». — «Правда. Садись сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебѣ нужно ѣхать?» — «Хотя бы въ Арзерумъ поспѣть нынче», отвѣчалъ Ашикъ. — «Закрой же

глаза». Онъ закрылъ. «Теперь открой». Смотритъ Ашикъ: передъ нимъ бѣлѣютъ стѣны и блещутъ минареты Арзерума. «Виноватъ, Ага», сказалъ Ашикъ: «я ошибся; я хотѣлъ сказать, что мнѣ надо въ Карсъ». — «Тото же!» отвѣчалъ всадникъ, «я предупредилъ тебя, чтобъ ты говорилъ мнѣ сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашикъ себѣ не вѣритъ, что это Карсъ. Онъ упалъ на колѣни и сказалъ: «Виноватъ, Ага, трижды виноватъ твой слуга Ашикъ-Керибъ; но ты самъ знаешь, что если человѣкъ рѣшился лгать съ утра, то долженъ лгать до конца дня. Мнѣ по настоящему надо въ Тифлисъ».—«Экой ты невѣрный!» сказалъ сердито всадникъ: «но, нечего дѣлать, прощаю тебѣ. Закрой же глаза. Теперь открой», прибавилъ онъ по прошествіи минуты. Ашикъ вскрикнулъ отъ радости: они были у воротъ Тифлиса. Принеся искреннюю благодарность и взявъ свою суму съ сѣдла, Ашикъ-Керибъ сказалъ всаднику: «Ага, конечно, благодѣяніе твое велико; но сдѣлай еще больше. Если я теперь буду разсказывать, что въ одинъ день поспѣлъ изъ Арзиньяна въ Тифлисъ, мнѣ никто не повѣритъ: дай мнѣ какое нибудь доказательство». — «Наклонись», сказалъ тотъ улыбнувшись: «возьми изъ-подъ копыта коня комокъ земли и положи себѣ за пазуху, и тогда, если не станутъ вѣрить истинѣ словъ твоихъ, то вели къ себѣ привести слѣпую, которая семь лѣтъ ужъ въ этомъ положеніи, помажь ей глаза — и она увидитъ». Ашикъ взялъ кусокъ земли изъ-подъ копыта бѣлаго коня; но только онъ поднялъ голову— всадникъ и конь исчезли. Тогда онъ убѣдился въ душѣ, что покровитель былъ не кто иной, какъ Хадериліазъ (св. Георгій).

Только поздно вечеромъ Ашикъ-Керибъ отыскалъ домъ свой. Стучитъ онъ въ двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори! я Божій гость, и холоденъ и голоденъ: прошу, ради странствующаго твоего сына, впусти меня». Слабый голось старухи отвѣчалъ ему: «Для ночлега есть домы богатыхъ и сильныхъ; есть теперь въ городѣ свадьбы—ступай туда: тамъ можешь провести ночь въ удовольствіи». — «Ана», отвѣчалъ онъ: «я здѣсь никого знакомыхъ не имѣю, и потому повторяю

мою просьбу: ради странствующаго своего сына, впусти меня!» Тогда сестра его говоритъ матери: «мать, я встану и отворю ему двери».—«Негодная!» отвѣчала старуха: «ты рада принимать молодыхъ людей и угощать ихъ, потому что вотъ уже семь лѣтъ, какъ я отъ слезъ потеряла зрѣніе». Но дочь, не внимая ея упрекамъ, встала, отворила дверь и впустила Ашикъ-Кериба. Сказавъ обычное привѣтствіе, онъ сѣлъ и съ тайнымъ волненіемъ сталъ осматриваться. И видитъ онъ: на стѣнѣ виситъ, въ пыльномъ чехлѣ, его сладкозвучная саазъ, и сталъ спрашивать у матери:«Что виситъ у тебя на стѣнѣ?»—«Любопытный ты гость», отвѣчала она: «будетъ и того,что тебѣ дадутъ кусокъ хлѣба и завтра отпустятъ тебя съ Богомъ». — «Я ужъ сказалъ тебѣ!» возразилъ онъ, «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мнѣ, что это виситъ на стѣнѣ?» — «Это саазъ, саазъ», отвѣчала старуха сердито, не вѣря ему. «А что значитъ саазъ?» — «Саазъ то значитъ, что на ней играютъ и поютъ пѣсни». И проситъ Ашикъ-Керибъ, чтобъ она позволила сестрѣ снять саазъ и показать ему. «Нельзя», отвѣчала старуха: «это саазъ моего несчастнаго сына. Вотъ уже семь лѣтъ она виситъ на стѣнѣ и ничья живая рука до нея не дотрогивалась». Но сестра его встала , сняла со стѣны саазъ и отдала ему. Тогда онъ поднялъ глаза къ небу и сотворилъ такую молитву: «О, всемогущій Аллахъ! если я долженъ достигнуть до желаемой цѣли, то моя семиструнная саазъ будетъ также стройна, какъ въ тотъ день, когда я въ послѣдній разъ игралъ на ней!» И онъ ударилъ по мѣднымъ струнамъ — и струны согласно заговорили; и онъ началъ пѣть: «Я бѣдный керибъ (странникъ) и слова мои бѣдны; но великій Хадериліазъ помогъ мнѣ спуститься съ крутаго утеса. Хотя я бѣденъ и бѣдны слова мои, узнай меня, мать, своего странника». Послѣ этого мать его зарыдала и спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ?» — «Рашидъ (простодушный)», отвѣчалъ онъ.—«Разъ говори, другой разъ слушай, Рашидъ», сказала она: «своими рѣчами ты изрѣзалъ сердце мое въ куски. Нынѣшнюю ночь я во снѣ видѣла, что на головѣ моей волосы побѣлѣли. Я вотъ

уже семь лѣтъ какъ ослѣпла отъ слезъ.. Скажи мнѣ ты, который имѣешь его голосъ, когда мой сынъ придетъ?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно онъ называлъ себя ея сыномъ, но она не вѣрила. И спустя нѣсколько времени, проситъ онъ: «позвольте, матушка, взять саазъ и идти; я слышалъ, здѣсь близко есть свадьба; сестра меня проводитъ. Я буду пѣть и играть, и все, что получу, принесу сюда и раздѣлю съ вами». — «Не позволю», отвѣчала старуха: «съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ моего сына, его саазъ не выходила изъ дому». Но онъ сталъ клясться, что не повредитъ ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», продолжалъ Ашикъ, «то отвѣчаю моимъ имуществомъ». Старуха ощупала его суму и, узнавъ, что она наполнена монетами, отпустила его. Проводивъ его до богатаго дома, гдѣ шумѣлъ свадебный пиръ, сестра осталась у дверей слушать, что будетъ.

Въ этомъ домѣ жила Магуль-Мегери, и въ эту ночь она должна была сдѣлаться женою Куршудъ-бека. Куршудъ-бекъ пировалъ съ родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чадрой (занавѣсомъ) съ своими подругами, держала въ одной рукѣ чашу съ ядомъ, а въ другой острый кинжалъ: она поклялась умереть прежде, чѣмъ опуститъ голову на ложе Куршудъ-бека. И слышитъ она изъ-за чадры, что пришелъ незнакомецъ, который говорилъ: «селямъ алейкюмъ! вы здѣсь веселитесь и пируете, такъ позвольте мнѣ, бѣдному страннику, сѣсть съ вами, и за то я спою вамъ пѣсню».—«Почему же нѣтъ?» сказалъ Куршудъ-бекъ. «Сюда должны быть впускаемы пѣсенники и плясуны, потому что здѣсь свадьба. Спой же что нибудь, ашикъ (пѣвецъ), и я отпущу тебя съ полной горстью золота».

Тогда Куршудъ-бекъ спросилъ его: «А какъ тебя зовутъ, путникъ?»—«Шинди-гёрурсезъ (скоро узнаете)».—«Что это за имя?» воскликнулъ тотъ со смѣхомъ: «я въ первый разъ слышу». — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многіе сосѣди приходили къ дверямъ спрашивать: сына или дочь Богъ ей далъ? Имъ отвѣчали: шинди-гёрурсезъ (скоро

узнаете). И вотъ поэтому, когда я родился, мнѣ дали это имя». Послѣ этого онъ взялъ саазъ и началъ пѣть:

«Въ городѣ Халафѣ я пилъ мисирское вино, но Богъ мнѣ далъ крылья и я прилѣтелъ сюда въ три дня».

Братъ Куршудъ-бека, человѣкъ малоумный, выхватилъ кинжалъ, воскликнувъ: «Ты лжешь! какъ можно изъ Халафа пріѣхать сюда въ три дня?»

«За что жъ ты меня хочешь убить? сказалъ Ашикъ. «Пѣвцы обыкновенно со всѣхъ четырехъ сторонъ собираются въ одно мѣсто; и я съ васъ ничего не беру, вѣрьте мнѣ или не вѣрьте».

«Пускай продолжаетъ», сказалъ женихъ, и Ашикъ-Керибъ запѣлъ снова:

«Утренній намазъ творилъ я въ Арзиньянской долинѣ, полуденный намазъ — въ городѣ Арзерумѣ; предъ захожденіемъ солнца творилъ намазъ въ городѣ Карсѣ, и вечерній намазъ — въ Тифлисѣ. Аллахъ далъ мнѣ крылья и я прилетѣлъ сюда: дай Богъ, чтобъ я сталъ жертвою бѣлаго коня; онъ скакалъ быстро, какъ плясунъ по канату, съ горы въ ущелье, изъ ущелья на гору: Мевлянъ (Господь нашъ) далъ Ашику крылья и онъ прилетѣлъ на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнавъ его голосъ, бросила ядъ въ одну сторону, а кинжалъ въ другую. «Такъ-то ты сдержала свою клятву», сказала ея подруга: «стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршудъ-бека?»—«Вы не узнали, а я узнала милый мнѣ голосъ», отвѣчала Магуль-Мегери, и взявъ ножницы, она прорѣзала чадру. Когда же посмотрѣла и точно узнала своего Ашикъ-Кериба, то вскрикнула и бросилась къ нему на шею и оба упали безъ чувствъ. Братъ Куршудъ-бека бросился на нихъ съ кинжаломъ, намѣреваясь заколоть обоихъ, но Куршудъ-бекъ остановилъ его, примолвивъ: «Успокойся и знай, что написано у человѣка на лбу при его рожденіи, того онъ не минуетъ».

Придя въ чувство, Магуль-Мегери покраснѣла отъ стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чадру.

«Теперь точно видно, что ты Ашикъ-Керибъ», сказалъ женихъ: «но повѣдай, какъ же ты могъ въ такое короткое время проѣхать такое великое пространство?» — «Въ доказательство истины», отвѣчалъ Ашикъ, «сабля моя перерубитъ камень; если же лгу, то да будетъ шея моя тоньше волоса. Но лучше всего, приведите ко мнѣ слѣпую, которая бы семь лѣтъ уже не видала свѣта Божьяго, и я возвращу ей зрѣніе». Сестра Ашикъ-Кериба, стоя въ сѣняхъ у двери и услышавъ такую рѣчь, побѣжала къ матери. «Матушка!» закричала она: «это точно братъ и точно твой сынъ, Ашикъ-Керибъ!» и взявъ старуху подъ-руку, привела ее на пиръ свадебный. Тогда Ашикъ взялъ комокъ земли изъ-за пазухи, развелъ его водою и намазалъ матери глаза, примолвя: «знайте всѣ люди, какъ могущъ и великъ Хадериліазъ!» — и мать его прозрѣла. Послѣ того никто не смѣлъ сомнѣваться въ истинѣ словъ его, и Куршудъ-бекъ уступилъ ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда, въ радости, Ашикъ-Керибъ сказалъ ему: «послушай, Куршудъ-бекъ, я тебя утѣшу. Сестра моя не хуже твоей прежней невѣсты; я богатъ, у ней будетъ не меньше серебра и золота; и такъ, возьми ее за себя, и будьте также счастливы, какъ я съ моей дорогою Магуль-Мегери».

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НАЧАТОЙ ПОВѢСТИ.

I.

У графини В*** былъ музыкальный вечеръ. Первые артисты столицы платили своимъ искусствомъ за честь аристократическаго пріема; въ числѣ гостей мелькало нѣсколько литераторовъ и ученыхъ, двѣ или три молодыя красавицы, нѣсколько барышень и старушекъ, и одинъ гвардейскій офицеръ; около десятка доморощеныхъ львовъ красовалось въ дверяхъ второй гостиной и у камина. Все шло своимъ чередомъ; было ни скучно, ни весело.

*

Въ ту самую минуту, какъ новопріѣзжая пѣвица подходила къ роялю и развертывала ноты, одна молодая женщина зѣвнула, встала и вышла въ сосѣднюю комнату, на это время опустѣвшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворнаго траура. На плечѣ пришпиленный къ голубому банту сверкалъ брилліантовый вензель. Она была средняго роста, стройна, медленна и лѣнива въ своихъ движеніяхъ; черные, длинные, чудесные волосы оттѣняли ея еще молодое и правильное, но блѣдное лицо, и на лицѣ сіяла печать мысли.

— Здравствуйте, мсьё Лугинъ, сказала Минская кому-то. Я устала... Скажите что нибудь.

И она опустилась въ широкое пате возлѣ камина. Тотъ, къ кому она обращалась, сѣлъ противъ нея и ничего не отвѣчалъ. Въ комнатѣ ихъ было только двое, и холодное молчаніе Лугина показывало ясно, что онъ не принадлежитъ къ числу ея обожателей.

— Скучно! сказала Минская и снова зѣвнула. Вы видите, я съ вами не церемонюсь, прибавила она.

— И у меня сплинъ!... отвѣчалъ Лугинъ.

— Вамъ опять хочется въ Италію, сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: не правда ли?

Лугинъ, въ свою очередь, не слыхалъ вопроса; онъ продолжалъ, положивъ ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на бѣломраморныя плечи своей собесѣдницы:

— Вообразите какое со мной несчастіе! Что можетъ быть хуже для человѣка, который, какъ я, посвятилъ себя живописи? Вотъ уже двѣ недѣли, какъ всѣ люди мнѣ кажутся желтыми — и одни только люди! Добро бы всѣ предметы, тогда была бы гармонія въ общемъ колоритѣ: я бы думалъ, что гуляю въ галереѣ испанской школы... такъ нѣтъ! все остальное какъ и прежде: одни лица измѣнились; мнѣ иногда кажется, что у людей, вмѣсто головъ, лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, сказала она.

— Доктора не помогутъ: это сплинъ!

— Влюбитесь!

Во взглядѣ, который сопровождалъ это слово, выражалось что-то похожее на слѣдующее: мнѣ бы хотѣлось его немножко помучить.

— Въ кого?

— Хоть въ меня.

— Нѣтъ! вамъ даже кокетничать со мною было бы скучно, и потому скажу вамъ откровенно: ни одна женщина не любитъ меня.

— А эта... какъ бишь ее? итальянская графиня, которая послѣдовала за вами изъ Неаполя въ Миланъ?...

— Вотъ видите, отвѣчалъ задумчиво Лугинъ: я сужу другихъ по себѣ и въ этомъ отношеніи, увѣренъ, не ошибаюсь. Мнѣ, точно, случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ всѣ признаки страсти. Но такъ какъ я очень знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкѣ кстати трогать нѣкоторыя струны человѣческаго сердца, то и не радуюсь своему счастію. Я себя спрашивалъ! «могу ли я влюбиться въ дурную?» Вышло: нѣтъ; я дуренъ и, слѣдственно, женщина меня любить не можетъ—это ясно. Аристократическое чувство развито въ женщинахъ сильнѣе, чѣмъ въ насъ; онѣ чаще и долѣе насъ покорны первому впечатлѣнію. Если я умѣлъ подогрѣть въ нѣкоторыхъ то, что называютъ капризомъ, то это стоило мнѣ неимовѣрныхъ трудовъ и жертвъ; но такъ какъ я зналъ поддѣльность чувства, внушеннаго мною, и благодарилъ за него только себя, то и самъ не могъ забыться до полной, безотчетной любви; къ моей страсти примѣшивалось всегда немного злости. Все это грустно, а правда!...

— Какой вздоръ! сказала Минская, и окинувъ его быстрымъ взглядомъ, она невольно съ нимъ согласилась.

Наружность Лугина была въ самомъ дѣлѣ ни чуть не привлекательна, не смотря на то, что въ странномъ выраженіи глазъ его было много огня и остроумія. Во всемъ его существѣ мы не встрѣтимъ ни одного изъ тѣхъ условій, которыя дѣлаютъ человѣка пріятнымъ въ обществѣ: онъ былъ неловко и грубо сло-

женъ, говорилъ рѣзко и отрывисто; большіе и рѣдкіе волосы на вискахъ, неровный цвѣтъ лица—признаки постояннаго и тайнаго недуга—дѣлали его на видъ старѣе, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ. Онъ три года лечился въ Италіи отъ ипохондріи, и хотя не вылечился, но по крайней мѣрѣ нашелъ средство развлекаться съ пользою: онъ пристрастился къ живописи. Природный талантъ, сжатый обязанностями службы, развился въ немъ широко и свободно подъ животворнымъ небомъ юга, при чудныхъ памятникахъ древнихъ учителей. Онъ вернулся истиннымъ художникомъ, хотя одни только друзья имѣли право наслаждаться его прекраснымъ талантомъ. Въ его картинахъ всегда дышало какое-то неясное, но тяжелое чувство; на нихъ была печать той горькой поэзіи, которую нашъ бѣдный вѣкъ выжималъ изъ сердца ея первыхъ проповѣдниковъ.

Лугинъ уже два мѣсяца какъ вернулся въ Петербургъ. Онъ имѣлъ независимое состояніе, мало родныхъ и нѣсколько старинныхъ знакомствъ въ высшемъ кругу столицы, гдѣ и хотѣлъ провести зиму. Онъ бывалъ часто у Минской. Ея красота, рѣдкій умъ, оригинальный взглядъ на вещи должны были произвести впечатлѣніе на человѣка съ умомъ и воображеніемъ; но о любви между ними не было и въ поминѣ.

Разговоръ ихъ на время прекратился и они оба, казалось, заслушались музыки. Заѣзжая пѣвица пѣла балладу Шуберта на слова Гёте: «Лѣсной царь». Когда она кончила, Лугинъ всталъ.

— Куда вы? спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Онъ опять сѣлъ.

— Знаете ли, сказалъ онъ съ какою-то важностью: что я начинаю сходить съ ума?

— Право?

— Кромѣ шутокъ. Вамъ это можно сказать: вы надо мною не будете смѣяться. Вотъ уже нѣсколько дней, какъ я слышу голосъ; кто-то мнѣ твердитъ на ухо съ утра до вечера, и—какъ

вы думаете, что?— адресъ. Вотъ и теперь слышу: «въ Столярномъ переулкѣ, у Кокушкина моста, домъ титулярнаго совѣтника Штосса, квартира нумеръ 27», и такъ шибко, шибко, точно торопится... Несносно!...

Онъ поблѣднѣлъ, но Минская этого не замѣтила.

— Вы, однако, не видите того, кто говоритъ? спросила она разсѣянно.

— Нѣтъ; но голосъ звонкій, рѣзкій дискантъ.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? Я не могу сказать навѣрное... не знаю... вотъ что, право, забавно! сказалъ онъ, принужденно улыбаясь.

— У васъ кровь приливаетъ къ головѣ и въ ушахъ звенитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ? Научите, какъ мнѣ избавиться?

— Самое лучшее средство, сказала Минская, подумавъ съ минуту: идти къ Кокушкину мосту, отыскать этотъ нумеръ, и такъ какъ, вѣрно, въ немъ живетъ какой нибудь сапожникъ или часовой мастеръ, то для приличія закажите ему работу, и возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... Вы въ самомъ дѣлѣ нездоровы... прибавила она, взглянувъ на его встревоженное лицо съ участіемъ.

— Вы правы, отвѣчалъ угрюмо Лугинъ: я непремѣнно пойду. Онъ всталъ, взялъ шляпу и вышелъ.

Она посмотрѣла ему вслѣдъ съ удивленіемъ.

II.

Сырое ноябрьское утро лежало надъ Петербургомъ. Мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; домы казались грязны и темны; лица прохожихъ были зелены; извощики на биржахъ дремали подъ рыжими полостями своихъ саней; мокрая, длинная шерсть ихъ бѣдныхъ клячъ завивалась барашкомъ; туманъ придавалъ отдаленнымъ предметамъ, какой-то сѣро-лиловый цвѣтъ. По тротуарамъ лишь изрѣдка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шумъ и хохотъ въ подземной полпивной лавочкѣ, когда оттуда выталкивали пьянаго молодца въ зеленой фризо-

вой шинели и клеенчатой фуражкѣ. Разумѣется, эти картины встрѣтили бы вы только въ глухихъ частяхъ города, какъ напримѣръ, у Кокушкина моста. Черезъ этотъ мостъ шелъ человѣкъ средняго роста, ни худой, ни толстый, ни стройный, но съ широкими плечами, въ пальто, и вообще одѣтый со вскусомъ. Жалко было видѣть его лакированные сапоги, вымоченные снѣгомъ и грязью; но онъ, казалось, объ этомъ ни мало не заботился. Засунувъ руки въ карманы, повѣся голову, онъ шелъ неровными шагами, какъ будто боялся достигнуть цѣли своего путешествія или не имѣлъ ея вовсе. На мосту онъ остановился, поднялъ голову и осмотрѣлся. То былъ Лугинъ. Слѣды душевной усталости виднѣлись на его измятомъ лицѣ; въ глазахъ горѣло тайное безпокойство. «Гдѣ Столярный переулокъ?» спросилъ онъ нерѣшительнымъ голосомъ у порожняго извощика, который въ ту минуту проѣзжалъ мимо него шагомъ, закрывшись по шею мохнатою полостью и насвистывая камаринскую. Извощикъ посмотрѣлъ на него, хлыстнулъ лошадь кончикомъ кнута и проѣхалъ мимо.

Ему это показалось странно. «Ужъ полно есть ли Столярный переулокъ?» Онъ сошелъ съ моста и обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ мальчику, который бѣжалъ съ полуштофомъ черезъ улицу.

— Столярный? сказалъ мальчикъ: а вотъ идите прямо по Малой Мѣщанской и тотчасъ направо; первый переулокъ и будетъ Столярный.

Лугинъ успокоился. Дойдя до угла, онъ повернулъ направо и увидѣлъ небольшой грязный переулокъ, въ которомъ съ каждой стороны было не больше десяти высокихъ домовъ. Онъ постучалъ въ дверь первой мелочной лавочки, и вызвавъ лавочника, спросилъ: гдѣ домъ Штосса?

— Штосса? Не знаю, баринъ; здѣсь этакихъ нѣтъ; а вотъ здѣсь рядомъ есть домъ купца Блинникова, а подальше...

— Да мнѣ надо Штосса...

— Ну, не знаю!... Штосса?—сказалъ лавочникъ, почесавъ затылокъ, и потомъ прибавилъ: нѣтъ, не слыхать-съ!

Лугинъ самъ пошелъ смотрѣть надписи: что-то ему говорило, что онъ съ перваго взгляда узнаетъ домъ, хотя никогда его не видалъ. Такъ онъ добрался почти до конца переулка и ни одна надпись ни чѣмъ не поразила его воображенія, какъ вдругъ онъ кинулъ случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидалъ надъ одними воротами жестяную доску вовсе безъ надписи; онъ подбѣжалъ къ этимъ воротамъ и сколько ни разсматривалъ, не замѣтилъ ничего похожаго даже на слѣды стертой временемъ надписи; доска была совершенно новая. Подъ воротами дворникъ, въ долгополомъ полинявшемъ кафтанѣ, съ сѣдой, давно небритой бородою, безъ шапки и подпоясанный грязнымъ фартукомъ, разметалъ снѣгъ.

— Эй, дворникъ! закричалъ Лугинъ.

Дворникъ что-то проворчалъ сквозь зубы.

— Чей это домъ?

— Проданъ! отвѣчалъ грубо дворникъ.

— Да чей онъ былъ?

— Чей?—Кифейкина, купца.

— Не можетъ быть! вѣрно Штосса! вскрикнулъ невольно Лугинъ.

— Нѣтъ, былъ Кифейкина, а теперь такъ Штосса, отвѣчалъ дворникъ, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, какъ будто предчувствуя несчастіе. Долженъ ли онъ былъ продолжать свои преслѣдованія? Не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться въ такомъ положеніи, тотъ съ трудомъ пойметъ его. Любопытство, говорятъ, сгубило родъ человѣческій; оно и понынѣ наша главная, первая страсть, такъ что даже всѣ остальныя страсти могутъ имъ объясниться. Но бываютъ случаи, когда таинственность предмета даетъ любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному съ горы сильною рукою, мы не можемъ остановиться, хотя увидимъ ожидающую насъ бездну.

Лугинъ долго стоялъ передъ воротами, наконецъ обратился къ дворнику съ вопросомъ:

— Новый хозяинъ здѣсь живетъ?

— Нѣтъ.

— Гдѣ же?

— А чортъ его знаетъ!

— Ты ужъ давно здѣсь дворникомъ?

— Давно.

— А есть въ этомъ домѣ жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуста, сказалъ Лугинъ послѣ нѣкотораго молчанія, сунувъ дворнику цѣлковый: кто живетъ въ 27 нумерѣ?

Дворникъ поставилъ метлу въ воротамъ, взялъ цѣлковый и пристально посмотрѣлъ на Лугина.

— Въ 27 нумерѣ?... Да кому тамъ жить? Онъ ужъ Богъ знаетъ сколько лѣтъ пустой.

— Развѣ его не нанимали?

— Какъ не нанимать, сударь, нанимали!

— Какъ же ты говоришь, что въ немъ не живутъ...

— А Богъ ихъ знаетъ! такъ-таки не живутъ. Наймутъ на годъ, да и не переѣзжаютъ.

— Ну, а кто же послѣдній нанималъ?

— Полковникъ, изъ анженеровъ, что ли?

— Отчего же онъ не жилъ?

— Да переѣхалъ было... а тутъ, говорятъ, его сослали въ Вятку — такъ нумеръ пустой за нимъ и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанялъ какой-то баронъ, изъ нѣмцевъ, да этотъ и не переѣзжалъ: слышно, умеръ.

— А прежде барона?

— Нанималъ купецъ для какой-то своей... гм! да обанкрутился, такъ у насъ и задатокъ остался...

«Странно!» подумалъ Лугинъ.

— А можно посмотрѣть нумеръ?

Дворникъ опять пристально взглянулъ на него.

— Какъ нельзя? Можно! отвѣчалъ онъ и пошелъ, переваливаясь, за ключами.

Онъ скоро возвратился и повелъ Лугина во второй этажъ по широкой, но довольно грязной лѣстницѣ. Ключъ заскрипѣлъ въ заржавленномъ замкѣ и дверь отворилась; имъ въ лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльная мебель, нѣкогда позолоченная, была правильно разставлена кругомъ стѣнъ, обтянутыхъ обоями, на которыхъ изображены были, на зеленомъ грунтѣ, красные попугаи и золотыя лиры; изразцовыя печи кое-гдѣ потрескались; сосновый полъ, выкрашенный подъ наркетъ, въ иныхъ мѣстахъ скрипѣлъ довольно подозрительно; въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала съ рамками рококо; вообще комнаты имѣли какую-то странную, несовременную наружность. Она, не знаю почему, понравилась Лугину.

— Я беру эту квартиру, сказалъ онъ. Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри сколько паутины!... да надо хорошенько вытопить.—Въ эту минуту онъ замѣтилъ на стѣнѣ послѣдней комнаты поясной портретъ, изображавшій человѣка лѣтъ сорока въ бухарскомъ халатѣ, съ правильными чертами и большими, сѣрыми глазами; въ правой рукѣ онъ держалъ золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцахъ красовалось множество разныхъ перстней. Казалось, этотъ портретъ писанъ несмѣлой ученической кистью; платье, волосы, руки, перстни — все было очень плохо сдѣлано; за то въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то неуловимый изгибъ, недоступный искусству и, конечно, начертанный безсознательно, придававшій лицу выраженіе насмѣшливое, грустное, злое и ласковое поперемѣнно. Не случалось ли вамъ на замороженномъ стеклѣ, или въ зубчатой тѣни, случайно набросшенной на стѣну какимъ-нибудь предметомъ, различать профиль человѣческаго лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу — вамъ не удастся; попробуйте на стѣнѣ обрисовать карандашомъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразившій — и очарованіе исчезаетъ. Рука человѣка никогда съ на-

мѣреніемъ не произведетъ этихъ линій; математически малое отступленіе — и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицѣ портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только генію или случаю.

«Странно, что я замѣтилъ этотъ портретъ только въ ту минуту, какъ сказалъ, что беру квартиру!» подумалъ Лугинъ.

Онъ сѣлъ въ кресло, опустилъ голову на руку и забылся.

Долго дворникъ стоялъ противъ него, помахивая ключами.

— Что жъ, баринъ? проговорилъ онъ наконецъ.

— А!

— Какъ же? Коли берете, такъ пожалуйте задатокъ.

Они условились въ цѣнѣ. Лугинъ далъ задатокъ, послалъ къ себѣ съ приказаніемъ сейчасъ же перевозиться, а самъ просидѣлъ противъ портрета до вечера. Въ 9 часовъ самыя нужныя вещи были перевезены изъ гостинницы, гдѣ жилъ до сей поры Лугинъ.

«Вздоръ, чтобъ на этой квартирѣ нельзя было жить!» думалъ Лугинъ; «моимъ предшественникамъ, видно, не суждено было въ нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взялъ свои мѣры: переѣхалъ тотчасъ!... Что жъ? — ничего».

До двѣнадцати часовъ онъ съ своимъ старымъ камердинеромъ Никитой разставлялъ вещи... и, надо прибавить, что онъ выбралъ для своей спальни комнату, гдѣ висѣлъ портретъ.

Передъ тѣмъ, какъ лечь спать, онъ подошелъ со свѣчей къ портрету, желая еще разъ на него взглянуть хорошенько, и прочиталъ внизу, вмѣсто имени живописца, красными буквами середа.

— Какой нынѣче день? спросилъ онъ Никиту,

— Понедѣльникъ, сударь...

— Послѣзавтра середа, сказалъ разсѣянно Лугинъ.

— Точно такъ-съ!

Богъ знаетъ, почему Лугинъ на него разсердился.

— Пошелъ вонъ! закричалъ онъ, топнувъ ногою.

Старый Никита покачалъ головой и вышелъ. Послѣ того

Лугинъ легъ въ постель и заснулъ. На другой день утромъ привезли остальныя вещи и нѣсколько начатыхъ картинъ.

III.

Въ числѣ недоконченныхъ картинъ, большею частію маленькихъ, была одна, размѣра довольно значительнаго. Посреди холста, исчерченнаго углемъ, мѣломъ, и загрунтованнаго зелено-коричневой краской, эскизъ женской головки остановилъ бы вниманіе знатока; но, не смотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала непріятно чѣмъ-то неопредѣленнымъ въ выраженіи глазъ и улыбки. Видно было, что Лугинъ перерисовывалъ ее въ другихъ видахъ и не могъ остаться довольнымъ, потому что въ разныхъ углахъ холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не былъ портретъ. Можетъ быть, подобно молодымъ поэтамъ, вздыхающимъ по небывалой красавицѣ, онъ старался осуществить на холстѣ свой идеалъ — женщину ангела — причуда, понятная въ первой юности, но рѣдкая въ человѣкѣ, который сколько-нибудь испыталъ жизнь. Однако есть люди, у которыхъ опытность ума не дѣйствуетъ на сердце, и Лугинъ былъ изъ числа этихъ несчастныхъ и поэтическихъ созданій. Самый тонкій плутъ, самая опытная кокетка съ трудомъ могли бы его провесть, а самъ себя онъ ежедневно обманывалъ съ простодушіемъ ребенка. Съ нѣкотораго времени его преслѣдовала постоянная идея, мучительная и несносная, тѣмъ болѣе, что отъ нея страдало его самолюбіе. Онъ былъ далеко не красавецъ — это правда, однако въ немъ ничего не было отвратительнаго, и люди, знавшіе его умъ, талантъ и добродушіе, находили даже выраженіе лица его довольно пріятнымъ. Но онъ твердо убѣдился, что степень его безобразія исключаетъ возможность любви, и сталъ смотрѣть на женщинъ, какъ на природныхъ своихъ враговъ, подозрѣвая въ ихъ случайныхъ ласкахъ побужденія постороннія и объясняя грубымъ и положительнымъ образомъ самую явную ихъ благосклонность.

Не стану разсматривать, до какой степени онъ былъ правъ:

но дѣло въ томъ, что подобное расположеніе души извиняетъ достаточно фантастическую любовь къ воздушному идеалу, любовь самую невинную и вмѣстѣ самую вредную для человѣка съ воображеніемъ.

Въ этотъ день, который былъ вторникъ, ничего особеннаго съ Лугинымъ не случилось: онъ до вечера просидѣлъ дома, хотя ему нужно было куда-то ѣхать. Непостижимая лѣнь овладѣла всѣми чувствами его; хотѣлъ работать — кисти выпадали изъ рукъ; пробовалъ читать — взоры его скользили надъ строками и читали совсѣмъ не то, что было написано; его бросало въ жаръ и холодъ; голова болѣла; звенѣло въ ушахъ. Когда смеркалось, онъ не велѣлъ подавать свѣчъ и сѣлъ у окна, которое выходило на дворъ. На дворѣ было темно; у бѣдныхъ сосѣдей тускло свѣтились окна. Онъ долго сидѣлъ; вдругъ на дворѣ заиграла шарманка; она играла какой-то старинный нѣмецкій вальсъ: Лугинъ слушалъ, слушалъ; ему стало ужасно грустно. Онъ началъ ходить по комнатѣ; небывалое безпокойство имъ овладѣло; ему хотѣлось плакать, хотѣлось смѣяться... онъ бросился на постель и заплакалъ: ему представилось все его прошедшее. Онъ вспомнилъ, какъ часто бывалъ обманутъ, какъ часто дѣлалъ зло именно тѣмъ, которыхъ любилъ; какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видѣлъ слезы, вызванныя имъ изъ глазъ, нынѣ закрытыхъ навѣки, и онъ съ ужасомъ замѣтилъ и признался, что онъ недостоинъ былъ любви безотчетной и истинной — и ему стало такъ больно, такъ тяжело!

Около полуночи онъ успокоился, сѣлъ къ столу, зажегъ свѣчу, взялъ листъ бумаги и сталъ что-то чертить. Все было тихо вокругъ. Свѣча горѣла ярко и спокойно. Онъ рисовалъ голову старика, и когда кончилъ, то его поразило сходство этой головы съ чѣмъ-то знакомымъ. Онъ поднялъ глаза на портретъ, висѣвшій противъ него — сходство было разительное; онъ невольно вздрогнулъ и обернулся: ему показалось, что дверь ведущая въ пустую гостиную, заскрипѣла; глаза его не могли оторваться отъ двери. «Кто тамъ?» вскрикнулъ онъ.

За дверьми послышался шорохъ, какъ будто хлопали туфли; известка посыпалась съ печи на полъ. «Кто это?» повторилъ онъ слабымъ голосомъ.

Въ эту минуту обѣ половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыханіе повѣяло въ комнату; дверь отворилась сама; въ той комнатѣ было темно, какъ въ погребѣ.

Когда дверь отворилась настежъ, въ ней показалась фигура, въ полосатомъ халатѣ и туфляхъ: то былъ сѣдой, сгорбленный старичекъ; онъ медленно подвигался, присѣдая; лицо его, блѣдное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; сѣрые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрѣли прямо, безъ цѣли. И вотъ онъ сѣлъ у стола противъ Лугина, вынулъ изъ за пазухи двѣ колоды картъ, положилъ одну противъ Лугина, другую передъ собой, и улыбнулся.

— Что вамъ надобно? сказалъ Лугинъ съ храбростью отчаянія. Его кулаки судорожно сжимались и онъ былъ готовъ пустить шандаломъ въ незванаго гостя.

Подъ халатомъ вздохнуло.

— Это несносно! сказалъ Лугинъ задыхающимся голосомъ. Его мысли мѣшались.

Старичекъ зашевелился на стулѣ; вся его фигура измѣнялась ежеминутно: онъ дѣлался то выше, то толще, то почти совсѣмъ съёживался; наконецъ принялъ прежній видъ.

«Хорошо», подумалъ Лугинъ: «если это привидѣніе, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вамъ промечу штоссъ? сказалъ старичокъ.

Лугинъ взялъ передъ нимъ лежавшую колоду картъ и отвѣчалъ насмѣшливымъ тономъ:

— А на что же мы будемъ играть? Я васъ предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Онъ думалъ этимъ озадачить привидѣніе). А если хотите, продолжалъ онъ: я поставлю клюнгеръ: не думаю, чтобъ они водились въ вашемъ воздушномъ банкѣ.

Старика эта шутка ни мало не сконфузила.

— У меня въ банкѣ вотъ это! отвѣчалъ онъ, протянувъ руку.

— Это? сказалъ Лугинъ, испугавшись и кинувъ глаза налѣво. — Что̀ это?

Возлѣ него колыхалось что-то бѣлое, неясное и прозрачное. Онъ съ отвращеніемъ отвернулся.

— Мечите! потомъ сказалъ онъ, оправившись, и вынувъ изъ кармана влюнгеръ, положилъ его на карту.—Идетъ, темная.

Старичекъ поклонился, стасовалъ карты, срѣзалъ и сталъ метать. Лугинъ поставилъ семерку бубенъ, и она соника была убита; старичекъ протянулъ руку и взялъ золотой.

— Еще талью! сказалъ съ досадою Лугинъ.

Онъ покачалъ головою.

— Что же это значитъ?

— Въ середу, сказалъ старичекъ:

— А, въ середу! вскрикнулъ въ бѣшенствѣ Лугинъ. Такъ нѣтъ же! не хочу въ середу! завтра или никогда! Слышишь ли?

Глаза страннаго гостя засверкали, и онъ опять безпокойно зашевелился.

— Хорошо! наконецъ сказалъ онъ, всталъ, поклонился и вышелъ, присѣдая. Дверь опять тихо за нимъ затворилась; въ сосѣдней комнатѣ опять захлопали туфли и мало по малу все утихло. У Лугина кровь стучала въ голову молоткомъ; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что онъ проигралъ. «Однако жъ я не поддался ему!» говорилъ онъ, стараясь себя утѣшить: «переупрямилъ! Въ середу! Какъ бы не такъ! что̀ я за сумасшедшій! Это хорошо!... очень хорошо! онъ у меня не отдѣлается... А какъ похожъ на этотъ портретъ!... ужасно, ужасно похожъ!... А! теперь я понимаю!...»

«Однако я не посмотрѣлъ хорошенько на то, что у него въ банкѣ!» думалъ онъ: «вѣрно что нибудь необыкновенное!»

На этомъ словѣ онъ заснулъ въ креслахъ. На другой день поутру онъ никому о случившемся не говорилъ, просидѣлъ цѣлый день дома и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ дожидался ве-

чера. Когда наступила ночь, онъ всталъ съ своихъ креселъ, вышелъ въ сосѣднюю комнату, заперъ на ключъ дверь, ведущую въ переднюю, и возвратился на свое мѣсто. Онъ не долго дожидался: опять раздался шорохъ, хлопанье туфлей, кашель старика, и въ дверяхъ показалась его мертвая фигура. За нимъ подвигалась другая, но до того туманная, что Лугинъ не могъ разсмотрѣть ея формы. Старичекъ сѣлъ, какъ наканунѣ, положилъ на столъ двѣ колоды картъ, срѣзалъ одну и приготовился метать, повидимому, не ожидая отъ Лугина никакого сопротивленія. Въ его глазахъ блистала необыкновенная увѣренность, какъ будто они читали въ будущемъ.

Лугинъ, остолбенѣвшій совершенно подъ магнитическимъ вліяніемъ его сѣрыхъ глазъ, уже бросилъ было на столъ два полуимперіала, какъ вдругъ онъ опомнился.

— Позвольте!... сказалъ онъ, покрывъ рукою свою колоду.

Старичекъ сидѣлъ неподвиженъ.

— Что, бишь, я хотѣлъ сказать?... Позвольте... да!...

Лугинъ запутался.

Наконецъ, сдѣлавъ усиліе, онъ медленно проговорилъ:

— Хорошо... я съ вами буду играть... я принимаю вызовъ... я не боюсь... только съ условіемъ: я долженъ знать, съ кѣмъ играю. Какъ ваша фамилія?

Старичекъ улыбнулся.

— Я иначе не играю, проговорилъ Лугинъ; а межъ тѣмъ дрожащая рука его вытаскивала изъ колоды очередную карту.

— Что-съ? проговорилъ неизвѣстный; насмѣшливо улыбаясь.

— Штоссъ?—это?... У Лугина руки опустились, онъ испугался.

Въ эту минуту онъ почувствовалъ возлѣ себя чье-то свѣжее ароматическое дыханіе, и слабый шорохъ, и вздохъ невольный, и легкое, огненное прикосновенье. Странный, сладкій и вмѣстѣ болѣзненный трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ; онъ на мгновенье обернулъ голову и тотчасъ опять устремилъ взоръ на карты; но этого минутнаго взгляда было бы довольно, чтобы

заставить его проиграть душу. То было чудное, божественное видѣнье: склонясь надъ его плечемъ, сіяла женская головка; ея уста умоляли; въ ея глазахъ была тоска невыразимая; она отдѣлялась на темныхъ стѣнахъ комнатъ, какъ утренняя звѣзда на туманномъ востокѣ. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземнаго; никогда смерть не уносила изъ міра ничего столь полнаго пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свѣтъ вмѣсто формъ и тѣла, теплое дыханіе вмѣсто крови, мысль вмѣсто чувства; то не былъ также пустой и ложный призракъ, потому что въ неясныхъ чертахъ дышала страсть бурная и жадная, желаніе, грусть, любовь, страхъ, надежда... то была одна изъ тѣхъ чудныхъ красавицъ, которыхъ рисуетъ намъ молодое воображеніе, передъ которыми, въ волненіи пламенныхъ грезъ, стоимъ и плачемъ, и молимъ, и радуемся, Богъ знаетъ чему; одно изъ тѣхъ прекрасныхъ созданій молодой души, когда она, въ избыткѣ силъ, творитъ для себя новую природу, лучше и полнѣе той, къ которой она прикована!

Въ эту минуту Лугинъ не могъ объяснить того, что съ нимъ сдѣлалось; но съ этой минуты онъ рѣшился играть, пока не выиграетъ; эта цѣль сдѣлалась цѣлью его жизни: онъ былъ этому очень радъ.

Старичекъ сталъ метать: карта Лугина была убита. Блѣдная рука опять потащила по столу два полуимперіала.

— Завтра! сказалъ Лугинъ.

Старичекъ вздохнулъ тяжело, но кивнулъ головой въ знакъ согласія, и вышелъ, какъ наканунѣ.

Всякую ночь въ продолженіе мѣсяца эта сцена повторялась. Всякую ночь Лугинъ проигрывалъ, но ему не было жаль денегъ: онъ былъ увѣренъ, что наконецъ хоть одна карта будетъ дана, и потому все удвоивалъ куши. Онъ былъ въ сильномъ проигрышѣ, но за то каждую ночь на минуту встрѣчалъ взглядъ и улыбку, за которые онъ готовъ былъ отдать все на свѣтѣ. Онъ похудѣлъ и пожелтѣлъ ужасно. Цѣлые дни просиживалъ дома, запершись въ кабинетѣ; часто не обѣдалъ. Онъ ожидалъ вечера,

какъ любовникъ—свиданья, и каждый вечеръ былъ награжденъ взглядомъ болѣе нѣжнымъ, улыбкой болѣе привѣтливой. Она—не знаю какъ назвать ее—она, казалось, принимала трепетное участіе въ игрѣ: казалось, она ждала съ нетерпѣніемъ минуты, когда освободится отъ ига несноснаго старика, и всякій разъ, когда карта Лугина была убита, она съ грустнымъ взоромъ оборачивала къ нему эти страстные, глубокіе глаза, которые, казалось, говорили: «смѣлѣе, не упадай духомъ, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало; я тебя люблю!»—и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тѣнью ея измѣнчивыя черты. И всякій вечеръ, когда они разставались, у Лугина болѣзненно сжималось сердце отчаяніемъ и бѣшенствомъ. Онъ уже продавалъ вещи, чтобъ поддерживать игру; онъ видѣлъ, что невдалекѣ та минута, когда ему нечего будетъ поставить на карту. Надо будетъ на что нибудь рѣшиться. Онъ рѣшился...

II.

ДРУГОЙ ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НАЧАТОЙ ПОВѢСТИ.

Я хочу разсказать вамъ исторію женщины, которую вы всѣ видѣли и которую никто изъ васъ не зналъ. Вы ее встрѣчали ежедневно на балѣ, въ театрѣ, на гуляньѣ, у нея въ кабинетѣ. Теперь она уже сошла со сцены большаго свѣта; ей тридцать лѣтъ, и она схоронила себя въ деревнѣ; но когда ей было только двадцать, весь Петербургъ шумно занимался ею въ продолженіе цѣлой зимы. Объ этомъ совершенно забыли—и слава Богу! потому что, иначе, я бы не могъ печатать своей повѣсти. Въ обществѣ про нее было въ то время много разногласныхъ толковъ. Старушки говорили объ ней, что она прехитрая и прелукавая, пріятельницы—что она преглупенькая, соперницы—что она предобрая, молодыя женщины—что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ея имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалѣли, что такой правильной и свѣжей красотѣ недостаетъ физіономіи, тогда какъ

другіе утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья въ ея лицѣ замѣняетъ всѣ прочіе недостатки. При томъ мужъ ея, пятидесятилѣтній мужчина, имѣлъ графскій титулъ и сомнительно-огромное состояніе. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщинѣ ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой онѣ всѣ такъ жадно гоняются и за которую нѣкоторыя изъ нихъ такъ дорого платятъ.

Подробности моего разсказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вамъ, что въ немъ будетъ заключаться глубокій нравственный смыслъ, который не ускользнетъ ни отъ кого, развѣ отъ 18-лѣтнихъ барышень—да имъ моей книги не дадутъ; а если она имъ и попадется случайно, то умоляю ихъ, послѣ этихъ строкъ закрыть ее и не класть на ночь подъ подушку, потому что отъ этого находятъ дурные сны. Молодыя же дамы, прочитавъ эти правдивыя страницы, вѣрно, отдадутъ справедливость моимъ описаніямъ и замѣчаніямъ, вспомнивъ нѣчто подобное въ своей жизни; но онѣ, конечно, этого никому не скажутъ, тогда какъ многіе молодые франты станутъ увѣрять, что такія приключенія были съ ними на дняхъ, тогда какъ съ бо́льшею частію изъ нихъ ничего такого случиться даже не можетъ. Всѣ почти жалуются у насъ на однообразіе свѣтской жизни, и забываютъ, что надо бѣгать за приключеніями, чтобъ они встрѣтились; а для того чтобы за ними гоняться, надо быть взволнованну сильной страстью или имѣть одинъ изъ тѣхъ безпокойно-любопытныхъ характеровъ, которые готовы сто разъ пожертвовать жизнію, только бы достать ключъ самой незамысловатой, повидимому, загадки. Но на днѣ одной есть ужъ вѣрно другая, потому что все для насъ въ мірѣ тайна, и тотъ, кто думаетъ отгадать чужое сердце или знать всѣ подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается. Во всякомъ сердцѣ, во всякой жизни пробѣжало чувство, промелькнуло событіе, которыхъ никто никому не откроетъ, а они-то самыя важныя и есть; они-то обыкновенно даютъ тайное направленіе чувствамъ и поступкамъ.

Въ нашемъ равнодушномъ вѣкѣ любопытныхъ и страстныхъ людей немного; но, около десяти лѣтъ тому назадъ, случился одинъ такой чудакъ въ Петербургѣ, и судьба, какъ нарочно, поставила его предъ непонятной женщиною, которой исторію я хочу вамъ разсказать.

Александру Сергѣевичу Арбенину было тридцать лѣтъ— возрастъ силы и зрѣлости для мужчины, если только молодость его прошла неслишкомъ бурливо и неслишкомъ спокойно. Извѣстно, что въ природѣ противоположныя причины часто производятъ одинакія дѣйствія: лошадь равно падаетъ на ноги отъ застоя и отъ излишней ѣзды.

Вотъ какова была молодость Арбенина.

Начнемъ сначала.

Онъ родился въ Москвѣ. Скоро послѣ появленія его на этотъ свѣтъ, его мать разъѣхалась съ его отцомъ по неизвѣстнымъ причинамъ. Сообразивъ всѣ городскіе толки, можно было сдѣлать только одно вѣрное заключеніе, а именно, что Сергѣй Васильевичъ разъѣхался съ своей супругой.

Саша остался на рукахъ отца. Когда ему минуло годъ, его посадили съ кормилицей и няней въ карету и отвезли въ симбирскую деревню. Сергѣй Васильевичъ вскорѣ самъ туда пріѣхалъ и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. Отъ барскаго дома по скату горы до самой рѣки разстилался фруктовый садъ. Съ балкона видны были дымящіяся села луговой стороны, синѣющія степи и желтыя нивы. Весной, во время разлива, рѣка превращалась въ море, усѣянное лѣсистыми островами; по ней мелькали бѣлые парусы барокъ и вечеромъ раздавались пѣсни бурлаковъ. Барскій домъ былъ похожъ на всѣ барскіе домы: деревянный, съ мезониномъ, выкрашенный желтой краской, а дворъ обстроенъ былъ одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведенъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньямъ дворня толпилась вокругъ нихъ и, порой, двѣ горничныя садились на полусгнившую доску, висящую межъ двухъ сомнительныхъ веревокъ,

и двое изъ самыхъ любезныхъ лакеевъ, взявшись каждый за конецъ толстаго каната, взбрасывали скромную черту подъ облака; мальчишки били въ ладони, когда пугливыя дѣвы начинали визжать—и всѣмъ было очень весело. Надо замѣтить, что качели среди барскаго двора—признакъ отечески-добраго правленія, а между тѣмъ вотъ какъ хорошо судятъ о насъ иностранцы: въ путевыхъ запискахъ одного француза я недавно читалъ, что у насъ противъ господскаго дома обыкновенно торчитъ висѣлица. Французъ замѣчалъ остроумно, что это, должно быть, злоупотребленіе, ибо смертная казнь въ Россіи уничтожена. Бѣдныя качели!...

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаковъ выбѣгали съ плачемъ на берегъ; въ жаркіе лѣтніе дни толпы крестьянскихъ дѣвокъ купались въ студеныхъ струяхъ Волги; ихъ русыя косы мелькали надъ пѣнистой влагой, ихъ громкій смѣхъ раздавался далеко. Зимой горничныя дѣвушки приходили шить и вязать въ дѣтскую, во-первыхъ, потому что нянѣ Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторыхъ, чтобъ потѣшать маленькаго барченка. Сашѣ было съ ними очень весело. Онѣ его ласкали и цѣловали наперерывъ, разсказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ, и его воображеніе наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятіями противуобщественными. Онъ разлюбилъ игрушки и началъ мечтать. Шести лѣтъ онъ уже заглядывался на закатъ, усѣянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный мѣсяцъ свѣтилъ въ окно на его дѣтскую кроватку. Ему хотѣлось, чтобъ кто нибудь его приласкалъ, поцѣловалъ, приголубилъ, но у старой няньки руки были такія жесткія! Отецъ имъ вовсе не занимался, хозяйничалъ и ѣздилъ на охоту. Саша былъ преизбалованный, пресвоевольный ребенокъ. Онъ семи лѣтъ умѣлъ уже прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, онъ умѣлъ съ презрѣньемъ улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тѣмъ природная всѣмъ склонность къ разрушенію развивалась въ немъ

необыкновенно. Въ саду онъ то-и-дѣло ломалъ кусты и срывалъ лучшіе цвѣты, усыпая ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удовольствіемъ давилъ несчастную муху и радовался, когда брошенный имъ камень сбивалъ съ ногъ бѣдную курицу. Богъ знаетъ, какое направленіе принялъ бы его характеръ, если бъ не пришла на помощь корь—болѣзнь опасная въ его возрастѣ. Его спасли отъ смерти, но тяжелый недугъ оставилъ его въ совершенномъ разслабленіи: онъ не могъ ходить, не могъ приподнять ложки. Цѣлые три года оставался онъ въ самомъ жалкомъ положеніи, и если бъ онъ не получилъ отъ природы желѣзнаго тѣлосложенія, то вѣрно бы отправился на тотъ свѣтъ. Болѣзнь эта имѣла важныя слѣдствія и странное вліяніе на умъ и характеръ Саши: онъ выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами дѣтей, онъ началъ искать ихъ въ самомъ себѣ. Воображеніе стало для него новой игрушкой. Не даромъ учатъ дѣтей, что съ огнемъ играть не должно. Но—увы! никто и не подозрѣвалъ въ Сашѣ этого скрытаго огня, а между тѣмъ онъ обхватилъ все существо бѣднаго ребенка. Въ продолженіе мучительныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ побѣждать страданья тѣла, увлекаясь грезами души. Онъ воображалъ себя волжскимъ разбойникомъ, среди синихъ и студеныхъ волнъ, въ тѣни дремучихъ лѣсовъ, въ шумѣ битвъ, въ ночныхъ наѣздахъ, при звукѣ пѣсенъ, подъ свистомъ волжской бури. Вѣроятно, что раннее развитіе умственныхъ способностей немало помѣшало его выздоровленію...

МАСКАРАДЪ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ЕВГЕНІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ АРБЕНИНЪ.	КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ.
НИНА, его жена.	ШПРИХЪ.
ОЛИНЬКА.	ИГРОКИ.
КАЗАРИНЪ.	ГОСТИ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

ИГРОКИ, КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ, КАЗАРИНЪ И ШПРИХЪ.

(За столомъ мечутъ банкъ и понтируютъ. Кругомъ стоятъ).

1-Й ПОНТЕРЪ.

Иванъ Ильичъ, позвольте мнѣ поставить.

БАНКОМЕТЪ.

Извольте.

1-Й ПОНТЕРЪ.

Сто рублей.

БАНКОМЕТЪ.

Идетъ.

2-Й ПОНТЕРЪ.

Ну добрый путь.

3-Й ПОНТЕРЪ.

Вамъ надо счастіе поправить...
И не мѣшало бы загнуть.

2-Й ПОНТЕРЪ.

На все?... Нѣтъ, жжется!

4-Й ПОНТЕРЪ.

Послушай, милый другъ, кто нынече не гнется,
Ни до чего тотъ не добьется.

3-Й ПОНТЕРЪ (тихо первому).

Смотри во всѣ глаза.

КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ.

Ва—банкъ.

2-Й ПОНТЕРЪ.

Эй, князь!
Гнѣвъ только портитъ кровь; играйте не сердясь!

КНЯЗЬ.

На этотъ разъ оставьте хоть совѣты.

БАНКОМЕТЪ.

Убита.

КНЯЗЬ.

Чортъ возьми!

БАНКОМЕТЪ.

Позвольте получить...

2-Й ПОНТЕРЪ (насмѣшливо).

Я вижу, вы въ пылу готовы все спустить.
Что стоятъ ваши эполеты?

КНЯЗЬ.

Я съ честью ихъ досталъ, и вамъ ихъ не купить.

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢЖЕ И АРБЕНИНЪ.

АРБЕНИНЪ (входитъ, кланяется подходя къ столу, потомъ дѣлаетъ нѣкоторые знаки и отходитъ съ КАЗАРИНЫМЪ).

АРБЕНИНЪ.

Ну что, ужъ ты не мечешь?... а? Казаринъ?

КАЗАРИНЪ.

Смотрю, братъ, на другихъ.
А ты, любезнѣйшій! женатъ, богатъ, сталъ баринъ,
И позабылъ товарищей своихъ!

АРБЕНИНЪ.

Да, я давно ужъ не былъ съ вами.

КАЗАРИНЪ.

Дѣлами занятъ все?

АРБЕНИНЪ.

Любовью... не дѣлами.

КАЗАРИНЪ.

Съ женой по баламъ?

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ.

КАЗАРИНЪ.

Играешь?

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ... утихъ!
Но здѣсь есть новые; кто этотъ франтикъ?

КАЗАРИНЪ.

Шприхъ.
Адамъ Петровичъ!... я васъ познакомлю разомъ —

(Ширихъ подходитъ и кланяется).

Вотъ здѣсь пріятель мой, рекомендую вамъ,
Арбенинъ.

ШПРИХЪ.

Я васъ знаю.

АРБЕНИНЪ.

Помнится, что намъ
Встрѣчаться не случалось.

ШПРИХЪ.

По разсказамъ...
И столько я о васъ слыхалъ того, сего,
Что познакомиться давнымъ давно желаю.

АРБЕНИНЪ.

Про васъ я не слыхалъ, къ несчастью, ничего;
Но многое отъ васъ, конечно, я узнаю.
(Раскланивается опять. Ширихъ, скорчивъ кислую мину, уходитъ).
Онъ мнѣ не нравится... видалъ я много рожъ,
А этакой не выдумать нарочно:
Улыбка злобная, глаза... стекляруса точно;
Взглянуть—не человѣкъ, а съ чортомъ не похожъ.

КАЗАРИНЪ.

Эхъ, братецъ мой, что видъ наружный?
Пусть будетъ хоть самъ чортъ—да человѣкъ онъ нужный!
Лишь адресуйся — одолжитъ.
Какой онъ націи, сказать не знаю смѣло:
На всѣхъ языкахъ говоритъ...
Вѣрнѣй всего, что жидъ.
Со всѣми онъ знакомъ, вездѣ ему есть дѣло,
Все помнитъ, знаетъ все, въ заботѣ цѣлый вѣкъ;
Былъ битъ не разъ; съ безбожникомъ—безбожникъ,
Съ святошей—езуитъ, межъ нами—злой картежникъ,

А съ честными людьми—пречестный человѣкъ.
Короче, ты его полюбишь—я увѣренъ.

АРБЕНИНЪ.

Портретъ хорошъ—оригиналъ-то скверенъ!
Ну, а вонъ тотъ высокій и въ усахъ,
И нарумяненый въ добавокъ?
Конечно, житель модныхъ лавокъ,
Любезникъ отставной, и былъ въ чужихъ краяхъ?
Конечно, онъ герой не въ дѣлѣ
И мастерски стрѣляетъ въ цѣль?

КАЗАРИНЪ.

Почти... онъ изъ полка былъ выгнанъ за дуэль,
Или за то, что не былъ на дуэли:
Боялся быть убійцей, да и мать
Къ тому жъ строга... потомъ лѣтъ черезъ пять
Былъ вызванъ онъ опять,
И тутъ дрался ужъ въ самомъ дѣлѣ.

АРБЕНИНЪ.

А этотъ маленькій каковъ?
Съ крестомъ, растрепанный?...

КАЗАРИНЪ.

Трущовъ.
Онъ малый необыкновенный!
Не знаю, штатскій иль военный,
Но въ грузіи когда-то онъ служилъ
Иль посланъ былъ туда съ какимъ-то генераломъ,
Кого-то тамъ изъ-за угла хватилъ;
Пять лѣтъ за то былъ подъ началомъ,
И крестъ на шею получилъ.

ИГРОКИ (кричатъ КАЗАРИНУ).

Пожалуйте сюда.

КАЗАРИНЪ.

Иду.

1-Й ПОНТЕРЪ.

Скорѣй!

КАЗАРИНЪ.

Какая тамъ бѣда?

(Живой разговоръ между игроками, потомъ успокоиваются; АРБЕНИНЪ замѣчаетъ князя Звѣздича и подходитъ).

АРБЕНИНЪ.

Князь, какъ вы здѣсь? Ужель не въ первый разъ?

КНЯЗЬ (недовольно).

Я то же самое хотѣлъ спросить у васъ.

АРБЕНИНЪ.

Я вашъ отвѣтъ предупрежду, пожалуй:
Я здѣсь давно знакомъ, и часто здѣсь, бывало,
Смотрѣлъ съ волненіемъ нѣмымъ,
Какъ колесо вертѣлось счастья:
Одинъ былъ вознесенъ, другой раздавленъ имъ!
Я не завидовалъ, но и не зналъ участья.
Видалъ я много юношей, надеждъ
И чувства полныхъ, счастливыхъ невѣждъ
Въ наукѣ жизни... пламенныхъ душою,
Которыхъ прежде цѣль была одна любовь...
Они погибли быстро предо мною.
И вотъ мнѣ суждено увидѣть это вновь!

КНЯЗЬ (съ чувствомъ беретъ его за руку).

Я проигрался!

АРБЕНИНЪ.

Что жъ?... Топиться?...

КНЯЗЬ.

О! я въ отчаяньи!

АРБЕНИНЪ.

Два средства только есть:
Дать клятву за игру во вѣки не садиться,
Или опять сейчасъ же сѣсть.
Но, чтобъ у нихъ выигрывать рѣшиться,
Вамъ надо кинуть все: родныхъ, друзей и честь;
Вамъ надо испытать, ощупать безпристрастно
Свои способности и душу; по частямъ
Ихъ разобрать; привыкнуть ясно
Читать на лицахъ, чуть знакомыхъ вамъ,
Всѣ побужденья, мысли; годы
Употребить на упражненье рукъ;
Все презирать: законъ людей, законъ природы;
День думать, ночь играть, отъ мукъ не знать свободы —
И чтобъ никто не понялъ вашихъ мукъ!
Не трепетать, когда близъ васъ искусствомъ равный;
Удачи каждый мигъ постыдный ждать конецъ,
И не краснѣть, когда вамъ скажутъ явно:
«Подлецъ!»

(Молчаніе. Князь едва его слушалъ и былъ въ волненіи).

КНЯЗЬ.

Не знаю, какъ мнѣ быть, что дѣлать?

АРБЕНИНЪ.

Что хотите.

КНЯЗЬ.

Быть можетъ, счастіе...

АРБЕНИНЪ.

О, счастія здѣсь нѣтъ!

КНЯЗЬ.

Я все вѣдь проигралъ... Ахъ, дайте мнѣ совѣтъ!

АРБЕНИНЪ.

Совѣтовъ не даю.

КНЯЗЬ.

Ну, сяду...

АРБЕНИНЪ (вдругъ беретъ его за руку).

Погодите!
Я сяду вмѣсто васъ. Вы молоды—я былъ
Неопытенъ когда-то и моложе;
Какъ вы заносчивъ, опромѣтчивъ тоже.
И если бъ... (останавливается) кто нибудь меня остановилъ,
То... (Смотритъ на него пристально).
(Перемѣнивъ тонъ). Дайте мнѣ на счастье руку смѣло,
А остальное ужъ не ваше дѣло!
(Подходитъ къ столу; ему даютъ мѣсто).
Не откажите инвалиду;
Хочу я испытать, что скажетъ мнѣ судьба,
И дастъ ли нынѣшнимъ поклонникамъ въ обиду
Она стариннаго раба?

КАЗАРИНЪ.

Не вытерпѣлъ... зажглося ретивое!
(Тихо). Ну, не ударься въ грязь лицомъ,
И докажи имъ, что такое
Возиться съ прежнимъ игрокомъ.

ИГРОКИ.

Извольте, вамъ и книги въ руки; вы хозяинъ,
Мы гости.

1-Й ПОНТЕРЪ (на ухо второму).

Берегись, имѣй теперь глаза!...
Не по нутру мнѣ этотъ Ванька Каинъ
И притузитъ онъ моего туза.
(Игра начинается. Всѣ толпятся вокругъ стола; иногда разные возгласы; въ продолженіе слѣдующаго разговора многіе мрачно отходятъ отъ стола).
(ШПРИХЪ отводитъ на авансцену КАЗАРИНА).

ШПРИХЪ (лукаво).

Столпились въ кучку всѣ; кажись, нашла гроза.

КАЗАРИНЪ.

Задастъ онъ имъ на мѣсяцъ страху!

ШПРИХЪ.

Видно,
Что мастеръ!

КАЗАРИНЪ.

Былъ.

ШПРИХЪ.

Былъ? а теперь?...

КАЗАРИНЪ.

Теперь?
Женился и богатъ, сталъ человѣкъ солидный;
Глядитъ ягненочкомъ, а право, тотъ же звѣрь...
Мнѣ скажутъ: можно отучиться,
Натуру побѣдить! Дуракъ, кто говоритъ!
Пусть ангеломъ и притворится,
Да чортъ въ душѣ его сидитъ.
И ты, мой другъ (ударивъ по плечу), хоть передъ нимъ ребенокъ,
А и въ тебѣ сидитъ чертенокъ.
(подходятъ игроки).
Что, господа, иль не подъ силу—а?...

1-Й ИГРОКЪ.

Арбенинъ вашъ мастакъ.

КАЗАРИНЪ.

И! что вы, господа!
(Волненіе между игроками).

3-Й ПОНТЕРЪ.

Да этакъ онъ загнетъ, пожалуй, тысячъ на сто.

4-Й ПОНТЕРЪ (въ сторону).

Обрѣжется...

5-Й ПОНТЕРЪ.

Посмотримъ.

АРБЕНИНЪ (встаетъ).

Баста!

(Береть золото и отходитъ; другіе остаются у стола. КАЗАРИНЪ и ШПРИХЪ также у стола. АРБЕНИНЪ молча беретъ за руку князя и отдастъ ему деньги. АРБЕНИНЪ блѣденъ).

КНЯЗЬ.

Ахъ, никогда мнѣ это не забыть!...
Вы жизнь мою спасли...

АРБЕНИНЪ.

И деньги ваши тоже.
(Горько) А право, трудно разрѣшить,
Которое изъ этихъ двухъ дороже.

КНЯЗЬ.

Большую жертву вы мнѣ сдѣлали.

АРБЕНИНЪ.

Ничуть.
Я радъ былъ случаю, чтобъ кровь привесть въ волненье,
Тревогою опять наполнить умъ и грудь;
Я сѣлъ играть—какъ вы пошли бы на сраженье.

КНЯЗЬ.

Но проиграться вы могли?

АРБЕНИНЪ.

Я? Нѣтъ!... Тѣ дни блаженные прошли!
Я вижу все насквозь... всѣ тонкости ихъ знаю,
И вотъ за чѣмъ я нынче не играю.

КНЯЗЬ.

Вы избѣгаете признательность мою...

АРБЕНИНЪ.

По чести вамъ сказать, ее я не терплю.
Ни въ чемъ и никому я не былъ въ жизнь обязанъ,
И если я кому платилъ добромъ,
То все не потому, чтобъ былъ къ нему привязанъ,
А просто—видѣлъ пользу въ томъ.
(АРБЕНИНЪ уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ III.

ТѢЖЕ, КРОМѢ АРБЕНИНА.

КНЯЗЬ.

Мнѣ кажется, онъ говорилъ съ презрѣньемъ...
Досадно!... деньги я не долженъ былъ принять.

КАЗАРИНЪ.

Задумались... о чемъ, нельзя ль узнать?

КНЯЗЬ.

Смущенъ я страннымъ приключеньемъ,
Великодушіемъ...

КАЗАРИНЪ.

Арбенинъ не таковъ—
Онъ никого безъ видовъ не обяжетъ!
За то вы можете сегодня жъ безъ чиновъ
Въ пухъ обыграть его—онъ ничего не скажетъ.

КНЯЗЬ.

Но согласитесь вы со мной,
Что одолжаться непріятно
Тому, кто по-сердцу для насъ совсѣмъ чужой.

КАЗАРИНЪ.

Особенно, когда онъ знатный
И требуетъ покорности нѣмой,

Или когда хотимъ мы волочиться
За дочерью его иль за его женой—
Все это можетъ же случиться!
Жена Арбенина собою недурна,
И, кажется, въ него не очень влюблена;
И я замѣтилъ вотъ недавно,
Какъ у Нероновыхъ движеньемъ томныхъ глазъ
Она кругомъ искала васъ... да, васъ!
Э, князь! да вы себя ведете славно,
По нашимъ вы ступаете слѣдамъ.
Мое благословенье вамъ.
Что нынѣче молодежь! Трудятся, изнуряютъ
Себя для службы и наградъ,
О добродѣтели кричатъ,
И возлѣ женщины порядочно зѣваютъ.
Жить не умѣютъ, мой отецъ!
Стыдятся неудачъ, боятся приключеній,
И чѣмъ кончаютъ наконецъ?
Лѣтъ въ двадцать пять всѣ женятся отъ лѣни.

КНЯЗЬ.

Да кто же вамъ сказалъ? Какъ догадаться вамъ?

КАЗАРИНЪ.

Когда Арбенинъ былъ въ деревнѣ,
Вы ѣздили къ Настасьѣ Алексѣвнѣ,
По вечерамъ и по утрамъ.

КНЯЗЬ.

Вы правы—что же тутъ дурнаго?

КАЗАРИНЪ.

Напротивъ...

КНЯЗЬ.

Я боюсь молвы,
И потому надѣюся, что вы
Объ этомъ никому ни слова...

*

КАЗАРИНЪ.

Мнѣ измѣнить вамъ? Васъ предать?

КНЯЗЬ.

Но вы Арбенину пріятель.

КАЗАРИНЪ.

Ха! ха! ха! ха! о мой Создатель!
Да, онъ мой другъ; вамъ не угодно ль знать
Начало дружбы нашей: я былъ молодъ—
Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ—
Неопытенъ, и пылокъ, и богатъ,
Но онъ—въ его груди ужъ крылся этотъ холодъ,
То адское презрѣнье ко всему,
Которымъ онъ гордится всюду!
Не знаю приписать его къ уму,
Иль обстоятельствамъ—я разбирать не буду.
Разъ, онъ меня завелъ подъ-вечерокъ
Къ себѣ—я вѣрилъ счастью! Кошелекъ
Мой полонъ былъ... я сѣлъ играть (признаться,
Страстишка эта ужъ владѣла мной)
И проигралъ... Отецъ мой былъ скупой
И строгій человѣкъ; я вздумалъ отыграться!
Но онъ меня въ когтяхъ своихъ держалъ
И я все снова проигралъ.
Я предался отчаянью: тутъ были,
Я стану правду говорить,
И слезы и мольбы... Онѣ въ немъ возбудили
Одинъ холодный смѣхъ—о! лучше бы пронзить
Меня кинжаломъ!...
И съ того мгновенья
Покинулъ я забавы юныхъ лѣтъ,
Мечтанья нѣжныя и сладкія волненья,
И въ свѣтѣ мнѣ открылся новый свѣтъ:
Міръ безобразныхъ, страстныхъ ощущеній,
Міръ обществомъ отвергнутыхъ людей,

Самолюбивыхъ думъ и ледяныхъ страстей,
И увлекательныхъ мученій!
Я увидалъ, что деньги—царь земли,
И поклонился имъ... Года прошли;
Все унеслось—богатство и здоровье,
На вѣкъ передо мной закрылась счастья дверь,
Я заключилъ съ судьбой послѣднее условье,
И вотъ сталъ тѣмъ, что я теперь:
Умѣренный игрокъ и наблюдатель строгой,
Не дѣйствую нигдѣ, за то ужъ вижу много.

КНЯЗЬ.

Послушать васъ—Арбенинъ вамъ злодѣй!

КАЗАРИНЪ.

Однако жъ явно мы понынѣ
Не ссорились, хотя въ душѣ, ей-ей!
Я не терплю его...

КНЯЗЬ (въ сторону).

Поѣду завтра къ Нинѣ!

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

БАЛЪ.

(Музыка въ другой комнатѣ).

ЯВЛЕНІЕ I.

1-й ГОСТЬ.

Угодно ли?

НИНА.

Я не танцую;
Я васъ сейчасъ рекомендую
Премилой дамѣ.

1-й ГОСТЬ.

Жертвую собой
Для вашей прихоти.

НИНА.

Вы истинный герой!

ЯВЛЕНІЕ II.

КНЯЗЬ.

Охота вамъ такъ много суетиться.

НИНА.

Всѣмъ надо угодить.

КНЯЗЬ.

Нельзя ли, хоть на смѣхъ,
Мена въ число поставить всѣхъ...

НИНА.

Неблагодарный! есть за что сердиться!
Подумайте, мы не однѣ...

КНЯЗЬ.

Для свѣта—все, а мнѣ
Ни взора кинуть не хотите,
Ни слова нѣжнаго промолвить.

НИНА.

Погодите! (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ III.

АРБЕНИНЪ (Олинькѣ).

Гдѣ Нина? Отчего ты не танцуешь?

ОЛИНЬКА.

Съ кѣмъ?

АРБЕНИНЪ.

А! не охотница до пляски...
Послушай, Олинька, когда пріѣдутъ маски,
Вели отказывать не всѣмъ.
(ОЛИНЬКА уходитъ).

(Гостю) Вотъ истинная компаньонка!...
Какъ не скучаетъ съ ней жена?
Всегда молчитъ: блѣдна, грустна,
За то послушнѣе ребенка!...

ГОСТЬ.

Давно ль она у васъ живетъ?...

АРБЕНИНЪ.

Ужъ скоро третій годъ;
Я взялъ ее, когда женился.
У матери жены моей
Она росла, сиротка съ раннихъ дней.

ГОСТЬ.

Да; если такъ—а то я бъ подивился.

(АРБЕНИНЪ, пожавъ плечами, уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ IV.

2-й гость выходитъ изъ залы съ дамой.

ДАМА.

Вы съ нѣкоторыхъ поръ на міръ, какъ на Содомъ,
Глядите строгимъ мудрецомъ!...

2-й ГОСТЬ.

Премудрость нынѣшняго свѣта
Не смотритъ за предѣлъ балета!
Балетъ на сценѣ—въ обществѣ балетъ—
Страдаютъ ноги и паркетъ—
Куда какъ весело, ей-Богу!
Захочется у насъ кому
Въ beau monde открыть себѣ дорогу,
Работы нѣтъ его уму,
Умѣй онъ поднимать лишь ногу.
И все, чтобы сказать: сегодня я туда,

А завтра буду тамъ... есть изъ чего стараться!
Тоска!...

ДАМА.

Зачѣмъ же вы сюда
Пріѣхали?

2-й ГОСТЬ.

Куда же мнѣ дѣваться?

ДАМА.

Вамъ не понравится, боюся, мой совѣтъ...

2-й ГОСТЬ.

Здѣсь отъ передней до гостинной
Все такъ высоко, холодно и чинно,
Такъ приторно и такъ невинно,
Что мочи нѣтъ!

ДАМА.

Тѣмъ лучше...

ЯВЛЕНІЕ V.

3-й ГОСТЬ.

Объ закладъ побиться не хотите ль,
Что онъ московскій житель;
Но впрочемъ не дивлюсь, что здѣсь скучаетъ онъ:
Блестящій балъ, да что за тонъ,
La societé est si melée
De ces figures qu'on voit passer
Aux boulevards, à l'assamblée.
Madame, voudrez vous bien valser.
(Музыка, всѣ уходятъ).

ОЛИНЬКА (одна).

Имъ весело, для нихъ судьбою
Жизнь такъ роскошно убрана,
А я одна, всегда одна!

Всѣмъ быть обязанной, всѣмъ жертвовать собою,
И никого не смѣть любить,
О! развѣ это значитъ жить?...
Счастливыя царицы моды!
Имъ не измѣнитъ свѣтъ, ихъ не измѣнятъ годы.
За что же?... Красота моя
Ихъ красотѣ поддѣльной не уступитъ:
Жемчугъ, алмазы, кисея
Морщинъ и глупости собою не искупитъ,
Но счастье—ихъ!... восторга своего
Несутъ имъ дань мужчины ежечасно!
Я лучше, я умнѣй... Напрасно!...
(Сзади проходитъ нѣсколько гостей и между ними маски).
И онъ, онъ также какъ другіе
Бѣжитъ за вѣтреной толпой
И мимоходомъ лишь порой
Мнѣ кинетъ взглядъ... мечты пустыя!...
И какъ его винить, и какъ ему узнать,
Что грудь моя полна желанья неземнова,
Что я ему готова жизнь отдать
За мигъ одинъ... за слово!...
Все ждать, да ждать... О, Боже... это онъ!
Разстроенъ, кажется, смущенъ...

КНЯЗЬ (быстро подходитъ).

Ахъ, извините! я васъ принялъ за другую.

ОЛИНЬКА.

И потому лишь подошли.

КНЯЗЬ.

Вы размышляли!... отъ земли
Мечты васъ вѣрно унесли
Въ міръ лучшій, жизнь иную.
Я не прощу себѣ! такъ дерзко помѣшать...

ОЛИНЬКА.

Чему?

КНЯЗЬ.

Мечтамъ.

ОЛИНЬКА.

Дай Богъ вамъ не мечтать!
Вдаваться вредно въ заблужденье...

КНЯЗЬ.

Вы правы: чувства, страсти—все обманъ.

ОЛИНЬКА.

О! для чего жъ отъ нихъ такое намъ мученье.

КНЯЗЬ.

Васъ взволновалъ какой нибудь романъ?

ОЛИНЬКА (въ сторону).

Нѣтъ, истинное приключенье.

КНЯЗЬ.

Не вѣрьте сердцу, ни уму,
Когда они бываютъ въ спорѣ.

ОЛИНЬКА.

Чему же вѣрить?

КНЯЗЬ.

Ничему.
(Отходитъ въ сторону).

ЯВЛЕНІЕ VI.

КНЯЗЬ.

Не въ духѣ я болтать о вздорѣ,
А компаньонка мнѣ нужна.

НИНА (входитъ).

Измучилась!...

КНЯЗЬ.

Но къ вамъ идетъ усталость.

НИНА.

Я думала найти въ васъ жалость.

КНЯЗЬ.

Гдѣ есть любовь, тамъ жалость ужъ смѣшна.

НИНА.

О! вы не знаете какъ тягостно, какъ скучно,
Жить для толпы; всегда въ ея глазахъ,
Не смѣть ни передъ кѣмъ открыться простодушно;
Вездѣ съ улыбкою являться на губахъ;
Для выгодъ мужа быть съ однимъ любезной,
Холодностію мстить другому за него,
И слышать: «Нина, это мнѣ полезно;
Благодарю тебя!» и больше ничего.

КНЯЗЬ.

Восторгъ толпы и свѣта удивленье
Замѣнятъ счастіе легко.

НИНА.

Къ толпѣ я чувствую презрѣнье.

КНЯЗЬ.

Чего жъ вамъ надобно?

НИНА.

Любви хоть на мгновенье!

КНЯЗЬ.

О, вамъ искать недалеко!...
Любви вы ищите, глубокой, сильной, страстной:
Она предъ вами здѣсь, въ груди моей;
Вы это знаете—и сколько, сколько дней
Я мучился и думалъ—все напрасно!

Но я любимъ, я былъ любимъ всегда?
О, я молю, скажите: да!...
Когда, вы помните, на балѣ
Мы увидались въ первый разъ,
Лежало облако печали
На свѣтломъ небѣ вашихъ глазъ;
Они усталые, безъ цѣли,
Бродили медленно вокругъ,
И не искалъ ихъ встрѣчи вашъ супругъ,
И на него поднять вы ихъ не смѣли.
И онъ стоялъ близъ васъ безчувственный какъ сталь,
Съ лицомъ исполненнымъ безстрастья,
Какъ неизбѣжная печаль
Близъ неожиданнаго счастья.
Тогда во мнѣ проснулся чудный звукъ...
Я поклялся любить и клятву не нарушу—
Я чувствовалъ: вамъ нуженъ другъ—
И въ жертву я принесъ вамъ душу.

НИНА.

Насъ могутъ слышать! умоляю васъ,
Уйдите!...

КНЯЗЬ.

Нѣтъ, скажите мнѣ хоть разъ
Что я любимъ; скажите, обѣщайте...

НИНА.

Да! я люблю васъ!... Боже мой, ступайте!...

КНЯЗЬ (хватаетъ ея руку).

Одинъ лишь поцѣлуй на счастіе въ залогъ,
Одинъ, не больше, видитъ Богъ.

НИНА (не вырывая руки).

Неблагодарный! вотъ мужчины:
Похожи всѣ на одного!

Теперь вамъ мало сердца Нины,
Теперь вамъ хочется всего!
Вамъ надо честь мою на поруганье!
Чтобъ встрѣтившись на балѣ, на гуляньѣ,
Могли бы вы со смѣхомъ разсказать
Друзьямъ смѣшное приключенье,
И разрѣшая ихъ сомнѣнье,
Промолвить: вотъ она, и пальцемъ указать.

(Маска въ дверяхъ).

КНЯЗЬ.

Обидно ваше подозрѣнье,
И я васъ долженъ наказать (срываетъ браслетъ).
Вотъ мнѣ залогъ любви. Доволенъ я! Прощайте!

НИНА (въ испугѣ).

Ахъ! что вы сдѣлали? Отдайте мнѣ, отдайте!
Мой мужъ замѣтитъ, онъ меня убьетъ!
Да—нѣтъ, вы шутите! о, это злая шутка!
Отдайте, я лишусь разсудка.
Вы такъ-то любите? Всѣ обѣщанья вотъ!...
Вотъ за довѣренность какъ нынче отвѣчаютъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

ОЛИНЬКА (становится между ними).

Скорѣй, скорѣй, за вами примѣчаютъ!

НИНА (убѣгая).

Хоть пощадите честь мою.

КНЯЗЬ (задумываясь).

Мнѣ кажется... что я ее люблю.

ОЛИНЬКА.

Хотя бъ сказалъ: благодарю!
Ни взгляда, ни привѣта...
Онъ вѣрно думаетъ, что платятъ мнѣ за это.

Нѣтъ, вижу, что всегда останусь я рабой
Привычки—жертвовать собой.

(Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

КНЯЗЬ.

Что дѣлаешь ты здѣсь, таинственная маска?

МАСКА.

Смотрю на вашъ романъ...
Завязка дѣльная, да будетъ ли развязка?

КНЯЗЬ.

Узнать нельзя ль, кто вы?

МАСКА.

Изъ дальнихъ странъ
Пріѣзжій... Вамъ знакома Уналаска?

КНЯЗЬ.

Пусть такъ, на этотъ разъ;
Тамъ, вѣрно, принято у васъ
Подсматривать, подслушивать стараться,
И не въ свои дѣла мѣшаться!
Но это здѣсь, мой милый другъ,
Не такъ свободно сходитъ съ рукъ!

МАСКА.

Угрозы!... и еще какія!...
Гостепріимства нѣтъ въ Россіи!...

КНЯЗЬ (увидавъ Арбенина).

Теперь не время... но...

(Уходитъ)

ЯВЛЕНІЕ IX.

КАЗАРИНЪ (снимаетъ маску и хохочетъ).

АРБЕНИНЪ (подходитъ).

Что Звѣздичъ такъ взбѣшонъ?...
Ужъ вѣрно зацѣпилъ его ты эпиграммой.

КАЗАРИНЪ.

Нѣтъ, сердится за то, что видѣлъ я, какъ онъ
Любезничалъ съ одною дамой!

АРБЕНИНЪ.

Съ кѣмъ?... Съ Олинькой?

КАЗАРИНЪ.

Быть можетъ... не совсѣмъ.

АРБЕНИНЪ.

Ты для друзей и слѣпъ, и нѣмъ,
А помнится глаза-то были зорки...
Бывало, тотчасъ различатъ
Хоть за версту пятерку отъ шестерки:
Подобный глазъ для мужа кладъ!
Вотъ я такъ ничего не вижу и не знаю,
Женѣ свободу полную даю,
Мечтаю, что любимъ, о вѣрности мечтаю,
Лишь потому, что вѣренъ и люблю.

КАЗАРИНЪ.

Мечтай, мечтай, судьба твоя завидна!
Безпечность рѣдкая въ такихъ, какъ ты, мужьяхъ.

АРБЕНИНЪ.

Ты правъ, я не молодъ.

КАЗАРИНЪ.

И опытенъ... Обидно
Съ такимъ умомъ...

АРБЕНИНЪ.

Ну, что же?

КАЗАРИНЪ.

Ахъ!
Не спрашивай.

АРБЕНИНЪ.

Ужъ вѣрно подозрѣнье...

КАЗАРИНЪ.

Нѣтъ, я тебя оставлю въ заблужденьи,
Тебя, мой старый, первый другъ.
Вступилъ ты въ новый, лучшій кругъ
И знанье сердца, знанье свѣта
Ты презрѣлъ для любви законной и святой,
И лаской женщины душа твоя согрѣта.
Я не дивлюся, Богъ съ тобой!
Вѣдь это иногда бываетъ:
Кто въ дѣтствѣ разсуждалъ, тотъ въ старости мечтаетъ;
Но я все тотъ, каковъ и былъ...

АРБЕНИНЪ.

Чужаго счастія отчаянный зоилъ...
Ну, что же! продолжай! вѣдь цѣлый часъ хлопочешь;
Прищурься, ха-ха-ха! поохай, пожалѣй.

КАЗАРИНЪ.

Такъ... если самъ ты этого ужъ хочешь...

АРБЕНИНЪ.

Ужъ эти мнѣ разнощики вѣстей!

КАЗАРИНЪ.

Я радъ, что ты какъ прежде хладнокровенъ,
И стану говорить смѣлѣй:
Союзъ вашъ нѣсколько неровенъ,
И начинаю думать я,

Что ты не вовсе безъ разсчета...
Пожалуй, есть мужья—
Имъ подражать кому охота:
Ревнуютъ, бѣсятся, шумятъ.
Провелъ меня ты славно, братъ!
И надо бъ отомстить, да штука мастерская,
И я мирюсь, искусство уважая!
Великодушіемъ прямымъ
Князька ты одурачилъ славно;
Началомъ пользуясь такимъ,
Ты оберешь его исправно.
Пускай женѣ въ отсутствіи твоемъ,
Онъ платитъ нѣжные визиты,
Тебѣ же платится за карточнымъ столомъ,
И дѣло слажено—вы квиты!

АРБЕНИНЪ (въ негодованіи).

Казаринъ!

КАЗАРИНЪ.

Видѣлъ я сейчасъ,
Какъ нѣжничалъ, шепталъ онъ съ нею...
Я издали смотрѣлъ и утверждать не смѣю —
Трельяжъ ихъ закрывалъ отъ любопытныхъ глазъ —
Два вздоха слышалъ я, да звуки поцѣлуя,
И больше ничего, поклясться въ томъ могу я.

АРБЕНИНЪ.

Ты видѣлъ, слышалъ, помни, что сказалъ!
Я доберусь до истины! Терпѣнья
Достанетъ у меня, но если ты солгалъ,
Казаринъ, о! тогда не жди спасенья,
Ты въ десять лѣтъ успѣлъ меня узнать.
Я въ жизни разъ лишь былъ обманутъ — разъ—не болѣ,
И отомстилъ, и отомщу опять!
И страшно отомстить—въ моей, ты знаешь, волѣ.

КАЗАРИНЪ.

Мой бѣдный другъ, все тотъ же онъ,
Все тотъ же чортъ, когда взбѣшонъ!
Дни, объ которыхъ я тоскую,
Невольно ты напомнилъ мнѣ теперь,
Жизнь безпокойную, кипучую, лихую...
Тогда ты былъ не человѣкъ, а звѣрь.
(Смѣясь уходитъ).

АРБЕНИНЪ.

О, кто мнѣ возвратитъ всѣ буйныя надежды,
Васъ нестерпимые, но сладостные дни?
За васъ отдамъ я счастіе невѣжды,
Безпечность и покой—не для меня они!
Мнѣ ль быть супругомъ и отцомъ семейства?
Мнѣ ль, мнѣ ль, который испыталъ
Всѣ ужасы и сладости злодѣйства
И съ нимъ лицомъ къ лицу ни разу не дрожалъ.
(Погружается въ задумчивость; музыка играетъ и онъ садится).
Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно
И глупо юность погубилъ,
Любимъ былъ часто нѣжно, страстно,
И ни одну изъ нихъ я не любилъ.
Романа не начавъ, я зналъ уже развязку,
И для другихъ сердецъ твердилъ
Слова любви, какъ няня сказку.
И скучно стало мнѣ и тяжко жить,
И кто-то подалъ мнѣ тогда совѣтъ лукавой
Жениться... чтобъ имѣть святое право
Ужъ ровно никого на свѣтѣ не любить.
И я нашелъ жену — покорное созданье,
Она была прекрасна и нѣжна;
Какъ агнецъ Божій на закланье,
Мной къ алтарю она приведена;
И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся!

Я въ душу мертвую свою
Взглянулъ—и увидалъ, что я ее люблю,
И стыдно молвить... ужаснулся!
И снова ревность, бѣшенство, любовь,
Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ;
Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море!
Вернусь ли къ пристани я вновь!

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

АРБЕНИНЪ (одинъ).

Ночь, проведенная безъ сна,
Страхъ видѣть истину—и милліонъ сомнѣній!
Съ утра по улицамъ бродилъ, подобно тѣни,
И не усталъ—и въ сердцѣ мысль одна!
Одинъ лишь злой намекъ обманчивый, быть можетъ,
Разбилъ въ куски спокойствіе мое!
И все воскресло вновь—и все меня тревожитъ:
Былое, будущность, обманъ и правда—все!...
Но я рѣшился, буду твердъ... узнаю прежде,
Увѣрюсь... доказательства... да!... да!...
Мнѣ доказательствъ надо... и тогда...
Тогда... конецъ любви... конецъ надеждѣ!...

ЯВЛЕНІЕ II.

АРБЕНИНЪ (входитъ, НИНА).

А, здравствуй, Нина!... Наконецъ.

НИНА.

Недавно я проснулась.

АРБЕНИНЪ.

Поздно...
Я жду тебя ужъ цѣлый часъ...

*

НИНА.

Серьезно?
Ахъ какъ ты милъ!...

АРБЕНИНЪ.

А думаешь: глупецъ...

НИНА.

Вотъ ты опять не въ духѣ, смотришь грозно
И на тебя ни чѣмъ не угодишь.

АРБЕНИНЪ.

Скучаю я съ тобою розно.

НИНА.

А встрѣтимся—ворчишь.
(Ласкаясь) Скажи мнѣ просто: «Нина,
Кинь свѣтъ, я буду жить съ тобой
И для тебя. Зачѣмъ другой мужчина,
Какой нибудь бездушный и пустой,
Бульварный франтъ, затянутый въ корсетѣ,
Съ утра до вечера тебя встрѣчаетъ въ свѣтѣ;
А я лишь часъ какой на дню
Могу сказать тебѣ два слова!»
Скажи мнѣ это—я готова:
Въ деревнѣ молодость свою я схороню.
Но что меня умчало
Воображенье... и къ чему?
Положимъ, ты меня и любишь, но такъ мало,
Что даже не ревнуешь ни къ кому!

АРБЕНИНЪ.

Какъ быть, я жить привыкъ безпечно,
А ревновать смѣшно.

НИНА.

Конечно.
Ты столько видѣлъ, испыталъ,

И ревность и любовь тебѣ не новы...
Ты отдыхаешь...

АРБЕНИНЪ (въ сторону. Въ продолженіе этого монолога онъ по временамъ останавливается и наблюдаетъ Нину).

О, не долго отдыхалъ.
(Ей) Послушай, насъ одной судьбы оковы
Связали навсегда — ошибкой, можетъ быть,
Не мнѣ и не тебѣ судить!...
Ты молода лѣтами и душою;
Въ огромной книгѣ жизни ты прочла
Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою
Открыто море счастія и зла.
Иди любой дорогой:
Надѣйся и мечтай—вдали надежды много,
А въ прошломъ жизнь твоя бѣла.
Ни сердца своего, ни моего не зная,
Ты отдалася мнѣ и любишь—вѣрю я—
И безотчетно чувствами играя,
И рѣзвясь какъ дитя.
Но я люблю иначе: я все видѣлъ,
Все перечувствовалъ, все понялъ, все узналъ;
Любилъ я часто, чаще ненавидѣлъ,
И болѣе всего—страдалъ.
Сначала все любилъ, потомъ все презиралъ я,
То самъ себя не понималъ я,
То міръ меня не понималъ.
На жизни я своей узналъ печать проклятья,
И холодно закрылъ объятья
Для чувствъ и счастія земли;
Такъ годы многіе прошли!
О дняхъ, отравленныхъ волненьемъ
Порочной юности моей,

Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ
Я мыслю на груди твоей!
Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ, несчастный;
Но нынѣче черствая кора
Съ моей души слетѣла—міръ прекрасный
Моимъ глазамъ открылся не напрасно,
И я воскресъ для жизни и добра.
Но иногда опять какой-то духъ враждебный
Меня уноситъ въ бурю прежнихъ дней,
Стираетъ съ памяти моей
Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой волшебный;
Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ думъ,
Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ;
Боюся осквернить тебя прикосновеньемъ;
Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни стонъ,
Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ.
Тогда ты говоришь: меня не любитъ онъ!

(Она ласково смотритъ на него и проводитъ рукой по волосамъ).

НИНА.

Тебя понять, ей-Богу, трудно;
Чего ты требуешь, могу ль я отгадать.

АРБЕНИНЪ.

Да! требовать любви конечно безразсудно,
И я не требую—мнѣ поздно покупать
Лукавый поцѣлуй признаньями и лестью,
Моя душа съ твоей душой
Не встрѣтились... что дѣлать—Богъ съ тобой...
Позволь мнѣ дорожить по крайней мѣрѣ честью!
Честь, имя—вотъ чего я требую отъ васъ.
Вы ихъ толпѣ на поруганье дали!
Я внятно говорю... вы все не понимали,
Поймите же меня, хотя на этотъ разъ.

НИНА.

Мнѣ отвѣчать вамъ было бъ стыдно.

АРБЕНИНЪ.

Стыдъ, такъ... пора!... его давно не видно...
Зачѣмъ явился онъ теперь!
Гоните прочь его скорѣй, въ окно иль въ дверь,
Откуда входитъ къ вамъ любезный,
Чувствительный, услужливый князекъ.

НИНА.

Такъ вотъ что? Это мнѣ урокъ.

АРБЕНИНЪ.

И вѣрно безполезный.

НИНА.

Не знаю, кто оклеветалъ меня!
Я это заслужила:
Смѣялася, рѣзвилася, шутила; (съ ироніей):
Нѣтъ, съ нынѣшняго дня
Не будетъ смѣть ко мнѣ приблизиться мужчина
На разстояньи въ три аршина!
Рѣшусь не говорить, рѣшуся не смотрѣть,
Не танцовать, за картами сидѣть
Какъ кукла, какъ статуя,
Тогда на васъ конечно угожу я.
Тогда вы скажете—вотъ вѣрная жена!
Какъ зло на всѣхъ глядитъ она! (смѣясь):
Смѣшно, смѣшно, ей-Богу,
Не стыдно ли, не грѣхъ,
Изъ пустяковъ поднять тревогу?

АРБЕНИНЪ.

Дай Богъ, чтобъ это былъ не твой послѣдній смѣхъ.

НИНА.

О, если ваши продолжатся бредни,
То это вѣрно не послѣдній.

АРБЕНИНЪ.

Увидитъ.

НИНА.

Я тебя люблю,
Мнѣ жаль тебя, Евгеній.

АРБЕНИНЪ.

Ну, по чести;
Признанье въ пору...

НИНА.

Выслушай, молю;
Я оправдаюсь.

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ!

НИНА.

Чего жъ ты хочешь?

АРБЕНИНЪ.

Мести!

НИНА.

Кому жъ ты хочешь мстить?

АРБЕНИНЪ.

О, часъ придетъ,
И, право, мнѣ вы надивитесь!

НИНА.

Не мнѣ ль?

АРБЕНИНЪ.

Геройство къ вамъ не йдетъ.

НИНА.

Кому жъ?

АРБЕНИНЪ.

Вы за кого бонтесь?

НИНА.

О, это нестерпимо!... Что жъ онъ самъ
Не явится сюда, мой тайный обвинитель?
Пусть повторитъ при мнѣ, пускай покажетъ вамъ
Всѣ доказательства, вы этого хотите.
А если онъ не явится? Какой
Найдете вы предлогъ, чтобъ оправдаться.
(Плача) Но, право, вы слезы не стоите одной
И мнѣ приличнѣе смѣяться.

АРБЕНИНЪ.

Такъ суждено мнѣ, можетъ быть,
Весельемъ оскорблять, страданіемъ смѣшить.
И что за диво? У другихъ на свѣтѣ
Надеждъ и цѣлей милліонъ.
У одного богатство есть въ предметѣ,
Другой въ науки погруженъ.
Тотъ добивается чиновъ, крестовъ и славы,
Тотъ любитъ общество, забавы,
Тотъ странствуетъ, тому игра волнуетъ кровь.
Я странствовалъ, игралъ, былъ вѣтренъ и трудился,
Постигъ друзей, коварную любовь,
Чиновъ я не хотѣлъ, а славы не добился;
Богатъ и безъ гроша—былъ скукою томимъ,
Вездѣ я видѣлъ зло и, гордый, передъ нимъ
Нигдѣ не преклонился.
Все что осталось мнѣ отъ жизни, это ты,
Созданье слабое, но ангелъ красоты:
Твоя любовь, улыбка, взоръ, дыханье—
Я человѣкъ, пока они мои:
Безъ нихъ—нѣтъ у меня ни счастья, ни души,
Ни чувства, ни существованья!
Но если я обманутъ... если я
Обманутъ, если на груди моей змѣя
Такъ много дней была согрѣта—если точно

Я правду отгадалъ... и, лаской усыпленъ,
Съ другимъ осмѣянъ былъ заочно?
Послушай, Нина... я рожденъ
Съ душой кипучею, какъ лава:
Покуда не растопится, тверда
Она какъ камень... но плоха забава
Съ ея потокомъ встрѣтиться! тогда,
Тогда не ожидай прощенья!
Закона я на месть свою не призову,
Но самъ безъ слезъ и сожалѣнья
Двѣ наши жизни разорву!
(Хочетъ взять ее за руку, она отскакиваетъ въ сторону).

НИНА.

Не подходи... о, какъ ты страшенъ!

АРБЕНИНЪ.

Неужели?
Я страшенъ! нѣтъ! ты шутишь, я смѣшонъ;
Да, ты своей достигла цѣли;
Зачѣмъ же не пришелъ полюбоваться онъ
Моимъ отчаяньемъ!.. теперь бы очень кстати
Вчерашній разговоръ вамъ повторить живой.
Чай, въ промежуткахъ ласкъ, объятій,
Смѣялись вы жестоко надо мной?

НИНА.

Вчера!...

АРБЕНИНЪ.

Вчера на балѣ.

НИНА (въ сторону).

Онъ все знаетъ!
(Ему). Такъ вотъ причина! А ты видѣлъ самъ?
Ты видѣлъ?... Нѣтъ!... Кто жъ обвиняетъ
Меня?... Никто... ты слѣдуешь мечтамъ,
Тебѣ спокойствіе и счастье надоѣло!

Прекрасно! продолжай же смѣло!..
Ты хочешь правды? Вѣрь или не вѣрь,
Тебѣ я все скажу теперь.
Князь любитъ Олиньку... давно ли—я не знаю—
И безъ тебя онъ для нея одной
Ѣзжалъ сюда... онъ не бывалъ со мной,
Онъ избѣгалъ меня... вчера, я понимаю!...
Вчера онъ съ ней, отъ бала удалясь,
Былъ здѣсь... и на меня подумать!... Этотъ князь
Хвастунъ мальчишка... да, я ихъ застала
Вчера; вдругъ Олинька, краснѣя, убѣжала.
И я за это, я терплю
Угрозы ревности, упреки подозрѣнья!...

АРБЕНИНЪ.

Я вѣрю... и сейчасъ за Олинькой пошлю.

НИНА.

Избавьте хоть ее отъ пытокъ и мученья.
Чего еще вамъ надо?

АРБЕНИНЪ.

Убѣжденья!

НИНА.

Но не теперь, въ другой хоть разъ...

АРБЕНИНЪ (звонитъ; лакей входитъ).

Поди и позови мнѣ Олиньку сейчасъ.

НИНА.

Евгеній. я прошу, не говори съ ней строго,
Она такъ молода... вина ея скорѣй
Простая вѣтреность...

ЯВЛЕНІЕ III.

ВХОДИТЪ ОЛИНЬКА.

НИНА (подбѣгая къ ней, тихо говоритъ).

Не бойся, будь смѣлѣй.

ОЛИНЬКА.

Что вамъ угодно?

АРБЕНИНЪ.

Много! очень много!...

ОЛИНЬКА.

Что сдѣлалось?...

НИНА (ей тихо).

Не погуби меня! (упадая въ кресло).

Молчи, молчи!..

ОЛИНЬКА.

Готова слушать я...

АРБЕНИНЪ.

Скажи мнѣ, Олинька... на сердце руку смѣло...
Всю правду, какъ предъ Богомъ, все скажи.

ОЛИНЬКА.

Я не охотница, вы знаете, до лжи.

АРБЕНИНЪ.

О, да! я знаю, ты всегда умѣла
Открыто правду говорить,
Собою жертвовать и искренно любить;
Ты чувствовать умѣла одолженья,
Не замѣчать, не помнить зла.
Какъ ангелъ-примиритель, ты жила
Въ семействѣ нашемъ... Но ужасныя мученья
Столпились къ сердцу моему,

И я теперь не вѣрю ничему.
Клянись... но можетъ быть моленье
Отвергнешь ты мое?
И что мудренаго! кому моей судьбою
Заняться! я суровъ, я холоденъ душою...
Одинъ лишь разъ, одинъ пожертвуй ты собою
Не для меня, нѣтъ—для нее...

ОЛИНЬКА.

О, мнѣ конечно ничего не стоитъ
Собой пожертвовать для васъ.
Вы точно знаете, васъ это успокоитъ?
Извольте... гдѣ? когда? сейчасъ?...

АРБЕНИНЪ.

Вотъ, видишь, это дѣло важно: въ свѣтѣ
Смѣюсь надъ этимъ самъ,
А въ сердцѣ цѣлый адъ... такъ знай, въ твоемъ отвѣтѣ
Жизнь или смерть обоимъ намъ.
Я былъ въ отлучкѣ долго... слухъ промчался,
Что Звѣздичъ въ Нину былъ влюбленъ.
Онъ каждый день сюда являлся,
Но для кого? Свѣтъ часто ошибался:
Его сужденья не законъ.
Вчера здѣсь слышали признанья, объясненья,
Вы обѣ были тутъ—съ которой же изъ васъ?
Я долженъ знать сейчасъ...
О, если не съ тобой—то нѣтъ ему спасенья!

ОЛИНЬКА (въ сторону).

Теперь я понимаю... онъ убьетъ,
Убьетъ его...

АРБЕНИНЪ.

Ты видишь, рѣчь идетъ
О жизни, счастіи и чести.

Я истины хочу: она сказала мнѣ,
Что съ княземъ здѣсь вы оставались вмѣстѣ?

ОЛИНЬКА.

Она сказала? съ нимъ? наединѣ?

АРБЕНИНЪ.

Она! а ты молчишь?

ОЛИНЬКА.

Что дѣлать, Боже!

АРБЕНИНЪ.

Я вашу связь не осуждаю... что же...
Но если это такъ, то домъ оставить мой
Должна ты завтра же: не ссорюсь я съ тобой,
Но честь жены всего дороже мужу!
Ошибку свѣта я предъ свѣтомъ обнаружу.

ОЛИНЬКА.

А я? Куда я дѣнусь.. Ни родныхъ,
Ни друга на землѣ... чѣмъ жить... въ презрѣньи
У всѣхъ... въ мои лѣта... за что? О, въ этотъ мигъ
(Нинѣ) Отъ васъ я требую, да, требую спасенья,
Защиты—вы должны, вы можете однѣ...

АРБЕНИНЪ.

Она не признается. Для терпѣнья
Граница есть...

НИНА.

Но что же дѣлать мнѣ?

АРБЕНИНЪ.

Подумай, Олинька! одно лишь средство
Окончить все: скажи мнѣ—да иль нѣтъ;
Скорѣй, скорѣй, какой нибудь отвѣтъ!
Но также вспомни время дѣтства:
Заботы, ласки матери ее

Тебя не покидали на мгновенье;
Чужая ей, ты съ ней дѣлила все...
Есть сердце у тебя? Смущенье,
Страхъ, обморокъ!... ну, право, я не звѣрь;
Прошу лишь слова правды... Не хотите...
Ошибся я—не надобно, идите.

ОЛИНЬКА (черезъ силу).

Минуту погодите!..
Да... я всему виной... довольны ль вы теперь?

АРБЕНИНЪ.

О, наконецъ!
(Послѣ молчанія, женѣ):
Здѣсь на колѣна
Я упадаю предъ тобой;
Прости, прости меня... глупецъ я злой
И недостойный! можетъ ли измѣна
Такую душу омрачить!
Я чувствую: я недостоинъ жить.
Здѣсь, здѣсь клянусь не знать успокоенья,
Пока коварный клеветникъ,
Какъ я передъ тобой теперь, у ногъ моихъ
Не будетъ умолять о жизни и прощеньи.
На Божій судъ пойду я съ нимъ...
Скажи мнѣ: я прощенъ? Я вновь тобой любимъ?

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

КАЗАРИНЪ.

Я утверждалъ всегда,
Чего судьба упрямая захочетъ,
Пусть цѣлый міръ хлопочетъ,
А сбудется навѣрно—да!

Князь Звѣздичъ, напримѣръ, была ему острастка,
А нынѣче самъ ко мнѣ на вечеръ назвался.
Играть не станетъ онъ, посмотримъ, только сказка—
Ужъ быть тому, за что я разъ взялся!
Вотъ кажется онъ самъ... Какое нетерпѣнье:
Явился прежде всѣхъ. (Отворяя дверь). А, князь, мое почтенье.

ЯВЛЕНІЕ II.

КАЗАРИНЪ И АРБЕНИНЪ.

КАЗАРИНЪ (оправившись).

Ну, братъ, не ждалъ я, виноватъ;
Я, впрочемъ, очень радъ.

АРБЕНИНЪ.

Не торопись заранѣ веселиться!

КАЗАРИНЪ.

Мой бѣдный другъ, какъ пріунылъ!
Да что жъ могло съ тобой случиться?
Ахъ, помню! видишь ли, я правду говорилъ!
Изъ благодарности, однако, умоляю,
Старинную припомня связь,
Умѣрь себя, ко мнѣ сегодня будетъ князь.
Хоть нынѣче помолчи, его я обыграю;
А завтра дѣлай съ нимъ, чего душа
Попроситъ...

АРБЕНИНЪ.

Мысль отмѣнно хороша;
Я князю не скажу ни слова.

КАЗАРИНЪ.

Вотъ сердце доброе! да, въ свѣтѣ нѣтъ такого!

АРБЕНИНЪ.

Тебѣ же я скажу всю правду, какъ привыкъ:
Ты, милый мой, презрѣнный клеветникъ!

Клеймомъ стыда я васъ, сударь отмѣчу,
Чтобъ каждый почиталъ обидой съ вами встрѣчу.

КАЗАРИНЪ.

Ахъ, Боже мой... меня, за что жъ меня?
Вотъ хлопочи, совѣтуй другу?
Зло за добро, брань за услугу!
Что? Этакъ дѣлаютъ друзья?...

АРБЕНИНЪ.

Да, да! я помню, время было,
Когда съ тобой однимъ путемъ
Стремленіе страстей насъ уносило;
Я нуженъ былъ тебѣ, искусствомъ и умомъ
Я защищалъ тебя въ опасныя мгновенья,
Съ тобой добычу я дѣлилъ—
И только! вотъ твое о дружбѣ мнѣнье,
Иначе въ жизни ты ни разу не любилъ.
Когда всю ночь я въ шумномъ кругѣ
Сидѣлъ и хохоталъ съ истерзанной душой,
Искалъ ли я въ тебѣ, какъ въ другѣ,
Надежды, жалости?... Бывалъ ли я съ тобой
Таковъ, какъ иногда бываю
Одинъ съ моимъ Творцомъ, когда подъ гнетомъ бѣдъ
За преступленья юныхъ лѣтъ
Я, горько плача, умоляю?
Нѣтъ, нѣтъ!
Ты мнѣ завидуешь, тебя жъ я презираю!

КАЗАРИНЪ.

Пусть такъ! возьми назадъ, возьми
Ты дружбу глупую — все кончено межъ нами;
Я никогда не дорожилъ людьми,
Тѣмъ болѣ гордецами!
А чѣмъ же лучше ты меня?
Тѣмъ, что бѣснуешься, кричишь ты безъ разбору,

А я, разсудокъ свой храня,
Не много говорю, да въ пору!...
Чѣмъ виноватъ я, что жена
Тебѣ немного невѣрна...
Съ такою совѣстью, измученной и грозной,
Тебѣ бы въ монастырь, а ужъ влюбляться поздно!
А хочешь ты купить прощеніе грѣховъ,
Молчи, терпи...

АРБЕНИНЪ.

О нѣтъ, я не таковъ!...
Я не стерплю стыда и оскорбленья;
При первомъ подозрѣньи,
Тебѣ я это ужъ сказалъ,
И все жъ ты на нее безстыдно клеветалъ,
Но я открылъ глаза... и будешь ты наказанъ,
Да, совѣстью моей не такъ еще я связанъ,
Какъ ты, быть можетъ, полагалъ.

КАЗАРИНЪ.

Твоихъ угрозъ я не пугаюсь, право.

АРБЕНИНЪ.

Посмотримъ! помнишь ли, совѣтникъ мой лукавый,
Второе сентября, семь лѣтъ тому назадъ...

КАЗАРИНЪ [смущаясь].

Что жъ, помню.

АРБЕНИНЪ.

Очень радъ.
Я стану говорить короче:
Дольчини, ты и Штраль, товарищъ твой,
Играли вы до поздней ночи;
Я рано убрался домой;
Когда я уходилъ, во взорахъ итальянца
Блистала радость; на его щекахъ

Безжизненныхъ игралъ огонь румянца;
Колода картъ тряслась въ его рукахъ
И золото предъ нимъ катилось; вы же оба
Разсѣлись тѣнями, возставшими изъ гроба;
Ты это помнишь ли?...

КАЗАРИНЪ.

Ну, что жъ?

АРБЕНИНЪ.

Сейчасъ
Я кончу мой разсказъ.
Предъ вашимъ домомъ, утромъ рано,
Дольчини былъ найдёнъ на мостовой
Въ крови, съ разбитой головой.
Вы всѣхъ увѣрили, что пьяный
Онъ выскочилъ въ окно,
Такъ это и осталось! Но
Волшебной сказкою меня не обморочишь,
И кѣмъ онъ былъ убитъ, скажу я, если хочешь.

КАЗАРИНЪ.

Ты доказать не можешь ничего.

АРБЕНИНЪ.

Конечно!... вотъ письмо, кто написалъ его?

КАЗАРИНЪ [упадая на стулъ].

Злодѣй! вѣдь я погибъ...

АРБЕНИНЪ.

Твой другъ мнѣ проигрался
И отдалъ свой бумажникъ. Въ немъ
Нашелъ я этотъ кладъ—кто въ дуракахъ остался?
Ты мнѣ хотѣлъ вредить... за зло плачу я зломъ.

КАЗАРИНЪ.

Помилуй, сжалься, я твой рабъ отнынѣ!
Конечно, что ужъ дѣлать—согрѣшилъ,
Но я клянусь...

*

АРБЕНИНЪ.

Какой святыней?

КАЗАРИНЪ (плача).

Я ужъ раскаялся.

АРБЕНИНЪ.

А, плачешь, крокодилъ!

КАЗАРИНЪ (вскакиваетъ).

Въ сторону) Одно осталось средство для спасенья.
(Громко). Постой, смотри, вотъ шкафъ и отъ него ключи,
Тамъ тысячъ пятьдесятъ, съ условіемъ—молчи,
Тебѣ все, все мое имѣнье!

АРБЕНИНЪ.

Ха-ха-ха-ха! смѣшное предложенье!...

КАЗАРИНЪ.

Не хочешь?

АРБЕНИНЪ.

Я богатъ.

КАЗАРИНЪ.

Онъ правъ! но если такъ,
Я остаюсь при первомъ мнѣньи.

АРБЕНИНЪ.

Что? что?

КАЗАРИНЪ.

Я, просто, былъ дуракъ,
Что испугался — докажи сначала,
Что я солгалъ... да — докажи сперва,
Что мнѣ вредить имѣешь ты права
И что жена тебѣ не измѣняла.
Ты мужъ какихъ на свѣтѣ мало,
Всѣмъ вѣрилъ! Прежде мнѣ,

Потомъ проказницѣ женѣ;
Съ тобой, я вижу, надо осторожно...

АРБЕНИНЪ.

Изволь, тебя утѣшить можно!
Ты знаешь Олиньку—она,
Бѣдняжка, въ князя влюблена;
Онъ для нея ѣзжалъ ко мнѣ—межъ ними
Что было, я не знаю, только все
Упало на жену; намеками своими
Ты очернилъ ее!
Но я хотѣлъ знать правду... и не много
Трудился—Олинька призналась... строго
Я поступилъ — но требуетъ нужда:
Она мой домъ оставить навсегда.

КАЗАРИНЪ.

Сама призналась?

АРБЕНИНЪ.

Да!

КАЗАРИНЪ.

Заставили признаться?

АРБЕНИНЪ.

Сама!

КАЗАРИНЪ.

Не можетъ быть! уговорить легко!

АРБЕНИНЪ.

Мнѣ любопытно знать, какъ можетъ далеко
Такая дерзость простираться.

КАЗАРИНЪ.

Я милости прошу—минутъ чрезъ пять
Князь будетъ здѣсь—дай слово не мѣшать.

АРБЕНИНЪ.

Въ чемъ?

КАЗАРИНЪ.

Ради Бога?

АРБЕНИНЪ.

Про жену ни слова!

КАЗАРИНЪ.

Пусть, ни-гугу!

АРБЕНИНЪ.

Посмотримъ, это ново!
Послѣднее то̀ будетъ шельмовство,
Пѣснь лебедя... а тамъ къ разсчету.

КАЗАРИНЪ.

Заплатишь, милый, за охоту
Знать верхъ искусства моего.
(Ходитъ по комнатѣ).
О, скоро будетъ... кажется идетъ...
Нѣтъ, если онъ не будетъ—право
Злой духъ меня толкнетъ
Съ нимъ заключить разсчетъ кровавый.

ЯВЛЕНІЕ III.

ТѢЖЕ. ВХОДИТЪ КНЯЗЬ.

КАЗАРИНЪ (тихо).

Насилу! Кажется, еще на этотъ разъ
Судьба меня спасти взялась. (Князю).
Князь, поздно, поздно! что? откуда?

КНЯЗЬ.

Я былъ въ театрѣ.

КАЗАРИНЪ.

Что даютъ?

КНЯЗЬ.

Балетъ.

КАЗАРИНЪ.

А я про васъ здѣсь слышалъ чудо
И вѣрить не хотѣлъ...

КНЯЗЬ.

Конечно, не секретъ?

КАЗАРИНЪ.

Сказать бы радъ—да мудрено рѣшиться:
Не вздумали бы разсердиться.

КНЯЗЬ.

За правду не сержусь, а если ложь—
На васъ сердиться мнѣ за что жъ?

КАЗАРИНЪ.

Люблю за это нашу молодежь!
Разсудитъ прежде, послѣ скажетъ.
Бывало, намъ ничто языкъ не свяжетъ:
Врутъ, хоть сердись, хоть не сердись,
За то и доврались.

КНЯЗЬ.

Да что жъ вы про меня узнали?

КАЗАРИНЪ.

Да вотъ что! бѣдная... ее вы наказали
За жертвы, за любовь... люби васъ шалуновъ,
Потомъ терпи. Кто жъ виноватъ — она ли?
Анъ нѣтъ! Чай, сколько просьбъ и словъ,
Угрозъ и ласкъ, и слезъ, и обѣщаній
Вы расточили передъ ней,
И все за чѣмъ?—изъ сущей дряни:
Повеселиться пять, шесть дней!
Прекрасно, князь, прекрасно!
Скажите-ка: она васъ любитъ страстно?
Вы долго волочились?... О, злодѣй!

КНЯЗЬ.

Позвольте хоть узнать, о комъ вы говорите?

КАЗАРИНЪ.

Не знаетъ, о невинность! посмотрите,
Какой серьезный видъ и недовольный взоръ;
Да я не зналъ, что вы такой актеръ!
А для кого, скажите-ка по чести,
Ѣзжали вы къ нему такъ часто въ домъ?
А кто съ утра ждалъ подъ окномъ,
Какъ вы проѣдете... ужъ я на вашемъ мѣстѣ,
Теперь, когда открылося, когда
Она безъ крова, жертвою стыда,
Осуждена искать дневнаго пропитанья,
Ужъ я женился бы... хотя бъ изъ состраданья.

КНЯЗЬ.

Да, ради Бога, кто жъ она? И въ чемъ
Я виноватъ?

КАЗАРИНЪ.

Нашли же вы на комъ,
На компаньонкѣ пробовать искусство,
И трудно ль обмануть простое чувство
И погубить невинное дитя:
За это я возьмусь шутя!

КНЯЗЬ.

Послушайте, зашли вы дальше шутки.

КАЗАРИНЪ.

Да, я и не шучу... я правду вамъ сказалъ;
Арбенинъ Олиньку прогналъ...
Что жъ дѣлать, у него свои есть предразсудки.

КНЯЗЬ.

Помилуйте, да вы сошли съ ума,
Кто такъ наклеветалъ безбожно?

КАЗАРИНЪ.

Она сама призналась.

КНЯЗЬ.

Какъ?

КАЗАРИНЪ.

Она сама.

КНЯЗЬ.

Не можетъ быть.

КАЗАРИНЪ.

Случилось—такъ возможно.

КНЯЗЬ.

Не можетъ быть. Ея признанье ложно;
Я не хочу, чтобъ за меня она,
Она страдала. Я помочь не въ силахъ право...
Я не люблю ее... жениться — мысль смѣшна.

АРБЕНИНЪ.

И то, за чѣмъ?... Ужъ вы покрылись славой.

КНЯЗЬ.

Съ чего вы вздумали, что я женюсь на ней?

АРБЕНИНЪ.

Ну, князь, я думалъ вы честнѣй...

КНЯЗЬ.

Вы это думали?... А! это оскорбленье!
Останьтесь же при первомъ мнѣньи,
И прежде чѣмъ рѣшить свинецъ,
Я докажу, что я не трусъ и не подлецъ.
Хотите ль правду знать?

АРБЕНИНЪ.

Посмотримъ... Что же?

КНЯЗЬ.

Вы не раскаятесь?

АРБЕНИНЪ.

У васъ спрошу я тоже.

КНЯЗЬ.

Хотите?

АРБЕНИНЪ.

Да!

КНЯЗЬ.

Скажите лучше: нѣтъ!

АРБЕНИНЪ.

Хочу.

КНЯЗЬ (подавая браслетъ).

Смотрите: чей браслетъ?
Узнали ль?

АРБЕНИНЪ.

Да — узналъ!

КНЯЗЬ.

Я думаю узнали.
Теперь разскаялись?...

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ! вы его украли!...
А! вы подумали, что можете со мной
Шутить, какъ съ мальчикомъ... глущы вы оба, дѣти...
Вы видите, какъ ваши сѣти
Я разорвалъ одной рукой...
А, князь вы сами захотѣли
Себя достойно наказать!
Какъ вы рѣшились, какъ вы смѣли
Въ глаза все это мнѣ сказать!
Скорѣе на колѣни, на колѣни!...
Нѣтъ!... очень радъ! тѣмъ меньше затрудненій!

Вамъ жизнь наскучила—не странно... Жизнь глупа,
Жизнь площаднаго волокиты...
Утѣшьтесь же теперь, вы будете убиты;
Умрите жъ съ именемъ и смертью подлеца.

КНЯЗЬ.

Скорѣе—часъ и мѣсто!

КАЗАРИНЪ.

Ну, насилу
Избавляюсь отъ него: не въ крѣпость такъ въ могилу.

АРБЕНИНЪ.

Я жду васъ завтра къ девяти часамъ
И у себя. (Подходитъ къ Казарину).

КАЗАРИНЪ (смѣясь).

Не спорь со мною.

АРБЕНИНЪ.

Не веселись по пустякамъ,
Твои дѣла сегодня жъ я устрою.
(Уходитъ быстро).

ЯВЛЕНІЕ IV.

КАЗАРИНЪ. (Нѣсколько времени пораженъ, потомъ вскакиваетъ).

Князь, я вашъ секундантъ! угодно?

КНЯЗЬ.

Очень радъ!
(Въ сторону) Я глупо поступилъ, да ужъ нельзя назадъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

КОМНАТА АРБЕНИНА. НИНА СПИТЪ НА КАНАПЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

АРБЕНИНЪ (входя оборачивается въ дверь).

Князь Звѣздичъ скоро долженъ быть. Ко мнѣ.
Его проси. Ступай! какъ ты сюда попала?

СЛУЖАНКА.

Тихонько-съ! барыня сейчасъ започивала;
Ждала васъ цѣлу ночь и бредила во снѣ...
Потомъ чѣмъ-свѣтъ одѣлась, встала,
Изволила придти къ вамъ въ кабинетъ,
Да и уснула здѣсь на креслахъ.

АРБЕНИНЪ.

Я исправить
Хочу вину свою... ты можешь насъ оставить.
(Служанка уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

АРБЕНИНЪ И НИНА.

АРБЕНИНЪ (подходя къ Нинѣ).

Спитъ! точно спитъ! сомнѣнья нѣтъ:
Улыбка по лицу струится
И грудь колышется и смутныя слова
Межъ губъ скользятъ едва-едва!...
Понять не трудно, кто ей снится.
О! эта мысль запала въ грудь мою,
Бѣжитъ за мной и шепчетъ: мщенье, мщенье!
А я, безумный, все еще ловлю
Надежду сладкую и сладкое сомнѣнье:
И кто подумалъ бы и кто смѣлъ ожидать?
Меня.. меня... меня продать

За поцѣлуй глупца—меня, который
Готовъ былъ жизнь за ласку ей отдать!
Мнѣ измѣнить! мнѣ—и такъ скоро!
(Задумывается).
Да... да... я этого хочу
Я вырву у нея признанье
Угрозой, страхомъ!... Я ей отомщу,
Какъ прежде мстилъ—безъ состраданья.
(Молчаніе).
Бывало, я искалъ могучею душой
Заботъ, трудовъ, глубокихъ ощущеній,
Въ страданіяхъ мой пробуждался геній
И весело боролся я съ судьбой,
И былъ я гордъ, и силенъ, и свободенъ
На жизнь глядѣлъ какъ на игрушку я,
И въ злобѣ былъ я благороденъ,
И жалость не смѣшна казалася моя...
Но часъ пришелъ, и я упалъ—ничтожный
Безумецъ, безоруженъ противъ мукъ и зла.
Добро, какъ счастіе, мнѣ стало невозможно
И месть какъ жизнь мнѣ тяжела.

ЯВЛЕНІЕ III.

АРБЕНИНЪ, НИНА И ОЛИНЬКА.

ОЛИНЬКА (входя и увидавъ).

Ахъ, Боже мой!... онъ здѣсь.

АРБЕНИНЪ.

Не разбуди... (Увидавъ узелъ):
Что это значитъ?

ОЛИНЬКА.

Я пришла проститься...

АРБЕНИНЪ.

Къ кому же ты пойдешь?

ОЛИНЬКА.

Къ кому случится...
Прощайте!

АРБЕНИНЪ.

Погоди!
Мнѣ жаль тебя... бѣдняжка, ни роднова,
Ни друга на землѣ...

ОЛИНЬКА.

Что жъ? Я на все готова.

АРБЕНИНЪ.

Легко сказать, презрѣнье, нищета...
Ужасно!

ОЛИНЬКА.

Да, ужасно!...

АРБЕНИНЪ.

Тебѣ упрекомъ будетъ красота,
Придутъ и скажутъ: да, она прекрасна!
Съ подобнымъ личикомъ невинность сохранить
Задача трудная! Къ тому жъ, вѣдь надо жить!...

ОЛИНЬКА.

О, я умру!

АРБЕНИНЪ.

Кто виноватъ, не ты ли?...
Подумай.

ОЛИНЬКА.

Я одна.

АРБЕНИНЪ.

Признайся мнѣ: вы въ заговорѣ были;
Тебя солгать заставила она...
Ты гибнешь. Если нѣтъ—признайся—спасена!
Есть время...

ОЛИНЬКА.

О, не искушайте!

АРБЕНИНЪ.

Я жду послѣдній твой отвѣтъ.

ОЛИНЬКА (уходя).

Прощайте!

АРБЕНИНЪ.

Постой... войди сюда... и черезъ часъ
Я кликну... можетъ быть, и прежде.

ОЛИНЬКА.

Для чего же?

АРБЕНИНЪ.

Узнаешь. (Она входитъ).

ЯВЛЕНІЕ IV.

АРБЕНИНЪ И НИНА.

АРБЕНИНЪ.

Боже! Боже!
Дай твердость мнѣ въ послѣдній разъ.
(Подходя къ Нинѣ).
Проснись... пора...

НИНА.

Ахъ, это ты, Евгеній!
Какой тяжелый сонъ... толпа видѣній
Въ умѣ моемъ еще тѣснится... снилось мнѣ,
Что ты ласкалъ меня такъ страстно;
А говорятъ, что все во снѣ
Наоборотъ—и вѣрить снамъ опасно...
Боюсь, что ждетъ меня бѣда!

АРБЕНИНЪ.

Предчувствіямъ я вѣрю иногда.

НИНА.

Тебя я жду всю ночь—была готова
Послать искать.

АРБЕНИНЪ.

О, рѣдкая жена!

НИНА.

Послушай, милый другъ, я что-то нездорова.

АРБЕНИНЪ (въ сторону).

Судьба мнѣ помогаетъ снова.

НИНА.

Я очень, кажется, больна.

АРБЕНИНЪ.

Мнѣ жаль.

НИНА.

Послушай, я сказать тебѣ должна,
Со мною ты ужасно измѣнился,
Сталъ холоденъ и принужденъ.
И отчего?

АРБЕНИНЪ.

Какъ быть, мнѣ также снился
Зловѣщій сонъ!..

НИНА.

Все грустенъ, все ворчишь—мнѣ въ тягость жизнь такая.

АРБЕНИНЪ.

Ты права! что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая!
Покуда въ сердцѣ быстро льется кровь,
Все въ мірѣ намъ и радость и отрада,
Пройдутъ года желаній и страстей
И все вокругъ темнѣй, темнѣй!
Что жизнь? Давно извѣстная шарада
Для упражненія дѣтей.

Гдѣ первое — рожденье, гдѣ второе —
Ужасный рядъ заботъ и муки тайныхъ ранъ,
Гдѣ смерть — послѣднее... а цѣлое — обманъ.

НИНА.

О, нѣтъ! я жить хочу.

АРБЕНИНЪ.

Пустое!

НИНА.

И умереть боюсь...

АРБЕНИНЪ.

Жизнь—вѣчность, смерть—лишь мигъ

НИНА.

Нельзя ль отъ шутокъ мнѣ твоихъ
Избавиться. Я слушать все готова,
Но не теперь... Евгеній, я молю:
Пошли за докторомъ—я очень нездорова
И голова кружится.

АРБЕНИНЪ.

Не пошлю.

НИНА.

О, ты меня не любишь...

АРБЕНИНЪ.

А за что же
Тебя любить?... за то ль, скажи,
Что былъ обманутъ я? Ты требуешь любви—
Насмѣшка горькая...

НИНА.

О, Боже!

АРБЕНИНЪ.

Тому назадъ лѣтъ десять я вступалъ
Еще на поприще разврата.
Разъ въ ночь одну я все до капли проигралъ;
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,
Но цѣну жизни я не зналъ.
Я былъ въ отчаяньи—ушелъ и яду
Купилъ — и возвратился вновь
Къ игорному столу. Въ груди кипѣла кровь;
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду
Стаканъ, въ другой четверку пикъ.
Послѣдній рубль въ карманѣ дожидался
Съ завѣтнымъ порошкомъ. Рискъ, право, былъ великъ,
Но счастье вынесло и въ часъ я отыгрался!
И этотъ порошокъ я долго сберегалъ
Среди волненій жизни шумной,
Какъ талисманъ таинственный и чудный
Хранилъ на черный день, и этотъ день насталъ.

НИНА.

Что хочешь ты сказать? Не мучь меня, Евгеній!
Но ты дрожишь? Ты сталъ блѣднѣе тѣни

АРБЕНИНЪ.

Тутъ былъ стаканъ—онъ пустъ... кто выпилъ лимонадъ.

НИНА.

Я выпила... Смѣешься?...

АРБЕНИНЪ.

Да—я радъ!

НИНА.

Что жъ было въ немъ?

АРБЕНИНЪ.

Что? Ядъ!

НИНА.

Не вѣрю, невозможно! и съ такою
Холодностью смѣяться надо мною!
И въ чемъ виновна я—ни въ чемъ;
Что балы я люблю, вотъ вся бѣда въ одномъ.
Ядъ! ядъ! О, это было бы ужасно!
Нѣтъ, поскорѣй разсѣй мой страхъ...
Зачѣмъ терзать меня напрасно.
Взгляни сюда? О, смерть въ твоихъ глазахъ!

АРБЕНИНЪ (бросая браслетъ на столъ).

Ты измѣнила мнѣ—вотъ обвиненье!

НИНА.

Не вѣрь—не вѣрь... Изъ сожалѣнья...

АРБЕНИНЪ.

Признайся?

НИНА.

Не могу.

АРБЕНИНЪ.

Подумай, ты умрешь.

НИНА.

Но я невинна!

АРБЕНИНЪ.

Ложь!

НИНА.

Такъ нѣтъ спасенья?

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ спасенья!

(Нина плачетъ).

Да, горько я ошибся.... возмечталъ
О счастьи—думалъ снова

*

Любить и вѣровать... но часъ судьбы насталъ
И все прошло, какъ бредъ больнова.
Я могъ бы воскресить погибшія мечты,
Я могъ бы, вѣруя надеждѣ,
Быть снова тѣмъ, чѣмъ былъ я прежде,
Ты не хотѣла—ты!
Плачь, плачь—но что такое, Нина,
Что слезы женскія?—Вода!
Я жъ плакалъ! я, мужчина!
Отъ злобы, ревности, мученья и стыда
Я плакалъ—да!
А ты не знаешь, что такое значитъ
Когда мужчина плачетъ!
Въ тотъ мигъ къ нему не подходи—
Смерть у него въ рукахъ и адъ въ его груди.

НИНА.

О, ты ужасенъ! О, помилуй, пощади!
Я все исполню, я признаюсь... Поскорѣе,
Еще есть время—говори, чего
Ты хочешь... смерть всего страшнѣе...
Смерть, смерть—да, я люблю его...
Нѣтъ, нѣтъ—то было заблужденье,
Ребячество, обманъ воображенья;
Я не любила никого.
Позволь обнять твои колѣни,
Ты видишь, я у ногъ твоихъ, Евгеній!
Скажи, скажи какой цѣной
Купить мнѣ жизнь... цѣной мученій...
Чѣмъ хочешь буду я—твоей рабой...
Я молода, жизнь такъ прекрасна.
О! ты меня спасешь—ты не злодѣй,
Я знаю, жалость есть въ душѣ твоей,
Помучишь и простишь... Напрасно, все напрасно...
Мнѣ кажется, я чувствую въ груди

Огонь, огонь—о, сжалься, пощади!...
(Бросается къ дверямъ).
Сюда, сюда... на помощь!.. умираю!..
Ядъ, ядъ! не слышатъ... понимаю!
Ты остороженъ и ко мнѣ нейдутъ,
Но помни, я тебя жестокій проклинаю
И ты придешь на вѣчный судъ!

ЯВЛЕНІЕ V.

АРБЕНИНЪ, НИНА И ОЛИНЬКА.

ОЛИНЬКА.

Я здѣсь! Что съ вами?

НИНА.

Ахъ, скорѣе, ради Бога!
Покуда время есть! Я жить хочу, жить, жить!
Ужели и тебя мнѣ надо такъ молить.

ОЛИНЬКА.

О, что вы сдѣлали?..

АРБЕНИНЪ (помолчавъ).

Перепугалъ немного.
Хотѣлъ знать правду и узналъ...
Опомнитесь и встаньте — я солгалъ;
Я не ношу съ собою яда...
Въ васъ сердце низкаго разряда,
И ваша казнь не смерть, а стыдъ!
Что вы дрожите? Будьте вновь спокойны,
Вамъ долго жить на свѣтѣ суждено,
И счастье вамъ еще возможно—но
Ни чьей любви, ни чьей вы мести недостойны.
Да! нынѣ чувствую—я старъ,
Измученъ долгою борьбою;
Послѣдній на меня упалъ судьбы ударъ,
И я поникъ покорной головою.

Желаній нѣтъ, надежды нѣтъ,
Я выброшенъ изъ круга жизни шумной,
Съ несносной памятью невозвратимыхъ лѣтъ,
Страдалецъ мрачный и безумный.
(Садится. Входитъ князь съ пистолетами).

ЯВЛЕНІЕ VI.

АРБЕНИНЪ, НИНА, ОЛИНЬКА, КНЯЗЬ И КАЗАРИНЪ.

КНЯЗЬ.

Что это значитъ, смѣю васъ спросить?
Дуэль въ кругу семейства—очень ново!
Тѣмъ лучше, случая такого
Мнѣ, вѣрно, болѣ не нажить.

КАЗАРИНЪ.

По чести, странный выборъ секундантовъ!
Гдѣ о дуэли рѣчь, тамъ я въ числѣ педантовъ.

КНЯЗЬ.

Мнѣ все равно, безъ дальнихъ словъ,
Вотъ пистолеты—я готовъ...

АРБЕНИНЪ (встаетъ).

День, часъ тому назадъ, хотѣлъ я крови, мести;
Защитникъ правъ своихъ и чести,
Съ надеждой трепетной въ груди,
Я думалъ отразить позоръ и обвиненье,
И я ошибся. Съ глазъ слетѣло заблужденье
Вы правы—торжествуйте! Впереди
Васъ ждутъ побѣды славныя, какъ эта,
Отчаянье мужей, рукоплесканье свѣта...
И мало ль женщинъ есть, во всемъ подобныхъ ей—
Онѣ того, кто посмѣлѣй!
Смотрите, какъ блѣдна, почти безъ чувства,
А отчего, не отгадаешь вдругъ.

Что это? стыдъ, раскаянье, искусство?
Ничуть! испугъ, одинъ испугъ!
Ни вы, ни я, мы не имѣли власти
Въ ней поселить хоть искру страсти.
Ея душа безсильна и черства,
Мольбой не тронется, боится лишь угрозы.
Въ замѣнъ любви у ней—слова.
Въ замѣнъ печали—слезы.
За что жъ мы будемъ драться? Пусть убьетъ
Одинъ изъ насъ другаго, такъ что жъ далѣ?
Мы жъ въ дуракахъ—на первомъ балѣ
Она любовника иль мужа вновь найдетъ.
Теперь стрѣляться вы хотите?
Вотъ грудь моя обнажена,
Возьмите жизнь мою, возьмите —
Она ни мнѣ, ни міру не нужна.

КАЗАРИНЪ.

Стрѣляйте же скорѣй, скорѣй.

АРБЕНИНЪ.

Молчите?
Задумались?.. и такъ, оставьте насъ!
Мы квиты...

(Князь уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ VII.

КАЗАРИНЪ.

Обманулъ! еще разъ увернулся!
Скорѣй и мнѣ убраться съ глазъ,
Покуда не очнулся. (Уходитъ).

АРБЕНИНЪ.

Куда бѣжишь? постой, постой,
Разсчетъ у насъ не кончился съ тобой.
(Послѣ долгаго молчанія).
Я ѣду, Олинька! прощай!

Будь счастлива—прекрасное созданье;
Душѣ твоей удѣлъ—небесный рай,
Душъ благородныхъ воздаянье.
Какъ утѣшенье, образъ твой
Я унесу въ изгнаніе съ собой.
Пускай прошедшее тебя не возмущаетъ.
Я будущность твою устрою: ни нужда,
Ни бѣдность вновь тебѣ не угрожаетъ.

ОЛИНЬКА.

Вы возвратитесь?...

АРБЕНИНЪ.

Никогда!

ПИСЬМА ЛЕРМОНТОВА.

I.

Милая тетинька! * Наконецъ, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я къ вамъ мало напишу, то это будетъ не отъ моей лѣности, но отъ того, что у меня не будетъ время. Я думаю, что вамъ пріятно будетъ узнать, что я въ русской грамматикѣ учу синтаксисъ, и что мнѣ даютъ сочинять; я къ вамъ это пишу не для похвальбы, но собственно отъ того, что вамъ это будетъ пріятно. Въ географіи я учу математическую по небесному глобусу, градусы, планеты, ходъ ихъ, и проч. Прежнее ученіе исторіи мнѣ очень помогло. Заставьте пожалуста Екима рисовать контуры; мой учитель говоритъ, что я еще буду ихъ рисовать съ полгода; но я лучше сталъ рисовать, однако жъ мнѣ запрещено рисовать свое. Катюшѣ въ знакъ благодарности за подвязку, посылаю ей бисерный ящикъ моей работы. Я еще ни въ какихъ садахъ не бывалъ, но я былъ въ театрѣ, гдѣ я видѣлъ оперу Невидимку, ту самую, что я видѣлъ въ Москвѣ 8 лѣтъ назадъ; мы сами дѣлаемъ театръ, который довольно хорошо выходитъ и будутъ восковыя фигуры играть (сдѣлайте милость пришлите мои воски); я нарочно замѣчаю, чтобы вы въ хлопотахъ не были, я думаю что эта пунктуальность не мѣшаетъ; я бы приписалъ къ брату; онъ здѣсь, но я имъ напишу особливо; Катюшу же цѣлую и благодарю за подвязку. — Прощайте, милая тетинька, цѣлую ваши ручки и остаюсь вашъ покорный племянникъ. (1828?).

---

* Марья Акимовна Шанъ-Гирей, дочь родной сестры бабушки поэта—Екатерины Алексѣевны Хостатовой (урожденной Столыпиной). Упоминаемые ниже Екимъ и Катюша—ея дѣти.

II.

Милая тетинька! Зная вашу любовь ко мнѣ, я не могу медлить, чтобы обрадовать васъ: экзаменъ кончился и вакаціи начались до 8-го января; слѣдственно, они будутъ продолжаться 3 недѣли. Испытаніе наше продолжалось отъ 13-го до 20 числа. Я вамъ посылаю балы, гдѣ вы увидите, что г. Дубенской поставилъ 4 рус. и 3 лат.; но онъ продолжалъ мнѣ ставить 3 и 2 до самаго экзамена, вдругъ какъ-то сжалился и наканунѣ переправилъ, что произвело меня вторымъ ученикомъ.

Папинька сюда пріѣхалъ и вотъ уже 2 картины извлечены изъ моего portefeuille; слава Богу, что такими любезными мнѣ руками!.. Скоро я начну рисовать съ (buste) бюстовъ... Какое удовольствіе!.. Къ тому жъ Александръ Степановичъ мнѣ показываетъ также, какъ должно рисовать пейзажи. — Я продолжалъ подавать сочиненія мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взялъ инспекторъ, *который хочетъ издавать журналъ Калліопу (подражая мнѣ) (?), гдѣ будутъ помѣщаться сочиненія воспитанниковъ. — Каково вамъ покажется. Павловъ мнѣ подражаетъ, перенимаетъ у... меня!.. стало быть... но выводите заключенія, какія вамъ угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако жъ теперь гораздо лучше, а я—o! je me porte comme a l'ordinaire... bien! — Прощайте, милая тетинька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, слѣд. здоровы, ибо: les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme.—Остаюсь покорный вашъ племянникъ.

Я прилагаю вамъ, милая тетинька, стихи, кои прошу помѣстить къ себѣ въ альбомъ, а картинку я еще не нарисовалъ. На вакацію надѣюсь исполнить свое обѣщаніе; вотъ стихи:

---

* Мих. Григ. Павловъ, профессоръ Московскаго университета, издавшій курсы Физики и Сельскаго Хозяйства.

ПОЭТЪ.

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой Дѣвы ликъ священный
Живою кистью окончалъ:
Своимъ искусствомъ восхищенный
Онъ предъ картиною упалъ!
Но скоро сей порывъ чудесный
Слабѣлъ въ груди его младой,
И утомленный и нѣмой
Онъ забывалъ все въ поднебесной.
Таковъ поэтъ: чуть мысль блеснетъ,
Какъ онъ перомъ своимъ прольетъ
Всю душу; звукомъ громкой лиры
Чаруетъ свѣтъ, и въ тишинѣ
Поётъ, забывшись въ райскомъ снѣ,
Васъ, васъ, души его кумиры!
И вдругъ хладѣетъ жаръ ланитъ,
Его сердечныя волненья
Все тише, и призракъ бѣжитъ!
Но долго, долго умъ хранитъ
Первоначальны впечатлѣнья.

P. S. Не зная, что дядинька въ Апалихѣ, * я не писалъ къ нему, но прошу извиненія, и свидѣтельствую ему мое почтеніе. (1829 ?).

III.

Ваше Атмосфераторство! Милостивѣйшая государыня, Софія, дочь Александрова?... Вашъ рабъ всепокорнѣйшій Михайло, сынъ Юрьевъ, бьетъ челомъ вамъ.—Дѣло въ томъ, что я обрѣтаюсь въ ужасной тоскѣ; извощикъ ѣдетъ тихо, дорога пряма,

---

* Имѣніе Шанъ-Гирея, по сосѣдству съ селомъ Тарханы, принадлежавшимъ бабушкѣ поэта Е. А. Арсеньевой.

какъ палка, на квартирѣ вонь и перо скверное!... Кажется довольно, чтобъ истощить ангельское терпѣніе, подобное моему.

Что вы дѣлаете? — Пріѣхала ли Александра, Михайлова дочь—и какія ея рѣчи? Все пишите—а моего писанія никому не являйте. Растрясло меня и потому къ благовѣрной кузинѣ не пишу—а вамъ мало; извините моей немощи!...

До Петербурга съ обѣими прощаюсь. Рабъ вашъ M. Lerma.

Прошу засвидѣтельствовать мое нижайшее почтеніе тетинькѣ и всѣмъ домочадцамъ. Тверь. 1832.

IV.

До самаго нынѣшняго дня я былъ въ ужасныхъ хлопотахъ: ѣздилъ туда-сюда, къ Вѣрѣ Николаевнѣ на дачу и проч.; разсматривалъ городъ по частямъ, и на лодкѣ ѣздилъ въ морѣ. Короче, ищу впечатлѣній, какихъ нибудь впечатлѣній...

Преглупое состояніе человѣка то, когда онъ долженъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали нѣкогда придворные старыхъ королей; быть своимъ шутомъ! Какъ послѣ этого не презирать себя, не потерять довѣренность, которую имѣлъ въ душѣ своей?... Одну добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чѣмъ когда нибудь. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, у ***, гдѣ просидѣлъ четыре часа, и не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ—быть можетъ, слава Богу!

Вашей комиссіи я еще не исполнилъ, ибо мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный домъ, и со всѣмъ тѣмъ душа моя къ нему не лежитъ: мнѣ кажется, что отнынѣ я самъ буду пустъ, какъ былъ онъ, когда мы въѣхали.

Пишите мнѣ, что дѣлается въ странахъ вашего царства. Какъ свадьба? Все ли вы въ Средниковѣ или въ Москвѣ? Чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знаютъ, все хлопочутъ!

Странная вещь! Только мѣсяцъ тому назадъ я писалъ:

Я жить хочу! хочу печали,
Любви и счастію на зло!

Они мой умъ избаловали
И слишкомъ сгладили чело.
Пора, пора насмѣшкамъ свѣта
Прогнать спокойствія туманъ;
Что̀ безъ страданій жизнь поэта,
И что̀ безъ бури океанъ?

И пришла буря, и прошла буря, и океанъ замерзъ, но замерзъ съ поднятыми волнами, храня театральный видъ движенія и безпокойства, но въ самомъ дѣлѣ мертвѣе, чѣмъ когда нибудь....

Признайтесь, надоѣлъ я вамъ своими диссертаціями! Я короче сошелся съ Павломъ Евреиновымъ; у него есть душа въ душѣ. Одна вещь меня безпокоитъ: я почти совсѣмъ лишился сна, Богъ знаетъ, надолго ли. Не скажу, чтобъ отъ горести: были у меня и больше горести, а я спалъ крѣпко и хорошо. Нѣтъ, я не знаю: тайное сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человѣкомъ, меня мучитъ.

Дорогой еще былъ туда-сюда; пріѣхавши, не гожусь ни на что̀. Право, мнѣ необходимо путешествовать: я — цыганъ!

Прощайте. Пишите мнѣ, чѣмъ поминаете вы меня? Обѣщаю вамъ, что не всѣ мои письма будутъ такія; теперь я болтаю вздоръ, потому что натощакъ. Прощайте... Членъ вашей bande joyeuse M. L.

P. S. У тетушекъ моихъ цѣлую ручки, и прошу васъ отъ меня отнести поклонъ всѣмъ моимъ друзьямъ... во второмъ разрядѣ коихъ Achille, арапъ; и если вы не въ Москвѣ, то мысленно. Прощайте. (С.-Петербургъ. 1832).

V.

Примите длинное Посланье
Изъ края дальняго сего;
Оно не Павлово писанье,
Хоть Павелъ вамъ отдастъ его.

Увы! какъ скученъ этотъ городъ
Съ своимъ туманомъ и водой!
Куда ни взглянешь—красный воротъ,
Какъ шишъ, торчитъ передъ тобой.

Нѣтъ милыхъ сплетень—все сурово,
Законъ сидитъ на лбу людей;
Все удивительно и ново,
А нѣтъ и пошлыхъ новостей!

Доволенъ каждый самъ собою,
Не безпокоясь о другихъ,
И что̀ у насъ зовутъ душою,
То безъ названія у нихъ!...

И наконецъ я видѣлъ море!
Но кто поэта обманулъ?
Я въ роковомъ его просторѣ
Великихъ думъ не почерпнулъ.

Нѣтъ, какъ оно, я не былъ воленъ;
Болѣзнью жизни—скукой боленъ
(На зло былымъ и новымъ днямъ);
Я не завидовалъ, какъ прежде,
Его серебряной одеждѣ,
Его бунтующимъ волнамъ.

Экспромтомъ написалъ я вамъ эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имѣю духу продолжать такимъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не знаю отчего, поэзія души моей погасла.

По произволу дивной власти
Я выкинутъ изъ царства страсти,
Какъ послѣ бури на песокъ
Волной расшибленный челнокъ.

Пускай приливъ его ласкаетъ—
Не слышитъ ласки инвалидъ:
Свое безсиліе онъ знаетъ
И притворяется что спитъ.
Никто ему не ввѣритъ болѣ
Себя иль ноши дорогой:
Онъ негодится и на волѣ!
Погибъ—и данъ ему покой!

Мнѣ кажется, что это не дурно вышло. Пожалуста, вы не рвите этого письма на нужныя вещи. Впрочемъ, если бы я началъ писать къ вамъ за часъ прежде, то, быть можетъ, написалъ бы совсѣмъ другое. Каждый мигъ у меня новыя фантазіи. Прощайте, дражайшая. Я къ вамъ писалъ изъ Твери и отсюда, а до сихъ поръ не получилъ отвѣта — стыдно; однако я прощаю — и прощаюсь. M. Lerma...

Тетинькѣ и всѣмъ нижайшее мое почтеніе. Пишите, что дѣлается и слышится, и говорится.

У Демидовой былъ — дома не засталъ; она была у какой-то директорши — Богъ знаетъ; я письма не отдалъ и на дняхъ поѣду опять. Не имѣю слишкомъ большаго влеченія къ обществу: надоѣло! Все люди, такая тоска: хоть бы черти для смѣха попадались. (1832).

VI.

S.Petersb. 1832, le 28 aout.

Dans le moment ou je vous écris, je suis très-inquiet, car grand-maman est très malade, et depuis deux jours au lit. Ayant reçu une seconde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne.—Vous nommer toutes les personnes que je fréquente?—moi c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir. En arrivant je suis sorti, il est vrai, assez souvent chez des parents, avec lesquels je devais faire connaissance; mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était

moi. J'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis—tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français, bien étroit et simple, mais ou l'on peut se perdre, pour la première fois, car entre un arbre et un autre le ciseau du maitre a ôté toute différence!...

J'écris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une oeuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je l'ai versé pêle-mêle sur le papier: vous me plaindriez en le lisant!... A propos de votre mariage, mon amie, vous avez deviné mon enchantement d'apprendre qu'il soit rompu;* j'ai déjà écrit à ma cousine que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes—cette expression m'a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué, que ça soit fini comme cela et pas autrement! Au reste n'en parlons plus; on n'en a que trop parlé.

J'ai une qualité que vous n'avez pas: quand on me dit qu' on m'aime, je ne doute plus ou (ce qui est pire) je ne fais pas semblant de douter.—Vous avez ce defaut, et je vous prie de vous en corriger, du moins dans vos chères lettres.

Hier il y a eu, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tiré deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l'eau baissait et montait. Il y avait claire de lune, et j'étais à ma fenètre qui donne sur le canal; voila ce que j'ai écrit:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Какъ бы шумно я катился
Подъ серебряной луной;
О, какъ страстно я лобзалъ бы
Золотистый мой песокъ,
Какъ надменно презиралъ бы
Недовѣрчивый челнокъ;

---

* «Pas français.»

Все чѣмъ такъ гордятся люди,
Мой набѣгъ бы разрушалъ;
И къ моей студёной груди
Я бъ страдальцевъ прижималъ:
Не страшился бъ муки ада,
Раемъ не былъ бы прельщенъ;
Безпокойство и прохлада
Были бъ вѣчный мой законъ:
Не искалъ бы я забвенья
Въ дальномъ сѣверномъ краю,
Былъ бы воленъ отъ рожденья—
Жить и кончить жизнь мою!

Voici une autre; ces deux pièces, vous expliqueront mon état moral mieux que j'aurais pu le faire en prose:

Конецъ! какъ звучно это слово!
Какъ много-мало мыслей въ немъ!
Послѣдній стонъ—и все готово,
Безъ дальнихъ справокъ... а потомъ?
Потомъ васъ чинно въ гробъ положутъ,
И черви вашъ скелетъ обгложутъ;
А тамъ наслѣдникъ въ добрый часъ
Придавитъ монументомъ васъ;
Простивъ вамъ каждую обиду,
Отслужитъ въ церкви панихиду,
Которой—(я боюсь сказать)
Не суждено вамъ услыхать;
И если вы скончались въ вѣрѣ,
Какъ христіанинъ, то гранитъ
На сорокъ лѣтъ по крайней мѣрѣ
Названье ваше сохранитъ
Съ двумя плачевными стихами,
Которыхъ, къ счастію, вы сами
Не прочитаете во вѣкъ. —

Когда жъ чиновный человѣкъ
Захочетъ мѣста на кладбищѣ,
То ваше тѣсное жилище
Разроетъ заступъ похоронъ
И грубо выкинетъ васъ вонъ;
И можетъ быть изъ вашей кости,
Подливъ воды, подсыпавъ крупъ,
Кухмистеръ изготовитъ супъ—
(Все это дружески, безъ злости).
А тамъ голодный аппетитъ
Хвалить васъ будетъ съ восхищеньемъ,
А тамъ желудокъ васъ сваритъ,
А тамъ—но съ вашимъ позволеньемъ
Я здѣсь окончу мой разсказъ,
И этого довольно съ васъ.

Adieu!... je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans; ce Moïse n'a pas menti.—Mes compliments à tout le monde. — Votre ami les plus cincère.

Переводъ: Въ эту минуту, какъ пишу вамъ, я въ тревожномъ состояніи, потому что бабушка очень больна и два дня въ постели. Отведу себѣ душу отвѣтомъ на второе письмо ваше. Назвать вамъ всѣхъ, у кого я бываю? Назову—себя, потому что у этой особы бываю я съ наибольшимъ удовольствіемъ. Правда, по пріѣздѣ, я навѣщалъ довольно часто родныхъ, съ которыми мнѣ слѣдовало познакомиться; но подъ-конецъ нашелъ, что самый лучшій мнѣ родственникъ, это я самъ. Видѣлъ я обращики здѣшняго общества, дамъ очень любезныхъ, молодыхъ людей весьма воспитанныхъ; всѣ они вмѣстѣ производятъ на меня впечатлѣніе французскаго сада, очень тѣснаго и безъ затѣй, но въ которомъ съ перваго разу можно заблудиться, потому что хозяйскія ножницы уничтожили въ немъ всякое различіе между деревьями. — Пишу мало, читаю не болѣе, романъ мой становится произведеніемъ отчаянія: я перебралъ себѣ всю душу, добывая изъ нея все, что только способно обратиться въ ненависть, и въ безпорядкѣ излилъ ее на бумагу. Читая это, вы бы пожалѣли меня! Относительнаго вашего брака, мой другъ, вы

угадали мое восхищеніе при вѣсти, что онъ не состоялся; я ужъ писалъ кузинѣ que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes—это выраженіе мнѣ самому очень понравилось. Слава Богу, что это кончилось такъ, а не иначе. Впрочемъ, не будемъ больше говорить объ этомъ—и безъ того ужъ много наговорились.—У меня есть свойство, котораго нѣтъ у васъ: когда мнѣ говорятъ, что меня любятъ, я больше не сомнѣваюсь, или (что хуже) я не показываю вида, что сомнѣваюсь. Вы напротивъ: пожалуста исправьтесь отъ этого недостатка, хоть въ вашихъ милыхъ письмахъ. — Вчера, въ 10 часовъ послѣ обѣда, было небольшое наводненіе, и даже трижды сдѣлано было по два пушечныхъ выстрѣла, по мѣрѣ того, какъ вода опускалась и подымалась. Ночь была лунная, и я былъ у своего окна, которое выходитъ на каналъ. Вотъ что я написалъ: (слѣдуютъ стихи). Вотъ еще стихи. Тѣ и другіе лучше покажутъ вамъ мое нравственное состояніе, чѣмъ бы я могъ это сдѣлать въ прозѣ (другіе стихи). Прощайте, не могу больше писать вамъ. Голова вертится отъ глупостей. Мнѣ кажется, что по той же причинѣ и земля вертится вотъ уже 7000 лѣтъ. Моисей не солгалъ. Всѣмъ мой поклонъ.—Вашъ искреннѣйшій другъ.

VII.

2 Septembre. (1832).

Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous, et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre. Savez vous, chère amie, comment je vous écrirai? Par moments! Une lettre durera quelquefois plusieurs jours; une pensée me viendra-t-elle, je l'insererai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il dans mon esprit, je vous en ferai part; êtes-vous contente de ceci!

Voilà plusieures semaines déjà que nous sommes separés, peut-être pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dans l'avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas. Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir N. N. parcequ' elle vient de nos contrées—car Moscou est et sera toujours ma patrie: j'y suis né, j'y ai beaucoup souffert, j'y ai été trop heureux—ces trois choses auraient

*

bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire?—Mademoiselle Annette m'a dit qu'on n'avait pas effacé la célèbre tête sur la muraille...* pauvre ambition! Cela m'a rejoui... et encore comment! Cette drôle de passion de laisser partout des traces de son passage!... Une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit, vaut-elle la peine d'être répetée dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns? il faut que les hommes ne soient pas nés pour penser, puisqu'une idée forte et libre est pour eux une chose si rare!

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers; cela n'est pas bien amical, ni même philantropique, mais chacun doit suivre sa destination.

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

Бѣлѣетъ парусъ одинокій и т. д.

— Adieu donc, adieu... je ne me porte pas bien: un songe heureux, un songe divin m'a gâté la journée... Je ne puis ni parler, ni lire, ni écrire.—Chose étrange que les songes! une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité: car je ne purtage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant!—Je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon coeur; car ma vie—c'est moi, moi, qui vous parle — et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien. — Dieu sait, si aprés la vie le moi existera. C'est terrible quand on pense, qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi!—A cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue.

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au souvenir de votre frère et de vos soeurs, car je ne suppose pas ma cousine de retour.

Dites moi, chère miss... si monsieur N. N. vous a rendu mes lettres, et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon thermomètre — Adieu. Votre dévoué.

---

* Голову эту Лермонтовъ начертилъ углемъ на стѣнѣ у московскихъ своихъ знакомыхъ, Лопухиныхъ.

P. S. J'aurais bien voulu vous faire une petite question; mais elle se refuse de sortir de ma plume.—Si vous me devinez — bien, je serai content; — si — non — alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne doutez pas!

Переводъ: Сейчасъ я началъ кое-что рисовать для васъ, и можетъ быть пошлю съ этимъ же письмомъ. Знаете ли, милый другъ, какъ я стану писать къ вамъ? — Какъ только улучу минуту. Иной разъ письмо продлится нѣсколько дней: придетъ ли мнѣ въ голову какая мысль, я вамъ запишу ее; если что примѣчательное займетъ мой умъ, тотчасъ подѣлюсь съ вами. Согласны?—Вотъ уже нѣсколько недѣль, какъ мы разстались и можетъ быть надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно отраднаго. Однако я все тотъ же, вопреки лукавымъ предположеніямъ нѣкоторыхъ людей, которыхъ не назову. Представьте наконецъ, что я пришелъ въ восторгъ, увидавъ N. N., потому что она пріѣхала съ нашей стороны; вѣдь Москва моя родина, и такою будетъ для меня всегда: тамъ я родился, тамъ много страдалъ, и тамъ же былъ слишкомъ счастливъ! Пожалуй лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что дѣлать? M-lle Анета сказывала, что еще не стерли со стѣны знаменитую голову... Жалкое самолюбіе! Вѣсть эта меня обрадовала, да еще какъ! Что за глупая страсть вездѣ отмѣчать чѣмъ нибудь свое пребываніе! Мысль человѣка, хотя бы самую возвышенную, стоитъ ли отпечатлѣвать въ предметѣ вещественномъ, изъ-за того только, чтобъ сдѣлать ее понятною для другихъ, немногихъ людей. Надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная— большая для нихъ рѣдкость. Я намѣренъ замучить васъ своими письмами и стихами. Это конечно не по дружески, и даже противно человѣколюбію; но каждый долженъ слѣдовать своему предназначенію. Вотъ еще стихи, которые сочинялъ я на берегу моря (слѣдуютъ стихи). Прощайте же, прощайте. Я не совсѣмъ хорошо себя чувствую: сонъ счастливый, божественный сонъ, разстроилъ меня на нынѣшній день... Не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Двойникъ жизни, а часто лучшій, нежели дѣйствительная жизнь. Вѣдь я вовсе не раздѣляю мнѣнія, будто жизнь есть сонъ; я осязательно чувствую ея дѣйствительность, она манитъ въ себя, чтобъ я ее наполнилъ! Я никогда не могу отрѣ-

шиться отъ нея на столько, чтобы чистосердечно ее ненавидѣть; потому что жизнь моя—я самъ, я, говорящій теперь съ вами, и могущій черезъ минуту обратиться въ ничто, въ одно имя, е. т. опять таки въ ничто. Богъ знаетъ, будетъ ли существовать это я послѣ жизни! Страшно подумать, что настанетъ день, когда я не могу сказать: я! При этой мысли весь міръ есть не что иное, какъ комъ грязи.—Прощайте, не забудьте напомнить обо мнѣ своему брату и сестрамъ, потому что кузина, какъ я полагаю, еще не возвратилась.—Скажите пожалуста, передалъ ли вамъ N. N. мои письма, и какъ онъ вамъ показался? потому что въ этомъ случаѣ я васъ выбираю моимъ термометромъ. Прощайте. Вашъ преданный . . . . P. S. Мнѣ бы хотѣлось сдѣлать вамъ небольшой вопросъ; но не рѣшаюсь писать. Коли догадываетесь, хорошо, я буду доволенъ; а нѣтъ—значитъ, если бы я и написалъ, вы не могли бы отвѣчать на него.—Это такого рода вопросъ, какой быть можетъ вамъ и не приходитъ въ голову.

VIII.

(1832).

Je suis extrêmement faché que la lettre pour ma cousine soit perdue ainsi que la votre pour grand-maman. Ma cousine pense peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que je mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part; puisque je l'aime beaucoup trop pour m'esquiver par un mensonge et que, a ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire;—je me justifierai peut-être avec ce même courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après demain je tiens examen et suis enterré dans les mathématiques. Dites lui de m'écrire quelquefois; ses lettres sont si aimables.

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle: moi qui jusqu'à présent avais vécu pour la carrière littéraire, après avoir tant sacrifié pour mon ingrat idôle, voilà que je me fais guerrier. Peut-être est-ce le vouloir particulier de la Providence; peut-être ce chemin est-il le plus court; et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me mènera-t-il au dernier de tout le monde: mourir une balle de plomb

dans le coeur vaut bien une lente agonie de vieillard. Aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par Dieu d'être le premier partout.—Dites, je vous en prie. à A. que je lui enverrai un cadeau dont il ne se doute pas. Il avait il y a longtemps desiré quelque chose de semblable, et je lui envoyé la même chose, seulement dix fois mieux. Maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps: dans quelques jours l'examen. Une fois entré, je vous assomme de lettres, et je vous conjure tous et toutes de me riposter. M-lle N. N. m'a promis de m'écrire aussitôt après son arrivée: le saint de Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lui que je voudrais savoir de ses nouvelles. Que coute une lettre? une demiheure! et elle n'entre pas à l'école des gardes. Vraiment je n'ai que la nuit; vous—c'est autre chose- Il me parait que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivée à ma personne, je suis privé de la moitié de ma résolution. Croyez ou non, mais cela est tout-à-fait vrai: je ne sais pourquoi, mais lorsque je reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de répondre tout de suite, comme si je vous parlais.

Adieu donc, chère amie, je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et chère Moscou il y a des barrières insurmontales, que le sort semble vouloir augmenter de jour en jour. Adieu, ne soyez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous. Maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enfermé comme je serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra lier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son coté, laissant entre eux une barrière de deux tristes, pénibles années. Prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empecherez une vie de se démolir; à vous seule je puis dire tout ce que je pense, bien ou mal,ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière, vous ne devez pas, car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bienfait. J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne

le suis plus: tout fini — j'ai vécu, j'ai mûri trop tôt; et les jours qui vont suivre seront vides de sensations...

Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ
И вдохновеній мирныхъ! Но безумный,
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ,
И сердце бросилъ въ море жизни шумной:
И міръ не пощадилъ, и Богъ не спасъ!

Такъ сочный плодъ, до времени созрѣлый,
Между цвѣтовъ виситъ осиротѣлый;
Ни вкуса онъ не радуетъ, ни глазъ,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!
И жадный червь его грызетъ, грызетъ,
И между тѣмъ какъ нѣжныя подруги
Колеблются на вѣткахъ—ранній плодъ
Лишь тяготитъ свою... до первой вьюги!
—Ужасно старикомъ быть безъ сѣдинъ!
Онъ равныхъ не находитъ; за толпою
Идетъ, хоть съ ней не дѣлится душою;
Онъ межъ людьми ни рабъ, ни властелинъ,
И все что чувствуетъ—онъ чувствуетъ одинъ!

Adieu—mes poclones à tous; adieu, ne m'oubliez pas.

P. S. Je n'ai jamais rien écrit par rapport à vous à N. N. et vous voyez que tout ce que j'ai dit de son caractère est vrai; seulement j'ai eu tort en disant qu'il est hypocrite — il n'a pas assez de moyens pour cela: il n'est que menteur.

Переводъ: Меня очень огорчило, что мое письмо къ кузинѣ затерялось, также какъ и ваше къ бабушкѣ. Кузина можетъ быть думаетъ, что я лѣнюсь или лгу, говоря, что писалъ; но думать то или другое было бы несправедливо съ ея стороны, такъ какъ я слишкомъ много люблю ее, чтобъ прибѣгать ко лжи, а вы можете ее увѣрить, что я вовсе не лѣнивъ писать; я оправдаюсь, можетъ быть, даже съ этою почтой; а если нѣтъ, то прошу васъ сдѣлать

это за меня; послѣзавтра я держу экзаменъ и похоронился въ математикѣ. Попросите ее писать иногда ко мнѣ: ея письма такъ милы.—Не могу представить себѣ, какое дѣйствіе произведетъ на васъ моя великая новость; до сихъ поръ я жилъ для поприща литературнаго, принесъ столько жертвъ своему неблагодарному идолу, и вотъ теперь я—воинъ. Быть можетъ, тутъ есть особенная воля, провидѣнія; быть можетъ, этотъ путь всѣхъ короче, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цѣли, можетъ быть по немъ дойду до послѣдней цѣли всего существующаго: вѣдь лучше умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія старости. И такъ, если начнется война, клянусь вамъ Богомъ, что я всегда буду впереди.—Скажите пожалуста А. что я пришлю ему подарокъ, какого онъ не ожидаетъ. Ему давно хотѣлось чего нибудь въ такомъ родѣ; онъ получитъ, только въ десятеро лучше. Не пишу къ нему теперь, потому что нѣтъ времени: черезъ нѣсколько дней экзаменъ. Какъ только опредѣлюсь, то закидаю васъ письмами, на которыя заклинаю васъ всѣхъ, и мужчинъ и женщинъ, отвѣчать мнѣ. N. N. обѣщалась писать тотчасъ по пріѣздѣ: ужъ не воронежскій ли угодникъ присовѣтовалъ ей забыть меня? Скажите ей, что мнѣ хотѣлось бы имѣть извѣстія отъ нея. Чего стоитъ письмо? Полчаса! Она же не поступаетъ въ гвардейскую школу.* Право, у меня въ распоряженіи только ночь. Вы—другое дѣло. Мнѣ кажется, что если бы я не сообщилъ вамъ какого нибудь важнаго случая, до меня касающагося, то бы на половину пропала моя рѣшимость. Вѣрьте-не-вѣрьте, а это такъ; не знаю почему, но получивъ отъ васъ письмо, я не могу удержаться, чтобъ не отвѣчать ту же минуту, какъ будто я съ вами разговариваю.

Прощайте же, мой милый другъ; не говорю до свиданья, потому что не надѣюсь увидать васъ здѣсь; а между мною и милою моей Москвой стоятъ непреодолимыя преграды, и кажется, судьба съ каждымъ днемъ увеличиваетъ ихъ. Прощайте, пишите по прежнему, и я буду доволенъ вами. Ваши письма теперь будутъ нужнѣе, чѣмъ когда нибудь; они доставятъ величайшее наслажденіе въ моемъ будущемъ заключеніи; они послужатъ единственною связью между моею прошедшей жизнью и той, которая предстоитъ мнѣ по минованіи двухъ печальныхъ, тяжкихъ лѣтъ. Съ вашей стороны будетъ дѣломъ милосердія наполнить этотъ промежутокъ; это будетъ скучно для васъ, но вы спасете мнѣ жизнь. Вамъ однимъ я могу говорить все, что думаю, и хорошее и дурное; я ужъ доказалъ это моею исповѣдью,

* Лермонтовъ опредѣлялся тогда въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, гдѣ и былъ съ 10 ноября 1832 по 22 ноября 1834.

и вамъ не слѣдуетъ отставать; вы не должны—потому что я требую отъ васъ не любезности, а благодѣянія. Нѣсколько дней я былъ въ тревогѣ, теперь прошло; все кончилось: я жилъ, я слишкомъ скоро созрѣлъ; и за тѣмъ нѣтъ больше мѣста чувствованіямъ... (слѣдуютъ стихи). Прощайте, мои поклоны всѣмъ; не забывайте М. Лермонтова, P. S. Я никогда ничего не писалъ о васъ къ N. N. Вы видите, что я говорилъ правду объ его характерѣ; только я ошибался, называя его притворщикомъ: онъ не умѣетъ имъ быть, онъ просто лгунъ.

IX.

19 Juin, Pétersbourg. 1833.

J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai — dévorées. Il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles. Hier, c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain (mardi) nous allons au camp pour deux mois. Je vous écris assis sur un banc de l'école, au milieu du bruit, des préparatifs etc... Vons serez, à ce que je crois, contente d'apprendre que, n'ayant passé à l'ecole que deux mois, j'ai subi mon examen pour la 1-ère classe et suis un des premiers... Cela nourrit toujours l'espérence d'une prochaine libertê! — Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange: samedi, avant de me réveiller, je vois en songe que je suis dans votre maison; vous étes assises sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous, mais vous sans répondre, m'avez tendu la main; — le soir on nous laisse partir; j'arrive chez nous et je trouve vos lettres. Cela me frappe! Je voudrais savoir, que faisiez vous ce jour là?...

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je conserve vos lettres, je ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: удавится или женится!—ma parole d'honneur

que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de semblable, car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est pas un de ceux qui chosissent les promises d'après un registre.

Dites, je vous prie, à ma cousine, que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau: Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa soeur! — et dites après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à coeur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps. Eh bien, puis que c'est fini, n'en parlons plus.—Adieu, on me demande car le général est arrivé. Adieu.

Mes compliments à tout le monde.

Il fait tard. J'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre, celle du vice ou de la sottise. Il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but. Je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler—ce serait de trop! Je suis heureux que jamais, plus gai que le premier ivrogne chantant dans la rue! Les termes vous deplaisent, mais hélas: d i s m o i q u i t u hante, j e t e d i r a i q u i t u e s! Je vous crois que mademoiselle Souchkoff est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté, d'autant plus si c'est du mal! Que Dieu la benisse!

Quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, je garde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature, ainsi que vous le savez, chère amie, je m'endors sur mes lauriers, mettant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois. Adieu.

Переводъ: Я получилъ два письма ваши, милый другъ, и проглотилъ ихъ: такъ давно не было отъ васъ извѣстій. Вчера послѣднее воскресенье былъ я въ городѣ, потому что завтра (во вторникъ) мы отправляемся на два мѣсяца въ лагерь. Пишу къ вамъ, сидя на классной скамейкѣ; кругомъ меня шумъ, приготовленія и пр... Надѣюсь, вамъ пріятно будетъ узнать, что я выдержалъ экзаменъ въ первый классъ, всего черезъ два мѣсяца послѣ поступленія въ школу, и что я однимъ изъ первыхъ. Это все таки укрѣпляетъ на-

дежду, что скоро совсѣмъ буду свободенъ! Однако нужно непремѣнно передать вамъ довольно странный случай: въ субботу, передъ тѣмъ какъ вставать съ постели, я вижу во снѣ, будто я у васъ; вы сидите на большомъ диванѣ въ гостиной; я подошелъ и спрашиваю, не хотите ли вы окончательно, чтобы я съ вами поссорился; а вы, вмѣсто отвѣта, протянули мнѣ руку. — Вечеромъ насъ распустили; прихожу къ нашимъ, и мнѣ подаютъ ваши письма. Это меня поразило! Скажите пожалуста, что съ вами было въ этотъ день?—Теперь надо объяснить, почему я адресую это письмо въ Москву, а не въ деревню; я оставилъ ваше письмо дома вмѣстѣ съ адресомъ, и такъ какъ не знаютъ, гдѣ я храню ваши письма, то и не могутъ мнѣ переслать его сюда.—Вы меня спрашиваете, что значитъ фраза по поводу свадьбы князя: удавится или женится! — честное слово, не помню, чтобъ я написалъ что нибудь подобное, потому что я слишкомъ хорошаго мнѣнія о князѣ, и увѣренъ, что онъ не изъ тѣхъ, которые выбираютъ невѣстъ по реестру.—Прошу васъ скажите кузинѣ, что будущей зимою у нея будетъ любезный и красивый кавалеръ Иванъ Ватковскій, офицеръ гвардіи потому только, что его полковникъ женится на его сестрѣ! Говорите же послѣ этого, что нѣтъ случайности въ здѣшнемъ мірѣ.—Скажите откровенно: вы на меня нѣсколько времени сердились? А какъ это ужъ кончилось, то и не будемъ больше говорить объ этомъ. Прощайте, меня зовутъ, потому что пріѣхалъ генералъ.—Кланяйтесь всѣмъ. Прощайте.—Уже поздно. Я улучилъ свободную минуту, чтобъ продолжать письмо. Съ тѣхъ поръ, какъ я не писалъ къ вамъ, со мной случилось такъ много странныхъ обстоятельствъ, что я право не знаю, какимъ путемъ идти мнѣ, путемъ ли порока или пошлости. Оно конечно, оба эти пути часто приводятъ къ той же цѣли. Знаю, что вы станете увѣщевать, постараетесь утѣшать меня—было бы напрасно! Я счастливѣе чѣмъ когда нибудь, веселѣе любаго пьяницы, распѣвающаго на улицѣ? Васъ коробитъ отъ этихъ выраженій; но увы: скажи, съ кѣмъ ты водишься—и я скажу, кто ты таковъ! Я вѣрю вамъ, что М-lle Сушкова обманщица, потому что я знаю—вы никогда не солжете, особенно же въ чемъ нибудь дурномъ! Богъ съ нею!... Не стану, говорить о другихъ вещахъ, о которыхъ могъ бы сообщить вамъ; вѣдь одно дѣйствіе важнѣе многихъ словъ; а такъ какъ вамъ извѣстно, что я отъ природы лѣнивъ, то и засыпаю на лаврахъ, кладя трагическій конецъ и моимъ дѣйствіямъ и моимъ словамъ. Прощайте.

X.

St.- Pétersbourg le 4 Août. (1833).

Je ne vous ai pas donné de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je n'aurais pu y réussir avec toute la bonne volonté possible. Imaginez-vous une tente, qui a 3 archines en long et en large et $2^1/_2$ de hauteur, occupée par trois pérsonnes et tout leur bagage, toute leur armure, comme: sabres, carabines, chacauts etc. etc. Le temps a été horrible; une pluie, qui ne finissait pas, faisait que souvent nous passions 2 jours de suite sans pouvoir sécher nos habits. Et pourtant cette vie ne m'a pas tout-à-fait déplu. Vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la boue, et maintenant, grâce à Dieu, j'en ai joui completement. Nous sommes rentrés en ville, et bientôt recommençons nos occupations. La seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier! Et alors, alors... bon Dieu! Si vous saviez la vie que je me propose de mêner!... Oh, cela sera charmant! D'abord, des bisarreries, des folies de toute espèce et de la poésie noyée dans du champagne. Je sais, vous allez vous recrier; mais hélas! le temps de mes rêves est passé; le temps de c r o i r e n'est plus; il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achette avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur, qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive!... Voilà ce qui m'est nécessaire maintenant et vous vous apercevez, chère amie, que je suis quelque peu changé depuis nous sommes séparés. Quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai, j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tâche de se désabituer du vin—mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans la passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort

communes. Mais parlons d'autres choses. Vous me dites que le prince T. et votre soeur son épouse se trouvent fort content l'un de l'autre; je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre soeur ne parait pas très disposée à la soumission, et il parait que monsieur n'est pas non plus un agneau! Je souhaite que ce calme factice dûre le plus longtemps possible, mais je ne saurai prédire rien de bon. Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez, et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire: oui.—Que faites vous à la campagne? vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? Voici des questions qui vous auront l'air d'être faites sans aucune intention serieuse!

Dans un an, peût-être, je viendrai vous voir; et quels changements ne trouverai-je pas? me reconnaitrez-vous, et voudrez-vous le faire?—Et moi, quel rôle jouerai-je! sera ce un moment de plaisir pour vous, ou d'embarras pour nous deux? car je vous avertis, que je ne suis plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et Dieu sait ce que je deviendrai encore dans un an.—Ma vie j'usqu'ici n'a été qu'une suite de désappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi et des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis dégoûté. — Mais ceci est un sujet bien triste que je tacherai de ne pas ramener une autre fois. Lorsqne vous serez à Moscou, annoncez le moi, chère amie... je compte sur votre constance; adieu. Mes compliments à ma cousine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour le faire moi-même.

Переводъ: Я не писалъ къ вамъ съ тѣхъ поръ, какъ мы перешли въ лагерь, да и не могъ рѣшительно, при всемъ желаніи. Представьте себѣ нашу палатку, по 8 аршина въ длину и ширину, и въ 2½ аршина вышины; въ ней живутъ трое, и тутъ же вся поклажа и доспѣхи, какъ то: сабли, карабины, кивера и проч. и проч. Погода была ужасная; подъ безконечнымъ дождемъ намъ случалось

иногда сутокъ по двое оставаться въ мокромъ платьѣ. Тѣмъ не менѣе эта жизнь отчасти мнѣ нравилась. Вы знаете, милый другъ, что во мнѣ всегда было явное влеченіе къ дождю и грязи—и тутъ, по милости Божіей, я насладился ими вдоволь.—Мы возвратились въ городъ, и скоро опять начнутся наши занятія. Одно меня ободряетъ—мысль, что черезъ годъ я офицеръ! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намѣренъ повести! О, это будетъ восхитительно! Во первыхъ, чудачества, шалости всякаго рода, и поэзія, залитая шампанскимъ. Я знаю, что вы возопіете; но, увы! пора моихъ мечтаній миновала; нѣтъ больше вѣры; мнѣ нужны чувственныя наслажденія, счастіе осязательное, такое счастіе, которое покупается золотомъ, чтобы я могъ носить его съ собою въ карманѣ какъ табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя въ покоѣ и бездѣйствіи мою душу!... Вотъ что мнѣ теперь необходимо, и вы увидите, милый другъ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались, я таки нѣсколько перемѣнился. Какъ скоро я замѣтилъ, что прекрасныя мечтанія мои разлетаются, я сказалъ самому себѣ, что заниматься изготовленіемъ новыхъ не стоитъ труда; гораздо лучше, подумалъ я, пріучить себя обходиться безъ нихъ. Я началъ пробовать: и походилъ въ это время на пьяницу старающагося по немногу отвыкать отъ вина; труды тои не были безплодны, и вскорѣ прошедшая жизнь представилась мнѣ не болѣе какъ программою незначительныхъ и весьма обыкновенныхъ похожденій. Но поговоримъ о другомъ. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его жена, очень довольны другъ другомъ; я не совсѣмъ вѣрю этому, потому что, кажется, знаю характеръ обоихъ: и ваша сестра не очень способна къ покорности, да и князь также не агнецъ! Желаю, чтобъ это искусственное спокойствіе продолжалось какъ можно долѣе, но я не могъ бы предсказать ничего хорошаго. Не говорю, чтобы у васъ было мало проницательности; скорѣе мнѣ сдается, что вы не хотѣли сказать мнѣ всего, что думали, и очень понятно, потому что теперь, если мои предположенія справедливы, вамъ даже не нужно говорить: да.—Что вы дѣлаете въ деревнѣ? Много ли у васъ сосѣдей, любезны ли они, забавны ли? Вотъ вамъ вопросы, въ которыхъ кажется нельзя видѣть никакого умысла!—Можетъ быть черезъ годъ я навѣщу васъ. Сколько перемѣнъ я увижу! Узнаете ли вы меня, и захотите ли узнать? А я, какую роль буду играть? Пріятно ли будетъ это свиданіе для васъ, или оно смутитъ насъ обоихъ? Впередъ знайте, что я не тотъ, какимъ былъ прежде: и чувствую и говорю иначе, и Богъ вѣсть, что изъ меня еще выйдетъ въ продолженіе года. До сихъ поръ я только и дѣлалъ что сбивался съ колеи; теперь я смѣюсь надъ этимъ, смѣюсь надъ собою и надъ другими. Я отцвѣлъ для

наслажденій, и они мнѣ надоѣли, хоть я и не пользовался ими. Но это очень грустный предметъ; въ другой разъ постараюсь больше не толковать о немъ. Когда пріѣдете въ Москву, дайте мнѣ знать, милый другъ... Разсчитываю на ваше постоянство. Прощайте. Мой поклонъ кузинѣ, если будете писать ей, потому что я самъ очень лѣнивъ на это.

XI.

S.-Pétersbourg, le 23 Décembre. (1835).

Chére amie! — Quoi qu'il arrive, je ne vous nommerai jamais autrement, car ce serait briser le dernier lien, qui m'attache encore au passé — et je ne le voudrais pour rien au monde: car mon avenir, quoique brillant à l'oeil, est vide et plat. Je dois vous avouer, que chaque jour je m'aperçois de plus en plus, que je ne serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux rêves et mes mauvais essais dans le chemin de la vie... car ou l'occasion me manque ou l'audace!.. On me dit: l'occasion arrivera un jour; l'expérience et le temps vous donneront de l'audace!... Et qui sait, quand tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de cette âme brûlante et jeune, que Dieu m'a donnée fort mal à propos? si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?... si enfin je ne serai pas tout-à-fait desabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'exitsence.

Je commence ainsi ma lettre par une c o n f e s s i o n, vraiment sans y penser! Eh bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez là du moins que si mon caractère est un peu changé, mon coeur ne l'est pas. La vue seule de votre dernière lettre à déjà été pour moi un reproche, bien mérité certainement. Mais que pourrai-je vous écrire? vous parler de moi? Vraiment je suis tellemment blasé snr ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me rappeler où je l'ai lue—et par suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!... Je vais dans le monde

maintenant... pour me faire connaitre, pour prouver, que je suis capable de trouver du plaisir dans la b o n n e s o c i é t é... Ah!... je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je dis des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela ne soit pas tout-à-fait nouveau, du moins cela se voit rarement!... Vous supposez, qu'on me renvois après cela tout de bon?... Eh bien non, tout au contraire; les femmes sont ainsi faites. Je commence à avoir du l'aplomb avec elles; rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse; je suis toujours empressé et bouillant, avec un coeur assez froid, qui ne bat que dans les grandes occasions. N'est-ce pas, j'ai fait du chemin!.. Et ne croyez pas, que ce soit une fanfaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modeste—et puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous, que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plaindre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi-même; si je ne connaissais pas votre générosité et votre bon sens, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peut-être, puisque autrefois vous avez calmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous maintenant chasser par de douces paroles cette froide ironie, qui se glisse dans mon âme irrésistiblement, comme l'eau qui entre dans un bâteau brisé! Oh! combien j'aurais voulu vous revoir, vous parler: car c'est l'accent de vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en écrivant mettre des notes audessus des mots; car maintenant lire une lettre c'est comme regarder un portrait: point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!...

J'étais à Царское Село, lorsque N. N. est arrivé. Quand j'en ai reçu la nouvelle, je suis devenu presque fou de joie; je me suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre; je suis retourné en un moment à mes joies passées; j'ai sauté deux années terribles, enfin... Je l'ai trouvé bien changé... il est gros comme j'étais alors; il est rose, mais toujours sérieux, pensant; pourtant nous avons ri

comme des fous la soirée de notre entrevue—et Dieu sait de quoi?

Ecrivez-moi de grâce, chère amie, maintenant que tous nos différents sont reglés, que vous n'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse-amitié!... Je voudrais bien vous revoir encore; au fond de ce dessein, pardonnez, il gît une pensée égoiste: c'est que près de vous je me retrouverais moi-même, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement; riche enfin de tous les biens, que les hommes ne peuvent nous ôter et que Dieu m'a ôté, lui!—Adieu, adieu—je voudrais continuer, mais je ne puis.

P. S. Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugerez convenable de les faire pour moi... adieu encore.

Переводъ. Милый другъ! Что бы ни случилось, я все буду называть васъ этимъ именемъ: иначе мнѣ придется порвать послѣднія нити, связывающія меня съ прошедшимъ, а этого я не хотѣлъ бы ни за что на свѣтѣ, потому что моя будущность, блистательная повидимому, въ сущности — пошлая и пустая. Нужно вамъ признаться, съ каждымъ днемъ я все больше убѣждаюсь, что изъ меня никогда ничего не выйдетъ, со всѣми моими прекрасными мечтаніями и непрекрасными опытами въ житейской наукѣ, потому что мнѣ или не представляется случая, или не достаетъ рѣшимости. Меня увѣряютъ, что случай когда нибудь выйдетъ, а рѣшимость пріобрѣтется временемъ и опытностью!... А кто порукою, что когда все это сбудется, я сберегу въ себѣ хоть частицу этой пламенной, молодой души, которою Богъ одарилъ меня черезъ-чуръ не кстати, что моя воля не истощится отъ такого выжиданія, что наконецъ я не разочаруюсь окончательно во всемъ томъ, что служитъ двигающею впередъ пружиною бытія? Такимъ образомъ я начинаю письмо и с п о в ѣ д ь ю, право не думая о томъ вовсе! Пусть же она мнѣ послужитъ извиненіемъ, и по крайней мѣрѣ покажетъ вамъ, что если характеръ мой нѣсколько измѣнился, сердце осталось тоже. Послѣднее письмо ваше, лишь только я взглянулъ на него, явилось мнѣ упрекомъ, и конечно вполнѣ заслуженнымъ. Но объ чемъ я могу вамъ писать! Говорить о себѣ? Право, я до такой степени избаловался, что когда на меня находитъ дурь любоваться собственными мыслями, я дѣлаю надъ собою усиліе, чтобы припомнить, гдѣ я читалъ ихъ, и отъ этого на-

рочно ничего не читаю, чтобы не мыслить!... Я теперь бываю въ свѣтѣ, для того чтобы меня знали, для того чтобы доказать, что я способенъ находить удовольствіе въ х о р о ш е м ъ о б щ е с т в ѣ... Ахъ!.. я волочусь и, вслѣдъ за объясненіемъ въ любви, говорю дерзости. Это еще забавляетъ меня нѣсколько, и хотя это несовсѣмъ ново, за то не всѣ такъ дѣлаютъ!... Вы думаете, что за такіе подвиги меня гонятъ прочь? О, нѣтъ, совсѣмъ напротивъ: женщины ужъ такъ сотворены. Я начинаю пріобрѣтать надъ ними власть. Ничто меня не трогаетъ, ни гнѣвъ, ни нѣжность, я всегда искателенъ и горячъ, но сердце у меня довольно холодное и способно забиться только въ рѣшительныхъ случаяхъ. Не правда ли, я проложилъ себѣ дорогу!... И не думайте, чтобъ это было хвастовство: я теперь человѣкъ самый скромный и притомъ мнѣ хорошо извѣстно, что этимъ ничего не возьмешь у васъ. Я говорю такъ, потому что только съ вами рѣшаюсь говорить искренно; потому что только вы одна съумѣете пожалѣть обо мнѣ, не унижая меня, такъ какъ и безъ того я самъ себя унижаю. Если бы я не зналъ вашего великодушія и вашего здраваго смысла, то не сказалъ бы того, что сказалъ. Когда-то вы облегчали мнѣ очень сильную горесть; можетъ и теперь вы пожелаете ласковыми словами отогнать эту холодную иронію, которая неудержимо втѣсняется мнѣ въ душу, какъ вода, наполняющая разбитое судно! О, какъ желалъ бы я опять васъ увидѣть, съ вами поговорить: мнѣ благотворны были самые звуки вашихъ словъ. Право слѣдовало бы въ письмахъ ставить ноты надъ словами, а то теперь читать письмо тоже, что глядѣть на портретъ: нѣтъ ни жизни, ни движенія; выраженіе неподвижимой мысли; что-то отзывающееся смертью!...

Я былъ въ Царскомъ селѣ, когда пріѣхалъ N. N. Узнавъ о томъ, я едва не сошелъ съ ума отъ радости: разговаривалъ съ самимъ собою, смѣялся, потиралъ себѣ руки. Въ одну минуту возвратился я къ моимъ прошедшимъ радостямъ: двухъ страшныхъ годовъ какъ будто не бывало, наконецъ... На мои глаза онъ очень перемѣнился... онъ толстъ, какъ я тогда былъ, у него здоровый цвѣтъ лица, но онъ постоянно задумчивъ и сдержанъ; тѣмъ не менѣе, увидавшись, мы хохотали какъ сумасшедшіе — Богъ вѣсть отчего?... Пишите мнѣ пожалуста, милый другъ; теперь всѣ наши недоразумѣнія уладились; вамъ нечего больше пенять на меня: вѣдь я кажется былъ достаточно искренъ и послушенъ въ этомъ письмѣ, чтобы заставить васъ забыть мое преступленіе противъ дружбы!... Мнѣ бы очень хотѣлось съ вами повидаться; въ сущности это желаніе эгоистическое, потому что возлѣ васъ я нашелъ бы себя самого, сталъ бы опять, какимъ нѣкогда былъ, довѣрчивымъ, богатымъ любовью и пре-

*

данностью, богатымъ наконецъ всѣми благами, которыхъ люди не могутъ у насъ отнять, и которыя самъ Богъ у меня отнялъ! — Прощайте, прощайте, хотѣлъ бы еще писать, но не могу... P. S. Поклонитесь всѣмъ, кому сочтете нужнымъ... Прощайте еще.

XII.

31 Мая (1837) съ Кавказа.

Je tiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie, ainsi qu'à madame votre soeur les souliers circassiens, que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés dès que j'ai pu en trouver. Je suis maintenant aux eaux, je bois et me baigne, enfin je mène une vie de canard tout-à-fait. Dieu veuille, que ma lettre vous trouve encore à Moscou, car si elle va voyager en Europe, à vos trousses, elle vous attrapera peut-être à Londres, à Paris, à Naples, que sais-je,—et toujours dans des endroits, où elle sera pour vous a chose la moins intéressante, de quoi Dieu la garde et moi aussi! J'ai ici un logement fort agréable; chaque matin je vois de ma fenêtre toute la chaîne des montagnes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore au moment, où j'écris cette ettre, je m'arrête quelques fois pour jeter un coup d'oeil sur ces géants; ils sont beaux et majestueux. J'espère m'ennuyer joliment tout le temps que je passerai aux eaux, et quoiqu'il est très facile de faire des connaissances, je tache de n'en pas faire du tout; je rode chaque jour sur la montagne, ce qui seul a rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que marcher; ni la chaleur, ni la pluie ne m'arrètent... Voici à peu près mon genre de vie, chère amie; ce n'est pas fort beau, mais... dès que je serai guéri, j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici.

Adieu, chère; je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris, et à Berlin. A. a-t-il reçu sa permission; embrassez le de ma part. Adieu. Tout à vous...

P. S. De grâce écrivez-moi et dites, si les souliers vous ont plu.

Переводъ. Исполняю въ точности мое обѣщаніе и посылаю черкескіе башмаки вамъ, милый и дорогой другъ мой, а также сестрѣ вашей; ихъ шесть паръ, стало быть дѣлежъ можно будетъ сдѣлать мирный; купилъ ихъ, какъ только отыскалъ. Я теперь на водахъ, пью и купаюсь, словомъ, по образу жизни, сталъ похожъ на утку. Дай Богъ, чтобы письмо мое застало васъ еще въ Москвѣ, потому что если оно будетъ путешествовать по Европѣ по вашимъ слѣдамъ, то можетъ быть вы получите его въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ, во всякомъ случаѣ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ оно вовсе не будетъ для васъ интересно, а этого избави Боже! — У меня здѣсь очень хорошее помѣщеніе; каждое утро изъ своего окна смотрю на всю цѣпь снѣжныхъ горъ и на Эльбрусъ; вотъ и теперь, сидя за письмомъ къ вамъ, я повременамъ кладу перо, чтобы взглянуть на этихъ великановъ: такъ они прекрасны и величественны. Надѣюсь порядкомъ поскучать, покуда останусь на водахъ, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избѣгать ихъ. Ежедневно таскаюсь по горамъ, и ужъ отъ этого одного укрѣпилъ себѣ ноги; постоянно хожу; ни жаръ, ни дождь меня не останавливаютъ... Вотъ вамъ и описаніе моей жизни, милый другъ; особенно хорошаго тутъ нѣтъ, но... дайте мнѣ выздоровѣть, и когда здѣсь будетъ государь, отправлюсь въ осеннюю экспедицію противъ черкесовъ. — Прощайте, милая; желаю вамъ веселиться въ Парижѣ и Берлинѣ. Прощайте, весь вашъ. — А. получилъ ли отпускъ; поцѣлуйте его за меня. P. S. пожалуста пишите и скажите, понравились ли вамъ башмаки.

XIII.

15 Février (1838).

Je vous écris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgorod. J'attendais jusqu'à présent, qu'il m'arrivat quelque chose d'agréable pour vous l'annoncer, mais rien n'est venu, et je me décide à vous écrire, que je m'ennuie à la mort. Les premiers jours de mon arrivée je n'ai fait que courir: présentations, des visites de cérémonie—vous savez; puis je suis allé chaque jour au spectacle; il est fort bien, c'est vrai, mais j'en suis déjà dégoûte. Et puis on me persécute, tous les chers parents! on ne veut pas que je quitte le service, quoique je l'aurais pu déjà, vu que ces messieurs, qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté. Enfin je suis passablement

découragé et je désire même quitter Pétersbourg au plus vite pour aller n'importe où, que ce soit au régiment, ou au diable; j'aurai au moins alors prétexte pour me lamenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part, que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire: on dirait, que vous faites la fière; pour N. N. cela ne m'étonne pas, car il va se marier un des ces jours-ci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son coeur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou; mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui en envoie deux.

1. Въ С.-Петерб. у Пантелеймоновскаго моста, на Фонтанкѣ, противъ лѣтняго сада, въ домѣ Венецкой.

2. Въ Новгородскую губернію, въ первый округъ военныхъ поселеній, въ штабъ лейбъ-гвардіи гродненскаго гусарскаго полка.

Si après cela il ne m'écrit pas, je le maudis et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malédiction. Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commérages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on a à faire à trois ou quatre femmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre sesque ou sexe charmant, mais hélas! Si je vous le dis, c'est aussi une preuve que je vous crois une exception. Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des histoires, des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions; c'est quelque chose d'odieux pour moi surtout, qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare ou très peu causante (celle des géorgiennes par ex. car elles ne parlent pas russe, ni moi géorgien).

Je vous prie, chère amie, écrivez-moi un peu, sacrifiez-vous—écrivez-moi toujours et ne faites pas de ces petites cé-

rémonies—vous devez être audessus de cela! Car enfin, si quelquefois je tarde à répondre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou j'ai trop à faire—deux excuses valables.

J'ai été chez Joukofsky et lui ai porté... Казначейшу, qu'il m'avait demandé et qu'il porta à Wiasemsky pour lire ensemble; cela leur a beaucoup plu—et cela sera inséré au prochain numero du Современникъ.

Grand-maman espère, que je serai bientôt passé au hussards de Царское Село, mais c'est parce qu' on le lui a fait espérer, Dieu sait avec quel motif, et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à ce que je prenne mon congé; quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers, que jai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage et qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, mais cela ne prouve rien du tout.—Молитва странника. Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою и т. д. Adieu, chère amie; embrassez N. N. et dites lui que c'est une honte et dites le aussi à mademoiselle N. N.

Переводъ. Пишу къ вамъ, милый другъ, наканунѣ отъѣзда въ Новгородъ. Я все поджидалъ, не случится ли со мною чего хорошаго, чтобъ увѣдомить васъ о томъ; но ничего такого не случилось, и я рѣшаюсь писать къ вамъ, что мнѣ скучно до смерти. Первые дни послѣ пріѣзда прошли въ постоянной бѣготнѣ: представленія, церемонные визиты—вы знаете; да еще каждый день ѣздилъ въ театръ; онъ хорошъ, это правда; но мнѣ ужъ надоѣлъ. Въ добавокъ меня преслѣдуютъ всѣ эти милые родственники! Не хотятъ, чтобъ я бросилъ службу, хотя это мнѣ было бы и можно: вѣдь тѣ господа, которые вмѣстѣ со мною поступили въ гвардію, теперь ужъ тамъ не служатъ. Наконецъ, я таки упалъ духомъ и хотѣлъ бы даже какъ можно скорѣе бросить Петербургъ и уѣхать куда бы то ни было, въ полкъ ли, или хоть къ чорту; тогда по крайней мѣрѣ былъ бы предлогъ къ сѣтованію, а это все же было бы утѣшеніемъ.—Съ вашей стороны вовсе не любезно, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобъ писать ко мнѣ; можно подумать, что вы вздумали чваниться. Отъ N N это не удивительно, потому что онъ на дняхъ, какъ говорятъ здѣсь, женится на какой-то богатой купчихѣ, есте-

ственно, что мнѣ нѣтъ надежды занимать въ его сердцѣ такое же мѣсто, какое онъ отводитъ толстой оптовой торговкѣ. Онъ обѣщался писать мнѣ черезъ два дня послѣ моего отъѣзда изъ Москвы; но можетъ быть забылъ мой адресъ, вотъ ему два (слѣдуютъ адресы). Если послѣ этого онъ мнѣ не напишетъ, то я прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я ужъ собираюсь составить формулу моего проклятія. Боже! какъ затруднительно имѣть друзей, которые готовятся къ женитьбѣ.—Пріѣхавши сюда, я нашелъ цѣлый хаосъ сплетней; стараніями моими возстановленъ порядокъ, какой возможенъ между тремя или четырьмя женщинами, у которыхъ въ головѣ безтолочь: простите, что я такъ отзываюсь о вашемъ прекрасномъ полѣ; но, ахъ, вѣдь если я вамъ это говорю, это вамъ еще доказательство, что я васъ считаю исключеніемъ. Возвращаясь домой, я всякій разъ слышу только исторіи, исторіи, жалобы, упреки, подозрѣнія, заключенія; это просто несносно, особливо для меня, потому что я отвыкъ отъ этого на Кавказѣ, гдѣ женщины рѣдко бываютъ въ обществѣ и вовсе неразговорчивы (въ особенности грузинки: онѣ не знаютъ по русски, а я по грузински).—Прошу васъ, милый другъ, пишите мнѣ немножко, пожертвуйте собою; пишите мнѣ всегда и не соблюдайте мелочныхъ церемоній; вамъ надо быть выше ихъ! Вѣдь если иногда я медлю отвѣтомъ, это право значитъ, что мнѣ или нечего сказать вамъ, или у меня много дѣла—оба случая извинительные. Я былъ у Жуковскаго и по его желанію отнесъ ему Казначейшу. Онъ читалъ ее съ Вяземскимъ, и она имъ понравилась: ее напечатаютъ въ ближайшей книжкѣ Современника.—Бабушка надѣется, что меня скоро переведутъ въ гусары въ Царское-Село; ей это обѣщали, Богъ знаетъ зачѣмъ; оттого она не соглашается, чтобъ я вышелъ въ отставку; что до меня, то я ровно ни на что не надѣюсь.—Въ заключеніе этого письма посылаю вамъ стихи, которые попались мнѣ въ моихъ дорожныхъ бумагахъ; они мнѣ довольно нравятся, именно потому что я ихъ забылъ; но это ровно ничего не доказываетъ (слѣдуютъ стихи). Прощайте, милый другъ; поцѣлуйте N. N. и скажите, что ему стыдно; то же скажите m-lle N. N.

XIV.

(1838).

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de vorte chère personne et de tous les votres; aussi j'ai l'espérance que

votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fatuité dans cette phrase, direz-vous, mais vous vous tromperez. Je sais, que vous étes persuadée, que vos lettres me font un grand plaisir, puisque vous employez le silence comme punition, mais je ne mérite pas cette punition, car j'ai constamment pensé à vous; preuve: j'ai demandé un semestre d'un an — refusé, de 28 jours — refusé, de 14 jours—le grand duc a refusé de même. Tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir. Je ferai encore une tentative—Dieu veuille, qu'elle réussisse. Il faut vous dire, que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me croirez, quand vous saurez, que je vais chaque jour au bal: je suis lancé dans le grand-monde. Pendant un mois j'ai été à la mode, on se m'arrachait. C'est franc au moins. Tout ce monde que j'ai injurié dans mes vers se plait à m'entourer de flatteries, les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent comme d'un triomphe. Néanmoins je m'ennuie.—J'ai demandé d'aller au Caucase—refusé; on ne veut pas même me laisser tuer!—Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraitront-elles pas de bonne fois; peut-être vous paraitra-t-il étrange, qu'on cherche plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salons, quand on n'y trouve rien d'intéressant? Eh bien, je vous dirai mon motif. Vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour propre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette société, comme novice; je n'y suis pas parvenu, les portes aristocratiques se sont fermées pour moi; et maintenant j'entre dans cette même société non plus en solliciteur, mais en homme, qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité, on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même; les femmes, qui tiennent à avoir un salon remarquable, veulent m'avoir, car je suis aussi un lion—oui, moi, votre Michel, bon garçon, au quel vous n'avez jamais cru une crinière. Convenez que tout cela peut enivrer; heureusement ma paresse naturelle prend le dessus; et peu à peu je commence à trouver cela par trop insuppor-

table. Mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donnée des armes contre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies (ce qui arrivera), j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicule. Je suis persuadé que vous ne direz à personne mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que ce soit, et puis avec vous je parle comme avec ma conscience,—et puis c'est si doux de rire sous cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un, qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments. C'est de vous, que je parle, chère amie, je vous le répéte, car ce passage est tant soit peu obscur. Mais vous m'écrirez, n'est ce pas? Je suis sûr, que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave. Etes-vous malade? y-a-t-il quelqu'uu de malade dans la famille? Je le crains. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attend votre réponse qui j'espère sera non moins longue que ma lettre et certainement mieux écrite, car je crains bien que vous ne sachiez déchiffrer ce barbouillage. Adieu, chère amie, peut-être, si Dieu veut me recompenser, je parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sûr d'une réponse telle-quelle. Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublié! Tout à vous.

Переводъ. Ужъ давно я не писалъ къ вамъ, милый другъ, и не получалъ извѣстія ни объ вашей особѣ, ни обо всѣхъ вашихъ. И такъ надѣюсь, что поэтому вы не замедлите отвѣтомъ на это письмо. Пошлая фраза, скажете вы, и не ошибетесь. Вѣдь вы убѣждены, что письма ваши доставляютъ мнѣ великое удовольствіе; оттого-то вы и употребляете молчаніе вмѣсто наказанія; я его не заслуживаю, потому что постоянно объ васъ думалъ. Вотъ доказательства: я просился въ полугодовой отпускъ—мнѣ отказали; на двадцать восемь дней—отказали; на четырнадцать дней—великій князь опять отказалъ. Все это время я надѣялся васъ видѣть. Попытаюсь еще разъ; дай Богъ, чтобъ удалось.—Надо вамъ сказать, что я несчастнѣйшій человѣкъ, и вы мнѣ повѣрите, узнавъ, что я ежедневно ѣзжу по баламъ: я пустился въ большой свѣтъ. Въ теченіе мѣсяца

на меня была мода, меня искали на перерывъ. Это по крайней мѣрѣ искренно. Весь народъ, который я оскорблялъ въ стихахъ моихъ, осыпаетъ меня ласкательствами; самыя хорошенькія женщины просятъ у меня стиховъ и торжественно ими хвастаются. Тѣмъ не менѣе мнѣ скучно. Я просился на Кавказъ—отказъ: не хотятъ даже допустить, чтобъ меня убили. Можетъ быть эти жалобы покажутся вамъ не искренними. Можетъ быть вы найдете страннымъ, искать удовольствій и скучать ими, ѣздить по гостинымъ, не находя тамъ ничего занимательнаго. Ну, я вамъ открою мои побужденія. Вы знаете, что самый главный мой недостатокъ—суетность и самолюбіе; было время, когда я, какъ новичекъ, искалъ доступа въ это общество; аристократическія двери были для меня заперты; теперь въ это же самое общество я вхожу уже не искателемъ, а человѣкомъ взявшимъ съ боя свои права. Я возбуждаю любопытство, меня ищутъ всюду приглашаютъ, даже когда я не выражаю въ тому ни малѣйшаго желанія; дамы, съ притязаніями собирать замѣчательныхъ людей въ своихъ гостиныхъ, хотятъ, чтобы я у нихъ былъ, потому что вѣдь я тоже л е в ъ; да я, вашъ Мишель, добрый малый, у котораго вы никогда не подозрѣвали гривы. Согласитесь, что все это можетъ опьянять; но къ счастію меня выручаетъ природная моя лѣность, и мало по малу я начинаю находить все это довольно невыносимымъ. Эта новая опытность полезна; она мнѣ дала оружіе противъ этого общества, которое непремѣнно будетъ меня преслѣдовать своими клеветами, и тогда у меня есть въ запасѣ средство для отмщенія; вѣдь нигдѣ не встрѣчается столько низостей и странностей какъ тутъ. Увѣренъ, что вы никому не передадите моего хвастовства; вѣдь тогда меня сочтутъ чрезвычайно смѣшнымъ человѣкомъ; съ вами я говорю, какъ съ своею совѣстью. Оно же очень пріятно изподтишка смѣяться съ человѣкомъ, готовымъ всегда раздѣлять ваши чувства, смѣяться надъ предметами, которыхъ глупцы такъ ищутъ и которымъ такъ завидуютъ. Вы мнѣ напишете, неправда ли? Вы мнѣ не писали вѣрно по какой нибудь важной причинѣ. Здоровы ли вы? нѣтъ ли у васъ больныхъ въ домѣ? Боюсь, мнѣ что-то такое говорили. На слѣдующей недѣлѣ жду вашего отвѣта, и надѣюсь, что онъ будетъ не короче моего письма, а ужъ навѣрно лучше написанъ. Боюсь, что не разберете моего маранья. Прощайте, милый другъ; можетъ быть, если Богу угодно будетъ наградить меня, я получу полугодовой отпускъ, и тогда во всякомъ случаѣ дождусь положительнаго отвѣта. Поклонитесь всѣмъ, кто меня не забылъ. Весь вашъ и пр.

XV. ДВА ПИСЬМА КЪ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

1.

(Въ первыхъ мѣсяцахъ 1836 г.).

Милая бабушка, на дняхъ Марья Акимовна * уѣхала. Я узналъ объ ея отъѣздѣ въ Царскомъ—пріѣхалъ въ городъ на одинъ вечеръ, былъ у нея, но не засталъ, и потому не писалъ съ нею. Вы вѣрно получите мое письмо прежде ея пріѣзда, то и не будете безпокоиться, что я съ нею не пишу къ вамъ.

Я на дняхъ купилъ лошадь у генерала. Прошу васъ, если есть деньги, прислать мнѣ 1580 рублей; лошадь славная и стоитъ больше, а цѣна эта не велика.

На счетъ квартиры я еще не рѣшился, но есть нѣсколько на примѣтѣ; въ началѣ мая онѣ будутъ дешевле по причинѣ отъѣзда многихъ на дачу.—Я вамъ кажется писалъ, что Лизавета Аркадьевна** ѣдетъ нынче весной съ Натальей Алексѣевной въ чужіе краи на годъ; теперь это мода, какъ было нѣкогда въ Англіи; въ Москвѣ около двадцати семействъ собираются на будущій годъ въ чужіе краи. Пожалуста, бабушка, не мѣшкайте отъѣздомъ: вы, я думаю, получили письмо мое, съ которымъ я послалъ письмо Григорья Васильевича — пожалуста объясните мнѣ, что мнѣ лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословенія, цѣлую ваши ручки и остаюсь покорный внукъ М. Лермонтовъ.

2.

18 іюля (1837).

Милая бабушка, пишу къ вамъ по тяжелой почтѣ, потому что третьяго дня по экстра - почтѣ не успѣлъ, ибо ѣздилъ на

---

* Дочь родной сестры бабушки поэта—Екатерины Алексѣевны, бывшей за Хостатовымъ. Марья Акимовна была въ замужествѣ за Шанъ-Гиреемъ.

** Дочь Аркадія Алексѣевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова.

желѣзныя воды и, виноватъ, совсѣмъ забылъ, что тамъ письма не принимаютъ; боюсь, чтобы вы не стали безпокоиться, что одну почту нѣтъ письма. Эскадронъ нашего полка, къ которому баронъ Розенъ велѣлъ меня причислить, будетъ находиться въ Анапѣ на берегу Чернаго моря при встрѣчѣ государя,* тутъ же гдѣ отрядъ Вельяминова, и слѣдовательно я съ водъ не поѣду въ Грузію. И такъ прошу васъ, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова, и напишите къ нему: онъ обѣщался мнѣ доставлять ихъ туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщеніе сюда очень трудно, и почта не ходитъ, а депеши съ нарочными отправляютъ. Отъ Алексѣя Аркадьича** я получилъ извѣстія; онъ здоровъ, и нѣкоторые офицеры, которые оттуда сюда пріѣхали, мнѣ говорили, что его можно считать лучшимъ офицеромъ изъ гвардейскихъ, присланныхъ на Кавказъ. То, что вы мнѣ пишете объ Гвоздевѣ, меня не очень удивило; я, уѣзжая, ему предсказывалъ, что онъ будетъ юнкеромъ у меня во взводѣ; а впрочемъ жаль его.

Здѣсь погода ужасная: дожди, вѣтры, туманы; іюль хуже петербургскаго сентября, такъ что я остановился брать ванны и пить воды до хорошихъ дней. Впрочемъ, я думаю, что не возобновлю, потому что здоровъ какъ нельзя лучше.

Для отправленія въ отрядъ мнѣ надо будетъ сдѣлать много покупокъ, а свои вещи я думаю оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мнѣ денегъ, милая бабушка; на прожитье здѣсь мнѣ достанетъ, а если вы пришлете поздно, то въ Анапу трудно доставить.

Прощайте, милая бабушка, цѣлую ваши ручки, прошу вашего благословенія и остаюсь вашъ вѣчно привязанный къ вамъ и покорный внукъ Михаилъ.

Пуще всего не безпокойтесь обо мнѣ; Богъ дастъ мы скоро увидимся.

---

* Въ Анапѣ императоръ Николай Павловичъ былъ 22 сентября 1837 г.

** Столыпинъ, дядя поэта.

XVI. ТРИ ПИСЬМА КЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРУ ПЛАУТИНУ.

1.

Ваше превосходительство, милостивый государь! получивъ отъ вашего превосходительства приказаніе объяснить вамъ обстоятельства поединка моего съ господиномъ де-Барантомъ, честь имѣю донести вашему превосходительству, что 16 февраля (1840 г.), на балѣ у графини Лаваль, господинъ де-Барантъ сталъ требовать у меня объясненія на счетъ (будто бы) мною сказаннаго. Я отвѣчалъ, что все ему передано несправедливо; но такъ какъ онъ былъ этимъ недоволенъ, то я прибавилъ, что дальнѣйшаго объясненія давать ему не намѣренъ. На колкій его отвѣтъ я возразилъ такою же колкостію, на что онъ сказалъ, что если бъ онъ находился въ своемъ отечествѣ, то зналъ бы, какъ кончить дѣло. Тогда я отвѣчалъ, что въ Россіи слѣдуютъ правиламъ чести также строго, какъ и вездѣ, и что мы не меньше другихъ позволяемъ себя оскорблять безнаказанно. Тогда онъ меня вызвалъ и мы, условившись, разстались. 18-го числа, въ воскресенье, въ 12 час. утра, съѣхались мы за Черною Рѣчкою близъ Парголовской деревни. Его секундантомъ былъ французъ, имени котораго я не помню и котораго никогда доселѣ не видалъ. Такъ какъ господинъ де-Барантъ почиталъ себя обиженнымъ, то я и предоставилъ ему выборъ оружія. Онъ избралъ шпаги, но съ нами были и пистолеты. Едва успѣли мы скрестить шпаги, какъ у моей конецъ переломился и онъ слегка оцарапалъ мнѣ грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрѣлять вмѣстѣ, но я немного опоздалъ. Онъ далъ промахъ, а я выстрѣлилъ уже въ сторону. Послѣ сего онъ подалъ мнѣ руку и мы разстались. Вотъ, ваше превосходительство, подробный отчетъ о всемъ случившемся между нами. Съ истинною преданностію имѣю честь пребыть вашего превосх. покорный слуга Михаилъ Лермонтовъ.

2.

Отлучился я въ С.-Петербургъ съ позволенія полковаго командира. Обстоятельство, по которому г. де-Барантъ, сынъ

французскаго посланника при дворѣ его императорскаго величества, требовалъ у меня объясненія, состояло въ томъ, что правда ли, будто я говорилъ на его счетъ невыгодныя вещи извѣстной ему особѣ, которой онъ мнѣ не назвалъ? Колкости же его и мои заключались въ слѣдующемъ смыслѣ: когда я на вопросъ де-Баранта сказалъ, что никому не говорилъ о немъ предосудительнаго, то его отвѣтъ выражалъ недовѣрчивость; ибо онъ прибавилъ, что все-таки, если переданныя ему сплетни справедливы, то я поступилъ весьма дурно. На это я отвѣчалъ, что совѣтовъ и выговоровъ я не принимаю и нахожу его поведеніе весьма смѣшнымъ и дерзкимъ. О нашемъ разговорѣ и вызовѣ г. де-Баранта изъ бывшихъ на балѣ никто не слыхалъ, сколько мнѣ извѣстно, равно и объ условіяхъ нашихъ—а далѣе все было такъ, какъ изложено въ моемъ письмѣ. Секундантомъ съ моей стороны былъ отставной поручикъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка Столыпинъ, а не донесъ я начальству о случившемся, потому что дуэль не имѣла пагубныхъ послѣдствій.

3.

Сего 22 марта я просилъ письмомъ графа Браницкаго 2-го сказать барону Эрнесту де-Баранту, что я желаю его видѣть сего же числа въ 8 часовъ вечера, ибо до меня дошли слухи, что онъ говорилъ въ городѣ, будто я неправильно показалъ, что выстрѣлилъ въ сторону, не цѣля, и что онъ этимъ недоволенъ. Въ 8-мь часовъ вечера, я вышелъ въ коридоръ, между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, какъ будто за нуждою, не спрашивая караульнаго офицера и безъ конвоя, который ведетъ и на верхъ въ коммиссію. Я спросилъ его: правда ли, что онъ недоволенъ моимъ показаніемъ? Онъ отвѣчалъ: «дѣйствительно, я не знаю, почему вы говорите, что стрѣляли на воздухъ, не цѣля». Тогда я отвѣтилъ, что говорю это по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что это правда, а во-вторыхъ, потому что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему пріятна, а мнѣ можетъ служить въ пользу, но что если онъ недоволенъ этимъ моимъ объясне-

ніемъ, то когда я буду освобожденъ, и когда онъ возвратится, то я тогда буду вторично съ нимъ стрѣляться, если онъ того желаетъ. Послѣ сего де-Барантъ, отвѣтивъ мнѣ, что онъ драться не желаетъ, ибо совершенно удовлетворенъ моимъ объясненіемъ, уѣхалъ.

XVII.

КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ.

Ваше императорское высочество! выписанный по приговору военнаго суда тѣмъ же чиномъ въ армію, неся гнѣвъ государя императора и вашъ, я съ благоговѣніемъ покоряюсь судьбѣ моей, цѣня въ полной мѣрѣ вину мою и справедливость заслуженнаго наказанія. Я былъ ободренъ до сихъ поръ надеждой имѣть возможность усердною и ревностною службой загладить мой проступокъ. Но получивъ приказаніе явиться къ господину генералъ-адъютанту графу Бенкендорфу, я изъ словъ его сіятельства увидѣлъ, къ неописанной моей горести, что на мнѣ лежитъ не одно обвиненіе за дуэль съ господиномъ Барантомъ и за приглашеніе его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому можетъ подвергнуться человѣкъ дорожащій своею честію, офицеръ имѣвшій счастіе служить подъ высокимъ начальствомъ вашего императорскаго высочества. Графъ Бенкендорфъ изволилъ предложить мнѣ написать письмо къ господину Баранту, въ которомъ бы я просилъ у него извиненія въ ложномъ моемъ показаніи на счетъ моего выстрѣла.

Ваше императорское высочество! хотя не имѣю болѣе счастія служить подъ командой вашею, но нынѣ осмѣливаюсь прибѣгнуть къ высокой вашей защитѣ. Великодушное сердце ваше позволитъ мнѣ сказать вамъ со всею откровенностію: могла быть ошибка или недоразумѣніе въ словахъ моихъ или моего секунданта—личнаго объясненія у меня при судѣ съ господиномъ Барантомъ не было—но никогда я не унижался до обмана и лжи.

Вашему императорскому высочеству осмѣливаюсь повторить сказанное мною въ судѣ: я не имѣлъ намѣренія стрѣлять въ господина Баранта, не мѣтилъ въ него, выстрѣлилъ въ сторону, и это готовъ подтвердить честью моею. Въ доказательство намѣренія моего, не стрѣлять въ господина Баранта, служитъ то, что когда секундантъ мой Столыпинъ подалъ мнѣ пистолетъ, я ему сказалъ по-французски: je tirerai en l'air.

Чувствуя въ полной мѣрѣ дерзновеніе мое, я однако осмѣливаюсь надѣяться, что ваше императорское высочество соблаговолите войти въ мое трудное положеніе и защитить меня отъ незаслуженнаго обвиненія.

Съ благоговѣйною преданностію имѣю счастіе пребывать вашего императорскаго высочества всепокорнѣйшій Михаилъ Лермонтовъ тенгинскаго полка поручикъ.

КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ.

РОМАНЪ*

I.

Поди! поди! раздался крикъ.
Пушкинъ.

Въ 1833 году, декабря 21 дня, въ 4 часа пополудни, по Вознесенской улицѣ, какъ обыкновенно, валила толпа народа, и между прочимъ шелъ одинъ молодой чиновникъ. Замѣтьте день и часъ, потому что въ этотъ день и въ этотъ часъ случилось событіе, отъ котораго тянется цѣпь различныхъ приключеній, постигшихъ всѣхъ моихъ героевъ и героинь, исторію которыхъ я обѣщался передать потомству, если потомство станетъ читать романы. И такъ по Вознесенской шелъ одинъ молодой чиновникъ, и шелъ онъ изъ департамента утомленный однообразною работой и мечтая о наградѣ и вкусномъ обѣдѣ, ибо всѣ чиновники мечтаютъ. На немъ былъ картузъ неопредѣленной формы и синяя ваточная шинель со старымъ бобровымъ воротникомъ; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырекъ, воротникъ и сумерки; казалось, онъ не торопился домой, а наслаждался чистымъ воздухомъ морознаго вечера, разливавшаго сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлямъ домовъ, соб-

* Этотъ отрывокъ недоконченнаго романа появился въ Русскомъ Вѣстникѣ (1882 г. 1) съ слѣдующимъ примѣчаніемъ редакціи: «Произведеніе это представляетъ, повидимому, первый замыселъ того типа, который впослѣдствіи выведенъ авторомъ подъ наименованіемъ Героя нашего времени. Главное дѣйствующее лицо носитъ, какъ и тамъ, фамилію Печорина. Княгиня Лиговская настоящаго разсказа есть Вѣра Героя нашего времени». Отрывокъ написанъ въ 1836 г.

лазнительнымъ, блистательнымъ магазинамъ и кандитерскимъ. Порою, поднявъ глаза къ верху съ истинно поэтическимъ умиленіемъ, сталкивался онъ съ какою-нибудь розовою шляпкой и смутившись извинялся. Коварная розовая шляпка сердилась, потомъ заглядывала ему подъ картузъ, и пройдя нѣсколько шаговъ оборачивалась, какъ будто ожидая вторичнаго извиненія—и напрасно! Молодой чиновникъ былъ совершенно недогадливъ!.. Но еще чаще онъ останавливался, чтобы поглядѣть сквозь цѣльныя окна магазина или кандитерской, блистающей чудными огнями и великолѣпною позолотой; долго, пристально, съ завистью разглядывалъ различные предметы и, опомнившись, съ глубокимъ вздохомъ и стоическою твердостью продолжалъ свой путь. Самые же ужасные мучители его были извощики, и онъ ненавидѣлъ извощиковъ.—Баринъ! куда изволите?—прикажете подавать?—подавать-съ? Это была пытка Тантала, и онъ въ душѣ глубоко ненавидѣлъ извощиковъ.

Спустясь съ Вознесенскаго моста и собираясь поворотить направо по канавѣ, вдругъ слышитъ онъ крикъ: берегись; поди!.. Прямо на него летѣлъ гнѣдой рысакъ; изъ-за кучера мелькалъ бѣлый султанъ, развѣвался воротникъ сѣрой шинели. Едва онъ успѣлъ поднять глаза, ужъ одна оглобля была противъ его груди, и паръ, вылетавшій клубами изъ ноздрей бѣгуна, обдалъ ему лицо; машинально онъ ухватился руками за оглоблю и въ тотъ же мигъ сильнымъ порывомъ лошади былъ отброшенъ нѣсколько шаговъ въ сторону на тротуаръ... Раздалось кругомъ: задавилъ, задавилъ. Извощики погнались за нарушителемъ порядка, но бѣлый султанъ только мелькнулъ у нихъ предъ глазами и былъ таковъ.

Когда чиновникъ очнулся, боли онъ нигдѣ не чувствовалъ, но колѣна у него тряслись еще отъ страха; онъ всталъ, облокотился на перила канавы, стараясь придти въ себя; горькія думы овладѣли его сердцемъ и съ этой минуты перенесъ онъ всю ненависть, къ какой онъ только былъ способенъ, отъ извощиковъ на гнѣдыхъ рысаковъ и бѣлые султаны.

Между тѣмъ бѣлый султанъ и гнѣдой рысакъ пронеслись вдоль канавы, поворотили на Невскій, съ Невскаго на Караванную, оттуда на Семіоновскій мостъ, потомъ направо по Фонтанкѣ, и тутъ остановились у богатаго подъѣзда, съ навѣсомъ и стеклянными дверьми, съ мѣдною блестящею отдѣлкой.

— Ну, сударь, сказалъ кучеръ, широкоплечій мужикъ съ окладистою рыжею бородой,—Васька нынче показалъ себя.

Надобно замѣтить, что у кучеровъ любимая лошадь называется всегда Ваською. Даже вопреки желанію господъ, надѣляющихъ ее громкими именами Ахилла, Гектора, она все-таки будетъ для кучера не Ахиллъ и не Гекторъ, а Васька.

Офицеръ слѣзъ, потрепалъ дымящагося рысака по крутой шеѣ,

улыбнулся ему признательно и взошелъ на блестящую лѣстницу; о раздавленномъ чиновникѣ не было и помину...

Теперь, когда онъ снялъ шинель закиданную снѣгомъ и взошелъ въ свой кабинетъ, мы свободно можемъ пойти за нимъ и описать его наружность, къ несчастію вовсе не привлекательную: онъ былъ небольшаго роста, широкъ въ плечахъ и вообще нескладенъ; казался сильнаго сложенія, неспособнаго къ чувствительности и раздраженію; походка его была нѣсколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто онъ выказывалъ лѣнь и беззаботное равнодушіе, которое теперь въ модѣ и въ духѣ вѣка, если это не плеоназмъ. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человѣка: видно было, что онъ слѣдовалъ не всеобщей модѣ, а сжималъ свои чувства и мысли изъ недовѣрчивости или изъ гордости. Звуки его голоса были то густы, то рѣзки, смотря по вліянію текущей минуты; когда онъ хотѣлъ говорить пріятно, то начиналъ запинаться и вдругъ оканчивалъ ѣдкою шуткой, чтобы скрыть собственное смущеніе, и въ свѣтѣ утверждали, что языкъ его золъ и опасенъ, ибо свѣтъ не терпитъ въ кругу своемъ ничего сильнаго, потрясающаго, ничего, что бы могло обличить характеръ и волю: свѣту нужны французскіе водевили и русская покорность чуждому мнѣнію.

Лицо моего героя, смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Ляфатера и его послѣдователей: они прочли бы на немъ глубокіе слѣды прошедшаго и чудныя обѣщанія будущности; толпа же говорила, что въ его улыбкѣ, въ его странно блестящихъ глазахъ есть что-то. Въ заключеніе портрета скажу, что онъ назывался Григорій Александровичъ Печоринъ, а между родными просто Жоржъ, на французскій ладъ, что притомъ ему было двадцать три года, и что у родителей его было три тысячи душъ въ Саратовской, Воронежской и Калужской губерніяхъ. Послѣднее я прибавляю, чтобы немного скрасить его наружность во мнѣніи строгихъ читателей. Виноватъ, забылъ включить, что Жоржъ былъ единственный сынъ, не считая сестры, шестнадцатилѣтней дѣвочки, которая была очень недурна собою и по словамъ маменьки (папеньки ужъ не было на свѣтѣ), не нуждалась въ приданомъ и могла занять высокую степень въ обществѣ, съ помощію Божіей, хорошенькаго личика и блестящаго воспитанія.

Григорій Александровичъ, войдя въ свой кабинетъ, повалился въ широкія кресла; лакей вошелъ и доложилъ ему, что дескать барыня изволила уѣхать обѣдать въ гости, а сестра изволила ужъ откушать. Я обѣдать не буду, былъ отвѣтъ: я завтракалъ.—Потомъ вошелъ мальчикъ лѣтъ тринадцати, въ красной казачьей куткѣ, быстроглазый,

бритый и съ виду большой плутъ, и подалъ, не говоря, ни слова визитную карточку: Печоринъ небрежно положилъ ее на столъ и спросилъ кто принесъ.

— Сюда нынче пріѣзжала молодая барыня съ мужемъ, отвѣчалъ Ѳедька,—и велѣли эту карточку подать Татьянѣ Петровнѣ (такъ называлась мать Печорина).

— Что жъ ты принесъ ее ко мнѣ?

— Да я думалъ что это все равно-съ! можетъ быть вамъ угодно прочесть.

— То-есть тебѣ хочется узнать, что здѣсь написано?

— Да-съ, эти господа никогда еще у насъ не были.

— Я тебя слишкомъ избаловалъ, сказалъ Печоринъ строгимъ голосомъ.—Набей мнѣ трубку.

Но эта важная карточка видно имѣла свойство возбуждать любопытство. Долго Жоржъ не рѣшался перемѣнить удобнаго положенія на широкихъ креслахъ и протянуть руку къ столу, притомъ въ комнатѣ не было свѣчъ—она озарялась красноватымъ пламенемъ камина, а велѣть подать огня и лишиться очаровательныхъ эффектовъ каминнаго освѣщенія ему также не хотѣлось. Но любопытство превозмогло: онъ всталъ, взялъ карточку и съ какимъ-то непонятнымъ волненіемъ ожиданія поднесъ ее къ рѣшеткѣ камина. На ней было напечатано готическими буквами: Князь Степанъ Степанычъ Лиговскій, съ княгиней. Онъ поблѣднѣлъ, вздрогнулъ, глаза его сверкнули, и карточка полетѣла въ каминъ. Минуты три ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, дѣлая разныя странныя движенія рукой, разныя восклицанія, то улыбаясь, то хмуря брови; наконецъ онъ остановился, схватилъ щипцы и бросился вытаскивать карточку изъ огня—увы! одна ея половина превратилась въ прахъ, а другая свернулась, почернѣла, и на ней едва только можно было разобрать: Степанъ Степ... Печоринъ положилъ эти бренные остатки на столъ, сѣлъ опять въ свои кресла и закрылъ глаза руками, и хотя я очень хорошо читаю побужденія души на физіономіяхъ, но по этой именно причинѣ не могу никакъ разсказать вамъ его мыслей. Въ такомъ положеніи сидѣлъ онъ четверть часа, и вдругъ ему послышался шорохъ, подобный легкимъ шагамъ, шуму платья или движенію листа бумаги. Хотя онъ не вѣрилъ привидѣніямъ, но вздрогнулъ, быстро поднялъ голову и увидѣлъ предъ собою въ сумракѣ что-то бѣлое и, казалось, воздушное. Съ минуту онъ не зналъ на что подумать, такъ далеко были его мысли—если не отъ міра, то по крайней мѣрѣ отъ этой комнаты.

— Кто это? спросилъ онъ.

— Я! отвѣчалъ принужденный контральто,—и раздался звонкій женскій хохотъ.

— Варенька! какая ты шалунья.

— А ты спалъ! ужасно весело!..

— Я бы желалъ спать—оно покойнѣе!

— Это стыдъ! отчего намъ на балахъ, въ обществахъ, такъ скучно! Вы всѣ ищете спокойствія... Какіе любезные молодые люди!

— А позвольте спросить, возразилъ Жоржъ зѣвая,—изъ какихъ благъ мы обязаны забавлять васъ?

— Оттого что мы дамы.

— Поздравляю. Но вѣдь намъ безъ васъ не скучно...

— Я почему знаю!

— И что мы станемъ говорить между собою?

— Моды, новости, развѣ мало.

— Повѣряйте другъ другу ваши тайны.

— Какія тайны—у меня нѣтъ тайнъ. Всѣ молодые люди такъ несносны.

— Большая часть изъ нихъ не привыкли къ женскому обществу.

— Пускай привыкаютъ—они и этого не хотятъ попробовать!

Жоржъ важно всталъ и поклонился съ насмѣшливою улыбкой.

— Варвара Александровна, я замѣчаю, что вы идете большими шагами въ храмъ просвѣщенія.

Варенька покраснѣла и надула розовыя губки, а братъ преспокойно опять опустился въ свое кресло. Между тѣмъ подали свѣчъ, и пока Варенька сердится и стучитъ пальчикомъ въ окно, я опишу вамъ комнату, въ которой мы находимся. Она была вмѣстѣ и кабинетъ, и гостиная, и соединялась корридоромъ съ другою частью дома. Свѣтло-голубые французскіе обои покрывали стѣны; лоснящіяся дубовыя двери съ модными ручками и дубовыя рамы оконъ показывали въ хозяинѣ человѣка порядочнаго. Драпировка надъ окнами была въ китайскомъ вкусѣ, а вечеромъ или когда солнце ударяло въ стекла, опускались пунцовыя сторы—противоположность рѣзкая съ цвѣтомъ горницы, но показывающая какую-то любовь къ странному, оригинальному. Противъ окна стоялъ письменный столъ, покрытый кипою картинокъ, бумагъ, книгъ, разныхъ видовъ чернильницъ и модныхъ мелочей; по одну его сторону стоялъ высокій густой трельяжъ, увитый непроницаемою сѣткой зеленаго плюща; по другую—кресла, на которыхъ теперь сидѣлъ Жоржъ. На полу подъ нимъ разостланъ былъ широкій коверъ, разрисованный пестрыми арабесками, другой персидскій коверъ висѣлъ на стѣнѣ, находящейся противъ оконъ, и на немъ развѣшены были пистолеты, два турецкія ружья, черкесскія шашки и кинжалы—подарки сослуживцевъ, погулявшихъ когда-то за Балканомъ. На мраморномъ каминѣ стояли три алебастровыя каррикатуры Паганини, Иванова и Россини. Остальныя стѣны были голыя и вдоль по нимъ стояли широкіе диваны, обитые шерстянымъ штофомъ пунцоваго цвѣта;

одна единственная картина привлекала взоры: она висѣла надъ дверьми ведущими въ спальню; она изображала неизвѣстное мужское лицо, писанное неизвѣстнымъ русскимъ художникомъ, человѣкомъ не знавшимъ своего генія и которому никто объ немъ не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазія глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо, безо всякаго искусственнаго наклоненія или оборота; свѣтъ падалъ сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо; казалось, вся мысль художника сосредоточивалась въ глазахъ и улыбкѣ. Голова была больше натуральной величины. Волосы гладкіе упадали по обѣимъ сторонамъ лба, который кругло и сильно выдавался и казалось имѣлъ въ устройствѣ своемъ что-то необыкновенное. Глаза устремленные впередъ блистали тѣмъ страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь прорѣзи черной маски. Испытующій и укоризненный лучъ ихъ казалось слѣдовалъ за вами во всѣ углы комнаты, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болѣе презрительная, чѣмъ насмѣшливая. Всякій разъ когда Жоржъ смотрѣлъ на эту голову, онъ видѣлъ въ ней новое выраженіе; она сдѣлалась его собесѣдникомъ въ минуты одиночества и мечтанія, и онъ, партизанъ Байрона, назвалъ ее портретомъ Мери. Товарищи, которымъ онъ ее съ восторгомъ показывалъ, называли ее порядочною картинкой. Между тѣмъ, покуда я описывалъ кабинетъ, Варенька постепенно придвигалась къ столу, потомъ подошла ближе къ брату и сѣла противъ него на стулъ; въ ея голубыхъ глазахъ незамѣтно было ни даже искры минутнаго гнѣва, но она не знала, чѣмъ возобновить разговоръ. Ей попалась подъ руки полусгорѣвшая визитная карточка.

— Что это такое? Степанъ Степ... А! это вѣрно нынче былъ князь Лиговскій!... какъ бы я желала видѣть Вѣрочку замужемъ. Она была такая добрая... Я вчера слышала, что они пріѣхали изъ Москвы... Кто же сжегъ эту карточку? Ее бы надо подать маменькѣ!

— Кажется я, отвѣчалъ Жоржъ, раскуривая трубку.

— Прекрасно! я бы желала, чтобы Вѣрочка это узнала: ей было бы очень пріятно! Такъ-то сударь ваше сердце измѣнчиво! Я ей скажу, скажу, непремѣнно. Впрочемъ нѣтъ, теперь ей должно быть все равно, она вѣдь замужемъ.

— Ты судишь очень здраво для твоихъ лѣтъ, отвѣчалъ ей братъ и зѣвнулъ, не зная, что̀ прибавить.

— Для моихъ лѣтъ! что я за ребенокъ! маменька говоритъ, что дѣвушка въ семнадцать лѣтъ такъ же благоразумна, какъ мужчина въ двадцать пять.

— Ты очень хорошо дѣлаешь, что слушаешь маменьки.

Эта фраза, повидимому похожая на похвалу, показалась насмѣшкой; такимъ образомъ согласіе опять разстроилось и они замолчали.

Мальчикъ вошелъ и принесъ записку: приглашеніе на балъ къ барону Р***.

— Какая тоска! воскликнулъ Жоржъ.—Надо ѣхать.

— Тамъ будетъ Mademoiselle Negouroff!... возразила ироническимъ тономъ Варенька.—Она еще вчера о тебѣ спрашивала... Какіе у нея глаза, прелесть...

— Какъ уголь въ горнилѣ раскаленный.

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалятъ глаза, то это значитъ—остальное нигдѣ не годится.

— Смѣйся, а самъ неравнодушенъ.

— Положимъ.

— Я и это разскажу Вѣрочкѣ.

— Давно ли ты увѣряла, что я для нея—все равно.

— Повѣрьте, я лучше этого говорю по-русски—я не монастырка.

— О! совсѣмъ нѣтъ, очень далеко...

Она покраснѣла и ушла.

Но я васъ долженъ предупредить, что это былъ на нихъ черный день: они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жоржъ любилъ сестру самою нѣжною братскою любовью.

Послѣдній намекъ на Mademoiselle Negouroff (такъ будемъ мы и называть въ послѣдствіи) заставилъ Печорина задуматься. Наконецъ неожиданная мысль прилетѣла къ нему свыше. Онъ придвинулъ чернильницу, вынулъ листъ почтовой бумаги и сталъ что-то писать. Покуда онъ писалъ, самодовольная улыбка часто появлялась на лицѣ его, глаза искрились. Однимъ словомъ, ему было очень весело, какъ человѣку, который выдумалъ что-нибудь необыкновенное. Кончивъ писать, онъ положилъ бумагу въ конвертъ и подписалъ: «Милостивой государынѣ Елизаветѣ Львовнѣ Негуровой въ собственныя руки», потомъ кликнулъ Ѳедьку и велѣлъ ему отнесть на городскую почту, да чтобы никто изъ людей не видалъ. Маленькій Меркурій, гордясь великою довѣренностію господина, стрѣлой помчался въ лавочку, а Печоринъ велѣлъ закладывать сани и чрезъ полчаса уѣхалъ въ театръ. Однако въ этой поѣздкѣ ему не удалось задавить ни одного чиновника.

II.

Давали Фенеллу (4-е представленіе). Въ узкой лазейкѣ ведущей къ кассѣ толпилась непроходимая куча народу. Печоринъ, который не имѣлъ еще билета и былъ нетерпѣливъ, адресовался къ одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей досталъ онъ кресло во второмъ ряду съ лѣвой стороны, и съ краю—важное преиму-

щество для тѣхъ, которые берегутъ свои ноги и ходятъ пить чай къ Фениксу. Когда Печоринъ вошелъ, увертюра еще не начиналась, и въ ложи не всѣ еще съѣхались. Между прочимъ прямо надъ нимъ въ бельэтажѣ сидѣли Негуровы, отецъ, мать и дочь. Дочка была бы недурна, если бы блѣдность, худоба и старость, почти общій недостатокъ петербургскихъ дѣвушекъ, не затмѣвали блеска двухъ огромныхъ глазъ и не разрушали гармонію между чертами довольно правильными и остроумнымъ выраженіемъ. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просіяла улыбкой.

Видно еще письмо не дошло по адресу, подумалъ онъ, и сталъ наводить лорнетъ на другія ложи. Въ нихъ онъ узналъ множество бальныхъ знакомыхъ, съ которыми иногда кланялся, иногда нѣтъ, смотря по тому, замѣчали его или нѣтъ. Онъ оскорблялся равнодушіемъ свѣта къ нему, потому что оцѣнилъ свѣтъ въ настоящую его цѣну. Онъ зналъ, что заставить говорить объ себѣ легко, но зналъ также, что свѣтъ два раза сряду не занимается однимъ и тѣмъ же лицомъ; ему нужны новые кумиры, новыя моды, новые романы. Ветераны свѣтской славы, какъ и всѣ другіе ветераны, самыя жалкія созданія. Въ коротконъ обществѣ, гдѣ умный, разнообразный разговоръ замѣняетъ танцы (рауты въ сторону), гдѣ говорить можно обо всемъ, не боясь цензуры тетушекъ, не встрѣчая черезчуръ строгихъ и неприступныхъ дѣвъ, въ такомъ кругу онъ могъ бы блистать и даже нравиться, потому что умъ и душа показываясь наружу придаютъ чертамъ жизнь, игру и заставляютъ забыть ихъ недостатки. Но такихъ обществъ у насъ въ Россіи мало, въ Петербургѣ еще меньше, вопреки тому, что его называютъ совершенно европейскимъ городомъ и владыкой хорошаго тона. Замѣчу мимоходомъ, что хорошій тонъ царствуетъ только тамъ, гдѣ вы не услышите ничего лишняго.

Но увы, друзья мои, за то какъ мало вы тамъ и услышите!

На балахъ Печоринъ со своею невыгодною наружностью терялся въ толпѣ зрителей, былъ или печаленъ, или слишкомъ золъ, потому что самолюбіе его страдало. Танцуя рѣдко, онъ могъ разговаривать только съ тѣми дамами, которыя сидѣли весь вечеръ у стѣнки, а съ этими-то онъ именно никогда не знакомился. У него прежде было занятіе—сатира. Стоя внѣ круга мазурки, онъ разбиралъ танцующихъ, и его колкія замѣчанія очень скоро расходились по залѣ и потомъ по городу. Но разъ какъ-то онъ подслушалъ въ мазуркѣ разговоръ одного длиннаго дипломата съ какою-то княжной. Дипломатъ подъ своимъ именемъ такъ и печаталъ всѣ его остроты, а княжна изъ одного приличія не хохотала во все горло. Печоринъ вспомнилъ, что когда онъ говорилъ то же самое и гораздо лучше одной изъ бальныхъ нимфъ, дня три тому назадъ, она только пожала плечами и не взяла

на себя даже труда понять его. Съ этой минуты онъ сталъ въ обществѣ больше танцовать и рѣже говорить умно, и даже ему показалось, что его начали принимать съ бо́льшимъ удовольствіемъ. Однимъ словомъ, онъ началъ постигать что по коренны́мъ законамъ общества въ танцующемъ кавалерѣ ума не полагается.

Загремѣла увертюра; все было полно; одна ложа, рядомъ съ ложей Негуровыхъ, оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина. Это ему казалось странно, и онъ желалъ бы очень наконецъ увидать людей, которые пропустили увертюру.

Занавѣсъ взвился, и въ эту минуту застучали стулья въ пустой ложѣ; Печоринъ поднялъ голову, но могъ видѣть только пунцовый беретъ и круглую бѣлую божественную ручку съ божественнымъ лорнетомъ, небрежно упавшую на малиновый бархатъ ложи. Нѣсколько разъ онъ пробовалъ слѣдить за движеніями неизвѣстной, чтобы разглядѣть хоть глазъ, хоть щечку. Напрасно! Разъ онъ такъ закинулъ голову назадъ, что могъ бы видѣть лобъ и глаза, но какъ на зло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть лица. У него заболѣла шея, онъ разсердился и далъ себѣ слово не смотрѣть больше на эту проклятую ложу. Первый актъ кончился. Печоринъ всталъ и пошелъ съ нѣкоторыми изъ товарищей къ Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ложу.

Фениксъ—ресторація весьма примѣчательная по своему топографическому положенію въ отношеніи къ заднимъ подъѣздамъ Александринскаго театра. Бывало, когда неуклюжіе рыдваны, влекомые парой хромыхъ клячъ, тѣснились возлѣ узкихъ дверей театра, и юныя нимфы, окутанныя грубыми казенными платками, прыгали на скрипучія подножки, толпа усастыхъ волокитъ, вооруженныхъ блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпилась на крыльцѣ твоемъ, о Фениксъ! Но скоро промчались эти буйные дни—и тамъ гдѣ мелькали прежде черные и бѣлые султаны, тамъ нынѣче чинно прогуливаются трехъ-угольныя шляпы безъ султановъ: великій примѣръ переворотовъ судьбы человѣческой.

Печоринъ взошелъ къ Фениксу съ однимъ преображенскимъ и другимъ конно-артиллерійскимъ офицеромъ. Онъ велѣлъ подать чаю и сѣлъ съ ними подлѣ стола. Народу было много всякаго. За тѣмъ же столомъ, гдѣ сидѣлъ Печоринъ, сидѣлъ также молодой человѣкъ во фракѣ, несовсѣмъ отлично одѣтый и курившій собственныя пахитосы, къ великому соблазну трактирныхъ служителей. Этотъ молодой человѣкъ былъ высокаго роста, блондинъ и удивительно хорошъ собою. Большіе темные голубые глаза, правильный носъ, похожій на носъ Аполлона Бельведерскаго, греческій овалъ лица и прелестные волосы, завитые природой, должны были обратить на него вниманіе каждаго.

Однѣ губы его, слишкомъ тонкія и блѣдныя въ сравненіи съ живостію красокъ разлитыхъ по щекамъ, мнѣ бы не понравились. По мѣднымъ пуговицамъ съ гербами на его фракѣ можно было отгадать, что онъ чиновникъ, какъ всѣ молодые люди во фракахъ въ Петербургѣ. Онъ сидѣлъ задумавшись и казалось не слушалъ разговора офицеровъ, которые шутили, смѣялись и разсказывали анекдоты, запивая дымъ трубки скернымъ чаемъ. Между прочимъ стали говорить о лошадяхъ. Одинъ артиллерійскій поручикъ хвастался своимъ рысакомъ. Начался споръ; Печоринъ à propos разсказалъ, какъ онъ сегодня у Вознесенскаго моста задавилъ какого-то франта и умчался отъ погони... Костюмъ франта въ измятомъ картузѣ былъ описанъ, его несчастное положеніе на тротуарѣ также. Смѣялись. Когда Печоринъ кончилъ, молодой человѣкъ во фракѣ всталъ и, протянувъруку, чтобы взять шляпу состола, сдернулъ на полъ подносъ съ чайникомъ и чашками. Движеніе было явно умышленное, всѣ глаза на него обратились, но взглядъ Печорина былъ дерзче и вопросительнѣе другихъ. Кровь кинулась въ лицо неизвѣстному господину, онъ стоялъ неподвиженъ и не извинялся. Молчаніе продолжалось съ минуту. Сдѣлался кружокъ, и всѣ предугадывали исторію. Вдругъ Печоринъ опять сѣлъ и громко кликнулъ служителю: что̀ стоитъ посуда? Ему сказали цѣну втрое дороже.

— Этотъ чиновникъ такъ былъ неловокъ, что разбилъ ее, продолжалъ Жоржъ холодно,—вотъ деньги.

Онъ бросилъ деньги на столъ и прибавилъ:

— Скажи ему, что теперь онъ можетъ отсюда уйти свободно.

Служитель при всѣхъ доложилъ съ почтеніемъ чиновнику, что онъ все получилъ и проспъ на водку, но тотъ ничего не отвѣчая скрылся. Толпа хохотала ему вослѣдъ, офицеры смѣялись еще больше и хвалили товарища, который такъ славно отдѣлалъ противника, не запутавшись между тѣмъ въ исторію. О! исторія у насъ вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нѣтъ, могли избѣжать или не могли, но ваше имя замѣшано въ исторію... все равно, вы теряете все, расположеніе общества, карьеру, уваженіе друзей. Попасться въ исторію, ужаснѣе этого ничего не можетъ быть, какъ бы эта исторія ни кончилась. Частная извѣстность ужъ есть острый ножъ для общества. Вы заставили объ себѣ говорить два дня, страдайте же двадцать лѣтъ за это. Судъ общаго мнѣнія, вездѣ ошибочный, производится однако у насъ совсѣмъ на другихъ основаніяхъ, чѣмъ въ остальной Европѣ. Въ Англіи, напримѣръ, банкротство—безчестіе неизгладимое, достаточная причина для самоубійства; развратная шалость въ Германіи закрываетъ навсегда двери хорошаго общества (о Франціи я не говорю, въ одномъ Парижѣ больше разныхъ общихъ мнѣній, чѣмъ въ цѣломъ свѣтѣ). А у насъ? Отъявленный взя-

точникъ принимается вездѣ очень хорошо; его оправдываютъ фразою: и! кто этого не дѣлаетъ!... Трусъ обласканъ вездѣ, потому что онъ смирный малый. А замѣшанный въ исторію! о! ему нѣтъ пощады. Маменьки говорятъ объ немъ: Богъ его знаетъ какой онъ человѣкъ; папеньки прибавляютъ: мерзавецъ...

Офицеры безъ новой тревоги допили свой чай и пошли; Печоринъ всталъ послѣ всѣхъ. На крыльцѣ кто-то его остановилъ за руку промолвивъ:—Я имѣю съ вами поговорить! По трепету руки онъ отгадалъ, что это его давишній противникъ. Нечего дѣлать, не миновать исторіи.

— Извольте говорить, отвѣчалъ онъ небрежно.

— Только не здѣсь на морозѣ, пойдемте въ корридоръ театра, возразилъ чиновникъ.

Они пошли молча.

Второй актъ уже начался, корридоры и широкія лѣстницы были пусты. На площадкѣ одной уединенной лѣстницы, едва освѣщенной далекою лампой, они остановились, и Печоринъ, сложивъ руки на груди, прислонясь къ желѣзнымъ периламъ и прищуривъ глаза, окинулъ взоромъ противника съ ногъ до головы и сказалъ:

— Я васъ слушаю!...

— Милостивый государь,—голосъ чиновника дрожалъ отъ ярости, жилы на лбу его надулись и губы поблѣднѣли:—милостивый государь, вы меня обидѣли! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секретъ, отвѣчалъ Жоржъ,—и вы могли бы объясниться при всѣхъ. Я вамъ отвѣчалъ бы то же, что теперь отвѣчу: когда жъ угодно стрѣляться? нынче? завтра? Я думаю, что угадалъ ваше намѣреніе, по крайней мѣрѣ разбитіе чашекъ не было случайностью. Вы хотѣли съ чего нибудь начать и начали очень остроумно, прибавилъ онъ насмѣшливо поклонившись.

— Милостивый государь, отвѣчалъ онъ задыхаясь,—вы едва меня сегодня не задавили; да, меня, который предъ нами, и этимъ хвастаетесь, вамъ весело? А по какому праву? Потому что у васъ есть рысакъ, бѣлый султанъ, золотые эполеты? Развѣ я не такой же дворянинъ, какъ вы? Я бѣденъ! Да, я бѣденъ! хожу пѣшкомъ. Конечно, послѣ этого я не человѣкъ, не только дворянинъ! А! вамъ это весело!... вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нѣтъ денегъ, которыя бы я могъ бросить на столъ... Нѣтъ, никогда, никогда, никогда я вамъ этого не прощу.

Въ эту минуту пламенѣвшее лицо его было прекрасно какъ буря. Печоринъ смотрѣлъ на него съ холоднымъ любопытствомъ и наконецъ сказалъ:

— Ваши разсужденія немножко длинны, назначьте часъ и разойдемтесь, вы такъ кричите, что разбудите всѣхъ лакеевъ.

И точно, нѣкоторые изъ нихъ, спавшіе на барскихъ салопахъ въ корридорѣ перваго яруса, начали подымать головы.

— Какое дѣло мнѣ до нихъ, пускай весь міръ меня слушаетъ.

— Я не этого мнѣнія... Если угодно, завтра въ восемь часовъ утра я васъ жду съ секундантомъ.

Печоринъ сказалъ свой адресъ.

— Драться! я васъ понимаю, на смерть драться... И вы думаете, что я буду достаточно вознагражденъ, когда всажу вамъ въ сердце свинцовый шарикъ... Прекрасное утѣшеніе! Нѣтъ, я бы желалъ, чтобы вы жили вѣчно и чтобъ я могъ вѣчно мстить вамъ. Драться—нѣтъ: тутъ успѣхъ слишкомъ невѣренъ.

— Въ такомъ случаѣ ступайте домой, выпейте стаканъ воды и ложитесь спать, возразилъ Печоринъ, пожавъ плечами. И хотѣлъ идти.

— Нѣтъ, постойте, сказалъ чиновникъ, придя нѣсколько въ себя:— и выслушайте меня!... вы думаете я трусъ? какъ будто храбрость не можетъ существовать безъ вывѣски шпоръ или эполетовъ? Повѣрьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чѣмъ вы? Моя жизнь горька, будущности у меня нѣтъ, я бѣденъ, такъ бѣденъ, что хожу въ стулья. Я не могу разъ въ годъ бросить пять рублей для своего удовольствія; живу жалованьемъ, безъ друзей, безъ родныхъ. У меня одна мать старушка... Я все для нея; я ея провидѣніе и подпора; она для меня и друзья и семейство. Съ тѣхъ поръ какъ живу, я еще никого не любилъ кромѣ ея. Потерявъ меня, сударь, она либо умретъ отъ печали, либо умретъ съ голоду...

Онъ остановился, глаза его налились слезами и кровью.

— И вы думали, что я съ вами буду драться?..

— Чего жъ наконецъ вы отъ меня хотите? сказалъ Печоринъ нетерпѣливо.

— Я хотѣлъ васъ заставить раскаяться.

— Вы кажется забыли, что не я началъ ссору.

— А развѣ задавить человѣка ничего, шутка, потѣха.

— Я вамъ обѣщаюсь высѣчь моего кучера...

— О! вы меня выведете изъ терпѣнія.

— Что жъ? мы тогда будемъ стрѣляться!...

Чиновникъ не отвѣчалъ. Онъ закрылъ лицо руками, грудь его волновалась, въ его отрывистыхъ словахъ проглядывало отчаяніе. Казалось, онъ рыдалъ и наконецъ онъ воскликнулъ:

— Нѣтъ не могу, не погублю ее... и убѣжалъ.

Печоринъ съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ ему вослѣдъ и пошелъ въ кресла. Второй актъ Фенеллы уже подходилъ къ концу.

Артиллеристъ и преображенецъ сидѣвшіе съ другаго края не замѣтили его отсутствія.

III.

Почтенные читатели, вы всѣ видѣли сто разъ Фенеллу, вы всѣ съ громомъ вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескачу чрезъ остальные три акта и подыму свой занавѣсъ въ ту самую минуту, какъ опустился занавѣсъ Александринскаго театра. Замѣчу только, что Печоринъ мало занимался піесой, былъ разсѣянъ и забылъ даже объ интересной ложѣ, на которую онъ далъ себѣ слово не смотрѣть.

Шумною и довольною толпой зрители спускались по извилистымъ лѣстницамъ къ подъѣзду. Внизу раздавался крикъ жандармовъ и лакеевъ. Дамы, закутавшись и прижавшись къ стѣнамъ и заслоняемыя медвѣжьми шубами мужей и папенекъ отъ дерзкихъ взоровъ молодежи, дрожали отъ холоду и улыбались знакомымъ. Офицеры и штатскіе франты съ лорнетами ходили взадъ и впередъ, стучали, одни саблями и шпорами, другіе калошами. Дамы высокаго тона составляли особую группу на нижнихъ ступеняхъ парадной лѣстницы; смѣялись, говорили громко и наводили золотыя лорнетки на дамъ безъ тона, обыкновенныхъ русскихъ дворянокъ; и однѣ другимъ тайно завидовали: необыкновенныя красѣ обыкновенныхъ; обыкновенныя, увы! гордости и блеску необыкновенныхъ.

У тѣхъ и у другихъ были свои кавалеры; у первыхъ почтительные и важные, у вторыхъ услужливые и порой неловкіе. Въ серединѣ же тѣснился кружокъ людей не свѣтскихъ, не знакомымъ ни съ тѣми, ни съ другими, кружокъ зрителей. Купцы и простой народъ проходили другими дверями. Это была миніатюрная картина всего петербургскаго общества.

Печоринъ, закутанный въ шинель и надвинувъ на глаза шляпу, старался пробраться къ дверямъ. Онъ поровнялся съ Лизаветой Николаевной Негуровой; на выразительную улыбку отвѣчалъ сухимъ поклономъ и хотѣлъ продолжать свой путь, но былъ задержанъ слѣдующимъ вопросомъ:

— Отчего вы такъ серьёзны, monsieur George? вы недовольны спектаклемъ.

— Напротивъ, я во все горло вызывалъ Голланда.

— Неправда ли, что Новицкая очень мила?

— Ваша правда.

— Вы отъ нея въ восторгѣ?

— Я очень рѣдко бываю въ восторгѣ.

— Вы этимъ никого не ободряете, сказала она съ досадой и стараясь иронически улыбнуться.

— Я не знаю никого, кто бы нуждался въ моемъ ободреніи, отвѣчалъ Печоринъ небрежно.—И притомъ восторгъ есть что-то такое дѣтское...

— Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемѣнѣ... давно ли?

— Право...

Печоринъ не слушалъ. Его глаза старались проникнуть пеструю стѣну шубъ, салоповъ, шляпъ. Ему показалось, что тамъ за колонной мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... Въ эту минуту жандармъ крикнулъ и долговязый лакей повторилъ за нимъ: карета князя Лиговскова.

Съ отчаянными усиліями расталкивая толпу, Печоринъ бросился къ дверямъ. Предъ нимъ человѣка за четыре мелькнулъ розовый салопъ, шаркнули ботинки. Лакей подсадилъ розовый салопъ въ блестящій купе, потомъ вскарабкалась въ него медвѣжья шуба. Дверцы хлопнули. «На Морскую, пошелъ!» Интересную карету замѣнила другая, можетъ быть не менѣе интересная, только не для Печорина. Онъ стоялъ какъ вкопаный. Мучительная мысль смутила его мозгъ. Эта ложа, на которую онъ далъ себѣ слово не смотрѣть... Княгиня сидѣла въ ней. Ея розовая ручка покоилась на малиновомъ бархатѣ. Ея глаза можетъ-быть часто покоились на немъ, а онъ даже и не подумалъ обернуться. Магнитическая сила взгляда любимой женщины не подѣйствовала на его бычачьи нервы. О бѣшенство! Онъ себѣ этого никогда не проститъ. Раздосадованный онъ пошелъ по тротуару, отыскалъ свои сани, разбудилъ толстаго кучера, который лежалъ свернувшись, покрытый медвѣжьею полостью, и отправился домой. А мы обратимся къ Лизаветѣ Николаевнѣ Негуровой и послѣдуемъ за ней.

Когда она сѣла въ карету, то отецъ ея началъ длинную диссертацію на счетъ молодыхъ людей нынѣшняго вѣка.

— Вотъ, напримѣръ, Печоринъ, говорилъ онъ,—нѣтъ того, чтобъ искать во мнѣ или Катенькѣ (Катенька жена его, пятидесяти пяти лѣтъ). Нѣтъ, и смотрѣть не хочетъ. Бывало, въ наше время: влюбится молодой человѣкъ, старается угодить родителямъ, всей роднѣ, а не то, чтобы все по угламъ съ дочкой перешептываться, да глазки дѣлать... Что это нынче—срамъ смотрѣть, и дѣвушки, и тѣ стали... Бывало, слово лишнее услышутъ, покраснѣютъ, да и баста: ужъ отъ нихъ не добьешься отвѣта. А ты, матушка, двадцати пяти лѣтъ дѣвка, такъ на шею и вѣшаешься. Замужъ захотѣлось.

Лизавета Николаевна хотѣла отвѣчать. Слезы навернулись у нея на глазахъ и она не могла произнесть ни слова. Катерина Ивановна за нее заступилась.

— Ужъ ты всегда на нее нападаешь понапрасну. Что жъ дѣлать, когда молодые люди не женятся. Надо самой не упускать случая. Печоринъ женихъ богатый, хорошей фамиліи; чѣмъ не мужъ? Вѣдь вѣкъ не сидѣть дома... слава Богу, что̀ мнѣ ея наряды-то стоять, а ты свое: замужъ хочешь. Да кабы замужъ не выходить, такъ что̀ бы было...

Эти разговоры повторялись въ томъ или другомъ видѣ всякій разъ, когда мать, отецъ и дочь оставались втроемъ... дочь молчала, а что происходило въ ея сердцѣ въ эти минуты—одинъ Богъ знаетъ.

Пріѣхали домой. Катерина Ивановна съ ворчливымъ супругомъ отправились въ свою комнату, а дочка въ свою. Родители ея принадлежали и къ старому и къ новому вѣку. Прежнія понятія, полузабытыя, полустертыя новыми впечатлѣніями жизни петербургской, вліяніемъ общества, въ которомъ Николай Петровичъ по чину своему долженъ былъ находиться, проявлялись только въ минуты досады, или во время спора. Они казались ему сильнѣйшими аргументами, ибо онъ помнилъ ихъ грозное дѣйствіе на собственный умъ во дни его молодости. Катерина Ивановна была дама не глупая, по словамъ чиновниковъ, служившихъ въ канцеляріи ея мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнѣніи другихъ старухъ; добрая, довѣрчивая и слѣпая маменька, для бальной молодежи... Истиннаго ея характера я еще не разгадалъ; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вмѣстѣ всѣ три вышесказанныя мнѣнія... И если выйдетъ портретъ похожъ, то обѣщаюсь идти пѣшкомъ въ Невскій монастырь слушать пѣвчихъ.

А Лизавета Николаевна... О! знакъ восклицанія... погодите. Теперь она вошла въ свою спальню и кликнула горничную Марѳушу, толстую, рябую дѣвищу... Дурной знакъ... я бы не желалъ, чтобъ у моей жены или невѣсты была толстая и рябая горничная!... Терпѣть не могу толстыхъ и рябыхъ горничныхъ, съ головой вымазанною чухонскимъ масломъ или приглаженною квасомъ, отъ котораго волосы слипаются и рыжѣютъ, съ руками шероховатыми какъ вчерашній рѣшетный хлѣбъ, съ сонными глазами и съ ногами хлопающими въ башмакахъ безъ ленточекъ, тяжелою походкой и (что всего хуже) четвероугольною таліей, облѣпленною пестрымъ домашнимъ платьемъ, которое внизу у̀же чѣмъ вверху... Такая горничная, сидя за работой въ задней комнатѣ порядочнаго дома подобно крокодилу подлѣ свѣтлаго американскаго колодца, такая горничная какъ сальное пятно, проглядывающее сквозь свѣжіе узоры перекрашеннаго платья, приводитъ умъ въ печальное сомнѣніе насчетъ домашняго образа жизни господъ... О, любезные друзья, не дай Богъ вамъ влюбиться въ дѣвушку, у которой такая горничная; если вы раздѣляете мои мнѣнія, то очарованіе ваше погибло навѣки.

Лизавета Николаевна велѣла горничной снять съ себя пукли и башмаки и расшнуровать корсетъ, а сама сѣвъ на постель сбросила небрежно головной уборъ на туалетъ. Черные ея волосы упали на плечи; но я не продолжаю описанія: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавою ножкой, желтою шеей и сухими плечами, на которыхъ обозначились красные рубцы отъ узкаго платья. Всякій вѣроятно на подобныя вещи довольно насмотрѣлся. Лизавета Николаевна легла въ постель, поставила возлѣ себя на столикъ свѣчу и раскрыла какой-то французскій романъ. Марѳуша вышла, тишина воцарилась въ комнатѣ. Книга выпала изъ рукъ печальной дѣвушки. Она вздохнула и предалась размышленіямъ.

Конечно ни одна отцвѣтшая красавица не повѣряла мнѣ думъ и чувствъ, волновавшихъ ея грудь послѣ длиннаго бала или вечеринки, когда въ одинокой своей комнатѣ она припоминала все свое прошедшее, пересчитывала всѣ любовныя объясненія, которыя нѣкогда выслушивала съ притворною холодностію, притворною улыбкой или съ истиннымъ наслажденіемъ, и которыя не имѣли для нея другихъ слѣдствій, кромѣ лишнихъ десяти строкъ въ альбомъ или мстительной эпиграммы отвергнутаго обожателя, брошенной мимоходомъ позади ея стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышленія должны быть тяжелы, несносны для самолюбія и сердца, если оное налицо имѣется, ибо натуральная исторія нынѣче обогатилась новымъ классомъ очень милыхъ и красивыхъ существъ, именно классовъ женщинъ безъ сердца. Чтобы легче угадать, о чемъ Лизавета Николаевна изволила думать, я принужденъ, къ моему великому сожалѣнію, разсказать вамъ нѣкоторыя частности ея жизни, тѣмъ болѣе что для объясненія слѣдующихъ происшествій это необходимо. Она родилась въ Петербургѣ и никогда не выѣзжала изъ Петербурга. Правда, одинъ разъ на два мѣсяца въ Ревель, на воды... Но вы сами знаете, что Ревель не Россія, и потому направленіе ея петербургскаго воспитанія не получило никакого измѣненія. У насъ, въ Россіи, нѣсколько вывелись изъ моды французскія мадамы, а въ Петербургѣ ихъ вовсе не держатъ. Англичанку нанять ея родители были не въ силахъ, англичанки дороги. Нѣмку взять было также не ловко, Богъ знаетъ какая попадется: здѣсь такъ много всякихъ... Елизавета Николаевна осталась вовсе безъ мадамы. По-французски она выучилась отъ маменьки, а больше отъ гостей; потому что съ самаго дѣтства она проводила дни свои въ гостиной, сидя возлѣ маменьки и слушая всякую всячину. Когда ей исполнилось тринадцать лѣтъ, взяли учителя по билетамъ. Въ годъ она кончила курсъ французскаго языка... и началось ея свѣтское воспитаніе. Въ комнатѣ ея стояла рояль, но никто не слыхалъ, чтобъ она играла... Танцовать она выучилась на дѣтскихъ балахъ.

Романы она начала читать, какъ только перестала учить склады, и читала ихъ удивительно скоро... Между тѣмъ, отецъ ея получилъ порядочное наслѣдство, вслѣдъ за нимъ хорошее мѣсто — и сталъ жить открытѣе... Пятнадцати лѣтъ ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилѣтнюю, и до двадцати пяти лѣтъ условный этотъ возрастъ не измѣнялся... Семнадцать лѣтъ точка замерзанія: они растягиваются сколько угодно, какъ резинныя помочи. Елизавета Николаевна была недурна и очень интересна: блѣдность и худоба интересны... потому что француженки блѣдны, а англичанки худощавы... Надобно замѣтить, что прелесть блѣдности и худобы существуетъ только въ дамскомъ воображеніи и что здѣшніе мужчины только изъ угожденія потакаютъ ихъ мнѣнію, чтобы чѣмъ нибудь отклонить упреки въ невѣжливости и такъ-называемой «казарменности».

При первомъ вступленіи Елизаветы Николаевны на паркетъ гостиныхъ у нея нашлись поклонники... Это все были люди всегда апплодирующіе новому водевилю, скачущіе слушать новую пѣвицу, читающіе только новыя книги. Ихъ замѣнили другіе: эти болочились за нею, чтобы возбудить ревность въ остывающей любовницѣ или чтобы кольнуть самолюбіе жестокой красоты. Послѣ этихъ явился третій родъ обожателей: люди, которые влюблялись отъ нечего дѣлать, чтобы пріятнѣе провести вечеръ, ибо Елизавета Николаевна пріобрѣла навыкъ свѣтскаго разговора и была очень любезна, нѣсколько насмѣшлива, нѣсколько мечтательна... Нѣкоторые изъ этихъ волокитъ влюбились не на шутку и требовали ея руки: но ей хотѣлось попробовать лестную роль непреклонной... И къ тому же они всѣ были прескучные. Имъ отказали... Одинъ съ отчаянія долго былъ боленъ, другіе скоро утѣшились... Между тѣмъ время шло. Она сдѣлалась опытною и бойкою дѣвой; смотрѣла на всѣхъ въ лорнетъ, обращалась очень смѣло, не краснѣла отъ двусмысленной рѣчи или взора, и вокругъ ея стали увиваться розовые юноши, пробующіе свои силы въ словесной перестрѣлкѣ, и посвящавшіе ей первые свои опыты страстнаго краснорѣчія. Увы, на этихъ было еще меньше надежды, чѣмъ на всѣхъ прежнихъ. Она съ досадой и вмѣстѣ тайнымъ удовольствіемъ убивала ихъ надежды, останавливала ѣдкою насмѣшкой разливы краснорѣчія — и вскорѣ они увѣрились, что она непобѣдимая и чудная женщина. Вздыхающій рой разлетается въ разныя стороны... и наконецъ для Елизаветы Николаевны наступилъ періодъ самый мучительный и опасный сердцу—отцвѣтающей женщины...

Она была въ тѣхъ лѣтахъ, когда еще волочиться за нею было не совѣстно, а влюбиться въ нее стало трудно; въ тѣхъ лѣтахъ, когда какой-нибудь вѣтреный или безпечный франтъ не почитаетъ уже за грѣхъ увѣрять шутя въ глубокой страсти, чтобы послѣ, такъ для смѣху,

скомпрометировать дѣвушку въ глазахъ подругъ ея, думая этимъ придать себѣ болѣе вѣсу... увѣрить всѣхъ, что она отъ него безъ памяти и стараться показать, что онъ ее жалѣетъ, что онъ не знаетъ какъ отъ нея отдѣлаться; говорить ей нѣжности шопотомъ, а вслухъ колкости... Бѣдная, предчувствуя, что это ея послѣдній обожатель, безъ любви, изъ одного самолюбія, старается удержать шалуна какъ можно долѣе у ногъ своихъ... Напрасно. Она болѣе и болѣе запутывается. И наконецъ... увы... за этимъ періодомъ остаются только мечты о мужѣ, какомъ-нибудь мужѣ... однѣ мечты.

Елизавета Николаевна вступила въ этотъ періодъ, но послѣдній ударъ нанесъ ей не безпечный шалунъ и не бездушный франтъ. Вотъ какъ это случилось.

Полтора года тому назадъ Печоринъ былъ еще въ свѣтѣ человѣкъ довольно новый. Ему надобно было, чтобы поддержать себя, пріобрѣсти то, что̀ нѣкоторые называютъ свѣтскою извѣстностію, то-есть прослыть человѣкомъ, который можетъ дѣлать зло, когда ему вздумается. Нѣсколько времени онъ напрасно искалъ себѣ пьедестала, вставъ на который, онъ бы могъ заставить толпу взглянуть на себя. Сдѣлаться любовникомъ извѣстной красавицы было бы слишкомъ трудно для начинающаго, а скомпрометировать дѣвушку молодую и невинную онъ бы не рѣшился. И потому онъ избралъ своимъ орудіемъ Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Какъ быть. Въ нашемъ бѣдномъ обществѣ фраза: онъ погубилъ столько-то репутацій, значитъ почти: онъ выигралъ столько-то сраженій.

Лизавета Николаевна и онъ были давно знакомы. Они кланялись. Составивъ планъ свой, Печоринъ отправился на одинъ балъ, гдѣ долженъ былъ съ нею встрѣтиться. Онъ наблюдалъ за нею пристально, и замѣтилъ, что никто ее не пригласилъ на мазурку: знакъ былъ данъ музыкантамъ начинать, кавалеры шумѣли стульями, устанавливая ихъ въ кружокъ. Лизавета Николаевна отправилась въ уборную, чтобы скрыть свою досаду. Печоринъ дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась въ залу, начиналась уже вторая фигура. Печоринъ торопливо подошелъ къ ней.

— Гдѣ вы скрывались, сказалъ онъ,—я искалъ васъ вездѣ, приготовилъ даже стулья, такъ я сильно надѣялся, что вы мнѣ не откажете.

— Какъ вы самоувѣренны.

И неожиданное удовольствіе вспыхнуло въ ея глазахъ.

— Однако жъ вы меня не накажете слишкомъ строго за эту самоувѣренность?

Она не отвѣчала и послѣдовала за нимъ.

Разговоръ ихъ продолжался во время всего танца. Блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики, Пе-

*

чоринъ не щадилъ ни одной изъ ея молодыхъ и свѣжихъ соперницъ. За ужиномъ онъ сѣлъ возлѣ нея, разговоръ подвигался все далѣе и далѣе, такъ что наконецъ онъ чуть-чуть ей не сказалъ, что обожаетъ ее до безумія (разумѣется двусмысленнымъ образомъ). Огромный шагъ былъ сдѣланъ, и онъ возвратился домой довольный своимъ вечеромъ.

Нѣсколько недѣль сряду послѣ этого они встрѣчались на разныхъ вечерахъ. Разумѣется, онъ неутомимо искалъ этихъ встрѣчъ, а она по крайней мѣрѣ ихъ не избѣгала. Однимъ словомъ, онъ пошелъ по слѣдамъ древнихъ волокитъ и дѣйствовалъ по формѣ, классически. Скоро всѣ стали замѣчать ихъ постепенное влеченіе другъ къ другу, какъ явленіе новое и совершенно оригинальное въ нашемъ холодномъ обществѣ. Печоринъ избѣгалъ нескромныхъ вопросовъ, но за то дѣйствовалъ весьма откровенно. Лизавета Николаевна была также этимъ очень довольна, потому что надѣялась завлечь его дальше и дальше, и потомъ, какъ говорили наши матушки, женить его на себѣ. Ея родители, не имѣя еще объ немъ никакого мнѣнія, такъ, безо всякихъ видовъ, пригласили однако же его посѣщать свой домъ, чтобъ узнать его короче. Многіе уже стали надъ нимъ подсмѣивать, какъ надъ будущимъ женихомъ; добрые пріятели стали уговаривать его, отклонять отъ безразсуднаго поступка, который ему не входилъ и въ голову. Изъ этого всего онъ заключилъ, что минута рѣшительнаго кризиса наступила.

Былъ блестящій балъ у барона ***. Печоринъ по обыкновенію танцовалъ первую кадриль съ Елизаветой Николаевной.

— Какъ хороша сегодня меньшая Р., замѣтила Елизавета Николаевна.

Печоринъ навелъ лорнетъ на молодую красавицу, долго смотрѣлъ молча и наконецъ отвѣчалъ:

— Да, она прекрасна. Съ какимъ вкусомъ перевиты эти пунцовые цвѣты въ ея густыхъ, русыхъ локонахъ. Я непремѣнно даю себѣ слово танцовать съ ней сегодня, именно потому, что она вамъ нравится. Не правда ли, я очень догадливъ, когда хочу вамъ сдѣлать удовольствіе.

— О, безъ сомнѣнія, вы очень любезны, отвѣчала она, вспыхнувъ.

Въ эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печоринъ очень вѣжливо раскланялся. Остальную часть вечера онъ или танцовалъ съ Р. или стоялъ возлѣ ея стула, старался говорить какъ можно больше и казаться какъ можно довольнѣе, хотя, между нами, дѣвица Р. была очень проста и почти его не слушала, но такъ какъ онъ говорилъ очень много, то она заключила, что Печоринъ кавалеръ очень любезный. Послѣ мазурки она подошла къ Елизаветѣ Николаевнѣ, и та ее спросила съ ироническою улыбкой:

— Какъ вамъ кажется вашъ постоянный нынѣшній кавалеръ?

— Il est très aimable, отвѣчала Р.

Это былъ жестокій ударъ для Елизаветы Николаевны, которая почувствовала, что лишается своего послѣдняго кавалера, ибо остальные молодые люди, видя что Печоринъ занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, съ этого дня Печоринъ сталъ съ нею разсѣяннѣе, холоднѣе; явно старался ей дѣлать тѣ мелкія непріятности, которыя замѣчаются всѣми, и за которыя между тѣмъ невозможно требовать удовлетворенія. Говоря съ другими дѣвушками, онъ выражался о ней съ оскорбительнымъ сожалѣніемъ, тогда какъ она напротивъ вслѣдствіе плохаго разсчета, желая кольнуть его самолюбіе, повѣряла своимъ подругамъ подъ печатью строжайшей тайны свою чистѣйшую, искреннѣйшую любовь. Но напрасно. Онъ только наслаждался излишнимъ торжествомъ, а она, увѣряя другихъ, мало-по-малу сама увѣрилась, что его точно любитъ. Родители ея, болѣе проницательные въ качествѣ безпристрастныхъ зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вотъ, матушка, цѣлый годъ пропустила даромъ, отказала жениху съ двадцатью тысячами доходу; правда что онъ старъ и въ параличѣ, — да что̀ нынѣшніе молодые люди! Хорошъ твой Печоринъ, мы заранѣе знали, что онъ на тебѣ не женится, да и мать не позволитъ ему жениться! Что̀ жъ вышло? Онъ же надъ тобою и насмѣхается».

Разумѣется, подобныя слова не успокоятъ ни уязвленнаго самолюбія, ни обманутаго сердца. Лизавета Николаевна чувствовала ихъ истину, но эта истина была уже для нея не нова. Кто долго преслѣдовалъ какую-нибудь цѣль, много для нея пожертвовалъ, тому трудно отъ нея отступиться, а если къ этой цѣли примыкаютъ послѣднія надежды увядающей молодости, то невозможно. Въ такомъ положеніи мы оставили Лизавету Николаевну пріѣхавшую изъ театра, лежащую на постели съ книжкой въ рукахъ и съ мыслями бродящими въ минувшемъ и будущемъ.

Наскучивъ пробѣгать глазами десять разъ одну и ту же страницу, она нетерпѣливо бросила книгу на столикъ и вдругъ примѣтила письмо съ адресомъ на ея имя и со штемпелемъ городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конвертъ, но любопытство превозмогло, конвертъ сорванъ дрожащими руками, свѣча придвинута и глаза ея жадно пробѣгаютъ первыя строки. Письмо было написано примѣтно искаженнымъ почеркомъ, какъ будто боялись, что самыя буквы измѣнятъ тайнѣ. Вмѣсто подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на пятна видимыя въ лунѣ, которымъ многіе простолюдины придаютъ какое-то символическое значеніе. Вотъ письмо отъ слова до слова:

«Милостивая Государыня.—Вы меня не знаете, я васъ знаю. Мы встрѣчаемся часто. Исторія вашей жизни также мнѣ знакома, какъ моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю въ васъ участіе именно потому, что вы никогда на меня не обращали вниманія, и притомъ я нынѣче очень доволенъ собою и намѣренъ сдѣлать доброе дѣло. Мнѣ извѣстно, что Печоринъ вамъ нравится, что вы всячески думаете снова вожжечь въ немъ чувства, которыя ему никогда не снились. Онъ съ вами пошутилъ. Онъ недостоинъ васъ, онъ любитъ другую. Всѣ ваши старанія послужатъ только къ вашей гибели. Свѣтъ и такъ указываетъ на васъ пальцами. Скоро онъ совсѣмъ отъ васъ отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вамъ такіе неосторожные и смѣлые совѣты, и чтобы вы болѣе убѣдились въ моемъ безкорыстіи, я клянусь вамъ, что вы никогда нъ узнаете моего имени.

«Вслѣдствіе чего остаюсь вашъ покорнѣйшій слуга»

(*Каракуля*).

Отъ такого письма съ другою сдѣлалась бы истерика. Но ударъ, поразивъ Елизавету Николаевну въ глубину сердца, не подѣйствовалъ на ея нервы. Она только поблѣднѣла, торопливо сожгла письмо и сдула на полъ легкій его пепелъ. Потомъ она погасила свѣчу и обернулась къ стѣнѣ. Казалось она плакала, но такъ тихо, такъ тихо, что если бы вы стояли у ея изголовья, то подумали бы, что она спитъ покойно и безмятежно.

На другой день она встала блѣднѣе обыкновеннаго, въ десять часовъ вышла въ гостиную, разливала сама чай по обыкновенію. Когда убрали со стола, отецъ ея уѣхалъ къ должности, мать сѣла за работу, она пошла въ свою комнату. Проходя черезъ залу ей встрѣтился лакей.

— Куда ты идешь? спросила она.

— Доложить-съ.

— О комъ?

— Вотъ тотъ-съ... офицеръ... Господинъ Печоринъ...

— Гдѣ онъ?

— У крыльца остановился.

Лизавета Николаевна покраснѣла, потомъ снова поблѣднѣла и потомъ отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нѣтъ, и когда онъ еще пріѣдетъ, прибавила она, какъ бы съ трудомъ выговаривая послѣднюю фразу,— то не принимать.

Лакей поклонился и ушелъ, а она опрометью бросилась въ свою комнату.

IV.

Получивъ такой рѣшительный отказъ, Печоринъ, какъ вы сами можете догадаться, не удивился: онъ приготовился къ такой развязкѣ и даже желалъ ея. Онъ отправился на Морскую. Сани его быстро скользили по сыпучему снѣгу; утро было туманное и обѣщало близкую оттепель. Многіе жители Петербурга, проведшіе дѣтство въ другомъ климатѣ, подвержены странному вліянію здѣшняго неба. Какое-то печальное равнодушіе, подобное тому, съ какимъ наше сѣверное солнце отворачивается отъ неблагодарной здѣшней земли, закрадывается въ душу, приводитъ въ оцѣпененіе всѣ жизненные органы. Въ эту минуту сердце неспособно къ энтузіазму, умъ къ размышленію. Въ подобномъ расположеніи находился Печоринъ. Неожиданный успѣхъ увѣнчалъ его легкомысленное предпріятіе, и онъ даже не обрадовался. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ долженъ былъ увидѣться съ женщиной, которая была постоянною его мечтой въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, съ которою онъ былъ связанъ прошедшимъ, для которой былъ готовъ отдать свою будущность, и сердце его не трепетало отъ нетерпѣнія, страха, надежды. Какое-то болѣзненное замираніе, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которыя подобно тяжелымъ обманамъ осаждали умъ его, предвѣщали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, онъ внутренно досадовалъ на теперешнее свое спокойствіе.

Вотъ сани остановились предъ однимъ домомъ. Онъ вышелъ и взялся за ручку двери. Но прежде чѣмъ онъ отворилъ ее, минувшее какъ сонъ проскользнуло въ его воображеніи и различныя чувства внезапно шумно пробудились въ душѣ его. Онъ самъ испугался громкаго біенія сердца своего, какъ пугаются сонные жители города при звукѣ ночнаго набата. Какія были его намѣренія, опасенія и надежды, извѣстно только Богу, но повидимому онъ готовъ былъ сдѣлать рѣшительный шагъ, дать новое направленіе своей жизни. Наконецъ дверь отворилась, и онъ медленно взошелъ по широкой лѣстницѣ. На вопросъ швейцара, кого ему угодно, онъ отвѣчалъ вопросомъ: дома ли княгиня Вѣра Дмитріевна?

— Князь Степанъ Степановичъ у себя-съ.

— А княгиня? повторилъ нетерпѣливо Печоринъ.

— Княгиня также-съ.

Печоринъ сказалъ швейцару свою фамилію, и тотъ пошелъ доложить.

Сквозь полураскрытую въ залу дверь Печоринъ бросилъ любопытный взглядъ, стараясь сколько-нибудь по убранству комнатъ угадать хотя слабый оттѣнокъ семейной жизни хозяевъ. Но, увы! въ столицѣ

всѣ залы схожи между собою, какъ всѣ улыбки и привѣтствія. Одинъ только кабинетъ иногда можетъ разоблачить домашнія тайны. Но кабинетъ также непроницаемъ для посторонняхъ посѣтителей, какъ сердце. Однако же краткій разговоръ со швейцаромъ позволилъ догадаться Печорину, что главное лицо въ домѣ былъ князь. «Странно, подумалъ онъ, она вышла замужъ за стараго, непріятнаго и обыкновеннаго человѣка, вѣроятно для того, чтобы дѣлать свою волю. И что же, если я отгадалъ правду, если она добровольно перемѣнила одно рабство на другое, то какая же у нея была цѣль? Какая причина?... Но нѣтъ, любить она его не можетъ, за это я ручаюсь головой».

Въ эту минуту швейцаръ вошелъ и торжественно произнесъ:

— Пожалуйте, князь въ гостиной.

Медленными шагами Печоринъ прошелъ черезъ залъ. Взоръ его затуманился, кровь прилила къ сердцу, онъ чувствовалъ что поблѣднѣлъ, когда перешелъ черезъ порогъ гостиной. Молодая женщина въ утреннемъ атласномъ капотѣ и блондовомъ чепцѣ сидѣла небрежно на диванѣ. Возлѣ нея на креслахъ въ мундирномъ фракѣ сидѣлъ какой-то толстый, лысый господинъ съ огромными глазами налитыми кровью и безконечно широкою улыбкой. У окна стоялъ другой, въ сюртукѣ, довольно сухощавый, съ волосами обстриженными подъ гребенку, съ обвислыми щеками и довольно неблагороднымъ выраженіемъ лица. Онъ просматривалъ газеты и даже не обернулся когда вошелъ молодой офицеръ. Это былъ самъ князь Степанъ Степановичъ. Молодая женщина поспѣшно встала, обратясь къ Печорину съ какимъ-то очень не яснымъ привѣтствіемъ; потомъ подошла къ князю и сказала ему:

— Mon ami, вотъ господинъ Печоринъ, онъ старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печоринъ, рекомендую вамъ своего мужа.

Князь бросилъ газеты на окно, раскланялся, хотѣлъ что-то сказать, но изъ устъ его вышли только отрывистыя слова:

— Конечно... мнѣ очень пріятно... семейство жены моей... что вы такъ любезны... Я поставилъ себѣ за долгъ... ваша матушка такая почтенная дама—я имѣлъ честь быть вчерась у нея съ женой.

— Матушка съ сестрой хотѣла сама быть у васъ сегодня, но она немного нездорова и поручила мнѣ засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе.

Печоринъ самъ не зналъ, что говорилъ. Опомнившись и думая, что онъ сказалъ глупость, онъ принялъ какой-то холодный, принужденный видъ. Княгинѣ показалось, вѣроятно, что этою фразой онъ хотѣлъ объяснить свой визитъ, какъ будто бы невольный. Выраженіе лица ея также сдѣлалось принужденно. Она подозрѣвала намѣреніе упрекнуть. Щеки ея готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тотъ захохоталъ и громко произнесъ: о, да!

Потомъ она пригласила Печорина сѣсть, заняла сама прежнее мѣсто, а князь взялъ опять въ руки свои газеты.

Княгиня Вѣра Дмитріевна была женщина двадцати двухъ лѣтъ, средняго женскаго роста, блондинка, съ черными глазами, что придавало лицу ея какую-то оригинальную прелесть, и такимъ образомъ рѣзко отличая ее отъ другихъ женщинъ, уничтожало сравненія, которыя можетъ быть были бы не въ ея пользу. Она была не красавица, хотя черты ея были довольно правильны. Овалъ лица совершенно аттическій и прозрачность кожи необыкновенная. Безпрерывная измѣнчивость ея физіономіи, повидимому несообразная съ чертами нѣсколько рѣзкими, мѣшала ей нравиться всѣмъ и нравиться во всякое время. Но за то человѣкъ, привыкшій слѣдить эти мгновенныя перемѣны, могъ бы открыть въ нихъ рѣдкую пылкость души и постоянную раздражительность нервъ, обѣщающую столько наслажденій догадливому любовнику. Ея станъ былъ гибокъ, движенія медленны, походка ровная. Видя ее въ первый разъ, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина съ характеромъ твердымъ, рѣшительнымъ, холоднымъ, вѣрующая въ собственное убѣжденіе, готовая принесть счастіе въ жертву правиламъ, но не молвѣ. Увидавъ же ея въ минуту страсти и волненія, вы сказали бы совсѣмъ другое или скорѣе не знали бы вовсе что̀ сказать.

Нѣсколько минутъ Печоринъ и она сидѣли другъ противъ друга въ молчаніи затруднительномъ для обоихъ. Толстый господинъ, который былъ по какому-то случаю баронъ, воспользовался этимъ промежуткомъ времени, чтобъ объяснить подробно свои родственныя связи съ прусскимъ посланникомъ. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще болѣе растягивать рѣчь свою. Жоржъ, пристально устремивъ глаза на Вѣру Дмитріевну, старался, но тщетно, угадать ея тайныя мысли; онъ видѣлъ ясно, что она не въ своей тарелкѣ, озабочена, взволнована. Ея глаза то тускнѣли, то блистали; губы то улыбались, то сжимались, щеки краснѣли и блѣднѣли поперемѣнно. Но какая причина этому безпокойству? Можетъ быть домашняя сцена до него случившаяся, потому что князь явно былъ не въ духѣ; можетъ быть радость и смущеніе воскресающей или только вновь пробуждающейся любви къ нему, можетъ быть непріятное чувство при встрѣчѣ съ человѣкомъ, который зналъ нѣкоторыя тайны ея жизни и сердца, который имѣлъ право и можетъ быть готовъ былъ ее упрекнуть...

Печоринъ, не привыкшій толковать женскіе взгляды и чувства въ свою пользу, остановился на послѣднемъ предположеніи... Изъ гордости онъ рѣшился показать, что подобно ей забылъ прошедшее и радуется ея счастью... Но невольно въ его словахъ звучало оскорблен-

ное самолюбіе. Когда онъ заговорилъ, княгиня вдругъ отвернулась отъ барона... и тотъ остался съ отверстымъ ртомъ, готовясь произнести самое важное и убѣдительнѣйшее заключеніе своихъ доказательствъ.

— Княгиня, сказалъ Жоржъ, — извините, я еще не поздравилъ васъ... съ княжескимъ... титуломъ!... Повѣрьте однако, что я съ этимъ намѣреніемъ спѣшилъ имѣть счастіе васъ увидѣть... но когда вошелъ сюда, то происшедшая въ васъ перемѣна такъ меня поразила, что признаюсь... забылъ долгъ вѣжливости...

— Я постарѣла, не правда ли, отвѣчала Вѣра, наклонивъ головку къ правому плечу.

— О, вы шутите! Развѣ въ счастіи старѣютъ... напротивъ вы похорошѣли, вы...

— Конечно я очень счастлива, прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая; многія молодыя дѣвушки вамъ завидуютъ... Впрочемъ вы такъ благоразумны, что не могли не сдѣлать такого достойнаго выбора... Весь свѣтъ восхищается любезностію, умомъ и талантами вашего супруга... (баронъ сдѣлалъ утвердительный знакъ головой). Княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потомъ вдругъ досада изобразилась на ея лицѣ.

— Я вамъ отплачу комплиментомъ за комплиментъ, monsieur Печоринъ... вы также перемѣнились къ лучшему.

— Какъ быть! время всесильно... даже наши одежды подобно намъ самимъ подвержены чуднымъ измѣненіямъ—вы теперь носите блондосый чепчикъ, я вмѣсто фрака московскаго недоросля или студентскаго сюртука ношу мундиръ съ эполетами... Вѣроятно отъ этого я имѣю счастіе вамъ нравиться больше, чѣмъ прежде... вы теперь такъ привыкли къ блеску!

Княгиня хотѣла отмстить за эпиграмму.

— Прекрасно! воскликнула она; — вы отгадали, и точно... намъ, бѣднымъ москвитянкамъ, гвардейскій мундиръ истинная диковинка!

Она насмѣшливо улыбнулась, баронъ захохоталъ, и Печоринъ на него взбѣсился.

— У васъ такой усердный союзникъ, княгиня, сказалъ онъ, — что я долженъ признаться побѣжденнымъ. И я увѣренъ, что баронъ при данномъ знакѣ готовъ меня сокрушить всею своею тяжестью.

Баронъ плохо понималъ по-русски, хотя родился въ Россіи; онъ захохоталъ пуще прежняго, думая что это комплиментъ, относящійся къ нему вмѣстѣ съ Вѣрой Дмитріевной. Печоринъ пожалъ плечами, и разговоръ снова остановился. Къ счастію князь подошелъ, преважно держа въ рукѣ газеты:

— Вотъ это до тебя касается, сказалъ онъ женѣ;—новый магазинъ на дняхъ открытъ на Невскомъ. Я покажу вамъ,—сказалъ онъ обра-

щаясь къ гостямъ,—петербургскій гостинецъ, который я вчера купилъ женѣ: всѣ говорятъ, что серьги самыя модныя, а жена говоритъ, что нѣтъ. Какъ будутъ по вашему вкусу?

Онъ пошелъ въ другую комнату и принесъ серебряную коробочку. Часто повторяемое княземъ слово *жена* какъ-то грубо и непріятно отзывалось въ ушахъ Печорина. Онъ съ перваго слова узналъ въ князѣ человѣка недалекаго, а теперь убѣдился, что онъ даже человѣкъ не свѣтскій. Серьги переходили изъ рукъ въ руки. Баронъ произнесъ надъ ними нѣсколько протяжныхъ восклицаній, Печоринъ послѣ него сталъ машинально ихъ разсматривать.

— А какъ вы думаете, спросилъ князь Степанъ Степановичъ, спрятавшись въ галстукъ и одною рукой вытаскивая накрахмаленный воротничекъ,—сколько я заплатилъ? отгадайте.

Серьги по большей мѣрѣ стоили 80 рублей, а были заплачены 75. Печоринъ нарочно сказалъ 50, это озадачило князя. Онъ ничего не отвѣчалъ, стыдясь сказать правду, и сѣлъ на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговоръ сдѣлался общимъ размѣномъ городскихъ новостей, московскихъ извѣстій. Князь, нѣсколько развеселившись, объявилъ женѣ откровенно, что если бы не тяжебное дѣло, то никакъ бы не оставилъ Москвы и англійскаго клуба, прибавляя, что здѣшній англійскій клубъ ничто предъ московскимъ. Наконецъ Печоринъ всталъ, раскланялся и дошелъ уже до двери, какъ вдругъ княгиня вскочила со своего мѣста и убѣдительно просила его не позабыть поцѣловать за нее милую Вареньку сто разъ, тысячу разъ. Печорину хотѣлось ей замѣтить, что онъ не можетъ передавать словесныхъ поцѣлуевъ, но ему было не до шутки, и онъ очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему тою ничего не выражающею улыбкой, которая разливается на устахъ танцовщицы оканчивающей пируэтъ.

Съ горькимъ предчувствіемъ онъ вышелъ изъ комнаты. Пройдя залу, обернулся; княгиня стояла въ дверяхъ, неподвижно смотрѣла ему вслѣдъ. Замѣтивъ его движеніе, она исчезла.

«Странно, подумалъ Печоринъ садясь въ сани, было время, когда я читалъ на лицѣ ея всѣ движенія мысли также безошибочно, какъ собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю».

V.

До девятнадцатилѣтняго возраста Печоринъ жилъ въ Москвѣ. Съ дѣтскихъ лѣтъ онъ таскался изъ одного пансіона въ другой и наконецъ увѣнчалъ свои странствованія вступленіемъ въ университетъ, согласно волѣ своей премудрой маменьки. Онъ получилъ такую охоту къ

перемѣнѣ мѣстъ, что если бы жилъ въ Германіи, онъ сдѣлался бы странствующимъ студентомъ. Но скажите, ради Бога, какая есть возможность въ Россіи сдѣлаться бродягой повелителю трехъ тысячъ душъ и племяннику двадцати тысячъ московскихъ тетушекъ. Итакъ, всѣ его путешествія ограничивались поѣздками, съ толпой такихъ же негодяевъ какъ онъ, въ Петровскій, въ Сокольники и въ Марьину рощу. Можно вообразить, что они не брали съ собою тетрадей и книгъ, — чтобы не казаться педантами. Пріятели Печорина, которыхъ число было впрочемъ не очень велико, были все молодые люди, которые встрѣчались съ нимъ въ обществѣ, ибо и въ то время студенты были почти единственными кавалерами московскихъ красавицъ, вздыхавшихъ невольно по эполетамъ и аксельбантамъ, не догадываясь, что въ нашъ вѣкъ эти блестящія вывѣски утратили свое прежнее значеніе.

Печоринъ съ товарищами являлся также на всѣхъ гуляньяхъ. Держась подъ руки, они прохаживались между вереницами каретъ, къ великому соблазну квартальныхъ. Встрѣтивъ одного изъ этихъ молодыхъ людей, можно было закрывши глаза держать пари, что сейчасъ явятся и остальные. Въ Москвѣ, гдѣ прозванія еще въ модѣ, прозвали ихъ la bande joyeuse.

Приближалось для Печорина время экзамена. Онъ въ продолженіе года почти не ходилъ на лекціи и намѣревался теперь пожертвовать нѣсколько ночей наукѣ и однимъ прыжкомъ догнать товарищей. Вдругъ явилось обстоятельство, которое помѣшало ему исполнить это геройское намѣреніе. У матери Печорина, Татьяны Петровны, бывали дѣтскіе вечера для маленькой дочери. На эти вечера съѣзжались и взрослыя барышни и переспѣлыя дѣвы, жадныя до всякихъ возможныхъ вечеровъ. Дѣти ложились спать въ десять часовъ, ихъ смѣняли на паркетѣ большіе. На эти вечера являлись часто отецъ и дочь Р—вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже нѣсколько ей сродни. Дочь этого господина Р—ва называлась тогда просто Вѣрочкой. Жоржъ, привыкнувъ видѣться съ нею часто, не находилъ въ ней ничего особеннаго, она же избѣгала его разговора. Разъ собралась большая компанія ѣхать въ Симоновъ монастырь ко всенощной молиться, слушать пѣвчихъ и гулять. Это было весною; усѣлись въ длинныя линейки, запряженныя каждая въ шесть лошадей, и тронулись съ Арбата веселымъ караваномъ. Солнце склонялось къ Воробьевымъ Горамъ, и вечеръ былъ въ самомъ дѣлѣ прекрасенъ.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидѣть рядомъ съ Вѣрочкой. Онъ этимъ былъ сначала недоволенъ. Ея семнадцатилѣтняя свѣжесть и скромность казались ему вѣрными признаками холодности и черезчуръ приторной сердечной невинности: кто изъ насъ въ девятнадцать лѣтъ не бросался очертя голову вослѣдъ отцвѣтающей кокеткѣ,

которыхъ слова и взгляды полны обѣщаній и души которыхъ подобны выкрашеннымъ гробамъ притчи. Наружность ихъ—блескъ очаровательный, внутри—смерть и прахъ.

Выѣхавъ уже за городъ, когда растворенный воздухъ вечера освѣжилъ веселыхъ путешественниковъ, Жоржъ разговорился со своею сосѣдкой. Разговоръ ея былъ простъ, живъ и довольно свободенъ. Она была нѣсколько мечтательна, но не старалась этого выказать, напротивъ стыдилась этого, какъ слабости. Сужденія Жоржа въ то время были рѣзки, полны противорѣчій, хотя оригинальны, какъ вообще сужденія молодыхъ людей, воспитанныхъ въ Москвѣ и привыкшихъ безъ принужденія посторонняго развивать свои мысли.

Наконецъ пріѣхали въ монастырь. За всенощной ходили осматривать стѣны, кладбище, лазили на площадку западной башни, ту самую откуда въ древнія времена наши предки слѣдили движенія.... и послѣдній Новикъ открылъ такъ поздно имя свое и судьбу свою и свое изгнанническое имя. Жоржъ не отставалъ отъ Вѣрочки, потому что неловко было бъ уйти, не кончивъ разговора, а разговоръ былъ такого рода, что могъ продолжиться до безконечности. Онъ и продолжался все время всенощной, исключая тѣхъ минутъ, когда дивный хоръ монаховъ и голосъ отца Виктора погружалъ ихъ въ безмолвное умиленіе. Но за то послѣ этихъ минутъ разгоряченное воображеніе и чувства взволнованныя звуками давали новую пищу для мыслей и словъ. Послѣ всенощной опять гуляли и возвратились въ городъ тѣмъ же порядкомъ очень поздно. Жоржъ весь слѣдующій день думалъ объ этомъ вечерѣ, потомъ поѣхалъ къ Р—вымъ, чтобы поговорить объ немъ и передать свои впечатлѣнія той, съ которою онъ ихъ раздѣлялъ. Визиты дѣлались чаще и продолжительнѣе. По короткости обоихъ домовъ они не могли обратить на себя никакого подозрѣнія; такъ прошелъ цѣлый мѣсяцъ, и они убѣдились оба, что влюблены другъ въ друга до безумія. Въ ихъ лѣта, когда страсть есть наслажденіе, безъ примѣси заботъ, страха и раскаянія, очень легко убѣдиться во всемъ. У Жоржа была богатая тетушка, которая въ той же степени была родня и Р—вымъ. Тетушка пригласила оба семейства погостить къ себѣ въ подмосковную недѣли на двѣ; домъ у нея былъ огромный, сады большіе, однимъ словомъ всѣ удобства. Частыя прогулки сблизили еще болѣе Жоржа съ Вѣрочкой; не смотря на толпу мадамовъ и дѣтей тетушки, они какъ-то всегда находили средство быть вдвоемъ: средство впрочемъ очень легкое, если обоимъ этого хочется.

Между тѣмъ въ университетѣ шелъ экзаменъ. Жоржъ туда и не явился. Разумѣется онъ не получилъ аттестата, но о будущемъ онъ не заботился и увѣрилъ мать, что экзаменъ отложенъ еще на три недѣли и что онъ все знаетъ. Вечернія прогулки имѣли необходимымъ

слѣдствіемъ объясненіе, потомъ клятвы въ вѣрности. Наконецъ, когда двухнедѣльный срокъ кончился, надобно было возвращаться въ Москву. Наканунѣ роковаго дня (это было вечеромъ) они стояли вдвоемъ на балконѣ. Какой-то невидимый демонъ сблизилъ ихъ руки и уста въ безмолвное пожатіе, въ безмолвный поцѣлуй... Они испугались самихъ себя; и хотя Жоржъ рано съ помощью товарищей вступилъ на соблазнительное поприще разврата, но чистая и невинная дѣвушка была еще для него святыней. На другой день, садясь въ экипажи, они раскланялись попрежнему очень учтиво, но Вѣрочка покраснѣла и глаза ея блистали.

Обманъ Жоржа открылся, какъ скоро пріѣхали въ Москву. Отчаяніе Татьяны Дмитріевны было ужасно, брань ея неистощима. Жоржъ съ покорностью и молча выслушалъ все, какъ стоикъ; но гроза невидимая сбиралась надъ нимъ. Въ комитетѣ дядюшекъ и тетушекъ было положено, что его надобно отправить въ Петербургъ и отдать въ юнкерскую школу. Другаго спасенія они для него не видали. Тамъ, говорили они, его прошколятъ и выучатъ дисциплинѣ.

Въ это время открылась Польская кампанія. Вся молодежь спѣшила опредѣляться въ полки. Вступать въ школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера 2-го класса не должны были идти въ походъ. Онъ почти на колѣнахъ выпросилъ у матери позволеніе вступить въ Н... гусарскій полкъ, стоявшій недалеко отъ Москвы. Послѣ многаго плаканья и оханья получилъ онъ ея благословеніе. Но самое трудное оставалось ему еще сдѣлать: надобно было объявить объ этомъ Вѣрочкѣ. Онъ былъ такъ еще невиненъ душой, что боялся убить ее неожиданнымъ извѣстіемъ. Однако жъ она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взглядъ, не вѣря, чтобы какія бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться съ нею. Клятва и обѣщанія ее успокоили.

Чрезъ нѣсколько дней Жоржъ пріѣхалъ къ Р—вымъ, чтобъ окончательно проститься. Вѣрочка была очень блѣдна. Онъ посидѣлъ недолго въ гостиной, когда же вышелъ, то она, пробѣжавъ чрезъ другія двери, встрѣтила его въ залѣ. Она сама схватила его за руку, крѣпко ее сжала и произнесла невѣрнымъ голосомъ: «я никогда не буду принадлежать другому». Бѣдная, она дрожала всѣмъ тѣломъ. Эти ощущенія для нея были такъ новы, она такъ боялась потерять друга, она такъ была увѣрена въ собственномъ сердцѣ. Напечатлѣвъ жаркій поцѣлуй на холодномъ дѣвственномъ челѣ ея, Жоржъ посадилъ ее на стулъ, опрометью сбѣжалъ съ лѣстницы и поскакалъ домой. Вечеромъ пришелъ лакей отъ Р—выхъ къ Татьянѣ Дмитріевнѣ просить стклянку съ какими-то каплями и спирту, потому что дескать барышня очень нездорова и раза три была безъ памяти. Это былъ ужасный ударъ для

Жоржа. Онъ цѣлую ночь не спалъ, чѣмъ свѣтъ сѣлъ въ дорожную коляску и отправился въ свой полкъ.

До сихъ поръ, любезные читатели, вы видѣли, что любовь моихъ героевъ не выходила изъ общихъ правилъ всѣхъ романовъ и всякой начинающейся любви. Но за то впослѣствіи, о! впослѣдствіи вы увидите и услышите чудныя вещи.

Печоринъ въ продолженіе кампаніи отличался, какъ отличается всякій русскій кавалеръ; дрался храбро, какъ всякій русскій солдатъ; любезничалъ со многими паннами, но минуты послѣдняго разставанья и милый образъ Вѣрочки постоянно тревожили его воображеніе. Чудное дѣло! Онъ уѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ ее забыть, а вышло наоборотъ (что̀ почти всегда и выходитъ въ такихъ случаяхъ). Впрочемъ Печоринъ имѣлъ самый несчастный нравъ: впечатлѣнія сначала легкія постепенно врѣзывались въ его умъ все глубже и глубже, такъ что впослѣдствіи эта любовь пріобрѣла надъ его сердцемъ право давности, священнѣйшее изо всѣхъ правъ человѣчества.

Послѣ взятія Варшавы, онъ былъ переведенъ въ гвардію. Мать его съ сестрой переѣхали жить въ Петербургъ, Варенька привезла ему поклонъ отъ своей милой Вѣрочки, какъ она ее называла, — ничего больше какъ поклонъ. Печорина это огорчило—онъ тогда еще не понималъ женщинъ. Тайная досада была одна изъ причинъ, по которымъ онъ сталъ волочиться за Елизаветой Николаевной. Слухи объ этомъ вѣроятно дошли до Вѣрочки. Чрезъ полтора года онъ узналъ, что она вышла замужъ, черезъ два года пріѣхала въ Петербургъ уже не Вѣрочка, а княгиня Лиговская съ княземъ Степаномъ Степановичемъ.

Тутъ кажется мы остановились въ предыдущей главѣ.

VI.

Дня черезъ три послѣ того какъ Печоринъ былъ у князя, Татьяна Дмитріевна пригласила нѣсколько человѣкъ знакомыхъ и родныхъ отобѣдать. Степанъ Степановичъ съ супругой былъ разумѣется въ ихъ числѣ.

Печоринъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ и хотѣлъ уже одѣваться, чтобы выйти въ гостиную, когда вошелъ къ нему артиллерійскій офицеръ.

— А, Браницкій, воскликнулъ Печоринъ, — я очень радъ, что ты такъ кстати заѣхалъ, ты непремѣнно будешь у насъ обѣдать. Вообрази, у насъ нынѣ полонъ домъ молодыхъ дѣвушекъ, и я одинъ отданъ имъ на жертву. Ты всѣхъ ихъ знаешь, сдѣлай одолженіе останься обѣдать!

— Ты такъ убѣдительно просишь, отвѣчалъ Браницкій, — какъ будто предчувствуешь отказъ.

— Нѣтъ, ты не смѣешь отказаться, сказалъ Печоринъ.

Онъ кликнулъ человѣка и велѣлъ отпустить сани Браницкаго домой.

Дальнѣйшій разговоръ ихъ я не передаю, потому что онъ былъ безсвязенъ и пустъ, какъ разговоры всѣхъ молодыхъ людей, которымъ нечего дѣлать. И въ самомъ дѣлѣ, скажите, о чемъ могутъ говорить молодые люди? Запасъ новостей скоро истощается, въ политику благоразуміе мѣшаетъ пускаться, о службѣ и такъ слишкомъ много толкуютъ на службѣ, а женщины въ нашъ варварскій вѣкъ утратили въ половину прежнее всеобщее свое вліяніе. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить объ этомъ смѣшно.

Когда нѣсколько гостей съѣхалось, Печоринъ и Браницкій вошли въ гостиную. Тамъ на трехъ столахъ играли въ вистъ. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усѣвшись вкругъ небольшаго столика, разговаривали о послѣднемъ балѣ, о новыхъ модахъ. Офицеры подошли къ нимъ, Браницкій искусно оживилъ непринужденною болтовней ихъ небольшой кружокъ. Печоринъ былъ разсѣянъ. Онъ давно замѣчалъ, что Браницкій ухаживалъ за его сестрой и, не входя въ разсмотрѣніе дальнѣйшихъ слѣдствій, не тревожилъ пріятеля наблюденіемъ, а сестру нескромными вопросами. Варенькѣ казалось очень пріятно, что такой ловкій молодой человѣкъ примѣтно отличаетъ ее отъ другихъ, ее, которая даже еще не выѣзжаетъ.

Мало-по-малу гости съѣзжались. Князь Лиговскій и княгиня пріѣхали одни изъ послѣднихъ. Варенька бросилась на встрѣчу своей старой пріятельницѣ, княгиня поцѣловала ее съ видомъ покровительства. Вскорѣ сѣли за столъ.

Столовая была роскошно убранная комната, увѣшенная картинами въ огромныхъ золотыхъ рамахъ. Ихъ темная и старинная живопись находилась въ рѣзкой противоположности съ украшеніями комнатъ, легкими, какъ все, что въ новѣйшемъ вкусѣ. Дѣйствующія лица этихъ картинъ были одни полунагія, другія живописно завернутыя въ греческія мантіи или одѣтыя въ испанскіе костюмы въ широкополыхъ шляпахъ съ перьями, съ прорѣзными рукавами, пышными манжетами. Брошенныя на этотъ холстъ рукой художника въ самыя блестящія минуты ихъ миѳологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрѣли на дѣйствующихъ лицъ этой комнаты, озаренныхъ сотней свѣчъ, не помышляющихъ о будущемъ, еще менѣе о прошедшемъ, съѣхавшихся на пышный обѣдъ не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но чтобъ удовлетворить тщеславію ума, тщеславію богатства, другіе изъ любопытства, изъ приличія или для какихъ-либо другихъ сокровенныхъ цѣлей. Въ одеждѣ этихъ людей, такъ чинно сидѣвшихъ вокругъ длиннаго стола, уставленнаго серебромъ и фарфоромъ, также какъ въ ихъ понятіяхъ были перемѣшаны всѣ вѣка. Въ одеж-

дахъ ихъ встрѣчались глубочайшая древность съ самою послѣднею выдумкой парижской модистки, греческія прически увитыя гирляндами изъ поддѣльныхъ цвѣтовъ, готическія серьги, еврейскіе тюрбаны, далѣе волосы вздернутые къ верху à la chinoise, букли à la Sevigné, пышныя платья на подобіе фижмъ, рукава чрезвычайно широкіе или чрезвычайно узкіе. У мужчинъ прически à la jeune France, à la Russe, à la moyen âge, à la Titus, гладкіе подбородки, усы, эспаньйолки, бакенбарды и даже бороды. Кстати было бы тутъ привести стихъ Пушкина: «какая смѣсь одеждъ и лицъ»! Понятія же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидѣть наискось противъ княгини Вѣры Дмитріевны. Сосѣдъ его по лѣвую руку былъ какой-то рыжій господинъ, увѣшенный крестами, который ѣздилъ къ нимъ въ домъ только на званые обѣды; по правую же сторону Печорина сидѣла дама лѣтъ тридцати, чрезвычайно свѣжая и моложавая, въ малиновомъ токѣ съ перьями и съ гордымъ видомъ, потому что она слыла неприступною добродѣтелью. Изъ этого мы видимъ, что Печоринъ, какъ хозяинъ, избралъ самое дурное мѣсто за столомъ.

Возлѣ Вѣры Дмитріевны сидѣла по одну сторону старушка разряженная какъ кукла, съ сѣдыми бровями и черными пуклями; по другую дипломатъ, длинный и блѣдный, причесанный à la Russe и говорившій по-русски хуже всякаго француза. Послѣ втораго блюда разговоръ началъ оживляться.

— Такъ какъ вы недавно въ Петербургѣ, говорилъ дипломатъ княгинѣ,—то вѣроятно не успѣли еще вкусить и постигнуть всѣ прелести здѣшней жизни. Эти зданія, которыя съ перваго взгляда васъ только удивляютъ какъ все великое, современемъ сдѣлаются для васъ безцѣнны, когда вы вспомните, что здѣсь развилось и выросло наше просвѣщеніе и когда увидите, что оно въ нихъ усиливается легко и пріятно. Всякій русскій долженъ любить Петербургъ: здѣсь все, что есть лучшаго русской молодежи, какъ бы нарочно собралось, чтобы подать дружескую руку Европѣ. Москва только великолѣпный памятникъ, пышная и безмолвная гробница минувшаго; здѣсь жизнь, здѣсь наши надежды.

Такъ высокопарно и мудрено говорилъ худощавый дипломатъ, который имѣлъ претензію быть великимъ патріотомъ. Княгиня улыбнулась и отвѣчала разсѣянно.

— Можетъ быть современемъ я полюблю и Петербургъ, но мы, женщины, такъ легко предаемся привычкамъ сердца и такъ мало думаемъ къ сожалѣнію о всеобщемъ просвѣщеніи, о славѣ государствъ! Я люблю Москву. Съ воспоминаніемъ о ней связана память о томъ счастливомъ времени! А здѣсь, здѣсь все такъ холодно, такъ мертво.

О, это не мое мнѣніе: это мнѣніе здѣшнихъ жителей. Говорятъ, что въѣхавъ разъ въ петербургскую заставу люди мѣняются совершенно...

Эти слова она сказала улыбаясь дипломату и взглянувъ на Печорина. Дипломатъ взбѣленился:

— Какія ужасныя клеветы про нашъ милый городъ, воскликнулъ онъ,—а все это старая сплетница Москва, которая изъ зависти клевещетъ на молодую свою соперницу.

При словѣ старая сплетница разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржей.

— Чтобы рѣшить нашъ споръ, продолжалъ дипломатъ,—выберемте посредника, княгиня: вотъ хоть Григорія Александровича, онъ очень прилежно слушалъ нашъ разговоръ. Какъ вы думаете объ этомъ, monsieur Печоринъ? скажите по совѣсти и не принесите меня въ жертву учтивости. Вы одобряете мой выборъ, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгаго, отвѣчала она.

— Какъ быть, нашъ братъ всегда наблюдаетъ свои выгоды, возразилъ дипломатъ съ самодовольною улыбкой.—Monsieur Печоринъ, извольте же рѣшить.

— Мнѣ очень жаль, сказалъ Печоринъ, — что вы ошиблись въ своемъ выборѣ. Изо всего вашего спора я слышалъ только то, что̀ сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако жъ, сказалъ онъ,—Москвѣ или Петербургѣ отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина, отвѣчалъ Печоринъ, стараясь отдѣлаться.

— Однако жъ которая?... Дипломатъ настаивалъ съ упрямствомъ.

— Я думаю, прервалъ его Печоринъ,—что ни зданія, ни просвѣщеніе, ни старина не имѣютъ вліянія на счастіе и веселость. А мѣняются люди за петербургскою заставой и за московскимъ шлагбаумомъ, потому что если бы люди не мѣнялись, было бы очень скучно.

— Послѣ такого рѣшенія, княгиня, сказалъ дипломатъ, — я уступаю свое дипломатическое званіе господину Печорину. Онъ увернулся отъ рѣшительнаго отвѣта, какъ Талейранъ или Меттернихъ.

— Григорій Александровичъ, возразила княгиня, — не увлекается страстью или пристрастіемъ, онъ слѣдуетъ одному холодному разсудку.

— Это правда, отвѣчалъ Печоринъ, — я теперь сталъ взвѣшивать слова свои и разсчитывать поступки, слѣдуя примѣру другихъ. Когда я увлекался чувствомъ и воображеніемъ, надо мною смѣялись и пользовались моимъ простосердечіемъ. Но кто же въ своей жизни не дѣлалъ глупостей! и кто не раскаявался! Теперь по чести я готовъ пожертвовать самою чистѣйшею, самою воздушною любовью, для трехъ

тысячъ душъ съ винокуреннымъ заводомъ и для какого-нибудь графскаго герба на дверцахъ кареты. Надобно пользоваться случаемъ, такія вещи не падаютъ съ неба. Не правда ли?

Столь неожиданный вопросъ былъ сдѣланъ дамѣ въ малиновомъ беретѣ.

Молчавшая добродѣтель пробудилась при этомъ неожиданномъ вопросѣ, и страусовыя перья заколыхались на беретѣ. Она не могла тотчасъ отвѣтить, потому что ея невинные зубки жевали кусокъ рябчика съ самымъ добродѣтельнымъ стараніемъ. Всѣ съ терпѣніемъ молча ожидали ея отвѣта. Наконецъ она открыла уста и важно молвила:

— Ко мнѣ ли вашъ вопросъ относится?

Если вы позволите, отвѣчалъ Печоринъ.

— Не хотите ли вы раздѣлить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я бы желалъ вамъ передать ее совсѣмъ!

— Ахъ избавьте!

Въ эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себѣ на тарелку и продолжала:

— Вотъ адресуйтесь къ княгини. Она, я думаю, гораздо лучше можетъ судить о любви и о графскомъ или о княжескомъ титулѣ.

— Я желалъ бы слышать ваше мнѣніе, сказалъ Печоринъ, — и рѣшился побѣдить вашу скромность упрямствомъ.

— Вы не первые и вамъ это не удастся, сказала она съ презрительною улыбкою. — Притомъ я не имѣю никакого мнѣнія о любви.

— Помилуйте! въ ваши лѣта не имѣть никакого мнѣнія о такомъ важномъ предметѣ для всякой женщины.

Добродѣтель обидѣлась.

— То-есть я слишкомъ стара, воскликнула она, покраснѣвъ.

— Напротивъ, я хотѣлъ сказать, что вы еще такъ молоды.

— Слава Богу, я ужъ не ребенокъ... Вы оправдались очень неудачно.

— Что дѣлать! Я вижу, что увеличивъ единицей несмѣтное число несчастныхъ, которые вамъ напрасно стараются понравиться...

Она отъ него отвернулась, а онъ чуть не засмѣялся вслухъ.

— Кто эта дама? шопотомъ спросилъ у него рыжій господинъ съ крестами.

— Баронесса Штраль, отвѣчалъ Печоринъ.

— А-а! сдѣлалъ рыжій господинъ.

— Вы, конечно, объ ней много слыхали?

— Нѣтъ-съ, ничего формально.

— Она уморила двухъ мужей, продолжалъ Печоринъ,—теперь за третьимъ, который вѣрно ее переживетъ.

*

— Ого! сказалъ рыжій господинъ и продолжалъ уписывать соусъ унизанный трюфелями.

Такимъ образомъ разговоръ прекратился, но дипломатъ взялъ на себя трудъ возобновить его.

— Если вы любите искусство, сказалъ онъ обращаясь къ княгинѣ,—то я могу вамъ сказать весьма пріятную новость: картина Брюлова Послѣдній день Помпеи ѣдетъ въ Петербургъ. Про нее кричала вся Италія, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика — на сторону истиннаго вкуса, или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвѣчала, она была въ разсѣянности. Глаза ея бродили безъ цѣли вдоль по стѣнамъ комнатъ, и слово «картина» только заставило ихъ остановиться на изображеніи какой-то испанской сцены, висѣвшемъ противу нея. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая цѣнность отъ того, что краски ея полиняли и лакъ растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и сѣдой мужчина, сидя на бархатныхъ креслахъ, обнималъ одною рукой молодую женщину, въ другой держалъ онъ бокалъ съ виномъ; онъ приближалъ свои румяныя губы къ нѣжной щекѣ этой женщины, и проливалъ вино ей на платье. Она какъ бы нехотя повинуясь его грубымъ ласкамъ, перегнувшись черезъ ручку креселъ и облокотясь на его плечо, отворачивалась въ сторону, прижимая палецъ къ устамъ и устремивъ глаза на полуотворенную дверь, изъ-за которой во мракѣ сверкали два яркіе глаза и кинжалъ.

Княгиня нѣсколько минутъ со вниманіемъ смотрѣла на эту картину и наконецъ попросила дипломата объяснить ея содержаніе.

Дипломатъ вынулъ изъ-за галстука лорнетъ, прищурился, наводилъ его въ разныхъ направленіяхъ на темный холстъ и заключилъ тѣмъ, что это должна быть копія съ Рембранта или Мурильйо.

— Впрочемъ, прибавилъ онъ, — хозяинъ ея долженъ лучше знать, что она изображаетъ.

— Я не хочу вторично затруднять Григорія Александровича разрѣшеніями вопросовъ, сказала Вѣра Дмитріевна, и опять устремила глаза на картину.

— Сюжетъ ея очень простъ, сказалъ Печоринъ, не дожидаясь, чтобъ его просили.—Здѣсь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобъ удобнѣе обманывать богатаго и глупаго старика. Въ эту минуту она кажется что-то у него выпрашиваетъ и удерживаетъ бѣшенство любовника ложными обѣщаніями. Когда она выманитъ искусственнымъ поцѣлуемъ все, что ей хочется, она сама откроетъ дверь и будетъ хладнокровною свидѣтельницей убійства.

— Ахъ, это ужасно! воскликнула княгиня.

— Можетъ быть я ошибаюсь, давъ такой смыслъ этому изображенію, продолжалъ Печоринъ, — мое истолкованіе совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство можетъ существовать въ сердцѣ женщины?

— Княгиня, отвѣчалъ Печоринъ сухо,—я прежде имѣлъ глупость думать, что можно понимать женское сердце. Послѣдніе случаи моей жизни меня убѣдили въ противномъ, и по этому я не могу рѣшительно отвѣтить на вашъ вопросъ.

Княгиня покраснѣла, дипломатъ обратилъ на нее испытующій взоръ и сталъ что-то чертить вилкой на днѣ своей тарелки. Дама въ малиновомъ беретѣ была какъ на иголкахъ, слыша такіе ужасы и старалась отодвинуть свой стулъ отъ Печорина, а рыжій господинъ съ крестами значительно улыбнулся и проглотилъ три трюфеля разомъ.

Остальное время обѣда, дипломатъ и Печоринъ молчали, княгиня завела разговоръ со старушкой, добродѣтель горячо о чемъ-то спорила со своею сосѣдкой съ правой стороны, рыжій господинъ ѣлъ.

За дессертомъ, когда подали шампанское, Печоринъ, поднявъ бокалъ, обратился къ княгинѣ.

— Такъ какъ я не имѣлъ счастія быть на вашей свадьбѣ, то позвольте поздравить васъ теперь.

Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ и ничего не отвѣтила. Тайное страданіе изображалось на ея лицѣ, столь измѣнчивомъ, рука, державшая стаканъ съ водой, дрожала... Печоринъ все это видѣлъ, и нѣчто похожее на раскаяніе закралось въ грудь его: за что онъ ее мучилъ? съ какою цѣлью? какую пользу могло ему принесть это мелочное мщеніе?... Онъ себѣ въ этомъ не могъ дать подробнаго отчета. Вскорѣ стулья зашумѣли; встали изъ-за стола и пошли въ пріемныя комнаты... Лакеи на серебряныхъ подносахъ стали разносить кофе; нѣкоторые мужчины не игравшіе въ вистъ, и въ ихъ числѣ князь Степанъ Степановичъ, пошли въ кабинетъ Печорина курить трубки, а княгиня подъ предлогомъ что развились локоны удалилась въ комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросилась въ широкія кресла. Необъяснимое чувство стѣснило ея грудь, слезы набѣжали на рѣсницы, стали капать чаще и чаще на ея разгорѣвшіяся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло въ мысль, что съ красными глазами неловко будетъ показаться въ гостиную. Тогда она встала, подошла къ зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколономъ и духами, которые въ цвѣтныхъ и граненыхъ стклянкахъ стояли на туалетѣ. По временамъ она еще всхлипывала и грудь ея подыма-

лась высоко, но это были послѣднія волны, забытыя на гладкомъ морѣ пролетѣвшимъ ураганомъ.

О чемъ же она плакала? спрашиваете вы, и я васъ спрошу—о чемъ женщины не плачутъ: слезы ихъ оружіе нападательное и оборонительное. Досада, радость, безсильная ненависть, безсильная любовь, имѣютъ у нихъ одно выраженіе. Вѣра Дмитріевна сама не смѣла дать отчета, какое изъ этихъ чувствъ было главною причиной ея слезъ. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, но странно, она его за это не возненавидѣла. Можетъ быть если бы въ его упрекѣ проглядывало сожалѣніе о минувшемъ, желаніе ей снова нравиться, она бы сумѣла отвѣчать ему полною насмѣшкой и равнодушіемъ, но казалось въ немъ было оскорблено одно самолюбіе, а не сердце, — самая слабая часть мужчины, подобная пяткѣ Ахиллеса,—и по этой причинѣ оно въ этомъ сраженіи оставалось внѣ ея выстрѣловъ. Казалось, Печоринъ гордо вызывалъ на бой ея ненависть, чтобъ увѣриться, такъ же ли она будетъ недолговременна какъ любовь ея, и онъ достигъ своей цѣли. Ея чувства взволновались, ея мысли смутились, первое впечатлѣніе было сильное, а отъ перваго впечатлѣнія зависѣло все остальное: онъ это зналъ и зналъ также, что самая ненависть ближе къ любви, нежели равнодушіе.

Княгиня уже собиралась возвратиться въ гостиную, какъ вдругъ дверь легонько скрипнула и вошла Варенька.

— Я тебя искала, chère amie, воскликнула она,—ты кажется нездорова....

Вѣра Дмитріевна томно улыбнулась ей и сказала:

— У меня болитъ голова, тамъ такъ жарко....

— Я за столомъ часто на тебя взглядывала, продолжала Варенька,—ты все время молчала. Мнѣ досадно было, что я не сѣла возлѣ тебя, тогда можетъ быть тебѣ не было бы такъ скучно.

— Мнѣ вовсе не было скучно, отвѣчала княгиня, горько улыбнувшись,— Григорій Александровичъ былъ очень любезенъ.

— Послушай, мой ангелъ, я не хочу, чтобы ты называла брата Григорій Александровичъ. Григорій Александровичъ—это такъ важно: точно вы будто вчерась только познакомились. Отчего не называть его просто Жоржъ, какъ прежде, онъ такой добрый.

— О, я этого послѣдняго достоинства въ немъ нынѣ не замѣтила, онъ мнѣ нынѣ наговорилъ такихъ вещей, которыхъ бы другая ему никогда не простила.

Вѣра Дмитріевна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тѣмъ, что Варенька вѣтреная дѣвочка, не обратитъ вниманія на ея послѣднія слова или скоро позабудетъ ихъ. Вѣра Дмитріевна, къ несчастію ея, была одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя обыкновенно

осторожнѣе и скромнѣе другихъ, но въ минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны предъ зеркаломъ, она взяла подъ руку Вареньку и обѣ возвратились въ гостиную, а мы пойдемъ въ кабинетъ Печорина, гдѣ собралось нѣсколько молодыхъ людей и гдѣ князь Степанъ Степановичъ съ сигаркой въ зубахъ тщетно старался вмѣшиваться въ ихъ разговоръ. Онъ не зналъ ни одной петербургской актрисы, не зналъ ключа ни одной городской интриги и, какъ пріѣзжій изъ другаго города, не могъ разсказать ни одной новости. Женившись на молодой женщинѣ онъ старался казаться молодымъ на зло подставнымъ зубамъ и нѣкоторымъ морщинамъ. Въ продолженіе всей своей молодости этотъ человѣкъ не пристрастился ни къ чему—ни къ женщинамъ, ни къ вину, ни къ картамъ, ни къ почестямъ, и совсѣмъ тѣмъ, въ угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три, изъ угожденія, въ женщинъ, которыя хотѣли ему нравиться, проигралъ однажды тридцать тысячъ, когда была мода проигрываться, убилъ свое здоровье на службѣ, потому что начальникамъ это было пріятно. Будучи эгоистъ въ высшей степени, онъ однако слылъ всегда добрымъ малымъ, готовымъ на всякія услуги, женился же онъ потому, что всѣмъ роднымъ этого хотѣлось. Теперь онъ сидѣлъ противъ камина, куря сигарку и допивая кофе и внимательно слушая разговоръ двухъ молодыхъ людей, стоявшихъ противъ него. Одинъ изъ нихъ былъ артиллерійскій офицеръ Браницкій, другой статскій. Этотъ послѣдній былъ одно изъ характеристичныхъ лицъ петербургскаго общества.

Онъ былъ порядочнаго роста и такъ худъ, что англійскаго покроя фракъ висѣлъ на плечахъ его какъ на вѣшалкѣ. Жесткій атласный галстукъ подпиралъ его угловатый подбородокъ. Ротъ его, лишенный губъ, походилъ на отверстіе, прорѣзанное перочиннымъ ножичкомъ въ картонной маскѣ. Щеки его, впалыя и смугловатыя, мѣстами были испещрены мелкими оспочками, слѣдами разрушительной оспы. Носъ его былъ прямой, одинаковой толщины во всей своей длинѣ, а нижняя оконечность какъ бы отрублена. Глаза, сѣрые и маленькіе, имѣли дерзкое выраженіе, брови были густы, лобъ узокъ и высокъ, волосы чрны и острижены подъ гребенку, изъ-за галстука его выглядывала борода à la St. Simonienne.

Онъ былъ со всѣми знакомъ, служилъ гдѣ-то, ѣздилъ по порученіямъ, возвращаясь получалъ чины, бывалъ всегда въ среднемъ обществѣ и говорилъ про связи свои со знатью, волочился за богатыми невѣстами, подавалъ множество проектовъ, продавалъ разныя акціи, предлагалъ всѣмъ подписки на разныя книги, знакомъ былъ со всѣми литераторами и журналистами, приписывалъ себѣ многія безыменныя статьи въ журналахъ, издалъ брошюру, которую никто не читалъ, былъ

по его словамъ, заваленъ кучей дѣлъ и цѣлое утро проводилъ на Невскомъ проспектѣ. Чтобы докончить портретъ, скажу, что фамилія его была малороссійская, хотя вмѣсто Горшенко онъ называлъ себя Горшенковъ.

— Что вы ко мнѣ никогда не заѣдете? говорилъ ему Браницкій.

— Повѣрите ли, я такъ занятъ, отвѣчалъ Горшенко,—вотъ завтра самъ долженъ докладывать министру; потомъ надобно ѣхать въ комитетъ, работы тьма, не знаешь какъ отдѣлаться; еще надобно писать статью въ журналъ, потомъ надобно обѣдать у князя N,—всякій день гдѣ-нибудь на балѣ, вотъ хоть нынче у графини Ф. Такъ и быть ужъ пожертвую этою зимой, а лѣтомъ опять запрусь въ свой кабинетъ, окружу себя бумагами и буду ѣздить только къ старымъ пріятелямъ.

Браницкій улыбнулся и насвистывая арію изъ *Фенеллы* удалился.

Князь, который былъ мысленно занятъ своимъ дѣломъ, подумалъ, что ему не худо будетъ познакомиться съ человѣкомъ, который всѣхъ знаетъ и докладываетъ самъ министру. Онъ завелъ съ нимъ разговоръ о политикѣ, о службѣ, потомъ о своемъ дѣлѣ, которое состояло въ тяжбѣ съ казной о 20.000 десятинахъ лѣсу. Наконецъ князь спросилъ у Горшенко не знаетъ ли онъ одного чиновника Красинскаго, у котораго въ столѣ разбирается его дѣло.

— Да, да, отвѣчалъ Горшенко, — знаю, видалъ, но онъ ничего не можетъ сдѣлать, адресуйтесь къ людямъ, которые болѣе имѣютъ вѣсу. Я знаю эти дѣла, мнѣ часто ихъ навязывали, но я всегда отказывался.

Такой отвѣтъ поставилъ въ тупикъ князя Степана Степановича. Ему показалось, что предъ нимъ въ лицѣ Горшенко стоитъ весь комитетъ министровъ.

— Да, сказалъ онъ,—нынѣ эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печоринъ, слышавшій разговоръ и узнавъ отъ князя въ какомъ департаментѣ его дѣло, обѣщался отыскать Красинскаго и привезти его къ князю.

Степанъ Степановичъ въ восторгѣ отъ его любезности пожалъ ему руку и пригласилъ его заѣзжать къ себѣ всякій разъ, когда ему нечего будетъ дѣлать.

VII.

На другой день Печоринъ былъ на службѣ, провелъ ночь въ дежурной комнатѣ и смѣнился въ двѣнадцать часовъ утра. Покуда онъ переодѣлся, прошелъ еще часъ. Когда онъ пріѣхалъ въ департаментъ, гдѣ служилъ чиновникъ Красинскій, ему сказали, что этотъ чиновникъ куда-то ушелъ, Печорину дали его адресъ, и онъ отправился къ Обухову мосту. Остановясь у воротъ одного огромнаго дома, онъ вызвалъ дворника и спросилъ, здѣсь ли живетъ чиновникъ Красинскій.

— Пожалуйте въ сорокъ девятый нумеръ, былъ отвѣтъ.

— А гдѣ входъ?

— Со двора-съ.

Сорокъ девятый нумеръ, и входъ со двора! этихъ ужасныхъ словъ не можетъ понять человѣкъ, который не провелъ по крайней мѣрѣ половины жизни въ отыскиваніи разныхъ чиновниковъ. Сорокъ девятый нумеръ есть число мрачное и таинственное, подобное числу шестьсотъ шестдесятъ шестой въ Апокалипсисѣ. Вы пробираетесь сначала черезъ узкій и угловатый дворъ, по глубокому снѣгу, или по жидкой грязи; высокія пирамиды дровъ грозятъ ежеминутно подавить васъ своимъ паденіемъ, тяжелый запахъ, ѣдкій, отвратительный, отравляетъ ваше дыханіе, собаки ворчатъ при вашемъ появленіи, блѣдныя лица, хранящія на себѣ ужасные слѣды нищеты или распутства, выглядываютъ сквозь узкія окна нижняго этажа. Наконецъ, послѣ многихъ разспросовъ, вы находите желанную дверь, темную и узкую, какъ дверь въ чистилище. Поскользнувшись на порогѣ, вы летите двѣ ступени внизъ и попадаете ногами въ лужу, образовавшуюся на каменномъ помостѣ, потомъ невѣрною рукой ощупываете лѣстницу и начинаете взбираться на верхъ. Взойдя на первый этажъ и остановившись на четвероугольной площадкѣ, вы увидите нѣсколько дверей кругомъ себя, но увы, ни на одной нѣтъ нумера. Начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходитъ кухарка съ сальною свѣчей, а изъ-за нея раздается брань, или плачъ дѣтей.

— Кого вамъ угодно?

— Сорокъ девятый нумеръ.

— Здѣсь эдакихъ нѣтъ-съ.

— Кто жъ здѣсь живетъ?

Отвѣтъ бываетъ обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или: какое вамъ дѣло, ступайте выше. Дверь захлопывается. Во всѣхъ другихъ дверяхъ та же сцена повторяется въ разныхъ видахъ. Чѣмъ выше вы взбираетесь, тѣмъ хуже. Софистъ-наблюдатель могъ бы заключить изъ этого, что человѣкъ приближаясь къ небу уподобляется растенію, которое на вершинахъ горъ теряетъ цвѣтъ и силу. Помучившись около часа, вы наконецъ находите желанный сорокъ девятый нумеръ или другой столько же таинственный, и то если дворникъ не былъ пьянъ и понялъ вашъ вопросъ, если не два чиновника съ одинаковымъ именемъ въ этомъ домѣ, если вы не попали на другую лѣстницу и т. д. Печоринъ претерпѣлъ всѣ эти мученія и наконецъ вскарабкавшись на четвертый этажъ постучалъ въ дверь. Вышла кухарка. Онъ сдѣлалъ обычный вопросъ, ему отвѣчали: здѣсь. Онъ взошелъ, снялъ шинель въ кухнѣ и хотѣлъ идти далѣе, какъ вдругъ кухарка остановила его, сказавъ, что г. Красинскій не воротился еще изъ де-

партамента. Я подожду, отвѣчалъ онъ, и вошелъ. Кухарка слѣдовала за нимъ и разглядывала его съ видомъ удивленія. Бѣлый султанъ и красивый кавалерійскій мундиръ были повидимому явленіе необыкновенное на четвертомъ этажѣ. При входѣ Печорина въ гостиную, если можно такъ назвать четыреугольную комнату украшенную единственнымъ столомъ покрытымъ клеенкой, предъ которымъ стоялъ старый диванъ и три стула, низенькая и опрятная старушка встала со своего мѣста и повторила вопросъ кухарки.

— Я ищу господина Красинскаго, можетъ быть я ошибся.

— Это мой сынъ, отвѣчала старушка,—онъ скоро будетъ.

— Если вы мнѣ позволите подождать... продолжалъ Печоринъ.

— Сдѣлайте одолженіе, прервала его старушка и торопливо придвинула стулъ.

Печоринъ сѣлъ. Окинувъ взоромъ комнату и все въ ней находившееся, ему стало какъ-то неловко: если бы судьба неожиданно бросила его во дворецъ Персидскаго шаха, онъ бы скорѣе нашелся, нежели теперь.

Старушкѣ съ перваго взгляда можно было дать лѣтъ шестьдесятъ, хотя она въ самомъ дѣлѣ была моложе, но ранняя печаль сгорбила ея станъ, изсушила кожу, которая сдѣлалась похожа цвѣтомъ на старый пергаментъ. Синеватыя жилы рисовались по ея прозрачнымъ рукамъ, лицо ея было сморщено. Въ однихъ ея маленькихъ глазахъ казалось сосредоточились всѣ ея жизненныя силы, въ нихъ свѣтила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствіе. Печоринъ, не зная какъ начать разговоръ, сталъ перелистывать книгу, лежавшую на столѣ. Онъ думалъ вовсе не о книгѣ, но странное заглавіе привлекло его вниманіе: *Легчайшій способъ быть всегда богатымъ и счастливымъ*. Сочиненіе Н. П. Москва, въ тип. И. Глазунова, цѣна 25 копѣекъ. Улыбка появилась на лицѣ Печорина. Эта книжка, какъ пустой лотерейный билетъ, была рѣзкое изображеніе мечтаній, обманутыхъ надеждъ, несбыточныхъ, тщетныхъ усилій представить въ лучшемъ видѣ печальную дѣйствительность. Старушка замѣтила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитавъ объявленіе въ газетахъ, чтобъ онъ мнѣ досталъ эту книжку, да въ ней ничего нѣтъ.

— Я думаю, возразилъ Печоринъ,—что никакая книга не можетъ выучить быть счастливымъ. О, если бы счастіе было наука—дѣло другое!

— Разумѣется, возразила старуха,—утопающій за щепку хватается; мы не всегда были въ такомъ положеніи, какъ теперь. Мужъ мой былъ польскій дворянинъ, служилъ въ русской службѣ. Вслѣдствіе долгой тяжбы онъ потерялъ бо́льшую часть своего имѣнія, а остатки разграблены были въ послѣднюю войну. Однако же я надѣюсь скоро все по-

нравится. Мой сынъ, — продолжала она съ нѣкоторою гордостію, — имѣетъ теперь очень хорошее мѣсто и хорошее жалованье.

Послѣ минутнаго молчанія она спросила:

— Вы, конечно, къ моему сыну по какому-нибудь дѣлу. Можетъ быть вамъ скучно будетъ дожидаться, такъ не угодно ли сказать мнѣ, я ему передамъ.

— Мнѣ препоручилъ, отвѣчалъ Печоринъ, — князь Лиговской попросить вашего сына, чтобъ онъ сдѣлалъ одолженіе заѣхалъ къ нему. У князя есть тяжба, которая теперь должна разсматриваться въ столѣ у г. Красинскаго. Я васъ попрошу передать ему адресъ князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына къ нему заѣхать хоть завтра вечеромъ: я тамъ буду.

Написавъ адресъ, Печоринъ раскланялся и подошелъ къ двери. Въ эту минуту дверь отворилась, и онъ вдругъ столкнулся съ человѣкомъ высокаго роста. Они взглянули другъ на друга, глаза ихъ встрѣтились, и каждый сдѣлалъ шагъ назадъ. Враждебныя чувства изобразились на обоихъ лицахъ, удивленіе сковало ихъ уста. Наконецъ Печоринъ, чтобы выйти изъ этого страннаго положенія, сказалъ почти шопотомъ:

— Милостивый государь, вспомните, что я не зналъ, что вы господинъ Красинскій, иначе бы я не имѣлъ счастія встрѣтиться съ вами здѣсь. Ваша матушка объяснитъ вамъ причину моего посѣщенія.

Они разошлись не поклонившись. Печоринъ уѣхалъ. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что онъ въ Красинскомъ узналъ того самаго чиновника, котораго нѣсколько дней назадъ едва не задавилъ и съ которымъ имѣлъ въ театрѣ исторію.

Между тѣмъ Красинскій, не менѣе пораженный этою встрѣчей, сѣлъ противъ своей матери на кресла, опустилъ голову на руку и глубоко задумался, когда мать передала ему порученіе Печорина, стараясь объяснить, какъ выгодно было бы взяться за дѣла князя, и стала удивляться тому, что Печоринъ не объяснился самъ. Тогда Красинскій вдругъ вскочилъ со своего мѣста. Свѣтлая мысль озарила лицо его, и онъ воскликнулъ ударивъ рукой по столу.—Да, я пойду къ этому князю! Потомъ онъ сталъ ходить по комнатѣ мѣрными шагами, дѣлая иногда безсвязныя восклицанія. Старушка, повидимому привыкшая къ такимъ страннымъ выходкамъ, смотрѣла на него безъ удивленія. Наконецъ онъ опять сѣлъ, вздохнулъ и посмотрѣлъ на мать съ такимъ видомъ, чтобы только начать разговоръ. Она его угадала.

— Ну что, Станиславъ, сказала она, — скоро ли тебѣ выйдетъ награжденіе? у насъ денегъ осталось мало.

— Не знаю, отвѣчалъ онъ отрывисто.

— Ты вѣрно не съумѣлъ угодить начальнику отдѣленія, продолжала она,—ну что за бѣда, что онъ твоими руками жаръ загребаетъ; при-

детъ и твое время, а покаместъ, если не будешь искать въ людяхъ, и Богъ тебя не взыщетъ.

Горькое чувство изобразилось на прекрасномъ лицѣ Станислава. Онъ отвѣчалъ глухимъ голосомъ:

— Матушка, вы хотите, чтобъ я пожертвовалъ для васъ даже характеромъ; пожалуй, послѣ всѣхъ жертвъ, которыя я принесъ вамъ, это будетъ капля воды въ морѣ.

Она подняла къ небу глаза полные слезъ, и молчаніе снова воцарилось. Станиславъ сталъ перелистывать книгу и вдругъ сказалъ, не отрывая глазъ отъ параграфа, гдѣ безыменный сочинитель доказывалъ, что дружба есть ключъ истиннаго счастія:

— Знаете ли, матушка, кто этотъ офицеръ, который былъ сегодня у насъ?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный врагъ, отвѣчалъ онъ.

Лицо старушки поблѣднѣло сколько могло, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же онъ отъ тебя хочетъ?

— Вѣроятно онъ мнѣ не желаетъ зла, но за то я имѣю сильную причину его ненавидѣть. Развѣ, когда онъ сидѣлъ здѣсь противъ васъ, блистая золотыми эполетами, поглаживая бѣлый султанъ, развѣ вы не чувствовали, не догадались съ перваго взгляда, что я долженъ непремѣнно его ненавидѣть. О, повѣрьте, мы еще не разъ съ нимъ встрѣтимся на дорогѣ жизни и встрѣтимся не такъ холодно, какъ нынѣ. Да, я пойду къ этому князю,—какое-то тайное предчувствіе шепчетъ мнѣ, чтобъ я повиновался указаніямъ судьбы.

Напрасны были всѣ старанія испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станиславъ не хотѣлъ разсказывать, какъ будто боялся, что причина ей покажется слишкомъ ничтожна. Какъ всѣ люди страсные и упорные, увлекаемые одною постоянною мыслію, онъ больше всѣхъ препятствій старался избѣгать убѣжденій разсудка, могущихъ отвлечь его отъ предположенной цѣли.

На другой день онъ одѣлся какъ можно лучше. Цѣлое утро онъ прилежно, можетъ быть въ первый разъ отъ роду, разсматривалъ съ ногъ до головы департаментскихъ франтиковъ, чтобы выучиться повязывать галстукъ и запомнить сколько пуговицъ у жилета надобно застегнуть, и пожертвовалъ четвертакъ Фаге, который безсовѣстно взбилъ его мягкія и волнистыя кудри въ жесткій и неуклюжій хохолъ. А когда пробило семь часовъ вечера, Красинскій отправился на Морскую, полный смутныхъ надеждъ и опасеній.

VIII.

У князя Лиговскаго были гости, кое-кто изъ родныхъ, когда Красинскій взошелъ въ лакейскую.

— Князь принимаетъ? спросилъ онъ нерѣшительно, взглядывая то на того, то на другаго лакея.

— Мы не здѣшніе, отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, даже не приподнявшись съ барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Онъ вѣрно сейчасъ самъ выйдетъ, былъ отвѣтъ,—а намъ нельзя!

Наконецъ явился швейцаръ.

— Князь Лиговскій дома?

— Пожалуйте-съ.

— Доложи, что пришелъ Красинскій,—онъ меня знаетъ.

Швейцаръ отправился въ гостиную, и подойдя къ Степану Степановичу, сказалъ ему тихо:

— Господинъ Красинскій пріѣхалъ-съ, онъ говоритъ, что вы изволите его знать.

— Какой Красинскій? Что ты врешь? воскликнулъ князь важно прищурясь.

Печоринъ, прислушавшись въ чемъ дѣло, поспѣшилъ на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тотъ самый чиновникъ, сказалъ онъ,—у котораго ваше дѣло. Я къ нему нынче заѣзжалъ.

— А! очень обязанъ, отвѣчалъ Степанъ Степановичъ.

Онъ пошелъ въ кабинетъ и велѣлъ просить туда чиновника.

Мы не будемъ слушать ихъ скучныхъ толковъ о запутанномъ дѣлѣ и останемся въ гостиной. Двѣ старушки, какой-то камергеръ и молодой человѣкъ обыкновенной наружности играли въ вистъ. Княгиня Вѣра и другая молодая дама сидѣли на канапе возлѣ камина, слушая Печорина, который, придвинувъ свое кресло къ камину, гдѣ сверкали остатки каменныхъ угольевъ, разсказывалъ имъ одно изъ своихъ похожденій во время Польской кампаніи. Когда Степанъ Степановичъ ушелъ, онъ занялъ праздное мѣсто, чтобы находиться ближе къ княгинѣ.

— Итакъ вамъ велѣли отправиться со взводомъ въ эту деревню... сказала молодая дама (которую Вѣра называла кузиной), продолжая прерванный разговоръ.

— И я, какъ разумѣется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, сказалъ Печоринъ, — мнѣ велѣно было отобрать у пана оружіе, если найдется, а его самого отправить въ главную квартиру... Я только что былъ произведенъ въ корнеты и это была первая моя

токомандировка. Къ разсвѣту мы увидали предъ собой деревню съ каменнымъ господскимъ домомъ, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мнѣ. Показанія его объ имени и о числѣ жителей были согласны съ моею инструкціей.—А есть ли у вашего пана жена или дочери? спросилъ я. — Есть, пане капитане. — А какъ ихъ зовутъ, графиню жену вашего Острожскаго?—Графиня Рожа. Должна быть красавица, подумалъ я наморщась. — Ну, а дочки ея такія же рожи, какъ ихъ маменька? — Нѣтъ, пане капитане, старшая называется Амалія и меньшая Гвелина. Это еще ничего не доказываетъ, подумалъ я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжалъ разспросы:— А что сама графиня Рожа старуха?—Ни пане, ей всего тридцать три года. — Какое несчастье! Мы въѣхали въ деревню и скоро остановились у воротъ замка. Я велѣлъ людямъ слѣзть и въ сопровожденіи унтеръ-офицера вошелъ въ домъ. Все было пусто. Пройдя нѣсколько комнатъ, я былъ встрѣченъ самимъ графомъ, дрожащимъ и блѣднымъ, какъ полотно. Я объявилъ ему мое порученіе. Разумѣется онъ увѣрялъ, что у него нѣтъ оружія, отдалъ мнѣ ключи ото всѣхъ своихъ кладовыхъ и между прочимъ предложилъ завтракать. Послѣ второй рюмки хереса графъ сталъ просить позволенія представить мнѣ свою супругу и дочерей. — Помилуйте, отвѣчалъ я, — что за церемонія. Я признаться боялся, чтобъ эта Рожа не испортила моего аппетита. Но графъ настаивалъ и повидимому сильно надѣялся на могущественное вліяніе своей Рожи. Я еще отнѣкивался, какъ вдругъ дверь отворилась и взошла женщина высокая, стройная, въ черномъ платьѣ. Вообразите себѣ польку и красавицу польку въ ту минуту, какъ она хочетъ обворожить русскаго офицера. Это была сама графиня Розалія или Роза, по простонародному Рожа.

Эта случайная игра словъ показалась очень забавна двумъ дамамъ. Онѣ смѣялись.

— Я предчувствую, вы влюбились въ эту Рожу? воскликнула наконецъ молодая дама, которую княгиня Вѣра называла кузиной.

— Это случилось бы, отвѣчалъ Печорилъ,—если бъ я уже не любилъ другую.

— Ого! постоянство, сказала молодая дома. — Знаете, что этою добродѣтелью не хвастаются?

— Во мнѣ это не добродѣтель, а хроническая болѣзнь.

— Вы однако же вылечились?

— По крайней мѣрѣ лечусь, отвѣчалъ Печоринъ.

Княгиня на него быстро взглянула, на лицѣ ея изобразилось что-то похожее на удивленіе и радость. Потомъ вдругъ она сдѣлалась печальна. Этотъ быстрый переходъ чувствъ не ускользнулъ отъ вниманія Печорина. Онъ перемѣнилъ разговоръ. Анекдотъ остался не-

конченнымъ и скоро былъ забытъ среди веселой и непринужденной бесѣды. Наконецъ подали чай и вошелъ князь, а за нимъ Красинскій. Князь отрекомендовалъ его женѣ и просилъ садиться. Взоры маленькаго кружка обратились на него, и молчаніе воцарилось. Если бы князь былъ петербургскій житель, онъ задалъ бы ему завтракъ въ 500 р.; если имѣлъ въ немъ нужду, даже пригласилъ бы его къ себѣ на балъ или на шумный раутъ потолкаться между раутнаго рода гостями, но ни за что въ мірѣ не ввелъ бы въ свою гостиную запросто человѣка посторонняго и никакимъ образомъ не принадлежащаго къ высшему кругу. Но князь воспитывался въ Москвѣ, а Москва такая гостепріимная старушка. Княгиня изъ вѣжливости обратилась къ Красинскому съ нѣкоторыми вопросами. Онъ отвѣчалъ просто и коротко.

— Мы очень благодарны, сказала она наконецъ, — господину Печорину за то, что онъ доставилъ намъ случай съ вами познакомиться.

При этихъ словахъ Печоринъ и Красинскій невольно взглянули другъ на друга и послѣдній отвѣчалъ скоро:

— Я еще болѣе васъ долженъ быть благодаренъ господину Печорину за эту неоцѣненную услугу.

По губамъ Печорина пробѣжала улыбка, которая могла бы выразится слѣдующею фразой: «ого, нашъ чиновникъ пускается въ комплименты». Понялъ ли Красинскій эту улыбку или же самъ испугался своей смѣлости, потому что это былъ его первый комплиментъ сказанный женщинѣ такъ высоко поставленной надъ нимъ обществомъ, не знаю, но онъ покраснѣлъ и продолжалъ неувѣреннымъ тономъ:

— Повѣрьте, княгиня, что я никогда не забуду пріятныхъ минутъ, которыя позволили вы мнѣ провесть въ вашемъ обществѣ. Прошу васъ не сомнѣваться, я исполню все, что будетъ зависѣть отъ меня... и къ тому же ваше дѣло только запутано, но совершенно правое.

— Скажите, спросила его княгиня съ тѣмъ участіемъ, когда не знаютъ что сказать незнакомому человѣку: — скажите, вы, я думаю, замучены дѣлами... Я воображаю эту скуку: съ утра до вечера писать и прочитывать длинныя и безсвязныя бумаги, — это нестерпимо: повѣрите, мой мужъ каждый день въ продолженіе года толкуетъ и объясняетъ мнѣ наше дѣло, а я до снъ поръ ничего еще не понимаю.

«Какой любезный и занимательный супругъ», подумалъ Печоринъ.

— Да и зачѣмъ вамъ, княгиня? сказалъ Красинскій:—Вашъ удѣлъ забавы, роскоши, а нашъ — трудъ и заботы; оно такъ и слѣдуетъ: если бы не мы, кто бы сталъ трудиться.

Наконецъ и этотъ разговоръ истощился. Красинскій всталъ, раскланялся... Когда онъ ушелъ, кузина княгини замѣтила, что онъ вовсе не такъ неловокъ, какъ бы можно ожидать отъ чиновника и что онъ

говоритъ вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!...» Печоринъ при этихъ словахъ сталъ превозносить до невозможности его ловкость и красоту: онъ увѣрялъ, что никогда не видывалъ такихъ темноголубыхъ глазъ ни у одного чиновника на свѣтѣ и увѣрялъ, что Красинскій, судя по его глубокимъ замѣчаніямъ, непремѣнно будетъ великимъ государственнымъ человѣкомъ, если не останется вѣчно титулярнымъ совѣтникомъ. «Я непремѣнно узнаю, прибавилъ онъ очень серьезно, есть ли у него университетскій аттестатъ». Ему удалось разсмѣшить двухъ дамъ и обратить разговоръ на другіе предметы. Не смотря на то, выраженіе княгини глубоко врѣзалось въ его памяти. Оно показалось ему упрекомъ, хотя случайнымъ, но тѣмъ не менѣе язвительнымъ. Онъ прежде самъ восхищался благородною красотой лица Красинскаго, но когда женщина, увлекавшая всѣ его думы и надежды, обратила особенное вниманіе на эту красоту, онъ понялъ, что она невольно сдѣлала сравненіе для него убійственное и ему почти показалось, что онъ вторично потерялъ ее навѣки и съ этой минуты въ свою очередь возненавидѣлъ Красинскаго. Грустно, а надо признаться, что самая чистѣйшая любовь наполовину неремѣшана съ самолюбіемъ.

Увлекаясь самъ наружною красотой и обладая умомъ рѣзкимъ и проницательнымъ, Печоринъ умѣлъ смотрѣть на себя съ безпристрастіемъ и, какъ обыкновенно люди съ пылкимъ воображеніемъ, преувеличивалъ свои недостатки. Убѣдясь по собственному опыту, какъ трудно влюбиться въ одни душевныя качества, онъ сдѣлался недовѣрчивъ и пріучился объяснять вниманіе или ласки женщинъ разсчетомъ или случайностью. Въ томъ, что казалось бы другому доказательствомъ нѣжнѣйшей любви, онъ пренебрежительно видѣлъ примѣты обманчивыя, слова сказанныя безъ намѣренія, взгляды, улыбки брошенныя на вѣтеръ, первому кто захочетъ ихъ поймать. Другой бы упалъ духомъ и уступилъ соперникамъ поле сраженія, но трудность борьбы увлекаетъ упорный характеръ, и Печоринъ далъ себѣ честное слово остаться побѣдителемъ. Слѣдуя системѣ своей и вооружась несноснымъ наружнымъ хладнокровіемъ и терпѣніемъ, онъ могъ бы разрушить лукавыя увертки самой искусной кокетки... Онъ зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымъ и непреклоннымъ, слѣдуя какому-то закону природы, доселѣ необъяснимому. Можно было навѣрное сказать, что онъ достигнетъ своей цѣли, если страсть, всемогущая страсть не разрушитъ какъ буря однимъ порывомъ высокіе подмостки его разсудка и стараній... но это если, это ужасное если, почти похоже на «если» Архимеда, который обѣщался приподнять земной шаръ, если ему дадутъ точку опоры.

Толпа разныхъ мыслей осаждала умъ Печорина, такъ что подъ

конецъ вечера онъ сдѣлался разсѣянъ и молчаливъ; князь Степанъ Степановичъ разсказывалъ длинную исторію, почерпнутую изъ семейныхъ преданій; дамы украдкой зѣвали.

— Отчего вы сдѣлались такъ печальны? спросила наконецъ Печорина кузина Вѣры Дмитріевны.

— Причину даже совѣстно объявить, отвѣчалъ Печоринъ.

— Однако жъ!

— Зависть!

— Кому жъ вы завидуете, напримѣръ?

— Не мнѣ ли? сказалъ князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса. Печорину тотчасъ пришло въ мысль, что княгиня разсказала мужу прежнюю ихъ любовь, покаялась въ ней, какъ въ дѣтскомъ заблужденіи. Если такъ, то все было кончено между ними, и Печоринъ непремѣнно могъ сдѣлаться предметомъ насмѣшекъ для супруговъ или жертвой коварнаго заговора. Я удивляюсь, какъ это подозрѣніе не потревожило его прежде, но увѣряю васъ, что оно пришло ему въ голову именно теперь. Онъ обѣщалъ себѣ постараться узнать, исповѣдывалась ли Вѣра своему мужу, и между тѣмъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, князь, не вамъ, хотя бы я могъ какъ и всякій, долженъ вамъ завидовать, но, признаюсь, я желалъ бы имѣть счастливый даръ этого Красинскаго—нравиться всѣмъ съ перваго взгляда.

— Повѣрьте, отвѣчала княгиня, — кто скоро нравится, объ томъ скоро забываютъ.

— Боже мой! что на свѣтѣ не забывается? и если считать ни во что минутный успѣхъ, то гдѣ же счастіе? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочнаго богатства, — глядишь, смерть, болѣзнь, пожаръ, потопъ, война, миръ, соперникъ, перемѣна общаго мнѣнія—и всѣ труды пропали!... А забвенье? забвенье равно неумолимо къ минутамъ и столѣтіямъ. Если бы меня спросили чего я хочу — минуту полнаго блаженства или годы двусмысленнаго счастія, я бы скорѣй рѣшился сосредоточить всѣ свои чувства и страсти на одно божественное мгновеніе, и потомъ страдать сколько угодно, чѣмъ мало по малу растягивать ихъ и размѣщать по нумерамъ въ промежуткахъ скуки или печали.

— Я во всемъ съ вами согласна, кромѣ того что все на свѣтѣ забывается. Есть вещи, которыхъ забыть невозможно, особенно горести, сказала княгиня.

Ея милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный видъ, и что-то похожее на слезу пробѣжало блистая вдоль по длиннымъ ея рѣсницамъ, какъ капля дождя, забытая бурей на листкѣ

березы, трепеща перекатывается по его краямъ, покуда новый порывъ вѣтра не умчитъ ее Богъ знаетъ куда.

Печоринъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее. Увы! онъ не могъ ничѣмъ объяснить этотъ странный припадокъ грусти. Онъ такъ давно разлученъ былъ съ нею, и съ тѣхъ поръ онъ не зналъ ни одной подробности ея жизни. Даже очень вѣроятно, что чувства Вѣры въ эти минуты относились вовсе не къ нему: мало ли могло быть у ней обожателей послѣ его отъѣзда въ армію. Можетъ быть и ей измѣнилъ который нибудь изъ нихъ—какъ знать!

Кто объяснитъ, кто растолкуетъ
Очей двусмысленный языкъ....

Когда онъ всталъ, чтобъ уѣзжать, княгиня его спросила будетъ ли онъ послѣ завтра на балѣ у баронессы Р., ея родственницы.

— Мнѣ досадно, что баронесса такъ убѣдительно насъ звала, прибавила она; — я почти вовсе не знаю здѣшняго круга и увѣрена, что мнѣ тамъ будетъ скучно.

Печоринъ отвѣчалъ, что онъ еще не званъ.

«Теперь я понимаю, подумалъ онъ, садясь въ сани, ей хочется имѣть на этомъ балѣ знакомаго кавалера... Дай Богъ, чтобы меня не звали: тамъ вѣрно будетъ Лиза Негурова. Ахъ, Боже мой! да кажется онѣ съ Вѣрой давнишнія знакомыя... О, но если она осмѣлится»... Тутъ сани его остановились и мысли также. Войдя къ себѣ въ кабинетъ, онъ нашелъ въ столѣ пригласительный билетъ отъ баронессы....

IX.

Баронесса Р** была русская, но замужемъ за курляндскимъ барономъ, который какимъ-то образомъ сдѣлался ужасно богатъ. Она жила на Милліонной, въ самомъ центрѣ высшаго круга. Съ 11 часовъ вечера кареты одна за одною стали подъѣзжать къ ярко освѣщенному ея подъѣзду. По обѣимъ сторонамъ крыльца тѣснились на тротуарѣ прохожіе, остановленные любопытствомъ, съ опасностію быть раздавленными. Въ числѣ ихъ былъ Красинскій. Прижавшись къ стѣнѣ онъ съ завистью смотрѣлъ на разныхъ господъ со звѣздами и крестами, которыхъ длинные лакеи осторожно вытаскивали изъ кареты, на молодыхъ людей небрежно выскакивавшихъ изъ саней на гранитныя ступени, и множество мыслей тѣснилось въ головѣ его. «Чѣмъ я хуже ихъ? думалъ онъ. Эти лица, блѣдныя, истощенныя, искривленныя мелкими страстями, ужели нравятся женщинамъ, которыя имѣютъ право и возможность выбирать? Деньги, деньги и однѣ деньги, на что имъ красота, умъ и сердце? О, я буду богатъ непремѣнно, во что бы то ни стало,

и тогда заставлю эти общества отдать мнѣ должную справедливость».

Бѣдный, невинный чиновникъ! Онъ не зналъ, что для этого общества, кромѣ кучи золота нужно имя, украшенное историческими воспоминаніями (какія бы они ни были), имя столь уже знакомое лакейскимъ, чтобы швейцаръ его не исковеркалъ и чтобы въ случаѣ, когда его произнесутъ, какая нибудь важная дама, законодательница и судія гостиныхъ, спросила бы: который это? не родня ли онъ князю В. или графу К.? Итакъ Красинскій стоялъ у подъѣзда закутанный въ шинель. Вотъ подъѣхала карета, изъ нея вышла дама. При блескѣ фонарей бриліанты ярко сверкали между ея локонами, за нею вылѣзъ изъ кареты мужчина въ медвѣжьей шубѣ. Это были князь Лиговской съ княгиней. Красинскій поспѣшно высунулся изъ толпы зѣвакъ, снялъ шляпу и почтительно поклонился, какъ знакомымъ, но увы! его не замѣтили или не узнали, что̀ еще вѣроятнѣе. И въ самомъ дѣлѣ, женщинѣ видѣвшей его одинъ только разъ и готовой предстать на грозный судъ лучшаго общества, и пожилому мужу слѣдующему на балъ за хорошенькою женой, право, не до толпы любопытныхъ зѣвакъ, мерзнущихъ у подъѣзда. Но Красинскій приписалъ гордости и умышленному небреженію вещь чрезвычайно простую и случайную, и съ этой минуты тайная непріязнь къ княгинѣ зародилась въ его подозрительномъ сердцѣ. «Хорошо, подумалъ онъ удаляясь, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ» — жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тѣмъ въ залѣ уже гремѣла музыка и балъ начиналъ оживляться. Тутъ было все, что̀ есть лучшаго въ Петербургѣ: два посланника, съ ихъ заморскою свитой, составленною изъ людей говорящихъ очень хорошо по-французски (что̀ впрочемъ вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавшихъ глубокое участіе въ нашихъ красавицахъ; нѣсколько генераловъ и государственныхъ людей; одинъ англійскій лордъ, путешествующій изъ экономіи и поэтому не почитающій за нужное ни говорить, ни смотрѣть. За то его супруга, благородная леди, принадлежавшая къ классу bluestockings и нѣкогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверыхъ и смотрѣла въ четыре глаза, если считать стекла двойнаго лорнета, въ которыхъ было не менѣе выразительности, чѣмъ въ ея собственныхъ глазахъ. Тутъ было пять или шесть нашихъ доморощенныхъ дипломатовъ, путешествующихъ на свой счетъ не далѣе Ревеля и утверждающихъ рѣзко, что Россія государство совершенно европейское, и что они знаютъ ее вдоль и поперекъ, потому что бывали нѣсколько разъ въ Царскомъ Селѣ и даже въ

Парголовѣ. Они гордо и посматривали изъ-за накрахмаленныхъ галстуковъ на военную молодежь, повидимому такъ безпечно и необдуманно преданную удовольствію. Они были увѣрены, что эти люди, затянутые въ вышитый золотомъ мундиръ, неспособны ни къ чему, кромѣ машинальныхъ занятій службы. Тутъ могли бы вы также встрѣтить нѣсколько молодыхъ и розовыхъ юношей, военныхъ съ тупеями, штатскихъ причесанныхъ à la Russe, скромныхъ подобно наперсникамъ классической трагедіи, недавно представленныхъ высшему обществу какимъ нибудь знатнымъ родственникомъ. Не успѣвъ познакомиться съ большею частію дамъ, и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встрѣтить одинъ изъ тѣхъ леденыхъ ужасныхъ взглядовъ, отъ которыхъ переворачивается сердце какъ у больнаго при видѣ черной микстуры, они робкою толпой зрителей окружали блестящія кадрили и ѣли мороженое, ужасно ѣли мороженое. Исключительно танцующіе кавалеры могли раздѣлиться на два разряда. Одни добросовѣстно не жалѣли ни ногъ, ни языка, танцовали безъ устали, садились на край стула, обратившись лицомъ къ своей дамѣ, улыбались и кидали значительные взгляды при каждомъ словѣ, короче, исполняли свою обязанность какъ нельзя лучше. Другіе, люди среднихъ лѣтъ, чиновные, заслуженные ветераны общества, съ важною осадкой и гордымъ лицомъ, скользили небрежно по паркету, какъ изъ милости или снисхожденія къ хозяйкѣ, и говорили только съ дамой своего vis-a-vis, когда встрѣчались съ нею, дѣлая фигуру.

Но за то дамы были истиннымъ украшеніемъ этого бала, какъ и всѣхъ возможныхъ баловъ!... Сколько блестящихъ глазъ и бриліантовъ, сколько розовыхъ устъ и розовыхъ лентъ... чудеса природы, и чудеса модной лавки.... Волшебныя маленькія ножки и чудно узкіе башмаки, бѣломраморныя плечи и лучшія французскія бѣлилы, звучныя фразы заимствованныя изъ моднаго романа, брилліанты взятые на прокатъ изъ лавки... Я не знаю, но въ моихъ понятіяхъ женщина на балѣ составляетъ со своимъ нарядомъ нѣчто цѣлое, нераздѣльное, особенное. Женщина на балѣ совсѣмъ не то, что женщина въ своемъ кабинетѣ. Судить о душѣ и умѣ женщины протанцовавъ съ нею мазурку, все равно, что судить о мнѣніи и чувствахъ журналиста прочитавъ одну его статью.

У двери ведущей изъ залы въ гостиную сидѣли двѣ зрѣлыя дѣвы, вооруженныя лорнетами и разговаривающія съ двумя писателями, молодыми людьми не танцующими. Одна изъ нихъ была Елизавета Николаевна. Пунцовое платье придавало ея блѣднымъ чертамъ немного болѣе жизни и вообще она была къ лицу одѣта. Въ надеждѣ на это преимущество, она довольно холодно отвѣчала

на вѣжливый поклонъ Печорина, когда тотъ подошелъ къ ней. (Надобно замѣтить, между прочимъ, что дама дурно одѣтая обыкновенно гораздо любезнѣе и снисходительнѣе — это впрочемъ вовсе не значитъ, что онѣ должны дурно одѣваться). Печоринъ сталъ возлѣ Елизаветы Николаевны, ожидая, чтобъ она начала разговоръ, и разсѣянно смотрѣлъ на танцующихъ. Такъ прошло нѣсколько минутъ, и наконецъ она принуждена была сорвать во своихъ устъ печать молчанія.

— Отчего вы не танцуете? спросила она его.

— Я всегда и вездѣ слѣдую вашему примѣру.

— Развѣ съ нынѣшняго дня.

— Что жъ, лучше поздно, чѣмъ никогда. Не правда ли?

— Иногда бываетъ слишкомъ поздно.

— Боже мой! какое трагическое выраженіе!

Елизавета Николаевна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвѣчала:

— Я съ нѣкоторыхъ поръ перестала удивляться вашему поведенію; для другихъ бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я васъ теперь очень хорошо знаю.

— А нельзя ль узнать, кто такъ искусно объяснилъ вамъ мой характеръ?

— О, это тайна, сказала она, взглянувъ на него пристально, и прижавъ къ губамъ свой вѣеръ.

Онъ наклонился и съ притворною нѣжностію шепнулъ ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мнѣ давно уже повѣрили, ужели другая важнѣе первой?

Она покраснѣла при всей своей неспособности краснѣть, но не отъ стыда, не отъ воспоминанія, не отъ досады; невольное удовольствіе, тайная надежда завлечь снова непостояннаго поклонника, выйти замужъ или хотя отомстить современемъ по-своему, по-женски, промелькнуло въ ея душѣ. Женщины никогда не отказываются отъ такихъ надеждъ, когда представляется какая нибудь возможность достигнуть цѣли, и отъ такихъ удовольствій, когда цѣль достигнута.

Принявъ тотчасъ серіозный, печальный видъ, она отвѣчала съ разстановкой: Вы мнѣ напоминаете вещи, о которыхъ я хочу забыть.

— Но еще не забыли? сказалъ онъ съ нѣжностію.

— О, не продолжайте, — я ничему не повѣрю болѣе, вы мнѣ дали такой урокъ....

— Я? — Въ этомъ я было больше удивленія, чѣмъ въ пяти восклицательныхъ знакахъ, поставленныхъ рядомъ. Потомъ Печоринъ задумался.

— Да, сказалъ онъ, — теперь я начинаю понимать! кто нибудь меня оклеветалъ предъ вами, у меня столько враговъ и особенно друзей, теперь понимаю, отчего намедни, когда я заѣзжалъ къ вамъ, это было поутру, и я знаю, что у васъ были гости, но меня не приняли. О, конечно я самъ не буду искать вторично такого оскорбленія.

— Но вы не знаете, что̀ этому причиной, сказала поспѣшно Елизавета Николаевна, — я получила письмо отъ неизвѣстнаго, въ которомъ....

— Въ которомъ меня хвалятъ и толкуютъ мои поступки въ самую лучшую сторону, отвѣчалъ горько улыбаясь Печоринъ. — О, я догадываюсь, кто мнѣ оказалъ эту услугу. Однако жъ прошу васъ вѣрьте, вѣрьте всему, что̀ тамъ написано, какъ вы вѣрили до сей минуты. — Онъ засмѣялся и хотѣлъ отойти прочь.

— Но если я не вѣрю? воскликнула, испугавшись Елизавета Николаевна.

— Напрасно, всегда выгоднѣе вѣрить дурному, чѣмъ хорошему.... одинъ противъ двадцати что....

Онъ не кончилъ фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, гдѣ произошло небольшое движеніе. Глаза Елизаветы Николаевны боязливо обратились въ ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась къ гостиной княгиня Лиговская и за нею князь Степанъ Степановичъ.

Она была одѣта со вкусомъ, только строгіе законодатели моды могли бы замѣтить съ важностію, что на ней было слишкомъ много бриллiантовъ. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшуюся предъ ней. Ни одно привѣтствіе не удержало ее на пути, и сто любопытныхъ глазъ, озиравшихъ съ головы до ногъ незнакомую красавицу, вызвали краску на нѣжныя щеки ея; глаза покрылись какою-то электрическою влагой, грудь неровно подымалась и можно было догадаться по выраженію лица, что настала минута для нея мучительная. Она была похожа на неизвѣстнаго оратора, всходящаго въ первый разъ по ступенямъ каѳедры. Отъ этого бала зависѣлъ успѣхъ ея въ модномъ свѣтѣ.... Не кстати пришитый бантъ, не на мѣстѣ приколотый цвѣтокъ могъ навсегда разрушить ея будущность... И въ самомъ дѣлѣ можетъ ли женщина надѣяться на успѣхъ, можетъ ли она нравиться нашимъ франтамъ, если съ перваго взгляда скажутъ: elle a l'air bourgeois... это выраженіе, такъ не кстати вкравшееся въ наше чисто-дворянское общество, имѣетъ однако же ужасную власть надъ дамами и отнимаетъ всѣ права у красоты и любезности: «вкусъ, батюшка, отмѣнная манера».

Когда княгиня поровнялась съ Печоринымъ, то едва отвѣтила легкимъ наклоненіемъ головы и мимолетною улыбкой на его поклонъ. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но она отвернулась. Глаза ея безпокойно бѣгали кругомъ, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Елизавету Николаевну.. Узнавъ другъ друга, соперницы очень ласково обмѣнялись привѣтствіями... Потомъ кто-то еще высунулся изъ толпы мужчинъ и съ радостнымъ видомъ сталъ спрашивать, когда она изъ Москвы и пр. Она постепенно дѣлалась привѣтливѣй, такъ что можно почти держать пари, что если бъ она встрѣтила здѣсь знакомыхъ, то девяносто девятый остался бы въ счастливомъ убѣжденіи, что однимъ взглядомъ побѣдилъ ея сердце. Только что княгиня и князь прошли въ гостиную, Елизавета Николаевна тотчасъ обратилась къ Печорину, чтобы возобновить прерванный разговоръ, но онъ былъ такъ блѣденъ, такъ неподвиженъ, что ей стало страшно.

— Появленіе этой дамы, сказала она наконецъ ему, — сдѣлало на васъ очень странное впечатлѣніе!... Вы давно ее знаете?

— Съ дѣтства! отвѣчалъ Печоринъ.

— Я также ее когда-то знала.... за кѣмъ она замужемъ?

Печоринъ сказалъ.

— Какъ! неужели этотъ господинъ, который за нею шелъ такъ смиренно, ея мужъ?... Если бъ я ихъ встрѣтила на улицѣ, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она дѣлаетъ изъ него все, что хочетъ.

— По крайней мѣрѣ все, что можно изъ него сдѣлать...

— Однако она счастлива....

— Развѣ вы не замѣтили сколько на ней брилліантовъ?

— Богатство не есть счастіе!...

— Все таки оно ближе къ нему, нежели бѣдность. Нѣтъ ничего безвкуснѣе какъ быть довольною своею судьбой, въ скромной хижинѣ.... за чашкой грешневой каши.

— Кто жъ вамъ говоритъ о бѣдности? Вездѣ надо умѣть выбирать середину...

— Я вамъ желаю мужа, который бы такъ думалъ.

Онъ отошелъ. Кадрили кончились, музыка замолкла. Въ широкой залѣ раздавался смѣшанный говоръ тонкихъ и толстыхъ голосовъ, шарканье сапоговъ и башмачковъ. Составились группы. Дамы пошли въ другія комнаты подышать свѣжимъ воздухомъ, пересказать другъ другу свои замѣчанія, немногіе кавалеры за ними послѣдовали, не замѣчая что они лишніе и что отъ нихъ стараются отдѣлаться. Княгиня прошла въ залу и сѣла возлѣ Негуровой. Онѣ возобновили старое знакомство и между ними завязался незначительный разговоръ...

ПРИМѢЧАНІЕ КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ.

1. Ангелъ (стр. 1). Въ тетради Лермонтова послѣ 3 строфы, была написана еще строфа, откинутая имъ въ печати:

Душа поселилась въ твореньи земномъ,
Но чуждъ ей былъ міръ. Объ одномъ
Она все мечтала: о звукахъ святыхъ,
Не помня значенія ихъ.

Начало слѣдующей за этою строфы было:

Съ тѣхъ поръ, неизвѣстнымъ желаньевъ полна,
Страдала, томилась она.

2. Парусъ (стр. 2). Стихотвореніе это относили прежде къ 1841 г., а потомъ къ 1835 году по неточной помѣтѣ въ Р. Архивѣ письма Лермонтова, въ которомъ оно было сообщено г-жѣ Лопухиной. Теперь мы поправили эту ошибку.

3. Два великана и 4 слѣдующія стихотворенія (стр. 78—80) находятся въ рукописяхъ Чертковской Библіотеки, по которымъ и исправленъ прежде печатавшійся текстъ. Замѣтимъ, что послѣ стихотворенія «Она поетъ» (стр. 80) набросано карандашомъ цѣлое шуточное стихотвореніе; «Росписку просишь ты, гусаръ», въ 25 стиховъ, которое, судя по одному стиху: «И легче мнѣ судьбы ударъ», можетъ относиться къ началу 1837 г., когда постигъ поэта первый «судьбы ударъ» за его стихотвореніе: «На смерть Пушкина». Двѣ первыя строфы совсѣмъ неудобны для печати, почему приводимъ только заключительную, имѣющую, впрочемъ, ошибку, по которой вмѣсто Моисея является Ааронъ:

Такъ нѣкогда въ степи безводной
Премудрый пастырь Ааронъ
Услышалъ плачъ и вопль народной,
И жезлъ священный поднялъ онъ;
И на челѣ его угрюмомъ
Надежды лучъ блеснулъ живой,
И тронулъ камень онъ нѣмой,
И брызнулъ ключъ съ привѣтнымъ шумомъ
Новорожденною струей.

4. Къ этой же эпохѣ, вѣроятно, слѣдуетъ отнести эпиграмму по поводу представленія драмы Н. Кукольника: «Скопинъ-Шуйскій». Эпиграмма эта набросана на оборотѣ листка, первая страница ко-

тораго занята стихотвореніями: «Я, матерь Божія», «Разстались мы» и «Ангелъ».

Въ Большомъ театрѣ я сидѣлъ.
Давали Скопина. Я слушалъ и смотрѣлъ.
Когда же занавѣсъ при плескахъ опустился,
Тогда сказалъ знакомый мнѣ одинъ:
Что, братецъ, жаль! Вотъ умеръ и Скопинъ!
Ну, право, лучше бъ не родился.

5. На смерть Пушкина (стр. 81). Въ первый разъ это стихотвореніе, до заключительныхъ стиховъ, было напечатано съ автографа въ «Библ. Записках» (1858, № 20), при чемъ приведено 11 мелкихъ варіановъ или собственно исправленій.—Черезъ нѣсколько дней послѣ дуэли и смерти Пушкина Лермонтовъ написалъ это стихотвореніе, заключивъ его стихомъ: «И на устахъ его печать». Оно разошлось по городу. Вскорѣ послѣ того заѣхалъ къ нему одинъ изъ его родственниковъ, Н. А. Столыпинъ. У нихъ завязался разговоръ объ исторіи Дантеса (бар. Геккернъ) съ Пушкинымъ, причемъ Столыпинъ обвинялъ Пушкина и оправдывалъ Дантеса. Лермонтовъ спорилъ, горячился, и когда тотъ уѣхалъ, тотчасъ же написалъ добавочные стихи. Въ тотъ же день вечеромъ г. Меринскій, зайдя къ Лермонтову, услышалъ отъ него этотъ разсказъ и списалъ стихи, потомъ списали ихъ многіе изъ товарищей и знакомыхъ Лермонтова, и они пошли по рукамъ. — Вскорѣ послѣ того, на одномъ многолюдномъ вечерѣ извѣстная въ то время старуха и большая сплетница, А. М. Хитрово, при всѣхъ обратилась съ вопросомъ къ гр. Бенкендорфу: «Слышали вы, Александръ Христофоровичъ, что написалъ про насъ Лермонтовъ?. Бенкендорфъ и прежде нея зналъ о томъ, но не находилъ ничего особенно важнаго; тутъ, говорятъ, онъ сказалъ: «ужъ если Анна Михайловна знаетъ про эти стихи, то я долженъ о нихъ доложить государю.» Вслѣдствіе этого былъ посланъ начальникъ главнаго штаба, Веймарнъ, чтобъ осмотрѣть бумаги Лермонтова въ Царскомъ Селѣ, гдѣ онъ не нашелъ поэта, жившаго большею частію въ Петербургѣ, а нашелъ нетопленую квартиру и пустые ящики въ столахъ. Лермонтовъ вскорѣ былъ отправленъ на Кавказъ.— Нѣсколько измѣненный разсказъ объ этомъ находится въ брошюрѣ А. Н. Муравьева: «Знакомство съ русскими поэтами», а слѣдующія подробности изъ подлиннаго дѣла только недавно явились въ печати (Р. Старина 1880, № 7):

1837 г. № 43. Дѣло о стихахъ корнета Лермонтова на смерть Пушкина и о распространеніи ихъ чиновникомъ 12-го класса Раевскимъ.

«Командующій отдѣльнымъ гвардейскимъ корпусомъ генералъ-

адъютантъ Бистромъ, въ дополненіе записки отъ сего числа за № 78, имѣетъ честь препроводить при семъ къ его сіятельству графу Александру Христофоровичу стихи, писанные корнетомъ л.-гв. гусарскаго полка Лермонтовымъ, полученные сего числа отъ генералъ-адъютанта Клейнмихеля.—№ 79.—22-го февраля 1837 г. (Его сіятельству графу А. Х. Бенкендорфу).

Помѣты карандашомъ: «П. Ѳ-чъ Вейм. все препр. къ Клейнм.». — «Показать Ал. Ил. не найдетъ ли?»

(Бумаги отправлены 24-го февраля 1837 г. къ начальнику штаба Петру Ѳедоровичу Вейдарну, при отношеніи отъ графа Бенкендорфа вмѣстѣ съ бумагами чиновника 12-го класса Раевскаго).

Отношеніе военнаго министра графа Чернышева г. шефу жандармовъ и командующему Императорскою главною квартирою (отъ 25-го февраля 1837 г. за № 100).

«Государь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: лейбъ-гвардіи гусарскаго полка корнета Лермонтова, за сочиненіе извѣстныхъ вашему сіятельству стиховъ, перевесть тѣмъ же чиномъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, а губернскаго секретаря Раевскаго за распространеніе сихъ стиховъ, и въ особенности за намѣреніе тайно доставить свѣдѣніе корнету Лермонтову о сдѣланномъ имъ показаніи, выдержать подъ арестомъ въ теченіе одного мѣсяца, а потомъ отправить въ Олонецкую губернію, для употребленія на службу, по усмотрѣнію тамошняго гражданскаго губернатора.

«О таковомъ высочайшемъ повелѣніи увѣдомляя васъ, милостивый государь, имѣю честь присовокупить, что должное по оному распоряженіе сдѣлано.

Помѣта графа Бенкендорфа: «убрать».

Мать Раевскаго, титулярная совѣтница Дарья Раевская, 11-го марта 1837 года, изъ губернскаго города Саратова просила графа Бенкендорфа повергнуть ея прошеніе государю о прощеніи ея сына, «который за распространеніе предосудительныхъ стиховъ, написанныхъ корнетомъ Лермонтовымъ на смерть Пушкина», назначенъ къ отправкѣ въ Олонецкую губернію. Прошеніе передано 2-го апрѣля 1837 года статсъ-секретарю Н. М. Лонгинову.

6. Вѣтка Палестины (стр. 83). А. Н. Муравьевъ указываетъ, что стихотвореніе это было написано въ его образной, при видѣ палестинскихъ пальмъ, тамъ стоявшихъ. Лермонтовъ ждалъ въ этой комнатѣ г. Муравьева, отправившагося по его просьбѣ къ начальнику III Отдѣленія Собств. Канцеляріи, Мордвинову, ходайствовать по дѣлу о стихахъ на смерть Пушкина. (Знакомство съ русскими поэтами, Кіевъ. 1871).

7. Узникъ. (стр. 104). Четыре заключительные стиха первой строфы сначала были написаны:

Чтобъ я съ ней по чисту полю
Ускакалъ на томъ конѣ;
Дайте волю, волю, волю—
И не надо счастья мнѣ!

8. Въ Русскомъ Архивѣ 1867 г. (№ 7) напечатана слѣдующая альбомная замѣтка Лермонтова, относящаяся тоже къ 1837 году:

РЕБЕНКУ.

(въ альбомъ арк. павл. петрову).

Ну, что скажу тебѣ я спросту?
Мнѣ не съ-руки хвала и лесть:
Дай Богъ тебѣ побольше росту —
Другія качества всѣ есть.

9. Дума. (стр. 108). 12-й стихъ былъ напечатанъ въ «Библ. Запискахъ» (1861, № 3) неправильно: «Безсилья жалкаго рабы». Въ другомъ же, сообщенномъ намъ спискѣ, 11 и 12 стихи читаются:

Предъ подвигомъ добра постыдно-малодушны,
И передъ властію ничтожные рабы.

10. Къ 1838 году относится еще слѣдующій уцѣлѣвшій въ памяти друзей Лермонтова «Экспромтъ» къ М. И. Цейдлеру, ухаживавшему за дочерью генерала Сталя:

Русскій нѣмецъ бѣлокурый
Ѣдетъ въ дальнюю страну,
Гдѣ косматые гяуры
Вновь затѣяли войну.
Ѣдетъ онъ, томимъ печалью,
На могучій миръ войны;
Но иной, не бранной сталью,
Мысли юноши полны.

11. Демонъ. (стр. 110). Лермонтовъ началъ эту поэму въ 1829 г., но когда окончательно отдѣлалъ — неизвѣстно. Первые наброски сдѣланы были имъ еще въ пансіонѣ, потомъ они были тамъ же вновь переработаны въ 1831 г., и за тѣмъ снова передѣланы въ юнкерской школѣ въ 1834 г., а потомъ переправлялись съ значительными измѣненіями въ 1836 г. въ Царскомъ Селѣ. Окончательно отдѣланный текстъ былъ привезенъ Лермонтовымъ съ Кавказа только въ 1838 г., какъ это положительно удостовѣрилъ товарищъ Лермонтова по школѣ А. М. Меринскій, почему мы и отнесли поэму къ этому году. Однако же есть основаніе предполагать, что Лермонтовъ все еще былъ недоволенъ своимъ трудомъ и передѣлывалъ его едва ли не до своей кончины. Такъ мы имѣли принадлежащій О. И. Квисту списокъ поэмы, поправленной самимъ Лермонтовымъ въ 1840 году. Въ этомъ спискѣ есть перемѣны противъ текста, принятаго Дудышкинымъ въ основаніе

1-го изданія, изъ которыхъ самая значительная относится къ началу 2-й части поэмы, гдѣ 16 стиховъ, довольно слабыхъ и растянутыхъ, замѣнены въ рукописи Квиста 10 прекрасными стихами. Стихи эти были помѣщены и у Дудышкина, но въ числѣ варіантовъ, потому что онъ выбралъ въ основаніе, какъ оказывается, болѣе ранній списокъ. Вотъ варіанты поэмы, взятые изъ другихъ рукописей:

Стр. 110, строфа II: Въ пустынѣ міра онъ блуждалъ
Давно безъ цѣли и пріюта.

Стр. 113, послѣ 11 стиха VI-й строфы было написано:

И вотъ невѣста молодая
Беретъ свой бубенъ росписной;
Въ ладони мѣрно ударяя,
Запѣли всѣ; одной рукой
Кружа его надъ головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла міръ земной.
Ея узорною повязкой
Играетъ вѣтеръ. Какъ волна,
Грудь подымается высоко; .
Уста блѣднѣютъ и дрожатъ;
И жаждой страсти полонъ взглядъ,
Какъ страсть палящій и глубокій.

Стр. 114, Первыми 10-ти стихами VIII строфы замѣнены 7 первоначальныхъ:

На ней былъ свѣтлый отпечатокъ
Небесной родины людей,
Величья прежняго остатокъ,
Отливъ померкнувшихъ лучей.
Въ ней было то полуземное,
Что ищетъ сердце молодое
Въ пылу затѣйливой мечты.

Стр. 118, Начало XII-й строфы прежде было такое:

Затихло все... Тѣснясь толпой,
На трупы всадниковъ порой
Верблюды съ ужасомъ глядѣли,
И глухо въ тишинѣ ночной
Ихъ колокольчики звенѣли.

Стр. 122, Послѣ первыхъ 4 стиховъ 1-й строфы второй части написано было:

Не буду я ни чьей женою —
Скажи моимъ ты женихамъ:
Супругъ мой взятъ сырой землею —

Другому сердца не отдамъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ трупъ его кровавый
Мы схоронили подъ горой,
Меня тревожитъ духъ лукавый
Неотразимою мечтой;
Въ тиши ночной меня тревожитъ
Толпа печальныхъ, странныхъ сновъ;
Молиться днемъ душа не можетъ:
Мысль далеко отъ звука словъ;
Огонь по жиламъ пробѣгаетъ...
Я сохну, вяну день отъ дня.
Отецъ! душа моя страдаетъ...
Отецъ мой, пощади меня!
Отдай въ священную обитель и пр.

Стр. 125, ст. 13. «Тревожитъ путника вниманье»
И трель живую соловья
Сквозь шумъ далекаго ручья.
Порою, разбросавъ на плечи
Волну кудрей своихъ, она
Стоитъ безъ мысли, холодна,
И страстныя лепечутъ рѣчи
Ея дрожащія уста;
Желанье грудь ея волнуетъ,
И чудный призракъ ей рисуетъ
Предъ нею въ сумракѣ мечта!

Стр. 130, ст. 5. Вмѣсто семи стиховъ прежде были слѣдующіе:
Когда я въ первый разъ увидѣлъ
Твой чудный, твой волшебный взоръ,
Я тайно вдругъ возненавидѣлъ
Мою свободу, какъ позоръ.
Своею властью недовольный,
Я позавидовалъ невольно
Неполнымъ радостямъ людей.

Стр. 133, ст. 6. Здѣсь вычеркнуты слѣдующіе шесть стиховъ:
Какъ часто на вершинѣ льдистой
Одинъ, межъ небомъ и землей,
Подъ кровомъ радуги огнистой,
Сидѣлъ я, мрачный и нѣмой,
И бѣлогривыя метели,
Какъ львы, у ногъ моихъ ревѣли.

Стр. 140, строфа XIV. По другой рукописи это мѣсто читается такъ:
Ни разу не былъ въ дни веселья

Такъ разноцвѣтенъ и богатъ
Тамары праздничный нарядъ.
Цвѣты родимаго ущелья
(Такъ древній требуетъ обрядъ)
Надъ нею льютъ свой ароматъ,
И сжаты мертвою рукою,
Какъ бы прощаются съ землею!
И ничего въ ея лицѣ
Не намекало о концѣ
Въ пылу страстей и упоенья;
И были всѣ ея черты
Исполнены той красоты,
Какъ мраморъ чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной какъ смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ея устамъ:
О многомъ грустномъ говорила
Она внимательнымъ глазамъ;
Въ ней было хладное презрѣнье
Души готовой отцвѣсти,
Послѣдней мысли выраженье,
Землѣ безвучное прости.
Напрасный отблескъ жизни прежней,
Она была еще мертвѣй,
Еще для сердца безнадежнѣй,
Навѣкъ угаснувшихъ очей.
Такъ въ часъ торжественный заката,
Когда, растая въ морѣ злата,
Ужъ скрылась колесница дня,
Снѣга Кавказа, на мгновенье
Отливъ пурпурный сохраня,
Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ:
Но этотъ лучъ полуживой
Въ пустынѣ отблеска не встрѣтитъ,
И путь ничей онъ не освѣтитъ
Съ своей вершины ледяной!...

Стр. 141, Вмѣсто XV-й строфы сначала была написана слѣдующая:

Едва послѣдній стихъ прочли
Надъ прахомъ дочери Гудала,
И горсть послѣдняя земли
О крышку гроба простучала,

И воскурился къ небесамъ
Кадилъ прощальный ѳиміамъ;
Едва лишь за скалой сосѣдней
Утихъ рыданій звукъ послѣдній,
Послѣдній шумъ людскихъ шаговъ—
Сквозь дымку сѣрыхъ облаковъ
Спустился ангелъ легкокрылый,
И надъ покинутой могилой
Принявъ съ усердною мольбой
За душу грѣшницы младой;
И въ то же время царь порока
Туда примчался издалека.
Страданій мрачная семья
Въ чертахъ недвижимыхъ таилась;
По слѣду крылъ его тащилась
Багровой молніи струя;
Когда жъ онъ предъ собой увидѣлъ
Все, что любилъ и ненавидѣлъ,
То шумно мимо промелькнулъ,
И взоръ пронзительный кидая,
Посла потерянаго рая.
Улыбкой горькой упрекнулъ.

Сверхъ того, по другой рукописи, это мѣсто читается такъ:

Едва на жесткую постель
Тамару съ пѣньемъ опустили,
Вдругъ тучи горы обложили
И разыгралася метель;
И громче хищнаго шакала
Она завыла въ небесахъ,
И бѣлымъ прахомъ заметала
Недавно ввѣренный ей прахъ;
И только за скалой сосѣдней
Утихъ моленья звукъ послѣдній и т. д.
И въ то же время царь порока
Туда примчался съ быстротой
Въ снѣгахъ рожденнаго потока...

Окончаніе то же, что и въ предыдущемъ варіантѣ.

12. Памяти А. И. Одоевскаго (стр. 153). Съ Александромъ Ивановичемъ Одоевскимъ Лермонтовъ познакомился на Кавказѣ, гдѣ тотъ служилъ, съ 7 ноября 1837 года, въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку, на бывшей Лезгинской кордонной линіи. Онъ умеръ отъ горячки, 10 октября 1839 года, во время экспедиціи, на р. Су-

баши, на восточномъ берегу Чернаго моря, въ походной палаткѣ. Ср. ниже стихи на 319 стр.

18. Мцыри (стр. 157). Дополненія въ строфахъ VIII и XXV взяты изъ собственноручной тетради Лермонтова, хранящейся у А. А. Краевскаго. Поэма названа Бэ̀ри и оговорено, что Бэри по грузински значитъ монахъ. Изъ сравненія этой рукописи съ напечатаннымъ текстомъ оказывается:

Въ XX строфѣ (стр. 174), послѣ 10-го стиха первоначально было написано:

Тотъ край казался мнѣ знакомъ...
И страшно, страшно стало мнѣ!
Вотъ снова мѣрный въ тишинѣ
Раздался звукъ... и въ этотъ разъ
Я понялъ смыслъ его тотчасъ:
То былъ предвѣстникъ похоронъ —
Большаго колокола звонъ.
И слушалъ я безъ думъ, безъ силъ;
Казалось, звонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца, будто кто нибудь
Желѣзомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И вдругъ унылой чередой
Дни дѣтства встали предо мной.
И вспомнилъ я вашъ темный храмъ
И вдоль по треснувшимъ стѣнамъ
Изображенія святыхъ
Твоей земли. Какъ взоры ихъ
Слѣдили медленно за мной
Съ угрозой мрачной и нѣмой!
И на рѣшотчатомъ окнѣ
Играло солнце въ вышинѣ...
О, какъ туда хотѣлось мнѣ,
Отъ мрака кельи и молитвъ,
Въ тотъ чудный міръ страстей и битвъ...
Я слезы горькія глоталъ
И дѣтскій голосъ мой дрожалъ,
Когда я пѣлъ хвалу Тому,
Кто на землѣ мнѣ одному
Далъ вмѣсто родины—тюрьму...

Послѣдніе 18 стиховъ были замѣнены другими, тоже потомъ перечеркнутыми:

О Боже! думалъ я: зачѣмъ
Ты далъ мнѣ то, что далъ ты всѣмъ—

И крѣпость силъ, и мысли власть,
Желанья, молодость и страсть.
Зачѣмъ ты умъ наполнилъ мой
Неизъяснимою тоской
По дикой волѣ—и къ чему
Ты на землѣ мнѣ одному
Далъ вмѣсто родины тюрьму?
Ты не хотѣлъ меня спасти!
Ты мнѣ желаннаго пути
Не указалъ во тьмѣ ночной...
И нынѣ я—какъ волкъ ручной...
Такъ я роптать. То былъ, старикъ,
Отчаянья безумный крикъ,
Страданьемъ вынужденный стонъ...
Скажи? Вѣдь буду я прощенъ?...
Я былъ обмануть въ первый разъ!
Но сей мучитель каждый часъ
Надежду темную дарилъ;
Молился я, и ждалъ, и жилъ.

Строфа XXI (стр. 175), до окончательнаго исправленія ея, начиналась такъ:

О, я узналъ тотъ вѣщій звонъ!
Къ нему былъ съ дѣтства пріученъ
Мой слухъ.—И понялъ я тогда,
Что мнѣ на родину слѣда
Не проложить ужъ никогда!
И быстро духомъ я упалъ.
Мнѣ стало холодно... Кинжалъ,
Вонзаясь въ сердце, говорятъ,
Такъ въ жилахъ разливаетъ хладъ...
Я презиралъ себя. Я былъ
Для слезъ и бѣшенства безъ силъ;
Я съ темнымъ ужасомъ въ тотъ мигъ
Свое ничтожество постигъ,
И задушилъ въ груди моей
Слѣды надежды и страстей,
Какъ душитъ оскорбленный змѣй
Своихъ трепещущихъ дѣтей...
—Скажи, я слабою душой
Не заслужилъ ли жребій свой?...

Въ XXIII строфѣ (стр. 177—179), послѣ говора рыбки, были написаны еще стихи, тоже потомъ уничтоженные:

Но скоро вихорь новыхъ грезъ
Далече мысль мою унесъ,
И предъ собой увидѣлъ я
Большую степь. Ея края
Тонули въ пасмурной дали,
И облака по небу шли
Косматой, бурною толпой
Съ невыразимой быстротой:
Въ пустынѣ мчится не быстрѣй
Табунъ испуганныхъ коней.
И вотъ я слышу: степь гудитъ,
Какъ будто тысяча копытъ
О землю ударялись вдругъ.
Гляжу съ боязнію вокругъ,
И вижу—кто-то на конѣ,
Взвивая прахъ, летитъ ко мнѣ;
За нимъ другой, и цѣлый рядъ...
Ихъ бранный чуденъ былъ нарядъ:
На каждомъ былъ стальной шеломъ
Обернутъ бѣлымъ башлыкомъ,
И подъ кольчугою надѣтъ
На каждомъ красный былъ бешметъ.
Сверкали гордо ихъ глаза!
И съ дикимъ свистомъ, какъ гроза,
Они промчались близъ меня.
И каждый, наклонясь съ коня,
Кидалъ презрѣнья полный взглядъ
На мой монашескій нарядъ,
И съ громкимъ смѣхомъ исчезалъ...
Томимъ стыдомъ, я чуть дышалъ,
На сердцѣ былъ тоски свинецъ...
Послѣдній ѣхалъ мой отецъ...
И вотъ кипучаго коня
Онъ осадилъ противъ меня,
И тихо приподнявъ башлыкъ,
Открылъ знакомый блѣдный ликъ.
Осенней ночи былъ грустнѣй
Недвижный взоръ его очей,
Онъ улыбался—но жестокъ
Въ его улыбкѣ былъ упрекъ!
И сталъ онъ звать меня съ собой,
Маня могучею рукой;

Но я какъ будто бы приросъ
Къ сырой землѣ: безъ думъ, безъ слезъ,
Безъ чувствъ, безъ воли я стоялъ,
И ничего не отвѣчалъ.

14. Журналистъ, читатель и писатель (стр. 184). Въ первоначальной рукописи, хранящейся у П. Я. Дашкова, находятся слѣдующіе варіанты:

Обдумать рѣзкое творенье (стр. 184, ст. 9).
Всѣ на войну неслись душою,
Взывали съ тайною тоскою (185, ст. 6—7).
Она, хоть можетъ быть чиста,
Но какъ-то страшно безъ перчатокъ (185, 13—14).
И въ ріемахъ частый недочетъ.
Откроешь прозу—переводъ (185, 20—21).
Читалъ я. Громкія нападки (186, ст. 9).
Владѣетъ онъ пріятнымъ слогомъ (187, ст. 9).
Чтобъ ядъ пылающей страницы
Нарушилъ сонъ отроковицы
И сердце юноши увлекъ (189, ст. 14—15).

Ребенку (стр. 192). Въ предыдущемъ изданіи для этого стихотворенія и для «Молитвы» мы дали было другую помѣту годовъ, но оказалось, что это требуетъ еще подтвержденія. Настоящее стихотвореніе написано на рожденіе сына кавказскаго генерала Гр.

16. Сосна (стр. 195). Первый стихъ исправленъ по автографу Публичной Библіотеки.

17. На свѣтскія цѣпи (стр. 196). Написано къ кн. Марьѣ Алексѣевнѣ Щербатовой, впослѣдствіи Г. Лутковской, рожденной Штеричъ.

18. Любовь мертвеца (стр. 197). Подлинникъ находится въ рукописяхъ Публ. Библіотеки, Стихотвореніе первоначально было озаглавлено: «Новый мертвецъ», а потомъ—«Живой мертвецъ».

19. Посвященіе къ поэмѣ Демонъ (стр. 198). У П. И. Бартенева есть автографъ этого стихотворенія, въ которомъ сходны съ печатнымъ текстомъ только первые 4 стиха:

Тебѣ Кавказъ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стихъ небрежной.
Какъ сына ты его благослови
И осѣни вершиной бѣлоснѣжной.
Еще ребенкомъ, чуждый и любви
И думъ честолюбивыхъ, я безпечно
Бродилъ въ твоихъ ущельяхъ. Грозный, вѣчный
Угрюмый великанъ! меня носилъ

*

Ты бережно, какъ пестунъ, юныхъ силъ
Хранитель вѣрный...
И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесамъ, гдѣ блистая
Лучемъ зари, сбирались облака,
Туманныя вершины омрачая,
Волнуяся какъ перья шишака;
А вдалекѣ, какъ вѣчныя ступени
Съ земли на небо, въ край моихъ видѣній,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственнѣй, синѣй одна другой,
Все горы, чуть примѣтныя для глаза,
Сыны и братья вѣчнаго Кавказа.

20. Александрѣ Осиповнѣ Смирновой (стр. 199), рожденной Росети. Къ ней же писали посланія Пушкинъ и Жуковскій и письма Гоголь (калужской губернаторшѣ, въ «Перепискѣ съ друзьями»). Ея воспоминанія напечатаны въ «Русскомъ Архивѣ». Первоначальная редакція посланія Лермонтова была помѣщена въ «Библ. Запискахъ» (1858, № 6):

Въ простосердечіи невѣжды
Короче знать васъ я желалъ,
Но эти сладкія надежды
Теперь я вовсе потерялъ.
Безъ васъ хочу сказать вамъ много,
При васъ—я слушать васъ хочу;
Но, молча, вы глядите строго—
И я въ смущеніи молчу.
Стѣсняемъ робостію дѣтской,
Нѣтъ, не впишу я ничего
Въ альбомѣ жизни вашей свѣтской,
Ни даже имя своего.
Мое вранье такъ неискусно,
Что имъ тревожить васъ грѣшно....
Все это было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно!...

У М. И. Семевскаго мы видѣли подлинникъ позднѣйшей передѣлки этого стихотворенія, но исправленій Лермонтовъ не докончилъ и нѣкоторые стихи вовсе не написалъ, замѣнивъ ихъ точками:

Въ простосердечіи невѣжды
Короче знать желалъ я васъ,
Но лучъ заманчивой надежды
. . . . . .

Безъ васъ хочу сказать вамъ много,
При васъ я слушать васъ хочу;
Но молча вы глядите строго—
И я въ смущеніи молчу.
Словами важными порою
Вашъ смѣхъ боюсь я возмутить
. . . . . .
. . . . . .
Что дѣлать! рѣчью неискусной
Занять васъ . . . . . .

21. Къ портрету гр. Александры Кириловны Воронцовой-Дашковой (стр. 200), рожденной Нарышкиной (1818—1856). Въ рукописи было озаглавлено: «Портретъ свѣтской женщины». Вмѣсто 3 и 4 стиха первой строфы было написано:

Глаза говорятъ, какъ слова,
И блещутъ обманчивымъ свѣтомъ.

Третья строфа тоже была написана иначе:

Лицо ея, будто стекло—
Не скроетъ и радость и горе;
Въ умѣ ея вѣчно свѣтло,
Въ душѣ ея темно, какъ въ морѣ.

22. Гр. Мусиной-Пушкиной (стр. 202), Эмиліи Карловнѣ, рожденной баронессѣ Шернваль. Напечатано по рукописи Чертковской библіотеки. Написано на одномъ листѣ съ стихов. Памяти Одоевскаго и Казотъ и было поэтому ошибочно отнесено нами въ прежнихъ изданіяхъ къ 1839 г., тогда какъ должно относиться къ 1840 году.

23. Изъ альбома С. Н. Карамзиной (стр. 202). Стихотвореніе это до сихъ поръ печаталось безъ заключительной строфы, которая имѣетъ слишкомъ частное значеніе, почему не внесена и нами въ текстъ. Для поясненія этой строфы скажемъ, что въ ней говорится о А. О. Смирновой, Александрѣ Никол. Карамзинѣ, И. П. Мятлевѣ (авторѣ «Курдюковой»), и о смѣшливости самой Софьи Николаевны;

Люблю я разговоры ваши,
И «ха-ха-ха!» и «хи-хи-хи!»
Смирновой штучки, фарсы Саши,
И Ишки Мятлева стихи.

24. Есть рѣчи (стр. 204). Во 2-й кн. альманаха «Вчера и Сегодня» это стих. было напечатано по первоначальному списку такъ:

Есть рѣчи—значенье
Темно или ничтожно,
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Тоскою желанья,
Въ нихъ слезы разлуки,
Въ нихъ трепетъ свиданья...
Ихъ краткимъ привѣтомъ,
Едва онъ домчится,
Какъ Божіимъ свѣтомъ
Душа озарится.
Средь шума мірскова
И гдѣ я ни буду,
Я сердцемъ то слово
Узнаю повсюду,
Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу,
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.
Надежды въ нихъ дышутъ,
И жизнь въ нихъ играетъ,
Ихъ многіе слышутъ,
Одинъ понимаетъ.
Лишь сердца роднова
Коснутся въ дни муки
Волшебнаго слова
Цѣлебные звуки,
Душа ихъ съ моленьемъ
Какъ ангела встрѣтитъ,
И долгимъ біеньемъ
Имъ сердце отвѣтитъ. —

25. Послѣднее новоселье (стр. 208). Черновой набросокъ карандашомъ находится нынѣ въ числѣ рукописей Публичной Библіотеки.

26. Кинжалъ (стр. 210). Автографъ въ Чертк. библіотекѣ только черновой набросокъ съ значительными варіантами. Ст. 1: «Мы не разстанемся, любезный мой кинжалъ.» 4: «Точилъ на вольный бой тебя черкесъ свободной.» 5: «Мнѣ подняла.» 15: Я буду твердъ душой и пр.

27. Это случилось (стр. 215). Стихотвореніе подобнаго характера, но очень плохое по стиху и, конечно, не принадлежащее перу Лермонтова, напечатано г. Данилевскимъ съ именемъ Лермонтова въ «Русскомъ Архивѣ» (1864, № 10). Оно будто бы продиктовано на память какимъ-то изъ кавказскихъ офицеромъ, которые тоже продиктовали Н. Ѳ. Щербинѣ нелѣпые стихи, помѣщенные имъ съ именемъ Лермонтова въ Сборникѣ статей въ память Смирдина» (Т. III, стр. 356—358).

28. Казбеку (стр. 217). Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (1860, № 8). Г. Лонгиновъ указывалъ будто въ 1843 г. нѣкоторыя бумаги Лермонтова находились у Льва Ив. Арнольди (братъ А. О. Росетти, по матери), который дѣлалъ изъ нихъ выборку вмѣстѣ съ М. И. Поповымъ, для приготовлявшагося тогда къ печати дополнительнаго тома сочиненій Лермонтова. Стихотвореніе «Казбеку» перерывалось будто бы на стихахъ:

О, если такъ... своей метелью,
Казбекъ, засыпь меня скорѣй...

М. И. Поповъ придѣлалъ два заключительные стиха. Однако въ Чертковской библіотекѣ мы нашли именно этотъ автографъ,

безъ заглавія «Казбеку», но весь писанный рукою Лермонтова, включая и два послѣдніе стиха.

Въ тѣхъ же бумагахъ было стихотвореніе «Наводненіе», до сихъ поръ неизданное и неизвѣстно гдѣ находящееся теперь. Вотъ его начало:

И день насталъ— и совершилось
Долготерпѣніе судьбы,
И море съ шумомъ ополчилось
На мигъ рѣшительной борьбы.

29. Я не хочу (стр. 218). Рукопись въ Чертковской библіотекѣ, безъ варіантовъ.

30. Послѣ стихотворенія: Не смѣйся надъ моей мучительной тоскою (стр. 219) сохранился въ рукописи конецъ какого-то неизвѣстнаго стихотворенія:

Великій мужъ! здѣсь нѣтъ награды
Достойной доблести твоей!
Ее на небѣ сыщутъ взгляды
И не найдутъ среди людей.
Но безпристрастное преданье
Твой славный подвигъ сохранитъ
И, услыхавъ твое названье,
Твой сынъ душою закипитъ.
. . . . . .
Свершитъ блистательную тризну
Потомокъ поздній надъ тобой,
И съ непритворною слезой
Промолвитъ: «онъ любилъ отчизну!»

Начало этого стихотворенія оторвано и двѣ первыя строфы, судя по знаку при нихъ, должны были замѣнять или дополнять утраченныя строфы этого начала.

31. Бѣглецъ (стр. 220). Рукопись въ Чертковской библіотекѣ, безъ варіантовъ съ нынѣшнимъ текстомъ, еще прежде исправленнымъ нами по рукописи гр. Ростопчиной, противъ печатавшагося до 1860 г. испорченнаго исключеніями и измѣненіями.

32. Слѣпецъ страданьемъ вдохновенный (стр. 225). Написано Аннѣ Григ. Хомутовой на ея встрѣчу съ поэтомъ-слѣпцомъ Ив. Ив. Козловымъ (см. его стихотвореніе: «Къ другу весны моей»). Напечатано въ «Молодикѣ» 1844 г. и по автографу въ «Русскомъ Архивѣ» 1867 г. (№ 7, стр. 1051).

33. Валерикъ (стр. 226). Это стихотвореніе напечатано было уже по смерти поэта и до крайности небрежно (Утр. Заря 1843. стр. 66). Только въ 1874 г. нашелся его черновой оригиналъ въ

Московскомъ Музеѣ и былъ напечатанъ въ «Русской Старинѣ» 1874 г. № 5), откуда и перепечатанъ въ нашемъ изданіи.

34. Сказка для дѣтей (стр. 233). Исправленія сдѣланы по черновой рукописи, хранящейся у А. А. Краевскаго, съ которой стихотвореніе это было напечатано въ первый разъ уже по смерти поэта. Вѣроятно, издатель тогда не разобралъ поправленныхъ нами стиховъ или самовольно ихъ переправилъ.

Фр. Боденштедтъ, имѣвшій отъ пріятеля Лермонтова—Глѣбова нѣсколько неизданныхъ по-русски стихотвореній, совершенно для насъ неизвѣстныхъ, говоритъ, что въ этомъ стихотвореніи было еще 11 строфъ, изъ которыхъ онъ и перевелъ заключительную: «Умолкъ демонъ; а поэтъ говоритъ: не въ моей волѣ было окончить здѣсь, на этомъ, такъ какъ моя поэма охранена свыше, отеческими руками, отъ излишней длинноты. Однако, съ неохотой отказываюсь я отъ заключенія, которое вычеркнуто все, безъ разбора, а вмѣстѣ съ тѣмъ вычеркнута и мораль. Такимъ образомъ цензура постоянно обращаетъ мой талантъ въ отрывокъ, лишь только захотѣлось бы мнѣ развернуться. Желая быть образцомъ повиновенія, оставляю и эту сказку отрывкомъ».

35. Послѣднія стихотворенія (стр. 243—256). Изъ этихъ стихотвореній при жизни поэта напечатано было только одно: Споръ (Москвитянинъ, 1841). Прочія найдены были слѣдующимъ образомъ. Князь Вл. Ѳед. Одоевскій, передъ послѣднимъ отъѣздомъ Лермонтова изъ Петербурга, подарилъ ему записную книгу съ бѣлыми листами, написавъ на ней: «Поэту Лермонтову дается эта книга съ тѣмъ, чтобы онъ возвратилъ мнѣ ее самъ и всю исписанную. К. В. Одоевскій. 1841. Апрѣля 13-е. С.-Петербургъ.» Лермонтовъ обѣщалъ и то и другое—поѣхалъ изъ Петербурга въ апрѣлѣ, а 15-го іюля уже былъ убитъ Мартыновымъ. Книга однако, хотя и черезъ долгое время, была доставлена кн. Одоевскому, который и замѣтилъ на ней: «Сія книга покойнаго Лермонтова возвращена мнѣ Екимомъ Екимовичемъ Хостатовымъ, 30 Декабря 1843. Кн. В. Одоевскій.» Она исписана карандашомъ и чернилами: карандашомъ написаны стихотворенія на черно, съ одной стороны книги, а чернилами они переписаны съ другой ея стороны на бѣло, съ значительными впрочемъ поправками, въ томъ самомъ порядкѣ, который и данъ имъ въ нынѣшнемъ изданіи. Всѣхъ полныхъ стихотвореній 12, изъ которыхъ одно французское, которое нельзя прочитать, потому что карандашъ почти стерся.

Вотъ подробное описаніе этой рукописи.

На 1-й страницѣ, со стороны, занятой черновыми карандашными набросками, написано «адресъ». На 2-й: «Погодину». «Кашинцевъ»,

и затѣмъ: «Да кто же ты, ради Бога?—Что-съ? отвѣчалъ старичокъ, примаргивая однимъ глазомъ.—Штосъ! повторилъ въ ужасѣ Лугинъ». Потомъ «Шулеръ имѣетъ разумъ въ пам.... банкъ.... скоропостижная....» На оборотѣ начато и оканчивается на 5 стр. стихотвореніе Пророкъ; на 6-й набросано начало стихотворенія:

Линейной рукой поправляя
Едва пробившійся усъ,
Краснѣя, какъ дѣва младая
Кангаръ молодой туксусъ....

На 7-й страницѣ:

1.

На буркѣ, подъ тѣнью чинары,
Лежалъ Ахметъ-Ибрагимъ
И, руки скрестивши, татары
Стояли молча предъ нимъ.

2.

И брови нахмуривъ густыя,
Лѣниво молвилъ Ага:
О слуги мои удалые!
Мнѣ ваша жизнь дорога!

3.

(Кромѣ цифры 3 ничего нѣтъ).

На 8-й стр. ничего не написано, а 9—10 заняты черновымъ наброскомъ стих. «Мнѣ снилась разъ долина Дагестана». Стр. 11—18: «Тамара» и на послѣдней еще «Они любили» и пр. На 14-й набросано карандашомъ и обведено чернилами; «У Россіи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и будущемъ. Сказывается и сказка: Еруслань Лазаревичъ сидѣлъ сиднемъ 20 лѣтъ и спалъ крѣпко, но на 21-мъ году проснулся отъ тяжкаго сна, и всталъ и пошелъ.... и встрѣтилъ онъ тридцать семь королей и семьдесятъ богатырей и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать.... Такова Россія». Вслѣдъ а этимъ начинается и оканчивается на 15-й стр. стихотвореніе: «Зеленый листокъ оторвался». Стр. 16—19 заняты стих. «Ужъ за горой дремучею». На 20-й французское стихотвореніе. На 21-й: «Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю ». 22-я оставлена бѣлою, а на 23-й написано чернилами одно слово: «Смирновой».

Если обернуть эту книжку-альбомъ другою стороною, то на 1-й стр. встрѣчаемъ надписи кн. Одоевскаго, приведенныя выше, и рукою Лермонтова карандашомъ: «19 Мая—буря». На 2-й стр. рукою—же кн. Одоевскаго: «Эти выписки имѣли отношеніе къ религіознымъ спорамъ, которые часто подымались между Лермонтовымъ и мною. 1857. Кн. В. Одоевскій». На 3 и 5 стр. помѣщены и самыя

выписки, сдѣланныя рукою князя, изъ евангелиста Іоанна и ап. Павла. За тѣмъ начинаются уже стихи, написанные рукою Лермонтова. Сначала набросаны карандашомъ отрывки изъ стих. «Споръ», а потомъ и все это стихотвореніе, оканчивающееся на 7 стр. и переписанное чернилами на стр. 9—11. Изъ этого текста, мы внесли поправку въ стихъ 5 (стр. 243.) «берегися» вм. прежняго «берегитесь». Есть еще варіантъ: въ дикой мглѣ твоихъ ущелій, ст. 11-й, На 8-й стр. чернилами написано; «Востокъ». На 12-й стих. «Въ полдневный жаръ въ долинѣ Дагестана». На 13-й «Утесъ» и «Они любили другъ друга», при чемъ къ послѣднему стихотв. поставлены эпиграфомъ два стиха изъ Гейне: «Sie liebten sich beide» и пр. На 14—15-й стр. помѣщено стих. «Тамара». На 16—18 стр. «Свиданіе», а на 18—19: «Дубовый листокъ» и пр., при чемъ вмѣсто слова «дубовый» сначала было: «зеленый». Замѣтимъ, что въ послѣднемъ стихѣ этого стих. ни въ черновомъ, ни въ бѣловомъ текстѣ вовсе нѣтъ слова: «покорное» море, которое вошло во всѣ печатныя изданія; а было сначала написано: «послушное» и потомъ поправлено: «холодное море». На 20-й стр. «Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю», гдѣ послѣдній стихъ 2-й строфы читается въ черновомъ и бѣловомъ текстѣ такъ, какъ мы его напечатали теперь [стр. 253], а не такъ какъ было въ прежнихъ изданіяхъ, отчего даже искажался смыслъ: «но не съ тобой—я съ сердцемъ говорю». На той же 20-й стр. помѣщены три строфы стихотворенія: «Выхожу одинъ я на дорогу», оканчивающагося на 21-й стр. Въ текстѣ ясно написано, между прочимъ, въ 2-мъ стихѣ 4-й строфы слово: «такъ», вм. вошедшаго во всѣ прежнія изданія слова: «тамъ», совершенно обезобразившаго смыслъ. За тѣмъ на 21-й стр. начинается и на 23-й оканчивается стихотв. «Морская царевна», въ которомъ отмѣтимъ одинъ варіантъ:

Хвостъ, какъ змѣя, весь покрытъ чешуей,
Бьетъ, замирая, песокъ золотой.

24-я и послѣдняя стр. запята стих. «Пророкъ». Какъ въ наброскѣ карандашомъ, такъ и въ переписанномъ чернилами текстѣ 3-й стихъ 5-й строфы безъ поправокъ написанъ одинаково: «То старцы дѣтямъ говорятъ», тогда какъ въ печатныхъ изданіяхъ постоянно было «тамъ».

36. Герой нашего времени [стр. 257]. Въ одномъ изъ альбомовъ Лермонтова сохранилось набросанное карандашомъ предисловіе къ 2-му изданію. Съ напечатаннымъ текстомъ оно представляетъ не очень существенныя разнорѣчія въ словахъ и фразахъ, но цѣлый параграфъ въ печати не явился. Именно послѣ словъ: «оскорбленіе личности» [стр. 258], написано: «Мы жалуемся только

на недоразумѣніе публики, не на журналы: они почти всѣ были болѣе чѣмъ благосклонны къ нашей книгѣ, всѣ, кромѣ одного, который какъ бы нарочно въ своей критикѣ смѣшивалъ имя сочинителя съ героемъ его повѣсти, вѣроятно, надѣясь на то, что его читать никто не будетъ; но хотя личность этого журнала и служитъ ему достаточной защитой, однако все таки, прочитавъ грубую и неприличную брань—на душѣ остается непріятное чувство, какъ послѣ встрѣчи съ пьянымъ на улицѣ. И такъ, если уже нужно у насъ для всякой басни нравоученіе, то пускай тѣ, которые хотятъ его узнать, прочтутъ слѣдующее: Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка—это типъ. Вы знаете, что такое типъ? Я васъ поздравляю. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что вы всѣ таковы; иные немного лучше, многіе гораздо хуже. Если вы вѣрили возможности существованія Мельмота, Вампира и др., отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина? Если вы извиняли вымыслы» и пр....

Кстати замѣтимъ, что вслѣдъ за этимъ «предисловіемъ» набросанъ «сюжетъ» одного изъ «отрывокъ», именно напечатаннаго въ нынѣшнемъ изданіи на стр. 419. «Сюжетъ.—У дамъ. Лица желтыя. Адресъ. Домъ. Старикъ съ дочерью, предлагаетъ ему метать; тотъ въ отчаяніи, когда старикъ выигрываетъ. Шулеръ: от.... проигрыв.... дочь и .... Доктор.. ок.....

Вѣроятно, недовольный критикою Сенковскаго, Лермонтовъ написалъ на него слѣд. эпиграмму [Библ. Зап. 1861 № 18]:

ЭПИГРАММА.

Подъ фирмой иностранной иноземецъ
Не утаилъ себя никакъ—
Бранится пошло: ясно нѣмецъ,
Похвалитъ: видно, что полякъ.

Между автографами М. Ю. Лермонтова, хранящимися въ Публичной библіотекѣ, находится также рукопись «Героя нашего времени», состоящая изъ довольно толстой тетради въ листъ, исписанной рукою Лермонтова, съ многочисленными поправками и передѣлками. На заглавномъ листѣ написано: «Одинъ изъ героевъ нашего вѣка». Уцѣлѣла 2-я повѣсть: «Максимъ Максимычъ», которая носитъ названіе «Изъ записокъ офицера». Тутъ же римскими цифрами поставлено II. Первой повѣсти «Бэла» нѣтъ. Затѣмъ подъ № III «Фаталистъ» и подъ конецъ «Княжна Мери». Между листами этой тетради лежитъ полулистъ почтовой бумаги, на которомъ написано рукою Лермонтова предисловіе къ «Журналу Печорина».

Вотъ варіанты рукописи:

«Максимъ Максимычъ» или «Изъ записокъ офицера».

Стр. 301, стр. 11. Описывается внѣшній видъ Печорина:

Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ рѣшительности въ характерѣ. Если вѣрить тому, что каждый человѣкъ имѣетъ сходство съ какимъ нибудь животнымъ, то, конечно, Печорина можно было бы сравнить съ тигромъ. Сильный и гибкій, ласковый или мрачный, великодушный или жестокій, смотря по внушенію минуты; всегда готовый на долгую борьбу; иногда обращенный въ бѣгство, но неспособный покориться; нескучающій одинъ, въ пустынѣ съ самимъ собою, а въ обществѣ себѣ подобныхъ требующій безпрекословной покорности. По крайней мѣрѣ такимъ, казалось мнѣ, долженъ былъ быть его характеръ физическій, то есть тотъ который зависитъ отъ нашихъ нервовъ и отъ болѣе или менѣе скораго обращенія крови. Душа—другое дѣло! Душа или покоряется природнымъ склонностямъ, или борется съ ними, или побѣждаетъ ихъ. Отъ этого—злодѣи, толпа, и люди высокой добродѣтели. Въ этомъ отношеніи Печоринъ принадлежалъ къ толпѣ, и если онъ не сталъ ни злодѣемъ, ни святымъ, то это, я увѣренъ, отъ лѣни. Впрочемъ, это мои собственныя замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо.

Въ концѣ разсказа [стр. 306] Лермонтовъ говоритъ:

Я пересмотрѣлъ записки Печорина и замѣтилъ по нѣкоторымъ мѣстамъ, что онъ готовилъ ихъ къ печати, безъ чего, конечно, я не рѣшился бы употребить во зло довѣренность штабсъ-капитана. Въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обращается къ читателямъ; вы это сами увидите, если то, что вы объ немъ знаете, не отбило у васъ охоты узнать его короче. На тетрадяхъ не было выставлено чиселъ. Нѣкоторыя, вѣроятно, потеряны, потому что между ними нѣтъ большой связи, а я, не смотря на дурной примѣръ, поданный намъ нѣкоторыми журналистами, никакъ не рѣшился поправлять или доканчивать чужое произведеніе, за что, конечно, онъ самъ на меня сердиться не будетъ.

«Фаталистъ» [стр. 403, стр. 24]:

Господа! сказалъ онъ медленно, освобождая руку: кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?

Всѣ замолчали и отошли.

Вуличъ продолжалъ: если я не долженъ умереть, то этотъ пистолетъ или не заряженъ, или осѣчется. Если суждено противное, то ничто не можетъ этому помѣшать, и такъ, тогда всѣ ваши опасенія напрасны. Онъ вышелъ въ другую комнату и сѣлъ у стола; всѣ послѣдовали за нимъ.

Стр. 410, стр. 21:

...Я люблю сомнѣваться во всемъ: это расположеніе не мѣшаетъ

рѣшительности характера; напротивъ, что до меня касается, то я всегда смѣлѣе иду впередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ. Весело испытывать судьбу, когда знаешь, что она ничего не можетъ дать хуже смерти, и что смерть неизбѣжна, и что существованіе каждаго изъ насъ, исполненное страданія или радости, темно, незамѣтно въ этомъ безбрежномъ котлѣ, называемомъ природой, гдѣ кипитъ, исчезаетъ и возрождается столько разнородныхъ жизней... Вѣдь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.

«Княжна Мери». Пятигорскъ, 12-го мая (въ числахъ вообще разница, вмѣсто іюня 13-го, 14-го, 18-го, 22-го, 24-го, 25-го, 26-го—стоитъ 5-го, 6-го, 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го іюня).

Стр. 327, стр. 11: И какъ, въ самомъ дѣлѣ, смѣетъ кавказскій армеецъ наводить стеклышко на московскую княжну?.. Но я теперь увѣренъ, что, при первомъ случаѣ, она спроситъ кто: я и почему я здѣсь, на Кавказѣ. Ей, вѣроятно, разскажутъ исторію дуэли, и особенно ея причину, которая здѣсь нѣкоторымъ извѣстна, и тогда... Вотъ у меня будетъ удивительное средство бѣсить Грушницкаго.

Стр. 383, стр. 1, сверху: Какъ орудіе казни, я упадалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія. Какъ нарочно, я всегда являлся къ пятому акту ихъ драмы; невидимая сила кидала меня посреди ихъ надеждъ, намѣреній и связей, и все разрывалось, все погибало отъ моего прикосновенія... Моя любовь никому не принесла счастія...

Стр. 384, стр. 2: открылъ романъ Вальтеръ-Скотта, лежавшій у меня на столѣ; то были «Шотландскіе Пуритане»; я читалъ сначала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ. Неужели шотландскому барду на томъ свѣтѣ платятъ за каждую минуту, которую дарятъ его книга....

Стр. 394, стр. 1: Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти. Я его храню какъ сокровище. Стыдно признаться! я нахожу утѣшеніе въ мысли, что былъ любимъ какъ немногіе на этомъ свѣтѣ.

Стр. 394, строка послѣдняя: ....и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ.

Вмѣсто напечатаннаго послѣ этихъ словъ продолженія и конца письма стоитъ слѣдующее:

«Прощай, мой бѣдный другъ; я рада, что не увидимся передъ разставаньемъ. Я знаю, ты нынче долженъ драться съ Грушницкимъ, но увѣрена также, что ты останешься живъ. Мое сердце иначе бы мнѣ сказало противное. Прощай! Не все ли равно? Во всякомъ случаѣ, я тебя теряю на вѣки! Мери тебя любитъ... Если что нибудь доброе проснется

въ душѣ твоей, женись на ней, она тебя любитъ... Ребенокъ! Вчера она мнѣ разсказала все. Мнѣ стало жаль ее. Она думаетъ, смотря на твое поведеніе, что ты ее любишь, потому что защитилъ такъ горячо ея честь. Она думаетъ, что ты хотѣлъ испытать ее.... Я ей ничего не сказала, поцѣловала ее и благословила!... О, не погуби ее!... Одной довольно! Я не стану тебя увѣрять, что не переживу нашей разлуки... къ чему?... Одинъ лишній, горькій, прощальный поцѣлуй не обогатитъ твоихъ воспоминаній, а мнѣ послѣ него труднѣе съ тобою разстаться... Вѣра.

P. S. Одно меня мучаетъ: что, если ты въ самомъ дѣлѣ любишь Мери? О, не правда ли, этого не можетъ быть!»...

Стр. 396, с. 26: Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ...

Съ этихъ словъ и до словъ: противъ дула пистолета [строка послѣдняя] въ первоначальномъ видѣ написано слѣдующее:

Я сталъ припоминать выраженія письма Вѣры, старался объяснить себѣ причины, побудившія ее къ этой странной, трагической выходкѣ.

Вотъ послѣдовательный порядокъ моихъ размышленій:

1] Если она меня любитъ, то зачѣмъ же такъ скоро уѣхала и не простясь, не полюбопытствовавъ даже узнать, убитъ я или нѣтъ? Не вѣрю я этимъ предчувствіямъ сердца, да и ей бы не должно на нихъ такъ слѣпо полагаться.

2] Но вѣдь намъ надобно же было когда нибудь разстаться, и она хотѣла своимъ отъѣздомъ произвести на меня, въ послѣдній разъ, глубокое, неизгладимое впечатлѣніе?... Эгоизмъ!...

3] Женщины вообще любятъ драматизировать свои чувства и поступки; сдѣлать сцену почитаютъ они обязанностью.

4] Но тутъ еще, можетъ быть, скрывается маленькая ревность. Вѣра думаетъ, что я влюбленъ въ княжну, и хочетъ своимъ великодушіемъ привязать меня болѣе къ себѣ, или даже, зная мой характеръ, она думаетъ, что я княжну оставлю и погонюсь за нею, потому что блага, которыя мы теряемъ, получаютъ въ глазахъ нашихъ двойную цѣну... Если такъ, то она ошиблась—я слишкомъ лѣнивъ.

5] Или она великодушно уступаетъ меня княжнѣ? Это отъ нея, пожалуй, станется! Но, въ такомъ случаѣ, она меня не любитъ.

6] И какое же право я имѣю требовать ея любви? Развѣ не я первый началъ платить за ея ласки холодностью, за жертвы равнодушіемъ и насмѣшкой!

7] Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мнѣ кажется, что я ее любилъ истинно. Одно меня печалитъ—это письмо. Неужели она не могла обойтись безъ пышныхъ фразъ и декламацій?

8] Я былъ дуракъ, что такъ мучился нѣсколько часовъ сряду! что

значатъ разстроенные нервы, ночь безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета!

И т. д., какъ въ печатномъ изданіи.

---

37. Отрывокъ изъ начатой повѣсти [стр. 419]. Въ Чертковской Библіотекѣ мы нашли подлинную рукопись, а какъ она единственная, то слѣд. измѣненія, встрѣченныя и нами нынѣ исправленныя, сдѣланы были издателями при первомъ печатаніи текста въ альманахѣ «Вчера и сегодня».

38. Маскарадъ [стр. 440]. — Эта окончательная передѣлка извѣстной драмы Лермонтова сохранилась въ рукописяхъ той же библіотеки, по которымъ и была напечатана въ первый разъ въ Русской Старинѣ 1875 г. № 9.

39. Письма Лермонтова [стр. 505]. Въ настоящемъ изданіи дополнены двумя, писанными къ бабушкѣ поэта Е. А. Арсеньевой. Они сообщены намъ П. Я. Дашковымъ [стр. 540]. Остальныя исправлены, отчасти, по статьямъ П. А. Висковатова въ «Русской Мысли» 1881 г.

Кстати приводимъ одну записку Лермонтова, заключающую маленькую черту для будущей его біографіи. Въ письмѣ В. Шеншина къ Н. И. Поливанову изъ Москвы отъ 7-го іюня 1831 г. находится приписка рукою Лермонтова: «Любезный другъ, здравствуй! протяни руку и думай, что она встрѣчаетъ мою; я теперь сумасшедшій совсѣмъ. Насъ судьба разноситъ въ разныя стороны, какъ вѣтеръ листы осени. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будетъ [*?!]; впрочемъ, мнѣ теперь не до подробностей. Чортъ возьми всѣ свадебные пиры. Нѣтъ, другъ мой! мы съ тобой не для свѣта созданы; я не могу тебѣ много писать: боленъ, разстроенъ, глаза каждую минуту мокры. — Source interrissable. Много со мной было. Прощай; напиши что нибудь веселѣе. Что ты дѣлаешь? Прощай, другъ мой.—М. Лермонтовъ».

Замѣтимъ еще, что стихотвореніе, помѣщенное въ V письмѣ: «По произволу дивной власти» [стр. 509] находится въ рукописяхъ Публ. библіотеки и озаглавлено: «Челнокъ», при чемъ 6-й стихъ имѣетъ варіантъ: «Въ обманъ не вдастся инвалидъ». Оно напечатано нами въ Р. Старинѣ 1872, т. V, и тамъ же приведено вполнѣ стихотвореніе VI-го письма [стр. 512]:

Что толку жить!... Безъ приключеній
И съ приключеньями—тоска
Вездѣ, какъ безпокойный геній,

Какъ вѣрная жена, близка!
Прекрасно съ шумной быть толпою,
Сидѣть за каменной стѣною,
Любовь и ненависть сознать,
Чтобъ разъ объ этомъ поболтать,
Невольно указать повсюду—
Подъ гордой важностью лица
Въ мужчинѣ глупаго льстеца
И въ каждой женщинѣ—Іуду.
А потрудитесь разсмотрѣть—
Все веселѣе умереть.
Конецъ! Какъ звучно это слово,
Какъ много—мало мыслей въ немъ;
Послѣдній стонъ—и все готово,
Безъ дальнихъ справокъ. А потомъ?
Потомъ васъ чинно въ гробъ положутъ
И черви вашъ скелетъ обгложутъ,
А тамъ наслѣдникъ въ добрый часъ
Придавитъ монументомъ васъ,
Проститъ вамъ каждую обиду
По добротѣ души своей,
Для пользы вашей—и церквей
Отслужитъ, вѣрно, панихиду,
Которой, я боюсь сказать,
Не суждено вамъ услыхать.
И если вы скончались въ вѣрѣ,
Какъ христіанинъ, то гранитъ
На сорокъ лѣтъ, по крайней мѣрѣ,
Названье ваше сохранитъ.
Когда-жъ стѣснится ужъ кладбище,
То ваше узкое жилище
Разроютъ смѣлою рукой
И гробъ поставятъ къ вамъ другой.
И молча ляжетъ съ вами рядомъ
Дѣвица нѣжная! Одна,
Мила, покорна, хоть блѣдна...
Но ни дыханіемъ, ни взглядомъ
Не возмутится вашъ покой —
Что за блаженство, Боже мой!

Княгиня Лиговская [стр. 546]. Отрывокъ этотъ впервые напечатанъ въ Р. Вѣстникѣ 1882, № 1, откуда и взятъ въ наше изданіе. Письмо къ Е. Н. Негуровой [стр. 566] сравните съ письмомъ въ «Запискахъ Хвостовой» [Спб. 1871, стр. 166—167].

Въ заключеніе замѣтимъ, что мы не перепечатали стихотвореній, хотя и явившихся въ печати съ именемъ Лермонтова, но принадлежащихъ гр. Соллогубу, Айбулату, М. П. Розенгейму, В. И. Соколовскому и др. Именно: 1) Изъ «Современника» 1854, № 5—Разлуку, 2) Изъ «Р. Вѣстника» 1856 г., № 14: «Пусть міръ нашъ прекрасенъ», «А годы несутся», «Когда стою подъ древнимъ сводомъ храма»; 3) Изъ «Сборника въ память Смирдина» 1858, т. III: «Повѣрю совѣсти», «Привѣтствую тебя», «Винтовка пулю вѣрную послала»; 4) Изъ «Развлеченія» 1860 № 13: «Смерть»; 5) Изъ «Нашего Времени» 1862 г. № 190: «Забываю любовь», «Отвѣтъ на придирчивую рецензію» и 6) Изъ «Р. Архива» 1867 г., № 10: Евфразію.—Кромѣ того мы не внесли стиховъ изъ «Записокъ Хвостовой» (Спб. 1871, на стр. 90): «Что можемъ на скоро стихами молвить ей», «Вокругъ лилейнаго чела », и «Ужъ ты чего не говори». Стихи эти читатели могутъ найти въ сочиненіяхъ А. С. Пушкина, въ I томѣ, по изд. 1882 г.: первые на стр. 184: «К. П. Бакуниной», вторые—на стр. 388, въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ», а въ третьихъ—каждый увидитъ рѣчи черкешенки изъ «Кавк. Плѣнника» (стр. 326), къ которымъ сдѣлана только приставка вначалѣ:

«Ужъ ты чего ни говори,
Моя почтенная Darie,
Къ твоей постели одинокой
Черкесъ младой и черноокой
Не крался въ тишинѣ ночной».

Для полноты изданія, мы приводимъ въ прозаическомъ переводѣ, хотя явился и стихотворный, тѣ пьесы Лермонтова, которыя неизвѣстны въ русскомъ оригиналѣ и находятся только въ нѣмецкомъ переводѣ Боденштедта [«Р. Старина» 1873, № 3, и 1879, № 10]:

Размышленія.

1.

Нѣтъ, я не измѣнникъ своей странѣ, и не недостоинъ моихъ отцовъ, и это потому, что я не похожу на васъ ни въ чемъ и не ползаю, какъ вы, съ чужими костылями!

2.

Потому что ваши дѣла заставляютъ меня часто краснѣть отъ стыда,

потому что я не слышу музыки въ звяканьи цѣпей и потому что меня не привлекаетъ блескъ штыковъ — вы утверждаете, что я не патріотъ!

3.

Потому что я совсѣмъ не стараго покроя и закала, и не иду съ каждымъ шагомъ назадъ — вы утверждаете, что я не патріотъ, не люблю своей страны и не понимаю ея!

4.

Они правы: самъ чортъ не разберетъ, отчего у насъ быстрѣе подвигаются тѣ, которые идутъ назадъ, такъ что они достигаютъ ужъ своей цѣли, когда я по своей дорогѣ только-что двинулся впередъ!

5.

Богъ даровалъ мнѣ глаза и ноги; но когда мнѣ захотѣлось пойти на своихъ ногахъ и когда я задумалъ взглянуть своими глазами, я долженъ былъ поплатиться за это тюрьмою, какъ за преступленіе.

6.

Богъ далъ мнѣ языкъ; но когда я вздумалъ заговорить, захватило у меня горло! Странныя вещи происходятъ въ моей странѣ, и удивительный обычай завелся у насъ: разумному нуженъ разумъ для глупости, а языкъ для молчанія!

Случайныя пьесы и замѣтки.

1.

Они меня терзали за то, что я осмѣлился размышлять; они въ меня бросали камнями за то, что я высказалъ мою мысль. Когда я пѣлъ о томъ въ пѣсняхъ, полныхъ правды и полныхъ огня, они не могли ничего отвѣтить — и отсюда-то вся ихъ ярость!

2.

Вы, которыхъ я попиралъ ногами, потому что узналъ въ васъословъ, которые просили у меня извиненія, потому что я назвалъ васъ ослами; вы, которые все искусство свое употребляли на то, чтобы трусливо мнѣ понравиться, когда я еще былъ наряднымъ кавалеромъ и въ большомъ почетѣ—какая съ вами теперь перемѣна! какъ вы гордо выступаете въ блескѣ своихъ орденовъ, какъ-будто меня ужъ и не знаете!

3.

Какъ измѣнилось время: вы, которые такъ низко кланялись, теперь вы пестро обвѣшены лентами, украшены звѣздами и крестами. Проходите же прочь, не глядя, мимо меня; не раздражайте моихъ нервовъ, и избавьте меня отъ противнаго труда—выбросить васъ за двери.

4.

Не завидую я ни вашимъ крестамъ, ни вашимъ гибкимъ спинамъ; не завидую тому, чѣмъ вы сдѣлались, черезъ подсказничество и низкопоклонство. Наслаждайтесь счастіемъ своего раболѣпія, такова ужъ по-

рядокъ вещей: то, что одинъ носитъ въ своей груди, другой носитъ на груди.

5.

Пусть меня обвиняютъ, пусть меня предадутъ суду: я не стану оправдываться; одно только могу я сказать вамъ: я никогда не связывалъ себя съ низкими людьми, никогда я не былъ пошлякомъ.

6.

Вы не хотѣли понимать меня, вы все у меня отняли; не отняли только гордости моей и силы! Поколѣнія приходятъ и уходятъ, поколѣнія уходятъ и приходятъ, и смѣна эта — благо. Пройдете и вы—и другіе заступятъ ваше мѣсто, съ новою болѣе чистою кровью [въ жилахъ]; и они поймутъ меня, если услышатъ мое слово, и познаніе это — благо.

7.

Мои глаза были также ясны, какъ твои, что улыбаются мнѣ такъ блаженно; мое сердце было также горячо, какъ твое, но его охолодили. Ничего изъ этихъ благъ у меня не осталось, я долженъ былъ все это оставить: небо учило меня любить, но люди научили меня ненавидѣть.

8.

Какъ страстно любилъ я прекрасное съ блаженнымъ пыломъ пѣвца, какъ сильно звучали пѣсни изъ моей груди! Съ гордымъ мужествомъ и сознаніемъ своего полнаго права я боролся за все истинное и доброе; вамъ казалось это пустымъ и вздорнымъ: вы разбили мою лиру, лишили меня моей свободы, долгими тюремными муками убѣлили мою молодую голову. Тогда-то, послѣ долгаго размышленія, которому уже не препятствовала никакая сила, съ безграничнымъ презрѣніемъ обратилась къ вамъ моя ненависть. Вы показали себя отличными полицейскими во всѣхъ видахъ, но внушить мнѣ тѣмъ къ себѣ уваженіе— этого вы не достигли.

9.

Одно милостивое слово, одно слово раскаянья, открыло бы мнѣ снова путь къ старой благосклонности; но скорѣе я пропаду здѣсь, въ тюрьмѣ и цѣпяхъ, чѣмъ скажу хоть одно слово, чтобъ ложью спасти себя.

10.

Безъ вины настрадался я уже довольно, и хотѣлъ бы теперь быть свободнымъ; но лучше пусть буду я еще больше терпѣть, чѣмъ по своей винѣ сравняться съ вами, господа, во лжи и обманѣ.

11.

Не жалѣйте о моей судьбѣ, не жалѣйте о томъ, что святоши и ханжи оттолкнули меня отъ себя! Вы сами живете въ тюрьмѣ, какъ и я; только я живу въ маленькой, а вы—въ большой.

12.

Не жалѣйте о моихъ страданіяхъ въ этихъ тюремныхъ стѣнахъ, я предоставлю вамъ ваши радости, и дарю вамъ ваше состраданіе.

13. На волю.

Дико грохочетъ громъ, шумно бьетъ дождь; въ испугѣ бѣгутъ люди съ полей и дорогъ, они ищутъ защиты подъ кровлею дома: я хотѣлъ бы на волю, прочь изъ-за затворовъ!

Я хотѣлъ бы на волю—и лучше погибнуть мнѣ въ бурѣ и молніи, въ грозѣ и ужасѣ, чѣмъ дольше сидѣть здѣсь, за затворами дома, я хотѣлъ бы на волю!